

и (пол.)
о 45

Элиза
Ожешко



Элиза Ожешко



СОЧИНЕНИЯ

В ПЯТИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1954

И (поль.)
0-45.

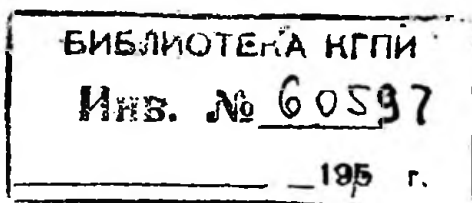
Элиза Ожешко

ТОМ ТРЕТИЙ

НАД НЕМАНОМ

Перевод с польского

60595 - 60599 (3)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1954

Перевод
В. ЛАВРОВА

НАД НЕМАНОМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Был летний праздничный день. Все на свете сияло, цвело, благоухало и пело. Тепло и радость изливало голубое небо и золотое солнце, радостью и негой дышали зеленеющие нивы, радость и счастливую свободу славили хоры птиц и насекомых, звеневших в знойном воздухе равнины и над холмами, в их зеленых кущах.

С одной стороны горизонта тянулись небольшие холмы, с темнеющими на них хвойными и лиственными лесами, с другой — словно вырастая из зелени лугов, песчаной стеной поднимался высокий берег Немана. Пересекая голубой свод неба темной полосой покрывающего его дремучего бора, он огромной дугой огибал широкую и гладкую равнину, на которой только кое-где виднелись корявые стволы дикой груши, старые, кривые вербы и одинокие тополи. В этот день залитая солнцем песчаная стена с прослойкой красного мергеля казалась золотым обручем, перевязанным алой лентой.

Вдали на этом великолепном фоне смутно вырисовывались очертания большой панской усадьбы и немного поодаль, на одной с ней линии, длинный ряд деревенских домов. Окруженные большими и малыми садами, из гущи которых выглядывали их серые стены, они тянулись вдоль реки, параллельно ее излучине, образуя зеленый полукруг. В прозрачном и неподвижном воздухе кое-где над крышами поднимались вверх тонкие струйки дыма, словно огромные искры пылали

на солнце окна; золото соломенных стрех сливалось с лазурью неба и зеленью садов.

Равнину пересекали белые дороги, чуть-чуть зеленевшие редкой травкой; к ним, словно ручьи к рекам, стекались с полей межи, где синеющие васильками, где желтые или розовые от донника, клевера и горицвета. По сторонам дорог широкой полосой белела ромашка, горели желтыми звездочками дикие подсолнечники и куриная слепота, лиловые скабиозы изливали из своих столстых венчиков медовый запах, колыхался целый лес хрупкой и нежной метлицы, косматые цветы подорожника торчали на высоких стеблях, своим удалым видом и красным цветом вполне оправдывая присвоенное им название казаков.

За этими зарослями диких трав тихо дремали возделанные поля. Зеленые еще колосья ржи и пшеницы были уже осыпаны дрожащими усиками, что предвещало богатый урожай; низко стлались по земле густо усеянные розовыми цветами пушистые стебли клевера, молодой лен радовал взор нежностью зеленоватого пуха, желтая сурепка веселыми ручейками растекалась по нивам над невысокими еще всходами овса и ячменя.

Среди этой радостной природы радовались и люди. Много их шагало сегодня по проселкам и тропам. По широкой дороге целой толпой, по межам гуськом шли деревенские женщины. Их головы, повязанные красными и желтыми платками, мелькали над зеленью нив, словно цветущие пионы и подсолнухи. Этот людской поток, разливаясь по равнине, звенел разными головами: то задорной, визгливой перекличкой, то зычным хохотом или серебристым смехом, то плачем прикрытых платками младенцев на руках у матерей, то заунывными песнями женщин, которые разносились протяжным эхом и над лесистыми холмами и над старым бором, что темной каймою отделял золотистый, пронизанный пурпуром берег от затканного серебром облаков голубого неба. Это веселое возвращение сельского люда из костела по зеленым полям плодородной равнины — самый светлый час его праздничного дня.

Когда толпа сельчан стала постепенно расходиться и заметно поредела, вдали от нее показались две жен-

шины. Они возвращались с той стороны, что и все, но, должно быть, свернули с дороги и поднялись на холм в ближайшую рощицу, потому что одна из женщин несла целый сноп лесных цветов. Их-то она, наверное, так долго и собирала, отчего обе замешкались. Ее спутница держала необычных размеров белый носовой платок, который, колеблясь в такт ее размашистым шагам, развевался словно вымпел. Издали видно было только, что одна женщина шла с охапкой цветов, а другая с белым лоскутом; но вблизи бросалась в глаза их необычная внешность.

Женщина с платком была очень высокого роста и из-за худобы казалась еще выше. Вместе с тем она была так широка в кости, что ее плечи и сейчас производили бы впечатление силы, если бы не уже заметная сутулость, говорившая о прожитых годах и усталости, и не два острых бугра лопаток, от которых поднималась на спине ее старомодная мантилья. Кроме этой мантильи с длинными, развевавшимися на ходу концами и полотняным воротничком, на ней была черная, очень короткая юбка, из-под которой видны были почти до щиколоток большие плоские ноги в толстых чулках и вышитых цветами туфлях. Костюм этот дополняла старая соломенная шляпа. Лицо, которое она осеняла своими широкими полями, казалось на первый взгляд старым, некрасивым и даже отталкивающим, но стоило немного приглядеться к нему, и оно возбуждало внимание и любопытство. Это было небольшое, худощавое лицо темного, почти бронзового цвета, с морщинистым лбом, впалыми щеками и острыми скулами; с выражением горечи и злости в линиях длинного и тонкого носа, сжатых губах и в горящих, пронизательных глазах.

Только эти глаза, казалось, и красили это бедное, старое, злое лицо. Вероятно, они и прежде были единственным его украшением, а теперь, большие и черные, под темными широкими бровями, они освещали все лицо своим пронзительным блеском; их острый, пронизательный, насмешливый взгляд горел каким-то внутренним огнем, столь странным на этом почернелом, помятом рукой времени или судьбы лице. Старуха шла широким, размашистым и привычно торопливым

шагом; носовой платок, которым она размахивала, качая на ходу длинными руками с черной костлявой кистью, развевался точно белый вымпел.

В женщине с цветами трудно было сразу признать барышню из высшего общества или девушку из крестьянской среды. В ней было сходство и с той и с другой. Гораздо ниже своей спутницы, она была все же высокого роста. Ее черное шерстяное платье, очень скромного, но модного покроя, сшитое, несомненно, искусной рукой, прекрасно подчеркивало стройные линии ее сильной фигуры: она была широка в плечах и тонка в талии. Судя по манере держаться и нежной свежести ее лица, она получила, вероятно, очень тщательное и даже несколько тепличное воспитание. Однако в ее жестах и движениях чувствовалась излишняя резкость и даже какая-то нарочитая грубоватость. На ней не было ни шляпки, ни перчаток. Свой простой холщовый зонт она несла на плече, придерживая его довольно большой загорелой рукой, и смело подставляла под жгучие лучи полуденного солнца и голову, обвитую черной косой, и смуглое лицо, на котором выделялись большие серые глаза и алый рот. Все это поражало тем более, что гордая манера держать ничем не прикрытую голову и сдвигать темные брови придавала ей смелый и независимый вид. Вобщем эта барышня или деревенская девушка, которой было лет двадцать с небольшим, казалась воплощением женской красоты, здоровой и полной силы, но надменной и угрюмой. В ее молодом и свежем лице не было той ясности, которую придает счастье или покой смирения, хотя сейчас оно сияло тем чисто физическим оживлением, каким наполняет человека, еще не совсем опустошенного жизнью, длительное и свободное общение с природой.

Она шла быстрым шагом, стараясь не отстать от своей спутницы, и с любопытством и даже любовью посматривала на собранные цветы. Тут были буйные гроздья лиловых колокольчиков, лесная гвоздика, пахучая дрема, листья молодого папоротника и покрытые нежными шишечками сосновые ветки. Все это обдавало ее лицо острыми запахами, которые девушка время от времени вдыхала в себя широкой, здоровой грудью.

Испытываемое при этом наслаждение и жгучие лучи полуденного солнца вызвали румянец на ее смуглые щеки, а на строгих губах постепенно расцветала беззаботная улыбка. Ее забавлял и рассказ спутницы, которая хриплым, часто прерывавшимся от усталости голосом продолжала, очевидно, ранее начатую историю.

— Так вот в этом самом месте, между этими пригорками, глупые мужики приняли меня за холеру... Не веришь? Честное слово! Тогда тебя еще не было в Корчине... ты была маленькая и папенька твой тогда увлекался еще францушкой...

Она вдруг запнулась, остановилась, кашлянула так, что по полю пронеслось эхо, и, высморкавшись в платок, сердито буркнула:

— Вечно ляпну что-нибудь!

Лицо молодой девушки на минуту как будто застыло, но она тут же улыбнулась.

— Что вы, тетя, точно я не знаю этого, не привыкла еще! Ведь не со зла же вы... Полно!.. Ну, как это было с холерой?

Они пошли быстрее. Старшая продолжала:

— А вот как... Иду это я, как сейчас, из костела, тороплюсь, потому что Эмилия была больна, а к обеду ждали гостей... Лечу что есть духу, напрямик, полями — они тогда были под паром, — через целые полосы перескакиваю... несусь точно по воздуху. А было на мне тогда зеленое платье... в то время я еще носила цветные... Шляпу — вот такую же, соломенную, я сняла и обмахивалась ею... Ох! не могу...

Она запыхалась, остановилась и начала кашлять. Кашель у нее был глухой и гулкий, как из бочки. Не обращая на него внимания, она продолжала:

— А тогда свирепствовала холера; в наших краях ее не было, но боялись, как бы она и к нам не забралась. Увидели люди, возвращаясь из костела, как я несусь по полю, и ну кричать и вопить. Одни бросились бежать, словно за ними черти гнались, другие попадали на колени и давай посреди дороги поклоны класть да креститься и читать вслух молитвы... «Холера! — кричат. — Холера! Вон она скачет на нашу погибель!» — «Да нет же!» — говорят другие. «Как нет? Холера —

она самая! Вишь, какая высокая, головой в самое небо упирается, в зеленой рубаше и золотой лопатой машет!..» А лопата, — представь себе, — это блестела на солнце моя соломенная шляпа... Правда, она была-таки порядком примята, потому что во время обедни я сняла ее и положила под себя — девать было некуда, — да так всю службу на ней и просидела... Ох! не могу...

Она снова закашлялась и несколько шагов прошла молча.

— Что же было потом? — спросила ее спутница.

— Что было? Сколько наш эконо́м, — он как раз в то время возвращался из костела, — и Богатырови́чи — они меня давно знали, даже близко знали — ни толковали мужикам, что никакая это не холера, а панна Марта Корчинская из Корчина, двоюродная сестра пана Бенедикта Корчинского, они не поверили и по сей день не верят... «Ну да, говорят, где это видано, чтоб обыкновенная женщина головой до неба доставала да над землей летала и золотой лопатой моровое поветрие нагоняла?» Вот она, глупость людская! Скажу я тебе, Юстына, что эта глупость человеческая — наш вечный камень преткновения. Она страшнее людской злобы. Мне ли ее не знать; ведь когда-то я и сама так споткнулась о свою собственную глупость, что... Ох! не могу...

Она опять стала кашлять, гулко, как из бочки. Юстына, уткнув лицо в букет, заметила:

— Но ведь вам эти глупые речи не повредили...

Черные глаза Марты Корчинской глянули сурово, почти злобно.

— Ты думаешь? — буркнула она. — Съесть не съели, а укусили. Вечно одно и то же: никто не верит тому, чего сам не испытал. Не повредили! Ты думаешь, приятно, когда тебя принимают за холеру? В то время была я не так уж стара... двенадцать лет назад... Мне было тогда тридцать шесть...

— Значит, теперь вам сорок восемь? — с некоторым удивлением заметила Юстына.

— А ты, небось, думала — все шестьдесят? — горько усмехнулась Марта. — Правда, по виду мне всякий даст столько, да и тогда я была немногим лучше. Может, ты не знаешь, отчего, а? Или знаешь?

— Знаю, — серьезно ответила девушка.

— Ну, хорошо, если знаешь, и, может, сделаешь что-нибудь, чтоб самой не стать вскоре похожей на холеру...

Юстына пожала плечами.

— Что же мне надо сделать?

Обе задумались и невольно замедлили шаги.

— Что это мы ползем с тобой, словно черепахи, — опомнилась Марта первой. — Надо торопиться! Эмилия, вероятно, уже сердится, что мы опаздываем, и, чего доброго, опять у нее мигрень или спазмы начались...

— А Тереса, — подхватила Юстына, — носится то за мигреневым карандашом, то за бобровой струей, то за бромистыми порошками.

Она засмеялась, но тотчас же снова нахмурилась.

— Бедная тетка! Она действительно несчастна... эти вечные болезни!

Марта махнула рукою.

— Конечно, несчастна! Но, надо и то сказать, что если так за блохой ухаживать, как она за своей хворью, так блоха вырастет с быка величиной, честное слово!

В эту минуту послышался стук колес. Дорога в этом месте суживалась, и Марта со своею спутницей, отступив в сторону, пошла по краю пшеничного поля. Их обдало целым облаком тонкой белой пыли, достаточно, однако, прозрачной, чтобы можно было различить шегольской фазтон с двумя седоками, запряженный четверкой породистых лошадей в блестящей упряжи. При виде дам мужчины приподняли шляпы, а один из них, обернувшись к ним, крикнул:

— Святые девы Марта и Юстына, молитесь бога о нас!

Марта, с загоревшимися глазами, махнула платком в сторону фазтона и ответила:

— Да я уж и то молилась богу, чтоб он возвратил вам разум!..

В фазтоне засмеялись хриплым басом, передразнивая Марту. На лице Юстыны появилась гримаса досады, чуть ли не боли.

— Господи! — прошептала она. — А я так надеялась, что этот человек хоть сегодня к нам не приедет, что пан Ружиц пригласит его к себе обедать...

— Он не дурак! — ответила Марта. — Конечно, Ружиц пригласил его с собой в коляску, а этот бездельник, отправив свою клячу домой, решил прокатиться в прекрасном экипаже и вкусно пообедать у нас: двух зайцев одним зарядом...

Юстына, очевидно, расстроилась. Даже цветы перестали занимать ее.

— Интересно знать, — сказала она, — какой комедией нас будут развлекать сегодня?

Марта внимательно посмотрела на нее.

— Все о папаше своем беспокоишься, а? Конечно, этот шут Кирло опять выкинет что-нибудь со старым растяпой...

Она вдруг спохватилась и зажала свой впалый рот большой рукой.

Лицо, губы и даже руки Юстыны дрогнули от отвращения. Но она сдержала себя и ответила:

— Можете говорить мне все. Я давным-давно поняла и положение отца и свое... но только еще никак не могу с ним примириться и, наверное, никогда, никогда не примирюсь.

Марта засмеялась.

— Ужасно мне нравится эта болтовня! Желала бы я знать, что ты можешь сделать? Если не примириться, то надо или веревку на шею, или в реку кинуться. Каждый человек сперва приходит в отчаяние, а потом покоряется судьбе, какую ему посылает бог или дьявол... В то, что судьба человека — дело бога, я ни капельки не верю... Я даже исповедовалась в этом и однажды не получила от ксендза отпущения грехов, но все равно не верю... Если хочешь знать, всякий человек сначала сопротивляется, а потом, как овца на бойню, смиренно идет своею дорогой... Ох! не могу...

Она закашлялась до слез и мокрыми еще глазами посмотрела на девушку.

— А все-таки ты, Юстына, какая-то странная! Почему бы тебе не жить, как другие панны? Пользуйся расположением дядюшки и тетюшки, наряжайся, пока тебя наряжают, веселись при случае, делай глазки холостым мужчинам, а там, глядишь, кто-нибудь и попадется, и замуж выйдешь, а? Ей-богу! Почему не быть, как все?

Юстына не ответила. Она шла выпрямившись, ровным шагом, как и прежде, только в ее печальных глазах блеснули слезы.

— Ха-ха-ха! — засмеялась Марта. — Чудачка ты, право, а уж гордая, что твоя княжна... От дяди ничего брать не хочешь, на свои несчастные гроши одеваешь и себя и отца, ботинки — и те бережешь и сплошь и рядом босиком бегаешь... ни шляпки, ни перчаток не носишь...

— Напрасно вы так думаете! — порывисто воскликнула Юстына. — Я не хочу ни лгать, ни притворяться... Правда, мне приходится часто ломать голову, как мне и отцу одеться на наши деньги... а босиком хожу, шляпки и перчаток не ношу не только потому, не только потому...

— А почему же? Ну? — сверкая глазами, допытывалась старая дева.

— Потому, — вспыхнув румянцем, ответила Юстына, — что давно уже опротивели мне их наряды и развлечения, их поэзия и любовь... Я живу так, как они, потому что не могу устроить себе другой жизни. Но если могу поступать по-своему, то и поступаю так, и никого это не касается.

Марта опять проницательно посмотрела на нее.

— А началось все это, — сказала она, — с твоей истории с Зыгмунтом Корчинским... Правда? Ха-ха-ха! Ты думала, что тебя с распростертыми объятиями встретят и примут в семью... ведь ты им и так сродни приходишься... А они? Куда там! И думать о тебе этому слюнтю запретили... Ха-ха-ха! Знаю я это все, знаю! Все это глупость людская...

Юстына, потупившись, молчала.

— Ну, а ты думаешь еще иногда об этом слюнтее? Сердце... болит порою?

— Нет.

Из этого короткого ответа можно было заключить, что панна Юстына не хотела касаться вопроса, затронутого ее спутницей. Последние следы недавнего оживления исчезли с ее лица, душа ее перестала пить из кубка щедрой природы сладкий напиток забвения. Какая-то гнетущая забота заволокла ясные серые глаза, какое-то

воспоминание заставило опуститься книзу углы алого рта и придало ему выражение скуки и горечи.

В это время сзади снова затарахтели колеса, но уже иначе, чем прежде. То не был глухой мягкий шум фазтона, а стук и скрип простой телеги. Теперь облако пыли поднялось не так высоко и быстро опало. Оглянувшись, наши спутницы увидели длинную телегу с высокими решетчатыми боками, набитую соломою, которую прикрывал пестрый домотканый ковер. Телега была запряжена парой небольших, но сытых лошадок — темпорижей со светлой гривой и гнедой с белыми ногами и белой звездочкой. Упряжь была воровочная. Если бы даже колеса этого сельского экипажа катились без малейшего шума, а лошади, бежавшие резвой рысцою, ступали совсем неслышно, и тогда он привлек бы внимание веселыми голосами ехавших в нем людей. На соломе, покрытой полосатым ковром, вытканым на самодельных кроснах, сидело несколько женщин. Только одна, в большом черном платке на плечах и в высоком белом чепце, была уже в летах; остальные, словно садовая клумба, цвели румянцем щек и пестрели яркими красками одежды. Было страшно тесно, и они сидели в разных положениях: и боком, и лицом, и спиною друг к другу, стиснутые точно цветы в букете. Телега подпрыгивала, и они хватались почерневшими руками за грядки или друг за друга, не переставая смеяться и болтать. В тряске у одних свалились с головы цветные платки и висели на плечах в виде ситцевых или кисейных капюшонов, у других растрепались косы — черные или золотистые — и рассыпались по розовым или голубым лифам, но у всех болтались за ушами или у висков воткнутые в волосы красные, лиловые или желтые полевые цветы. В этом шумном тесном цветнике вознице уже негде было сидеть, и он правил стоя. Можно было подумать, что он выбрал эту позицию нарочно, чтобы покрасоваться перед своими спутницами. Это был человек лет тридцати, высокий и такой складный, как будто сама мать-природа заботливо и любовно вскормила его своею грудью. А между тем только тяжелый труд, ценою которого добываются ее дары, палящий летний зной и зим-

няя стужа придали ему такую стройность и силу, что даже тряская телега не могла нарушить строгих и благородных линий его тела. На загорелом лице резко выделялись густые светлые усы, а отливавшие золотом волосы падали из-под шапки на ворот короткой серой куртки, отделанной зеленой тесьмой. Небрежно перебирая загорелыми руками веревочные вожжи и не поворачивая лица к своим спутницам, он бойко отвечал на их вопросы и остроты и время от времени присоединял к визгливым женским голосам свой спокойный мужской смех.

Марта и Юстына отошли в сторону и остановились у края дороги под тенью ивы, осыпавшей их своими зеленовато-серыми цветами, издали похожими на гусениц. Марта помахала белым платком в сторону телеги и с несвойственным ей радушием крикнула:

— Добрый вечер, пан Богатырович, добрый вечер!

Возница сдернул шапку, открыв почти белый при загорелом лице лоб, гладкий и ясный, и ответил:

— Добрый вечер!

— Добрый вечер! — хором крикнули женщины.

— Откуда это у вас столько красавиц? — снова спросила старая дева.

— По дороге вместо земляники набрал! — не оставиваясь, но слегка придерживая лошадей, ответил Богатырович.

Одна из девушек, очевидно посмелее, свесившись с телеги и сверкнув белыми зубами, затрещала:

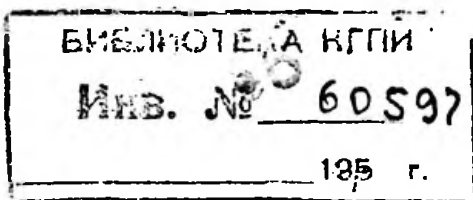
— Мы, пани, шли пешком... а он нагнал нас. Вот я и приказала ему подвести нас...

— Ого, «приказала»! — шутливо заметила Марта.

— А как же? — подтвердила девушка. — Разве я приказать ему не могу? Я ведь ему двоюродной сестрой прихожусь, так должен он ко мне уважение иметь!

В это время телега поровнялась со стоявшими под ивой женщинами. Возница еще раз снял шапку, и взгляд его упал на Юстыну. Бирюзовые глаза парня вспыхнули каким-то особенным блеском, но он тотчас же снова надел шапку, отвернулся, дернул вожжами и прикрикнул на лошадей.

Телега покатилась быстрее. Юстына с лукавой



улыбкою в глазах, широко раскрыв смеющийся рот, пробежала несколько шагов и сильным движением, которое могло бы показаться светскому человеку несколько вульгарным, швырнула в телегу всю охапку цветов. Раздался громкий смех, девушки с криком: «Спасибо, паненка, спасибо!» — начали подбирать их.

Но возница не обернулся и не полюбопытствовал узнать причину этого шума. Опустив высоко поднятую раньше голову, он о чем-то задумался.

Наши путницы тоже двинулись дальше.

— Этот Янек Богатырович вырос красивым и добрым парнем, — сказала Марта. — Я знала его еще ребенком... Тогда я всех их знала... хорошо и даже довольно близко.

Она шла в раздумье и тихо рассказывала:

— Было, видишь ли, время, — недолго оно длилось, — когда Богатыровичи бывали у нас и за стол вместе с нами садились; отец Янка Ежи и дядя его Анзельм Богатырович, тот, что теперь хворает и сделался каким-то ипохондриком... А когда-то... что за человек был: красивый, смелый, патриот, настоящий герой романа!.. Наш дом так сдружился с этим шляхетским поселком, что сижу я, бывало, за фортепиано и подбираю аккорды, а Анзельм станет за моим стулом и поет: «Прощай, красавица, меня зовет отчизна!» А потом я ему пою: «Шумела дубрава, воины скакали...» Это было года двадцать два... три назад. И как было тогда у нас шумно, какая жизнь была у всех... А теперь все не то... не то... вечная тоска...

Она говорила медленно, покачивая головой и устремив горящие глаза куда-то в пространство. Вдруг вдали послышался чистый и сильный мужской голос. Под затихающий грохот телеги из могучей груди лились слова старинной песни ¹:

Ты пойдешь горою,
Ты пойдешь горою,
А я — долиной.
Расцветешь ты розой,
Расцветешь ты розой,
А я — калиной.

¹ Стихи в этом романе перевела М. Павлова. (Прим. ред.)

Юстына, широко раскрыв глаза, слушала и улыбалась. А грустный мотив песни все шире разливался по полям:

Ты пойдешь тропюю,
Ты пойдешь тропюю,
А я — лесами.
Смоешь пыль водою,
Смоешь пыль водою,
А я — слезами.

— Честное слово, — неожиданно воскликнула Марта густым басом, — когда-то и мы с Анзельмом певали эту песню.

Телега уже значительно удалилась от двух женщин. Высокий парень продолжал:

Живешь госпожою,
Живешь госпожою,
В богатстве, в холе.
А я буду ксендзом,
А я буду ксендзом
В белом костеле.

— Ах! — заволновалась Марта. — В песне сказано «будешь госпожою». Старые песни на свой лад переделывает, дурены!

Юстына не слыхала этого замечания. Глаза ее сияли.

— Какой чудесный голос! — шепнула она.

— Недурной, — ответила Марта. — Среди них попадаются хорошие певцы, с отличными голосами... Анзельм тоже, бывало, все пел.

Издалека, уже совсем издалека, долетела еще одна строфа песни:

А когда умрем мы,
А когда умрем мы,
Пускай родные
Вырежут на камне,
Вырежут на камне
Буквы златые.

Старая дева вдруг остановилась посреди дороги. Она напоминала высокий столб, украшенный плоской соломенной шляпкой, стоящий на двух подпорках, вде-

тых в большие пестрые туфли. Она, не отрываясь, смотрела в лицо молодой девушки. Волнующие воспоминания о прошлом поднялись в ее тяжело дышащей груди с такой силой, что она почти крикнула:

— А ты знаешь конец этой песни? Конечно, не знаешь! Теперь ее уже никто... кроме них... не поет...

Она раскинула руки и густым, хриплым голосом продекламировала:

Пусть читают люди,
Пусть читают люди,
Что схоронили
Два злосчастных сердца,
Два злосчастных сердца,
В этой могиле.

— Вот какой конец! — повторила она и быстро зашагала по дороге, размахивая длинными руками.

Телега с деревенскими девушками покатила вдоль серых хат и пышных огородов, растянувшихся по склону высокой горы, у самого подножья которой безмятежно струился тихий Неман, отражая в глади своих вод и лазурь неба и темный бор.

II

На широкой лужайке перед домом корчинской усадьбы раскинулись могучие вековые яворы, обнесенные живою изгородью из высоких кустов коралловой бузины, желтой акации и бульденежа, и другой — пониже — из сирени, жасмина, спиреи и кустарниковых роз. Вдоль старинной, когда-то дорого стоявшей ограды густой зеленой стеной высились стройные тополи, каштаны и липы, заслоняя собою деревянные дворовые строения. На скрещении двух дорог по бокам лужайки, где были разбросаны мощные купы деревьев и кустов, стоял невысокий, заросший диким виноградом, деревянный, небеленый дом с длинным рядом окон на манер готических, с широким крыльцом в виде террасы, где среди кадок с олеандрами были расставлены небольшие чугунные диванчики, столы и стулья. Против дворовых служб раскинулась густая зелень, видимо,

очень старинного сада, пересеченного широкой аллеей почти столетних деревьев. Отсюда, просвечивая кое-где сквозь прозрачную листву, был виден высокий, золотящийся на солнце берег Немана, а из некоторых уголков двора открывался вид и на широкую в этом месте реку, которая круто поворачивала здесь за старый темный бор, образуя живописную излучину.

Корчин был не богатым дворянским помещьем, а тем старинным шляхетским двором, где когда-то всего было в изобилии, где всегда кипела гостеприимная, веселая и шумная жизнь. Чтобы узнать, как жилось здесь теперь, надо было присмотреться поближе, но что сразу бросалось в глаза, так это стремление хозяев сохранить все в возможном порядке и целости. Чья-то заботливая и неутомимая рука все время что-то подпирала, исправляла, чистила. Как бы часто ни ломалась ограда, ее немедленно исправляли, и, хотя она была вся в заплатах, стояла прямо и крепко и хорошо охраняла и двор и сад. Старые сараи и службы были укреплены прочными подпорами, прогнившие во многих местах крыши заделаны, а под деревянные стены подведены новые, каменные крепления. Дом был низок и, очевидно, с каждым годом все больше врастал в землю, но благодаря гонтовой крыше и сверкающим окнам он не имел вида развалины. Здесь не было ни редких растений, ни дорогих цветов, но зато не видно было и зарослей крапивы, лопуха и бурьяна, а сочная зелень старых деревьев и давно уже посаженных и густо разросшихся кустарников казалась здоровой и свежей. Это была усадьба, где, очевидно, что-нибудь постоянно рушилось и исправлялось, где давно уже ничего не пристраивали и ничего не воздвигали заново, а только поддерживали и оберегали от порчи то, что уже давно здесь стояло и росло. Но благодаря заботе, порядку и чистоте она сохраняла вид достатка и чуть ли не роскоши. И ее размеры, и необычайное обилие растительности, и почтенный возраст низенького дома, и даже неожиданные здесь готические окна производили впечатление чего-то достойного уважения и пробуждали поэтические воспоминания. Невольно возникала мысль о тех, кто когда-то посадил эти исполинские деревья, кто жил

в этом столетнем доме, и о той реке времени, что протекала по этим местам, — то тихая, то бурная, но неизбежно уносившая с собою людские радости и неутешное горе, грехи и прах...

Внутренний вид дома хранил те же следы былого богатства, которое неустанно оберегалось от разрушения. В низких, но просторных и светлых сенях торчали на стенах водруженные здесь уже много десятилетий назад огромные олени и лосьи рога, и между ними висели засохшие венки из колосьев, перевитые красными нитями ягод калины и рябины. Против входных дверей видна была вычурная лестница, ведущая в верхнюю часть дома. Когда-то, должно быть, она блестела политурой, от которой теперь остались еле заметные следы. Из сеней были открыты настежь две двери: одна — в просторную столовую, другая — в большую, в четыре окна, гостиную. Обе комнаты были обставлены мебелью, которая, судя по стилю и добротности, была куплена лет двадцать назад и стоила немалых денег. С тех пор она, видимо, не раз уже подвергалась починке и подклейке грубой рукою неопытного деревенского мастера, и прежняя дорогая обивка была заменена совсем простой и дешевой. Стены тоже были некогда оклеены красивыми и дорогими обоями, а теперь, старые и поблекшие, они лишь кое-где поблескивали остатками позолоты на букетах и арабесках. Впрочем, стены были густо увешаны великолепными копиями знаменитых картин и семейными портретами, которых было больше десятка, в старинных, сильно потертых массивных золоченых рамах. В комнатах были натертые до блеска паркетные полы, чистые белые потолки, тяжелые старинные двери с блестящими бронзовыми ручками, большие выцветшие ковры. В углу гостиной стояло великолепное фортепиано, а перед окнами были расположены с большим вкусом комнатные растения. Вместе с тем было ясно, что в течение последних двадцати и более лет здесь ничего не прибавилось и не убавилось, но все, что безжалостное время грязнило, ломало и разрушало, кто-то терпеливо чистил, чинил и подновлял. Казалось, этот усердный труд должен был задержать или навсегда предотвратить мед-

ленный, но упорный процесс перехода от богатства к нищете.

Комната, где сейчас находилось четыре человека, была расположена рядом с большой гостиной и выходила окнами на Неман, синевший сквозь ряд старых кленов. Повидимому, это был будуар светской женщины, и притом женщины со вкусом. Все здесь было мягкое, нарядное и, в противоположность остальной части дома, еще довольно новое. Обои, с букетами полевых цветов на светлом фоне, придавали ей несколько сентиментальный вид; туалет, с белыми кисейными занавесками, сверкал хрустальными флаконами и фарфоровыми безделушками; на этажерках лежали книги и стояли изящные корзинки и коробки с различными принадлежностями для рукоделия. Пунцовая обивка мебели на первый взгляд казалась роскошной.

Но в противоположность внешней свежести этой комнаты, воздух ее, насыщенный смешанным запахом духов и лекарств, был душен и тяжел. Окна и двери в соседние комнаты были закрыты, и будуар напоминал хорошенькую аптечную коробочку, пропитанную запахом лекарственных масел и ядов. В углу комнаты на красной кушетке полулежала женщина в черном шелковом платье, — очень изящная, несмотря на излишнюю худощавость, с тонкими чертами когда-то прекрасного лица, теперь немного увядшего, но поражающего нежностью кожи, с большими черными кроткими глазами и роскошными, тщательно причесанными волосами. Хотя ей можно было дать лет сорок, у нее не было ни одного седого волоса, а физическая слабость и постоянное недомогание несколько не изменили рисунка ее губ, и они были свежи и ярки, как губы молоденькой девушки. Маленькие ручки с блестящими и нежными, как лепестки розы, ногтями были тонки и почти прозрачны. С выражением бессилия или покорности судьбе она опускала руки на колени, а если и позволяла себе в разговоре какие-либо жесты, то лишь самые слабые и робкие, словно ее пугало малейшее проявление душевной или физической силы.

Это была пани Эмилия Корчинская, жена Бенедикта

Корчинского, владельца перешедшего к нему от отцов и дедов Корчина.

Против хозяйки дома сидела женщина, на первый взгляд не похожая на нее, но имевшая с ней множество каких-то сходных черт, точно в царстве природы они принадлежали к разным видам, но к одному роду. Немного моложе, но, должно быть, и раньше уступавшая ей в красоте, она была теперь уже совсем непривлекательной и тоже казалась какою-то слабой и хрупкой, чувствительной и страдающей, — она так же складывала и опускала руки, делала похожие жесты, так же говорила унылым и каким-то размякшим голосом. Только вместо красивого туалета пани Эмилии на ней было дешевенькое платье без всякой отделки, грубая обувь и грязноватый батистовый платок, который закрывал половину подбородка, уши и волосы. Кончики его торчали над огромной и, как видно, чужою, уже сильно порывевшей косой. У нее болели зубы, но, должно быть, не очень сильно, потому что на ее крохотном увядшем личике часто мелькала улыбка и голубые глазки смотрели как-то особенно сладко. Улыбалась она двум сидящим возле нее мужчинам, по очереди поворачиваясь то к одному, то к другому, причем ее круглая белая шея напоминала своими движениями шею лебедя, когда он склоняется к воде, или египетского голубя, хватающего сахар. Очевидно, эти два человека были для нее тем же, что вода для лебедя или сахар для египетского голубя. Она слушала их не только с напряженным вниманием, но с каким-то подострастием и восторгом, бросая на них умильные взгляды и визгливо хихикая.

Но ни тот, ни другой гость не обращался к ней и даже не смотрел на нее. Они только что вошли и сейчас вели оживленный разговор с хозяйкой дома, которая, казалось, была весьма обрадована их приездом. Собственно говоря, особенно старался развлечь ее один из них, и она сама выказывала ему больше внимания, чем другому, хотя пан Кирло был совсем неказист: среднего роста, немолодой, с круглой лысиной на затылке и жидкими волосами над низким лбом; его остроносое лицо с маленькими блестящими глазками и впалым

ртом было тщательно выбрито и на щеках и подбородке лоснилось; некрасивое, оно сияло неистощимым весельем. Он был в очень опрятном модном сюртуке и в туго накрахмаленной полотняной манишке, которая топорщилась у него на груди. Сверкая маленькими глазками и весело смеясь, он рассказывал, как, возвращаясь с паном Ружицем из костела, они встретили в поле двух граций.

— Грации, клянусь богом, две грации, — заливаясь громким смехом, иазойливо повторял он это мифологическое выражение. — Ну, одну-то, положим, я кому угодно с удовольствием уступил бы, уж очень стара и зла; зато другая... ого! поистине грация, вот и пан Ружиц вам скажет! Конфетка! Стройная, личико смуглое, ручки... Ну, ручки не слишком хороши... грация моя ходит без перчаток...

— О, так ваша грация была без перчаток! — протянула пани Эмилия.

— И без шляпки, — прибавил Кирло.

— Без шляпки! Как это можно ходить без шляпки! — хихикая, повторила особа, у которой щека была подвязана грязным батистовым платочком.

Кирло хохотал; его маленькие сверлящие глазки еще больше заблестели.

— Пан Ружиц вам подтвердит... Как по-вашему, пан Теофиль? Вездь конфетка? Игрушечка, а?

Призываемый в свидетели пан Ружиц не отвечал. Свет падал на него так, что оставлял лицо в тени и видна была только его высокая худошавая фигура в изящном костюме, черные, слегка завитые волосы и поблескивавшие стекла пенсне. С тех пор как он вошел и обменялся приветствиями с хозяйкой дома, он не проронил больше ни слова... Правда, Кирло болтал без умолку, а пани Эмилия, оживившись, допытывалась, кто были эти встретившиеся им в поле грации и в особенности та... без шляпки и перчаток...

— Вероятно, какая-нибудь деревенская девушка... а вы уж рады подшутить над нами, пан Болеслав!

— Вот именно! — захлебываясь от наслаждения, вторила ей другая женщина. — Вы все шутите над нами. Как можно так шутить!

— Да вовсе нет! Клянусь богом, я вовсе не шучу! — с комической жестикуляцией оправдывался Кирло. — Это отнюдь не деревенская девушка, а панна... что называется... панна хорошего рода, из хорошей семьи, образованная.

— Панна из хорошей семьи, образованная, — с возрастающим оживлением говорила пани Эмилия, — и вдруг пешком, без шляпки! Да не может этого быть!..

— Не может этого быть! Вы всегда что-нибудь выдумаете, — вторила ей другая женщина.

— Ну, а если я назову ее имя и фамилию, что тогда? — с плутоватым видом настаивал гость.

— Не верю, — твердила свое пани Эмилия.

— Не может этого быть! Не может быть! — застенчиво хихикала другая.

— А если я скажу, — поддразнивал Кирло, — что мне за это будет? Без награды не скажу, ей-богу! Что вы мне за это дадите, а? Разве что панна Тереса позволит поцеловать себя, а? Ну, как, панна Тереса, да или нет? Поцелуйте, тогда скажу, а нет — так нет!

Сидевший в тени пан Ружиц повернулся, выказывая всей своей изящной фигурой неприятное удивление. Однако хозяйка, видимо, уже привыкла к забавным выходкам своего гостя, которые развлекали ее и даже доставляли удовольствие, и потому тихонько посмеивалась, поглядывая на него с кокетливым лукавством. Но трудно передать впечатление, произведенное предложением Кирло на особу, к которой оно было обращено. Ее маленькое увядшее личико, обрамленное тоненьким грязным платочком, залил яркий румянец; невинные голубые глазки потускнели, выражая ужас, смешанный с блаженством. Она откинула щедушный стан в сером лифе на спинку стула и, протянув руки, отворачивалась, мотала головой, краснела и хихикала тоненьким голоском, стараясь скрыть свое замешательство и волнение.

— Да право же, пан Кирло... что это вы болтаете?.. Как это можно? Вы все шутите...

Между тем он не только болтал и шутил, но и решительно приступил к действиям и, сделав движение, слов-

но соби́рался объять ее за талию, с полудобродушной, полуязвительной усмешкой склонил к девушке гладко выбритое лицо. Она же, подняв худые, бледные ручки, закрылась ими, как щитом, и, откинувшись всем телом назад, все с тем же блаженным выражением лица лепетала:

— Ах, ах, боже мой! Что вы делаете!

Пани Эмилия с необычной для нее живостью приподнялась на кушетке и закричала:

— Да оставьте же ее в покое, пан Болеслав! Не мучайте! У нее сегодня зубы болят!

Кирло отступил.

— Вы правы, — проговорил он серьезно, — вы правы! Поцелуй женщины, у которой болят зубы, не может быть столь желанным даже для человека, который иной раз и очень на него зубы точит. Что прикажете делать? Видно, придется мне даром удовлетворить любопытство дам. Таков удел бедного человека в этом мире. Никогда никакой награды!.. Однако извините! — воскликнул он вдруг с комическим отчаянием и, обернувшись к хозяйке, прибавил: — Но уж вы-то мне ручку позвольте поцеловать!

— Хорошо, хорошо, — смеясь, протянула ему руку пани Эмилия, — скорей рассказывайте!

Удерживая в своей большой костлявой ладони поистине прелестную ручку пани Эмилии, Кирло впился в нее сверкающими сверлящими глазками и с минуту разглядывал ее с видом лакомки.

— Прелестная! Обворожительная! Такая крохотная, крохотная ручка! — произнес он и приложился к ней долгим поцелуем, в котором к благоговейной почтительности примешивалось тайное наслаждение.

Чуть заметный румянец, словно тень, скользнул по исхудалому лицу пани Эмилии; в глазах ее вспыхнул огонек, она вырвала руку и с необычным оживлением стала допытываться об имени и фамилии грации.

— То была, — выпятив губы, торжественно произнес Кирло, — то была двоюродная племянница пана Бенедикта Корчинского, панна Юстына Ожельская.

В ответ на это сообщение раздались два тоненьких женских возгласа. Но к ним присоединился и мужской голос:

— Так панна, которую мы встретили по дороге, живет здесь... Она ваша родственница?

Пани Эмилия приложила руку ко лбу: должно быть, в эту минуту у нее внезапно разболелась голова, — однако с обычной своей любезностью она ответила гостю:

— О да! Юстына в родстве с моим мужем. Она дочь его двоюродной сестры. У ее отца, пана Ожельского, обстоятельства сложились так неудачно, что он лишился всего состояния, вскоре после этого овдовел, и с тех пор он и его дочь живут у нас. Юстынка приехала к нам четырнадцатилетней девочкой, в возрасте, когда у детей уже складываются такие привычки и наклонности, с которыми трудно бороться... Впрочем, она добра, очень добра, но со странностями, с такими странностями, что я, право, иногда не могу понять, откуда у нее все это берется... Она всегда поступает не так, как другие.

Изящный мужчина, блеснув стеклами пенсне, задумчиво заметил:

— Она очень хороша собой.

И немного спустя добавил:

— В ней чувствуется свежесть, сила, простота...

— Ого! — воскликнул Кирло. — Успел-таки разглядеть. А ведь только раз, и то мельком, видел эту конфетку.

— У Юстыны прекрасная фигура, — сказала женщина с подвязанной щекой, — я всегда ей завидую.

Блестящее пенсне быстро повернулось к ней.

— Вы находите? — процедил сквозь зубы пан Ружиц.

Пани Эмилия, видимо, почувствовала неприличие замечания Тересы, так как поспешила перевести разговор на другое.

— Прости, Тереса, я еще не представила тебе нового нашего соседа. В первый приезд пана Ружица ты хворала, не помню уж, мигренью или флюсом... Пан Теофиль Ружиц, панна Тереса Плинская, моя компаньонка и бывшая воспитательница моей дочери. Если не ошибаюсь, я лишь второй раз имею удовольствие видеть вас в нашем доме?

— Да, сударыня, — учтиво поклонился гость, — я могу поздравить себя с тем, что в этой глуши нашел такой дом, как ваш. Я очень признателен за это пану Кирло.

— Пан Кирло уже не раз показал себя как наш лучший друг и сосед.

— О, я всегда был лучшим из людей, только — увы! — не получил признания.

— В этом доме по крайней мере все оценили ваши достоинства.

Кирло, галантно поклонившись, поблагодарил.

— К прискорбию моему, не все, — добавил он.

— Как не все? Кто же их не оценил?

— Панна Марта, например, — с комической грустью пожаловался Кирло.

— О, Марта... Она, бедняжка... страшно озлоблена и вспыльчива...

— Панна Юстына.

— О, Юстына! Она такая оригиналка..

— Супруг ваш...

— Мой муж!.. Но он всегда занят... он только и думает о своем хозяйстве и делах...

Она не договорила и обратилась к Тересе Плинской, которая словно застыла, устремив восхищенный взгляд на блестевшее в тени пенсне пана Ружица.

— Тереня, дай мне, пожалуйста, бромистый порошок и немножко воды, я чувствую, что у меня начинаются спазмы.

Тереса бросилась к туалету и мгновенно подала подруге все, что та просила. Пани Эмилия с присущей ей грацией взяла в одну руку хрустальный стакан, в другую — порошок в круглых облатках и, посмотрев на нового соседа, сказала, как бы оправдываясь:

— *Globus histericus*... ужасно меня мучает... в особенности, когда что-нибудь взволнует меня или огорчит...

Она проглотила лекарство с тем пленительным изяществом, с каким искусная танцовщица изображает сцену кокетства. И все же видно было, что она действительно страдает: она прижимала руку то к горлу, то к груди, чувствуя нестерпимое удушье.

— Не облегчит ли ваше состояние свежий воздух? — спросил с состраданием Ружиц. — Если прикажете, я открою окно.

— О нет, нет! — испуганно возразила страдальца. — Я так боюсь ветра, сквозняка, солнца... От ветра у меня кружится голова, от сквозняка делается невралгия, от солнца — мигрень... Будь добра, Тереня, подай мне ароматический уксус.

Кирло, склонившись над ней, нежно шептал:

— Ну, что? не лучше?... все душит, не проходит?..

Тереса, подавая уксус, также склонилась над другой:

— Начинается мигрень? Неужели? Боже мой! У меня тоже как будто заболела голова...

Пани Эмилия, растирая виски уксусом, тихонько шептала:

— Милая, эта Марта все еще не вернулась из костела... Я беспокоюсь насчет обеда... Поди узнай, накрывают ли на стол. И что это она не идет, я не знаю даже, готовят ли для меня бульон... Я, наверное, ничего другого не буду есть... Ах, эта Марта!..

Тереса с живостью и ловкостью подростка бросилась исполнять приказание, но в это мгновение дверь отворилась и в комнату вошел высокий плечистый мужчина, с заметной сединой, загорелым лицом и длинными усами. Даже при беглом взгляде на его хмурый лоб и большие темные глаза чувствовалось, что он весь поглощен тяжелыми заботами и гнетущими его мыслями.

На приветствие хозяина дома оба гостя торопливо встали, чтобы пожать его большую загорелую руку. Он холодно коснулся ладони Кирло и так же, разве только чуть любезнее, пожал белую и гладкую, как атлас, худую кисть Ружица.

Теперь, когда Ружиц повернулся к свету, можно было разглядеть его маленькую головку, высокую, очень тонкую фигуру, аристократическое и еще красивое, но изможденное, болезненное лицо. Волосы его были слегка завиты, повидимому для того, чтобы скрыть прорастающую со лба лысину. Время от времени по его бледному лицу пробегала нервная судорога. Он производил впечатление человека светского,

мягкого и слабовольного, что было, очевидно, следствием физической слабости и расстроенной нервной системы. Когда он стоял рядом с сильным, широкоплечим и загорелым хозяином дома, контраст между ними был так велик, как если бы они родились и обитали на разных планетах. У них была только одна общая черта — оба они казались грустными. Корчинский загорелой рукой дернул книзу свой длинный ус, сел у окна и, глядя на жену, проговорил:

— А детей все нет! Они должны были приехать еще час назад.

— О, я тоже беспокоюсь о них!.. У меня, кажется, даже мигрень от этого начинается, — ответила пани Эмилия и слабым голосом стала рассказывать гостям, что ждет приезда детей на каникулы: сын учится в агрономической школе, а дочь — в одном из варшавских пансионатов.

Витольд, говорила она, всегда любил сельское хозяйство, — вероятно, он унаследовал эту склонность от отца, — а Леонию она поместила в пансион потому, что при своем слабом здоровье не может руководить ее воспитанием. Впрочем, это совершенный ребенок, — ей всего пятнадцатый год.

Кирло (который уже не раз слышал все это) старался теперь завязать разговор с хозяином дома. Он говорил явно заискивающим тоном, видимо, надеясь таким образом завоевать расположение Корчинского. Потирая костлявые руки и приторно улыбаясь, он начал сладким голосом:

— А вы и в праздник все делами заняты?

— Как же иначе? — ответил Корчинский, подергивая ус и глядя печальными глазами на противоположную стену. — Для нас праздников нет. Наоборот, когда у служащих и батраков праздник, нужно особенно зорко смотреть за тем, чтобы скотина была накормлена и чтобы не подожгли чего-нибудь.

Слова эти, не заключавшие в себе ничего оскорбительного, произнесены были, однако, небрежным тоном.

— Что касается видов на урожай, то они нынче хороши, очень даже хороши, — снова заговорил Кирло.

— Да, — ответил Корчинский. — Не знаю, как у других, — я несколько месяцев не выезжал из дому, — а у меня отличные. Если уборка пройдет как следует...

— Тогда немало тысчонок, да, немало тысчонок соберете со своего прекрасного Корчина! — с присущей ему фамильярной шутливостью воскликнул Кирло.

Корчинский поднял голову и презрительно посмотрел своими карими глазами на соседа, который так радовался его будущим «тысчонкам».

— А цены? — спросил он. — Ваша жена, конечно, говорила вам, какие цены были на рожь в прошлом году и, вероятно, будут стоять и в нынешнем?

Кирло как будто смутился, но тотчас же захотал.

— Помилуй бог! — воскликнул он. — Жена моя такая ярая хозяйка, что ни до чего меня не допускает, ни до чего, — я вечно у нее под башмаком!.. Впрочем, мы с ней отлично уживаемся... Да и что мы стали бы делать вдвоем на нашем клочке земли? Либо я, либо она. А так как ей до смерти хотелось...

Корчинский усмехнулся и посмотрел в сторону туалета, откуда доносился смешанный запах рисовой пудры, ароматического уксуса и резеды. Он снова потянул свой ус и, обращаясь к жене, сказал:

— Отворить бы окно... а то задохнуться можно...

— Ах, нет, — мягко возразила пани Эмилия, — ты знаешь, что я не могу сидеть при открытых окнах.

— Глупости! — буркнул Корчинский. — Поневоле захвораешь, сидя в такой духоте.

Лицо слабой, болезненной женщины вспыхнуло румянцем. Она опустила глаза и, прикоснувшись рукой к груди и горлу, умолкла. Ей стало стыдно за грубость мужа в присутствии мало знакомого гостя.

И все сразу замолчали, почувствовав себя неловко в душной атмосфере этого будуара. Пани Эмилия приняла еще более беспомощную позу. Кирло услужливо придвинул к ней вышитые подушки, пан Бенедикт крутил свой длинный ус, пенсне Ружица насмешливо мигало в полутьме.

В эту минуту откуда-то снизу слышались протяжные басовые возгласы, сопровождаемые плеском воды.

Корчинский и Ружиц одновременно повернулись к окну. За прозрачной стеной кленов, по лазурному Неману длинной цепью тянулись плоты; на темном фоне леса, венчавшего высокий берег реки, они, как золото, горели на солнце, а стоявшие на корме плотовщики в широких белых рубашках казались какими-то могучими речными исполинами. Поворачивая тяжелые плоты, они ударяли по воде рулевыми веслами, из-под которых с громким плеском взлетали каскадом жемчужные брызги. Сплавщики все время перекликались, и их мощные голоса отдавались в темном бору раскатами гулко-го эха.

На противоположном берегу, по опушке густого бора, в одиночку и группами проходили какие-то люди; чайки кружили крылатыми точками над самой рекой; между плотами скользил рыбачий челн; в кленах щебетали шеглы, свистела иволга и звонко, надрывно кричала чечотка. Вся природа радовалась чудесной погоде, сверкая в ярких лучах, как чаша, налитая золотом и лазурью.

— Прекрасная местность, — задумчиво проговорил Ружиц.

Корчинский указал ему на трудившихся за рулем плотовщиков.

— Эти люди тоже не знают праздника...

— А мне, — сказал Ружиц, — жизнь их кажется вечным праздником. Они здоровы, сильны, и, как бы им тяжело ни приходилось, эта жизнь им мила.

Он снял пенсне и узкой холеной рукой провел по своему измятому, дергающемуся лбу.

— Вы, пожалуй, правы, — подумав, согласился Корчинский. — Труд — не есть несчастье. Было бы только над чем трудиться и, главное, давало бы это плоды. Но когда, что ни шаг, натыкаешься на стену и думаешь, что все, сделанное тобою... пойдет прахом...

Он махнул рукой и замолчал. Умные страдальческие глаза Ружица с интересом скользили по загорелому, изборожденному морщинами лбу и свисающим книзу усам помещика.

— К чему относятся ваши последние слова? — спросил он.

Корчинский поднял большие карие глаза и устремил на гостя глубокий, проницательный взгляд.

— Как вы думаете?.. — нерешительно начал он и замялся, как будто внезапно охваченный робостью, странной в столь сильном человеке. — Как вы думаете, — продолжал он, — выдержит ли такое время хоть кто-нибудь из нас, — я подразумеваю тех, кто не сорит деньгами и трудится, как вол, — выдержат ли хотя бы они... ну... вы понимаете... — и он снова замялся.

В глазах его вспыхнули искры, он не спускал с гостя горящего взгляда и в волнении покусывал кончики усов. Ружиц, видимо, не знал, что ему ответить. Над вопросом, затронутым Корчинским, Ружиц редко задумывался и, возможно, даже не интересовался им.

— Кто это может предугадать? — начал он. — Время сейчас тяжелое. Впрочем, с вашей округой я очень мало знаком... ведь я здесь человек новый...

— Речь не об округе, — живо подхватил Корчинский, — в этом смысле у нас всюду одинаково. Расскажите мне, что творится, предположим, в тех местах, где жили вы?

Лоб и брови Ружица нервно передернулись, но он отвечал с небрежной усмешкой:

— Собственная моя персона являет собой печальный пример: мои тамошние поместья для меня погибли.

— До меня дошли слухи, но это дело другое! — воскликнул Корчинский. — Вы по рождению принадлежите к знати... Ну, а те... те? Я хотел бы знать о средних помещиках, таких, как я сам, владельцев нескольких сотен или какой-нибудь тысячи десятин...

Ружиц — человек светский, которого ничто не смущает, — нашелся и тут: он принялся рассказывать о финансовом и хозяйственном положении помещиков средней руки, имевших земли на Случи. О том, чтобы его сообщение было точно и соответствовало действительности, он нисколько не заботился. Вопрос этот не очень его беспокоил, и, быть может, потому он считал такой разговор для себя пустой тратой времени. Однако говорил он плавно, на безукоризненном польском языке, лишь изредка прибегая к французским выражениям. Время от времени он ловко и учтиво подавлял нервную зевоту.

Подальше от окна, в полумраке, и значительно тише велась другая беседа. Кирло, склонившись к пани Эми-

лии, что-то вполголоса говорил ей — сначала в тоне соболезнования, а потом такой благодушной шутки, что вскоре на ее коралловых губах снова заиграла улыбка. Она с благодарностью взглянула на соседа.

— Вот вы всегда умеете утешить меня и развеселить. Но если б я еще и вас лишилась...

— Зачем же меня лишаться, — вскинулся Кирло, — когда уже столько лет?..

Он покосился на хозяина дома, весьма в эту минуту увлеченного разговором с Ружицем. Потом его серые загоровшиеся глазки впились в нежное лицо пани Эмилии, а костлявая рука медленно скользнула к ее руке, покоившейся на шелковой подушке, словно лепесток лилии.

— Бедная вы, бедная, — шепнул он, — уж я сегодня придумаю что-нибудь такое, чтобы вас позабавить.

За окнами на голубом Немане все так же всплескивали тяжелые весла, взбивая жемчужные каскады; легкий ветерок пробежал по кленам, и шелест листьев сливался с трепетом птичьих крыльев. На противоположном берегу, в чаще леса, деревенский люд, должно быть, собирал землянику и разные травы, и оттуда доносилось звонкое ауканье.

Вдруг в одной из отдаленных комнат верхнего этажа дома раздались звуки скрипки. Прислушавшись, можно было уловить отдельные пассажи трудного музыкального произведения, которое исполнялось с большим искусством.

При первых же звуках скрипки Кирло, как будто вдохновленный неожиданной мыслью, лукаво улыбнулся, хлопнул себя по колену и, не говоря ни слова, выбежал в дверь, ведущую в гостиную, плотно закрыв ее за собой.

В столовой, вокруг длинного стола, деятельно хлопотала Марта Корчинская, только что возвратившаяся с продолжительной прогулки. Она положила свою большую соломенную шляпу на стул и, наклоня над каждым прибором голову с крошечной косицей, заколотой большим гребнем, заботливо проверяла, все ли в порядке, чисто ли. Она готовила салат, разливала компоты, расставляла бутылки с вином и то и дело выбегала из комнаты, а, вернувшись обратно, звеня

ключами, отворяла ящики буфета, размещала и украшала все, громко шлепая по полу огромными туфлями с вышитыми на них красными розами.

Помогал ей только буфетный мальчик, прилично одетый и расторопный, но не особенно привычный к делу и лишь исполнявший ее приказания.

Марта прошла четыре версты в костел и обратно и ни минуты не отдыхала, но на лице ее не было и следа утомления. Она кашляла, ворчала, понукала молодого лакея, но, несмотря на ее тяжелую походку и на педантичность, с какой выполнялась каждая мелочь, в каких-нибудь четверть часа стол на десять человек был накрыт и все приготовления к обеду закончены. Мальчик резал хлеб, а Марта раскладывала его по приборам, когда в комнату вбежала Тереса и, всплеснув руками, радостно воскликнула:

— А! Пани Марта уже здесь, и к обеду все приготовлено! Вот хорошо, а то пани Эмилия беспокоилась...

— И совершенно напрасно! — огрызнулась Марта. — Занималась бы своими вязаньями или своим здоровьем, а что касается хозяйства — это уж мое дело.

— Ну ничего, — шепнула Тереса, — она всегда из-за чего-нибудь волнуется. Теперь у нее головокружение и, конечно, кончится мигренью...

— Вполне естественно, а зевоты еще нет?

— Слава богу, еще нет! — совершенно серьезно и, видимо, от всей души благословляя providение, ответила подруга Эмилии.

— Бенедикт дома?

— Дома. Он с гостями и женой... Опять сердился, что вы с Юстыной пошли пешком. Говорит, что в праздник лошади не заняты.

— Ну и пусть отдыхают, зато больше в хозяйстве поработают... Вот еще глупости! Княжны мы, что ли, какие, нельзя нам пешком пройтись?.. Ох! не могу.

Она едва не закашлялась, но удержалась, и, точно пораженная какою-то внезапной мыслью, всплеснула руками и подбежала к окну.

— А детей-то все нет как нет! — воскликнула она.

Тереса тем временем пересчитывала приборы на столе.

— На десять персон, ей-богу на десять персон накрыто! — заволновалась она. — Разве еще кого-нибудь ждете? Нас всех шесть человек, двое гостей — восемь; а здесь на десять... разве еще кто-нибудь придет?

— Еще два жениха к тебе явятся! — с злобной иронией крикнула Марта. — А ты все еще дожидаясь?.. Ну, так теперь будет сразу трое! Пан Ружиц уже здесь, а двое еще подъедут...

Она расхохоталась так, что ее насмешливые блестящие глаза наполнились слезами. Тереса, слегка покраснев, добродушно заглядывала ей в лицо.

— Ну, что вы говорите! Пан Ружиц... да разве это возможно... такой важный пан... положим, сегодня он как-то особенно на меня смотрел... Ах, все они одинаковы, эти мужчины... Нет, скажите правду: разве еще кто-нибудь придет?.. Ну, милая, дорогая моя панна Марта, скажите!

И, ласкаясь совсем как ребенок, она силилась своими худыми руками обнять широкую спину и тонкую, желтую шею Марты.

— А дети! — крикнула та, сердито вырываясь из ее объятий. — Витольд и Леоня уже давно должны быть здесь... и, может, хоть к обеду подъедут.

— Правда, — разочарованно произнесла Тереса, — я забыла...

— Забыла, забыла!.. — сердито ворчала Марта, направляясь к буфету. — Может быть, и мамаша забыла... про собственных детей... И о чем вы только думаете? Одни романы да аптека... А все это от глупости!.. Но детей-то все нет и нет... О боже мой, боже! Только бы несчастья какого не случилось... а то с этими железными дорогами всего ожидать можно...

Она снова повернулась к окну; голова ее с большим, воткнутым в косицу гребнем гневно тряслась, а в руке громко звякала связка ключей.

Вдруг за дверью столовой послышались торопливые шаги, прыжки с лестницы, какая-то борьба; один мужской голос настаивал на чем-то, другой о чем-то просил... Прозвучала нечаянно задетая струна, и уже дальше, в глубине дома, раздался громкий хохот Кирло... Марта, не отрывая глаз от дороги, видневшейся в от-

крытые ворота, не обращала ни на что внимания; зато Тереса сразу бросилась к приоткрытой двери, высунула голову и с веселым хихиканьем, маленькими шажками, точно девочка, побежала через сени в гостиную. Дверь в комнату пани Эмилии была открыта, и пан Кирло, смеясь, тащил туда какого-то действительно весьма смешного человека. Это был тучный старичок среднего роста, с сильно заметным брюшком, с белыми, как молоко, волосами, круглым розовым лицом и седыми усами. Его пухлые губы были сложены в застенчивую, добродушную улыбку, а светлые, бирюзовые глаза испуганно и стыдливо смотрели вокруг. Одет он был только в широкий цветной халат, что, очевидно, и смущало его. Одной рукой старик сжимал смычок и придерживал полы халата, другой прижимал к груди скрипку. Борьба с паном Кирло была ему не под силу, и он тщетно старался вырваться из его рук.

— Пустите меня, пожалуйста, — шептал он, — как это можно?.. При дамах... в халате...

Но Кирло уже втащил его в комнату и представил Ружицу:

— Позвольте представить вам знаменитейшего музыканта наших мест... виноват... Литвы, а быть может, и всей Европы. Небрежность костюма ему, как артисту, простят даже дамы... Он начал изучать музыку, должно быть, с первого дня рождения и продолжает до сего времени... Все состояние свое проучил... но зато как играет, как играет!..

— Пустите меня... при дамах... при незнакомом человеке, — умолял старичок и, силясь вырваться, делал новые и все более смешные движения.

Незнакомый человек, то есть Ружиц, с изумлением наблюдал эту сцену и не только не улыбнулся, но даже не мог скрыть гримасы брезгливости, которая передернула его тонкие губы. Корчинский, вероятно уже привыкший к веселому нраву пана Кирло и его выходкам, смотрел в окно на клены и реку. Пани Эмилия и Тереса засмеялись: первая — тихо и сдержанно, а вторая — громко и с видимым удовольствием. Кирло, поощренный смехом дам, не обращал никакого внимания на мужчин и, комически жестикулируя, продолжал:

— Иду я наверх навестить нашего милого артиста, слышу — играет. Хорошо, думаю, пусть и нам что-нибудь сыграет. Он отнекиваться стал, говорит, что не одет... Вот еще! Тем лучше! Артисты всегда не одеты и не умыты.

В это время позади явно изнемогающего старика, который продолжал, однако, отбиваться, появилась молодая женщина в черном платье, прекрасно облегавшем ее сильный и стройный стан. Она гордо откинула голову, серые глаза, которые казались теперь почти черными, метали на пана Кирло гневные взгляды.

Не обращая внимания на присутствующих, она повернулась к открытой двери гостиной и громко позвала:

— Марс! Марс!

На ее зов появился любимый охотничий пес хозяина дома — большой черный пойнтер. Женщина коротким жестом указала на него пану Кирло.

— Вот вам Марс, — сказала она. — Не хотите ли позабавиться, пан Кирло? Он умеет делать стойку, прыгать через палку...

Голос ее слегка дрожал; губы были бледны, глаза сверкали.

— Пойдем, отец! — тихо и ласково сказала она, взяв старика за руку.

Когда, выпрямившись во весь рост, с гордо поднятою головой и бледным, но невозмутимым лицом, женщина в черном платье вела под руку седого, слегка сгорбленного старика, она невольно напоминала Антигону¹.

— Как она величественна! — шепнул Ружиц, провожая ее глазами.

Кирло, нисколько не смутившись, стал шептать что-то на ухо Тересе, отчего та вспыхнула и расцвела в счастливой улыбке. Корчинский дергал свой ус и время от времени повторял про себя:

— Странно, что детей все еще нет!

Ружиц не мог надолго оставить хозяйку в одиночестве. Он с оттенком участия спросил, не страдает ли она

¹ *Антигона* — в древнегреческой мифологии и драматургии — дочь фиванского царя Эдипа, добровольно последовавшая за ним в изгнание.

главным образом нервами, и, получив утвердительный ответ, заговорил о часто наблюдающемся сейчас предрасположении к нервным болезням и отсутствии какого-либо радикального лечения их.

— Что касается меня, — продолжал он, — то я знаю только одно средство, которое верною дорогой ведет к смерти, но зато хоть на миг утоляет мучительную жажду новых впечатлений и дает возможность забыть... забыть все...

Пани Эмилия молитвенно сложила руки.

— Что же это такое? — воскликнула она.

— Морфий, — с небрежною усмешкой шепнул Ружиц.

Она разочарованно махнула рукой.

— Нет, — так же тихо заговорила пани Эмилия, — мне кажется, что единственно верным лекарством было бы удовлетворение высших потребностей нашего существа — потребностей души, ума, утонченного вкуса... Но — увы! — есть ли такие счастливицы, которые осуществили все свои мечты, в жизни которых нет диссонансов?

— Бывают люди, которые осуществляют все свои мечтания, и от избытка счастья... становятся несчастными, — с едва заметною иронией проговорил гость.

Дверь гостиной снова с шумом распахнулась, и на пороге показалась рослая фигура Марты.

— Дети едут! — крикнула она своим хриплым голосом и вихрем бросилась в сени.

В ушах собравшихся в будуаре прогремел ее полный радости голос, а перед их глазами мелькнули развевающиеся концы мантильи и красные розы туфель.

Корчинский, точно под ним разорвалась бомба, в два прыжка очутился за порогом; пани Эмилия медленно поднялась с кушетки.

— Тереса, дорогая моя... дай мне, пожалуйста, мантилью, перчатки и платок на голову!

Тереса, жеманно подпрыгивая, подала требуемые вещи, помогла надеть их и стала сама закутываться в теплую шаль, напяливать на руки старенькие перчатки и завязывать голову гарусным платком.

Пани Эмилия прошла несколько шагов.

— Сказать правду, я сегодня так слаба, — начала она еле слышно, — что не знаю, хватит ли у меня сил встретить моих детей...

Она уперлась дрожащими руками в стол, сердце ее учащенно билось.

Пани Эмилия не притворялась: нервы ее действительно были расшатаны до крайности.

Кирло поспешно предложил ей руку. Она оперлась на нее и, шатаясь, как слабая тростинка, пошла через гостиную, волоча за собой мягко шуршащий шлейф шелкового платья.

Вскоре все собрались на крыльце. Впереди стоял Корчинский, изменившийся почти до неузнаваемости; в его блестящих глазах не было и следа недавней грусти, морщины на лбу исчезли, рот, под длинными, свисающими вниз усами, радостно улыбался. Рядом с ним стояла Марта. На ее впалых щеках выступили круглые красные пятна, потухшими, влажными глазами смотрела она, не отрываясь, на дорогу, где виднелась быстро приближавшаяся к воротам черная точка; увядшие губы шептали, улыбаясь: «Ангелочки вы мои дорогие, милые вы мои букашки!» Нетрудно было угадать, что те, кого тут встречали, бросятся прежде всего в объятия именно этих двух людей.

В глубине крыльца, у входных дверей, Тереса с помощью пана Кирло устанавливала кресло, в которое тотчас же бессильно опустилась пани Эмилия.

— Тереса, — шепнула она, — ради бога, лавровишневых капель. А вы, пан Кирло, пойдите к пану Ружицу, — неудобно оставлять его одного.

Через несколько минут перед крыльцом остановилась запряженная четверкой бричка, из которой почти одновременно выскочили стройный русоволосый юноша и грациозная девочка лет пятнадцати. Посыпались поцелуи, вопросы, голоса смешались... Слышны были зычный голос Марты, смех девочки, быстрая речь юноши, судорожное всхлипывание пани Эмилии и визгливые возгласы Тересы, звавшей горничных, чтобы отвести больную в ее комнату.

Ружиц и Кирло рассеянно наблюдали в окно за этой сценой. Она мало занимала их.

Вдруг Ружиц отвернулся от окна и спросил:

— Кто такая... эта панна Ожельская?

Кирло расхохотался:

— Ага! видно, приглянулась? Правда, она недурна, но не в моем вкусе, — чересчур холодна, эксцентрична...

Он пожал плечами и скривил рот.

— Вкусы бывают разные, — спокойно ответил Ружиц и начал осторожно подпиливать крохотной пилкой свои холеные ногти.

— Должно быть, бедная? Бесприданница? — спросил он немного погодя.

— Пять тысяч рублей, отданные под проценты пану Бенедикту. Какое это приданое!.. Все равно, что ничего... а горда, точно княжна, и зла, как оса.

— Да, и я заметил это, — сказал Ружиц.

По его тонким губам скользнула ироническая улыбка.

— Девушка с темпераментом, — добавил он.

Кирло пылливо заглянул ему в лицо своими сверлящими глазами.

— Ну, не воспаляйтесь так быстро! — сказал он. — Темперамент, темперамент! Был — да весь вышел...

Тонкие черные брови молодого человека дрогнули сильнее, чем обычно, судорога пробежала по лбу, по коже черепа — под редкими, слегка завитыми волосами. Однако это не помешало ему спросить равнодушным, даже слегка шутливым тоном:

— А что такое?

Кирло снова плутовато подмигнул ему.

— Вы помните Зыгмунта Корчинского... художника, мы встретили его у Дажецких?

— Как же, помню; очень приличный человек и, кажется, не без таланта... У него прелестная жена, блондинка... Ну, так что же?

— Ну... он и панна Юстына...

— Роман? — небрежно спросил Ружиц.

— Да еще какой! — захохотал Кирло.

— Когда он уже был женатым?

— О нет! это еще с детства... как это часто бывает между кузенами...

— Ну, и почему же?..

— Почему они не поженились? Об этом не могло быть и речи... Его семья... и... сам он...

Однако продолжить разговор им не удалось; все уже прошли в сени и с минуты на минуту могли войти в гостиную.

Между тем Юстына привела своего отца по лестнице, когда-то покрытой лаком и нарядной, а сейчас только сохранившейся от разрушения и чистой, на чердак, где по бокам узкого коридора — дверь против двери — находились две комнаты. Одна из них была отведена пану Игнатию Ожельскому и заодно служила спальней приезжим гостям. Юстына взяла из рук отца скрипку и положила ее в лежавший на столе футляр.

— Зачем вы всегда позволяете этому господину так издеваться над вами? — резким тоном, но тихо сказала она. — Впрочем, к чему я говорю это... Я уж столько раз просила... умоляла... но не помогает и... не поможет! — Юстына безнадежно махнула рукой.

Она взяла в углу комнаты кувшин и налила из него воды в таз. Старик, в распахнувшемся халате, под которым было только нижнее белье, стоял посреди комнаты со сконфуженным видом и неизменной своею добродушною улыбкой.

— Видишь, дорогая моя Юстына, — начал он, — если б ты знала, как это трудно... а потом, что тут такого?

— О, как бы мне хотелось, чтоб вы поняли!.. — воскликнула девушка.

Она вдруг замолчала, повесила около рукомойника полотенце, а на одном из столов поставила маленькое зеркальце.

Старик тем временем потихоньку направился к скрипке и достал было уже ее из футляра, но Юстына осторожно взяла инструмент из рук отца и положила на место.

— Одеваться надо, отец, сейчас позовут к столу.

— Ах, обед! Хорошо, хорошо... а то я проголодался... Ты не знаешь, что будет к обеду?

— Не знаю, — ответила Юстына и разложила на столе бритвенный прибор. — Все готово, отец.

Старик не двигался с места и искоса поглядывал на скрипку.

— Нельзя ли мне еще немножко поиграть?

— А обед?

— Да, да. Вероятно, сегодня будет что-нибудь очень вкусное, — ведь гости... Утром я спрашивал у панны Марты, какой будет обед. Да разве она когда ответит по-человечески? Зарычала... закашлялась... расчихалась и полетела вниз... Я выпил только чашку кофе с сухариками и съел кусочек ветчины, а вниз уже мне сходить не хотелось, — играл на скрипке... Ветчина в нынешнем году удалась необыкновенная... а печенье так и тает во рту... прелесть!

Лениво, не спеша, он уселся перед зеркалом и занялся своим туалетом. Юстына ловко и быстро чистила щеткой сюртук отца. Старик нахмурился.

— Вот и всегда так, — начал он ворчливым тоном, — как только гости приедут или еще что-нибудь случится, Франек ко мне и носа не кажет. Этот мальчишка один на все... и при буфете, и за столом прислуживает, и мне, и пану Бенедикту... Где это видано, чтоб в таком доме некому было воды подать и сюртук вычистить?

— Он уже вычищен! — ответила Юстына.

— Вычищен... вычищен... — брюзжал старик, — а кто его вычистил? Ты сама! Ну, хорошо ли это, чтобы благородная паненка сюртуки чистила?.. На что это похоже?..

На губах Юстыны мелькнула улыбка. Она в раздумье остановилась посреди комнаты.

— Когда я уйду, — сказала она, — вы опять начнете играть?

— Может быть, очень может быть... а что?

— Сегодня нельзя... Как позовут к обеду, нужно, чтобы вы были совсем одеты... Пожалуй, лучше будет, если я футляр на ключ запру.

— Ну, ну, не запирай... не запирай...

Но Юстына уже повернула ключик, спрятала его в карман и вышла.

Другая комната, не слишком маленькая и очень чистая, с двумя кроватями и скромною, но приличною мебелью, вот уже несколько лет служила общей спальней Марты и Юстыны. Юстына остановилась у окна, расплела косы и стала медленно расчесывать густые черные волосы, в которых во время утренней прогулки запутались зеленые иглы и молодые сосновые веточки. На Немане было тихо. Плоты прошли, исчезли и рыбацьи челны, лазурная гладь опустела, и лишь изредка, стремительно кружась в ослепительном солнечном свете, проносились над нею сверкающие, как атлас, чайки.

Но вот невдалеке показалась плывущая к противоположному берегу небольшая лодка с двумя мужчинами.

Один из них сидел на дне лодки, свесив голову над водой, и как будто с интересом присматривался к водным лилиям, которые выбивались на поверхность пучками круглых листьев и желтыми цветами. Другой, высокий и статный, стоя разгребал веслом воду. Юстына заметила, что гребец, придерживая весло, поднял голову и с минуту всматривался в обращенный фасадом к реке дом, где она стояла у открытого окна. Когда лодка пристала к берегу, мужчина обернулся и еще раз бросил взгляд на дом, а затем с ловкостью горного оленя стал карабкаться на высокий песчаный берег. Время от времени он останавливался и, помогая товарищу, который, сгорбившись и подняв плечи, взбирался медленно и с большим трудом, протягивал ему руку или поддерживал под локоть. Молодой человек был в короткой куртке из сермяжного сукна, отороченной зеленой тесьмой; старик — в длинном кафтане и, несмотря на жару, в большой бараньей шапке. Вскоре оба исчезли за первыми деревьями, и тотчас же из лесу донесся чистый, сильный мужской голос и под самые облака понеслась песня:

Вышла дивчина — вишня-малина,
Как весенний цвет.
Глазки опустила, ручки заломила:
Не мил белый свет.
Что ты тоскуешь, что ты горюешь,
Милая моя?

Голос певца постепенно стихал в отдалении, зато у опушки слышались чьи-то громкие голоса:

— Ау, ау! Гей, гей!

— Янек! Янек! Иди сюда! — протяжно кричал кто-то басом, а какой-то женский высокий пронзительный голос затянул веселую песенку на мотив вальса:

Только услышу вальс этот — снова
Я вспоминаю друга родного.

Песня оборвалась, и на землю, озаренную солнечным светом, снова спустилась невозмутимая тишина.

III

Бенедикт Корчинский принадлежал к тем немногим людям своего поколения, которые получили высшее образование. Этим он был всецело обязан тем временам, в которые протекала юность его отца, Станислава Корчинского, сына наполеоновского legionера и воспитанника виленского университета, бывшего тогда для этой отдаленной провинции тем светочем знания, который вдохновляет молодежь на высокие подвиги. Возможно, что подобное воспитание, а быть может, и наследственные склонности, которые не всегда, но очень часто, как вода из колодца в недра земли, глубоко проникают в целый ряд поколений, спасли Станислава Корчинского от ядовитых испарений, носящихся над стоячими водами. Крепостничество, которое обеспечивало людям его сословия праздное существование и своими каменными сводами задерживало свободный взлет мыслей и движение вперед, превращало общество в болото, наполненное миазмами невежества, разврата, лени и апатии. Человеческие существа, эти слабые организмы, подобные жалким древесным губкам, всасывающие в себя укрепляющие или разлагающие соки — в зависимости от питающего их дерева, — как могли, защищались от заразы. Многие из них погибли, но небольшая часть, вооруженная унаследованной или благоприобретенной стойкостью, мужественно сопротивлялась. К числу последних принадлежал и отец Бене-

дикта. В этом обществе, где жизнь людей расценивалась, как парча, простая ткань и тряпье, он не достиг больших высот, но и не пошел ко дну. Может быть, предки его и имели когда-то крылья, но так как в этой атмосфере гниения крылья были бесполезны, то они и превратились в простые ходули, при помощи которых можно было передвигаться по болотам без риска загрязниться или увязнуть в тине. Однако при известных условиях почвы и воздуха наличие таких ходулей лучше всего доказывало существование зачатков крыльев, хотя бы в отдаленном прошлом. Достаточно уже того, что трое сыновей Корчинского провели детство в атмосфере, свободной от тлетворного дыхания разврата и тирании, в атмосфере, освещенной если не солнцем, то по крайней мере звездочкой человечности и оживленной пусть не подвигами, но хотя бы честными стремлениями их отца.

Вся округа и даже весь уезд взволновались, когда пан Корчинский после окончания его сыновьями гимназии отдал их в высшие учебные заведения. Зачем, к чему? Разве после отца им не достанется большой участок отличной плодородной земли, на которой они могут жить такими же господами, какими были их предки? Разве они не шляхтичи, не сыновья помещика и не могут по праву рождения занять то положение в свете, которое даст им возможность жить спокойно и безбедно?

Не все, однако, видели в этом решении Корчинского удача; были и такие, что следовали его примеру, но большинство только пожимало плечами. А между тем, если бы нашелся какой-нибудь провидец, сумевший приподнять завесу над недалеким будущим, он на весь свет осмелел бы этих самонадеянных, спесивых, недальновидных людей! Корчинский таким провидцем не был и грядущего не предугадывал, — до такой степени не предугадывал, что если б кто-нибудь сказал ему, какая участь ждет его сыновей, пан Станислав или возмутился бы и пришел в отчаяние, или громко расхохотался, воскликнув: «Это невозможно!» Однако тот светлый разум, которым он был обязан своему образованию, помог ему все-таки кое-что предвидеть и понимать. Он понимал, что рано или поздно,

и даже, может быть, очень скоро, подневольный труд людей станет свободным и будет более справедливо распределен между ними. Тогда жизнь его сыновей, как и жизнь всего общества, перелитая в новую форму, потребует и новой оснастки. А может быть, ему хотелось, чтобы его сыновья узнали радость общения с наукой, с товарищами, радость, какую приносит постепенное расширение умственного кругозора, — все, что испытал в юности и сам пан Станислав. Может быть, также, что тень надвигающегося будущего уже касалась порой его чела, но на все доводы и шутки соседей он только хмурился и неизменно отвечал:

— На всякий случай! На всякий случай!

Наконец старание бывшего студента виленского университета получше подготовить сыновей к жизни было делом прямого расчета. Они вовсе не были так богаты, как это могло казаться поверхностному наблюдателю. По количеству принадлежавшей ему земли Станислав Корчинский был помещиком средней руки. Позже благодаря трудолюбию и бережливости и не причинив людям особого ущерба, что было трудно в те времена, он прикупил к наследственному Корчину другой фольварк, такой же ценности. В целом это поместье представляло довольно значительное имущество, но так как Станислав Корчинский имел еще дочь, то при разделе на четыре части доля каждого не составила бы богатства. Мысленно пан Корчинский назначил младшему сыну, Бенедикту, родовой Корчин, а старшему, Анджею, благоприобретенный фольварк и возложил на обоих обязанность выдать приданое сестре и известную сумму денег среднему брату, Доминику, который изучал юриспруденцию в далеком большом городе.

Бенедикт окончил курс в агрономической школе и вернулся в свой Корчин в 1861 году. Мать его умерла давно, отец скончался несколько лет назад, сестра вышла замуж, но в двух милях от Корчина хозяйничал на своем прекрасном фольварке не так давно женившийся Анджей, и Доминик приехал в родной дом на короткое время отдохнуть после окончания университета. Кроме того, в Корчине жила его родственница, осиротевшая в раннем детстве и воспитанная его роди-

телями, панна Марта Корчинская. Это была двадцатичетырехлетняя девушка, которой как нельзя лучше подходило название амазонки. Может быть, чересчур высокая, но статная и живая, с глазами, как огонь, она так деятельно взялась за хозяйство и наполняла дом таким веселым шумом, что пан Бенедикт почти и не заметил пустоты. Впрочем, все три брата всегда жили в дружбе и добром согласии, а теперь в жизнь их вошло некое новое начало, и они, как три стрелы, летели все к одной цели. Во всех троих вдруг заговорила кровь участников Барской конфедерации и солдат из-под Соммо-Сьерры¹, и то, что в предшествовавшем поколении почти задремало и только иногда во сне прорывалось тихим плачем, теперь, разбуженное в них набатом времени, встрепенулось и унеслось на крыльях фантазии в высоко вспыхнувшее пламя. Гей! Огнем и бурей пронеслись для них эти два года! Стоячие воды зашумели, вздулись и начали выбрасывать вверх кипящие каскады; в мертвом воздухе завывали ветры, разнося по земле золотистые туманы и образуя на небе ярко горящие зори и радуги. Дух демократизма всеуравняющим плугом распахивал общественную целину. Верхи общества в порыве раскаяния склонялись к низам, готовые вознаградить их за все несправедливости, умоляя о снисхождении и доверии.

¹ Говоря о традициях участников Барской конфедерации и солдат из-под Соммо-Сьерры, Ожешко имеет в виду героизм самопожертвования, воинскую отвагу. Именно эти представления связывались в эпоху написания романа с Барской конфедерацией 1768—1772 гг. и с сражением польского легиона у Соммо-Сьерры в Испании в 1809 г. в рядах армии Наполеона I. Однако самоотверженность рядовых участников Барской конфедерации и выдающаяся отвага польских кавалеристов под Соммо-Сьеррой, искренно думавших, что они борются за освобождение Польши от иноземного ига, не должны заслонять от нас реакционного значения обеих этих страниц истории Польши. Созданная польскими магнатами и католическими епископами, Барская конфедерация лишь прикрывалась патриотическими лозунгами, а в действительности стремилась увековечить в Польше прогнивший феодально-крепостнический строй и государственную анархию и закрепить угнетение украинского и белорусского народов. Реакционным было и участие польских войск в подавлении национально-освободительной борьбы испанского народа против наполеоновского нашествия. (Прим. ред.)

Между Корчином и соседнею деревней Богатыровичами установилась тогда тесная дружба. Жители этой деревни некогда пользовались дворянскими привилегиями и владели удостоверяющими их грамотами, но в силу всякого рода обстоятельств эти привилегии были уже давно утрачены. Теперь обитатели Богатыровичей вели убогую трудовую жизнь мелких хлебопашцев. И вот корчинский дом широко распахнул перед ними свои двери. Сколько народу толпилось теперь в этом низком просторном доме! Какие возгласы оглашали его залы и, вырываясь из окон, плыли вдаль по волнам реки! Такого шума и таких криков не слышал ни этот густой бор, ни эта широкая равнина со времени шведского нашествия.

Самым горячим из братьев Корчинских был старший, Анджей. Человек женатый, отец, он забывал о жене, ребенке, о своем хозяйстве и почти все время проводил в родном гнезде. Нерешительный и более сдержанный Доминик, который собирался начать самостоятельную жизнь, откладывал со дня на день свой отъезд, не желая расставаться с братьями.

Для Марты это время было золотою порой ее жизни. Она суежилась вдвое больше, чем всегда — гостей всегда было полно, — всей грудью вдыхала она знойный воздух бурной поры и вместе с другими надеялась, ждала, ее огненные глаза были полны страстной мечты, и, как птица, оживленная радостью весны, она часто пела... Голос у нее был сырой, необработанный, но сильный и чистый. Чаще всего она говорила и пела с Анзельмом Богатыровичем, красивым юношей в грубых сапогах и в куртке из домотканного сукна. Анзельм, голубые глаза которого всегда сверкали, смеялся так громко, что его было слышно по всему дому, распевал своим могучим баритоном бесконечное число песен, приносил Марте громадные, как веники, букеты полевых цветов, а когда садился рядом с ней за стол — так краснел, что уши пылали у него ярче маков.

Брат Анзельма, Ежи, особенно подружился со старшим Корчинским, что бывает так редко между людьми различного положения и воспитания. Анджей был сыном состоятельного дворянина, получил хорошее обра-

зование, был женат на самой богатой невесте во всей округе, владел прекрасным имением, тогда как другой ни в какой школе не учился и не имел ничего, кроме двадцати моргов земли, которую он обрабатывал собственными руками. Впрочем, в одном их положение было сходно: и тот и другой имел детей — маленький Зыгмунт Корчинский и Янек Богатырович были ровесники. Но, очевидно, их связывало не только это: с того дня, как братья Корчинские, наклоня головы, в первый раз вошли в низкую дверь дома Богатыровичей, Анджей и Ежи почти никогда не разлучались. Вместе шли они в широкие поля, чтобы вести там долгие беседы, вместе охотились на диких уток и бекасов, вместе уплывали в рыбацьем челноке по Неману в отдаленные деревни и местечки, вместе читали, вместе...

Бенедикт, тогда стройный худошавый юноша, не вполне еще отдохнувший от напряжения последних школьных лет, более похожий на студента, чем на помещика, радушно принимал и угощал в своем доме братьев и соседей, а с почтенными родственниками, наезжавшими к молодым Корчинским с целью предостеречь их или увещевать, вступал в самые ожесточенные споры... Шумно, тревожно пролетели для него эти два года.

По прошествии некоторого времени все это стало казаться сном, полным почти сверхъестественных видений, — до того они были не похожи на сменившую их действительность. Когда Бенедикт очнулся от снов ранней молодости, то прежде всего почувствовал, что около него нет братьев. Анджей вместе со своим другом Богатыровичем исчез с лица земли, и тогда же одно из корчинских урочищ переименовало свое название. В урочище находился тот занеманский бор, с которым соприкасались обширные леса Анджея и его соседей. Прежде оно называлось Ельником, а теперь все стали называть его Могилей. Кто первый дал ему такое имя и почему оно распространилось сразу и повсеместно — трудно сказать, но, принятое всеми окрестными жителями, оно стало единственным надгробным памятником старшему из братьев Корчинских. Другого не воздвигали ему никогда... Вдова Анджея поселилась с ма-

леньким сыном в своем довольно большом, полученном в приданое имении в двух милях от Корчина. Доминик был жив, но судьба забросила его очень далеко. Только несколько лет спустя он прислал брату письмо, в котором сообщал, что, наконец, получил небольшую должность и кое-как наладил свою скромную жизнь.

Чтобы выплатить брату его долю, согласно завещанию отца, Бенедикт заложил имение в банк; но выдать приданое сестре тоже было не из чего, и, до сих пор чистый, как стеклышко, Корчин был теперь обременен долгами. Это были долги неизбежные, сделанные не по легкомыслию или расточительности, тем не менее когда Бенедикт, очнувшись от сна своей юности, еще раз оглянулся вокруг, то увидел, что он, сын богатого помещика, вовсе не богат... Он не был ни трусом, ни сибаритом, и такое открытие мало его смутило, но за этим открытием последовало еще много других. Как раз наступила пора обильных урожаев на те палки, что, попав в колеса всякого хозяйства, превращают его в жалкую телегу, которая весною еле тянется по размытой дороге, и в густой грязи то колеса увязнут по оси, то лошади по колена утонут. В таком положении кони, будь они даже арабской породы, ничем не могли помочь, и нужные были покорные судьбе терпеливые волы. Бенедикт сначала, как необузданный конь, становился на дыбы, но мало-помалу уgomонился.

Привыкнув в молодости чутко ко всему прислушиваться и блуждать взглядом по облакам, он скоро понял, что ничего хорошего там не увидит и не услышит, что поющие деревья и золотые зори его юности отошли в область сказок, да еще таких, какими пугают избалованных детей, чтобы они слушались старших. И, согнув спину, он стал вытаскивать палки из своей телеги. Эта была поистине работа Пенелопы! ¹ Выдернешь одну, застрянет другая, вытащишь две, попадет четыре. Сначала он делал это неловко и все

¹ *Пенелопа* — по мифам древней Греции, жена героя Одиссея, двадцать лет прождавшая его, пока он скитался по свету. Чтобы избавиться от многочисленных женихов, она сказала, что выйдет замуж тогда, когда соткет покрывало. Но Пенелопа днем ткала покрывало, а ночью распускала.

еще время от времени поглядывал на облака, что подчас дорого ему обходилось.

Так, например, еще в первые годы хозяйствования разные хорошо ему известные теории натолкнули его на мысль заставить своих бывших крестьян учиться грамоте, разводить фруктовые сады, лечиться у докторов, а не у знахарок, объезжать корчму. Но вскоре он был вынужден оставить подобные занятия и на несколько месяцев отлучиться в ближайший город, чтобы уладить одно довольно дорого стоящее и небезопасное дело. С тех пор на облака он уже не обращал взора. В другой раз, увлекшись хозяйственными опытами, он решил видоизменить породу корчинского скота. Сказано — сделано. Это сулило ему в будущем выгоды, и он не пожалел денег, но тут наступил срок взноса временно установленных налогов, и к старым долгам прибавился еще новый.

Наконец, собираясь жениться на прелестной молоденькой, благовоспитанной барышне, которую он любил всею душой, Бенедикт захотел украсить корчинский сад и окружить весь старинный отцовский дом роскошным ковром цветущих растений и бархатных лужаек; он и сам был сведущ в садоводстве, да еще нанял опытного и очень дорогого садовника. Действительно, через два года в Корчине появились чудесные лужайки, цветники и оранжереи, невероятной толщины спаржа, персики и даже ананасы, но — увы! — вскоре неопровержимо сказалась невозможность поддерживать все это без ущерба для более важных отраслей хозяйства.

Еще несколько таких взлетов в облака — и Бенедикт Корчинский разорился бы вконец. Но, несмотря на свою увлекающуюся натуру, он сумел взять себя в руки. Он перестал рыть копытом землю и раздувать ноздри, и легкие грациозные скачки арабского коня стали мало-помалу переходить в тяжелую и понурую, но ровную поступь терпеливого вола. Чего стоила ему эта метаморфоза — об этом он никому не говорил. Впрочем, нет, он пробовал как-то открыть свою душу одному существу.

Двенадцать лет прошло со времени разлуки с братьями, оскудения наследственного имущества и оконча-

тельного крушения его юношеских идеалов, когда в тихий летний вечер Бенедикт Корчинский долго искал свою жену по обширному старому саду. Последние лучи солнца падали на его загорелое, блестящее каплями пота лицо. Он шел крупными шагами, низко нагнув толстую, красную шею. Что-то, должно быть, волновало его, и, думая об этом, он покусывал длинный ус.

После долгих поисков он услышал, наконец, отзывавшийся из глубины тенистой беседки тихий, серебристый голос пани Эмилии. Беседка из толстой проволоки, густо обвитая цветущей каприфолией, была одним из немногих уцелевших украшений сада, сделанных Бенедиктом перед женитьбой. Теперь достаточно было одного взгляда на него, чтобы убедиться, что он оставил всякую мысль о подобных барских затеях.

Войдя в беседку, Бенедикт несколько раз поцеловал у жены руку и, нежно коснувшись губами ее лба, сел рядом. Прелестная тридцатилетняя брюнетка в белом капоте сидела с усталым, скучающим видом в удобном садовом кресле, опершись на подушку и положив изящно обутые ножки на скамеечку. На коленях у нее лежала открытая книга. Приход мужа не расправил морщинок на ее лбу; она только немного отклонила лицо, чтобы не чувствовать его шумного и горячего дыхания.

— Я так устал, Эмилия, — начал он, — что решил дать себе маленький отдых. Пусть там управляющий и рабочие подождут, а я посижу с тобой каких-нибудь четверть часика... Уф! Эта уборка, — пока она кончится, сто раз изжаришься на солнце и до смерти измучаешься.

— Я тоже страдаю от жары, — тихо сказала женщина.

— Да что там жара! — проводя рукой по влажному лбу, продолжал Бенедикт. — Физическую неприятность всякий может перенести, была бы душа покойна.

— А что может тебя так беспокоить? — с едва заметной иронией спросила Эмилия.

— Гм!.. ты то и дело спрашиваешь меня об этом, и я всякий раз все рассказываю, а ты опять с тем же вопросом.

— Я совершенно не могу понять твоих интересов и забот и всегда забываю об этом...

Как будто почувствовав еще большую скуку и усталость, она глубже откинулась на спинку кресла и удобнее положила ноги.

— Однако, — с некоторым раздражением возразил Бенедикт, — все это вещи очень понятные, и их нетрудно запомнить... Я до конца жизни не забуду, в каком я был страхе, когда прошлый год не мог внести проценты в банк... Урожай был плохой... Уже хотели описывать Корчин... Помнишь, с каким трудом я добыл деньги и поскакал с ними в Вильно?.. Всю осень я бился, как рыба об лед. Не дай бог пережить это еще раз...

Пани Эмилия грустно кивнула головой.

— Для меня та осень тоже прошла не весело... Этот бронхит... и потом я все время была одна, как в пустыне.

Бенедикт поцеловал руку жены.

— Беда, что у тебя такое слабое здоровье! Правда, тогда меня почти два месяца не было дома, а в это время ты несколько дней пролежала в постели. Но ведь ты оставалась не одна... С тобою были панна Тереса, Марта, Юстына, дети... Наконец ты могла слушать игру пана Игнатия, — какая же это пустыня?

— Я всегда живу, как отшельница, — прошептала женщина.

— О! — почти крикнул Бенедикт, — лучше уж жить отшельником в пустыне, чем вечно вести такую борьбу, какую веду я! Сколько мне стоят хотя бы эти тяжбы с мужиками! Ведь я человек как человек, не тиран, не изверг. Когда-то я к этому нашему трудовому народу всем сердцем рвался, а теперь? — Сплошная темнота, и я им ничем помочь не могу. Они мой лес рубят, травят поля, скотину на мои луга пускают, — так могу ли я не оберегать свою собственность?.. Будь я магнатом, клянусь богом, меня бы это не трогало, — лучше меньше получать, только бы не заводить этих вечных споров... Но мне от этого самому солоно приходится. Здесь заштопаешь, глядишь — в другом месте дыра, там зашьешь — в третьем распоролось, и бог знает что еще с нами будет! И вот хочешь, не хочешь,

таскай их по судам, когда сердце у тебя, ей-богу, так кровью и обливается.

Он еще ниже опустил голову — длинные усы свисали почти на борт сюртука — и, упершись ладонями в колени, смотрел в землю. Пани Эмилия, не сводя глаз с верхушек деревьев, которыми играл осенний ветерок, тихо сказала:

— О! И я знаю, что значит плакать без слез...

Бенедикт поднял голову, внимательно заглянул в лицо жены и махнул рукой.

— Только, видишь ли, Эмилия, у тебя это все от нервов, а у меня... Ну, а я о всяких приятных или возвышенных предметах и мечтать разучился... Но и мне хотелось бы иногда вздохнуть свободней и быть уверенным, что все вы не останетесь без куска хлеба...

— О, все этот хлеб, хлеб и хлеб! — тихо рассмеялась Эмилия.

Бенедикт посмотрел на нее широко открытыми глазами.

— Чему ты смеешься? Хлеб... конечно, хлеб у меня на первом плане. Сама ты не можешь обойтись даже без духов и... как их там... разных своих капотиков, а с такой иронией говоришь о хлебе...

— Я обхожусь без множества вещей, так же необходимых для души, как хлеб насущный... — немного оживилась пани Эмилия.

Бенедикт снова посмотрел на жену, пожал плечами и свесил голову так низко, что концы усов касались борта сюртука. Он молчал. Красивая брюнетка в белом капоте молчала тоже, искоса оглядывая лицо мужа, его фигуру и костюм. Видно было, что она подводит какой-то мучительный для себя итог, делает какие-то сравнения. Может быть, она думала, что сидящий рядом с ней человек был совсем не таким в то время, когда она узнала и полюбила его.

Тогда это был статный юноша со свежим цветом лица, блестящими, хотя и немного грустными глазами. Танцевальных вечеров тогда никто не давал, и танцующим она его не видала, зато восхищалась его ловкостью и силой, когда он скакал верхом. Смелость и отвага Бенедикта создали ему репутацию чуть ли не

безумца, а несчастная судьба братьев окружила его ореолом поэзии и рыцарства. Говорили, что его спасло только необыкновенно счастливое стечение обстоятельств. Вообще при тогдашнем недостатке в молодых людях он мог считаться блестящей партией. Она гордилась тем, что он выбрал именно ее, что полюбил со всею силой своей пылкой натуры, что считал брак с ней счастьем, которое после стольких горестных утрат должно снова озарить его жизнь.

Мысль о том, будет ли ее окружать в Корчине, который считался великолепным имением, весь тот комфорт и изысканная роскошь, к которым она привыкла в родительском доме, даже не приходила ей в голову, — она и представить себе не могла, что можно жить иначе. Впрочем, ею руководил не расчет, когда, счастливая, она давала слово Бенедикту: будущий муж очень нравился ей, она была в него влюблена. Почему же теперь... Да разве это тот же человек, что был десять лет назад?

Теперь от постоянной верховой езды и движения кости и мускулы его как-то особенно раздались; он стал широкоплечим; походка его отяжелела, шея огрубела и покрылась красным загаром. На лбу, когда-то белом и гладком, как у девушки, с каждым годом прибавлялась не одна морщина, а сейчас, в пору жатвы, он был почти бронзовым и влажным. Бенедикт пришел в беседку в высоких сапогах и парусиновом сюртуке и принес с собой характерный для жнецов запах пота и сорняков, пристающих к одежде. Такая перемена произошла с ним не сразу, но глаз, привыкший к изысканным формам жизни, никогда не смог бы с ней примириться.

Почему этот человек так изменился, она не понимала и не старалась понять. Достаточно, что вот уже несколько лет она чувствовала себя разочарованной и обманутой, отчего хворала и грустила. В безлюдном и тихом Корчине, в присутствии вечно занятого мужа, не имевшего ни времени, ни охоты разделять с ней ее любимые занятия, она просто-напросто потеряла всякий вкус к жизни. Это выражалось в постепенно возрастающем отвращении ко всякому движению. Зачем ей утруждать себя, когда это не доставит ей ни малейшего удовольствия.

Чтобы укрепить нервы, она дважды ездила для лечения за границу и возвращалась действительно окрепнувшей, возрожденною; но проходило несколько месяцев — и болезнь и тоска беспокоили ее с новою силой. Она перестала бывать у соседей, — они казались ей страшно неинтересными, — редко выходила на прогулку, потому что и небо, и земля, и все, что она видела, были ей так хорошо знакомы и так обыкновенны. Чем дальше, тем сильнее овладевала ею какая-то лень души и тела, и даже короткий переход из дома в беседку подчас утомлял ее. К счастью, она любила читать и заниматься рукоделием. Она глотала книгу за книгой, вышивала всякие подушки, покрывала, скатерти и тому подобное, но скука ее не покидала, и все чаще начинали беспокоить ее какие-то боли, мучительное недомогание и слабость. Задолго предчувствовала Эмилия приближение этих болей, ждала их с ужасом и старалась бороться с ними при помощи тысячи средств. Таково было ее поистине печальное существование.

В то время как эта красивая тридцатилетняя женщина молча вспоминала все это, грузный, загорелый, усталый и измученный человек в парусиновом сюртуке и высоких сапогах повернулся к ней, заглянул ей в глаза и взял в свои жесткие ладони ее нежную ручку.

— Скажи, Эмилия, — начал он, — отчего в последнее время ты так чуждаешься меня? Неужели я обидел тебя чем-нибудь, ты в чем-то можешь меня упрекнуть? Вот и сегодня... Я спешил, чтоб отдохнуть подле тебя, успокоиться, мне хотелось облегчить свою душу, поцеловать тебя, набраться бодрости, а ты только жалуешься или молчишь... да, да, ты относишься ко мне... чуть ли не враждебно. Я замечаю это уже не в первый раз, да, да, не в первый! Ты уже давно такая, но сегодня мне как-то особенно больно... Отчего ты стала так холодна со мной? Отчего ты вечно чувствуешь себя несчастной, отчего, скажи, дитя мое, отчего?

Он взял ее другую руку, приблизил лицо к ее лицу и, любовно глядя на нее, с мольбой в голосе, еще тише и нежнее спросил:

— Отчего, Эмилия?.. Скажи, отчего, моя дорогая?

Она не противилась его ласкам, но, хмурясь все

больше и отворачивая от него прелестное личико, сказала с трогательным сокрушением:

— О, если бы ты так не изменился, Бенедикт, если бы так не изменился! Тогда... и я, быть может, была бы, как прежде. Но ты стал совсем не тот, совсем не тот!..

Бенедикт задумался над словами жены.

— Да, — подтвердил он, — я действительно изменился.

— И так ужасно, точно тебя коснулся жезл какого-то злого волшебника.

Бенедикт махнул рукой и засмеялся не то веселым, не то горьким смехом.

— Какой там волшебник! Жизнь, душа моя, жизнь меняет людей! При таких, скажу я тебе, обстоятельствах разве только последний дурак мог бы удержаться в роли Адониса...¹ Но что касается моего сердца, характера...

Она вдруг выпрямилась и с несвойственной ей твердостью убежденно заговорила:

— Нет, Бенедикт, я никогда не соглашусь с тем, что жизнь вправе требовать от нас таких жертв. Жизнь может быть хороша и счастлива только для тех, кто отбрасывает ее грубую, прозаическую сторону. А тот, кто, подобно тебе, погрязает в одних материальных интересах и отказывается от всего прекрасного, от всякой поэзии жизни...

— Значит, мы с тобой погрузимся в поэзию, а тем временем банк или ростовщики продадут Корчин, и нам вместе с детьми придется идти по миру?

Он сказал это мягко, но сейчас при взгляде на жену по его лицу пробежала гримаса пренебрежения.

— Мы не понимаем друг друга и не можем понять, — с грустным равнодушием сказала пани Эмилия.

— Да наконец, — крикнул Бенедикт, — чего ты хочешь от меня? В чем я провинился перед тобой? Чем ты недовольна? Неужели ты и в самом деле требуешь, чтоб я неотлучно сидел около тебя и, забыв свои обязанности по отношению к нашим детям и к тебе

¹ В греческой мифологии — бог умирающей и воскресающей растительности. Прекрасный юноша, возлюбленный богини Афродиты.

самой, как болван какой-нибудь, читал с тобою чувствительные романы, слушал пиликатье Ожельского и не заботился ни о своем куске земли, ни, наконец, о своей чести, так как честное имя человека нередко зависит от его материального благополучия? Неужели тебе действительно этого хочется?

— Ах, нет, — живо возразила Эмилия, — теперь я ничего не хочу, ничего! У каждого из нас создан свой особый мир, особый...

— Так чего же тебе недостает? Роскошью я действительно тебя не могу окружить... да и к чему эта роскошь?.. А недостатка в нашем доме пока, слава богу, нет... Трудиться или заботиться о чем-либо тебе не приходится. Я сразу увидел, что ты не создана и не воспитана для труда, и не предъявлял уже к тебе никаких требований. Хозяйством занимается Марта... ты делаешь только то, что хочешь, у тебя есть дети, книжки, рукоделие, моя любовь в конце концов...

Эмилия медленно выпрямила свой хрупкий стан и, блестя глазами, прервала мужа:

— Ты перечислил все, что у меня есть, скажи теперь, чего у меня нет... Что в сущности у меня есть? Я живу в этом захолустье, как монахиня, и увядаю, как растение, посаженное в песок. Что из того, что я не испытываю нужды? Мои потребности выше этого. Я не забочусь о сытном обеде, но хочу чувствовать вокруг себя хоть немного поэзии, красоты, искусства... А где же я могу здесь найти все это? Я жажду смены впечатлений... я не могу быть стоячею водой, моя душа требует молний, которые озаряли бы ее... Мне нужно прежде всего, чтобы кто-нибудь разделял со мной мои чувства, а есть ли подле меня хоть одно сердце, которое билось бы в унисон с моим? Ты говоришь, что любишь меня; для меня это звучит как ирония... прости, что я говорю правду. В твоей натуре нет тех возвышенных чувств, той пылкости, которых я требую от любви. Если бы ты любил, ты не покидал бы меня на целые часы, на целые дни из-за каких-то будничных дел. Со мной, для меня ты позабыл бы обо всем, ты не оскорблял бы ежеминутно моих вкусов и привычек, ты бросил бы все, чтобы развлечь меня, занять, сделать счастливой. Вот

как я понимаю любовь, вот какой любви я ожидала от тебя, но давно уже вижу, что ошиблась. Я так страдала, что мое слабое здоровье совсем пошатнулось... Наконец я решила покориться судьбе. Но если взамен я бы имела хоть какую-нибудь радость, какое-нибудь развлечение! Живу в глуши... скрытая от всего света непроходимыми лесами... никого не вижу... Проза... проза... проза... Я не могу, как ты, довольствоваться этим; и эта скука... Да, я скучаю. Ведь книги и рукоделие никого не могут удовлетворить, а заняться другим, даже если б я и хотела, не позволяет мое здоровье.

Она говорила все это тихо, без гнева, но в голосе ее звучало неподдельное горе. На глаза у нее навернулись слезы, но она сдержала их и с полною безнадежностью закончила:

— Но зачем говорить об этом? И ты не изменишься, и ничто не изменится. Звезды судьбы светят разным светом. Моя горит темным. Я с радостью замечаю, что мне день ото дня хуже и, быть может, уже ждет меня могила...

Она на мгновение прижала к глазам платочек, от которого повеяло ароматом резеды, потом отвернула лицо и стала следить за игрой колеблемых ветерком веток каприфолий.

Бенедикт слушал, не прерывая, и только покусывал кончики усов, а когда она умолкла, не глядя на нее, произнес изменившимся голосом:

— Я... меня... мое... мне... для меня... со мной...

Он встал. Казалось, за эти недолгие минуты его высокая сильная фигура еще более отяжелела.

— Ты права: мы не понимаем друг друга и, наверное, никогда не поймем... Это для меня не ново, но я все еще старался обмануть себя. Что же делать? Пусть будет еще и это. Только позволь заметить, что твои «растения, посаженные в песок», «вспышки молний», «звезды судьбы», «могилы» и прочее весьма далеки от поэзии, — это просто набор высокопарных выражений из плохого старомодного романа... Я тоже когда-то не был чужд возвышенных стремлений, далеких от будничной жизни, и отказался от них не ради попок или любовниц, а в силу крайней необходимости и тяготею-

щих надо мной обязанностей. Возможно, и в этом есть доля поэзии, — но такая поэзия тебе недоступна... Что делать? Пусть будет еще и это...

В его голосе слышались слезы и сдержанный гнев. Он вышел из беседки.

После этого Бенедикт долго расплачивался с работниками, сначала в кабинете, а потом на крыльце, советовался с управляющим, вел громкий и горячий спор с двумя Богатыровичами, пришедшими просить, чтобы им вернули пойманных на потраве его поля лошадей. Этот последний разговор еще больше утомил и измучил его. Бенедикт требовал от людей, стоявших на ступеньках крыльца, возмещения убытков. Люди эти сначала просили, но потом один из них рассердился, стал дерзко отрицать потраву и упрекать Бенедикта в жестокости, в нежелании войти в их положение. Корчинского это задело за живое, и он начал кричать громко, на весь двор. Тогда другой спорящий — среднего роста с желтым, как рыжик, лицом и ухарски торчащими усами — тоже разгорячился.

— Так пусть же нас суд рассудит! — закричал он. — Подавайте жалобу, — без суда мы не дадим обирать себя!

— И подам! — ответил Корчинский. — Я не позволю вам меня обкрадывать!

— Ну, уж это извините!.. Ворами мы не были и никогда не будем... Теперь мы подадим на вас судье за оскорбление!

— Подавайте хоть самому дьяволу, только убирайтесь отсюда! Сию же минуту! Как вас зовут? Ваши имена?

Старший — худой, болезненный, до сих пор молчавший человек — сделал шаг вперед, посмотрел своими кроткими, когда-то голубыми, а теперь выцветшими и страдальческими глазами на Корчинского и тихо проговорил:

— Анзельм Богатырович.

Корчинский, в гневе не обратив внимания ни на особенный взгляд говорившего, ни на еще более выразительную интонацию, с какой тот назвал себя, спросил:

— А другой кто?

— Фабиан Богатырович! — сердито ответил человек с усами.

— Ну, так, значит, будем судиться... а теперь убийтесь, да поскорей!

— Панская ласка что быстрый конь... Покойник пан Анджей, наверное, не так бы поступил с нами...

Эти слова кольнули Бенедикта. Он смягчился, стал спокойнее, но теперь еще больше нахмурился.

— Покойник пан Анджей жил в другое время, — пробормотал он и быстро повернулся к двери, но на пороге остановился и добавил: — Часть штрафа я с вас снимаю, — заплатите только половину.

— Не заплатим! — ответил Фабиан. — Тащите нас в суд... нечего делать!

Подобные сцены на крыльце повторялись довольно часто.

Несколько крестьянских деревень и один шляхетский поселок держали Корчин в настоящей осаде, и если бы Бенедикт сопротивлялся менее энергично — сотни мелких рыбешек в мгновение ока растерзали бы более крупную рыбу. В этот день он чувствовал себя каким-то особенно усталым и подавленным.

На него сильно повлиял разговор, произошедший в беседке, а смутные воспоминания, которые вызвали лицо и слова Анзельма Богатыровича, переполнили чашу... Он правильно определил свое душевное состояние, да, в нем что-то рыдало... И правда, идеалы молодости, занесенные песком более поздних событий, превращаются в клещей, которые при малейшем движении больно впиваются в сердце. Бенедикт прошел в кабинет, сел за письменный стол, на котором горела лампа и были разложены счетные книги, и, опустив голову, погружился в печальные размышления. Потом вытащил из-под пресс-папье письмо и начал внимательно читать его. То было письмо Доминика из далекого края:

«Дорогой брат! Мне очень жаль, что ты так бьешься со своим хозяйством, и я считаю своим долгом сказать тебе правду. Все вы люди непрактичные. Человек — не гриб, чтобы прирастать к одному месту; не повезло —

надо искать другое. Свет на Корчине клином не сошелся, можно добиться и лучшего положения, только для этого надо быть немного энергичнее и трезво смотреть на жизнь. Если бы я знал, что ты стал трезво смотреть на вещи, я постарался бы помочь тебе выйти из того невыносимого положения, в которое вы все себя *поставили*. Продай Корчин, а я берусь обеспечить тебе место управляющего в *одном* из здешних больших имений. Я в хороших отношениях с *одним* князем, который ищет сейчас добросовестного управляющего со специальным образованием. Жалованье — пять тысяч в год, готовое содержание, великолепная квартира во дворце, лошади и пр. *Сторона* здесь богатая, можно заняться чем угодно: сплавлять лес, построить *винокуренный завод*, брать *подряды*. Но, конечно, для этого нужен опыт, и я не знаю, справишься ли ты с такими делами. Мне по крайней мере до сих пор везет только *по службе*, а со спекуляциями у меня не ладится. Во всяком случае тебе было бы легче, имей ты жалованье и чистые деньги, которые выручишь от продажи Корчина. Я знаю, что вбить тебе это в голову будет трудно, помню, как и я тосковал *по родине*, как мучился, пока не выбросил из головы все эти глупости. Но нужда учит человека многому и многое заставляет забывать. Везде хорошо, только бы не поступаться своею совестью. Я совестью своей не торгую (*потому* и спекуляции мне плохо удаются), но все-таки забочусь о себе и о своем семействе, и на службе я на хорошем счету. Заботься и ты о себе и старайся, чтобы всякие *призрачные цепи* не испортили тебе остаток жизни. Я хочу тебя спасти и сделаю все, чтоб устроить тебя как можно лучше. Я хоть и многое забыл, но не забыл тех лет, когда мы с тобой вместе росли, учились, и потом... Бедный Анджей! Двое нас только осталось, да и то друг друга не видим... Как бы мне хотелось, чтобы ты жил *здесь* и чтобы дети наши подружились между собой... Взвесь все, о чем я говорю тебе, и решай...»

Бенедикт подумал, что брат его тоже изменился... Вот она, жизнь-то!.. Писал он Доминику редко, письма брата ему не нравились, и много раз хотелось всту-

пить с ним в спор, но все некогда было, да и мысли с трудом шевелились в усталой голове. Махнув рукой, он только сильнее хмурил брови и, успокоившись на том, что у него в сущности давно уже никакого брата нет, на долгие месяцы забывал о Доминике. Сейчас он, однако, с более нежным чувством и более внимательно перечитывал это последнее письмо. Такова жизнь! Чего не делает она с людьми! Одного ломает так, другого иначе. Вот хотя бы Доминик... забыл о многом, а о старой их дружбе все еще помнит, а может, и совет дает правильный. Может, эта собачья жизнь действительно ни к чему не приведет? Мельчаешь здесь, душу свою угашаешь... Были б еще вдвоем... а так, одному, да при такой семейной неурядице... тяжело. Там работы будет, конечно, больше, но работа его не пугает, — страшно то, с чем она здесь связана. Там потрудишься, зато будешь спокоен, уверен в завтрашнем дне... не будет этих вечных тяжб с людьми. О, эти тяжбы!

«Будь я богат, — думал Бенедикт, — клянусь богом, не входил бы ни во что, и пусть получал бы меньше, только бы не иметь дела с этими судами. Ведь самому невогнать... Там я и успокоюсь, и плесень с себя стряхну, и добрым людям докучать не стану... Пусть уж с ними кто-нибудь другой препирается. Возможно, брат и дело говорит... Как давно я не видал его! А она еще жалуются на свое одиночество... Вот я — так в самом деле в пустыне живу: ни поговорить не с кем, ни посоветоваться! А там рядом брат... Изменился он... Ну что ж? Такова жизнь! Бедный он, бедный, такой же, как я!»

Он снова положил письмо Доминика под пресс-папье. Не сегодня, так завтра он ответит согласием.

«Нужно только разузнать подробно... Выговорить себе право хоть раз в три года ездить на родину, а то... если навсегда... с тоски умрешь...»

Дверь кабинета с шумом распахнулась, и в комнату вбежало, подпрыгивая, словно кузнечик, маленькое существо с развевающимися при каждом прыжке волосами цвета спелой пшеницы, когда ее золотит солнце. Ребенок подскочил к Корчинскому, обхватил ручонками его шею и зашебетал:

— Папа, тетя Марта спрашивает, тебе сюда прине-

сти ужин или ты придешь в столовую, и чего тебе прислать: цыплят, простокваши или малины?.. Тетя Марта дала мне много-много малины... а пирожное с малиной еще не готово... Она сказала, чтобы ты кушал простоквашу... сегодня она удалась, не то что вчера.

Корчинский нагнулся и закрыл рот ребенка поцелуем. Это был единственный способ прекратить немолчное щебетанье и то ненадолго, потому что мальчик уже потянулся руками к ночным бабочкам, которые налетели в открытое окно и, покружившись над лампой, падали на серые переплеты конторских книг, беспомощно раскинув трепещущие крылышки.

— Папа! Смотри,— вскричал он,— какие бабочки... у-у, сколько их!.. Но в саду они красивее; Юлек говорит, что через месяц рыбаки будут уже ловить «яцицу»... знаешь, ночью... на челноках... с огнем... Ты когда-нибудь ловил с рыбаками яцицу? Юлек говорит — это такие маленькие-маленькие бабочки... для рыб, на приманку...

— Витек! — сказал Корчинский, смотря сыну в лицо таким взглядом, каким до этого, может быть, не смотрел никогда. — Послушай, Витек!

— Что, папа?

— Ты любишь этих мотыльков?

— Да, папа. Они такие красивые...

— А Неман любишь?

Ребенок даже затопал ногами.

— Папочка, если бы ты знал, как весело ловить рыбу с лодки. Я с Юльком сегодня катался... Он поймал шуку, а я двух пескарей, хорошеньких-хорошеньких... на удочку.

— И лес любишь, тот, что за Неманом?

— Ах, папочка, в воскресенье мы с тетей Мартой и Юстиной ездили туда на лодке, грибы собирать... вот было хорошо...

Сильные руки мужчины все крепче сжимали хрупкое тельце, большие хмурые глаза, встречая невинный, живой и ясный взгляд ребенка, глядели мягче, теплее.

— И отца любишь, а?

На морщинистом лбу, на загорелых щеках Корчинского не было места, к которому не прикоснулись бы

свежие, смеющиеся губки сына. Это был упрямец и шалун, каких мало. Когда его сажали учиться, он кричал: «Не мучайте меня!» — и стрелой летел на фольварк к батрацким детям либо в поле к жнецам или пастушкам, но зато иногда по собственному желанию с жаром принимался за ученье и забивался с книгой в самые укромные уголки. Когда его маленькая сестренка хворала, он целые дни так усердно ухаживал за нею, что сам бледнел и худел до неузнаваемости. Корчинский долго задумчиво смотрел на сына.

— Ты — моя надежда!

Ребенок даже вскрикнул, — таким крепким и жестким поцелуем прильнул отец к его щечке.

— Попроси тетю Марту прислать мне сюда цыплят, простокваши, малины и всего, что ей вздумается... Чертовски хочется есть!

В ту же ночь он ответил брату на его предложение отрицательно...

На другой день Корчинский и Марта встали, как обычно, в пять часов утра; и, как обычно, голоса их целый день разносились по всему двору. Их родственное сходство проявлялось, между прочим, и в том, что с годами голоса их становились все грубее и крикливее. Помимо мелочного и хлопотливого труда, которым они занимались одинаково усердно, было еще что-то в их жизни, что часто вызывало у обоих раздражение.

Раздражительность и угрюмость Корчинского усилились после еще одного короткого, но памятного для него разговора с женой. Однажды Эмилия сама пришла в кабинет, еще более слабая и грустная, чем два года назад, и сказала, что хочет поговорить с ним о деле. Корчинский удивился и обрадовался. Он все еще надеялся, что жена рано или поздно захочет принять участие в его заботах и что когда-нибудь они если не совсем, то хоть отчасти поймут друг друга. Он поспешно придвинул к ней глубокое кресло и выразил полнейшую готовность выслушать ее.

Тихим голосом, мягко, в самых изысканных выражениях Эмилия заявила мужу, что желает получать проценты с половины своего приданого в свое собственное распоряжение. Приданого за ней было двадцать

тысяч, значит ей причитаются проценты с десяти тысяч — из восьми годовых, — хотя в настоящее время платят охотно десять, даже двенадцать. Она согласна даже получать эту сумму в два или три срока. Одним словом, на общие семейные потребности пойдет половина ее доходов, а при уплате другой половины возможны всяческие уступки и льготы, но с тем, чтобы эти деньги шли исключительно на удовлетворение ее потребностей и желаний. Она не хочет обременять его лишними расходами, но это может в какой-то мере скрасить томительное однообразие ее жизни в этой глуши.

Ей хотелось бы немного приукрасить свое гнездышко — свои любимые комнаты; ее вечные болезни требуют много лекарств; наконец она любит читать и заниматься рукоделием... На эти деньги она украсит свое гнездышко, будет покупать лекарства, книжки, шерсть, канву и даже одеваться.

— Надеюсь, ты не откажешь мне в таком пустяке, — закончила она. — Ведь до сих пор ты исполнял все мои прихоти, хотя это по временам и надоедало тебе, а я лишала себя многого, чтоб не докучать тебя просьбами. Для тебя это не составит никакого затруднения, а в мою печальную жизнь внесет хоть каплю радости...

Корчинский ни малейшим движением лица не выдал своего отношения к этому проекту. Он внимательно, с опущенными глазами, слушал речь жены, накручивая на палец длинный ус. Когда она кончила, Бенедикт поклонился, как будто перед ним сидела какая-то великодушная доверительница, а не женщина, которая столько лет прожила под одною с ним крышей, и с такою же изысканною любезностью ответил:

— Твое желание я постараюсь исполнять с величайшей точностью... Только попрошу назначить мне сроки платежей...

Она ответила, что это для нее безразлично, но неожиданная галантность мужа, видимо, так пленила ее, напомнив старые времена и прежнего Бенедикта, что она с затуманенными глазами почти страстным движением протянула ему обе руки.

Если б он обнял ее, осыпал горячими поцелуями и потом, бросив скучные занятия хозяйством и разъезды

по делам имения и переодевшись в изящный костюм, стал просиживать с нею вечера в ее обновленном «гнездышке», читать на трех различных языках романы и путешествия, в промежутках между чтением любовно заглядывая ей в глаза, — кто знает, какие перемены могли бы произойти в их жизни? Кто знает, не улеглись ли бы ее вечные порывы к чему-то смутному и неясному... Но он с прежней холодной почтительностью поклонился ей и слегка прикоснулся пальцами к протянутой ему руке. Эмилия с необычайной при ее слабости быстротой отвернулась и вышла из комнаты.

Тогда из груди этого плечистого и сильного мужчины вырвался короткий нервный смех. Сухой и отрывистый, он постепенно перешел в неудержимые судорожные рыдания, которые заставили Корчинского бессильно опуститься на диван и крепко зажать руками глаза...

С той поры пани Эмилия почти перестала посещать садовую беседку. На деньги, выплачиваемые мужем с точностью часового механизма, она оклеила спальню голубыми обоями, а будуар — белыми в полевые цветочки. Здесь поставила голубую мебель, там красную, убрала туалет кисеей и кружевами, стала выписывать все новые и новые материалы для рукоделий и уставляла этажерки новыми книжками и безделушками. Она поместила Тересу рядом со своей спальней, чтобы постоянно иметь под рукой чтницу, наперсницу и сиделку. Так она и жила, переходя с кровати на кушетку и с кушетки на кровать, тихая и ласковая, не причиняя никому ни тени беспокойства, по целым неделям не видя никого из домашних и не зная, что творится за пределами ее владений. О своих любимых комнатах, уставленных любимыми вещами, она говорила друзьям: «Это весь мой мир!»

А миром Бенедикта стал более просторный, чем комнаты его жены, хотя и не столь уж большой Корчин — сорок влук¹ удобной и неудобной земли. Это пространство заслоняло перед ним весь земной шар, со всем, что на нем было сейчас и когда-то. Бенедикт каждый год засеивал двести моргов зерном и кормовыми травами, на песчаных местах сажал картофель и выгодно про-

¹ Влука — польская мера земельной площади (около 16½ га).

давал его соседним винокурням; заботился об инвентаре; поддерживал дворовые постройки и все яростнее грызся с соседями в судах и вне судов за каждую стравленную пядь посева, за каждую сломанную ветку, за каждую былинку.

Из нескольких тысяч дохода, которые явились плодом почти непосильного труда, он платил пени в банк за отсрочку, проценты за невыплаченное приданое сестре и в последнее время с особенной точностью — жене. Нужно было также платить за сына в высшую агрономическую школу и за дочь, учившуюся в варшавском пансионе, а оставшиеся деньги выдавать Марте на хозяйство. Те же немногие часы, когда он не был занят хозяйством, он тратил на охоту с легавою собакой и на чтение газеты, за которым пан Корчинский чаще всего засыпал. В газете писали о громких событиях, которые казались ему все более и более чуждыми и бессмысленными.

Все свои силы Корчинский отдавал тому станку, стоя за которым он столько лет и с таким трудом ткал собственную жизнь и будущность своих детей. Нитка то и дело рвалась и ускользала из рук, он ловил ее, связывал и дрожал от страха, что когда-нибудь она порвется окончательно. Пугало его и многое другое. Порой казалось, что он разучился говорить, — так он стал молчалив. А если и говорил, то все какими-то недомолвками. Появилась у него и манера иные слова или собственные имена заменять каким-то косноязычным бормотаньем: «Это... то... того...» Это не было у него поговоркой, потому что он не всегда прибегал к подобным оборотам, но стоило ему, слегка запинаясь, начать свое «это... то...», слушателям казалось, что в его невеселых карих глазах загорался умный и лукавый огонек...

IV

Постоянные дела и денежные затруднения пана Бенедикта, а также слабое здоровье пани Эмилии и связанный с этим образ жизни мешали поддерживать широкие знакомства. Впрочем, они и не стремились к

этому, хотя и по различным причинам. Он избегал лишних расходов и не хотел отвлекаться от работы; она боялась всякого движения, шума и усталости. Однако порвать все связи с родными и соседями было невозможно, и раз в год, в день именин хозяйки, в конце июня, в Корчин съезжалось много гостей. Это был такой давний обычай, что, отменив его, они нарушили бы элементарнейшие правила приличия и рисковали вызвать недовольство многих лиц.

Общество — человек сорок — уже собиралось подниматься из-за стола, уставленного старинной фарфоровой и хрустальной посудой и тяжелым фамильным серебром. Мягкий солнечный свет, проникавший в комнату сквозь спущенные шторы, придавал сервировке приятный строгий блеск. Как и во всей усадьбе, здесь все говорило о былом богатстве. Тут не было ничего нового, но все, что, несмотря на превратности судьбы, уцелело, хранилось с той заботливостью, которая присуща деятельным и бережливым людям.

Хозяйка дома в вышитом блестящим стеклярусом платье подала знак, что обед окончен. С почетного места медленно поднялась вдова Анджея Корчинского, поразительно красивая, несмотря на свой возраст, женщина. Мать тридцатилетнего сына, она могла бы и сейчас покорять сердца, но, как было известно всей округе, ей всегда было чуждо малейшее кокетство. В течение двадцати лет, с той страшной минуты, когда до нее дошла весть о смерти мужа, она не снимала траура. Поселившись в своем полученном в приданое имении и не появляясь в свете, она всецело отдалась воспитанию единственного сына и, живя, как монахиня, обдавала холодом всякого, кто осмеливался намекнуть ей на возможность вторичного брака. Эта красивая статная женщина в черном платье, ниспадавшем тяжелыми живописными складками, носила на себе отпечаток целомудрия и жертвенности. Черная кружевная наколка и светлые, гладко причесанные седеющие волосы траурной каймой обрамляли правильные и выразительные черты бледного лица с еле заметными морщинками, которые тонкими лучами собирались у больших печальных глаз и в углах строгого гордого рта. На ее вдовьем

платье не было ни одного блестящего украшения; веселая улыбка редко освещала ее задумчивое суровое лицо. Когда она проходила мимо или обращалась к кому-нибудь, она высоко держала голову и опускала веки, что придавало ей скромный и в то же время надменный вид, причем надменность преобладала. С какой почтительностью относились к ней члены семьи, можно было судить по тому почти испуганному движению, с которым хозяин дома поспешил предложить ей руку, когда она встала с места.

Какой-то добродушный толстяк-сосед подал руку сестре пана Бенедикта, пани Ядвиге Дажецкой, совсем на него не похожей, приземистой, краснощекой, болтливой женщине в чересчур роскошном бархатном платье и в бриллиантах. Встав с места и положив украшенную браслетами руку на руку соседа, она силилась рассмотреть, с кем идут в паре две ее взрослые дочери и две девочки-подростка.

Ее муж, высокий, внушительного вида седоватый господин с аристократическим лицом, который за обедом пространно и цветисто рассказывал об Италии, Париже, Остенде и других прославленных местах Европы, вел пани Эмилию. Вообще все Дажецкие — как отец и мать, так и дочери — производили впечатление очень богатых людей. Во всех движениях Дажецкого и в его речи чувствовалось, что это человек, крепко стоящий на ногах; его супруга и дочери были разряжены и много говорили о загранице и о различных увеселениях.

Не менее, а может, и более богатый, чем Дажецкие, Ружиц сидел рядом с прелестной маленькой блондинкой, которая, шелестя светлым атласным платьем и оживленно, но как-то по-детски жестикулируя белыми, как снег, обнаженными руками, вертела хорошенькой, украшенной живыми цветами головкой и без умолку щебетала, рассказывая ему по-французски, *сomment*¹ два года назад она познакомилась на водах с Зыгмунтом Корчинским; *сomment* он сразу понравился ей, но ее родители, которые живут очень далеко отсюда, долго не соглашались, чтобы она так рано выходила

¹ Как (франц.).

замуж; comment пани Корчинская, приехав на воды, сама стала хлопотать за сына и устранила все препятствия; comment два года назад они приехали сюда. Здешние места кажутся ей очень скучными и прозаичными; знакомств и развлечений нет никаких; Зыгмунт писать тут не может, — он не находит ни сюжетов, ни вдохновения, и, вероятно, они скоро уедут в Мюнхен или в Рим, где талант Зыгмунта... и т. д.

Ружиц, выделявшийся среди этого общества своею изящной фигурой и пергаментной бледностью лица, снисходительно слушал щебетанье маленькой блондинки, время от времени вставляя несколько слов и частенько посматривая из-за стекол пенсне на противоположный угол стола, где Юстына, тоже на французском языке, беседовала с немолодой, почти ни с кем не знакомой иностранкой — гувернанткой младших Дажецких. Ружиц, отрывая взгляд от Юстыны, несколько раз встречался глазами с сидевшим по другую сторону стола Зыгмунтом Корчинским, красивым черноволосым мужчиной, впрочем слишком бледным и мрачным для своих лет. Оба они часто поглядывали в одну и ту же сторону, и тонкие губы Ружица начинали складываться в ироническую улыбку. Но маленькая Клотильда, смеясь и жестикулируя, ничего не замечала и, выйдя из-за стола, с ребяческой веселостью подхватила Зыгмунта под руку и, подняв к нему изящную головку и синие глаза, снова что-то защебетала.

Так образовались четыре главные пары; за ними длинной вереницей потянулись другие, уже гораздо более скромные гости: лица и одежда этих людей говорили о тяжелой жизненной борьбе. Все это были соседи Корчинского, которые были в более или менее таком же положении, как и он, и вели примерно такой же образ жизни. На женщинах были выцветшие платья и дешевые побрякушки; на мужчинах, загорелых, усатых, — отнюдь не модные костюмы. У многих мужчин и женщин были преждевременно состарившиеся лица, исхудалые от труда и забот. Сейчас в этом блестящем обществе они тоже повеселели или старались казаться веселыми и даже элегантными. Однако по их робким и неловким движениям нетрудно было догадаться, что это

платье не было ни одного блестящего украшения; веселая улыбка редко освещала ее задумчивое суровое лицо. Когда она проходила мимо или обращалась к кому-нибудь, она высоко держала голову и опускала веки, что придавало ей скромный и в то же время надменный вид, причем надменность преобладала. С какой почтительностью относились к ней члены семьи, можно было судить по тому почти испуганному движению, с которым хозяин дома поспешил предложить ей руку, когда она встала с места.

Какой-то добродушный толстяк-сосед подал руку сестре пана Бенедикта, пани Ядвиге Дажецкой, совсем на него не похожей, приземистой, краснощекой, болтливой женщине в чересчур роскошном бархатном платье и в бриллиантах. Встав с места и положив украшенную браслетами руку на руку соседа, она силилась рассмотреть, с кем идут в паре две ее взрослые дочери и две девочки-подростка.

Ее муж, высокий, внушительного вида седоватый господин с аристократическим лицом, который за обедом пространно и цветисто рассказывал об Италии, Париже, Остенде и других прославленных местах Европы, вел пани Эмилию. Вообще все Дажецкие — как отец и мать, так и дочери — производили впечатление очень богатых людей. Во всех движениях Дажецкого и в его речи чувствовалось, что это человек, крепко стоящий на ногах; его супруга и дочери были разряжены и много говорили о заграничье и о различных увеселениях.

Не менее, а может, и более богатый, чем Дажецкие, Ружиц сидел рядом с прелестной маленькой блондинкой, которая, шелестя светлым атласным платьем и оживленно, но как-то по-детски жестикулируя белыми, как снег, обнаженными руками, вертела хорошенькой, украшенной живыми цветами головкой и без умолку щебетала, рассказывая ему по-французски, comment ¹ два года назад она познакомилась на водах с Зыгмунтом Корчинским; comment он сразу понравился ей, но ее родители, которые живут очень далеко отсюда, долго не соглашались, чтобы она так рано выходила

¹ Как (франц.).

замуж; comment пани Корчинская, приехав на воды, сама стала хлопотать за сына и устранила все препятствия; comment два года назад они приехали сюда. Здешние места кажутся ей очень скучными и прозаичными; знакомств и развлечений нет никаких; Зыгмунт писать тут не может, — он не находит ни сюжетов, ни вдохновения, и, вероятно, они скоро уедут в Мюнхен или в Рим, где талант Зыгмунта... и т. д.

Ружиц, выделявшийся среди этого общества своею изящной фигурой и пергаментной бледностью лица, снисходительно слушал щебетанье маленькой блондинки, время от времени вставляя несколько слов и частенько посматривая из-за стекол пенсне на противоположный угол стола, где Юстына, тоже на французском языке, беседовала с немолодой, почти ни с кем не знакомой иностранкой — гувернанткой младших Дажецких. Ружиц, отрывая взгляд от Юстыны, несколько раз встречался глазами с сидевшим по другую сторону стола Зыгмунтом Корчинским, красивым черноволосым мужчиной, впрочем слишком бледным и мрачным для своих лет. Оба они часто поглядывали в одну и ту же сторону, и тонкие губы Ружица начинали складываться в ироническую улыбку. Но маленькая Клотильда, смеясь и жестикулируя, ничего не замечала и, выйдя из-за стола, с ребяческой веселостью подхватила Зыгмунта под руку и, подняв к нему изящную головку и синие глаза, снова что-то защебетала.

Так образовались четыре главные пары; за ними длинной вереницей потянулись другие, уже гораздо более скромные гости: лица и одежда этих людей говорили о тяжелой жизненной борьбе. Все это были соседи Корчинского, которые были в более или менее таком же положении, как и он, и вели примерно такой же образ жизни. На женщинах были выцветшие платья и дешевые побрякушки; на мужчинах, загорелых, усатых, — отнюдь не модные костюмы. У многих мужчин и женщин были преждевременно состарившиеся лица, исхудалые от труда и забот. Сейчас в этом блестящем обществе они тоже повеселели или старались казаться веселыми и даже элегантными. Однако по их робким и неловким движениям нетрудно было догадаться, что это

платье не было ни одного блестящего украшения; веселая улыбка редко освещала ее задумчивое суровое лицо. Когда она проходила мимо или обращалась к кому-нибудь, она высоко держала голову и опускала веки, что придавало ей скромный и в то же время надменный вид, причем надменность преобладала. С какой почтительностью относились к ней члены семьи, можно было судить по тому почти испуганному движению, с которым хозяин дома поспешил предложить ей руку, когда она встала с места.

Какой-то добродушный толстяк-сосед подал руку сестре пана Бенедикта, пани Ядвиге Дажецкой, совсем на него не похожей, приземистой, краснощекой, болтливой женщине в чересчур роскошном бархатном платье и в бриллиантах. Встав с места и положив украшенную браслетами руку на руку соседа, она силилась рассмотреть, с кем идут в паре две ее взрослые дочери и две девочки-подростка.

Ее муж, высокий, внушительного вида седоватый господин с аристократическим лицом, который за обедом пространно и цветисто рассказывал об Италии, Париже, Остенде и других прославленных местах Европы, вел пани Эмилию. Вообще все Дажецкие — как отец и мать, так и дочери — производили впечатление очень богатых людей. Во всех движениях Дажецкого и в его речи чувствовалось, что это человек, крепко стоящий на ногах; его супруга и дочери были разряжены и много говорили о загранице и о различных увеселениях.

Не менее, а может, и более богатый, чем Дажецкие, Ружиц сидел рядом с прелестной маленькой блондинкой, которая, шелестя светлым атласным платьем и оживленно, но как-то по-детски жестикулируя белыми, как снег, обнаженными руками, вертела хорошенькой, украшенной живыми цветами головкой и без умолку щебетала, рассказывая ему по-французски, comment¹ два года назад она познакомилась на водах с Зыгмунтом Корчинским; comment он сразу понравился ей, но ее родители, которые живут очень далеко отсюда, долго не соглашались, чтобы она так рано выходила

¹ Как (франц.).

замуж; comment пани Корчинская, приехав на воды, сама стала хлопотать за сына и устранила все препятствия; comment два года назад они приехали сюда. Здешние места кажутся ей очень скучными и прозаичными; знакомств и развлечений нет никаких; Зыгмунт писать тут не может, — он не находит ни сюжетов, ни вдохновения, и, вероятно, они скоро уедут в Мюнхен или в Рим, где талант Зыгмунта... и т. д.

Ружиц, выделявшийся среди этого общества своею изящной фигурой и пергаментной бледностью лица, снисходительно слушал щебетанье маленькой блондинки, время от времени вставляя несколько слов и частенько посматривая из-за стекол пенсне на противоположный угол стола, где Юстына, тоже на французском языке, беседовала с немолодой, почти ни с кем не знакомой иностранкой — гувернанткой младших Дажецких. Ружиц, отрывая взгляд от Юстыны, несколько раз встречался глазами с сидевшим по другую сторону стола Зыгмунтом Корчинским, красивым черноволосым мужчиной, впрочем слишком бледным и мрачным для своих лет. Оба они часто поглядывали в одну и ту же сторону, и тонкие губы Ружица начинали складываться в ироническую улыбку. Но маленькая Клотильда, смеясь и жестикулируя, ничего не замечала и, выйдя из-за стола, с ребяческой веселостью подхватила Зыгмунта под руку и, подняв к нему изящную головку и синие глаза, снова что-то защебетала.

Так образовались четыре главные пары; за ними длинной вереницей потянулись другие, уже гораздо более скромные гости: лица и одежда этих людей говорили о тяжелой жизненной борьбе. Все это были соседи Корчинского, которые были в более или менее таком же положении, как и он, и вели примерно такой же образ жизни. На женщинах были выцветшие платья и дешевые побрякушки; на мужчинах, загорелых, усатых, — отнюдь не модные костюмы. У многих мужчин и женщин были преждевременно состарившиеся лица, исхудалые от труда и забот. Сейчас в этом блестящем обществе они тоже повеселели или старались казаться веселыми и даже элегантными. Однако по их робким и неловким движениям нетрудно было догадаться, что это

платье не было ни одного блестящего украшения; веселая улыбка редко освещала ее задумчивое суровое лицо. Когда она проходила мимо или обращалась к кому-нибудь, она высоко держала голову и опускала веки, что придавало ей скромный и в то же время надменный вид, причем надменность преобладала. С какой почтительностью относились к ней члены семьи, можно было судить по тому почти испуганному движению, с которым хозяин дома поспешил предложить ей руку, когда она встала с места.

Какой-то добродушный толстяк-сосед подал руку сестре пана Бенедикта, пани Ядвиге Дажецкой, совсем на него не похожей, приземистой, краснощекой, болтливой женщине в чересчур роскошном бархатном платье и в бриллиантах. Встав с места и положив украшенную браслетами руку на руку соседа, она силилась рассмотреть, с кем идут в паре две ее взрослые дочери и две девочки-подростка.

Ее муж, высокий, внушительного вида седоватый господин с аристократическим лицом, который за обедом пространно и цветисто рассказывал об Италии, Париже, Остенде и других прославленных местах Европы, вел пани Эмилию. Вообще все Дажецкие — как отец и мать, так и дочери — производили впечатление очень богатых людей. Во всех движениях Дажецкого и в его речи чувствовалось, что это человек, крепко стоящий на ногах; его супруга и дочери были разряжены и много говорили о загранице и о различных увеселениях.

Не менее, а может, и более богатый, чем Дажецкие, Ружиц сидел рядом с прелестной маленькой блондинкой, которая, шелестя светлым атласным платьем и оживленно, но как-то по-детски жестикулируя белыми, как снег, обнаженными руками, вертела хорошенькой, украшенной живыми цветами головкой и без умолку щебетала, рассказывая ему по-французски, comment ¹ два года назад она познакомилась на водах с Зыгмунтом Корчинским; comment он сразу понравился ей, но ее родители, которые живут очень далеко отсюда, долго не соглашались, чтобы она так рано выходила

¹ Как (франц.).

замуж; comment пани Корчинская, приехав на воды, сама стала хлопотать за сына и устранила все препятствия; comment два года назад они приехали сюда. Здешние места кажутся ей очень скучными и прозаичными; знакомств и развлечений нет никаких; Зыгмунт писать тут не может, — он не находит ни сюжетов, ни вдохновения, и, вероятно, они скоро уедут в Мюнхен или в Рим, где талант Зыгмунта... и т. д.

Ружиц, выделявшийся среди этого общества своею изящной фигурой и пергаментной бледностью лица, снисходительно слушал щебетанье маленькой блондинки, время от времени вставляя несколько слов и частенько посматривая из-за стекол пенсне на противоположный угол стола, где Юстына, тоже на французском языке, беседовала с немолодой, почти ни с кем не знакомой иностранкой — гувернанткой младших Дажецких. Ружиц, отрывая взгляд от Юстыны, несколько раз встречался глазами с сидевшим по другую сторону стола Зыгмунтом Корчинским, красивым черноволосым мужчиной, впрочем слишком бледным и мрачным для своих лет. Оба они часто поглядывали в одну и ту же сторону, и тонкие губы Ружица начинали складываться в ироническую улыбку. Но маленькая Клотильда, смеясь и жестикулируя, ничего не замечала и, выйдя из-за стола, с ребяческой веселостью подхватила Зыгмунта под руку и, подняв к нему изящную головку и синие глаза, снова что-то защебетала.

Так образовались четыре главные пары; за ними длинной вереницей потянулись другие, уже гораздо более скромные гости: лица и одежда этих людей говорили о тяжелой жизненной борьбе. Все это были соседи Корчинского, которые были в более или менее таком же положении, как и он, и вели примерно такой же образ жизни. На женщинах были выцветшие платья и дешевые побрякушки; на мужчинах, загорелых, усатых, — отнюдь не модные костюмы. У многих мужчин и женщин были преждевременно состарившиеся лица, исхудалые от труда и забот. Сейчас в этом блестящем обществе они тоже повеселели или старались казаться веселыми и даже элегантными. Однако по их робким и неловким движениям нетрудно было догадаться, что это

церемониальное шествие из столовой было для них необычно и что если им когда-нибудь и была знакома подобная пышность, то они давно уже от нее отвыкли. Мужчины держались более просто, между тем как женщины кривлялись, принимая величественный или кокетливый вид, складывая увядшие губы в жеманную улыбку, что придавало им глуповатое или напыщенное выражение.

За этими скромными парами, на которых лежала неизгладимая печать времени, снова следовало несколько блистательных пар. Ружиц вел разряженную панну Дажецкую, унаследовавшую высокий рост Корчинских и холодные черты своего аристократического отца, а жених ее, бледный блондин с английскими бакенбардами и титулом графа, подал руку ее юной сестре, живой и кокетливой брюнетке. Затем шел Кирло с Тересой Плинской, которая в этот день завязала батистовым платком уже не лицо, а шею, и вел себя так, что многие, оглядываясь на них, улыбались, а кое-кто даже громко смеялся. Он закатывал глаза, прижимал к себе ее руку и что-то нашептывал ей на ушко, видимо выбрав ее своей дамой смеха ради. За ними в беспорядке хлынула молодежь под предводительством двадцатилетнего сына и четырнадцатилетней дочери хозяина.

Юстына, поднявшись с места, торопливо подошла к отцу, который, не обращая внимания на то, что обед кончился, с жадностью доедал огромную порцию пирожного. Наклонив голову, увенчанную короной черных волос с двумя полевыми цветками, она дотронулась до его плеча.

— Пойдем, папа!

— Сейчас, сейчас... видишь, я кончаю.

— Все уходят, — тихо настаивала Юстына, — неудобно сидеть одному за столом.

Голубые глаза старика растерянно уставились на склоненное над ним лицо дочери.

— Раз неудобно, так неудобно; делать нечего, пойдем...

Он кинул взгляд на недоеденное пирожное, старательно вытер салфеткой пухлые и красные губы и седые усы, встал, привычным движением выпятив живот, вы-

прямился и пошел с Юстиной, взявшей его под руку, вслед за другими, но в значительном отдалении.

— Обед был недурен, — бормотал он, — весьма недурен... Филе немножко не того, пережарено... но зато цыплята и спаржа — прелесть! Ты кушала, Юстина?

— Ела, отец.

— Хе-хе-хе! — засмеялся старик и с веселой усмешкой взглянул на дочь. — Да разве ты обращаешь внимание на такие вещи? Ведь в голове-то у тебя еще, фью, фью! Воробышки прыгают! Я слышал, как Кирло говорил пани Эмили, что будто бы Ружиц в тебя... того... да и Зыгмунт снова подъезжать начинает... Старая история!.. Помнишь, а? Хоть и женатый, но сердцу не прикажешь, — я по себе знаю... помню.

Юстина шла своим обычным шагом, высоко держа голову и опустив глаза. Можно было подумать, что она не слышит отца.

В столовой осталось лишь несколько лакеев, которые прибыли со своими господами и помогали прислуживать за столом единственному в этом доме буфетному мальчику. Здесь же была и панна Марта в праздничном платье, с цветным бантом на шее и с высоким гребнем в волосах. Она почти не присаживалась, хотя и поставила для себя прибор. Она все время зорко следила за тем, чтобы кушанья подавались в надлежащем порядке, быстро и аккуратно.

Уже за неделю до этого торжественного дня у нее не было ни минуты покоя, и теперь, когда гости покинули столовую, она в изнеможении упала на стул и сидела сгорбившись, уронив на колени руки и низко склонив голову, отчего ее рослая фигура вдруг съежилась и стала казаться маленькой. Задумчивый взгляд Марты скользил по длинному столу и сдвинутым в беспорядке стульям, на поникшем лбу резко обозначились морщины. Уставясь в одну точку, она покачивала головой, словно в памяти ее возникали иные, некогда виденные здесь лица и картины. Ее горящие глаза потускнели и затуманились слезами.

Вдруг сзади нее раздался громкий дискант Франка: — Кофе подан!

Она, как пружина, вскочила со стула и бросилась

в угол, где на отдельном столике уже стоял большой кофейник с только что сваренным кофе. Панна Марта схватила его и принялась разливать кофе в старинные фарфоровые чашки.

— Франек! — на всю комнату загремел ее низкий, слегка охрипший голос. — Ты как это вытер чашки? Пыль под донышками так и осталась. Сейчас же подай сюда чистое полотенце, ротозей этакий, слышишь?

Между тем гости, выйдя из-за стола, парами прошли через большую прихожую и, остановившись посреди гостиной, стали расходиться, церемонно кланяясь. Пани Анджейова, не поднимая глаз, поблагодарила деверя тенью улыбки и легким кивком, а затем снова гордо вскинула голову. Пани Дажецкая, принимая поздравления своего толстого соседа по поводу блестящей партии ее дочери, которая выходила замуж за графа, так потрянула его руку, что у нее зазвенели браслеты. Маленькая и юная Корчинская шаловливо присела перед своим холодным, мрачным супругом в глубоком, чуть не до земли, реверансе, а потом снова схватила его руку, словно не желая ни на минуту с ним расставаться.

— Tu fais des folies, Clotilde! ¹ — тихонько увещевал ее муж.

— Mais puisque je suis folle de toi! ² — шепнула она, прильнув к нему и поднимая на него глаза.

Пани Эмилия, провожая дам к диванам и креслам, кончила разговор с высоким и словно накрахмаленным зятем своего мужа. Любезно повернув к ней тонкое, бледное лицо, обрамленное седеющими бакенбардами, он пространно и красноречиво описывал ей красоты Швейцарии.

— Вам, невестка, надо вырваться из этой глуши и провести хотя бы недолгое время в этих чудесных Альпах. Я уверен, что это самым благоприятным образом скажется на вашем настроении и здоровье...

Однако здоровье и настроение пани Эмилии в данную минуту были, повидимому, как нельзя лучше. При

¹ Ты безумствуешь, Клотильда! (франц.)

² Но если я без ума от тебя! (франц.)

взгляде на ее оживленное лицо никто и представить себе не смог бы, каким мучениям подвергалась она за последние дни. Уже один приезд детей, который нарушил плавное течение ее жизни и внес в нее шум и движение, стоил ей нескольких бессонных ночей, а тут еще эти именины... Она со страхом ожидала появления хрипоты, мигрени, невралгии, головокружения, — одним словом, чего-нибудь такого, что помешает этому празднеству. С таким опасением она жила днем и просыпалась ночью, принимала удвоенные дозы брома, лавровишневых капель, магнезии, полоскала горло раствором разрыхляющих солей, втирала всякие мази.

Так продолжалось до сегодняшнего утра, когда, долго и тщательно одеваясь, она вдруг вспомнила прошлое, и в ней проснулось страстное желание хоть на один день стать такой, как когда-то, да, когда-то... Она вошла в гостиную оживленная и бодрая, с той свободой в движениях, которой еще вчера нельзя было предположить, и, сияя глазами и улыбкой, заговорила с двумя соседками, которые выразили ей сочувствие по поводу ее слабого и хрупкого здоровья.

После обеда хозяин дома пригласил наиболее почетных гостей и родных на выходящую в сад просторную террасу, чтобы угостить их сигарами.

За распахнутой настежь стеклянной дверью открывалась высокая завеса зелени: клены, липы и вязы, переплетаясь могучими ветвями в неразрывную сеть и точно сдвигаясь, наступали друг на друга. Старые лозы дикого винограда, сплетаясь, образовали толстые колонны, соединенные прозрачными гирляндами.

Ружиц, молодой граф с английскими бакенбардами и Зыгмунт Корчинский, видимо не желая курить, не вышли на террасу вместе с пожилыми соседями и теперь, стоя в углу гостиной у открытого фортепиано, вели о чем-то тихий и очень учтивый разговор. Раньше они были мало знакомы и сейчас сошлись как-то случайно, как бы в силу закона естественного отбора. Они не были похожи друг на друга, но все в них: платье — крик последней моды, фигура, холеные, как у женщины, лицо и руки, в высшей степени изящные движения, манера цедить слова сквозь зубы и пересыпать речь фран-

цузскими выражениями, — все говорило о том, что это люди одного типа, продукт одинакового происхождения, воспитания и имущественного положения. Разница между ними сводилась примерно к тому, что граф больше растягивал слова и злоупотреблял французскими выражениями, а Зыгмунт Корчинский — меньше, при этом он носил длинные волосы и в выражении его лица и позах сквозила какая-то мечтательность, которая должна была напоминать о его артистической натуре и призвании.

В эту минуту Зыгмунт рассказывал о своем двухлетнем пребывании в Мюнхене, которое принесло ему больше пользы и художественного наслаждения, чем многолетние занятия в разных академиях — сначала в венской, а затем — недолго — в парижской и дюссельдорфской. Граф также хвалил Мюнхен, Вену и Париж, но предпочитал всему Италию, где среди очаровательной природы встречаются, по его мнению, прекраснейшие в мире женщины.

Ружиц, дольше всех проживший в Вене, считал этот город самым веселым и, как заявил он с иронической улыбкой, сохранил о нем самые лучшие воспоминания. Во время этого беглого разговора малознакомые собеседники вдруг разом переглянулись. В их теперь более внимательном взгляде мелькнула едва заметная ирония, а по губам скользнула улыбка.

— Мне только что пришла в голову такая мысль, — более чем обычно растягивая слова, заметил граф, — как странно... или, вернее, досадно... побывав в таких местах, очутиться вдруг в какой-то бесплодной, глухой пустыне...

Наверное, все трое думали сейчас о том же. Ружиц нервным движением руки потянул цепочку пенсне и, освободив на минуту от стекол черные, потухшие от охватившей его скуки глаза, небрежно заметил:

— Tout lasse! ¹

— Но позвольте, — обратился к нему Зыгмунт Корчинский, — вам еще не могла наскучить та глухая и однообразная пустыня, о которой говорит граф, — вы

¹ Все надоедает (франц.).

живете в здешних своих поместьях всего три месяца. А вот я, исчисляющий это испытание двумя годами, заслужил право сказать, что здешней скуке и моей досаде нет предела... Не понимаю, как я буду жить среди этих амбаров, скотных дворов и так называемых дел.

— Но в утешение себе и для приятного времяпровождения вы по крайней мере обладаете прекрасным талантом, — любезно заметил Ружиц.

Бледное лицо Зыгмунта, окаймленное темными бакенбардами, болезненно дрогнуло.

— Я уже начинаю сомневаться, есть ли у меня какой-нибудь талант, — с деланной небрежностью ответил он.

— Что вы теперь пишете?.. — начал было граф и не кончил...

За спиной Зыгмунта стоял юноша лет двадцати, в котором с первого же взгляда можно было узнать студента. Среднего роста, стройный, он стремительностью жестов и игрой физиономии обнаруживал живой и нервный характер. Черты его бледного и утомленного лица были красивы и изящны. На верхней губе пробились светлые усики, а большие карие глаза, точь-в-точь такие же, как у Бенедикта Корчинского, казалось метали искры и пламень. С живостью и горячностью, которые, вероятно, помогали ему преодолевать некоторую робость и смущение, он, заложив руки за спину и слегка поклонившись, обратился к Ружицу:

— Простите меня, пан Ружиц, — голос его звучал слегка приподнято, — но я хотел бы узнать, какие реформы и улучшения вы намерены провести в своей Волонщине? По слухам, имение это запущено, и я страшно обрадовался, когда услышал, что вы поселились там. Мне так хотелось познакомиться с вами, поговорить обо всем подробно... что... что я не мог отказать себе...

Незадолго до этого Бенедикт Корчинский представил сына тем гостям, которые еще его не знали. Пан Ружиц, увидев юношу, который, несмотря на явную застенчивость, атаковал его с таким пылом, и догадавшись, с кем имеет дело, любезно улыбнулся и после небольшого колебания ответил:

— Мне тоже очень приятно, и поверьте, что, со своей стороны, я был бы рад исполнить ваше желание... но... но... ни о каких реформах и улучшениях в Воловщине я еще не думал.

На подвижном и выразительном лице юноши появилось наивное и искреннее удивление.

— Как! — начал он. — А я полагал, что именно такие люди, как вы... молодые, богатые... должны вносить инициативу... давать пример... двигать науку вперед...

— Но я вовсе уж не так молод, — натянуто рассмеялся Ружиц, и по лбу его пробежала нервная дрожь.

— *Quand on a mangé un million, on se sent un siècle sur le dos, n'est-ce pas?*¹ — немного фамильярно шепнул ему граф.

Но Витольд Корчинский не унимался.

— Меня, видите ли, это ужасно интересует... Я два года не был дома, во время прошлых каникул отец разрешил мне пройти практику в крупных образцовых имениях... Сейчас я перешел на третий курс и уже имею некоторое представление о том, как должно идти дело... Как идет оно в нашей стороне, я знаю... скверно, со всех точек зрения скверно, и мне кажется, что вы, господа, обязаны отдать все свои силы народу и земле, чтобы...

— Витек, — недовольным тоном перебил Зыгмунт двоюродного брата, — голова у тебя так забита теориями, что ты готов провозглашать их везде и всюду... Но это уж особенность ранней молодости...

— Разумеется, — выпрямляясь и вскидывая голову, перебил его Витольд, глаза его метали молнии, — и ты меня нисколько не обижаешь, напоминая, что я молод. Но ты тоже молод и не имеешь права почивать на своих лаврах художника. Что бы ты, скажем, ответил, если бы я спросил тебя, каково положение крестьян в твоих Осовцах, ну... так... например, с точки зрения нравственности, просвещения, экономического положения...

— Я ответил бы, что в этом смысле все обстоит как

¹ Промотав миллион, чувствуешь себя так, будто на плечах у тебя целое столетие, не правда ли? (франц.)

нельзя хуже, — с пренебрежительной усмешкой произнес Зыгмунт.

— И ты можешь так легко говорить об этом? И вы все, господа, можете оставаться равнодушными? — вспыхнул юноша и снова обратился к Ружицу: — Мне кажется, что по крайней мере вы думаете иначе... Ну, Зыгмунт уж так воспитан, и потом он... художник! Но вы, конечно, снизойдете к народу, который так долго был всеми заброшен, но за которым современные идеи признают все права...

— Милый Витек, — с очевидным нетерпением перебил Зыгмунт, — современные идеи — вещь прекрасная и...

— И достойная уважения, — с усмешкой добавил граф.

— Но спроси у отца, в какое положение попал он однажды, когда вздумал было просвещать народ... снизойти к нему?..

Витольд вспыхнул, как девушка, потупился и пробормотал:

— Мой отец... не так богат... Может, у него нет достаточных средств...

Упоминание об отце, видимо, неприятно его задело, но он тотчас же с прежней горячностью обратился к Ружицу:

— А вы... — начал он.

В это время послышался другой молодой голос, несколько более мужественный.

— Витольд прав, совершенно прав! Кто же, как не вы, господа, обязаны исправлять ошибки прошлых поколений и расчищать нам, молодежи, дорогу? Зло берет, когда, вернувшись из более просвещенных мест, видишь эту отсталость... Дворянские хозяйства либо совсем пришли в упадок, либо ведутся самым первобытным способом, земля уходит из ваших рук, народ дичает, и никто пальцем не шевельнет, чтоб улучшить дело... поднять его... внести какое-нибудь усовершенствование...

Это на помощь Витольду пришел его старший школьный товарищ, тоже студент, сын одного из соседей пана Бенедикта, сидевших в это время на террасе.

— Температура повышается, — шепнул Ружицу граф.

Но Ружиц слушал все эти речи, опустив глаза, и только нервно играл цепочкой своего пенсне; судорожное подергивание лба все не прекращалось, и он чувствовал, что оно перешло уже на череп, под редкие, слегка завитые волосы. Что-то мучило его, и, желая положить конец неприятному разговору, он обратился к Зыгмунту с просьбой представить его пани Анджейовой.

Граф медленно пошел в конец залы, где была его невеста; к студентам присоединился третий товарищ, и они, оживленно переговариваясь и жестикулируя, отошли в сторону, а Зыгмунт с Ружицем направились к тому углу гостиной, где среди дам молча и как-то одиноко сидела пани Корчинская. На поклон представленного ей светского молодого человека она ответила привычным медленным наклонением головы, тогда как ее лицо не изменило ни на минуту своего надменного, сурового выражения. И только когда Ружиц, присев рядом, начал рассказывать, что на одной из столичных выставок видел картину, написанную ее сыном три года назад, она подняла ресницы, взглянула на Зыгмунта все еще прекрасными глазами, правда за долгие годы тоски и слез слегка утратившими свой прежний блеск. На минуту сурово сжатый ее рот раскрылся в невыразимо нежной улыбке, но затем она тотчас же заговорила с прежнею холодною любезностью о таланте Зыгмунта, о препятствиях, которые он встречает здесь, дома, о невозможности соединить обязанности хозяина имения с привычками и запросами художника...

При этих словах она, вопреки обычной своей манере, несколько раз беспокойно оглянулась и окинула сына испытующим взглядом, в котором отразилась неясная тревога. Но за руку Зыгмунта быстро ухватила его молоденькая жена и, что-то шепча ему и кокетливо на него поглядывая, увела его в сторону.

Между тем некоторые из дам, сидевших на диванах и в креслах, незаметно переглядываясь, кивали на молодую чету, обменивались на их счет осторожными замечаниями и шептались о том, что в этом супружестве нежность жены намного превышает нежность мужа и

что, хотя Клотильда и знатного рода, и принесла ему богатое приданое, и отлично воспитана, и влюблена в него без памяти, но у Зыгмунта такой вид, будто ему до смерти наскучило все это. Ходят слухи, что он почти не занимается хозяйством и совсем неважно ведет дела, и пани Анджейова уже начинает жалеть, что чересчур его изнежила, воспитывая вдали от родины и того клочка земли, на котором ему предстояло жить.

— Так ей и надо, а то возгордилась, как удельная княгиня, и сына своего чуть ли не полубогом считала, — оживленно затараторила какая-то болтливая соседка, одна из тех, чье шелковое платье носило на себе несомненные следы давности и многократных переделок.

Однако другая, более кроткая, которая сидела, подперев рукой длинное худое лицо, рассуждала иначе. Медленно покачивая головой, убранный какими-то причудливыми перьями, она с грустью проговорила:

— Без отца воспитывался... без отца! А каково воспитывать мальчиков без отца, я хорошо знаю: у моих сыновей тогда же, что и у сына пани Корчинской, не стало родителя!

— Зато у того тетка была, — возразила первая, — вот эта самая Дажецкая, которой посчастливилось выйти замуж за богатого человека, и теперь она не знает, во что ей нарядиться и как лучше спесь свою показать. Она тоже с племянничка пылинки сдувала и внушала ему, что он гений...

— Это в память брата, — защищала Дажецкую другая, — конечно, в память брата... да еще какого брата... и человека... Вот она сироту его и баловала и старалась всячески вознести!..

Уже разнесли черный кофе и напитки к нему, но пан Кирло, взяв из рук лакея поднос с ликерами, поставил его на столик в гостиной. Худые щеки Кирло покрылись румянцем, маленькие глазки блестели, на тонких губах играла самая беззаботная, веселая усмешка.

В эту минуту он, казалось, олицетворял собою полное удовлетворение и вкусным обедом, и выпитым вином, и, пожалуй, более всего доносившимся со всех сторон веселым гомоном голосов; в одной руке он держал погашенную (в гостиной присутствовали дамы) сигару.

другую перебирал бутылки с разноцветными жидкостями и приглашал к себе всех, находившихся поблизости.

• Гости подходили один за другим: возле подноса с ликерами прежде других очутился уже упомянутый толстый помещик, судя по виду — весельчак и любитель поестъ; вслед за ним подоспели с террасы и другие соседи; наконец приблизился и старый пан Ожельский с пустою рюмкой в руке.

— Вы какой пили: мараскин, розовый, кофейный? — спросил Кирло. — Может, теперь другого прикажете? Какого? К вашим услугам.

— Капельку кофейного, если позволите!

— Слушаю-с. А которая это по счету?

— Вторая! — добродушно улыбаясь и причмокивая пухлыми губами, ответил отец Юстыны.

— А бог троицу любит! — расхохотался Кирло и поставил перед раскрасневшимся старичком еще одну полную рюмку.

Все стоявшие рядом, зная, что шутник Кирло намеревается подпойть старика, засмеялись, но тот отказывался и, поднося ко рту одну рюмку, другую отодвигал на середину стола.

— Нет, нет, нет... — объяснял он, — если выпью еще, не смогу... того...

— Чего не сможете? — со смехом спросило сразу несколько голосов.

— Играть, — ответил он.

— Резонно! — поддержал его Кирло. — Ну, если не хотите пить, идите по крайней мере к паненкам. Видите, панна Тереса какая печальная... вон там, сидит с повязанной шеей и мечтает... должно быть, о вас... Вы, господа, может, и не слыхали, что наш виртуоз — страшнейший волокита и сердцеед. Когда-то слава о нем гремела далеко, да еще и теперь... Панна Тереса об этом отлично знает...

Один из гостей перебил пана Кирло каким-то вопросом, и тот, заговорив о другом, стал вышучивать еще кого-то.

Между тем Ожельский, подняв двумя пальцами недопитую рюмку с зеленым напитком, расправил плечи,

выпятил вперед круглое брюшко и, сияя самой добродушной улыбкой, действительно направился мелкими шажками к группе барышень, которые большим полукругом сидели за столом, заваленным потрепанными альбомами с иллюстрациями.

Вместе со старшими Дажецкими и другими барышнями, одетыми более или менее нарядно и весело болтающими, находилась и Юстына.

В своем простом черном платье, она резко выделялась среди других девушек в ярких и светлых платьях, украшенных пышными оборками и кружевами. Юстына, причесанная, как всегда, воткнула в косы веточку полевых цветов, и ее строгая темная голова казалась рядом с этими нарядными и изящными головками еще строже. Ей было невесело. Дажецкие, близкие ее родственницы, уже сделали ей замечание, что она явилась к обеду бог знает как одетая и что ее молчаливость и мрачный вид наводят на мысль о какой-то сердечной драме.

Вид девушки вовсе не был мрачным, но в разговорах о загранице, приданом невесты, о вечерах и знакомых, о разных увеселениях, новых книгах и музыкальных пьесах она почти не принимала участия. По временам, когда она задумывалась, неподвижно и бесцельно глядя в пространство, видно было, как чуждо ей все то, что занимало и веселило других. Гнетущая скука омрачала ее глаза и делала Юстыну старше, чем она была в действительности. Ее неподвижное лицо не изменилось даже и тогда, когда она увидела отца, стоявшего у подноса с ликерами, и когда до нее долетели громкие слова Кирло и смех гостей. Она не сделала ничего, чтобы помешать этой, впрочем, очень обычной забаве, и, сознавая собственное бессилие, продолжала сидеть, не трогаясь с места. Только ее брови еще больше сдвинулись над усталыми глазами, выражавшими безутешную печаль.

Но какие бы чувства она ни испытывала, никто их не замечал и не догадывался о них. Видно было, что, сама ко всему равнодушная, она тоже не вызывала к себе сочувствия, никто не считался с ней и не находил это нужным. Ее подруги и кузины, потому ли, что она

не развлекала их, или потому, что была скромно одета, мало-помалу от нее отвернулись; граф, сидевший рядом, состязался со своей невестой в остроумных шутках и не обращал на Юстину ни малейшего внимания; те двое, что за обедом штурмовали ее мимолетными, но многозначительными взглядами, ушли из гостиной. Ружиц, с выражением непреодолимой скуки и безразличия на потемневшем внезапно лице и угасшими глазами, незаметно вышел в столовую. Зыгмунт Корчинский после тихого, но довольно оживленного разговора усадил жену возле матери и присоединился к обществу, расположившемуся на террасе.

Тут уже были расставлены карточные столы, но никто еще не садился за игру. Допивали ликеры, курили сигары и громко разговаривали. Вначале в гостиную доносились обрывки фраз, отдельные, сугубо деловые замечания: столько-то и столько-то копеек за пуд такого-то зерна, столько-то за ведро водки, такая-то вспашка, такой-то посев, покос или обмолот и т. д. Но вскоре перешли на политику. Первым коснулся этого предмета Дажецкий; как всегда, прямой и неподвижный, он стоял у массивной колонны из зелени и, пуская тонкими губами выходящие струйки табачного дыма, плавно и красноречиво излагал всевозможные предположения и комбинации, вычитанные из газет. Время от времени кто-нибудь из присутствующих прерывал его каким-нибудь веселым, а иногда и не совсем вежливым замечанием. Даже самые загорелые, видимо погрязшие в работе, сельские хозяева, которые, казалось, никогда не заглядывали в газеты, находили, что сказать, свободно выражали свое суждение о далеких странах и могущественных людях, при этом они загорались, спорили, яростно нападали друг на друга и защищались.

Хозяин дома не принимал почти никакого участия в общем разговоре. Он сидел на чугунном стуле посреди террасы; яркий свет заливал его сильную, тяжелую фигуру; казалось, можно было сосчитать все морщины на его лбу и щеках, все белые нити в густых темных волосах. Положив руку на стоявший перед ним столик и машинально играя рюмкой, в которой преломлялся солнечный луч, он не вступал в разговор и лишь

изредка, потрянув головой, улыбался то лукаво и недоверчиво, то печально. Но вдруг посреди самого оживленного спора он, словно вспомнив что-то, поднял голову, улыбнулся и стукнул рюмкой по столу.

— Эти газеты, господа, только сбивают человека с толку, — крикнул он, — и больше ничего! Стоит почитать их на ночь, — как такое приснится, что всю ночь глаз не сомкнешь.

— Что такое? Уж не приснился ли пану Бенедикту какой-нибудь страшный сон, навеянный газетами? — раздался из-за зелени слегка иронический голос.

— Приснился, — ответил Корчинский, — да еще какой.

Он шутливо улыбнулся и потянул книзу свой длинный ус.

— Я не баба, чтобы бояться снов, но от такого сна у всякого волосы дыбом встанут. Вот как было дело. Два месяца назад, вечером, я долго читал о разных войнах, прошлых, настоящих, будущих и еще черт его знает каких... Лег я в постель, заснул, и, представьте себе, вижу я во сне, будто в Корчин явилось множество бисмарковского, или, как его... прусского... войска... одним словом... двор и сад полны солдатни, дом битком набит офицерами... Я, конечно, в страшной тревоге. Разграбят Корчин, думаю себе, все вверх дном перевернут, сожгут, на ветер пустят, если их не примешь как следует... Что делать? Волей-неволей принимаю, угощаю, кормлю, в глаза заглядываю: довольны ли? А они пьют, едят, гуляют, орут... Слава богу, довольны, думаю про себя, и сам доволен... Ну, теперь скоро уйдут! Обьедят меня, обопьют, сад и двор весь истопчут, да хоть что-нибудь в целости оставят... Вот они уже и отъезжать собираются, солдаты на лошадей садятся, офицеры сабли прицепляют... скоро у меня опять тихо будет... Выхожу я как будто на крыльцо, рад без памяти, гляжу, а вон оттуда, из-за тех холмов, тянется другое войско...

Тут он запнулся.

— Это... то... того... — его карие глаза лукаво сверкнули. — Страх на меня напал... Несутся, летят прямо на Корчин, а первые еще не ушли... Вот те на, думаю,

принимал я одних, чтоб они мне дом не подожгли, а теперь и совсем конец мой приходит. Как хочешь вертись, не вывернешься... С этой стороны грозит взбучка и с той — взбучка. О господи ты боже мой! Проснулся весь в поту и целый день ходил как очумелый.

— Страшен сон, да милостив бог! — постарался утешить его кто-то из гостей.

— А действительно, характерный сон! — воскликнул Дажецкий и громко расхохотался, как будто в эту минуту ему изменила обычная сдержанность; при этом он вдруг нагнул шею, чего обычно никогда не делал, и кольца табачного дыма, доселе победно взвивавшиеся вверх, как-то тяжело метнулись вниз.

— Да что там пруссаки, — отозвался из угла какой-то язвительный и, видимо, сильно уязвленный жизнью сосед Корчинского, — тут свои обгложут, как собаки кость... Не успел я кончить одну тяжбу с мужиками из-за выгона, как начинается другая — из-за земли, что возле лесничества.

— Ох, уж эти мне тяжбы! — простонал пан Бенедикт.

— Развелось их у нас, как червей в мокрое лето, — заметил кто-то.

— А ргорос¹, — заметил Дажецкий, — как твой процесс, пан Бенедикт? Помнишь, с той шляхтой?... Забыл, как их фамилия...

— Богатыровичи! — подхватил Корчинский. — Да что вам сказать? Хотят оттягать у меня пятьдесят десятин луга... Кто-то вдолбил им в голову, что луг принадлежит им... Подали в суд и в первой инстанции проиграли, перенесли во вторую... дело тянется вот уже два года — каких это денег мне стоит, скольких неприятностей!

— А какие у них на это основания? — перебило несколько голосов.

— Разве только то, что у них мало лугов и они хотят пасти скотину на моих, — защищался пан Бенедикт. — Документами и планами я могу доказать...

Он начал горячиться и долго еще говорил бы о

¹ Кстати (франц.).

тяжке, при одном воспоминании о которой лоб его покрылся сотней морщин, но вдруг заметил, что в гостиную вошли новые гости, и быстро вскочил со стула.

В этот момент одна из дам, сидевших на диванах и с интересом следивших за всем, что происходит вокруг, поднесла руку ко лбу.

— Боже мой! — шепнула она своей соседке. — Да это пани Кирло явилась! Откуда она взялась? Вот уж, должно быть, лет десять, как ее нигде не было видно! И как она изменилась, постарелась!

У порога гостиной пан Бенедикт с явным и особым уважением подавал руку женщине, за которой следовали молоденькая, лет шестнадцати, девушка и два мальчика в гимназических блузах. Среднего роста, худощавая, прямая, с изящно очерченной линией шеи и плеч, жена пана Кирло казалась издали совсем молодой женщиной благодаря очень светлым волосам, собранным на затылке в огромный чудесный узел. И только вблизи поражал удивительный контраст между роскошными волосами, почти девическим станом и прорезанным поперечными морщинами лбом, загорелым цветом лица и поблекшими губами прекрасного рисунка.

Это было некогда очень красивое, но теперь сильно огрубевшее, истомленное заботами лицо женщины лет тридцати с небольшим. Очень изящная, несмотря на старое, немодное платье, опираясь на руку хозяина дома, она шла по гостиной несмелой походкой, беспокойно оглядываясь на следовавших позади детей.

Когда пани Эмилия встала с дивана и, шелестя платьем, отделанным вышитыми стеклярусом кружевами, подвела новую гостью к кружку наиболее почтенных соседок, по смущенному лицу пани Кирло можно было догадаться, что она отвыкла от многолюдных собраний и, зная по отдаленным воспоминаниям, как надо вести себя в обществе, боится обмолвиться каким-нибудь неудачным словом или сделать резкое движение. Она робко уселась рядом со вдовой Анджея, которая довольно ласково, хотя и с обычной своей высокомерной манерой, тотчас же сказала, что очень рада видеть пани Кирло, которая так давно нигде не показывалась.

принимал я одних, чтоб они мне дом не подожгли, а теперь и совсем конец мой приходит. Как хочешь вертись, не вывернешься... С этой стороны грозит взбучка и с той — взбучка. О господи ты боже мой! Проснулся весь в поту и целый день ходил как очумелый.

— Страшен сон, да милостив бог! — постарался утешить его кто-то из гостей.

— А действительно, характерный сон! — воскликнул Дажецкий и громко расхохотался, как будто в эту минуту ему изменила обычная сдержанность; при этом он вдруг нагнул шею, чего обычно никогда не делал, и кольца табачного дыма, доселе победно взвивавшиеся вверх, как-то тяжело метнулись вниз.

— Да что там пруссаки, — отозвался из угла какой-то язвительный и, видимо, сильно уязвленный жизнью сосед Корчинского, — тут свои обгложут, как собаки кость... Не успел я кончить одну тяжбу с мужиками из-за выгона, как начинается другая — из-за земли, что возле лесничества.

— Ох, уж эти мне тяжбы! — простонал пан Бенедикт.

— Развелось их у нас, как червей в мокрое лето, — заметил кто-то.

— А ргорос¹, — заметил Дажецкий, — как твой процесс, пан Бенедикт? Помнишь, с той шляхтой?.. Забыл, как их фамилия...

— Богатыровичи! — подхватил Корчинский. — Да что вам сказать? Хотят оттягать у меня пятьдесят десятин луга... Кто-то вдолбил им в голову, что луг принадлежит им... Подали в суд и в первой инстанции проиграли, перенесли во вторую... дело тянется вот уже два года — каких это денег мне стоит, скольких неприятностей!

— А какие у них на это основания? — перебило несколько голосов.

— Разве только то, что у них мало лугов и они хотят пасти скотину на моих, — защищался пан Бенедикт. — Документами и планами я могу доказать...

Он начал горячиться и долго еще говорил бы о

¹ Кстати (франц.).

тяжбе, при одном воспоминании о которой лоб его покрылся сотней морщин, но вдруг заметил, что в гостиную вошли новые гости, и быстро вскочил со стула.

В этот момент одна из дам, сидевших на диванах и с интересом следивших за всем, что происходит вокруг, поднесла руку ко лбу.

— Боже мой! — шепнула она своей соседке. — Да это пани Кирло явилась! Откуда она взялась? Вот уж, должно быть, лет десять, как ее нигде не было видно! И как она изменилась, постарела!

У порога гостиной пан Бенедикт с явным и особым уважением подавал руку женщине, за которой следовали молоденькая, лет шестнадцати, девушка и два мальчика в гимназических блузах. Среднего роста, худощавая, прямая, с изящно очерченной линией шеи и плеч, жена пана Кирло казалась издали совсем молодой женщиной благодаря очень светлым волосам, собранным на затылке в огромный чудесный узел. И только вблизи поражал удивительный контраст между роскошными волосами, почти девическим станом и прорезанным поперечными морщинами лбом, загорелым цветом лица и поблекшими губами прекрасного рисунка.

Это было некогда очень красивое, но теперь сильно огрубевшее, истомленное заботами лицо женщины лет тридцати с небольшим. Очень изящная, несмотря на старое, немодное платье, опираясь на руку хозяина дома, она шла по гостиной несмелой походкой, беспокойно оглядываясь на следовавших позади детей.

Когда пани Эмилия встала с дивана и, шелестя платьем, отделанным вышитыми стеклярусом кружевами, подвела новую гостью к кружку наиболее почтенных соседок, по смущенному лицу пани Кирло можно было догадаться, что она отвыкла от многолюдных собраний и, зная по отдаленным воспоминаниям, как надо вести себя в обществе, боится обмолвиться каким-нибудь неудачным словом или сделать резкое движение. Она робко уселась рядом со вдовой Анджея, которая довольно ласково, хотя и с обычной своей высокомерной манерой, тотчас же сказала, что очень рада видеть пани Кирло, которая так давно нигде не показывалась.

— Пан Бенедикт был так добр, что несколько раз приглашал меня, даже нарочно присылал Юстыну, — сказала немного ободренная пани Кирло. — Могла ли я отказать человеку, который столько для меня сделал?

— Значит, мой шурин имеет удовольствие иногда видеть вас?

— О боже мой! — воскликнула она. — Да разве я могла бы справиться со своими делами и хозяйством без этого благородного человека. Теперь уж ничего, теперь я сама научилась, да и привыкла, а сначала я совсем потеряла бы голову, если б не советы пана Бенедикта, а иногда и помощь в делах.

Теперь, когда она в порыве благодарности заговорила громче, в голосе ее прозвучало несколько грубых нот, которые совсем не вязались с изяществом ее фигуры и движений. Некоторые выражения пани Кирло были отнюдь не изысканны.

— Ей-богу, такого доброго человека и не сыщешь на этом подлом свете...

По лицу пани Анджейовой пробежала тень досады, а сидевшая рядом со свекровью Клотильда широко раскрыла глаза и едва сдерживала улыбку, порхавшую на ее алых губках.

Хозяйка дома поспешила выразить сожаление, что такая близкая соседка так поздно пожаловала сегодня к ним.

Пани Кирло снова смутилась, неловко изогнула в поклоне прелестный стан и, призывая на помощь всю свою смелость, неестественно громко заговорила:

— Что же делать? Разве можно оставлять детей одних? Трех старших я решила взять с собой, — думаю, вы не осудите меня за это, — а младших нельзя же было бросить на прислугу. Пришлось подождать, пока придет Максимиха... баба она добрая, всех моих детей вынянчила и всегда является, если ее позовешь... С маленькими детьми, как со стеклом, нужна осторожность, ну да моя бабуля Максимиха хорошо за ними присмотрит.

Прячась за свекровью, Клотильда, чтобы не рассмеяться, зажимала себе рот кружевным платочком, пани Анджейова хранила мертвое молчание, а пани Эмилия

поднесла руку ко лбу и горлу, как бы в предчувствии приступа мигрени и спазм. Одна из пожилых дам, которые, сидя на диване и наблюдая за гостями, потихоньку обменивались замечаниями, шепнула другой:

— Как опростилась и огрубела пани Кирло! А до замужества что за прелесть была девушка!.. И ведь из хорошей семьи — урожденная Ружиц!

Кирло бежал с террасы приветствовать жену, — прямо-таки бежал. Прибежав, он схватил ее руки и начал осыпать их самыми нежными поцелуями. Его лицо, покрасневшее от выпитого ликера, выражало полнейшее удовольствие, а на глазах показались слезы.

— Как это хорошо, что ты хоть раз выбралась в гости, как хорошо! — повторял он и, обратившись ко всем присутствующим, заявил: — Моя Марыня такая домоседка, что ее не оторвешь от детей и хозяйства.

Она подняла на него глаза и с такой же сердечностью пожала ему руку.

— А вы давно не видались? — с легкой насмешкой спросил кто-то из гостей.

— Да, вот уже неделя, как я не был дома, — ничуть не смутившись, ответил Кирло.

— У моего мужа очень общительный характер, ему необходимы развлечения. Дома он скучает, а я с величайшей охотой заменяю его во всех делах, — поспешно добавила пани Кирло.

Кирло пошел поздороваться с детьми. Мальчики в гимназических блузах, в страшно стучащих башмаках, с красными, беспомощно повисшими руками, стояли, прижавшись к фортепиано, и смотрели на всех и на все широко раскрытыми глазами. Девочку Юстына усадила рядом с другими подростками. Полукороткое платье из белой кисеи с розовым поясом, вероятно, дома казалось и матери и дочери очень красивым, но здесь, рядом с нарядными, пышными платьями младших Дажецких и бледной, как видно больной малокровием, дочери Корчинской, оно выглядело очень скромным, чуть ли не убогим. Видневшиеся из-под этого платья маленькие ноги в грубых кожаных ботинках, производили особенно странное впечатление рядом с изящными ножками в ажурных чулочках и таких хо-

рошеньких туфельках, что каждая из них могла, как безделушка, служить украшением для этажерки.

Обладательница этого бедного платья тоже не представляла бы собой ничего особенного, если бы не прелестное личико и ни с чем не сравнимая девичья чистота взгляда и движений, которые невольно напоминали только что распутившийся цветок дикой розы, с любопытством выглядывавший из-за листвы. Она с интересом посматривала вокруг своими голубыми, как незабудки, глазами; толстая и светлая, как у матери, коса вилась по ее покатым плечам; круглые, как пышки, руки в тесных перчатках она сложила на коленях и молчала. Девочки, разглядывавшие под наблюдением гувернантки-француженки иллюстрации, окинули ее холодным взглядом и вновь принялись за свое занятие. Но вдруг из противоположного угла гостиной к ней подбежал молодой, стройный юноша, схватил обе ее руки, по-товарищески крепко пожал их и с радостной улыбкой на красивом, но уже усталом лице, уселся на соседний стул.

— Как давно, панна Мария... или можно по-старому: Марыня?

— Можно, — шепнула девочка, покраснев до корней светлых волос и открывая в улыбке ряд белоснежных зубов.

— А вы... Марыня, будете говорить мне ты?

— Отчего же нет? — удивилась она.

— Как давно я не видел тебя, милая, дорогая Марыня! Два года не был дома... Как ты выросла за это время!..

— И ты, Витек, немного изменился... похудел...

— Работаю, учусь, думаю... а ты что делаешь?

— Да то же, что и раньше: маме в хозяйстве помогаю, занимаюсь с младшей сестренкой... Молочное хозяйство, огород — это теперь на мне лежит!

Последние слова она проговорила с некоторой гордостью.

— А старая Максимиха жива?

— Жива-здоровехонька.

— Это хорошо! А те ребяташки, с которыми ты возилась два года назад?

— Они уже читают.

— Милая ты моя, добрая! Как я рад, что вижу тебя!.. Сколько мне тебе порассказать надо!

— Приедешь в Ольшинку?

— Ну как же, приеду, конечно приеду! И не один раз, а сто.

По-детски радуясь и почти дрожа от счастья, они глядели друг другу в глаза.

В это время, как бы отвечая их радости, в гостиной раздались аккорды фортепиано и вслед за ними протяжные звуки скрипки. Пани Эмилия давно уже чувствовала, что дальнейший разговор с гостями становится ей не под силу; искусственный подъем, заставивший ее повеселеть и разговориться, мало-помалу сменялся утомлением и слабостью, бессильное ее тело сникло и падало на подушку дивана. Потускневшими глазами она переглянулась с Юстиной, которая тотчас же встала и подошла к фортепиано. Ожельский, осушив до последней капли свою рюмку и отпустив несколько комплиментов раскрасневшейся Тересе Плинской, давно уже семенил вокруг рояля, на котором лежала его скрипка, и теперь, нежно, точно любимое дитя, прижав ее к груди и закрыв глаза, с наслаждением провел смычком по струнам.

Звуки музыки наполнили гостиную. Отец и дочь играли какую-то прекрасную длинную и трудную пьесу. Ожельский постепенно преображался. По мере того как звуки, вылетающие из-под его смычка, росли и крепились, старый музыкант тоже, казалось, вырастал, худел, принимая более благородный облик. Маленький, пузатый, он становился стройнее и как бы выше, с низкого белого лба исчезли все морщины, горящие вдохновением глаза смотрели куда-то вдаль. Потоки звуков, льющихся со струн его скрипки, точно смывали с его лица следы глупости и пошлости. В этом вдохновенном артисте едва ли кто узнал бы того обжору и волокиту, который час назад не мог расстаться с тарелкой и строил умильные глазки старой деве, — того добродушного, глуповатого старичка, который без малейшей обиды выносил издевательства знакомых.

То было почти волшебство, а волшебницей, которая коснулась его своей палочкой, была великая, всепоглощающая страсть, долгие годы окрылявшая жизнь этого человека.

Юстына играла свою трудную, сложную партию с точностью и чистотой, свидетельствовавшими о хорошей музыкальной технике, но лицо ее было холодно и безучастно. Ни один мускул не дрогнул на нем, она играла будто по обязанности, умело, старательно, но холодно. Играла она наизусть, низко опустив ресницы, а когда поднимала взгляд, он попрежнему выражал только скуку и усталость.

Только раз в глазах Юстыны мелькнула тень тревоги и досады: в дверях гостиной стоял Ружиц. За последние четверть часа в нем совершилась какая-то удивительная перемена. Вышел он из гостиной неверными шагами, пожелтевший, с мучительной гримасой на лице, а возвратился помолодевший, свежий, сияющий, с блестящими глазами, даже с легким румянцем. Остановившись у дверей и сдернув пенсне, Ружиц посмотрел на Юстыну с таким выражением, что та опустила глаза и больше не поднимала их. Это был взгляд, каким смелый и уверенный в себе покоритель женских сердец смотрит на понравившуюся ему женщину, взгляд, которым он словно обнимает ее и берет, как свое достояние.

Музыка продолжалась долго. Одни слушали внимательно и с удовольствием, другие — с открытыми от изумления ртами, некоторые с подавляемой зевотой. Даже на террасе затихли громкие до того разговоры. Хозяйка дома могла теперь не занимать гостей, — она отдыхала. В то время как зал был наполнен звуками великолепно исполняемого *brío*¹, Ружиц неслышно, на цыпочках, прошел через всю гостиную и сел на свободный стул рядом с пани Кирло.

Та ласково улыбнулась ему и подала руку. Все знали, что этот изящный тридцатилетний молодой че-

¹ *Brio* — *con brio* (итал.) — музыкальный термин: «с огнем», обозначает характер исполнения определенной части музыкального произведения. (Прим. ред.)

ловец, уже прокутивший полмиллиона, и утомленная непосильным трудом женщина в старом платье были в довольно близком родстве.

С присущей ему грацией Ружиц наклонился к самому уху соседки.

— Кузина, — шепнул он, — ты хорошо знаешь панну Ожельскую?

Пани Кирло утвердительно кивнула головой и с любопытством посмотрела на него.

— Бывает она у тебя?

Она опять наклонила голову.

— Я хочу тебя просить... не пригласишь ли ты нас когда-нибудь вместе, чтоб мы встретились у тебя как будто невзначай... Здесь я не могу бывать так часто... как мне хотелось бы.

Пани Кирло широко открыла глаза и сначала с величайшим изумлением окинула его взглядом, а потом так громко, что несколько человек обернулось в ее сторону, выпалила:

— Это еще что значит?

Испугавшись собственного голоса, пани Кирло спохватилась и продолжала уже тише:

— Не задумал ли ты вскружить голову бедной девушке? Можешь встречаться с ней в своей Вене, а у меня ты ее наверняка не увидишь.

Ружиц беззвучно засмеялся:

— Какая ты провинциалка!

Он очень хорошо знал, что эти слова заденут ее. Пани Кирло действительно смутилась на мгновение, но, оправившись, энергично возразила:

— Пусть так! А ты во многом выиграл бы, если бы остался провинциалом.

Ружиц вдруг нахмурился и ответил:

— Может быть...

Но в эту минуту он был не способен ни задумываться над чем-либо, ни из-за чего бы то ни было огорчаться.

— Милая кузина, — начал он снова, — если бы ты знала, как она мне нравится!.. Она какая-то необыкновенная... и как сложена... и эти серые глаза и черные волосы...

Пани Кирло заметила неестественный блеск его глаз и заливавший его лицо румянец. Эти признания оскорбляли ее, но обиду вскоре сменила жалость.

— Как мне жаль тебя. А сегодня ты еще вдобавок пьян, что ли?

Он снова протяжно произнес:

— Может быть...

Музыка умолкла; несколько человек окружили Ожельского, благодарили за игру и восхищались исполненной вещью; он расправлял плечи и сиял.

— Какова увертюрка, — говорил он, — игрушечка!

Юстына встала из-за фортепиано с намерением уйти. Но, пропустив вперед Ожельского, Зыгмунт Корчинский загородил ей дорогу.

Он слушал эту действительно прекрасную музыку в привычно живописной позе и, казалось, был охвачен грустным и мечтательным настроением. Теперь с принужденной улыбкой на бледных губах он тихо произнес:

— Мне кажется, кузина, теперь ты не любишь музыки так, как любила прежде.

Он с особенной силой подчеркнул последнее слово. Юстына стояла перед ним с опущенными глазами, неподвижная, напрягая все силы, чтобы скрыть свое волнение.

— Нет, — тихо ответила она, — нет, нет, я совсем уже не люблю музыки.

Он стоял так, чтобы она не могла уйти и прервать начатый разговор.

— О! — воскликнул Зыгмунт, — вкусы женщин изменчивы! Но у тебя это потому, что ты никого не слышала, кроме своего отца, хотя он и играет превосходно. Если б ты послушала...

И, постепенно оживляясь, он стал рассказывать о знаменитых виртуозах, которых слышал в больших европейских городах, о новых операх. Говорил он легко, свободно, образно, обнаруживая хорошее знакомство с музыкой и вообще с искусством... Юстына слушала его, лишь изредка вставляя какое-нибудь слово. Сердце ее билось, лицо побледнело. Она стояла точно замороженная его голосом и близостью, которая волновала все ее существо. А он смотрел в это бледное, печальное лицо,

не отрывая от него больших, как у всех Корчинских, миндалевидных карих глаз. Зыгмунт ловким движением опытного салонного стратега отгородил ее от стоявших вблизи гостей и, живописно опершись на фортепиано, спросил, почему во время своего приезда в Корчин он или совсем не видит ее, или видит только мельком.

Юстына ответила, что она часто помогает дяде по хозяйству и, кроме того, должна присматривать за отцом.

Зыгмунт засмеялся.

— Зачем говорить неправду? Ты не хочешь меня видеть, я знаю... Ты не можешь забыть обиды и презираешь меня! Да я и сам начинаю себя презирать!

В голосе его было столько горечи и сожаления, что Юстына поспешно ответила:

— Нет, нет... не то!..

Она хотела еще что-нибудь сказать, но запнулась: из другого конца гостиной на нее устремились чьи-то глаза, выражение которых невозможно было описать. То были глаза Клотильды, еще более синие и блестящие, чем всегда, но взгляд их был каким-то необычным. Около молоденькой женщины со своей обычной улыбкой сидел Кирло. Минуту назад он кивнул головой на разговаривающих у фортепиано и шутливо спросил:

— Вы не ревнуете?

— Кого, к кому? — так же весело спросила Клотильда, но, взглянув в указанном направлении, вспыхнула.

— Вы разве не знаете? Это первая любовь вашего супруга... Панна Юстына — первая любовь, а вы знаете пословицу... — И он прибавил на ужасном французском языке: — *Он... он ревует тужур...*

— *A ses premiers amours*¹, — закончила с небрежным смехом жена Зыгмунта. — Я знаю, знаю об этой первой любви, — мне рассказывали о ней... Но вам должна быть прекрасно известна другая пословица: с глаз долой...

— Из сердца вон! — и Кирло расхохотался весело, от всей души.

¹ К первой любви всегда возвращаются (франц.).

Но вскоре улыбка замерла на губах Клотильды, она вся помертвела, увидев эту высокую цветущую девушку, с которой говорил ее муж, вдруг оживившийся, взволнованный. Он все говорил и говорил что-то, не давая той уйти, и загородил ее собой от других.

Глаза Юстыны встретились с этими глазами, которые метали в нее молнии гнева и ненависти: девятнадцатилетнее сердце Клотильды разрывалось от горя и тревоги. Юстына видела, как эти горящие синие глаза постепенно начали заволакиваться и наполняться долго сдерживаемыми, крупными, прозрачными, словно хрусталь, слезами, прелестное, свежее, как весна, личико исказилось выражением нестерпимой боли, словно лицо беззащитного, тяжело и несправедливо обиженного ребенка.

В эту минуту Зыгмунт Корчинский, почти касаясь плечом рукава Юстыны, тихо спрашивал:

— Неужели ты совершенно изгнала из своего сердца воспоминание о нашем прошлом? Неужели ты никогда не заговоришь со мной, как с другом, с братом?

С трудом отрывая глаза от Клотильды, Юстына подняла голову и холодно посмотрела на стоявшего перед нею Зыгмунта.

— Совершенно... и никогда, — ответила она так твердо, что Зыгмунт побледнел и с легким поклоном отошел в сторону.

В гостиной наступило общее оживление. Кто-то предложил прогуляться по саду. Дамы поднимались с диванов и кресел, а молодежь сбегала со ступенек террасы, на которой пожилые гости уселись уже за карточные столы. Пан Бенедикт готовился вместе с другими приступить к партии винта, но без всякого удовольствия, а исключительно по необходимости. Зато Кирло с такой жадностью поглядывал на карты и на зеленое сукно, что на время перестал смеяться сам и смешить других.

Видно было, что к картам он питал еще большую страсть, чем к другим развлечениям.

Пани Эмилия вместе с другими дамами приближалась к дверям, ведущим на террасу. Прогулка по саду, где могло продуть ветром и где еще сильно припекало

солнце, вызывала в ней опасения. Она кивнула Юстыне и слабым голосом попросила ее принести мантилью, шаль, зонтик и перчатки. Юстына быстро повернулась к двери передней; Ружиц побежал вслед за ней.

— Вы позволите мне заменить вас?

Расстроенная после разговора с Зыгмунтом, Юстына не слышала этого и не заметила, что Ружиц вместе с нею вошел в переднюю и приблизился к вешалке, на которой висели вещи пани Эмилии. Вдруг она почувствовала, что к ее руке прикоснулась чья-то гладкая, как атлас, ладонь. Она подняла глаза и только тут заметила присутствие молодого человека, который, будто распутывая бахрому кружевной шали, старался прикоснуться к ее руке и смотрел на нее такими же глазами, как четверть часа назад. Он что-то говорил... Но у нее шумело в ушах, голова пылала, и она не поняла хорошенько, что именно, только покраснела до корней волос.

Юстына быстро отошла и, держа в руках нарядную мантилью хозяйки дома, с пылающими щеками и гневным взглядом вернулась в гостиную. За ней, превосходно владея собой, поблескивая стеклами пенсне, следовал Ружиц с кружевной шалью и зонтиком пани Эмилии.

Эта сцена, вероятно, не укрылась от внимания присутствующих, потому что бедную родственницу хозяев встретило несколько любопытных взглядов, а Клотильда, уже снова повиснув на руке у мужа, иронически улыбаясь, окинула ее с ног до головы тем страстным и красноречивым взглядом, который ранит человека как оскорбление. Но молодая женщина, встревоженная за свое счастье, только еще начинала познавать горечь жизни; ее гнев и презрение легко уступали место печали и сожалению. Стоя на последней ступеньке террасы, Клотильда крепко-крепко прижималась к мужу, не сводя с него умоляющих глаз. Но Зыгмунт не смотрел на нее. Ожидая выхода матери и хозяйки дома, он нетерпеливо сжал губы и устремил глаза куда-то вдаль. Пани Эмилия, окутанная мантильей, с раскрытым зонтом, мужественно вышла на террасу. Но перед самой лестницей она заколебалась и остановилась; на лице ее выразились страдание и тревога.

— Кажется, я не сойду... нет, нет, я не в силах сойти с этих ступенек, — сказала она.

Слова пани Эмилии никого не удивили: всем было известно, какой образ жизни ведет она и как слабо ее здоровье. Несколько мужчин наперерыв предлагали хозяйке дома свою помощь, но она не захотела воспользоваться чьими-нибудь услугами. Отлично зная, что на вид она еще молода и привлекательна, пани Эмилия не хотела сознаться в своем недуге. Однако эти ступеньки казались ей страшными, — она непременно оступится и упадет... И она приближалась к самому краю, а потом отступала; то вытягивала вперед шегольски обутую ножку, то, тихонько вскрикнув, поспешно отдергивала ее, как перед развернутой пастью змеи. Эта борьба с самой собой даже вызвала на ее щеках яркий румянец. Наконец, сдерживая отрывистый нервный смех, она не сошла, а сбежала с лестницы, быстро, легко, грациозно. Этот первый успех сильно ободрил ее, и, окруженная толпой мужчин и женщин, она пошла по аллее ровным, твердым шагом. Дажецкий, наблюдавший за этой сценой, не без иронии заметил:

— Однако ваша жена, любезный пан Бенедикт, все не так слаба, как ей кажется.

— Да что там говорить! — ответил Корчинский, сдавая карты. — Засиделась дома и отвыкла ходить... Впрочем, она всегда была болезненная!..

Стоя в дверях опустевшей гостиной, Юстына проводила глазами рассыпавшихся по саду гостей и собиралась уже идти в столовую, как вдруг услышала за собой быстрые шаги, и затем кто-то тихонько окликнул ее по имени: за ней стоял Зыгмунт Корчинский, беспокойно оглядываясь по сторонам.

— Я забыл шляпу... шляпу ишу... — в смущении проговорил он дрожащими губами, приближаясь к Юстыне, и, прежде чем она успела отодвинуться, схватил ее за руку. — Кузина, неужели ты не возьмешь назад то, что сейчас сказала: «Совершенно и никогда»? Неужели ты совсем забыла о прошлом и не будешь для меня никем... даже другом... сестрой? Пойми, я не могу...

Юстына на минуту растерялась, но тут же опомнилась и вырвала руку.

— Что тебе нужно от меня? — чуть не крикнула она. — Почему, по какому праву ты хочешь обратить меня в какую-то игрушку своей прихоти? Довольно... прошу тебя... чего ты хочешь?

Слова у нее путались, голос замирал.

— Мне нужна твоя душа, Юстына... твоя дружба... доверие...

— Душа! — протяжно рассмеялась она. — Ты думаешь, что я все еще ребенок, каким была в то время, когда для меня все твои красивые слова... О! в них было столько поэзии...

Она не договорила и, сделав несколько шагов вперед, протянула руку по направлению к саду.

— Иди и дай руку своей жене. Ведь она еще дитя, прелестное, доброе дитя, порученное твоей совести, и она любит тебя... а моя душа... — Юстына невольно вздрогнула, — моя душа не примет того, что ты можешь принести ей теперь в жертву!

Как будто желая убежать не только от Зыгмунта, но и от самой себя, она нерешительным, но торопливым шагом вышла из гостиной.

В столовой Юстына увидела Марту. Та, нагнувшись над столом и громко сопя, раскладывала в хрустальные вазы варенье и фрукты. Юстына остановилась и с минуту смотрела на широкие сгорбленные плечи и изрытое морщинами лицо своей старой приятельницы и, подойдя, прикоснулась к ее руке, которая необычайно старательно украшала пышным красным боярышником белую смородину.

— Кто там? — поднимая голову, вскрикнула Марта. — Чего тебе? — уже ласковее спросила она.

Еще дрожа от обиды, со слезами в глазах Юстына шепнула:

— Может быть, помочь, принести что-нибудь... мать...

— Ну, вот еще! Ты же знаешь, что я не люблю, — да кто-нибудь мешается в мои дела... Я всегда справляюсь одна и теперь справлюсь. Веселись, если тебе весело.

— Мне невесело... — ответила Юстына.

— А я чем могу помочь? Ты всегда такая. Возьмись-ка за ум, кружи мужчинам головы, вот и весело будет.

Она говорила это своим обычным, резким, саркастическим тоном, но морщины на ее лбу мало-помалу разглаживались, а угрюмые глаза становились приветливее. Казалось, она вот-вот поднимет руку, по которой стекал сироп от варенья, и ласково погладит разгоревшуюся щеку стоявшей перед ней девушки. Но в эту минуту в противоположном углу столовой послышался звон разбитого стекла и чей-то визгливый крик. Якобы помогавшая Марте вертлявая, разряженная горничная пани Эмилии так загляделась на франтоватого камердинера Ружица, что уронила что-то из посуды.

— Несчастье, да и только! — срываясь с места, крикнула Марта. — Хрустальный графин расколотила! Вот ваша помощь! Пошла прочь и не смей больше глаз сюда казать! Ступайте все отсюда! Лучше бы я сама все сделала! Графин из сервиза!.. Сто лет, может, сервиз служил, а теперь нате-ка!.. Несчастье, да и только!.. Ох! не могу...

Марта так расстроилась, что у нее даже руки дрожали, и, когда она бранила девушку, в голосе ее звучал не столько гнев, сколько жалоба. Присев на полу, она начала собирать осколки графина и вдруг разразилась долгим пронзительным кашлем.

V

Юстына выбежала из дому через боковую дверь и стала пробираться краем огородов в поле. Вскоре она очутилась на дорожке, прихотливо извивавшейся между двумя высокими стенами густой ржи, еще зеленой, но уже начинавшей буйно колоситься и усеянной синими звездочками васильков. Было что-то таинственное и влекущее в этой тропинке, тонувшей в безбрежном море колосьев. Она начиналась у порога дворовых служб и, белая и твердо утоптанная, бежала дальше вглубь равнины. Иногда расширяясь, иногда суживаясь, она поворачивала то в одну, то в другую сторону... вот-вот

кончится и оборвется, но за ближайшим поворотом или зеленой межой тропинка появлялась вновь, маня и уводя за собой бог весь куда. Никто ее не видел, кроме того, кто шел по ней; да и тот, кто шел по ней, тоже не видел ничего, кроме колосьев вокруг и голубого свода неба над собой. То была низкорослая пуща с молчаливо-неподвижными верхушками, которая кипела внизу незримой жизнью. Жизнь эта наполняла ее разнообразными шорохами, шелестами, стрекотаньем, жужжаньем, щебетом, сливавшимися в непрекращающийся шум и гомон.

Юстына очутилась на этой тропинке, сама не зная как, и вовсе не думала о том, куда она ее заведет. Скорее инстинктивно, чем сознательно, девушка бежала от всего, что ее мучило, ранило, унижало. Она страдала уже несколько лет и с каждым годом все больше... Но почему же она чувствовала себя так глубоко, так безнадежно несчастной? Почему ее жизнь сложилась именно так? Почему от жаркого сна первой молодости она пробудилась не только одинокой и печальной, но и оскорбленной, с не высохшей до сих пор каплей горечи в сердце?

Обрывки прошлого беспорядочно теснились в ее памяти. Она шла быстро, опустив голову, и думала. Когда она была ребенком, люди вокруг нее толковали о том, что прежде жилось веселее и счастливее, что жизнь была легче и что теперь радости убавилось, забот и препятствий стало больше. Люди преодолевали эти препятствия с жалобами, суть которых становилась ей все понятнее, и с таким трудом, от которого тело быстро изнашивалось, а лицо покрывалось морщинами. Вот отец ее чувствовал себя попрежнему спокойным и счастливым, он ничего не преодолевал и не тратил никаких усилий. Правда, этот продукт давно минувших дней, который в ранней юности лелеяли для прекрасного искусства, кому расточали похвалу за игру на скрипке, чьи мечтательные глаза очаровывали столько женщин, не всегда был таким, как в эти последние десять лет, хотя уже давно проявлял склонность к подобному превращению.

Юстына помнила, как мало-помалу он начал тол-

стеть и руки и щеки его становились пухлыми, но печальным или сердитым она его никогда не видала. Что бы с ним ни случилось, какое бы несчастье ни постигало его самого или близких ему людей, он всегда сохранял невозмутимое спокойствие и почти детскую незлобивость. Возбуждался он только тогда, когда играл, а он почти не отрывался от скрипки, и можно было думать, что его любимое искусство поглощало все его силы и успокаивало все страсти. Но на самом деле было не так.

У отца Юстыны была еще одна страсть. При виде хорошенького женского личика или стройного стана его яркие чувственные губы под золотистыми сначала, а потом уж седеющими усами всегда складывались в довольную улыбку. Пожалуй, обе его страсти взаимно поддерживали друг друга. Чем дольше он играл, тем порывистее стремился к предмету своей любви; чем сильнее было сопротивление, тем он дольше и с большей страстью играл.

В памяти Юстыны осталось немало смутных детских воспоминаний о том, что ее мать часто и горько плакала, а слуги, смеясь, о чем-то шептались. Тогда она еще не понимала всего и только удивлялась, но вскоре стала и понимать. Она еще и сейчас так ясно могла представить себе эту худошавую женщину с гибким станом, ее волосы цвета воронова крыла и жгучие глаза. Временами она была болтлива и легкомысленна, но чаще угрюма... Это была ее гувернантка, француженка... Она недолго учила Юстыну. Вскоре она покинула их дом, а вслед за нею уехал, как потом оказалось, на продолжительное время и сам Ожельский, взяв с собой скрипку... Впрочем, не одну скрипку, потому что перед отъездом снова занял у кого-то значительную сумму денег.

Длилось ли отсутствие отца несколько месяцев, или целый год, Юстына не помнила, но о причинах этого отсутствия знала точно. Никто уже не скрывал от ребенка ни семейной драмы, ни разорения. Юстыне хорошо был памятен день, когда она с матерью садилась в карету, окруженную толпой кричащих, угрожающих или жалобно плачущих кредиторов.

Они уехали в Корчин. Юстына никогда не могла забыть разговор ее матери с паном Бенедиктом. Бедная женщина давно надорвала свои силы и, предчувствуя смертельный исход своей болезни, умоляла родственника не оставлять ее дочери на произвол судьбы. Худая и слабая, она дрожала всем телом, ломая свои иссохшие и словно восковые руки, а по ее прозрачному лицу текли слезы. Пан Бенедикт говорил мало, покусывая конец длинного уса, понуро глядел в пол, но, окончив разговор, поцеловал склоненную перед ним голову родственницы и пожал протянутые к нему худенькие, жалкие руки.

Когда они возвратились домой, то еще со двора услышали звуки скрипки. Хозяин дома вернулся, правда ненадолго. Вскоре, извещенный о смерти родственницы, приехал и пан Бенедикт. Он с большим трудом наладил кое-как дела по имению, еле-еле спас ничтожную сумму денег и перевез овдовевшего отца вместе с четырнадцатилетней дочерью в Корчин.

Ожельский, казалось, был совершенно счастлив таким положением дел. После последнего романического приключения он заметно постарел, обрюзг и стал как-то равнодушен к прекрасному полу. Впрочем, он не отрешился от всех радостей жизни. Кухня в Корчине благодаря Марте была отличная, а времени у пана Ожельского было с избытком; прежде его еще тяготили кое-какие дела, теперь же он мог посвящать целые дни музыке.

Потом в памяти Юстыны встала величественная фигура женщины с гордо поднятою головой и смиренно опущенными глазами, всегда в черном вдовьем платье. После пана Бенедикта это была ее вторая благодетельница. Увидав девочку, еще не снявшую траура по матери, она притянула ее к себе, горячо поцеловала, и ее печальные глаза блеснули состраданием. Она заявила пану Бенедикту, что родственница Корчинских не может быть для нее чужой, что обязанность воспитывать ее нельзя возложить на одного брата и что она, в память Анджея, просит предоставить ей участие в этом. Когда она произносила имя погибшего мужа, ее холодные губы дрогнули.

— Ты знаешь, брат, — закончила она, — как свято храню я любовь к моему герою и как я верна его памяти. Невидимый для глаз, он всегда стоит перед моим духовным взором. Я часто беседую с ним в ночной тиши и молю бога, чтобы он позволил ему внимать мне, и кто знает, не услышана ли моя просьба? Сегодня я скажу ему, что в его семье есть бедная сирота и что вместо него я с твоей помощью позабочусь о ее судьбе.

Она действительно ревностно занялась воспитанием Юстыны, пополам с паном Бенедиктом платила жалованье гувернанткам девочки, шила ей красивые платья, выписывала книги и ноты. Когда Юстына подросла, она на целые недели и даже месяцы брала ее в свое прелестное, некогда большое имение Осовцы, которое теперь стало уже значительно меньше и постепенно приходило в упадок.

В голове Юстыны роилось множество образов, связанных с главным событием ее жизни. Вспомнился ей юноша, лет на шесть старше ее, которого окружали дорогие учителя, которого мать старательно оберегала от всякого соприкосновения с действительной жизнью. Изнеженный, избалованный, он мечтал о будущем гениального художника, которую пророчили ему все окружающие. С этим не то баричем, не то экзальтированным художником связывались у Юстыны воспоминания о всех событиях и душевных движениях, которые обыкновенно составляют содержание свежей, чистой, взаимной, длящейся долгие годы любви. Тут были и майские утра и лунные вечера, далекие прогулки, тихие беседы, чтение возвышенных творений любимых поэтов, слезы разлуки, когда он уезжал в далекие страны, чтобы совершенствовать свой талант, и умиротворяющие надежды письма, невыразимая радость свидания, обеты, клятвы, планы будущего, пламенные поцелуи, сладость которых она долго-долго потом чувствовала на устах... И сейчас при одном воспоминании об этой давнишней, но сильной и до сих пор единственной любви взбудораженная кровь горячей волной ударила ей в лицо. Она остановилась посреди тропинки и закрыла его руками, но вдруг побледнела, с гневом в глазах выпрямилась и пошла дальше.

Как же кончилась эта идиллия? О, очень прозаично! Правда, герой идиллии первый громко произнес слово «женитьба» и даже повторял его два месяца, сначала энергично и настойчиво, а потом все нерешительнее и тише. Юстына помнила каждый день этих месяцев и почти каждое слово, сказанное ей или о ней. Она думала тогда, что дело идет о ее жизни, и всею силой своего зрения и слуха (а то и другое в это время как-то особенно обострилось) приглядывалась и прислушивалась ко всему, что делалось вокруг. И она прекрасно знала обо всем.

Вокруг нее все кипело. Вдова Анджея как будто даже потеряла частицу своего величия, — в такое отчаяние привело ее решение сына. Она могла быть нежною, не жалеть денег на воспитание бедной сироты, узами крови связанной с человеком, которого она чем дальше, тем сильнее любила, как погибшего возлюбленного, и чтילה, как святого мученика. Но когда затем Корчинская стала сравнивать эту даже любимую ею девушку с Зыгмунтом, то нашла ее такой ничтожной в смысле положения в свете, и по воспитанию, и по красоте и уму, что просто не могла представить себе такого союза.

О материальной стороне дела она заботилась меньше, хотя, несмотря на свою отрешенность от света и полную непрактичность, чувствовала, что Осовцы нуждаются в поддержке и помощи. Но прежде всего она желала видеть женой сына женщину знатного происхождения, с влиятельными связями, с блестящим образованием, — одним словом, музу, которая помогла бы гению — а Зыгмунт был в глазах матери действительно гением — еще шире расправить крылья и взлететь еще выше.

Все это пани Корчинская высказала Юстыне, не гневаясь и не раздражаясь (она не могла дурно обходиться с родственницей Анджея), — напротив, с грустью, хотя и не без высокомерия.

Гораздо менее сдержанной оказалась тетка Зыгмунта, женщина живая и высоко ставившая богатство.

— Ты должна была знать, милая Юстына, что такие люди, как Зыгмунт, с такими девушками, как ты,

сплошь и рядом играют в любовь, но почти никогда на них не женятся!

Над головой пана Бенедикта разразилась гроза. Вдова Анджея через день вызывала его в Осовцы; а пани Дажецкая сама приезжала в Корчин и, шелестя своим шелковым платьем, донельзя возбужденная, вбегая в кабинет брата, громко высказывала свое недовольство. Вмешался в это дело и ее аристократической внешности супруг, пан Дажецкий, и однообразно и тягуче доказывал шурина, что такой брак вовсе не соответствует его желаниям и вкусам и что столь близкому родственнику его жены не следует жениться бог весть на ком.

Пан Бенедикт приходил в такое раздражение, что по всему дому раздавались его громовые вопросы: «Что же мне теперь прикажете делать с девушкой, — утопить ее или застрелить?» Он пожелал переговорить обо всем этом с самим Зыгмунтом. Они долго беседовали, и в конце концов пан Бенедикт с мрачной усмешкой заявил:

— Послушай, мой милый проказник, поезжай-ка ты снова за границу и займись живописью... Осовцы, правда, придут в окончательный упадок, но сердце у тебя от этого, наверное, не разорвется... потому что, говоря по совести, ты сам не знаешь, чего хочешь!

Зыгмунт уехал и после двух лет, проведенных в святилищах искусства, преимущественно в Мюнхене, возвратился женатым.

Все это было для Юстыны ударом, который поверг ее в отчаяние, пощечиной, которая заставила ее почувствовать, что у нее есть гордость. Она поняла, что еще больше, чем любовь, оскорблено ее человеческое достоинство. Это была острая стрела, которая пронзила ей сердце и открыла глаза на многое, что раньше было недоступно ее взору и пониманию. Прежде всего она поняла собственное положение и, охваченная презрением к своему бесцельному настоящему, с ужасом думала о будущем. До сих пор любовь, страдания и мечты поглощали все ее время, но зато питали ее мысли и сердце. Когда же эта пища иссякла, Юстына почувствовала, что ей нечем заполнить медленно плетущееся

время, не на чем укрепить якорь своей хотя бы самой скромной надежды.

По временам, когда она закрывала глаза и думала о себе, о том, что ждет ее в будущем, ей казалось, что перед нею открывается бесконечная пустыня, по которой, словно измученные и обессиленные тени, бесцельно скитаются молодые силы ее тела и духа. А теперь этот человек хочет снова раздуть в пустыне тот огонь, что уже один раз так жестоко опалил ей крылья. Несколько минут назад она чувствовала себя до глубины души потрясенной одним звуком его голоса. Она почти уже забыла... а теперь... снова?.. Неужели снова? Казалось, тысячи голосов кричат в ней: «Нет! Нет!» А что, если в скуке и бесцельности ее теперешней жизни она может... когда-нибудь... вдруг...

Она не ребенок, ей скоро двадцать четыре года; когда-то она страстно любила и теперь знала, чувствовала, что может быть с ней и как велика сила горячей крови и опьяненного сердца... И ужас пробежал дрожью по ее телу, лоб вспыхнул от стыда. Она вспомнила взгляды и уловки того, другого, шеголя с изможденным телом, болезненно подергивающейся бровью и атласистой рукой, которая так долго искала и, наконец, встретила ее руку. Что это такое было? Понравилась она ему, что ли? Впрочем, она чувствовала это и даже слишком, но вместе с тем знала, что люди, подобные ему, «сплошь и рядом играют в любовь с такими девушками, как она, но почти никогда на них не женятся».

А кто была она сама? Каково ее место и значение среди тех, с кем она жила? О, конечно, ведь ей когда-то сказали — и теперь она соглашалась с этим, — она была «бог весть кто!» Юстына сжала обеими руками пылающую голову и почувствовала, что горло ее сдавили слезы обиды и горечь оскорбленной гордости.

С широкого простора долетали порывы ветерка и нежно ласкали ей волосы и шею. Она стала понемногу успокаиваться. Сквозь слезы Юстына видела сочувственный взор синих глаз васильков и чуть колеблемых ветром зеленых колосьев. Впереди высоко поднималось над рожью раскидистое дерево одинокой груши, ее

ствол и листья отсвечивали на солнце золотом. Юстына огляделась вокруг, и по ее взволнованному лицу постепенно разлилось спокойствие, она начинала забывать о себе и о своих горестях. Наклонившись, девушка раздвинула плотную стену жита и увидела лиловые цветочки выюнка, который густо оплетал мощные стебли ржи. Когда она поднимала голову, один колос больно хлестнул ее по лицу; она сорвала колос и стала рассматривать его молодые зерна.

Лиловый мотылек взвился из-под ее ног и, кружась, полетел над нивой; Юстына долго следила за ним взглядом. Она уже была в нескольких шагах от полевой груши, и ее сразу оглушило звонкое щебетанье бесчисленного множества птичек, которые прыгали, порхали и покачивались в золотой листве. Вдруг невдалеке, за стеною ржи, раздался сильный и чистый мужской голос:

— Гей, Каштан, гей, гей!

А через минуту:

— Легче, Гнедая, легче!

В этом разносившемся по полю крике не было и тени грусти, напротив, он звучал жизнерадостно и бодро. И вслед за тем тот же голос стал насвистывать мотив песни:

При дороге явор
У самого края,
Куда едет Ясек,
Меня оставляя?

Явора здесь не было, у подножья груши узкая тропинка обрывалась, и высокая рожь длинной, прямою каймой тянулась теперь вдоль темной полосы свежеспашанной земли.

Юстына вышла из ржаного бора и остановилась под грушей. С одной стороны вдали виднелось широкое полукружие деревни, казавшееся отсюда серым, с другой, но уже ближе, раскинулись лесистые холмы, а напротив, насколько хватало глаз, видны были овсы и белые поля цветущего гороха. Тропинка, которой Юстына прошла вглубь равнины, оборвавшись у вспашанной полосы, упрямо змеилась в нескольких шагах от нее и, перерезав белой лентой пушистую зелень гороха, опять пропадала в овсах.

От одного из холмов к полевой груше подвигался

плуг, запряженный парой лошадей — одной карачинкой, другою гнедой, с белою переднею ногой и белым пятном на лбу. За плугом, налегая на его высоко торчащие рукоятки, шел высокий, статный человек в белом холщовом пиджаке, в высоких, до колен, сапогах и в небольшом картузе с опущенным на глаза кожаным козырьком; из-под картуза сзади выбивались золотистые волосы. Он шел прямо, ровным шагом, без всякого видимого усилия, перекинув через плечо толстые веревочные вожжи, связанные вместе.

Теперь он уже насвистывал третий куплет:

Рыбаки, поглубже сети опустите,
Пригожего Яся на берег тащите.

Плуг шел довольно быстро; лемех глубоко взрезывал землю, и по железу, не переставая, текли ручейки темной земли, рассыпающейся мелким порошком. Небольшие лошадки с лоснящейся шерстью шли мерным и бодрым шагом. Неподалеку от них несколько ворон, словно заглядывая им в глаза, неуклюже прыгали впереди или, опустив клювы, степенно усаживались на свежие комья.

Вдруг пахарь умолк, и лицо его выразило удивление. Он быстрым движением снял шапку, придержал лошадей и с недоумением посмотрел на женщину, которая так неожиданно появилась из-за густой ржи. Губы его раскрылись, и под золотистыми усами сверкнули белоснежные зубы. Усмехнувшись, он отвернулся в сторону, откашлялся и, наконец, как будто боясь своего громкого голоса, тихо спросил:

— Вам, паненка, не нужно ли чего? Может, с дороги сбились или работников пана Корчинского ищите?.. Они там, за пригорком...

Он выпустил рукоятки плуга, готовый идти, куда ему прикажут. Юстина сделала несколько шагов по узкой зеленой полосе, отделявшей рожь от вспаханной земли.

— Спасибо, — ответила она, — я вышла погулять и сама не знаю, как здесь очутилась...

Он движением головы показал на видневшуюся во ржи тропинку.

Вас вот эта тропинка привела, — сказал он, — Да это ничего, что вы так далеко от дома. Можно вернуться дорогой покороче — вон там... между овсами пройдетесь и выйдете как раз к поселку, а оттуда до панского двора рукой подать...

Указывая на овсяное поле, перерезанное дорогой, он говорил уже громче, с видимым желанием казаться вежливым и готовым услужить.

Юстына смотрела на его движения, которым статность фигуры придавала особую ловкость и гибкость; она не могла не заметить, что в его ясных голубых глазах, помимо замешательства и смущения, была тщательно скрываемая, но неудержимая радость.

— Пан Ян Богатырович? — несмело спросила она.

Его обнаженный белый лоб покрылся яркой краской, а из румяных загорелых щек, казалось, вот-вот брызнет кровь.

— Как же, как же! — ответил он и, дотрагиваясь пальцами до плуга, не глядя на нее, тихо спросил: — А вы откуда, паненка, знаете, кто я такой?

— Я вас иногда вижу... а тетя Марта часто говорила мне о вашем отце и дяде...

Он снова отвернулся, откашлялся и уже смелее ответил:

— Верно, о дяде Анзельме; он когда-то хорошо знал панну Марту...

Резко оборвав речь и, видимо, решившись на большую смелость, он прибавил:

— И я когда-то бывал в Корчине, отец брал меня с собой, а уж потом никогда не бывал. Зачем ходить, коли дела нет?

И, как будто вспомнив вдруг о чем-то обидном или неприятном, он дерзко поднял голову, сдвинул брови, опустил руки на плуг, подтянул вожжи на плечах и крикнул на лошадей: «Легче, Каштан! Гнедая, легче! Легче!»

Плуг снова двинулся, только уже гораздо медленнее, и снова лемех глубоко врезался в рыхлую пашню, а по блестящему железу стекали ручейки мелкого песка.

Юстына узким краем ржаного поля шла рядом с

плугом и с недоумением вглядывалась в недовольное лицо своего спутника. С минуту помолчав, она спросила, указывая рукой на один клин:

— По клеверу?

— А как же!

— Под пшеницу?

Он бросил на нее быстрый взгляд, в котором мелькнули недоверие и опаска. Уж не смеются ли над ним?

— А вы, паненка, разве знаете хозяйство?

Теперь смутилась Юстына. Действительно, она очень мало знала о той земле, по которой ходила и которая нередко пробуждала в ней восторг и любопытство. Правда, кое-что она почерпнула из разговоров между домашними, но к полевым работам никогда не присматривалась. В эту минуту ее удивляла видимая легкость, с которой молодой пахарь справлялся с работой. А она-то воображала, что пахать очень трудно.

— Разно бывает, — ответил Ян. — Бывает, что тяжело, бывает и легко. Во-первых, это зависит от почвы, а во-вторых, от привычки и от силы. К тому же и плуги теперь не те, что были встарь. Для меня морг вспахать все равно, что прогуляться.

При последних словах он бойко потряхнул головой, белые зубы снова блеснули в торжествующей улыбке — под золотистых усов. Видимо, сознание своей силы и способности к труду, которым он занимался всю жизнь, вызвали в нем гордость и радость жизни. Вообще в фигуре, обхождении и речи как-то странно сочетались и быстро сменяли одна другую и дикая застенчивость, и гордая самонадеянность, и почти девичья стыдливость, и зрелая мужская сила. Видно было, что это человек веселый и разговорчивый, но что из вежливости и сдержанности он сдерживает себя. Но сейчас по той мере живость и разговорчивость победили робость. Поправив что-то у плуга, он выпрямился, хлестнул себя по щеке и с сияющим лицом воскликнул:

— Вот уж никак не ожидал увидеть вас сегодня в усадьбе бал.

— Как весело мне было на этом балу и захотелось поле, — совершенно невольно вырвалось у

Улыбка исчезла с лица Богатыровича, и он посмотрел на девушку более долгим и смелым взглядом.

— Я-то уж знаю, — тихо сказал он, — что там не всегда вам бывает весело. Людям рта не заткнешь, да и по лицу видно, что у человека на сердце. А я вас хоть издали, да часто вижу.

Он остановился. Голос его — этот сильный голос, который весь хутор оглашал громкою песней, — дрогнул и оборвался. Немного спустя он добавил:

— Может, вы разгневаетесь на меня, что я посмел так говорить с вами?

И, наклонившись, он тревожно заглянул в лицо идущей рядом девушки. Щеки ее горели, но не гневным румянцем, — напротив, она подняла на него из-под опущенных ресниц свой приветливый и испытующий взор. Его румяные щеки снова вспыхнули. Он отвернулся.

— А ведь вам и невдомек, что я на вас иногда гляжу и разные мысли мне в голову приходят. Вот ведь солнышко не видит малой пташки, а все-таки она петь начинает, когда оно взойдет, и никто ей этого запретить не может; пусть она и на низком кустике живет, а все-таки у нее и песня своя и воля своя!..

И снова он, быть может, неожиданно для самого себя, поднял голову. Глаза его вспыхнули гордостью или страстью, и, остановив плуг в конце вспаханной полосы, он бодро крикнул:

— Ну, да что там! Я вам скажу, что не следует чересчур уж печалиться и тосковать. Есть на свете и злые люди, есть и добрые. Подчас, правда, тошно бывает... Ой, как тошно! А когда-нибудь и веселее станет. Хуже всего, если человек ничего не делает, а только о своих невзгодах думает!..

— Это правда, — улыбнулась Юстына. — Но если у человека нет на свете никакого дела?

— Не может этого быть, — начал было он и не кончил.

В это время ему нужно было поперечной бороздой отделить вспаханное поле от цветущего гороха. Хоть Ян и говорил, что для него вспахать морг земли все равно, что прогуляться, однако, остановив плуг у дороги, он

начал утирать пот, который обильно выступил у него на лбу.

Юстына погладила густую холеную гриву Каштана.

— Славные лошади! — сказала она.

— Да, они у меня и сильные! А какие ласковые, — видимо, обрадовался Ян, — голос мой знают, к руке идут. Всякого зверя приучить можно, только приласкай его да ухаживай, как нужно. По мне, кони в хозяйстве лучше всего. Видно, я в покойного отца пошел, — тот, бывало, все время возился с лошадьми.

Он опрокинул плуг набок, снял с плеч вожжи и пустил лошадей вдоль дорожки, поросшей невысокой травой и дикими цветами.

— А отца вы своего помните? — спросила Юстына.

— Как не помнить! Мне было лет семь, когда он погиб, и, кажется, никого я так не любил.

— А матушка ваша жива?

— Жива, слава богу, но я с ней почти и не жил никогда...

Теперь он говорил быстро и оживленно, освобождаясь мало-помалу от своей робости. Можно было подумать, что расспросы Юстыны наполнили его сердце радостью, которая влажной мглой затмила на минуту блеск его глаз.

— Сказать вам правду, дядя Анзельм был для меня и отцом и матерью. Ну, а уж как захворал да несколько лет с постели встать не мог, тут-то на мои плечи все и свалилось: я и за хозяйством смотрел, и за больным ухаживал, и за маленькой сестренкой приглядывал, а в то время я и сам-то почти что ребенком был. Много горя я тогда натерпелся, да и от людей немало обиды перенес...

Ян махнул рукой, нахмурил брови, но тотчас же весело закончил:

— Зато теперь у нас все наладилось, только вот я с мечтами своими никак не совладаю.

— Какие же это у вас мечты? — с шутливой улыбкой спросила Юстына.

Он смутился, кашлянул и, немного помолчав, ответил:

— Разные у человека мечты бывают, и подчас такие,

что никогда и не сбудутся. Кажется, и выбросишь их из сердца и забудешь, а оно нет-нет, да и защежит.

Ян закинул голову и замолчал. В эту минуту в овсе что-то зашелестело, и на узкой меже показалась не совсем обычного вида девушка лет двадцати. Рослая и могучего телосложения, она казалась олицетворением здоровья и силы. Ее русые волосы, освещенные солнцем, спадали толстой косой на широкие плечи, покрытые яркорозовой кофтой. Она зажимала в руках концы фартука, наполненного полевыми растениями. Шла она, держась очень прямо, крупным, твердым шагом; из-под короткой домотканной юбки в клетку были видны большие босые ноги. Уже издали можно было заметить, как ее синие, как васильки, глаза под темными бровями загорелись, засияли и впились в лицо Яна. Она кивнула ему головой и, окинув равнодушным взглядом Юстыну, крикнула, раскрыв в широкой улыбке свежие губы:

— Видно, у вас, пан Ян, много свободного времени и вы не спешите.

Он слегка прикоснулся рукой к шапке.

— А вы что это в фартуке несете, панна Ядвига?

— Траву коровам, точно не видите? Небось, на солнце загляделись и у вас в глазах потемнело?

— Пожалуй что и угадали, — ответил Ян с тихим смехом.

Теперь рослая девушка с синими глазами и широкой улыбкой поровнялась с Яном и взглянула на него. Улыбка ее потухла и исчезла, она потупилась и проговорила быстро:

— Отчего бы вам не навестить нас как-нибудь? Кажется, не на краю света живем. И дедушка о вас вспоминал...

Не останавливаясь, она обогнула плуг и лошадей и пошла дальше. И когда она шла так, быстрым, свободным шагом, неся перед собой огромную охапку зелени, ее сильная фигура с головой, увенчанной золотым ореолом буйных волос, напоминала могучий образ богини Цереры¹, прекрасный своей жизненной силой.

¹ Церера — в римской мифологии богиня растительного царства (у греков — Деметра).

— Кто это? — спросила Юстына.

— Это панна Домунтувна, самая богатая наследница в нашем поселке. У деда ее, Якуба Богатыровича, была только одна дочь, и он ее выдал за Домунта. Зять и дочь скоро умерли и оставили ему внучку. Ей все хозяйство достанется, да у старика, говорят, и деньги есть.

Юстына улыбнулась. Она заметила, какой любовный взгляд бросила Домунтувна на Яна.

— Красивая девушка! — сказала она, глядя на удалявшуюся Ядвигу.

— Что касается красоты, это как сказать! — с видимой досадой ответил Ян. — Чересчур уж она велика и толста. Зато, — спохватился он, — работающая и сердце доброе. Поверите ли, хозяйство у нее идет не хуже, чем у любого мужчины... Она все сама делает, такая сильная... Прошное лето рабочих было мало, так она — даже смех берет — сама с батраком косила и пахала... Вот дядя и приказал мне помочь ей. Он старого Якуба очень уважает и к тому же вбил себе в голову...

Он замолк, очевидно чего-то не договорив, смутился, откашлялся и быстро переменял тему разговора:

— Деду ее чуть ли не девяносто лет... французов помнит, а ведь больше чем пятьдесят лет назад с дедом панна Бенедикта Корчинского на войну ходил. После войны он, уже пожилым, женился, и тут-то приключилась с ним беда. Жена бросила его, и он так близко принял это к сердцу, что с той поры немного умом тронулся. Не то чтоб совсем, а так малость... Ядвига глаз с него не спускает, любит его очень и ухаживает, как за малым дитятей...

Чувствовалось, что они приближались к большому и людному селению. Голоса людей и животных становились все явственнее. В конце овсяного поля на небольшом пространстве ходили трое босых парней в белых домотканых рубахах и портах. Один, плечистый, рыжеволосый, сильный, косил клевер, а двое, помоложе, сгребали траву в невысокие копны.

Ян усмехнулся и открыл было рот, чтобы сказать что-то, но сдержался и промолчал. Однако в конце концов не утерпел и крикнул косцу, у которого коса звенела и сверкала на солнце:

— Ну и запоздали же вы, Адась, с клевером, просто смотреть стыдно! Достанется вам от отца!..

Рыжий, задетый за живое, не оборачиваясь, гневно ответил:

— Смотри за своим носом, а в чужие дела не вступай.

Один из младших братьев, быстро водя граблями по земле, крикнул тоненьким голоском:

— Э, отцу сегодня не до нас! Из города только что вернулся, все о судебном деле толкует!

— А я уж по своему клеверу нынче и запахал! — поддразнивал Ян.

— Известно! Ты — да не сделал бы лучше? Надулся, как индийский петух! — ошетинился косарь.

— Весь в отца уродился, такой же сердитый, — обратился Ян к Юстыне. — Они мне троюродными приходятся, сыновья Фабиана Богатыровича... Живем мы ладно, только теперь Адам не в духе, потому что ему осенью в солдаты идти. Как вспомнит, так и ошетинится, как зверь. Есть у них еще и четвертый брат — Юлек, да тот все на Немане со своею собакой Саргасом пропадает, все рыбу удит: А сестру их Эльжуню не знаете?..

Он остановился, придержал лошадей и сказал с грустью:

— Вот уж и поселок и дорога к панскому двору. — Потом снял шапку, помялся на месте и смущенно спросил: — Вас домой не проводить ли, чтоб собака или корова какая не напугала?..

Может быть, одно из тех несбыточных мечтаний, о которых он говорил ей, и заставило потускнеть его светлые глаза!.. Может быть, он жалел о том, что так быстро прошло время, и хотел его продлить! С беспокойством смотрел он на эту, казалось бы, совсем чужую ему женщину, но Юстына не слыхала его слов. Она с восторгом и любопытством созерцала открывшуюся перед ней картину. Это был маленький и очень простой дворик, но девушка никогда еще не видела вблизи ничего подобного и теперь любовалась его тишиной и свежестью.

— Какая прелестная усадьба! — воскликнула она. — Кто здесь живет?

— Дядя Анзельм, то есть мы все трое, — у нас все общее.

Ян в два прыжка перескочил через белую дорогу, отделявшую деревню от поля, широко раскрыл калитку и остановился, низко склонив голову и держа шапку в руке.

— Прошу пожаловать, отдохните немного. Дядя будет очень рад, и сестру я сейчас позову... Милости просим!

Через эту калитку Юстына и увидела двор, и теперь, когда она открылась, она быстро прошла вперед.

Робость Яна исчезла без следа. Он гордился своим убогим домиком, и ему очень хотелось быть гостеприимным.

Усадьба была довольно большая. Забор из невысоких, гладко выстроганных досок окружал добрый морг зеленого, как изумруд, луга, на который только несколько лет назад была высажена сотня молодых груш, слив и яблонь. На стройных, с видимой заботой выхаживаемых дичках кое-где уже появилась завязь. Между ними стояли старые вишни, сплошь усыпанные красными ягодами. Посредине сада, между двумя глубокими колеями, шла довольно широкая дорожка, густо поросшая белым клевером. За фруктовыми деревьями десятка два ульев, выкрашенных в голубой цвет, до половины скрывались в густой заросли розового и белого мака, над которым высоко поднимались толстые стебли мальвы, усыпанные яркими плоскими цветами, и стоял плотной стеной пчельник, казавшийся совсем бледным на фоне темнозеленых кустов лохматой конопли. Дальше тянулись низкие грядки со всевозможными овощами; золотые подсолнечники гордо возвышались над тонкими стебельками белого тмина; кое-где между грядками раскинулись пышные кусты ночной красавицы. Столетняя груша-сапежанка своими уже бесплодными, но покрытыми густой листвой ветвями упиралась прямо в стены домика, и из-за нее весело выглядывали белые ставни и наличники.

Дом был низкий, серый, под соломенной кровлей, над которой торчала единственная труба. Стоял он в глубине усадьбы, повернувшись к саду боковой стеной,

на которой ярко блестели два больших окна. Крыльцо с зубчатым навесом и низенькой дверью выходило во двор, где был амбар с выступающей вперед крышей, которую поддерживало несколько столбиков, и конюшня, перед которой лежала борона, стояли козлы для пилки дров и была рассыпана охапка соломы. Из-за дома виднелось гумно и растущие перед ним липы, а еще дальше, за двором и липами, мелькали заметная с высокой горы узкая полоска Немана и за ним желтая песчаная стена и темная лента бора на фоне голубого неба. Лучи заходящего солнца играли в траве, пламенели в зелени деревьев и обращали созревающие вишни в большие рубины. Надо всем этим в глубокой тишине раздавалось неугомонное чириканье воробьев, монотонное жужжание пчел и разливалось море ароматов, среди которых преобладал запах свежего сена.

Скошенную траву сгребал и складывал на дворе в копну человек довольно высокого роста, босой, в темном длинном зипуне и большой бараньей шапке. Эта шапка торчала как вторая голова и представляла странный контраст со всею остальной одеждой. Человек был или стар, или слаб, потому что спина его горбилась и движения были медленны. Он с трудом водил граблями, не прекращая разговора с кем-то, стоявшим позади плетня.

— Апелляция уже, слава богу, подана, и пусть-ка теперь пан Корчинский в высшей инстанции выиграет! — быстро и запальчиво говорил невидимый человек.

— А я тебе, Фабиан, сто раз говорил и в сто первый скажу, что той земли, что мы выиграем у пана Корчинского, кот наплакал, — спокойно и монотонным голосом ответил человек в шапке.

— Это почему же? — вновь загремел человек из-за плетня. — Разве ты нам всем добра не желаешь?

— Желать-то я желаю, а все-таки говорю: на чужой каравай рта не разевай!

— А если окажется, что выгон не чужой, а наш? И так и окажется, убей меня бог!

— Адвокат тебе голову морочит, а ты и веришь.

— Еще не родился тот, кто бы меня обморожил. К соседям занимать ума я не пойду, да и у тебя,

Анзельм, не попрошу, хотя у тебя из головы еще не выветрилась вся мудрость, какой ты когда-то набрался от больших панов...

Голос невидимого человека становился все резче, а при последних словах в нем уже слышались злобное раздражение и гнев.

Старик, сгребая траву с прежней медлительностью, возразил:

— Ты, Фабиан, меня важными панами не попрекай... Я уже лет двадцать их в глаза не видал и, должно быть, уж до самой смерти не увижу.

— Это все равно. Чего смолоду наберешься, тем в старости и отзовешься, — зудил человек, стоявший за плетнем.

Вдруг небольшая желтая лохматая собака с длинной, как у лисы, мордой, до сих пор спокойно лежавшая на соломе перед конюшней, вскочила и с громким лаем бросилась к огороду. Во двор вбежала пара лошадей, боком таща за собою плуг — так, что он мог задеть за забор или стену амбара и сломаться.

— Что это? А где же Янек? — встревожился Анзельм при виде лошадей.

Но вслед за плугом, который чуть-чуть не зацепился за забор, появился и Ян, без шапки, которая свалилась с него в огороде, красный, запыхавшийся. Одним движением руки он направил плуг, схватил вожжи и остановил послушных лошадей у конюшни. Потом подскочил к дяде и схватил его за руку.

— Дядечка! если б вы знали, какое счастье выпало мне сегодня! — голос его дрожал, руки дрожали, он тербил дядю за рукав.

— Что такое? Кто там в саду? — спрашивал тот, выронив из рук грабли.

Желтая собака, минуя плуг и лошадей, с лаем устремилась в сад.

— Муцик! — закричал на нее Ян. — Сюда, Муцик!

— Оставь его в покое! Кто там? Пани какая-то? Чего ей надо?

Он приставил руку к глазам и старался рассмотреть лицо женщины, около которой увивался и вилял хвостом успокоившийся Муцик.

Ян опять схватил дядю за руку.

— Из Корчина... панна Юстына... Вы знаете, я вам всегда про нее рассказывал... Подите поздоровайтесь с ней.

Старый, сгорбленный человек с удивлением и почти ужасом попятился назад.

— Что это! — вырвалось у него. — Из Корчина? Зачем? Для чего? С какой стати?

— Ей очень у нас понравилось, вот и зашла отдохнуть... Да идите же, дядя...

Но старик крепко прижался к стене дома.

— На что она мне? Не пойду... Ты ее привел, так сам и иди к ней.

— Да мне лошадей отпрягать и накормить надо! — отчаянно зашептал Ян и схватил дядю уже за обе руки. — Ну, дядечка, ну, миленький, родной мой... ну, подите!.. Она ведь в гости к нам пришла... Ну, ступайте!

— С ума ты спятил, Ян, что ли? Совсем как у сумасшедшего, глаза горят... Чего ты меня тащишь? Ступай сам!

— А лошади?.. Хорошо ли будет, если вы гостя у себя в доме не обласкаете?.. Ну, идите скорей... ну, родненький!..

Босой сутулый человек напрасно плотнее запахивался в зипун, упрямо тряс головой в большой бараньей шапке и крепче прижимался к стене, он не в силах был противиться этому ошалелому парню.

— Да пусти ты меня! — уже с остывающим гневом сказал он наконец. — Дай хоть сапоги надеть! Совсем с ума спятил!

— Так вы пойдете, дядя?

— Да уж пойду... только сапоги надену...

Он скрылся в глубине дома. Ян кинулся в сад.

— Посидите минутку, паненка, сейчас дядя придет... а я пойду распрягу лошадей, — сказал он и побежал к конюшне.

В большом саду, который был и огородом, и лугом, и пасекой, стояла у дома только узкая скамейка, или, вернее, доска на двух подпорках, но зато такой длины, что на ней можно было усадить хоть десять человек. В траве, перед самыми окнами, выстроились шеренгой

мальвы, а несколько правее, над розовыми маками и голубыми ульями жужжали пчелы. С этой скамьи поднялась высокая, статная девушка с черными косами, обернутыми вокруг головы; живительный воздух полей залил свежим румянцем ее смуглое выразительное лицо. Слегка смущенная, она стояла между мальвами, как пышно распустившийся цветок, и ее серые глаза всматривались в приближавшегося к ней человека.

Он не был для нее совсем чужим. Когда-то она слышала о его прошлом, связанном с прошлым Корчинских. Об этом прошлом в Корчине теперь уже не говорили, но оно напоминало о себе и сиротством Зыгмунта, и траурным платьем вдовы Анджея, и образом жизни и угрюмым характером пана Бенедикта. Юстына догадывалась, что этого человека и Марту когда-то связывало нечто более прочное, чем мимолетное знакомство.

Вблизи, несмотря на свои медленные движения и сгорбленные плечи, Анзелъм казался моложе, чем издали. Судя по его худощавому лицу с правильным профилем, ему можно было дать лет пятьдесят, но печальное и страдальческое выражение лица, лишь слегка загоревшая кожа, впалые щеки и выцветшие голубые глаза говорили о том, что он много пережил. По манере, с какой он приближался к незнакомой ему женщине, по его поклону было видно, что ему не чужды были правила приличий.

— Я — Анзелъм Богатырович, — медленно сказал он, слегка приподнимая шапку. — Извините, я останусь с покрытой головой: боюсь простуды...

Равнодушно и несколько принужденно он прикоснулся к руке, которую поспешно подала ему Юстына, и окинул девушку беглым взглядом. Губы его под коротко подстриженными, уже седеющими усами сурово сжались, но он любезно указал госте на скамью:

— Прошу вас, садитесь, отдохните.

Сам он стоял и молча смотрел куда-то в пространство. Несмотря на усилие казаться учтивым и приветливым, в нем чувствовалась отчужденность и плохо скрытая досада. Юстына заметила это и смущенно сказала:

— Простите, что я пришла сюда. Ваша усадьба показалась мне такой свежей и привлекательной, и пан Ян так любезно приглашал меня...

Смягчила ли старика похвала его усадьбе, или подкупила простота, с какой было произнесено имя его племянника, — неизвестно, только лицо его немного прояснилось.

— О, помилуйте, — сказал он, — я вам очень благодарен... Я уж и не ожидал такой чести, чтобы кто-нибудь из Корчина навестил мою убогую хату...

Он снова приподнял шапку.

— А как поживает панна Марта Корчинская?

— Она часто и очень дружелюбно вспоминает о вас, — живо ответила Юстына.

— Не может быть! — возразил Анзельм. — Это вы только так, по доброте своей... Столько лет... Видел я ее... года три тому назад в костеле... как она изменилась, постарела... совсем не та, что была!

— Она давно уж помогает дяде в хозяйстве и работает очень много, — прибавила Юстына.

По губам старика промелькнула насмешливая улыбка.

— А ведь прежде как боялась работы! И вот все равно пришлось...

Он задумался, длинной бледной рукой сдвинул шапку со лба и, глядя вдаль поблекшими глазами, произнес своим тягучим голосом:

— Утро встречало ее румяной, цветущей, а вечер застал увядшей...

Может быть, его заняла и оживила эта короткая беседа с Юстыной или ее манера выражаться напомнила ему что-то давно ушедшее, но его потянуло к ней, он шагнул вперед и уселся на лавку, впрочем довольно далеко от гостыи.

Вдруг из-за угла дома показался Ян и, посмотрев на разговаривающих, сказал:

— Дядя, панне Юстыне наш сад очень понравился.

— Иди сюда! — крикнул Анзельм.

Ян колебался.

— Еще всего овса лошадям не засыпал.

— Так ступай и засыпь, — сказал Анзельм и, снова

дотронувшись до шапки, обратился к Юстыне: — Я очень рад, что вам мой садик приглянулся. Все это мной самим посажено и мною выращено. Если б вы заглянули сюда лет десять назад, то нашли бы одну крапиву, бурьян да всякий мусор...

Юстына сказала, что слышала о его тяжелой и долгой болезни.

— А... от... кого?

Анзельм пришел в такое изумление, что стал заикаться. Голубые глаза его пытливо заглянули в лицо Юстыны.

— Разве в Корчине еще обо мне вспо... вспо... минают?

Он махнул рукой и тут же добавил:

— Должно быть, вам Янек говорил... Еще бы! Ему хорошо памятна моя болезнь... Сколько он горя тогда пертерпелся — и рассказать трудно... А что это за болезнь была, о том только одному господу богу известно; свалила она меня, как колоду, да так целых девять лет в постели и продержала... С докторами советовался... раза три... ничем не помогли и даже повреждения во мне никакого не нашли... Говорили, что у меня ипохондрия... и ипохондриком меня называли... Видно, болезнь моя была скорее душевная, чем телесная.

Он разговорился и медленным, монотонным голосом начал описывать пережитые им страдания. Из того, что он рассказывал, можно было заключить, что у него была одна из тех страшных нервных болезней, перед которыми наука становится втупик. Каким образом душевный недуг мог одолеть человека простого, жившего в прочном единении с природой, человека, о котором Марта говорила Юстыне, что он был когда-то крепок, как дуб, и румян, как маков цвет. Вероятно, Анзельм и сам не раз задавал себе подобный вопрос, потому что, задумчиво глядя куда-то вдаль, проговорил:

— Всякие случаи на свете бывают... Бывает, что человека, идущего по полю, прохватит дурной ветер, и от этого с ним ревматизм или другая какая хворь приключится... А бывают и другие ветры, — не те, что по

полю свищут, а те, что навстречу жизни человеческой дуют...

Он покачал головой и поднялся с лавки.

— Что ж, милости прошу посмотреть мой садик, раз он вам понравился.

Переходя по недавно скошенной, гладкой, как ковер, траве от дерева к дереву, он сообщал Юстыне возраст и происхождение каждого, способ ухода за ними и называл сорт. Болезненно-напряженное выражение его застывшего лица мало-помалу смягчалось и исчезало, в молочной голубизне глаз вспыхивали почти веселые огоньки. Юстына тоже, казалось, чувствовала себя в этой тихой усадьбе лучше, дышала свободней, чем несколько часов назад в доме, полном гостей.

Они стояли около сливовых деревьев, и Анзельм рассказывал, каким образом он сохраняет ренклоды и мирабель от снега и мороза, когда Ян снова прибежал со двора и, остановившись неподалеку от них, некоторое время слушал рассказ дяди.

— Вы не поверите, — не утерпел он наконец, — что дядя сам насадил все это и теперь один ухаживает за ними... На вид такой слабый, а сам очень сильный и выносливый.

Анзельм обернулся.

— Да иди же сюда! — повторил он.

Но Ян не решался и то выбегал во двор, то возвращался; ему хотелось быть и тут и там.

— Да вот еще напоить надо лошадей...

— А коли нужно, так ступай, — ответил Анзельм.

И, обращаясь к Юстыне, продолжал свой неторопливый, уже более свободный рассказ о том, как, лежа в постели и тяжело страдая, он не раз роптал на бога, сделавшего его беспомощным калекой; как боялся за судьбу маленького племянника, оставшегося сиротой после смерти брата; как злые соседи обижали ребенка и, пользуясь его сиротством и детским возрастом, отнимали у него принадлежащее ему имущество и, наконец, как после выздоровления его охватило страстное желание работать.

— Вот уже десятый год, как я воскрес, и тем временем мальчик мой вырос... Сначала мы высудили у со-

седей то, что у нас отняли, затем выстроили вот этот домик, а потом уж пошло и все остальное: и пасека и сад. Янек выучился пчеловодству у одного человека, который сам ездил учиться в столицу, а я еще смолodu был способен к столярному делу и его выучил этому ремеслу.

Он описал широкий круг рукой.

— Все это — работа наших собственных рук: и дощатый забор, и вот это крылечко, и ульи. Когда нужно, берем на помощь поденщиков, но сами мы — пахари, и садовники, и пасечники, и столяры... В бедности иначе и быть не может, если человек заботится не об одном только пропитании, но и о том, что, не будучи для него необходимым, тем не менее украшает его жизнь и радует глаз.

Он засмеялся тихим, грудным смехом и расправил сгорбленную спину; в глазах его блеснул теплый огонек. Но в этом человеке было что-то, что волною грусти или разочарования гасило малейшую искру радости. Он снова поник головой, сгорбился и продолжал:

— Все это бренно и ничтожно. Не такими делами человек занимался, а все пошло прахом; не такими надеждами питался, а был отравлен... Все на свете, как струя в реке, проплывает мимо, как лист на дереве — желтеет и сохнет...

Голос его становился все тише и монотоннее; можно было подумать, что это слова молитвы, которую он давно выучил наизусть и повторял ежедневно — и утром, и днем, и ночью, отходя ко сну. Но он опять поднял голову и стал смотреть куда-то вдаль.

— Не все равны у бога, и одному суждено испытать на свете больше счастья, другому меньше. Может быть, всем этим — и домом и садом — будут пользоваться и тешиться дети и внуки Яна. Потому-то каждому и дорого свое гнездо, а нам в особенности...

Взгляд его скользнул по лицу Юстыны.

— Люди богатые — дело другое; они и в столицу ездят и в чужие края, они веселятся, забавляются... А у нас что? У нас ни Парижа нет, ни театров, ни балов. Гнездо наше для нас — все... потому-то мы и держимся за него и когтями и зубами...

...глаза. Она снова почувствовала в словах какой-то обидный намек и язвительную насмешку, и вдруг, неизвестно почему, в ее сознании возник образ молодого человека, одетого по последней моде, который, стоя перед ней в нарочито-живописной, заученной позе, с выражением мировой скорби в прекрасных глазах, рассказывал ей о чудесах цивилизации, виденных и слышанных им в далеких, чужих странах. Когда-то она любила этого человека, но сейчас ей показалось, что это было страшно давно и что между нею, стоящей в этой усадьбе, и тем бледным, разочарованным человеком, слоняющимся по зале корчинского дома, лежит непроходимая пропасть. Она почувствовала себя далеко-далеко от Корчина, в каком-то совсем ином мире.

А во двор уже въезжал Ян на Гнедой и вел на поводу Каштана. Лошади, которых он напоил и выкупал в реке, весело фыркали и отряхивались от водяных капель. Ян соскочил с Гнедой, и минуту спустя из глубины конюшни послышался его голос:

— Антолька! Антолька!

Из-под горы показалась девочка в короткой юбке, в розовой кофточке, босая, с коромыслом на плечах. Тоненькая и слабая, она слегка сгибалась под тяжестью полных ведер и для равновесия отставляла одну руку.

— Что тебе? — отозвалась она высоким голосом.

— Возьми клюку да нарви вишен, только поскорее!

— Зачем это?

— Гостью угощать... Погляди-ка в сад, — прибавил он тише.

Девочка быстро поставила ведра, сняла с плеча коромысло, заглянула в сад и, закрыв лицо рукой, скрылась в доме. Через минуту она появилась снова, но уже в башмаках и с длинной жердью, снабженной железным крючком. Перескакивая через грядки, как дикая серна, она, стыдливо опустив голову, бежала через весь сад. Ее темная коса, завязанная на конце алой лентой, свисала по худенькой прямой спине до самого пояса. В волосах у нее красовался вколотый в косу красный цветок мальвы. Она подпрыгнула, притянула клюкой ветку и принялась поспешно обрывать вишни.

л

пе
Ю
ва
эти
тел

л
стал
жав
Держ
перед
верно
строй
личикс
на миг
нуло вл
такой с

— Единоутробная его сестра, — тихо пояснял Анзельм Юстыне. — Они одной матери, но от разных отцов... Мать Яна после смерти моего брата вышла второй раз замуж за Ясмонта и перебралась за три мили отсюда, в Ясмонтовский поселок.

Они все сидели на скамье возле дома, но теперь вокруг уже не было так тихо и пустынно. Сквозь щели забора мелькнула чья-то яркорозовая кофточка, совсем такая же, как у Домунтувны и Ясмонтувны, потом из-за забора показался женский лоб, между тем как глаза, должно быть, пытались заглянуть сквозь щель в усадьбу Анзельма. Через минуту, несколько дальше, над забором появилась мужская голова с коротко стриженными волосами и круглым красным лицом, на котором топорщились усы, а еще дальше, там, где кончался дощатый забор, за низким плетнем, уже довольно долго стояла никем не замеченная старуха в темном коротком платье и в платке, повязанном в виде чепца. Должно быть, и ей хотелось поглядеть, что такое творится в саду соседа, но она не двигалась с места, задумчиво подперев рукой длинное бледное лицо.

Анзельм, не обращая никакого внимания на любопытных соседей, медленно и обстоятельно расспрашивал Юстину о том, как на панском дворе сажают и выращивают фруктовые деревья. Юстына мало была знакома с делом: корчинским садом занималась исключительно Марта.

Анзельм усмехнулся и покачал головой.

— А боялась работы... — тихо повторил он.

— Снег появился и Ян. Он уже окончательно разошелся со своими любимцами и помощниками. Подбегая к Яну, Ян схватил ее за руку и подвел к скамье. В корзине, полную вишен, девочка остановилась на мгновение. Если бы брат ее не держал, она, наверное, бежала бы и спряталась где-нибудь. Тонкая и хрупкая она напоминала молодую березку; склоненное к земле было так прелестно, а в глазах, которые она, выходя от земли, поднимала на Юстину, вспыхивало такое детское любопытство и в то же время что-то почти инстинктивное движение

взяла ее за руку, посадила рядом с собой на лавку, обняла и поцеловала в белый лоб, по которому рассыпались короткие прядки темных волос. Девочка покраснела, но далеко не так, как ее брат. Лицо Яна вспыхнуло до корней волос, у него даже уши покраснели. Опершись спиной о ствол старой груши, он оглянулся вокруг и провел рукой по лбу. Волна какого-то неведомого ему чувства залила его могучую грудь, и перед глазами закружились горячие искры. Юстына, глядя на эту хрупкую девочку, вспомнила коромысло с полными ведрами, которое так недавно видела на ее плече.

— А не тяжело тебе носить воду... на такую высокую гору? — тихо спросила она.

— Как не тяжело! — теребя кончик фартука, шепотом ответила Антолька.

— Вода нам кровью достается, — вставил Анзельм, — идти за ней под гору, а нести в гору.

— Так я, зимой в особенности, чаще ношу воду, чем она, — как бы в свое оправдание сказал Ян.

— Правда, он чаще носит, — поднимая голову и глядя на брата, подтвердила Антолька. — И я тоже могу, — быстро и с возрастающим смущением прибавила она, — отчего нет? В этом году уже второе лето будет, как я жну...

Юстына задумалась... о чем? Может быть, в ее памяти воскрес образ женщины, такой же слабой и хрупкой, которая в тревоге и недоумении вытягивала и снова отдергивала ногу, боясь спуститься с лестницы в несколько ступенек.

— Человек не знает своих сил, пока... — начал было Анзельм, но не кончил: в эту минуту возле забора послышался глухой стук, как будто на землю упала огромная оладья.

Невысокая коренастая девушка в розовой кофточке, действительно похожая на пухлую подрумяненную оладью, тяжело перескочила через плетень и быстро пошла к скамейке. Уже издали видно было, как на ее круглом смеющемся лице с задорно вздернутым носиком сверкали белые зубы и веселые глаза. Она приветливо закивала головой и крикнула:

— Добрый вечер! Всей компании добрый вечер!

— Чего тебе? — поглядев на нее, коротко спросил Анзельм.

Подойдя вплотную к нему, девушка громко затараторила:

— Я пришла воды занять у Антольки...

— Что ж, ты ее в горсть, что ли, возьмешь? — спокойно спросил хозяин.

Девушка посмотрела на свои красные руки, висевшие вдоль клетчатой юбки, и расхохоталась.

— И то правда! — ответила она, перестав смеяться, но показывая свои белые зубы. — Воду в горсти не унесешь, да я и не за водой пришла, а посмотреть на корчинскую панну. Она меня знает!

— Ох, уж и знает! Один раз видела тебя на телеге и уж знает! — забывая о своем страхе перед Юстиной, накинулась на нее Антолька.

— А как же? Если кому цветы бросают, того не только знают, но, наверное, и любят!

— Это правда, тогда букет упал прямо на нее, — подтвердил Ян.

— Значит, такое уж мое счастье! — расхохоталась во все горло соседка.

Все рассмеялись, и даже Анзельм улыбнулся, обращаясь к Юстине:

— Эльжуня Богатырович, дочь Фабиана... первая любоскалка во всей округе...

— Ну так что ж! И вы, дядюшка, сами смолodu пели, верно, таким невеселым, как теперь, — отшутись та.

— А невесте не мешало бы немножко разумом запись, — сказал Ян.

— Неправда, я еще не невеста: еще отец на смот-бы поедет.

— Почти невеста, почти невеста! — защебетала Элька. — Ясмонт приезжал со сватом... это наша тебе сосватала... Может, ты не говорила, что он свый?

она приблизила корзинку с вишнями к самому подруги.

На вот, ешь!..

Эльжуня захватила целую горсть красных ягод и поднесла ее ко рту, но у забора послышался сердитый мужской голос:

— Альжуся! Что ты там застряла? Иль дома дела нет? Альжуня!

Человек, голова которого недавно торчала над плетнем, перешагнул через низкий плетень в том месте, где стояла худая старуха, и, широко ступая, приближался к дому Анзельма, не переставая звать девушку. Дочь пришла будто бы за водой, а отец пришел будто бы за дочерью. Она нисколько не испугалась, но замолчала, может быть, только потому, что рот у нее был набит вишнями, и отошла в сторонку, к высоким мальвам. Рыжий Музик с неистовым лаем бросился навстречу пришедшему, но тот отпихнул его ногой и с самоуверенным видом остановился перед скамьей. Он был среднего роста, коренаст, одет в кафтан грубого сукна и высокие сапоги; лицо его сильно напоминало шапочку рыжика, если б только в этот гриб воткнуть маленькие блестящие глазки да приделать вздернутый нос, под которым топорщился кустик рыжих усов.

— Да позволено будет и мне приветствовать гостью Анзельма, — заговорил он напыщенным тоном, причем его хитрые глазки светились насмешкой. — Давно уже прошли те времена, когда через наши убогие пороги переступали такие знатные ноги; и неизвестно, что скажет пан Корчинский, если узнает, что его племянница была в поселке Богатыровичей, так сказать, в самом гнезде его величайших врагов!..

Ян вскинул голову и выступил вперед

— Мы с дядей никому не враги! — горячо крикнул он.

— Язык у тебя чешется, Фабиан, что ли, что ты пришел так некстати болтать глупости? — со свойственной ему медлительностью спросил Анзельм, чуть заметным судорожным движением поправляя шапку.

— А сам ты ничего не имеешь против пана Корчинского, никакой обиды от него не видал? — быстро заговорил Фабиан. — Ты не помнишь, как он и меня и тебя перед всей дворней называл ворами? Не помнишь, как он нас таскал по разным судам? Не видал, как пан

Корчинский задирает нос, когда проходит или проезжает мимо нашего поселка?

Но Анзельм выпрямился и бледной рукой сдвинул на лоб баранью шапку.

— О пане Корчинском я знаю столько, что тебе всеми твоими сыновьями на спине не донести... А все-таки зла я никому не желаю и враждовать ни с кем не буду. Дай бог пану Корчинскому доброго здоровья и долгой жизни... Я его не проклинаяю и никогда проклинать не буду...

Его поблекшие глаза устремились куда-то вдаль, плечи снова опустились вниз. Фабиан оперся руками о дерево и заворчал:

— Ты всегда такой, будто только вчера с самим господом богом беседовал. Ну, а я другой человек. Я пану Корчинскому вовек не прощу и того, что он меня обозвал вором, и тех денег, что я переплатил ему за разные потравы... Я не боюсь сказать при его племяннице, что эта тяжба — дело моих рук. Я и шляхту подговаривал, я и адвоката нанял, и я же стараюсь и хлопочу. Пусть знает, что и слабая муха кусается, когда ее мучают. Выиграет ли он, проиграет ли, а сил и издержек это дело ему будет стоить не малых. Мне и этого довольно. Обгладывай, коза, березку, если послаще ничего нет. Он — аристократ, в золотых палатах живет, а я — убогий шляхтич из бедной хижины, но бывает так, что муха и коня до крови искушает. Может быть, в этой тяжбе я и жизнь свою положу и последние деньжонки ухлопаю; может быть, если проиграю, глупые люди проклинать меня будут. Но я надеюсь, что бог правду видит, а кто на него надеется, тот и в пучине моря не потонет...

Все это он выпалил подбоченься, крича все громче и размахивая руками; было видно, в нем все кипело, так что на лице у него даже пот выступил. Казалось, он никогда не замолчит, но Ян, который давно уже с беспокойством посматривал на Юстыну, встряхивая головой и кусая губы, не выдержал, наконец, и положил ему руку на плечо.

— Опомнитесь, пан Фабиан, — проговорил он сквозь стиснутые зубы.

Фабиан обернулся и поднял голову, чтобы заглянуть молодому человеку в лицо.

— Что это значит? — крикнул он.

— Придите в себя, — повторил Ян, и глаза его сверкнули таким гневом, что старик смешался и сразу остыл.

— А разве я наговорил чего-нибудь? — уже значительно тише спросил он.

— Глупостей, глупостей наговорили! — крикнула Эльжуня, выскакивая из-за кустов. Она схватила отца за полу и еще энергичнее прибавила: — Да, да! Пойдемте отсюда, а то если еще постоите, так опять о пане Корчинском вспомните...

Фабиан отстранил дочь и смущенно промолвил:

— Если я сболтнул что лишнее, то уж простите... Язык без костей — мало ли что наметет... Извините... Покойной вам ночи!

Он снял шапку и собрался было уходить, но остановился и посмотрел на Яна. Лицо старика, за минуту перед тем пылавшее злобой, теперь как будто смеялось каждой своей морщинкой: смеялись его красные щеки, и маленькие глазки, и вздернутый нос, и даже шевелящиеся усы. Он махнул Яну шапкой и крикнул:

— Если Христос бежал от Ирода в Египет, то мне не стыдно бежать от тебя; только помни, что яйца курицу не учат. Поживи с мое, а тогда осуждай... Покойной ночи!

Он еще раз махнул шапкой и пошел к плетню. Эльжуня побежала вслед за отцом, подпрыгивая, напевая и выплевывая на дорогу вишневые косточки.

В это время над плетнем промелькнула коса и раздался густой негромкий голос:

А кто хочет славно жить,
Пусть идет в войсках служить!

Песня звучала не то грустно, не то сердито.

Фабиан прибавил шагу и закричал:

— А ты, Адашь, не мог скосить клевер, когда я был в городе? Погоди, каналья, я тебе все зубы повышибу!

— Скосил, скосил!.. Что вы горло-то зря дерете? — нисколько не испугавшись, ответил крепкий рыжеватый

парень, который только что показался из-за плетня с косою в руках.

Сухопарая старуха, продолжавшая торчать у плетня, повернулась к серому домику, стоявшему неподалеку от усадьбы Анзельма, но невидимому за плетнем и садом.

— Альжуся! За водой сбегай! — протяжно крикнула она визгливым голосом.

Но издали уже слышался повелительный голос Фабиана:

— Не надо! Ты только и знаешь, что Альжусей помыкать, а парням всегда поблажку даешь. Пускай Адашь сходит за водой, а девке и без того дела хватит, пора ужин готовить!

— Адашь! Пойдешь? — снова затянула мать.

— Сейчас! — крикнул уже скрывшийся за дверью парень и громко запел:

Там не будет он тужить,
Кровь, как воду, будет пить.

В саду Анзельма на минуту воцарилась тишина. Ян смущенно приблизился к Юстыне.

— Вы, пани, не гневаетесь на меня за... за то, что Фабиан говорил о пане Корчинском?

Он слышал, что дядя называл ее «пани», и сам стал называть ее так же. Дядя лучше его знает, как с кем обращаться, — он два года бывал в панском доме.

Между тем Анзельм проявлял все больше и больше беспокойства. Он все чаще поправлял свою шапку и мигающими глазами смотрел на заходящее солнце — оно почти совсем спустилось к темной полосе бора. До заката оставалось не больше часа.

— Янек!

Его поблекшие глаза беспокойно заглянули в лицо племянника.

— Разве мы сегодня не пойдем к Яну и Цецилии? Ян тоже смутился.

— Нет, куда же!.. Не велика важность, если один день пропустим!

Старик поник головой.

— Нехорошо, нехорошо, — прошептал он, — если мы к осени не кончим этого креста.

— Вы были в овраге Яна и Цецилии? — спросил Ян у Юстыны.

Она начала припоминать. Ей казалось, что она слышала об этом месте, но никогда не была там, наверное никогда не была.

— Конечно, конечно... Какое до этого дело господам? — сказал Анзельм.

Юстына встала. Первой ее мыслью было проститься и уйти. Лицо ее как-то сразу застыло, окаменело; теперь она казалась старше, чем была на самом деле. Так с ней бывало всегда, когда ее охватывала тоска или чувство сожаления. Было ясно, что, несмотря на здоровье и силы, которые били в ней ключом, она принадлежала к натурам, страдающим голодом сердца, так быстро пожирающим их молодость. Ей не хотелось ни уходить отсюда, ни возвращаться домой. Что она будет делать там? Неподвижно сидеть рядом с разряженной невестой графа и смотреть, как глумятся над сединой отца; снова встречать подозрительные взгляды вдовы Анджея Корчинского и полные слез глаза Клотильды; снова дрожать при приближении человека, в котором видела когда-то все свое счастье, дрожать перед ним, перед ними, боясь выдать себя волнением... Нет, нет! Кому она там нужна? Кто ждет ее там? А если кто-нибудь и ждет, то да будет проклято это ожидание! А здесь? — Здесь тихо, спокойно, свежо, точно для нее, вновь родившейся на белый свет, здесь уготован новый мир.

И, переводя свой взор с измученного, страдальческого лица Анзельма на поникшую голову Яна, она попросила:

— Возьмите меня с собой!

Анзельм пылливо посмотрел на нее.

— А... зачем? — спросил он, заикаясь, как заикался всегда, когда был удивлен или взволнован.

Но тотчас же утвердительно кивнул головой и приподнял шапку.

— Пожалуйста, пожалуйста, будем очень рады!

По тропинке, заросшей клевером и сохранившей след телеги, они пересекли сад и вышли прямо на неширокую дорогу, которая вела из поселка в поле. Долгий летний день тонул в мягких полутонах вечера. На необъятном своде неба не было ни единой тучки или облачка. Яркосиний в глубине, он по краям бледнел, сверкая на западе ослепительным солнечным диском, одиноко плывущим к темному бору. Над поселком, растянутым в длину и изогнутым параллельно излучине реки, стояло золотистое облако пыли, насквозь пронизанное лучами заходящего солнца. Издали поселок можно было принять за сплошной сад, если бы на расстоянии каждых двадцати — сорока шагов из-за гущи деревьев не высывалось какое-нибудь человеческое жилье, в виде серого, крытого соломой домика, с примыкавшим к нему сараем, овином, конюшней или амбаром с навесом на тоненьких столбиках, огородом, двориком либо палисадником. Низенькие заборы из досок, кольев или длинных продольных жердей и плетни, образующие неуловимые для глаза узоры, разделяли десятки усадеб, которые не были расположены в каком-либо определенном порядке, а кое-как, — они то уходили вглубь, то выступали далеко вперед, то, отделенные от соседей большим пространством, будто искали уединения в тени деревьев, то вплотную наступали друг на друга, то лепились у самого края сбегавшей к реке горы и упирались краями огородов и овинами в полевую дорогу.

О давности существования этих усадеб красноречиво говорил почтенный возраст окружающих их деревьев. Одни домики утопали в серебристой листве раскидистых тополей, из-за других высоко поднимали величавые верхушки темные липы, здесь плакучие березы печально свешивали на окна и стены свои тонкие и гибкие ветви, там растопырились во все стороны узловатые, корявые обрубки серых верб или грузно рассыпаться по садам вековые груши, а в небольших дворах вдруг вырастали перед вами редчайшие экземпляры величественных кленов.

Младшие члены этой семьи ровесников и стражей поселка — вишневые и сливовые сады — пленяли взоры глубокой тенью буйно разросшихся верхушек и золотящейся на солнце травой. Еще ниже, у самых плетней или под стенами гумен и овинов, все пространство заросло густой стеной лещины, ивняка, одичалой малины, грязножелтой белены, душистой пиловеи, живокости вперемежку с белоснежными колокольчиками блекоты и колючими цветами репейника.

Вероятно, ни у кого не было ни времени, ни охоты выпалывать из-под заборов и стен все эти дикие растения, зато огороды были полны самых разнообразных культурных растений. Здесь всюду, над низкой зеленью овощей, возвышались леса тмина и колыхались прозрачные леса душицы, пестрели белые и розовые головки мака, густой стеной стояла высокая конопля, цепкая фасоль взбиралась по тонким жердочкам. В конце огородов, у самого дома, на больших или меньших грядках, смешиваясь, вытесняя и глуша друг друга, горели всеми оттенками самых ярких и нежных красок ночная красавица, мальва, ноготки, гвоздика, резеда, божье дерево, оранжевые настурции, душистый горошек.

Все это было связано между собой двойной сетью плетней и тропинок. Тропинки самыми прихотливыми узорами бежали от дома к дому, перерезали огороды, перескакивали через плетни, прокрадывались вдоль стен, обрывались, исчезали и вновь появлялись среди зелени, напоминая о том, что и здесь кипит жизнь во всех ее сложных проявлениях.

Словно картинка за картинкой, одна усадьба сменяла другую; они были разбросаны повсюду, подальше и поближе, где особняком, где тесно прижимаясь друг к другу, все похожие одна на другую, отличаясь лишь своими размерами, окраской цветущих растений и породой окружающих деревьев. Утопающие в лазури и зелени, которые служили им фоном, они создавали одну огромную живую картину, оглашавшую воздух многоголосым гомоном.

Юстына с жадным любопытством глядела вокруг. Она находилась теперь в самом центре поселка, сюда сбегались все дорожки и тропки. Несколько сот людей,

живущих в нескольких десятках домов, мимо которых она проходила, после трудового дня высыпали наружу. Повсюду мелькали клетчатые юбки и яркие кофты женщин... Одни в своих дворах высокими голосами сзывали на ночлег домашнюю птицу, другие пололи огороды, третьи с коромыслом на плече несли полные ведра воды или тащили в фартуках громадные охапки травы, четвертые собирали в корзины листья салата, лебеды, свеклы или мыли у порога дома кадки и ведра.

С поля возвращались на широко раздвинутых волокушах одноконные и двухконные плуги, за ними, понукая лошадей и громко переговариваясь, шли мужчины, молодые и старые, в длинных пиджаках и полукафтанях, босиком и в высоких сапогах, в маленьких щегольских картузиках или больших мохнатых шапках; с лугов возвращались косцы, поблескивая косами или размахивая зубастыми граблями. В домах скрежетали жернова и постукивали ткацкие станки. На каждой дорожке, за каждым плетнем слышался топот: это подростки гнали в ночное лошадей. Одни лошади скакали порожняком, на других сидели босые ребятишки в холщовых рубашках, лихо поглядывая из-под старых шапчонок со сдвинутым на затылок козырьком. В каждом дворе заливались лаем или весело взвизгивали собаки, радуясь приходу хозяев, и далеко разносились звонкие голоса детей, звавших своих Жучек, Волчков, Муциков и Саргасов. В густой зелени огородов шмыгали серые и черные кошки; кичливые петухи с высоты плетней бросали миру протяжное «покойной ночи»; утки, стаями возвращаясь с реки, вылетали из-за горы и с криканьем бросались в траву.

В вишневых садах девушки тянулись к усыпанным ягодами ветвям; и не один плут останавливался где-нибудь поблизости этих тенистых мест, и не одна коса, звякнув, запутывалась в ветвях, когда владелец ее наклонял голову не то к сорванной вишне, не то к розовому уху девушки, под воткнутым в волосы алым цветком. Тут и там на длинных скамьях возле домов мирно беседовали пожилые женщины, празднично сложив на коленях руки. Порою проезжал к кузнице верхом на коне гибкий и статный юноша с благородным профилем за-

горелого и позлащенного солнцем лица, точно изваянный вдохновенным скульптором, или медленно проходил под сенью высоких лип седовласый старец. А в целом был это человеческий рой, подобный пчелиному, — были это люди, добывающие хлеб тяжким трудом своих рук, люди в грубой одежде, с почерневшими от солнца потными лицами, и все же эти люди не были мрачными, потому что в вечернем воздухе то и дело раздавались взрывы жизнерадостного смеха женщин, юношей, девушек и детей.

Песни, прерванные работой, снова взлетали ввысь и, смолкнув в одном месте, раздавались в другом, задорные или печальные. Они звенели то ближе, то дальше, пока чей-то мужской голос не заглушил их, и тогда звонко, во всю ширь полей зазвучали строфы той самой песни, которую недавно, идя за плугом, насвистывал Ян.

При дороге явор у самого края,
Куда едешь, Ясек, меня оставляя?

Может, он пел бы и дальше, но вдруг возле ближайшего дома послышался крик, потом плач и смех. На узкой дорожке, между плетнями двух усадеб, показалось двое людей: маленький сгорбленный старичок в холщовом, застегнутом донизу плаще и высокая плечистая девушка с рыжеватой косой. Беззубое, сморщенное лицо старика выражало сильнейшее горе и ужас; он весь дрожал, руки его судорожно дергались. Он не мог бы передвигаться на своих заплетающихся слабых ногах, если бы шедшая рядом с ним сильная девушка его не поддерживала и не ободряла энергическими восклицаниями:

— Да успокойтесь, дедушка! Пойдемте домой! Пацинки уже нет здесь! Он уже не придет за бабушкой. Он умер, и бабушка умерла! Полно чудачить, пойдемте домой!

Но старик сопротивлялся изо всех сил и, не обращая внимания на уговоры внучки, дребезжащим голосом лепетал:

— Я найду соблазнителя, я бабушку не отдам! Где он? Пойдем искать его, Ядвига, пойдем!

Девушка, продолжая поддерживать шатавшегося старика, повторяла:

— Да нет здесь Паценки! Умер он и никогда сюда не вернется! Эти скверные мальчишки только пугают вас!

Но старик рвался вперед и грозил кому-то иссохшею рукой. За ними, громко смеясь и гримасничая, бежали вприпрыжку двое босых мальчишек, деревенских сорванцов.

— Паценко приехал! — кричали они. — Паценко приехал и увезет у дедушки его бабушку!

Девушка подняла золотистую голову. На глазах ее блеснули слезы.

— Что мне делать? — заплакала она. — Они его дразнят, а он вырывается, еще упадет и разобьется, как недавно...

— Старик из себя выходит, когда ему говорят, что Паценко приехал, — шепнул Ян Юстыне. — Этот Паценко увез у него жену.

Анзельм подошел к старику и спокойно спросил:

— Куда это вы идете, пан Якуб?

Тот взглянул на него крохотными глазками из-под красных опухших век.

— А-а... кажется, пан Шимон?

— Да, Шимон. А куда вы, пан Якуб, идете?

— Шимон, — объяснил Ян, — мой дед, отец моего отца и дяди. Якуб живых людей не узнает и принимает их за кого-нибудь из умерших, точно живет среди мертвецов.

— Паценко приехал! — часто мигая ресницами, повторил старик тоном обиженного ребенка.

Анзельм выпрямился и решительным голосом проговорил:

— Паценко не приезжал и никогда не приедет, потому что его нет на свете.

Беззубый рот старика широко открылся, но он перестал дрожать и вырываться.

— Не приезжал? Вы говорите, что Паценко не приезжал? Значит, ребяташки меня обманули — прибежали и кричат: «Приехал!» Это правда, что он не приезжал?

— Не приезжал, — повторил Анзельм.

— Честное слово?

— Честное слово, — торжественно сказал Анзельм.

Старик совершенно успокоился; девушка протянула Анзельму свою большую красную руку.

— Спасибо, — сказала она, — спасибо. Он всегда вам верит... У нас в поселке осталось всего несколько человек, которым он верит... Дедушка, домой пора. Молочко на ужин будет и вареники с вишнями.

Она хотела повернуть его к воротам усадьбы, но старик все усмехался и пытался выпрямиться.

— А вас, пан Шимон, куда бог несет?

— К Яну и Цецилии.

Точно луч солнца озарил лысую голову старика и разгладил все его морщины; он широко улыбнулся, глаза силились взглянуть вверх, он поднял свой тонкий желтый палец и произнес слегка дрожащим, но громким голосом:

— Ян и Цецилия! Да, Ян и Цецилия! Давно это было, всего лет сто спустя, а может, и меньше, после того как литовский народ принял христианскую веру и в нашу сторону пришла эта чета...

Он говорил бы и дальше, если б не Ядвига, которая, опустив руки, присела перед Анзельмом и сказала:

— Милости просим в нашу хату, тут недалеко. — Она несколько раз искоса взглянула на Яна своими синими глазами.

— Как бы не стеснить вас, — ответил Анзельм.

Она снова присела.

— Ну, какое там стеснение... Очень прошу вас, дедушка будет рад.

Но Анзельм торопился. Он почтительно приподнял шапку и, вежливо поклонившись, пошел своей дорогой. Ядвига опечалилась, обняла деда за плечи и, склонясь над ним, со спадающей на грудь растрепанной косой, повела его в усадьбу. Дом старый, но с крыльцом, в четыре окна, выглядывал из-за густой зелени серебристых тополей.

Ян с плотничьим инструментом в руках издали безучастно наблюдал за этой сценой.

— Пошел бы ты и помог Ядвиге успокоить де-душку, — обратился к нему Анзельм.

Ян поморщился, посмотрел на крышу ближайшего дома и ответил:

— Он уже успокоился.

На дворе одной из усадеб, недалеко от дома старого Якуба, в это время происходила оживленная беседа. Несколько человек сбилось в кучку, и оттуда доносился раздраженный голос Фабиана. Он только что вернулся из города, обежал поселок и, наскоро собрав несколько человек, давал теперь отчет о состоянии судебного дела. Издали были слышны его энергические восклицания:

— Убей меня бог! Издохнуть мне, если я не покажу ему, где раки зимуют!

У ворот стояло несколько плугов и борон с невыпряженными лошадьми. Владельцы их слушали красноречивого соседа с интересом и волнением. Время от времени кто-нибудь обращался к нему с вопросом или высказывал свои сомнения, а один, в серой бараньей шапке, высокий, почтенного вида, подперев кулаком худощавое лицо, только подкручивал свой черный ус и не престанно поддакивал:

— А как же! Еще бы! Уж это так! Ясное дело!

Другой, судя по виду — бедняк, босой, в сермяге, с целой копной белокурых волос над прекрасным высоким лбом, робко запинаясь, поминутно жалобно повторял:

— Ох, беда нам, паночку, пропадем мы без этого выгона! Ох, кабы это, паночку, правда была, что можно его отсудить!

Третий, молодой красавец, с гладко расчесанной бородой и ухарски закрученными усами, бойко выкрикивал:

— И все тут, и кончено! Нам должен отойти этот выгон, нашим сельчанам! И все тут, и кончено!

— Он испокон веков нам принадлежал, — снова, заглушая всех, раздался сердитый голос Фабиана.

Анзельм прибавил шаг. Было ясно, что он старательно избегал всяких ссор и споров. Боязливо бросив взгляд на галдящую кучку народа, он проскользнул у самой стены какого-то сарая.

— Выгон никогда нашим не был и бесспорно принадлежит пану Корчинскому, — тихо сказал он, — но они на каждую пядь земли зарятся.

Он покачал головой и поправил шапку.

— А с другой стороны, как тут не зариться, когда земли мало! Есть такие, у которых, можно сказать, совсем ее нет. У нас так: одним что ни день, то праздник, а другим все великий пост.

Они проходили мимо маленькой хатки без трубы, без крыльца, без плетня, с жалкими грядками не менее жалких овощей. На дворе росло только одно дерево — громадный дуб, который своими развесистыми ветвями точно хотел прикрыть неприглядную наготу бедного домика. Спертым воздухом, грязью, нищетой пахнуло из открытых сеней, где в темноте похрюкивал поросенок. На пороге сидела бледная женщина и чистила картофель.

— Это хата Владыслава... что с Фабианом разговаривал, белокурый такой... Женился он на крестьянке, народил четверых детей, а земли-то у него всего-навсего полтора морга. Да, у нас всяко бывает.

Действительно, каждый мог убедиться, что не все жители хутора пользовались одинаковым достатком. Таких хат, как у Владыслава, насчитывалось немного, но и более зажиточные значительно рознились друг от друга. Было очевидно, что эта земля — единственная основа существования обитателей Богатыровичей — подвергалась частым и неравномерным переделам, и что издавна, быть может из века в век, поколение за поколением, семейство за семейством кроили между собой этот хлеб насущный, и что эту зелень и цветы поливала не только обильная роса, но и людской пот и слезы. Лишь вековые деревья своими могучими ветвями осеняли как достаток, так и нужду, а милосердая или равнодушная природа набрасывала на все покров поэзии.

Анзельм вышел из поселка, и, спустившись по дороге, которая отсюда круто сбегала вниз, свернул в сторону пока еще невидимого Немана. Юстыне показалось, будто из освещенного и согретого солнцем пространства они вступили в темный, холодный коридор.

Перед ними открывалось ущелье — такое длинное, что конец его терялся в дали, недосыгаемой для самого зоркого глаза, и такое глубокое, что его стены поднимались над ними, как горы.

Сначала стены эти имели вид голых песчаных скал, страшно исковерканных и изломанных какой-то неведомой силой, и только кое-где попадался куст можжевельника или тощая сосенка, склонявшаяся над пропастью. Но дальше растительность становилась все обильнее, и, наконец, перед ними открылось сплошное море зелени всевозможных оттенков, осыпанной цветами самой разнообразной окраски. Куда ни глянь, повсюду — по крутым обрывам и отлогим склонам — раскинулось прозрачное кружево ольховых и березовых рощиц. Их стройные стволы возвышались над непроходимой чащей барбариса, ежевики, дикой смородины, цветущего шиповника, красных гроздей волчьих ягод и калины, покрытой белыми цветами, похожими на хлопья снега. Под ними простирался мягкий подстил из кустистой медунки, гигантской крапивы, полыни, издающей острый запах, высоких стеблей звездчатых ромашек и полевых подсолнечников, дикого хмеля, опутанного бесконечной сетью выющихся растений. Все это с обеих сторон причудливыми волнами сбегало с огромной высоты ко дну ущелья. Наверху солнце разливалось по этой чаще широким золотым потоком, в котором серебрилась белая кора берез и хрупкие ольхи, казалось, вздрагивали от наслаждения. Ниже этот солнечный поток постепенно бледнел и угасал, пока совсем не исчез, и в глубине ущелья царил холодный, насыщенный влагой сумрак.

По дну ущелья вилась дорога, поросшая густой сочной травой. Она открывала тайну природы и веков, повествуя о той неведомой, давно исчезнувшей силе, которая вырыла здесь ущелье. Когда-то, давным-давно, взбунтовавшиеся воды великой реки ударили в сушу, образовали в ней ложе и снова ушли, напоив землю той влагой, благодаря которой и поныне вечно зеленели и сказочно разрастались кусты и деревья, покрывавшие склоны высокой горы. Однако эта чудесная зеленая дорога все суживалась и, наконец, уступила

место узкой расщелине, а тропинки, ведущие вглубь ущелья, поползли к самым горным откосам — то, голые, каменистые, прерываемые зазубренными трещинами и поросшие колючим кустарником, они терялись под сводами зарослей, то, зеленые, снова выбегали на открытое место. В расщелине чувствовалась близость влажных мест и подземных ключей. На каждом шагу попадались исполинские камни, покрытые влажной плесенью, целые острова голубых незабудок; широко раскинула свои ветви лещина, а под мягким подстилом из трезубой кубышки и круглого белокопытника слышалось едва уловимое для слуха журчанье.

Вдруг что-то зашипело, забурлило, словно кипятилок. То был прозрачный, как хрусталь, родник, который просвечивал сквозь сводчатые заросли лещины, струясь тонким ручейком среди желтых цветов водяной лилии и красноватых камней. И словно по велению природы, давшей здесь право голоса только ручью, лишь он один нарушал глубокую тишину. Птицы гнездились у самого верха этих стен, в веселых березовых и ольховых рощах, здесь же их почти не было. Бурлил родник, ласково журчал ручей, и лишь изредка в кустах барбариса и крушины слышался трепет птичьих крыльев или долетал от ручейка резвый ветерок и с тихим шелестом обрывал лепестки шиповника.

Юстына остановилась и, наклонившись, заглянула в прикрытый листьями и цветами родник. Остановился и Анзельм и медленно огляделся вокруг. Его страдальческие глаза были теперь ясны; с шутливой усмешкой на губах он продекламировал:

Ветер травушку ласкает,
Ручей плачет, лист вздыхает.

То было смутное эхо, которое принесло ему из далекой юности отрывок полузабытой песни. Анзельм пошел вперед, карабкаясь на гору по естественной лестнице из выбившихся наружу корневищ и вросших в землю камней. Он шел медленно, сгорбившись и, видимо, с большим трудом, изредка прибегая к помощи Яна. А Ян не нуждался ни в каких лестницах. Пробивая себе путь среди мощных кустов, он раскачивался из

стороны в сторону, как бы радуясь своей силе. По врс-
менам его высокая фигура совсем исчезала в зарослях
и видна была только маленькая шапочка да рука, ко-
торую он заботливо протягивал старому дяде.

В голове Юстыны мелькнуло воспоминание. Она
уже видела однажды, как эти люди карабкались на вы-
сокий берег Немана; в тот раз один из них несколько
раз останавливался и обращал лицо к дому, где она
стояла у окна. Но воспоминание это сверкнуло у нее в
голове, как молния, только на мгновение. Она с любо-
пытством посмотрела вокруг.

Они находились почти у вершины горы, на неболь-
шой отлогой плоскости. Нужно было только немного
поднять голову, чтобы увидеть на краю обрыва разве-
вающиеся, словно бахрома, золотистые колосья ржи.
В конце тенистой, поднимавшейся неровными ступе-
нями аллеи лежал огромный камень со множеством
углублений и выступов, на которых можно было сидеть.
Местами камень порос седым или бурым мохом, а ме-
стами был увенчан гибкими ветвями ежевики и моло-
дильника. Вокруг камня, на усыпанной иглами пло-
щадке, росло несколько сосен с широкими плоскими
кронами и раскидистая груша, густо усеянная мелкими
листьями. Под соснами и грушей что-то краснело, го-
лубело и белело. Только подойдя поближе, можно было
разглядеть, что это надгробный памятник.

Памятник был простой, даже убогий, но такой
формы и с такими украшениями, какие встречались
лишь много веков назад. Состоял он из шестиконечного
широкого у основания и суживающегося к вершине кре-
ста, на красном фоне которого белело изображение
Спасителя. Боковые стороны креста пестрели различ-
ными фигурами и эмблемами. Тут были и покрытые
белой краской черепа, и разные орудия муки Христовой,
и барельеф девы Марии с торчащими в нем семью по-
золоченными стрелами, вырезанными в виде мечей, и
барельефные фигуры святых, которые были изображены
облокотившимися с задумчивым видом на деревянные
или глиняные подставки. Худоба и чрезмерно удлинен-
ные формы тела и даже стертые временем черты лица
указывали на то, что работа эта относилась к очень

— Впрочем, почему не рассказать, — сказал он, подняв шапку, — если вы хотите услышать эту историю, то о моей усталости не может быть и речи — я с удовольствием... Никто ее не описывал, и в книжках ее не печатали. Один рассказывал другому, и так издалека, как река через неведомые края, она притекла к нам от прадедов, дедов и отцов наших. Мне рассказывал ее старый Якуб, когда я еще босиком бегал и пас телят, а сам он узнал неизвестно от кого, может быть от своего деда или прадеда, — в их семействе все долго живут.

Анзельм отложил рубанок в сторону, сел на камень и еще раз ласково улыбнулся.

— Сказки, конечно, бабье дело, но то, что я расскажу, не сказка!..

Он прислонился сгорбленной спиной к высокому выступу камня, поросшего седым мохом; на его баранью шапку и на плечи свесились тонкие ветки ежевики.

— Было это давно, лет сто спустя, после того как литовский народ принял христианскую веру. Пришли тогда в наш край двое людей. Как их звали, кто они такие были — никто не знал; только по их речи да по платью можно было догадаться, что пришли они из Польши. Зачем они покинули родной край и пришли сюда — тоже было неизвестно. Когда кто-нибудь, встретив их, спрашивал, как их зовут, они отвечали, что при святом крещении нарекли им имена: Ян и Цецилия. А когда начинали у них допытываться, куда и зачем они идут, они говорили: «Ищем пустынное место!» Видно было по всему, что они боялись погони и хотели скрыться от людей и жить только под божьим оком. И хотя доподлинно это было неизвестно, однако ходили слухи, что происхождением они были неравны: и в самом деле, он был загорелый, сильный, какие редко встречаются среди господ, а больше среди простолюдинов, а в ней — шла ли она, стояла ли, молчала или говорила — сразу можно было признать знатную госпожу. Но как там было, это неважно; достаточно, что они без труда нашли то, что искали.

Весь здешний край в то время был непроходимой пушей, в которой господь бог рассеял немало голубых

— Впрочем, почему не рассказать, — сказал он, подняв шапку, — если вы хотите услышать эту историю, то о моей усталости не может быть и речи — я с удовольствием... Никто ее не описывал, и в книжках ее не печатали. Один рассказывал другому, и так изда- лека, как река через неведомые края, она притекла к нам от прадедов, дедов и отцов наших. Мне рассказывал ее старый Якуб, когда я еще босиком бегал и пас телят, а сам он узнал неизвестно от кого, может быть от своего деда или прадеда, — в их семействе все долго живут.

Анзельм отложил рубанок в сторону, сел на камень и еще раз ласково улыбнулся.

— Сказки, конечно, бабье дело, но то, что я рас- скажу, не сказка!..

Он прислонился сгорбленной спиной к высокому вы- ступу камня, поросшего седым мохом; на его баранью шапку и на плечи свесились тонкие ветки ежевики.

— Было это давно, лет сто спустя, после того как литовский народ принял христианскую веру. Пришли тогда в наш край двое людей. Как их звали, кто они такие были — никто не знал; только по их речи да по платью можно было догадаться, что пришли они из Польши. Зачем они покинули родной край и пришли сюда — тоже было неизвестно. Когда кто-нибудь, встре- тив их, спрашивал, как их зовут, они отвечали, что при святом крещении нарекли им имена: Ян и Цецилия. А когда начинали у них допытываться, куда и зачем они идут, они говорили: «Ищем пустынное место!» Видно было по всему, что они боялись погони и хотели скрыться от людей и жить только под божьим оком. И хотя доподлинно это было неизвестно, однако ходили слухи, что происхождением они были неравны: и в са- мом деле, он был загорелый, сильный, какие редко встречаются среди господ, а больше среди простолюди- нов, а в ней — шла ли она, стояла ли, молчала или говорила — сразу можно было признать знатную госпожу. Но как там было, это неважно; достаточно, что они без труда нашли то, что искали.

Весь здешний край в то время был непроходимой пушей, в которой господь бог рассеял немало голубых

озер и зеленых лугов, а люди строили кое-где селения и промышляли, кто чем мог. Над озерами и речками осели рыбаки и бобровники; там, где были липовые леса, поселились пчеловоды, отбирая у трудолюбивых созданий мед и воск; одним король велел выхаживать для него соколов, почему их и называли сокольниками, а другим дал вольную с тем, чтоб они его всякими припасами снабжали, и потому стали они вольными людьми или боярами. Землю они вовсе не обрабатывали; у них были огороды, но в них росла только репа да лен, который сеяли в изобилии; овец они не держали, и шерсти у них не было, почему и приходилось носить холщовую одежду. Жито редко где встречалось, разве только вблизи больших селений, а в пуше, в новых местах даже и не слышали о нем. Зато те люди, что жили в дубовых лесах, откармливали желудями стада свиней, почему их и называли скверным именем свинятников, а те, что поселились близ лугов, приручали буйволов, — отсюда пошли буйволятники. О деньгах во многих местах и понятия не имели, а если кто хотел приобрести что-нибудь, то менял на звериную шкуру, бобровую, медвежью, лисью, кунью или расплачивался медом, откормленной свиньей, буйволом, — словом, тем, что имел. Хаты, или, как они их называли, «нумы», были бедные, смрадные и грязные, без печей и труб, потому что среди лесного народа не было ни одного каменщика. В христианского бога как будто бы уже все уверовали, но в далекой пуше многие еще поклонялись идолам и жили с двумя, тремя женами.

Ян и Цецилия прошли через всю пушу, видели много озер и лугов, заходили к рыбакам, к сокольникам, боярам, заходили к свинятникам и буйволятникам, но нигде им так не приглянулось, как здесь, на берегу Немана, на этом самом месте, где теперь стоит этот памятник. Должно быть, они поняли, что здесь их никто не отыщет, что тут им легче всего будет жить только под божьим оком. Может быть, было им предназначено судьбой поселиться на этом клочке земли и положить начало нашему убогому, но долговечному роду...

Тихий, медлительный голос рассказчика на вершине горы словно соперничал своей монотонностью с одно-

— Впрочем, почему не рассказать, — сказал он, подняв шапку, — если вы хотите услышать эту историю, то о моей усталости не может быть и речи — я с удовольствием... Никто ее не описывал, и в книжках ее не печатали. Один рассказывал другому, и так изда- лека, как река через неведомые края, она притекла к нам от прадедов, дедов и отцов наших. Мне рассказывал ее старый Якуб, когда я еще босиком бегал и пас телят, а сам он узнал неизвестно от кого, может быть от своего деда или прадеда, — в их семействе все долго живут.

Анзельм отложил рубанок в сторону, сел на камень и еще раз ласково улыбнулся.

— Сказки, конечно, бабье дело, но то, что я расскажу, не сказка!..

Он прислонился сгорбленной спиной к высокому выступу камня, поросшего седым мохом; на его баранью шапку и на плечи свесились тонкие ветки ежевики.

— Было это давно, лет сто спустя, после того как литовский народ принял христианскую веру. Пришли тогда в наш край двое людей. Как их звали, кто они такие были — никто не знал; только по их речи да по платью можно было догадаться, что пришли они из Польши. Зачем они покинули родной край и пришли сюда — тоже было неизвестно. Когда кто-нибудь, встретив их, спрашивал, как их зовут, они отвечали, что при святом крещении нарекли им имена: Ян и Цецилия. А когда начинали у них допытываться, куда и зачем они идут, они говорили: «Ищем пустынное место!» Видно было по всему, что они боялись погони и хотели скрыться от людей и жить только под божьим оком. И хотя доподлинно это было неизвестно, однако ходили слухи, что происхождением они были неравны: и в самом деле, он был загорелый, сильный, какие редко встречаются среди господ, а больше среди простолюдинов, а в ней — шла ли она, стояла ли, молчала или говорила — сразу можно было признать знатную госпожу. Но как там было, это неважно; достаточно, что они без труда нашли то, что искали.

Весь здешний край в то время был непроходимой пущей, в которой господь бог рассеял немало голубых

озер и зеленых лугов, а люди строили кое-где селения и промышляли, кто чем мог. Над озерами и речками осели рыбаки и бобровники; там, где были липовые леса, поселились пчеловоды, отбирая у трудолюбивых созданий мед и воск; одним король велел выхаживать для него соколов, почему их и называли сокольниками, а другим дал вольную с тем, чтоб они его всякими припасами снабжали, и потому стали они вольными людьми или боярами. Землю они вовсе не обрабатывали; у них были огороды, но в них росла только репа да лен, который сеяли в изобилии; овец они не держали, и шерсти у них не было, почему и приходилось носить холщовую одежду. Жито редко где встречалось, разве только вблизи больших селений, а в пуще, в новых местах даже и не слыхали о нем. Зато те люди, что жили в дубовых лесах, откармливали желудями стада свиней, почему их и называли скверным именем свинятников, а те, что поселились близ лугов, приручали буйволов, — отсюда пошли буйволятники. О деньгах во многих местах и понятия не имели, а если кто хотел приобрести что-нибудь, то менял на звериную шкуру, бобровую, медвежью, лисью, кунью или расплачивался медом, откормленной свиньей, буйволом, — словом, тем, что имел. Хаты, или, как они их называли, «нумы», были бедные, смрадные и грязные, без печей и труб, потому что среди лесного народа не было ни одного каменщика. В христианского бога как будто бы уже все уверовали, но в далекой пуще многие еще поклонялись идолам и жили с двумя, тремя женами.

Ян и Цецилия прошли через всю пущу, видели много озер и лугов, заходили к рыбакам, к сокольникам, боярам, заходили к свинятникам и буйволятникам, но нигде им так не приглянулось, как здесь, на берегу Немана, на этом самом месте, где теперь стоит этот памятник. Должно быть, они поняли, что здесь их никто не отыщет, что тут им легче всего будет жить только под божьим оком. Может быть, было им предназначено судьбой поселиться на этом клочке земли и положить начало нашему убогому, но долговечному роду...

Тихий, медлительный голос рассказчика на вершине горы словно соперничал своей монотонностью с одно-

образным журчаньем внизу ручейка. По временам Анзельм останавливался и искал в памяти выражение или слово, которое редко употреблял в обычной жизни, но не хотел выкинуть из старого сказания. Он плел нить повествования с явным напряжением, боясь сбиться или пропустить какое-нибудь событие.

— В то время, — продолжал Анзельм, — на этом месте не было ни пяди вспаханной земли, не было и следа человеческого жилья. И по той и по этой стороне реки, направо и налево, тянулась одна сплошная пуша. Ян и Цецилия облюбовали себе то место, где теперь стоит памятник, а тогда стоял старый-престарый дуб, которому было чуть не тысячу лет, потому что в его дупле можно было целого буйвола спрятать. Вот под этим-то дубом они первым делом и построили себе хату, такую же нуму без печи и трубы, курную и убогую. Построить сразу лучшую они и не могли.

Короче говоря, Ян рубил деревья, обтесывал бревна и сколачивал их вместе, а Цецилия собирала орехи и дикие яблоки, готовила рыбу, доила буйволицу, которую она быстро приручила, чинила одежду. Когда же приходил вечер и Ян ложился под дубом и клал рядом копье и натянутый лук, чтобы всегда суметь оборониться от дикого зверя, — Цецилия садилась у его изголовья, играла на лютне и пела. Видно, она была дочь знатных родителей, потому что пела и играла, как ангел, а руки у нее были белее снега. Да недолго так продолжалось: в трудах да постоянных невзгодах, в вечном страхе Цецилия скоро возмужала, окрепла, загорела и стала похожа на буланую лань, для которой труды и одинокая жизнь нипочем. Волосы у нее были как у праматери рода человеческого, золотистые и такие длинные, что она могла закутаться в них с головы до ног вместе с лютней, и, когда поздним вечером она пела, сидя у изголовья усталого мужа, он сквозь сон нежно гладил их. С восходом солнца Ян вставал веселый и бодрый, ибо ее любовь радовала его сердце и влиwała в него новые силы.

Однако, несмотря на то, что они любили друг друга и были счастливы, порою им приходилось до того трудно, что другим людям и не понять. Все вокруг было

не так, как теперь, а дичь и глушь страшная... По лесу ходили стада зубров, туров, медведей, вепрей, волков; в ветвях деревьев сидели пастороже хищные ястребы и кречеты; горбоносые орлы громко хлопали широкими крыльями, по ночам ухали совы, а на деревьях висели рыси, и глаза их горели, словно угли. Иногда вороны и галки черной тучей заслоняли все небо, а дикие лошади оглашали лесную тишь топотом копыт и пронзительным ржаньем. У реки и во всех сырых местах водилось видимо-невидимо гигантских жаб, ужей, лягушек, тараканов. И река была не такая, как теперь, а гораздо глубже и быстрее, и воды ее, бурные, могучие, разливаясь, били о берега и прорывали новые рукава, вот и овраг этот прорыли. А после зимы, в весенний паводок, шли по ней огромные льдины, словно табуны вздыбленных коней или стеклянные горы, которые солнце заставляло сверкать всеми цветами радуги.

Как они все это вынесли и вытерпели, одному богу известно; однако все вынесли, все вытерпели. Уж именно правду сказал кто-то, что ни один человек сил своих не знает, пока они не понадобятся. Правда и то, что в то время немало вещей и созданий приходило человеку на помощь. Все орудия труда и охоты они принесли с собой или на месте сделали, и сделали как следует, крепко. Лес давал им дикие яблоки, орехи, ягоды, грибы; к реке на водопой сбегались стада оленей и серн; вверх жили белки, а внизу скрывались тысячи зайцев и куниц; бобры, выдры строили в воде свои дома. Нужно было только опустить в реку удочку, сеть или вершу, чтобы вытащить такую рыбу, какой теперь и в помине нет.

А какая прелесть была вокруг! Соловьи услаждали их своим пеньем, всю ночь ласточки и голуби сами слетались под кровлю их нумы и вили там гнезда, а иногда вставал от своей стаи журавль и селился около них.

Цецилия приручила лань, и та неотступно следовала за своей госпожой. Одним словом, всяко им было: и хорошо, и тяжело, и страшно, и безопасно. Много вынесли первые поселившиеся здесь люди — голода натерпелись вдоволь и голода, часто от зноя и тяжелой работы кожа слезала у них с ног и рук, а

от ветра и мороза тело покрывалось жгучими волдырями.

Может быть, лет двадцать прошло в такой муке, улаждаемой каплями отрады, как по пуще пошел слух об этих людях: что они своим кровавым трудом расчистили большой кусок леса, засеяли его рожью и засадили разными растениями, построили себе дом, чистый, с печью, как следует; говорили, что у них можно добыть вещи, о которых на много верст вокруг и не слыхивали. Потянулись к ним люди из разных мест посмотреть, что за чудеса такие творятся, а придя, оставались подолгу, приглядываясь к невиданным еще делам и промыслам. Иные просили, чтобы их приняли навсегда, чтобы совместно обрабатывать землю и помогать друг другу, но Ян и Цецилия дождались более верных и надежных помощников. Шестеро сыновей и шесть дочерей родилось у них и выросло у берега реки под сенью этого дремучего леса, под незримым оком божьим.

Один из сыновей взял себе жену у рыбаков, другой у сокольников, третьему судьба послала боярскую дочь, четвертому — бобровницу, пятому полюбилась дочь пчельника, а шестой — он ловил рыбу и продавал ее по разным местам. — привел себе подругу жизни из самого Гродно, которое в то время по-белорусски называлось Городно, потому что там было много огородов. На белоруске женился и шестой сын Яна и Цецилии, — в то время часто люди разной крови, живя на одной земле, вступали в брак, и не было от этого никому ни вреда, ни обиды. Откуда сыновья добывали себе жен, оттуда приезжали и женихи свататься за дочерей, а женившись, не увозили их далеко, — оставались тут же, строили себе хаты, рубили лес, сеяли хлеб. Так прошло лет восемьдесят, а может быть, и больше, с того дня, когда Ян и Цецилия в первый раз вступили на эту землю.

Анзельм, утомленный непривычным напряжением памяти и мысли, остановился. На его впалых разгоревшихся щеках показалось несколько капель пота, глаза, всегда усталые, бесцветные, блестели из-под бараньей шапки. Он обернулся в сторону солнца: оно садилось за бором, но по небу еще тянулись яркочас-

ные и золотистые полосы, которые прорезали надвигавшийся с востока сумрак.

— День кончается, и моя история идет к концу, — улыбаясь, сказал Анзельм. — Но в конце-то самая суть и есть...

Он продолжал уже громче и живее:

— Восемьдесят лет, а может быть, и больше, миновало с того дня, как Ян и Цецилия в первый раз вступили на эту землю. Нашлись, однако, люди, которые сообщили самому королю, какие чудеса творятся где-то в Литовском крае, в самой глухой пуще, у берега Немана. Был тогда королем последний из Ягеллонов, у которого было два имени — Зыгмунт и Август. Страстный охотник, он в ту пору забавлялся охотой в своих Кнышинских лесах. Король сообразил, что от Кнышина до того места, о котором люди рассказывали, не очень далеко, приказал ловчим трубить сбор, а свите ехать следом и пустился в путь. Ехал он, ехал, ехал, ехал, а за ним всякие вельможи, и вдруг увидел, что пуша кончается. Деревья редели и расступались, точно давая едущим дорогу. Король посмотрел в просеку, вскрикнул от удивления и весело обратился к своей свите: «Ого, панове! посмотрите-ка: кто-то готовит мне новое королевство!»

Тут они все выехали из лесу и остановились, глазам своим не веря. Там, где прежде была дичь да глушь безвестная, логовище диких зверей, раскинулась теперь огромная равнина с желтевшим на ней жнивьем. На жнивье, словно высокие башни, стояли скирды разного хлеба; сто пар волов пахали землю под озимь, а на гладких лугах резвились табуны прирученных лошадей, паслись стада рыжих коров и белых овец. На пригорках маяли крыльями две ветряные мельницы, в липовых рощах гудели тысячи пчелиных роев, а в ольшаниках всех ветках висели, точно шапки, грачиные гнезда. Со домов, отделенных друг от друга огородами, стояли, тянувшись вдоль реки, и из труб, точно из кадил, потистый дым поднимался к небу. На яблонях и сли-отливавших лиловым и красным цветом, даже та не было видно, — так густо они были усыпаны цветами; на зеленой траве сушился лен и белели длин-

ные полотнища холстов; в хатах стучали кросна и гудела льнотеребилка, на кустах и плетнях сохла только что окрашенная пряжа, а на солнечной стороне крыш созревали громадные желтые тыквы. Домашняя птица, земная и водяная, рылась в песке или с криком летала над рекой, откуда возвращались рыбаки с сетями, наполненными живой рыбой. Реку король видеть не мог, но понял, где она протекает, по тому высокому песчаному берегу, на котором стоял еще никем не тронутый бор... вон тот самый...

...Тот... самый!.. Тем временем, — продолжал Анзельм, немного успокоившись, — король ехал, оглядывался вокруг и радовался. Молод он был тогда, только что вступил на трон. Конь под ним был арабский, огневой, в сбруе, сплошь усыпанной золотом и драгоценными камнями. На королевской шапке горело бриллиантовое перо, а пурпурная мантия, опущенная горностаем, спускалась ниже стремян. Вокруг короля ехали гетманы, сенаторы и прочие папы, — и кони у них один лучше другого, а на самих панах столько драгоценностей и золота, что глядеть было больно. За ними ехали сокольники, держа в руках заклобученных соколов, изнеженные, розовощекие пажы, спесивые бояре и дальнорюрые стрелки. Ловчие не отнимали от рта золотых труб и возвещали широкой равнине, глубокому Неману и дремучему занеманскому бору о прибытии короля...

И вот из ста домов и со ста огородов, с полей, с лугов, с реки сбежались люди поглазеть на невиданных гостей. Они ничуть не испугались, а только дивились и ждали, что-то будет. Король и спрашивает:

— А родитель ваш жив?

— Жив и в добром здоровье пребывает, — отвечал, выступив перед королем, старший сын Яна и Цецилии, сам весь сморщенный и седой как лунь.

— И родительница ваша жива? — опять спрашивает король.

— Жива.

Король и говорит:

— Желал бы я увидеть их.

Как пожелал король, так и было исполнено.

Из самого лучшего дома сыновья и дочери, внуки.

и правнуки вывели Яна и Цецилию. Столетние старцы шли сами, ни в чьей помощи не нуждаясь, в белой, как снег, льняной одежде, бок о бок, как два белых голубя. Он опирался на секиру, насаженную на длинную рукоять; она — с распущенными седыми волосами — гладила бегущую рядом ручную серну. Когда они остановились, король, к общему изумлению, снял шапку и так низко опустил ее, что с бриллиантового пера посыпались звезды.

— Кто ты, старец? — спросил он у Яна. — Откуда ты пришел, как зовут тебя и какого ты звания?

Старец, как и подобает, поклонился королю и смело ответил:

— Пришел я из тех стран, где протекает Висла; имя свое я открою одному богу, когда предстану перед его святым судом, а звания я был низкого, пока не пришел в дремучий лес, где все живое равно перед лицом матери-земли. Я — из простолюдинов, но вот эта госпожа и моя супруга отказалась от высокого рода, чтобы разделить со мной жизнь изгнанника.

Король долго думал, затем обратился к панам и сказал:

— Я уверен, что вы одобрите, а следующий сейм утвердит мое повеление.

Паны, вероятно, угадав королевскую мысль, закивали головами и разом крикнули:

— Иначе и быть не может, государь! Мы сами желаем этого и просим ваше величество.

Тогда король сказал Яну:

— Ты, старец, по желанию своему, останешься безымянным и как родился простолюдином, так и в могилу сойдешь. Но за то, что ты проявил такое богатырское мужество, отнял эту землю у пуши и диких зверей, и завоевал ее не мечом и кровью, а трудом и потом, и открыл ее недра для многих людей, приумножив тем самым богатства отечества, даруем мы детям твоим, внукам и правнукам, до последнего потомка и исчезновения твоего рода, фамилию, от богатырства твоего произведенную.

И, простирая правую руку над удивленным народом, король громко провозгласил:

— Сей род, идущий от человека простого звания, приравняется к родовитой шляхте и отныне может пользоваться всеми правами и преимуществами, рыцарскому сословию принадлежащими. Дарую вам дворянское достоинство и повелеваю именоваться Богатыровичами, а в гербе иметь голову зубра на желтом поле, ибо ваш прародитель первый победил зубра и преобразил его владения в это плодородное поле...

Рассказчик умолк; его высокая, прямая теперь фигура и сдвинутая на затылок баранья шапка резко выделялись на сером фоне камня. Он поднял руку и добавил:

— Происходило это в том году, который начертан на памятнике, — в тысячу пятьсот сорок девятом.

Золотистые отблески заката над бором мало-помалу угасали. С востока надвигался сумрак, и вскоре на небе, одна за другой, замигали звезды. Во мраке, против умолкшего Анзельма, на пне упавшего дерева вырисовывались две человеческие фигуры: женщина, уронившая руки на колени, и мужчина, опершийся подбородком на ладонь. Они еще слушали и ждали.

— Такова история наших предков и нашего рода, и вот почему мы сидим на этой земле, — продолжал Анзельм голосом человека, пробуждающего в своей памяти дремлющие воспоминания.

— Разное бывало потом в роду, происшедшем от Яна и Цецилии. Власти мы никогда ни над кем не имели, крови и пота ни из кого не выжимали. Случалось, что иные из нас на войны ходили или со своими саблями и глотками следом за панами являлись на сеймы и сеймики. Бывали и такие, что обивали панские пороги, домогаясь какого-нибудь выгодного места или чина; другие, нажив деньги, поселялись где-нибудь на собственном фольварке и становились родоначальниками панских фамилий. Но большинство сидело в своей норе и собственными руками добывало хлеб из недр матери-земли. Беспреданно делили мы между собою эти клочки земли, словно ризы Христовы, и подчас, то ли по божьему предначертанию, то ли по злобе людской, и вовсе их теряли. Однако мы все-таки держались за свои гнезда, большие или малые, и удержались до сих

пор. Теперь нас лишили дворянского звания наших прадедов, и как крестьянами именуемся, так и живем... Но это все равно. Все мы колышки из одного плетня... Беда в том, что убожество наше все растет и духовный мрак окутывает нас все сильнее...

Он покачал головой.

— Никто не поверит, что историю наших предков знают во всем поселке каких-нибудь три-четыре человека. Знает старый Якуб, но он человек совсем отживший; знаю я; знал когда-то и Фабиан, да знает, может быть, Михал: вы видели — этакий франт, усы кверху закручены... Другие о таких вещах не заботятся да в нужде, в горестях и помнить о них не могут... Мужиками быть или панами — не все ли равно... но в скотов обратиться — грустно и обидно...

Анзельм опять сгорбился, и голова его в бараньей шапке поникла. Медленно, задумчиво он закончил шепотом:

— Судьба возносит человека, и она же унижает его, — все на свете временно и преходяще... все на свете, как вода в реке, проплывает мимо, как лист на дереве — желтеет и сохнет.

Девушка встала и, быстро подойдя к старику, прильнула губами к шершавому рукаву его зипуна.

— Спасибо! — горячо прошептала она.

Он отдернул руку, откинулся назад и с изумлением посмотрел на нее.

— В-вы... до... добрая!.. — произнес он заикаясь.

Женщина отошла, обняла руками тонкий ствол березы и устремила в сумрак мечтательный взор.

Быть может, она думала о том, как счастливы, как безмерно счастливы были люди, которые носили в сердце такую любовь и которым суждено было выполнить такую великую миссию. Она, Юстына, тоже с наслаждением и гордостью ушла бы в самую глубь дремучего леса, скрылась бы под кровлей самой убогой хижины, только бы хоть чем-нибудь заполнить пустоту сердца и жизни, только бы сознать себя любимой, искренно и верно, и видеть впереди хоть слабое мерцанье отдаленной цели! Точно спала она и виделось ей во сне какое-то бесконечное, высокое и чистое счастье...

Когда она пришла в себя и отвела взор от безбрежного пространства, то увидела рядом с собою высокого мужчину. Он стоял, как и она, опершись о дерево, и так же пристально смотрел, но не вдаль, а на Юстыну.

— Будь они прокляты, такая жизнь и такое счастье! — произнес он взволнованным голосом и бросил шапку наземь. — Будь проклята судьба, которая угодила человеку такую же жизнь, как и скотам! Засевай для того, чтобы быть сытым, стройся, чтобы было где приклонить голову! И скоту дано такое же счастье! Если полюбишь кого-нибудь настоящей любовью, то любовь эта тебе не по плечу; сделать что-нибудь для людей захочешь, для этого нет у тебя ни средств, ни умения. На погибель только господь дает крылья мелким букашкам!..

Он повернулся и прижался лбом к стволу дерева, весь дрожа от гнева, полный каких-то высоких чувств и стремлений.

Юстыне казалось, что она слышит отголосок своей души. Совершенно новая для нее мысль мелькнула в ее голове. Она быстро прошла пространство, отделяющее ее от вершины горы, и остановилась там с сильно бьющимся сердцем. На желтеющие поля уже спустилась ночь, но с этого места можно было видеть внизу и серую ленту Немана и темный ряд раскинувшихся над ним дворов.

Дневная жизнь поселка мало-помалу замирала, редко где еще мерцали в окнах огоньки; откуда-то доносились отдаленные голоса, топот лошадей и стук колес, жалобно стонала где-то гармоника под неумелой, должно быть детской, рукой; по временам долетали издали певучие звуки скрипки.

Юстына взглянула вверх — и ей показалось, что высоко-высоко над ней пронеслась лучезарная тень золотоволосой женщины с лютней и маленькой прирученной серной. Она плыла тихо и величаво, протянув руку по направлению к темному полукругу дворов. Благословляла ли она их, или указывала кому-то путь?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Ольшинский фольварк был расположен неподалеку от ольховой рощи, отчего, вероятно, и получил свое название. Его невысокий деревянный нештукатуренный дом, стоявший на небольшой возвышенности, словно из кошелки с зеленою, выглядывал из-за старых, густо разросшихся кустов бузины и частых шпалер цветущей фасоли, обвивавшей его от фундамента до самой крыши. Позади дома тянулся большой фруктовый сад, без дорожек и каких-либо украшений, огороженный простым частоколом; а впереди, за небольшим двором, поросшим травой и бурьяном, по легкой покатоности спускались к самому ольховнику длинные гряды тщательно возделанного огорода. Роща была свежая, чистая, с редкими рядами деревьев на гладкой влажной мураве. Были здесь и толстые старые ольхи и совсем молодые и тонкие. Сквозь их голые стволы просвечивал текущий здесь между низких берегов Неман, на противоположном берегу которого раскинулись необозримые поемные луга, покрытые сочной яркозеленой травой. Кое-где на этом зеленом пространстве, словно картинки в изумрудных рамках, виднелись пасущиеся стада, пастушки, сидящие у костра, или одинокие, неизвестно кому принадлежащие убогие хаты. За домом и садом расстилалось ровное поле, а по обеим сторонам огорода зеленели пастбища с редкими купами старых ветел. В низине, в неглубоких ложбинах, пышно разросся светлозеленый аир, и, поникнув длинными листьями, высоко поднимали свои бархатистые маковки камыши.

Это было тихое, скромное и почти безлюдное место. По господскому дому и окружающим его постройкам можно было заключить, что из земельных владений средней величины Ольшинка являлась самым маленьким. Это подтверждалось и соседством небольшой, но чистенькой и, судя по виду, зажиточной деревушки, раскинувшейся среди лугов под сенью ивовой рощицы. По ее близости к усадьбе нетрудно было догадаться, что когда-то она принадлежала к Ольшинке — имению дворов на двадцать, которому грозила превратиться в усадьбу с ничтожным клочком земли.

После недавно выпавшего града сильно похолодало; порывистый ветер раскачивал верхушки итальянских тополей, росших во дворе; дождевые тучи, быстро перегоняя одна другую, то заволакивали, то открывали голубое небо. Несмотря на это, все окна ольшинского дома, обвитые цветущей фасолью, были открыты настежь. На подоконниках, рядом с кустиками мирты и розмарина, стояли цветущие фуксии и розы. На крыльце одна скамья была заставлена крынками с простоквашей, на другой лежала брошенная здесь впопыхах корзина с салатом и овощами. Длинные сени, служившие также прихожей, разделяли дом на две половины: по одну сторону их находились жилые комнаты, по другую — кухня и людская. В глубине сеней большой замок, висевший на низкой и узкой двери, указывал, что это кладовая. За старым шкафом виднелась крутая лестница на чердак, вдоль стен стояли простые деревянные лари, табуреты и плетеные корзины, а на самом видном месте лохань с только что выстиранным бельем, которое должны были унести на чердак и развесить, но почему-то оставили пока на месте. В сенях, несмотря на открытые двери, носился запах стирки и кухни, где трещал огонь и раздавались голоса женщин и детей; в жилых комнатах было тихо и только изредка слышалось однообразное бормотанье, как будто прилежный ребенок учил заданный урок.

Пани Кирло хлопотала по хозяйству и то уходила в кухню и людскую, то снова возвращалась в сени. По случаю холода на ней было что-то вроде длинного, крытого сукном тулупчика, из-под которого выглядывал по-

ниях существо исключительное. Никто из ее детей никогда с таким упрямым постоянством не цеплялся за ее юбку, как эта маленькая черная растрепка. Настоящая растрепка: ее черные как смоль волосы завиваются, как стружки, и, сколько их ни причесывай, торчат во все стороны или падают на смуглый лобик, а из-под них черные, горящие, как угли, глаза смотрят на мать, только на мать. Вот и теперь, вцепившись в материнский тулуп и путаясь в шнурках своих стареньких, порыжелых башмачков — хоть сто раз на дню их завязывай, шнурки развязываются и волочатся по полу за ее маленькими ножками, — в таком же, как у матери, тулупчике, который ей сшили, как самой маленькой, боясь простуды, топает она из кухни в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца в людскую и без усталости болтает, хотя никто и не думает ее слушать. Иногда только Рузя, приготавливая за кухонным столом салат, вдруг откликнется и примется дразнить и в шутку журит ее или затевает спор, на что малютка не обращает никакого внимания. Но вот бедняжка, снова споткнувшись, растянулась во весь рост, но тотчас вскочила и в испуге оглянулась, не убежала ли мать, пока она падала. Пани Кирло присела на пол и снова принялась за работу Пенелопы — завязывать на ее башмаках шнурки, послужившие причиной падения.

— Хоть бы ты, Броня, минуточку посидела на месте!..

Девочка рассмеялась на всю кухню и с удивительно неожиданной логикой для шестилетней растрепанной головки ответила:

— Но, мама, я хочу есть!

— Вот те на! — ахнула, вставая, пани Кирло. — Да ведь ты час назад обедала...

Девочка широко развела руками в неуклюжих рукавах тулупчика и очень серьезно пояснила:

— Ну, а мне опять хочется есть!

Пани Кирло достала из буфета каравай ржаного хлеба, отрезала изрядный ломоть, намазала его медом и подала девочке. Ровные белые, как жемчуг, зубки жадно впились в сладкий хлеб, а обладательница их, причмокивая губами и размазывая мед по розовым

щечкам, с обычным своим постоянством вцепилась в материнский тулуп и пошла за ней. Шнурки на башмаках, успевшие снова развязаться, причудливо извиваясь, тянулись за ней по полу.

С девочками еще полбеда, а вот что делают сейчас мальчики, в особенности младший, Болесь, которого она должна запираť каждый день часа на два в гостиной, чтобы он занимался? Старший, Стась, вероятно, гоняет где-нибудь опять с крестьянскими ребятишками и вернется весь в синяках. Но ему все можно, он приехал на каникулы, перейдя в четвертый класс, а Болесь два года просидел во втором и снова не перешел. Пани Кирло страшно испугалась. На третий год оставаться в том же классе нельзя: выгонят его из школы, — что ей тогда с ним делать? Она поехала в город и выпросила, вымолила ему разрешение вторично сдать экзамены после каникул. Но он должен готовиться, а не хочет. Мальчик он своенравный и ленивый. Весь в отца. Что тут делать? Надо заставить ребенка учиться, — без этого он совсем погибнет. Скольких бессонных ночей он ей стоил!

Интересно, чем он занимается теперь: учится или сидит без дела? Пани Кирло вышла в сени, чтобы прислушаться у двери гостиной, но там раздался вдруг какой-то стук, треск разбитой посуды, а немного погодя на дворе послышался топот бегущих ног. Пани Кирло, а за ней Рузя и маленькая Броня выскочили на крыльцо. Оказалось, что узник, истомленный долгим заключением, выпрыгнул в окно, разбил горшок с фуксией и теперь искал спасения за воротами. Не обращая внимания на крики матери и сестер, он несясь стремглав с развевающимися волосами, в рваной, сшитой еще в прошлом году блузе, мелькая протертыми до дыр подошвами.

Если бы пани Кирло оставила безнаказанным этот бунтарский поступок, ее материнский авторитет сильно пострадал бы. Не в первый раз уже Ольшинка была свидетельницей таких скандалов. Работница, месившая хлеб, догнала беглеца, и он, с негодованием отбиваясь от нее кулаками, надутый, но красный от стыда, вернулся в дом.

Пани Кирло с отчаянием в глазах бросилась в сени, наклонилась к стоявшему в углу ларю, куда сваливалась всякая рухлядь, и достала оттуда толстую веревку.

— Иди! — строго сказала она и, взяв его за руку, повела в гостиную и заперла за собою дверь.

Долго она то бранила сына, то уговаривала, убеждала и вышла в сени с разгоревшимся лицом и слегка дрожащими руками. Видно было, что строгие меры воспитания, к которым она должна была прибегать, дорого ей стоили. Она оставила дверь открытой, и на испуганный взгляд Рузи ответила:

— Я привязала его к дивану и велела учиться... крепко привязала... Ах, боже мой, — снова заволновалась она, — как бы Стась не простудился, — на дворе такой холод... Утром он и так на горло жаловался. А в чем Марыся пошла в огород, ты не видала?

Марыся ушла в кацавейке, а Стась сказал Рузе, что горло у него стало еще больше болеть, и убежал в одной парусиновой блузе.

— Вот беда-то! — схватилась пани Кирло за голову. — Надо бы самой его поискать, да времени нет.

И действительно, ей было некогда, потому что в эту минуту в дверях кухни появился молодой парень, единственный помощник пани Кирло по хозяйству, величаемый громким титулом «наместника», и доложил, что приехали купцы, которые были неделю назад и желают посмотреть шерсть. Это известие очень ее обрадовало. У нее было около двухсот овец мериносов, которые давали пудов десять шерсти. Если не считать ничтожной выручки за зелень и молочные продукты, еле-еле хватавшей на домашние нужды, то это были единственные деньги, которые в летние месяцы попадали в карман пани Кирло. А между тем приближалась пора уборки, которая требовала лишних расходов на наем работника, и потому продать шерсть было необходимо. Пани Кирло на минуту позабыла о хлебе, сыре, белье, привязанном к дивану Болеславе и больном Стасе и с большим ключом в руках отправилась через двор в сарай, у которого ее ожидали приезжие купцы.

Одноконная бричка, на которой они приехали, стояла

у ворот; за воротами, на противоположной стороне двора, раскинулись огороды. Несколько поденшиц, низко наклонившись к земле, пололи грядки, а рядом с ними сидела молоденькая девушка в суконной кацавейке, на которую спадала толстая золотистая коса. Девушка сидела на грядке и смотрела на молодого человека в охотничьем костюме, с ружьем за плечами, который, усевшись на плетне, с жаром о чем-то ей рассказывал. Между ними лежала большая черная легавая, рядом мелькали красные шапочки деревенских ребятишек.

Пани Кирло, увидев издали эту картину, усмехнулась. Она узнала свою старшую дочь и Витольту Корчинского. Но ее ждали дела, и смотреть было некогда. Она с трудом отперла большим ключом сарай и скрылась в глубине его вместе с купцами. Пробыв там добрых четверть часа, они снова вышли во двор.

Ветер усилился, еще ниже наклоняя верхушки тополей. Слышно было, как шумел ольшаник, за которым бушевали воды Немана. Посередине неба ползла громадная темная туча, поливая землю мелким холодным дождем. Пани Кирло оглянулась в сторону огорода: молодая пара в сопровождении черной собаки бежала вместе с кучкой ребят в конец огорода, чтобы спрятаться от дождя в небольшом, примыкавшем ко двору амбарчике, где обыкновенно хранились огородные семена.

Полольщицы, не вставая с грядок, подняли головы и следили глазами за бегущей детворой, которая, должно быть, им и принадлежала. Они громко смеялись, радуясь, что дети будут под крышей.

Пани Кирло, возвращаясь с купцами из амбара в дом, снова улыбнулась, но тут же продолжала деловой разговор. Под бурными порывами ветра и дождя, с мокрыми волосами, зябко пряча руки в рукава тулупчика, она шла легким шагом, как всегда прямая и грациозная, и издали казалась особенно моложавой и хрупкой, однако голос ее звучал все решительнее, громче и был слышен не только по всему двору, но даже в кухне. Она не переставала торговаться: купцы давали ей восемнадцать рублей за пуд, она наставляла на двадцати. Перечисляя и доказывая достоинства своего товара, она

ссылалась на Корчинского и других соседей, которые продали шерсть именно по этой цене, и клялась детьми, что дешевле не отдаст. Так она дошла до крыльца, но тут, обернувшись лицом к воротам, с изумлением воскликнула:

— А это что такое?

По дороге между ольховым лесом и огородами быстро катилась и уже поворачивала к воротам, сверкая стеклами и посеребренными украшениями, маленькая шегольская карета, запряженная четверкой прекрасных лошадей. Лошади были в английской упряжи, на козлах сидели бородатый кучер и молодой лакей в зеленой, обшитой золотым галуном ливрее. Пани Кирло сразу узнала карету и лошадей Ружица. Купцы любезно заявили, что подождут, пока не уедут гости, но она не слыхала, что ей говорили, и смутилась так, что ее увядшие щеки и покрытый мелкими морщинками лоб залил до корней волос свежий, как у юной девушки, румянец.

Боже мой! На крыльце три крынки с простоквашей, в сенях деревянная лохань с мокрым бельем, а она сама в старом тулупчике и кисейном платке на шее! Она торопливо вошла в сени и, энергично жестикулируя, вполголоса приказала кухонной девке поскорее убрать белье в людскую.

Босая девка в грубой рубашке и короткой юбке, с красными, голыми до локтя и вымазанными в твороге руками, только выскочила из кухни и, схватив лохань, понеслась с ней через сени, как Ружиц, выйдя из кареты, остановился на пороге дома. За ним виднелась зеленая фуражка с золотым позументом и дерзкое и немного насмешливое лицо лакея.

Девка как была с лоханью в руках, так и застыла на месте с вытаращенными глазами и открытым ртом, не обращая ни малейшего внимания на то, что хозяйка отчаянно мигала ей и махала руками.

Но Ружиц, как будто не замечая вызванного его приездом переполоха, повернувшись лицом к вешалке, неторопливо снял с помощью лакея пальто и подошел к смущенной хозяйке, которая молча протягивала ему руку. С первого взгляда можно было подумать, что этому изысканному молодому человеку будет неприятно

пожать загорелую женскую руку, носившую следы близкого соприкосновения с прачечной и кухней. Как раз перед тем она развязывала мешки с шерстью, и к пальцам ее пристало немного беловатой пыли, а запирая сарай на ключ, она сильно оцарапалась о какой-то гвоздь. Однако Ружиц, низко склонившись, приложился к ее руке не церемонным, а долгим дружеским поцелуем. Прелестные, еще розовые губы пани Кирло раскрылись в радушной улыбке, оживив увядшее лицо. Она отворила дверь гостиной.

— Прошу сюда, кузен, — сказала она. — Как я рада видеть тебя... ты так давно не был у нас!

Видно было, что пани Кирло действительно рада ему, но не успела она переступить порог, как залилась ярким румянцем. На диване перед раскрытой книжкой сидел сконфуженный, красный как рак, Болесь, привязанный за ногу веревкой. Скверный мальчишка, прыгая в окно, опрокинул чернильницу и забрызгал в нескольких местах выкрашенный масляной краской пол; вдобавок, откуда ни возьмись, рядом очутилась Броня, черномазая, растрепанная Броня, со своими злосчастными шнурками от башмаков, которые, как всегда, тянулись за нею по полу, и тотчас же вцепилась в тулупчик матери. Это бы еще ничего, но надо было непременно отвязать мальчишку, хотя бы потому, что этот диван единственное место, где можно посидеть с гостем!

Пани Кирло подбежала к дивану, присела на пол и слегка дрожащими руками начала распутывать замысловатые узлы веревки. Ружиц как будто и этого не заметил и, наклонившись к Броне, спросил, здорова ли она и почему так плохо вымыла свои черные глазки, а потом даже взял ее на руки и поцеловал в обе вымазанные медом щечки и опять поставил на пол.

Даже и такая незначительная тяжесть оказалась ему не по силам. Ружиц провел рукой по судорожно подергивающемуся лбу и глубоко вздохнул. Пенсне свалилось ему на грудь. Он улыбнулся ребенку, но глаза его смотрели невесело.

Избавившись, наконец, от уз, мальчик, красный и смущенный, неловко шаркнул перед гостем ногой и, выбежав из комнаты, с шумом захлопнул за собой дверь.

Ружиц, держа загорелую руку девочки, обратился к пани Кирло:

— Моя любимица со временем будет замечательной красавицей, — вот увидишь. Уж мне ли не знать!

— Ты всегда ласков к моей замарашке, — с чудесной улыбкой сказала пани Кирло, хотя глаза ее глядели рассеянno и вид был растерянный и смущенный.

В маленькой гостиной царствовал беспорядок, и это огорчало хозяйку. Цветастая ситцевая обивка мебели была запачкана песком и залита чернилами; на комод, стоявшем между двумя окнами, слой пыли... это уж виновата Рузя — ведь на ней лежит обязанность смотреть за чистотой.

Пани Кирло поспешно притворила дверь в спальню с двумя кроватями и украшенным резьбой туалетом красного дерева с большим зеркалом. Постели были покрыты красивыми одеялами, а полученный в приданое старинный туалет представлял собой ценную и редкую вещь; но пани Кирло твердо помнила, что в спальню, как бы она ни была убрана, не должен проникать посторонний взор. Что делать, если в этом домике было только четыре жилых комнаты: гостиная, спальня; детская и маленькая столовая, где теперь спали мальчики и сидело на яйцах несколько кур. В такой тесноте трудно соблюсти все требования строгих приличий.

Когда она затворяла дверь, чтобы скрыть от гостя вид спальни, Ружиц ласково снял со старой железной ручки ее загрубелые от работы пальцы и удержал их в своих мягких, атласных ладонях.

— Милая, я вижу, что своим приездом всегда доставляю тебе беспокойство, — сказал он, — это меня огорчает. В данном случае — о, только в данном! — я буду лучше тебя, откровеннее и попрошу, чтобы ты смотрела на меня как на близкого родственника, перед которым не нужно ни скрывать что-либо, ни стесняться. Хорошо, кузина, милая? Ну, скажи, что впредь так и будет, да?..

Не выпуская ее руки из своих, он говорил с шутливой, но такой дружеской нежностью, что пани Кирло, обрадованная и глубоко растроганная, вспыхнула до корней волос и крепко пожала его руки.

— Благодарю тебя, — ты очень добр... Но, видишь ли, я никак не могу отрешиться от старых привычек.

— Так пусть эти твои привычки и стесняют тебя в отношениях с другими, а уж никак не со мной, — живо перебил Ружиц. — Наконец ты должна знать, что я столько видел и испытал на своем веку, что никакой роскошью меня не удивишь. Если бы ты была такой, какими обычно бывают богатые женщины, меня так не тянуло бы к тебе.

Совсем успокоенная, с задорным огоньком в глазах, который доказывал, что когда-то, может быть в пору ранней молодости, и она была не прочь пококетничать, пани Кирло ответила:

— Это только любовь к разнообразию... ничем другим я не могу объяснить твою благосклонность ко мне.

Он усмехнулся и сел рядом с ней на диван.

— Я, дорогая кузина, представляю собою не что иное, как великую бесполезность, и, страдая от чрезмерного количества поглощенных марципанов, с уважением смотрю на черный хлеб...

— О! — воскликнула пани Кирло, — ты очень метко определил самого себя. Нужно действительно быть великой бесполезностью, чтоб так устроить свои дела.

— Вот именно, — подтвердил Ружиц, — вот так и обращай со мной всегда. Только ты одна на свете говоришь мне в глаза горькую правду. Сначала ты меня удивила, а потом привела в восторг. Мне хотелось бы, чтобы ты бранила меня еще больше. Помнишь, как в древности грешники бичевали себя, думая, что с каждым ударом плети с них сваливается один грех.

— Для того чтобы сбросить с твоих плеч все грехи, нужна рука более сильная, чем моя, — засмеялась было пани Кирло.

Однако эта, сначала невинная и немного фамильярная, шутка вдруг показалась ей безжалостной. Она схватила его руку и, участливо глядя ему в лицо, спросила:

— Ну, как ты жил эти дни? Не хворал? Успел осмотреть хозяйство? А твоя ужасная привычка... Неужели ты не пытаешься бороться с ней?..

Ружиц небрежно, но дружески улыбнулся:

— Ах ты, милая моя исповедница! Ты сразу задала мне столько вопросов, что я не знаю, на какой отвечать сначала. На здоровье свое я пожаловаться не могу; мне, пожалуй, даже лучше; единственная моя болезнь — это страшная апатия, но в последнее время появилось что-то, что немного увлекает меня... Имения своего я не только не осматривал, но самая мысль об этом приводит меня в отчаяние. И ты хорошо знаешь почему. Непреодолимая лень и, кроме того, полное незнание всех этих дел и людей, с которыми надо иметь дело, а может быть, и вернее всего, вечный и неотступный вопрос: зачем?

— Всему виной, — живо перебила пани Кирло, — твоя ужасная, пагубная привычка, вывезенная из того подлого мира, где ты жил.

Ружиц громко засмеялся. Пани Кирло сдвинула брови и, сердито стуча кулаком по ладони, воскликнула:

— Смейся сколько хочешь, а я все-таки скажу, что это какой-то неслыханный и невиданный ужас! Уж лучше наши мужики, — те хоть просто водку пьют...

— Милая кузина, это ужасно для тебя и вообще для всех живущих в глуши. Но в большом свете это так распространено, что стало чем-то вроде повальной болезни...

— И ты не мог избежать ее? Откуда она у тебя? Ты мне еще никогда не говорил об этом.

— Очень просто. Я дрался на дуэли, был ранен и страшно страдал от раны. Сначала я принимал морфий, чтобы утолить боль, а потом просто привык к нему. Это единственное средство, которое помогает мне избавиться от невыносимой скуки, от упадка сил, а может быть, и от... чего-то близкого к отчаянию!

Он закрыл стеклами пенсне глаза, которые вдруг лихорадочно заблестели. Она слушала его с изумлением и, понизив голос, спросила:

— Дрался на дуэли! Господи ты боже мой! С кем же? Из-за чего?

Ружиц с нервным смехом откинулся на спинку дивана. По судорожно вздрагивающему лбу и в углах смеющегося рта пробежала циническая гримаса.

— С кем? Не все ли равно! Из-за чего? Из-за одной дряни!

Пани Кирло сжала руками голову.

— Ну его к черту, этот ваш большой свет, где творятся такие безобразия и свободно продаются яды! Лучше я буду глупой провинциалкой, гусыней, овцой, только бы не знать этого большого света.

— Ты права, — коротко ответил Ружиц.

Эти так просто сказанные слова сразу смягчили ее, но она так же серьезно продолжала:

— Так как ты признался мне во всем, то с моей стороны было бы подло потакать тебе... и давать поблажку...

Она вдруг смутилась и замолчала, почувствовав, что позволяет себе выражения, которые она считала не совсем для себя приличными. Эта манера выражаться и грубоватый тон появились у нее потому, что ей приходилось постоянно иметь дело с прислугой, работниками и батраками, а так как нрав у нее был живой и горячий, она при всем желании не могла сдержаться.

— Что же ты замолчала? Или заметила что-нибудь неизящное в своей речи, как раньше в своем доме, да? — мягко спросил Ружиц.

Пани Кирло немного покраснела, но, сразу забыв о себе, задумчиво проговорила:

— Странное дело! Меж тем ты и добр и умен... Иногда кажется, что в тебе сидят два человека.

Пан Теофиль поцеловал ее руку.

— Ты говоришь, как философ. Ведь как раз эта двойственность и служит ключом к разрешению многих жизненных загадок.

— Знаешь, — сказала она после непродолжительного молчания, — мне кажется, ты был бы гораздо счастливее, если б не родился таким богатым.

— Или, — перебил он, — если б родился дураком.

— Это как же? — спросила пани Кирло.

— Отгадай, — пошутил он и с любопытством поглядел на нее.

Она на минуту задумалась.

— Ну, это немудреная загадка! Если бы ты был дураком, то ни о чем бы не стал заботиться и так и кутил бы всю жизнь; а вот ты, хоть и поздно, опомнился и понял, что потерял и загубил.

Он рассмеялся.

— Ты не поверишь, кузина, как я люблю беседовать с тобой. Ты так говоришь о самых умных вещах...

Они оба задумались. Женщина снова почувствовала какую-то растерянность. Этот довольно долгий разговор о предметах, столь чуждых ее повседневному занятиям, утомил ее. Вспомнив о своих сегодняшних делах, она с тревогой подумала о том, посажены ли хлебы в печь и не уехали ли купцы, не дождавшись ее. Она встала с дивана, и вместе с ней поднялась Броня, которая все это время просидела, уткнувшись в ее колени.

— Я сейчас прикажу подать чаю.

Ружиц поспешно стал уверять, что почти никогда не пьет чаю. Пани Кирло, слегка смутившись, пытливо посмотрела на него и смело ответила:

— Неправда. Чай ты любишь и пьешь его много... это я знаю от мужа. Но тебе уже раз пришлось попробовать наш чай... и, конечно, он хуже того, к которому ты привык..

Ее правдивость, видимо, казалась Ружицу забавной и в то же время пленяла его.

— Виноват! — рассмеялся он. — Ты уличила меня во лжи. Я действительно боюсь, как огня, всего невкусного.

— Ты так бы сразу и сказал, к чему лгать? И без того ты уже, вероятно, налгал в своей жизни как последний фарисей. Я принесу варенья... вот о варенье моем ты не скажешь, что оно невкусно. Я училась когда-то у Марты Корчинской. Правда, я его не так много варю, но лучшего ты, пожалуй, не едал и в своей Вене!

Пани Кирло поспешно вышла из комнаты. А рядом с нею, держась за ее тулупчик, семенила Броня — она хлопала в ладоши и кричала:

— Валенъе будет! Валенъе! И я, мама, хочу валенья!

Из всего довольно странного разговора двух родственников только одно слово и было понятно этому маленькому, растрепанному, черноглазому существу.

В сущности говоря, пани Кирло, искренне желая угостить своего родственника, в то же время сгорала от нетерпения заглянуть на другую половину дома. И так

как в ее отсутствие произошли, вероятно, какие-то упущения, в гостиную донесся ее сердитый голос. Потом она перекинулась двумя-тремя словами с покупателями шерсти и, наконец, показалась на пороге гостиной с подносом, уставленным несколькими блюдечками с вареньем. Рядом топала Броня, путаясь в развязанных шнурках. Рузя несла за ней малину и сахарный песок в старинном кубке художественной работы. Такие ценные и прекрасные вещи, как комод красного дерева, два портрета, написанных маслом, резной туалет и серебряный кубок особенно выделялись среди всей остальной убогой обстановки и вместе с тем говорили, что хозяйка этого дома происходила из старого и когда-то богатого рода.

Поставив на стол малину и сахар, Рузя чинно выпрямила худенькую и грациозную, как у матери, фигурку и, невольно тряхнув короткими светлыми волосами, которые при каждом движении взлетали вверх, вышла из комнаты. Мать по дороге что-то шепнула ей о белье, купцах и о Стасе.

Ружиц быстро и почти с жадностью подносил ко рту одну ложечку варенья за другой, приговаривая:

— Превосходное, действительно превосходное! Я очень люблю сладкое и не могу обойтись без него и двух часов. Так, варить варенье научила тебя панна Марта Корчинская... эта оригинальная старая дева? Столь почтенная особа, обладая такими знаниями, заслуживает особого уважения... Да, à propos ¹, ты давно видела панну Юстыну?

Пани Кирло, осторожно передавая в смуглую ручку Брони блюдечко с вареньем, запальчиво ответила:

— Мне кажется, никто не мог видеть ее так недавно, как ты. Ведь ты сюда приехал из Корчина?

— Ты откуда знаешь?

— Слышала, как твой лакей рассказывал, и, признаюсь, очень недовольна твоими частыми поездками в Корчин.

— Прежде всего не частыми, потому что я был там всего несколько раз, а потом — чем же ты недовольна?

¹ Кстати (франц.).

— Ты сам хорошо это знаешь.

— Брани меня сколько угодно, я разрешаю тебе и даже прошу об этом. Но чем же я виноват, что панна Юстына мне так нравится?

— Разумеется! — воскликнула пани Кирло. — Для тебя и тебе подобных только одно на свете и важно: нравится или не нравится, а все остальное — пустяки.

— Ты права.

— Но скажи мне, — все больше кипятилась она, — чем она, на свое несчастье, так понравилась тебе? Она недурна, это правда, но ты на своем веку видал и не таких. Не кокетка...

— Вот именно, — подтвердил Ружиц.

— Воспитывали ее родные, однако воспитание это нельзя назвать блестящим...

— Вот именно.

— После истории с Зыгмунтом Корчинским она стала очень серьезна, не наряжается, не интересуется мужчинами, не щебечет...

— Вот именно, — в третий раз согласился пан Теофиль.

— Ну, так как же? Ведь вы в своем «свете» привыкли к совсем другим женщинам, и только они могут заставить вас потерять голову.

Ружиц отодвинул блюдечко и, откинувшись на спинку дивана, начал полунасмешливо, полусерьезно:

— Прежде всего ты должна знать, что люди с такой чистой душой, как у тебя, ничего не смыслят в этом. Только мы — слышишь? — мы, тунеядцы, знаем, почему мужчина чувствует влечение к той или другой женщине... Понимаешь? Влечение — это инстинкт, который даст нам знать, что именно с этой женщиной мы можем испить, в полном значении этого слова, кубок наслаждения... Ведь вот ты краснеешь, словно институтка... Ах! что это за чудесная вещь — такой румянец на лице матери пятерых детей!

Она действительно покраснела по-своему, девически ярким, густым румянцем, но постаралась преодолеть свое смущение.

— Это ничему не мешает. Говори все. Я хочу знать, что ты думаешь о Юстыне.

— Поэтому, — продолжал Ружиц, — на первом месте здесь стоит влечение или, что для тебя будет более понятно, симпатия. И к панне Юстыне я сразу почувствовал эту симпатию... признаюсь, даже весьма сильную. Ты права, я много знал женщин неизмеримо красивее и даже... повергал к их ногам свое здоровье и состояние... Но в этом контрасте черных волос с серыми глазами, в ее фигуре, движениях и так далее и так далее... есть что-то такое... словом, *passons*¹, ты все равно не поймешь... у панны Юстыны есть темперамент, уверяю тебя... огромный темперамент...

— *Passons*, — повторила пани Кирло. — Ну, а дальше?

— А дальше то, что ты сейчас перечислила. Кокеток, щебетуний, истеричек, настоящих и поддельных княжен у меня было много... для меня достаточно... и даже слишком... *toujours des pèrdrix*² никогда не было моим девизом. Меня потянуло к другому; я теперь понял, что значит здоровое тело и здоровая душа. Доказательством тому — восхищение и привязанность, которые я чувствую к тебе.

Он поправил пенсне, проглотил еще несколько ложек варенья и вдруг, как бы спохватившись, быстро заговорил:

— Сегодня, например, за обедом я сидел с ней рядом. Пока я делал, впрочем самые отдаленные, намеки на мое чувство к ней, она хмурилась, почти не отвечала, не смотрела на меня. Я переменял тактику и заговорил о посторонних предметах... Она тотчас же оживилась, стала мило рассказывать об окрестностях Корчина, вспомнила какую-то поэтическую легенду, связанную с оврагом у Немана, и передала ее так, что я... даже заинтересовался... Она очень умна, очень, а когда говорит о том, что ее увлекает, в глазах у нее появляются такие огоньки и рот так выразителен, что... Только... штурмом ее взять нельзя... Добродетель требует дипломатии... это ее единственный недостаток и вместе с тем величайший соблазн.

¹ Не будем говорить (*франц.*).

² «Вечно куропатки» (*франц.*), то есть даже вкусное блюдо, если его подают изо дня в день, приедается.

Пани Кирло задумалась и, казалось, не слыхала последних слов своего собеседника, но вдруг подняла голову и таким тоном, как будто бы ее осенила величайшая мысль, изрекла:

— Но если Юстына тебе так нравится, женись на ней.

Ружиц опустил на стол руку с чайной ложечкой, привычным жестом сдернул вниз пенсне, посмотрел на нее не то испуганными, не то изумленными глазами и громко расхохотался.

— Чудесная мысль, великолепная! Вот была бы неожиданность для всех родных и знакомых и для меня самого! А папа Ожельский? На камин мне, что ли, поставить прикажешь этого китайского болванчика? А французское произношение панны Юстыны, которое, *entre nous*¹, порядочно-таки хромает? Воображаю, что было бы, если б она встретилась лицом к лицу с моей теткой! Бедная княгиня умерла бы на месте.

Он все продолжал смеяться.

— Твоя выдумка говорит о несомненной доброте сердца и вместе с тем о полном незнании требований света... В такую амфибию, как Юстына, можно влюбиться, но жениться на ней нельзя — *impossible*².

— Амфибия! — обиделась пани Кирло. — Ты сравниваешь женщину с лягушкой!

— Вполне естественно. Посуди сама: ведь она в одно и то же время и дворянка и не дворянка, воспитанная и не воспитанная, бедная и не бедная... Словом, бог знает что.

— Зачем же ты едешь в Корчин? — спросила пани Кирло, гневно сверкнув глазами.

— Потому что эта неожиданная для меня самого симпатия немного оживляет меня, возбуждает и, надо сознаться, явилась как раз в такое время, когда я почти окончательно разочаровался во всех прелестях жизни.

— Но чем же все это кончится?

— Милая кузина, я не настолько философ, чтобы всегда думать о последствиях... *Advienne que pourra*³.

¹ Между нами говоря (*франц.*).

² Невозможно (*франц.*).

³ Будь что будет (*франц.*).

Не надо пренебрегать даже самым коротким мигом наслаждения.

Пани Кирло очень серьезно и решительно заявила:

— Ничего из этого, дорогой мой, не выйдет. Юстына не позволит увлечь себя! Она прошла уже сквозь горькое испытание... я хорошо знаю ее характер и взгляды.

Ружиц слушал с напряженным вниманием.

— Ты хорошо ее знаешь? Ты уверена в том, что говоришь?

— Совершенно уверена.

Он задумался и провел рукой по лбу. Глаза его как-то сразу потускнели; пани Кирло показалось, что он вздохнул.

— А ты ведь действительно заинтересован Юстиной! — воскликнула она.

— Насколько могу быть заинтересован чем-нибудь или кем-нибудь. Признаться, я сам себе удивляюсь. Кто может предвидеть движение своего сердца или, пожалуй, нервов...

— Так женись на ней! — повторила она, как будто и не слыхала только что сказанного им.

Но в это время дверь из сеней отворилась и послышался голос Рузи:

— Мама, Стась вернулся... и ужасно хрипит...

Пани Кирло вскочила, как на пружинах, и выбежала из комнаты. За матерью, конечно, шмыгнула, словно мышка, и маленькая Броня.

Ружиц, оставшись один, опустил голову на руки и невольно слушал доносившиеся из глубины дома тревожные расспросы матери и хриплый, срывающийся голос мальчика, похожий на визгливые звуки испорченной флейты. Через узкие сенцы из другой половины дома долетал стук топора, плеск воды, потрескивание огня и голоса кухонных девушек.

Погода прояснялась. Ветер стих, тучи быстро разбежались во все стороны, сквозь гущу высоких кустов сирени пробрался луч заходящего солнца и позолотил стоявшие на окнах скромные фуксии и розы.

Вслушивался ли этот изысканно одетый высокий худой человек, с подвитыми волосами и висящим на груди золотым пенсне, в голоса этого маленького до-

центы с чистого дохода и разные другие выгоды, которые ему теперь лень перечислять...

— Если ты согласна, милая кузина, тогда переговори с мужем. Пусть приготовит контракт, договор или что-нибудь вроде этого и привезет мне подписать. Через два месяца он может принять имение от теперешнего моего управляющего, который становится решительно невыносим.

Пани Кирло внимательно выслушала его и, задумавшись, долго молчала. Было видно, что перспектива, развернутая перед ней Ружицем, открывала для нее дверирая. Отдохнуть немного после долголетнего неустанного труда, улучшить хозяйство Ольшинки, дать хорошее образование сыновьям и младшим дочерям! — да ведь это мечта! Большого она и желать не смела. Но чем дальше она думала, тем мрачнее становилось ее лицо. Наконец она отрицательно покачала головой.

— Благодарю тебя, — тихо сказала она, — благодарю... Но этого не может быть... Я... никогда не соглашусь на это...

Она чувствовала на себе его изумленный взгляд и, опустив глаза, быстро, как будто ей хотелось как можно скорее покончить с этим разговором, начала нерешительным голосом:

— Это было бы для нас величайшим счастьем, и я чувствую, что только потому ты и делаешь нам подобное предложение... но, видишь ли... для тебя от этого не было бы никакой пользы. Воловщина — твое последнее достояние, и нужно, чтобы кто-нибудь занялся ею как следует... а Болеслав, мой муж... о нет, нет, и думать нечего!

Она схватила его руку и подняла к нему глаза, полные тревоги и мольбы.

— Только не думай о нем ничего дурного, прошу тебя! Я не хочу сказать, что он... человек недобросовестный или что-нибудь в этом роде. Вовсе нет. Он никогда никому зла не сделал, можешь спросить кого угодно, всякий скажет, что это человек честный и добрый.

— Так почему же ты отказываешься?

— Почему? У всякого человека есть свои недо-

статки, ты сам это хорошо знаешь. И у него есть свои даже не недостатки, а просто дурные привычки... он не любит работать, не может жить без общества и без развлечений... Если бы ты знал все: как его воспитывали, как он провел юношеские годы, — ты согласился бы со мной, что это только дурное воспитание. Отец его — у него только и был, что этот фольварк, — вечно терся у панских притолок, ездил из дома в дом и таскал с собой сына. Болеслав прошел только три класса гимназии и так с этим и остался и сразу стал считать себя вполне зрелым человеком. А когда он женился на мне и моим приданым заплатил свои долги, я взяла все на себя, во всем выручала его и отстраняла от него всякую заботу... Он и привык. Но разве можно браться за такой тяжелый труд с этими привычками? Он, быть может, и согласился бы, да я знаю, что ничего путного из этого не выйдет. Нет, я не хочу! Пусть уж лучше все останется как есть. Только я умоляю тебя всем на свете, не говори ему о твоём проекте и сам забудь о нём, очень прошу тебя.

Ружиц посмотрел на неё, как на какое-то чудо.

— Милая моя, а ведь ты до сих пор любишь этого человека!

Пани Кирло ответила ему таким же изумленным взглядом.

— А как же иначе? Я вышла за него по любви, никто меня не принуждал, — наоборот, родители были против, все родственники отговаривали, а я ради него отказывала другим. Или ты воображаешь, что мы можем, как вы там, в своём большом свете, двадцать раз влюбиться и разлюбить?

— Двести раз, — поправил Ружиц.

Но она не слыхала его иронических слов и продолжала:

— У нас не так, у нас проникаешься любовью и уважением к человеку, с которым хоть какое-то время прожил счастливо. А дети!.. Мой милый, когда ты женишься и наживешь детей, то поймешь, какой это крепкий узел!

— И вместе с тем ты не хочешь, чтобы я доверился твоему мужу?

центы с чистого дохода и разные другие выгоды, которые ему теперь лень перечислять...

— Если ты согласна, милая кузина, тогда переговори с мужем. Пусть приготовит контракт, договор или что-нибудь вроде этого и привезет мне подписать. Через два месяца он может принять имение от теперешнего моего управляющего, который становится решительно невыносим.

Пани Кирло внимательно выслушала его и, задумавшись, долго молчала. Было видно, что перспектива, развернутая перед ней Ружицем, открывала для нее двери рая. Отдохнуть немного после долголетнего неустанного труда, улучшить хозяйство Ольшинки, дать хорошее образование сыновьям и младшим дочерям! — да ведь это мечта! Большого она и желать не смела. Но чем дальше она думала, тем мрачнее становилось ее лицо. Наконец она отрицательно покачала головой.

— Благодарю тебя, — тихо сказала она, — благодарю... Но этого не может быть... Я... никогда не соглашусь на это...

Она чувствовала на себе его изумленный взгляд и, опустив глаза, быстро, как будто ей хотелось как можно скорее покончить с этим разговором, начала нерешительным голосом:

— Это было бы для нас величайшим счастьем, и я чувствую, что только потому ты и делаешь нам подобное предложение... но, видишь ли... для тебя от этого не было бы никакой пользы. Воловщина — твое последнее достояние, и нужно, чтобы кто-нибудь занялся ею как следует... а Болеслав, мой муж... о нет, нет, и думать нечего!

Она схватила его руку и подняла к нему глаза, полные тревоги и мольбы.

— Только не думай о нем ничего дурного, прошу тебя! Я не хочу сказать, что он... человек недобросовестный или что-нибудь в этом роде. Вовсе нет. Он никогда никому зла не сделал, можешь спросить кого угодно, всякий скажет, что это человек честный и добрый.

— Так почему же ты отказываешься?

— Почему? У всякого человека есть свои недо-

статки, ты сам это хорошо знаешь. И у него есть свои даже не недостатки, а просто дурные привычки... он не любит работать, не может жить без общества и без развлечений... Если бы ты знал все: как его воспитывали, как он провел юношеские годы, — ты согласился бы со мной, что это только дурное воспитание. Отец его — у него только и был, что этот фольварк, — вечно терся у панских притолок, ездил из дома в дом и таскал с собой сына. Болеслав прошел только три класса гимназии и так с этим и остался и сразу стал считать себя вполне зрелым человеком. А когда он женился на мне и моим приданым заплатил свои долги, я взяла все на себя, во всем выручала его и отстраняла от него всякую заботу... Он и привык. Но разве можно браться за такой тяжелый труд с этими привычками? Он, быть может, и согласился бы, да я знаю, что ничего путного из этого не выйдет. Нет, я не хочу! Пусть уж лучше все останется как есть. Только я умоляю тебя всем на свете, не говори ему о твоём проекте и сам забудь о нём, очень прошу тебя.

Ружиц посмотрел на нее, как на какое-то чудо.

— Милая моя, а ведь ты до сих пор любишь этого человека!

Пани Кирло ответила ему таким же изумленным взглядом.

— А как же иначе? Я вышла за него по любви, никто меня не принуждал, — наоборот, родители были против, все родственники отговаривали, а я ради него отказывала другим. Или ты воображаешь, что мы можем, как вы там, в своем большом свете, двадцать раз влюбиться и разлюбить?

— Двести раз, — поправил Ружиц.

Но она не слыхала его иронических слов и продолжала:

— У нас не так, у нас проникаешься любовью и уважением к человеку, с которым хоть какое-то время прожил счастливо. А дети!.. Мой милый, когда ты женишься и наживешь детей, то поймешь, какой это крепкий узел!

— И вместе с тем ты не хочешь, чтобы я доверился твоему мужу?

— Нет, — живо перебила она, — не хочу, решительно не хочу! Он не справился бы... и ввел бы тебя в убытки... я знаю!

Ружиц встал. В этом безвольном и больном человеке, вероятно, еще не угасли все хорошие чувства, поэтому что выражение, с каким он посмотрел на свою родственницу, было весьма близко к благоговению.

— Что же делать? — сказал он. — Если ты решительно не хочешь этого... но ты должна по крайней мере позволить мне... — он взял обе руки пани Кирло в свои и робко заглянул ей в лицо, — чтобы я принял на себя расходы по воспитанию твоих сыновей, пока... пока они не окончат ученья или... пока я не разорюсь окончательно...

Он попробовал было усмехнуться, но неудачно: нервная судорога так исказила его лицо, что оно приняло почти трагическое выражение.

— Пожалуйста, — сказал он еще тише, — прошу тебя.

Несколько минут пани Кирло стояла молча, с пылающими щеками, спустив глаза. Может быть, в это время она боролась с собой, не желая ни от кого принимать благодетель. Две крупные слезы скатились по ее увядающему, некогда прекрасному лицу, оставив на нем влажные следы. Но она тотчас же овладела собой и подняла на Ружица взгляд, исполненный глубокой признательности.

— Благодарю тебя, — тихо сказала она, — я принимаю... от тебя! Впрочем, для детей... все...

Он поцеловал у нее обе руки, и когда выпрямился, его темное, измученное лицо казалось гораздо спокойнее.

— Ты оказала мне настоящую милость. Теперь на этом мрачном, безотрадном пути, который я вижу всегда перед собою, будет мерцать хоть одна светлая точка. О том, что касается этих милых мальчуганов, мы поговорим в другое время, а сейчас мне пора ехать.

Он посмотрел на часы.

— Вот уже шесть часов, как я из дому.

— Боже мой, — вздохнула пани Кирло, — и больше чем шесть часов тебе трудно обойтись без...

— Без чего? Назови хоть раз эту вещь ее именем. Или оно застревает у тебя в горле?

Ружиц опять пытался пошутить и снова неудачно. С каким-то сдержанным отчаянием он провел рукой по лбу и вздохнул.

— Трудно... невероятно трудно!

Пани Кирло с грустью посмотрела на него.

— Знаешь что? Для тебя единственное спасение — брак с благоразумной женщиной высокого происхождения, которую ты любил бы.

— Ты опять за свое!

— И всегда буду! — воскликнула пани Кирло и привычным жестом ударила кулаком по ладони, но тут же улыбнулась и весело прибавила: — *Ce que la femme veut, Dieu le veut*¹. Мой французский хромает, должно быть, не хуже, чем у Юстыны, но пословица эта часто оправдывается. А лучше попросту: «Где черт не сможет, там баба подможет»... Вот увидишь, я тебя уговорю...

Уже в дверях, крепко пожимая ему руку, она говорила:

— Как только улучу свободную минутку, сама к тебе приеду, и тогда как следует об этом поговорим. И вот еще что пришло мне в голову: если ты хочешь, чтобы у тебя в Воловщине был действительно хороший управляющий, предложи Корчинскому. Лучше его не сыщешь. Отличный хозяин, работает, как вол, и притом человек кристальной честности, — настоящий алмаз, говорю тебе — алмаз. Попробуй...

Ружиц небрежно махнул рукой. Видимо, он так спешил уехать, что теперь все на свете перестало его интересовать. Но пани Кирло сбежала с крыльца, вскочила на подножку кареты, грациозно опершись на его руку, и шепнула ему на ухо:

— Подумай, что я тебе говорила о Юстыне. Плюнь ты на тетку княгиню и на все эти великосветские глупости! Беспутная жизнь не принесла тебе счастья, попробуй-ка начать трудовую.

На лице Ружица появилась слабая, вымученная улыбка.

¹ Чего хочет женщина, того хочет бог (франц.).

— Нет, — живо перебила она, — не хочу, решительно не хочу! Он не справился бы... и ввел бы тебя в убытки... я знаю!

Ружиц встал. В этом безвольном и больном человеке, вероятно, еще не угасли все хорошие чувства, потому что выражение, с каким он посмотрел на свою родственницу, было весьма близко к благоговению.

— Что же делать? — сказал он. — Если ты решительно не хочешь этого... но ты должна по крайней мере позволить мне... — он взял обе руки пани Кирло в свои и робко заглянул ей в лицо, — чтобы я принял на себя расходы по воспитанию твоих сыновей, пока... пока они не окончат ученья или... пока я не разорюсь окончательно...

Он попробовал было усмехнуться, но неудачно: нервная судорога так исказила его лицо, что оно приняло почти трагическое выражение.

— Пожалуйста, — сказал он еще тише, — прошу тебя.

Несколько минут пани Кирло стояла молча, с пылающими щеками, спустив глаза. Может быть, в это время она боролась с собой, не желая ни от кого принимать благодарений. Две крупные слезы скатились по ее увядшему, некогда прекрасному лицу, оставив на нем влажные следы. Но она тотчас же овладела собой и подняла на Ружица взгляд, исполненный глубокой признательности.

— Благодарю тебя, — тихо сказала она, — я принимаю... от тебя! Впрочем, для детей... все...

Он поцеловал у нее обе руки, и когда выпрямился, его темное, измученное лицо казалось гораздо спокойнее.

— Ты оказала мне настоящую милость. Теперь на этом мрачном, безотрадном пути, который я вижу всегда перед собою, будет мерцать хоть одна светлая точка. О том, что касается этих милых мальчуганов, мы поговорим в другое время, а сейчас мне пора ехать.

Он посмотрел на часы.

— Вот уже шесть часов, как я из дому.

— Боже мой, — вздохнула пани Кирло, — и больше чем шесть часов тебе трудно обойтись без...

— Без чего? Назови хоть раз эту вещь ее именем. Или оно застревает у тебя в горле?

Ружиц опять попытался пошутить и снова неудачно. С каким-то сдержанным отчаянием он провел рукой по лбу и вздохнул.

— Трудно... невероятно трудно!

Пани Кирло с грустью посмотрела на него.

— Знаешь что? Для тебя единственное спасение — брак с благоразумной женщиной высокого происхождения, которую ты любил бы.

— Ты опять за свое!

— И всегда буду! — воскликнула пани Кирло и привычным жестом ударила кулаком по ладони, но тут же улыбнулась и весело прибавила: — *Se que la femme veut, Dieu le veut*¹. Мой французский хромает, должно быть, не хуже, чем у Юстыны, но пословица эта часто оправдывается. А лучше попросту: «Где черт не сможет, там баба подможет»... Вот увидишь, я тебя уговорю...

Уже в дверях, крепко пожимая ему руку, она говорила:

— Как только улучу свободную минутку, сама к тебе приеду, и тогда как следует об этом поговорим. И вот еще что пришло мне в голову: если ты хочешь, чтобы у тебя в Воловщине был действительно хороший управляющий, предложи Корчинскому. Лучше его не сыщешь. Отличный хозяин, работает, как вол, и притом человек кристальной честности, — настоящий алмаз, говорю тебе — алмаз. Попробуй...

Ружиц небрежно махнул рукой. Видимо, он так спешил уехать, что теперь все на свете перестало его интересовать. Но пани Кирло сбежала с крыльца, вскочила на подножку кареты, грациозно опершись на его руку, и шепнула ему на ухо:

— Подумай, что я тебе говорила о Юстыне. Плюнь ты на тетку княгиню и на все эти великосветские глупости! Беспутная жизнь не принесла тебе счастья, попробуй-ка начать трудовую.

На лице Ружица появилась слабая, вымученная улыбка.

¹ Чего хочет женщина, того хочет бог (франц.).

— Вот что значит называть вещи своими именами! Хорошо, приезжай в Воловщину, там обо всем и поговорим.

Едва карета выехала за ворота, пани Кирло торопливо вошла в кухню, наскоро отдала несколько распоряжений и отправилась в комнату к сыновьям. Шалун Болеслав и больной Стась возились с младшей сестренкой, пугая ее топаньем и громким воем. Броня сбросила, наконец, свой тулупчик и еще больше растрепалась. Она отлично понимала, что братья шутят, притворялась испуганной и, заливаясь звонким смехом, пряталась от них по углам. Переполошились только наседки, однако, сохраняя достоинство, они не покидали своих мест и лишь кудахтали что есть мочи. Пани Кирло немного успокоилась за сына, — больной, он не стал бы так играть, — позвала купцов в гостиную и после короткой, но упорной схватки быстро написала условие, получила задаток и, любезно поговорив с ними об урожае и цене на рожь, вышла на крыльцо.

Весь день бушевавший ветер унялся, в воздухе было тихо, но все еще холодно. Далеко, на краю занеманских лугов, заходило солнце, пронизывая золотыми лучами прозрачную зелень ольховой рощи, за которой сквозь редкие стволы мелькало пестрое стадо, рассыпавшееся на противоположном берегу. С влажной лужайки, которая спускалась к темневшей поблизости деревушке, из затопленных водой ложбинок, поросших светлозеленым аиром и лозняком с высоко торчащими темными верхушками, все громче доносилось протяжное мычание коров. По тропинке, протоптанной через луг от усадьбы до деревни, брели возвращающиеся с прополки женщины.

На фоне яркой зелени быстро мелькали пестрые платки женщин, красные шапочки детей и босые загорелые ноги. По той же дорожке, которая явно свидетельствовала о постоянных сношениях между небольшой господской усадьбой и недлинным рядом крестьянских хат, навстречу им шло несколько крестьян, направляющихся в усадьбу.

Пани Кирло, стоя на крыльце, давно заметила их. Она знала, зачем они шли, но в эту минуту не могла терпеливо ждать, пока они подойдут. Это были деревен-

ские хозяева, которые обрабатывали исполу более отдаленную от усадьбы часть ольшинской земли. Но бедной женщине было не до них. Ей просто не стоялось на месте. Как видно, ее что-то очень беспокоило, и она, тревожно сдвинув брови, не сводила глаз с огорода. Дневные работы уже давно кончились, а ее дочь до сих пор не вернулась домой. Зачем этот красивый и жизнерадостный мальчик так часто приезжает сюда и ни на шаг не отходит от Марыни? Пану Бенедикту вряд ли нравится, что он чуть ли не каждый день уезжает из Корчина, чтобы побывать в Ольшинке. А Марыня... почти еще ребенок... но ее лицо озаряется таким невыразимым счастьем, когда она видит черного Марса, который громадными скачками врывается во двор впереди своего хозяина!

— Что мне с ними делать? — с беспокойством спрашивала себя пани Кирло. — Отказать ему от дома, сухо принимать его... нельзя... Да и за что в сущности? Мальчик он хороший, сын доброго соседа. Они знают друг друга с детства, и, может быть, это простая дружба... Но их все-таки нет как нет...

Она сбежала с лестницы, торопливо прошла через весь двор и сквозь кусты сирени заглянула в огород. Марыня сидела в своей узкой кацавейке на пороге амбарчика, куда она недавно увела от дождя деревенских ребятишек. Откинув за плечи светлую косу, девушка подняла розовое личико и, подперев его руками, не сводила ясных голубых глаз со стоявшего перед ней юноши.

Витольд Корчинский в охотничьем костюме, с ружьем за плечами, стройный и ловкий, что-то ей с жаром рассказывал, сопровождая речь решительными жестами. Он казался издали живым и энергичным, несмотря на бледное и утомленное лицо, носившее следы длительных и напряженных умственных занятий. В этом юноше сразу можно было узнать дитяще того тревожного времени, когда взволнованы умы и сердца не знают покоя. То не был крепкий мальчик, что растет, как молодой дубок на приволье, в тиши и достатке родительского дома. Он провел детство на школьной скамье, рано приучив память и ум к непосильной работе, и вы-

...чувствительный к малей-
шему окружающего его воздуха.

У Него был девичий лоб, белый и ясный, вдумчивые глаза, а линия рта выдавала чрезмерную мягкость и впечатлительность натуры. В посадке и поворотах головы чувствовалась, пожалуй, излишняя отвага и гордость, и казалось, что он вот-вот пустится в кругосветное путешествие или ринется на завоевание всего мира.

За эти два часа он, вероятно, немало рассказал своей собеседнице, — он даже принес с собой книжку, которая лежала сейчас у нее на коленях, — и не уставал говорить, а она не уставала его слушать.

Встревоженное сердце матери могло теперь успокоиться. У него был вид учителя, у нее — ученицы; они казались друзьями, которые во всем согласны друг с другом и заняты созданием каких-то планов. Девушка одобрительно кивала головой, что воодушевляло юношу и заставляло его говорить с еще большим пылом. Издали до пани Кирло доносились только отдельные слова: «народ, страна, община, интеллигенция, инициатива, просвещение, благосостояние» и т. д. Раза два она расслышала целые фразы, точно выхваченные из какой-нибудь умной книжки, — о необходимости труда, об исправлении исторических ошибок и так далее. Пани Кирло улыбнулась так, как умеют улыбаться только матери: снисходительной и в то же время гордой улыбкой.

— Ладно, — сказала она, — если так, то ладно! Не буду мешать им говорить о таких прекрасных вещах!

Она хотела уйти, но снова обернулась на молодую пару. Марыня медленно поднялась с низенького сиденья и в глубокой задумчивости взяла своего товарища под руку. Медленно прошли они огород и вдоль ольхового леса направились к деревне.

Пани Кирло не раз видела их здесь. Казалось, какая-то неведомая внутренняя сила влекла их в деревню. Они шли, близко склонившись друг к другу, и их силуэты четко вырисовывались на зеленом фоне леса. Юноша больше чем когда-либо был похож на апостола, проповедующего свое учение, или мыслителя с несколько суровыми глазами под детским лбом; она

1
Л.
с
ва
пр
бь
а
ки
бес

этог
ровь
что
звол
ужел
Де
костля

шла, опустив глаза, с той тихой, восторженн
улыбкой на свежих устах, которая сопровождает пр
буждение молодой мысли и воли. За ними степенно ш
стовал черный легаш, и заходящее солнце бросал
перед ними дрожащие отблески багрового света.

II

До полудня оставалось еще часа два-три, когда Юстына из-под ослепительного ливня солнечных лучей вступила в темные прохладные сени корчинского дома. Она вся раскраснелась и в своем светлом платье, с огромной охапкой полевых цветов в загорелых руках, казалась олицетворением цветущего лета. Девушка быстро взбежала на крыльцо, но вдруг остановилась и долго смотрела куда-то вдаль, за ворота усадьбы, в поле. Однако этот долгий взгляд, видимо, не был печален, потому что, обернувшись к дому, она громко запела:

Дерево на землю желтый лист роняет,
На могиле пташка поет-распевает...

Но, войдя в сени, Юстына оборвала песню и потороплась в столовую, откуда доносились оживленные голоса. В глубине комнаты, прислонившись к буфету, ждала Марта, а перед ней — молодой человек и девочка-подросток. Перебивая друг друга, они о чем-то шептались и что-то горячо ей доказывали. На юноше — короткий и довольно измятый утренний костюм, — очка, худенькая, болезненная, желтая, в волнах в лентах и локонах, напоминала красивого, но — тного мотылька.

— Неужели, тетя, вы даже для нас не сделаете
— Мы так вас просим, так боимся за ваше здо
— Доктор говорит, что вам необходимо лечиться...
— с какой-то нехороший кашель. Ну, милая, по
— октору прийти сюда!.. Мы его приведем... Не
— не сделаете этого для нас?

— а старалась худенькими руками обхватить
— талию старой женщины и высоко закидывала

свою завитую головку, сисясь заглянуть ей в лицо, которое выражало то гнев, то нежность. Но гнев в конце концов превозмог.

— Да оставьте вы меня, бога ради, в покое! — раздался вдруг хриплый голос Марты. — Что вы ко мне пристали? Вот еще наказание господне! Глуп ваш доктор... что он услышал в моем кашле? Пусть Эмилию и Тересу лечит, они у нас больные, а я здорова-здоровехонька и ни в каких докторях не нуждаюсь. Еще чего! Вечные глупости!

Она закашлялась бы, как всегда в минуты возбуждения, но удержалась и, увидев входящую Юстыну, бросилась к ней, словно к избавительнице.

— Ты вот, душенька, все гуляешь, бог весть куда пропала и не знаешь, что в доме творится. Беда, да и трюк! У Эмилии нервы расстроились, заболела грудь, сердце, одним словом — все... привезли доктора. Бенедикт так испугался, что приказал не жалеть лошадей... они и до сих пор все в мыле стоят, не отдышатся. Полчаса назад приехал доктор и, как всегда, нашел, что ничего страшного нет. Расстройство нервов, небольшой катар гортани... или как это там у них?.. посоветовал ей почаще выходить на свежий воздух и развлекаться, написал два рецепта... А я, как на грех, понесла ему закуску и кофе в ее комнату и закашлялась... да и закашлялась-то не сильно, так... чуть-чуть... Вдруг он посмотрел на меня и говорит, что у меня скверный кашель и надо лечиться. Я бежать, а дети за мной: «Полечись, тетя, посоветуйся с доктором!» Принесла его сюда легкая! Больна, больна... вечные глупости! Уж если я больна, то кто же здоров? Говорю тебе, что я вот эту стену рукой насквозь прошибу, если захочу.

Покуда Марта, размахивая руками и кивая головой, над которой торчал высокий гребень, произносила свой монолог, Витольд и Леоня, о чем-то пошептавшись, убежали из комнаты. Юстына взяла руку Марты, поцеловала и пристально посмотрела ей в глаза.

— Я все понимаю, тетя, — тихо сказала она.

— Понимаешь?.. Уже? — насмешливо начала было Марта, но, почувствовав, что сказала что-то некстати, вдруг вспыхнула: — Что ты понимаешь? Тут и понимать

нечего. Я совсем здорова и вовсе не нуждаюсь, чтобы мне, как индейке, пихали в горло какие-то катышки. А ты сейчас в меланхолию... «Понимаю!» Ничего ты не понимаешь... Вечные...

Ее взгляд вдруг упал на цветы, которые Юстына положила на стол.

— Откуда это? — крикнула Марта, указывая глазами на букет, который был похож на разноцветный веник.

— Угадайте, — засмеялась Юстына.

Угадала ли Марта? Тонкие губы ее крепко сжались и почти исчезли в складках рта, она подалась вся вперед, загоревшиеся только что глаза сразу погасли и впились в букет, как будто она увидела там что-то, что было некогда живым, знакомым и, быть может, дорогим.

— Юстына!

В ее глухом голосе слышалась какая-то несвойственная ему нота.

— Что, тетя?

— Где ты была?

— В Богатыровичах, — спокойно ответила молодая девушка.

— А кто тебе дал... это?..

Она темным, сморщенным пальцем указала на букет, не спуская с него глаз. Теперь Юстына совсем склонилась к нему лицом.

— Ян Богатырович, — ответила она тише, чем прежде.

Марта выпрямилась и, как будто это имя ударило ее в грудь, захохотала:

— Ха-ха-ха! Ну, это уж у них семейное! Все букеты вяжут, и кто ни свяжет — метла метлой! Когда-то я их часто видела, точь-в-точь как этот! А запах-то какой, всю комнату наполнил! И запах тоже знакомый... Ох! не могу...

Она не удержалась и закашлялась; ее морщинистый лоб покрылся багровыми пятнами, задышавшись она еще раз сказала:

— Юстына!

— Что, тетя?

Марта стояла перед молодой девушкой, вытянувшись во весь рост, похожая на придорожный столб на двух подпорках, вдетых в цветастые туфли. Потом, подняв указательный палец, сердито погрозила ей.

— Что это ты, паненка, затеяла? — спросила она глухо. — Или думаешь, что одним господь бог дает сердце, а другим камень, и если ты паненка, так у тебя сердце как сердце, а он мужик, так у него каменное. Поиграй камешком, поиграй! Со скуки, от безделья! Чему это помешает? Утешайся после панских конфет мужицкими метлами, пока бог опять какого-нибудь пана не пошлет!

Она, наверное, долго говорила бы еще на эту тему, но в комнату с громким смехом вбежала стройная, грациозная девочка и прильнула к ней, как бабочка к потемневшему от времени столбу.

— Вот мы и поставили на своем! — затараторила она. — Вот вы и должны будете говорить с доктором! Витек его ведет уже сюда!

В гостиной действительно послышались шаги двух мужчин, которые вышли из комнаты пани Эмилии и направлялись в столовую. Марта, как ужаленная, сорвалась с места и, пробежав гостиную, кинулась в соседнюю комнату. За ней бросилась Леоня, а потом и Зитольд. Оставив доктора в гостиной, он пытался догнать тетку и уговорить ее. Но Марта, согнувшись и высоко подбрасывая ногами юбки, с громким топотом пробежала две комнаты, опрокинула два стула, стоявшие на дороге, и, наконец, очутилась в длинном коридоре, ведущем в кладовую. На ходу она достала из кармана большой ключ и теперь дрожащей рукой старалась попасть им в замочную скважину. Она шумно и трудно дышала, что-то ворча себе под нос. Леоня, тоже задыхаясь, только здесь догнала Марту и ухватила ее за платье.

— Тетя, — зазвенел на весь коридор тонкий обиженный голос девочки, — я вам вышью красивые туфли! Я вас каждый день буду крепко-крепко целовать, только сделайте это для меня...

Марта обернулась, приподняла девочку, осыпала ее горячими поцелуями, затем втокнула в кладовую, вбе-

жала туда сама и с треском заперла дверь на ключ. Вслед за ними прибежал и Витольд.

— Тетя Марта, — крикнул он, — пожалуйста к доктору!

Он начинал не на шутку сердиться. Глаза под нахмуренными бровями загорелись гневом. Но в кладовой слышался только смех, поцелуи, стук посуды. Очевидно, в крепости было весело. Витольд, упершись в дверь, громко крикнул:

— Так вы не хотите исполнить мою просьбу?

Из кладовой раздался хриплый голос Марты, в котором теперь звучала неподдельная нежность и любовь:

— Голубчик ты мой, милый, золотой! Ничего мне не нужно, честное слово, ничего не нужно... К лицу ли мне доставлять людям хлопоты, отнимать у них время? Не сердись на меня, милый. Может быть, скушать чего-нибудь хочешь?.. Сыр есть отличный, свежее повидло. Хочешь, а? Тогда иди сюда.

— Ну, что уж с вами делать! Отворяйте!

Минуту спустя все трое сидели в кладовой. Сколько времени — с тех пор, как они себя помнили, — провели здесь дети с этой высокой ворчливой и подчас насмешливой женщиной, которая утешала их тут, носила на руках и закармливала лакомствами до того, что они потом хворали, а она лечила их и просиживала над ними целые ночи в тревоге и беспокойстве, напевая своим хриплым голосом старые народные песни.

В спальне пани Эмилии все было иначе. Подвешенная к потолку голубая лампа всю ночь освещала ее словно лунным светом. Кроме того, чуть не до утра горела другая, у кровати пани Эмилии, при свете которой Тереса каждый вечер долго читала вслух иностранные романы, мемуары, путешествия. Бедная старая дева с болезненно-эротическим выражением глаз и рта, напоминавшая увядшую розу, хорошо знала три иностранных языка. На этот раз она выбрала путешествие по Египту. Они вместе с Эмилией столько уж читались о разных странах Европы, что с некоторых пор решились отправиться далее, в другие части света. Египет

очень понравился пани Эмили и пробудил в ней чувство невыразимой тоски. Все, что они читали о нем, было так ново, так волновало воображение и казалось таким заманчивым. Почему она не родилась в Египте? Там она, наверное, была бы счастливее! Вздыхая, пани Эмилия закинула за голову худые руки; глаза ее расширились и казались огромными. На минуту она прервала чтение.

— Как ты думаешь, Тереса? Я там, наверное, могла бы больше ходить, двигаться, жить, любить!

— О да! — ответила Тереса. — Воображаю, какую пылкую любовь должны испытывать люди среди такой живописной природы! Как горячо должны они любить!

И ее бесцветные глаза мечтательно устремились вдаль. Перед ее взором предстал стройный феллах, с оливковым цветом лица и жгучим взглядом; он говорил ей слова, которых Тереса так жаждала и никогда не слыхала. На дворе начинало уже рассветать, когда она, горячо поцеловав пани Эмилию, ушла в соседнюю комнатку, где спала. Утомленная бессонной ночью, Тереса проглотила две пилюли — обычную порцию на ночь, — разделась и улеглась в постель. Но не успел в ее сонном воображении снова появиться оливковый феллах, как ее разбудил зов пани Эмили. Этот зов был так жалобен, что Тереса, вскочив с постели и накинув кое-как на плечи халат, босиком вбежала в спальню, еще освещенную слабым светом голубой лампы. Пани Эмилия металась по кровати в нервном припадке. Она задыхалась, плакала и хохотала, сжимая обеими руками сердце, которое билось так сильно, что его удары были слышны чуть ли не за два шага от нее, глухо кашляла и жаловалась на колотье в боку.

Возможно, это был не только нервный припадок, но и следствие простуды и огорчения. Два дня назад Витольд упросил мать пройтись с ним по саду. Она долго не решалась, но ей стало жаль мальчика, — и она пошла. Во время прогулки, жалуясь сыну на свою печальную жизнь, она забыла о болезни и не заметила, что прогулка затянулась и что на дорожки сада уже легла роса. Притом сын не выразил ей достаточно сочувствия и на ее жалобы отвечал молчанием. Это ее страшно

огорчило и расстроило, как новое доказательство того, что никто, даже собственный сын, не понимает ее и не умеет любить. А потом... этот Египет! Словом, *даже* она не испытывала таких страданий, как сейчас.

Тереса сразу потеряла голову, бегала от туалета к шкафчику и обратно, разбила флакон с духами и склянку с лекарством. Но надо сказать, что она совершенно забыла о себе и с горячим сочувствием и несмусовым усердием пичкала больную всякими лекарствами, растирала, утешала, приготавливала воду для грелки. Ни ее более чем легкий костюм, ни боязнь предрассветного холода не помешали ей бежать будить Марту и пана Бенедикта. Они уже встали. Марта наблюдала за лакеем, натирающим полы, поливала цветы и готовила чай для пана Бенедикта, лошадь которого стояла уже у крыльца. Была пора уборки, и владелец Корчина проводил почти все время на коне.

Когда Тереса, в измятом и грязном халате, с жидкой косицей растрепанных волос, вбежала в столовую, ее желто-розовое лицо выражало такой испуг и горе, что Марта и Бенедикт сразу догадались, что Эмилия заболела. И — странное дело! — хотя подобные случаи повторялись довольно часто и хотя, казалось, ничто в течение уже нескольких лет не связывало его с женой, — когда Бенедикт, узнав о припадке, торопливо выскочил на крыльцо, чтобы приказать ехать в ближайший город за доктором, его большие руки слегка дрожали. Потом он поспешил в комнату жены, но выбежал оттуда, хватаясь за голову, бледный и растерянный.

— Беда с этими женщинами! — шепнул он попавшейся ему на дороге Марте. — Несчастливая ужасно страдает! А другая стоит на коленях перед ее кроватью и плачет-разливается. Ни о чем допытаться нельзя.

Он зычным голосом крикнул с крыльца, чтобы скорее запрягали и молнией летели за врачом.

К полудню пани Эмилия стала гораздо спокойнее, но так ослабела, что голос ее был еле слышен. В белом кисейном пеньюаре, отделанном кружевом, она лежала в постели с закрытыми глазами, с выражением такого тихого страдания, что всякий, кто видел ее, не мог не почувствовать к ней искренней жалости. Тереса сидела

у ее постели и с состраданием вглядывалась в нее, а вскоре после отъезда доктора тихонько прошмыгнула сюда Леоня и с вязаньем в руках забила в угол. Вдруг со двора донесся стук колес приближающегося экипажа, двери отворились и послышался шепот Марты:

— Пан Дажецкий приехал с младшими девочками. Бенедикт просит, чтоб Леоня пришла занимать гостей.

Марта старалась говорить как можно тише, но ее свистящий шепот все-таки дошел до слуха больной. Пани Эмилия открыла глаза, пошевелила пальцами и проговорила:

— Дажецкие... Как Леоня одета?

— Подойди к маме! — поспешно шепнула Тереса.

Леоня на цыпочках приблизилась к постели матери. Пани Эмилия окинула ее взглядом. Глаза ее, за минуту до этого тусклые и угасшие, теперь слегка оживились и заблестели.

— Платье хорошо, — тихо сказала она, — но бантик помят и ботинки безобразны.

Она глазами поманила к себе девочку и поцеловала ее в лоб.

— Не годится, чтобы моя дочь была одета хуже, чем Дажецкие... а они так рядятся...

И вдруг склонившаяся к ней головка дочери чем-то так поразила ее, что она порывисто поднялась и села в постели.

— Локоны развились! — простонала пани Эмилия. — Тереса, милая, — взволнованно обратилась она к Тересе, — вели Зосе поскорей приколоть Леоне свежий бант и надеть ей варшавские туфельки... Но волосы!.. Что делать с волосами?

— Я свяжу их лентой, — предложила девочка.

— Да, нечего делаты! Придется связать лентой, — ответила мать. — Но только, — прибавила она, — чтобы лента была одного цвета с бантом.

Когда Леоня убежала и издали было слышно, как она звала горничную, больная беспокойно повернулась и еле слышным голосом простонала:

— Милая Тереса, только не пускай сюда никого, решительно никого. Я не могу переносить никакой уста-

лости... Почитай мне немного о Египте... только не громко...

В то время как в голубой спальне Тереса тихим голосом читала французскую книгу о путешествии в Египет, а больная, неподвижно лежа в постели, слушала ее, в гостиной прохаживались взад и вперед двое пожилых мужчин, а навстречу им три молоденькие девушки. Сестры Дажецкие и дочь Корчинских чинно ступали в туго затянутых корсетах. Держась под руки, они склоняли друг к другу завитые головки и оживленно болтали.

В углу комнаты с раскрытой книжкой в руках сидел Витольд, но он не читал. Бросая на отца и сестру быстрые, но пронизательные взгляды, он становился все угрюмее. Видно было, что его внимание поглощено разговором Дажецкого с отцом. Перемена, происшедшая во внешности Корчинского, особенно в лице, и манере изъясняться, была поистине поразительна. Казалось, что он вдруг как-то съежился, стал меньше, похудел, — так низко склонял он голову и так старался умерить свои порывистые, размашистые жесты. Обращаясь к шурину, он говорил очень сдержанно, и его глаза и губы выражали явное желание быть приятным и угождать гостю. Он, видимо, заискивал перед Дажецким, и, вероятно, именно от этих его усилий морщины на лбу и щеках стали еще глубже, а длинные усы свисали на отвороты парусинового сюртука, в котором он собрался ехать в поле. Гость представлял собой полную противоположность хозяину. Высокий, тонкий, щегольски одетый, с неподвижным, как у манекена, торсом, он ступал по гостиной неестественно мелкими, размеренными шагами, слегка поскрипывая лаковыми ботинками. Руки он держал в карманах, и узкое, бледное, холеное лицо, обрамленное седеющими бакенбардами, отражало его глубокое убеждение в своем превосходстве над окружающими как в имущественном отношении, так и с точки зрения родовитости и воспитания. Он в изысканных выражениях высказывал Корчинскому свое сожаление о том, что необходимость заставляет его напомнить шурина о долге или, вернее, о невыплаченном приданом жены...

Корчинский при первых словах о долге вздрогнул, как ужаленный, и вдруг как-то особенно легко подскочил к боковому столу и почти с беззаботной улыбкой подал гостю сигару.

— Благодарю, я не курю перед обедом, — не вынимая рук из карманов и не останавливаясь, отказался Дажецкий.

Пан Бенедикт просительно заглянул ему в глаза.

— А может быть?.. Они, право, недурны... Я привез несколько коробок из города на случай таких гостей, как вы, дорогой шурин... только таких гостей!..

— Нет, благодарю,—повторил гость и, впервые в этот приезд еле заметно кивнув головой, продолжал: — Собственно говоря, эти несколько тысяч такие пустяки, что о них и говорить бы не стоило... Я всегда придерживался гражданской солидарности, этой основы всякого общества. Мы обязаны поддерживать друг друга, пусть даже в ущерб себе... да, пусть даже в ущерб. Человек цивилизованный не может себе представить большей неприятности, чем когда ему приходится рвать, хотя бы в самой ничтожной степени, те нити симпатии и доброжелательства, которые связывают его с близкими... именно с близкими.

— Я аккуратно плачу проценты, — робко перебил Бенедикт.

Маленькая седеющая голова Дажецкого, сидящая на окостенелой шее, сделала второе за это время, еле заметное движение, выражающее согласие.

— Аккуратно, да, да... Вы, дорогой шурин, вполне достойный уважения человек, и я очень счастлив, что могу вам сказать это.

— Может быть, и на будущее время... — замялся Бенедикт.

Блестящие ботинки гостя закрипели чуть громче — единственный признак того, что обладатель их был несколько озадачен.

— Невозможно, любезный пан Бенедикт, невозможно. Если бы обстоятельства подчинялись воле человека, я безусловно считал бы делом чести и приятнейшей родственной и дружеской обязанностью сделать вам всяческие уступки и облегчения, как делал раньше.

— За это я всегда был вам очень признателен, — упавшим голосом произнес Бенедикт. — Ваша доброта и снисходительность дают мне смелость...

Вдруг, словно светлые мотыльки на голые ветви терновника, налетели на них три паненки. Держась под руки, они загородили им дорогу и, прервав беседу двух мужчин, на цыпочках стали пятиться назад, наперебой щебеча серебристыми голосками:

— Папочка, кузины говорят, что наша гостиная очень пуста и выглядит совсем некрасиво... И я тоже согласна с ними...

— Да, дядя, и в самом деле вам следовало бы купить новую мебель и ковры получше! — в один голос заявили обе младшие дочери Дажецкого.

— Даже у нас в пансионе гостиная гораздо лучше, и я не прочь, чтобы наша была хотя бы такая, как та...

— Между окнами должны быть зеркала и консоли, — решили кузины.

— Папочка, милый, купи зеркала и консоли. Правда же, мне стыдно, что у нас здесь такие голые стены, — жалобно и чуть не со слезами, заглядывая отцу в глаза, приставала Леоня.

Бенедикт долго и растерянно смотрел на этих трех прелестных девочек, но вдруг вышел из себя и крикнул:

— Ну, не мешайте нам! Вам еще в куклы играть нужно, а не гостиные обставлять!

Девочки, которых это и рассмешило и рассердило, устремились в угол, где сидел Витольд. Не вставая с места, он в первый раз заговорил с ними.

— Может быть, ты, Леоня, предпочла бы мозаичный пол и фрески на потолке?

Леоня, не заметив злой насмешки брата, причмокнула бледными губками, как будто попробовала чего-то лакомого.

— Отчего же? Это очень красиво... я видела...

И, захлебываясь от восторга, она стала рассказывать кузинам обо всех чудесах, которые случалось ей видеть в столице. Но кузины и не то еще видали, гостя у своей двоюродной бабки, богатой графини, которая сосватала их сестру своему родственнику, небогатому

графу. О нем-то сейчас и рассказывал пан Дажецкий шурина.

— Вы понимаете, дорогой шурин, что, выдавая дочь замуж в такую семью, я не могу не сделать ей приданого, подобающего ее будущему положению, да, положению. Деньги, о которых я с огорчением, с искренним огорчением напоминаю вам, мы с женой предназначили на это приданое.

— Такую большую сумму на приданое! — не в силах сдержаться, могучим голосом крикнул Бенедикт и, широко раскинув руки, остановился как вкопанный. Но он тотчас же двинулся вслед за гостем, который ни на одно мгновение не замедлил своих мелких поскрипывающих шажков и, усмехнувшись, ответил:

— Не всю сумму, не всю... но, вероятно, половину. Что же вы думаете, зять? Серебро, меха, кружева и всякие там женские тряпки, все это вещи дорогостоящие, да, дорогостоящие. Придется выписать из Парижа фортепиано. Жена моя хочет, и я согласен с нею, чтобы у дочери было свое фортепиано, а если уж покупать, то покупать надо что-нибудь действительно красивое, изящное и отличного качества, да, изящное и отличного качества. Согласитесь же, что я прав, безусловно прав.

Считал ли Корчинский необходимым удовлетворение всех перечисленных Дажецким потребностей? — об этом только он сам мог знать. Но видно было, что он ошеломлен и убит. Он молчал, думал и, свесив голову, яростно кусал длинный ус.

— Может быть, в этом году вы ограничились бы половиной?.. — произнес он наконец. — Несколько тысяч я при величайших усилиях еще могу добыть, но все, сразу...

Он стукнул себя по лбу так оглушительно, точно в гостиную кто-то хлопнул бичом. Тонкие губы Дажецкого безглаголиво дрогнули, но он продолжал с прежним хладнокровием:

— Невозможно, любезный пан Бенедикт, невозможно. Кроме приданого дочери, мне предстоят еще кое-какие издержки, а вы сами знаете, что времена теперь тяжелые... именно весьма тяжелые.

— Чертовские времена! — разразился Бенедикт, не в силах продолжать этот разговор в мягком тоне, но тут же сдержался и любезно прибавил: — Но вы-то едва ли можете пожаловаться.

— Как знать? — загадочно улыбаясь и меланхолически глядя вдаль, начал Дажецкий. — Да, кто знает...

Разговор их прервался. И снова помехой оказались три девочки. Они загородили старшим дорогу и, отступая перед ними на цыпочках, все три подняли глаза на Корчинского и хором зашебетали:

— Папа, милый! Дядя! Нам пришла в голову замечательная, чудесная мысль!

— Прекрасная мысль! — зазвенел голосок Леони. — Нужно купить четыре статуи, но непременно четыре: две мы поставим между окнами, а две по углам гостиной!...

— Сейчас в моде украшать гостиные статуями...

— У нас в пансионе везде статуи, правда гипсовые, но это ничего не значит... все равно, это так украшает комнату... Папочка, милый, золотой, пожалуйста, купи нам в гостиную четыре статуи, хоть гипсовые...

Прийдя, наконец, в себя от ошеломившего его требования Дажецкого, Бенедикт крикнул:

— Да ты у меня с ума, что ли, сошла? Сейчас же уходи отсюда и не мешай нам разговаривать!

Снова, подавляя обиду смехом, они устремились в угол гостиной, и снова Витольд, нахмутив брови, бросил на сестру горящий гневом взгляд.

— Ты бы еще попросила отца, чтобы он привез тебе в Корчин королевский дворец!

Между тем Дажецкий, глядя вслед убегающим дочерям, заметил, снисходительно улыбаясь:

— Веселая, беззаботная юность, счастливая пора, исполненная розовых мечтаний!..

И сразу вернулся к последнему слову прерванного разговора.

— Как знать? Кто с уверенностью может сказать, к кому судьба относится снисходительно, а к кому сурово? Я не жалею, — о нет! В сравнении с другими мои дела идут отлично, отлично... Только в последнее время равновесие моего бюджета несколько нарушено.

При этих словах в полуопущенных глазах Корчинского мелькнул нередко вспыхивавший в них умный, чуть насмешливый огонек, но тотчас исчез, погашенный тенью тревоги.

— В прошлом году нам пришлось расширить наш дом и обновить его немного... жене захотелось устроить маленький зимний сад, в который можно было бы выходить прямо из столовой, а дочерям нужно было заново отделать их комнаты. Я тоже позволил себе безумную роскошь... да, сознаюсь, безумную роскошь,— повез их всех за границу. Путешествие шести человек обошлось недешево, но, говоря по совести, я не мог отказать себе в удовольствии доставить радость своей семье. Словом, в последние годы, то есть с тех пор, как мои старшие дочери выросли, я тратил, пожалуй, слишком много, да, слишком много, и мой бюджет несколько нарушен...

Подавляя кипевшее в нем раздражение, Корчинский сдержанно заметил:

— Что касается меня, то я всегда был того мнения, что всякие пристройки, зимние сады и заграничные путешествия вовсе не были вам нужны!..

Слегка повысив голос,— лицо его больше, чем когда бы то ни было, выражало превосходство,— Дажецкий начал:

— Это весьма условно, любезный пан Бенедикт, весьма условно! Мы — люди цивилизованные, и это порождает в нас такие потребности, вкусы, привычки, стремления — именно стремления, — отказываясь от которых, мы насилуем не только свою натуру, но и самую душу. Человек развитой, просвещенный влюблен в прекрасное, совершенное, возвышенное, он жаждет впечатлений, духовной пищи, он стремится расширить свой умственный кругозор, а без изысканного окружения, без заграничных путешествий и тому подобной роскоши это невозможно. Кроме того, у меня дочери, и никто не смеет ставить мне в упрек желание создать им самую блестящую будущность. Вам известны, наконец, мои родственные связи. Одна из моих теток занимает высокое положение в наших аристократических кругах; двоюродный мой брат значительно увеличил

свой капитал, и его дом не уступит в роскоши ~~дворянскому~~ княжескому. Откуда же мои ~~анархистские и революционные~~ связи, и это заставляет меня ~~ради~~ ~~предоставления~~ образ жизни. Если хотите, это не ~~персональный~~ ~~статус~~ гнет, которому мы, однако, весьма ~~охотно~~ ~~подчиняемся~~, так как получаем взамен массу удовольствий ~~благ~~ высокого порядка. Я вынужден дать эти ~~обязательства~~, дорогой шурин, для того чтобы вам были понятны ~~мотивы~~, заставляющие меня просить нас об уплате ~~долга~~. Но, зная вас как человека честного, великодушного и разумного, я не сомневаюсь, что если вы ~~пожелаете~~ призадуматься над моим положением, то, несомненно, согласитесь, вполне согласитесь со мной!

Судя по лицу Корчинского, он вовсе не был согласен с зятем, но ни словом не возразил ему. Напротив, понизив голос, он с необычным смирением заговорил о том, что ни на минуту не переставал считать долг сестре одним из своих священнейших обязательств, что проценты он платил в срок и даже, несколько лет назад, по желанию зятя, увеличил их, и на то обстоятельство, что с него так долго не требовали этих денег, смотрит как на оказанное ему благодеяние. Потом стал подсчитывать свои доходы и расходы, перечислять причины, затрудняющие выплату этого долга, и доказывать, что выплата всей суммы сразу может окончательно разорить его. Он говорил долго, а так как в комнате были дети, то понизил голос до шепота, каким говорят на исповеди. Очевидно, исповедь эта давалась ему нелегко, он еще больше сгорбился, глаза уставились в пол, а на лбу выступили крупные капли пота. Дажецкий остановился у одного из диванов и сел в стоявшее рядом кресло, не сгибая корпуса, как если бы это была статуя. Бенедикт тоже сел и должен был выслушать длинную лекцию о различных, уже существующих источниках кредита и о тех, которые должны бы существовать, о мертвом капитале, который люди недостаточно практичные держали в виде нетронутых лесов, о прибылях, которые он надеется получить с расширенной винокурни и вновь выстроенной маслобойни, о соединении промышленности с сельским хозяйством и о разных хозяйственных системах во Франции, Гер-

мании, Бельгии и Голландии. Дажецкий кончил тем, что посоветовал шурина или продать занеманский лес, или занять деньги у одного из местных капиталистов, с которым и он поддерживает деловые отношения. Тот, правда, возьмет с него бóльшие, даже гораздо бóльшие проценты, чем Бенедикт платил сестре. Это печальная, но неизбежная необходимость, которая огорчает его, искренне огорчает. Впрочем, если дорогой шурин вникнет во все, он не только не поставит ему, Дажецкому, в вину его настойчивость и те потери, которые придется понести Корчину, но, несомненно, согласится, что это справедливо, совершенно справедливо.

Корчинский согласился, однако, лишь с тем, что раз он должен сестре эту сумму и теперь ее настоятельно требуют, то вполне естественно, что он обязан ее вернуть. О продаже леса он подумает, с капиталистом поведается. Вероятнее всего, он прибегнет к этому второму средству, хотя он и сам не знает, как ему потом удастся вырваться из лап ростовщика. Пан Дажецкий утверждает, что разумнее было бы продать лес; может быть, оно и так, но...

Младший из трех братьев Корчинских умолк и задумался, — так задумался, что, казалось, на время позабыл о зяте и о своей новой тяжелой заботе.

— Вы помните, — шепнул он, наклонившись к самому уху Дажецкого, — там... могила...

— Какая? — изумился Дажецкий.

— Анджея... и тех, что с ним вместе...

Он остановился на минуту.

— Все это прошло... и, понятное дело, даже вспоминать об этом не следует. Но, знаете, когда я погляжу в ту сторону и подумаю, как все было, мне кажется, что это святыня...

Дажецкий задумался на минуту, замигал влажными глазами, поднял их к потолку и вздохнул.

— Сентиментальность, это именно сентиментальность. К несчастью, все мы заражены ею в бóльшей или меньшей степени, и она причинила нам немало зла...

— Верно, верно, много зла! — громко перебил Бенедикт и убедительно, даже с жаром прибавил: — В этом случае вы правы, совершенно правы!

Они замолчали; теперь в гостиной слышались только высокие голоса трех девочек, которые уселись в ряд и, вертя, как птички, хорошенькими головками, весело щебетали:

— Теперь самые модные туфельки из серого полотна, с узором из кожи...

— Терпеть не могу полотняных... Я люблю больше всего из позолоченного сафьяна... но непременно с узкими носами...

— Ах, да, с узкими носами... Непременно, непременно! У моих чуточку широки, не правда ли?

И, нахмурив лоб, Леоня приподняла ножку, с огорчением показывая кузинам свою туфельку, надетую на ажурный чулок.

Дажецкий поднялся, собираясь ехать; от завтрака он отказался, несмотря на усиленные приглашения Бенедикта, отговариваясь тем, что еще сегодня должен отвезти дочерей к одной из своих теток за три мили отсюда, и, прощаясь с братом жены, просил передать его супруге глубочайшее соболезнование по случаю ее нездоровья.

В передней он вспомнил о Зыгмунте и его новом занятии, которое лишний раз свидетельствовало о замечательных способностях. Зыгмунт начал раскопки так называемых «шведских» окопов, неподалеку от своей усадьбы, и страстно увлекся этой работой. Уже найден заржавленный шведский палаш и несколько монет со шведскими надписями.

— Удивительно способный, многосторонне развитой молодой человек... гениальный, именно гениальный...

Пана Корчинского очень мало радовали похвалы, расточаемые его племяннику. Он слушал их с угрюмой, полунасмешливой улыбкой.

— Жалко, — заметил он, — что к хозяйству-то у него, кажется, никаких способностей нет.

— Чего же вы хотите? — живо заступился Дажецкий за любимого племянника жены. — Цивилизация на все накладывает свою печать. Он человек образованный, и даже вы-со-ко-обра-зо-ван-ный. Притом — художник... Так можно ли требовать, чтоб его интересо-

вали всякие эти хозяйственные дела... такие ничтожные... низменные.

— Да ведь он, кажется, сейчас ничего и не пишет, — сказал Бенедикт.

— Да, да, ничего не пишет. А жаль, очень жаль! Но иначе и быть не может. Художнику необходимы впечатления, свобода, возможность каждую минуту любоваться прекрасным. А может ли он найти все это здесь? Посреди этих амбаров, конюшен, батраков, etc., etc. он должен чувствовать себя подавленным, униженным, несчастным.

Разговор о племяннике усилил дурное расположение духа Бенедикта.

— Но скажите, бога ради, — вскричал он, — да разве наша земля — рай, чтоб от нее можно было требовать всего этого? Чего еще этому оболтусу надо от жизни? У него и состояние, и талант, и мать, которая на него не надышится, и молодая жена, влюбленная в него просто до смешного.

На крыльце, оправляя свой плащ какого-то удивительного, но, несомненно, самого модного покроя, Дажецкий нагнулся к уху зятя, словно манекен, и шепнул:

— Только ни слова о его жене! Она красивая и добрая бабенка... притом из хорошей семьи, со средствами... но, видимо, уже надоела Зыгмунту. Что же вы хотите? Артистическая натура... не довольствуется тем, что есть, жаждет того, чем не обладает...

С этими словами, при звуках прощальных поцелуев паненок, гости уселись в экипаж. Корчинский крикнул, чтобы оседлали для него лошадь, и решительным шагом вернулся в гостиную. Ему нужно было поговорить с сыном. В другое время, торопясь в поле по хозяйственным делам, он отложил бы этот разговор до вечера, но теперь, раздраженный новой, неожиданно свалившейся на него заботой, чувствовал потребность немедленно высказать сыну недовольство его поведением.

— Витольд, — крикнул он с порога гостиной, — отчего ты ни слова не сказал дяде и не проводил его на крыльцо?

Молодой человек, который стоял у окна спиной к двери, медленно повернулся к отцу, но не спешил с

ответом. Его тонкое, подвижное лицо выражало беспокойство.

— Почему ты обращаешься с дядей, словно с товарищем, с которым можно говорить и не говорить, быть вежливым или невежливым? Десяти слов ему не сказал, поклонился издали и даже не вынул в переднюю помочь надеть пальто... Знаешь ли ты, что я завишу от него, что этот человек мне нужен, что он одним своим словом может избавить меня от кучи неприятностей? Ты молчишь?

Витольд молчал, но не из робости, нет, в голове у него теснилось тысячу возражений, губы его дрогнули, приоткрылись и снова закрылись. Какое-то более сильное чувство, чем робость, удерживало его. Когда он поднял глаза, они выражали глубокую жалость и томительную нерешительность.

— Что ж ты не отвечаешь? Онемел, что ли? — крикнул Бенедикт.

— Я не хотел бы рассердить тебя, отец, и огорчить. Бенедикт вспыхнул:

— Все это глупости! Ты и так рассердил меня и огорчил. А почему, скажи, ты так относишься к дяде?

Хмурые до сих пор глаза Витольда загорелись, он привычным жестом заложил руки за спину и вскинул голову.

— Потому, отец, что я не питаю никакого уважения к пану Дажецкому и никогда не унижусь до занскивания перед человеком, которого не уважаю.

Изумлению Бенедикта не было границ. Он во все глаза смотрел на сына и не сразу мог произнести:

— Это еще что такое? Откуда? Почему?

Он не знал и не подумал о том, что своими настойчивыми вопросами откроет выход бурному негодованию, kloкочущему в юной груди сына.

— А потому, что он — хвастун, сибарит, эгоист, заботится только о том, чтобы удовлетворить свое тщеславие и получить какую-нибудь выгоду. Он не видит дальше своего носа и задирает его потому, что богаче других, что у него тетка графиня и двоюродный брат, наживший капитал неизвестно каким способом, — вероятно, потом и кровью своих ближних... Расшарки-

ваться перед такими людьми!.. Да знаешь ли ты, как мне было больно... ужасно больно, что ты заискиваешь перед ним и кажешься в его присутствии таким робким и приниженным?...

Ему действительно было больно. Он провел по лбу дрожащей рукой, но в Бенедикте чувство удивления подавило все другие чувства, даже гнев.

— Смотрите, какой судья выискался! — глухо сказал он. — Рано тебе еще...

— Не рано, отец, — порывисто перебил юноша, — никогда не рано знать и говорить правду. Я молод, но именно поэтому и чувствую себя вправе судить тех, чья жизнь и чей образ мыслей находятся в полнейшем противоречии со всеми идеалами моего мира, молодого, лучшего!

Бенедикт так давно не думал, не говорил и не слышал о высоких идеалах, лучшем мире и тому подобном, что и сейчас пропустил эти слова мимо ушей, и они не произвели на него никакого впечатления. Но его страшно поразило и оскорбило то, что его сын сказал о Дажецком и о нем самом. Корчинский привык любить и уважать зятя, не задумываясь над тем, есть ли за что его любить и уважать, он действительно был признателен Дажецкому за то, что тот столько лет не напоминал ему о долге. Кроме того, внешность, обращение, родственные связи зятя и даже его манера говорить невольно импонировали ему. Вот почему слова сына вызвали у него сначала удивление, а затем рассердили.

— Ты ставишь мне в упрек, — сказал он, — что я был любезен с человеком, который осчастливил мою сестру и оказал мне самому такую большую услугу?

— Не любезен, отец, — тихо поправил Витольд, — ты просто заискивал перед ним, унижался...

— Дурак! — бросил Бенедикт, хотя по его хмурым глазам видно было, что он смущен. — Да знаешь ли ты, что такое жизнь и крайняя необходимость? Конечно, я, может быть, обхожусь с Дажецким немного... немного иначе... чем с другими, но ведь он, можно сказать, чуть ли не держит в своих руках судьбу всех нас... Наконец я его искренне уважаю...

— За что? — быстро спросил Витольд, глядя отцу прямо в лицо.

Пан Бенедикт никогда не задал бы себе такого вопроса и потому весьма естественно возмутился.

— Как это за что? Как за что? Да хотя бы за то, что он хороший муж, отец, хорошо ведет свои дела!

— А ты уверен, что это так? А зимние сады, путешествия, парижское фортепиано, сношения с «капиталистом» и «ко-ле-ба-ния бюд-же-та»?..

Последние слова юноша произнес голосом, так похожим на голос пана Дажецкого, что Бенедикт отвернулся в сторону, чтобы скрыть невольную улыбку. Но он тут же оправился и строго заметил:

— Не умничай! Что ты понимаешь в этом? Занимал бы лучше своих кузин. Они-то уж во всяком случае не совершили тех грехов, за которые ты считал бы нужным отправить их в ад.

— Да они уже сами по себе — преступление против здравого смысла и прогресса женщины! — с еще большим возмущением воскликнул Витольд. — Это просто дармоедки, от которых цивилизации, конечно, никогда никакой пользы не будет. То, что этот самоуверенный тупица болтал о цивилизации, просто ложь и клевета на нее. Дочки его — не будущие образованные женщины, а светские сороки; и в их птичьих головках ни сыщешь ни одной передовой мысли, хотя они и не прочь поболтать иногда о литературе и музыке.

— Витольд, — закричал Корчинский, — не смей так позорить родных!

Но юноша, может быть, и не слышал восклицания отца. Лоб его покрылся красными пятнами, в глазах стояли слезы.

— Сестра моя на той же дороге, — продолжал он. — Давно уже, отец, я хотел поговорить о ней с тобою, да не смел... А теперь скажу: это моя обязанность и мое право. Я — брат, мы выросли вместе и с детства любили друг друга. Вы ее превращаете в куклу, такую же точно светскую сороку, как...

— Витольд!

— Да, отец, да! Такую же куклу! От горшка два вершка, а уже мечтает о туфельках, о статуях! Ту-

фельки и статуи — вот мысли, которые ее волнуют, вот почва, на которой растет будущая женщина и гражданка...

— Витольд!

— Правда, отец! Вы губите Леонию, и это меня заставляет страдать, потому что от природы она не плохая девочка, не глупая, но такое нелепое, несообразное с духом времени воспитание и такие примеры сделают ее если не злой, то сорокой, гусыней, попугаем...

— Витольд! Замолчи!

На этот раз окрик пана Бенедикта прозвучал так грозно, что юноша умолк.

— Молчать! Молчать, дурак этакий! — все неистовее повторял Корчинский, и глаза его метали молнии. Он долго не находил других слов, но, наконец, глухо проговорил: — Ты просто злой, зазнавшийся мальчишка, который никого не любит и ничего не уважает. Да, да, ты никого не любишь и всех осуждаешь: близких, родных, сестру, даже отца... отца, который... тебя... в тебе... Ну, что ж делать? Пусть еще и это...

И, повернувшись, торопливо вышел из гостиной.

Витольд остолбенел; он стоял бледный, закусив губы, с горящими глазами. Два неистовых характера, две беспокойные души столкнулись между собой, и произошел взрыв. Они были похожи друг на друга, и это сходство и было главной причиной бурного столкновения, которое, между прочим, давно назревало.

Уже несколько недель, почти с первого дня приезда после двухлетнего отсутствия, сын замечал в отце и в отцовском доме много такого, что раньше не останавливало на себе его внимания, а теперь кололо глаза, ранило сердце и мозг. Отец в свою очередь чувствовал со стороны сына какое-то отчуждение, холодность... Теперь в сердце гордого мальчика чувство горькой несправедливой обиды, вызванной оскорбительными окриками и словами отца, боролось с горячей любовью и жалостью к нему. Он хорошо видел слезы в глазах отца, когда тот отвернулся от него. Однако верх взяла обида.

— Молчать! — прошептал он сквозь стиснутые зубы. — Хорошо. О! Я, конечно, буду теперь молчать

и уж не стану подвергать себя подобным оскорблениям.

Но в ту же минуту, охваченный совершенно иным чувством, он бросился к двери, в несколько прыжков очутился на крыльце, сбежал со ступенек и остановился перед отцом.

— Папа! Может быть, ты вместо картуза наденешь соломенную шляпу, а то сегодня очень жарко.

Не поднимая низко опущенной головы и не глядя на сына, Бенедикт крикнул:

— Пошел прочь! — и поскакал к воротам.

Корчинский превосходно ездил верхом. Высокий, сильный, он точно срастался с лошадыо и, несмотря на свою грузную фигуру, был прекрасным всадником. Когда-то в детстве Витольд, видя отца на коне, восхищался им. В такие минуты он боготворил его и жаждал со временем быть на него похожим. Но сейчас... как далек он был от подобных чувств и настроений! А между тем и сейчас в сильной, мужественной фигуре отца, сидевшего на стройном, хотя и выращенном дома скакуне, в превосходной его посадке было какое-то удивительное благородство, поистине рыцарская доблесть, овеянная лазурным туманом прошлого. Вторично оскорбленный отцом, юноша побледнел еще больше, чуть не до крови закусил губы и, потупившись, повернул назад. Из этого горького раздумья его вывел чей-то голос, таинственно и словно испуганно окликавший:

— Витольд, Витольд!

Он поднял глаза и увидел выглядывающую из-за угла голову, которая на первый взгляд производила весьма странное впечатление. Это была голова парня лет двадцати с небольшим, обросшая целым лесом рыжих всклокоченных волос. Его крупное с грубоватыми, но правильными чертами лицо покрывал багровый загар, а подбородок и щеки обросли тоже рыжей всклокоченной бородой. На этом грубом красном лице сверкали белоснежные зубы, открывавшиеся в глуповатой, но радостной и невинной, как у младенца, улыбке. Той же невинностью, простодушием и радостью светились его продолговатые, серебристо-голубые глаза. Именно такое сочетание чуть ли не младенческой не-

винности и простодушия с грубым красным цветом лица и обилием огненно-рыжих волос придавало этой голове, сидящей на грузном и очень мускулистом теле, странный и смешной вид. Одет он был в короткую сермяжную куртку и высокие порыжелые сапоги. За широкой спиной этого огромного, простодушно смеющегося парня торчали два длинных удилица, обмотанных толстой веревкой.

— Юлек? Ты что? — воскликнул Витольд, и его сумрачное лицо мгновенно просветлело. Но парень не отвечал и только делал ему тайнственные знаки головой и руками. Витольд в два прыжка очутился рядом с ним.

— Коли желаете ехать сегодня за пескарями, — глухо зашептал Юлек, — так прошу не мешкать, а то к вечеру, пожалуй, дождь соберется.

— Ладно, ладно! А что это ты говоришь шепотом и за стену прячешься?

Рыжий парень втянул голову в плечи и, смущенно поеживаясь, снова зашептал:

— А как же? Я ведь тут шесть лет не был. Почему я знаю, а вдруг на меня тут кто гневается.

— А отчего ты без шапки?

— В панской-то усадьбе... да разве можно?

— Изволь сейчас же надеть шапку и говори громко, — приказал Витольд: его, как видно, что-то снова кольнуло в сердце.

Однако, заметив удочки, он повернулся к дому и крикнул:

— Марс! Марс!

Из кухни — они стояли недалеко от нее — выскочил большой черный пойнтер.

— Пойдем!

— Пойдем! — уже громко повторил парень в сермяге, проворно нахлобучивая на свою косматую голову старую шапку.

Войдя в садовую калитку, они побежали мимо вековых кленов, длинной стеной протянувшихся по самому краю высокой горы, и начали быстро спускаться к Неману. Марс скакал впереди.

— А где же Саргас? — спросил Витольд.

— Ха-ха-ха! Лодку стережет, — засмеялся его товарищ.

— А дома у вас все здоровы?

— Здоровы, слава богу!

— Вот уже дней пять, как я не был у вас в поселке...

— Мы и то говорили, что, может, вы перестанете к нам ходить, может, вам отец запретил...

— Мне никто не может запретить ходить к вам и быть вашим другом, — вскипел Витольд.

Но теперь ему не хотелось сердиться. День был такой тихий, солнечный и знойный. Неман так весело катил у подножья высокой горы свои голубые волны... Сейчас они сядут в лодку, чтобы выплыть на середину реки, закинуть удочки и не столько, быть может, следить за перышком, которое качается на тронутой золотом глади и вдруг испуганно вздрагивает, выдавая присутствие рыбки, сколько любоваться этим чудесным маленьким уголком земного шара, который ему, Витольду, всего на свете милей и краше. Он будет вдыхать полной грудью свежий речной воздух и весело болтать со своим другом, с которым столько раз в жизни, еще ребенком и позже, сбегал с горы и садился в лодку... А вот и лодка стоит у берега, и в ней, как статуэтка из черного мрамора, сидит, не шелохнется черный мохнатый сторож Саргас! Безмятежным детским весельем озарилось и умное, тонкое, уже усталое лицо Витольда Корчинского и толстая, красная, рыжебородая физиономия Юлька Богатыровича. Они дружно ударили веслами, и лодка закачалась на лазурных волнах, а две черные собаки — дворняжка и легаш, — сидя против своих хозяев, такими же веселыми глазами следили за низко кружившейся над водою мошкаррой и бабочками и за пчелами, нагруженными своею золотою ношей...

А в это время гостиную Корчинских наполняли звуки скрипки и фортепиано. Пани Эмилия, побывав в своем воображении целый час в Египте и скушав после этого несколько ложек бульона, почувствовала себя снова такой больной и жалкой, что потребовала какого-нибудь развлечения, которое принесло бы ей душевную отраду. В таких случаях она находила ее иногда в музыке Ожельского. Обрадованный пригла-

шением, которое было передано ему через Тересу, старик с помощью дочери быстро оделся, сошел вниз и теперь с наслаждением разыгрывал одну за другой длинные и сложные вещи. Юстына аккомпанировала ему, как всегда, чисто, отчетливо, но холодно и почти машинально. Так прошел целый час.

Ожельский, неутомимый, восторженный, устремив свои мечтательные глаза на густую зелень сада, преображался, лицо его становилось одухотвореннее, он приподнимался на цыпочках, как будто хотел унестишься ввысь. Юстына, наоборот, становилась все бледней; лицо каменело, глаза гасли, она даже несколько раз громко зевнула, чего Ожельский в своем экстазе не заметил. Закончив четвертую или пятую вещь необычайно трудными и мастерски исполненными пассажами, он приложил кончик смычка к блаженно улыбающимся губам и причмокнул.

— Прелесть что за ноктюрн! Правда, Юстына? А теперь не сыграть ли нам рапсодию, а?

Приставив скрипку к пухлому подбородку, он округленным движением взмахнул смычком и уже готовился провести им по струнам, а Юстына, покорно опустив глаза, положила руки на клавиши, как на пороге гостиной появилась Марта. Не обращая внимания на домашний концерт, она объявила, что обед будет подан, когда вернется Бенедикт, а для тех, кто проголодался, приготовлен завтрак.

При слове «завтрак» Ожельский точно проснулся. Опустив смычок на струны, он посмотрел осоловелыми глазами вслед удалявшейся Марте, затем осторожно, с нежностью заботливой нянюшки, уложил скрипку в продолговатый футляр и с улыбкой, не менее блаженной, чем прежде, забормотал:

— Завтрак... О, завтрак — это хорошо! Утром, за кофе, я съел только два сухаря!.. Если б панна Марта приказала подать сыру с тмином и кусочек ветчины... а то бифштекс у нас делают не того...

С этими словами он выпрямился, выпятил круглое брюшко и, счастливо улыбаясь, засеменял в столовую. Минуту спустя он уже сидел за столом и, повязавшись салфеткой, с той же тщательностью, с какой разыгры-

вал на скрипке пассажи и трели, намазывал ветчину горчицей и поливал прованским маслом.

Юстына осталась за фортепиано. Странное дело! Исполняя аккомпанемент к трудным и сложным пьесам, она делала это, повидимому, по обязанности и думала о чем-то другом, а теперь, склонившись над клавиатурой, с интересом подыскивала аккорды к мотиву, который, вероятно, звучал в ее душе. Девушка задумалась и не спускала глаз с клавиатуры, точно стараясь разрешить вопрос, который так же упорно преследовал ее, как упорно не давался аккомпанемент к знакомому мотиву. Наконец ей удалось подыскать несколько аккордов и она тихо запела:

Дерево на землю желтый лист роняет,
На могиле пташка поет-распевает...

На загорелых щеках Юстыны мало-помалу снова заиграл румянец, глаза оживились.

Вдруг она вскочила со стула, но снова села. Со двора послышался стук колес и вывел ее из задумчивости, прервав напев, принесенный с поля вместе с охапкой полевых цветов. Минуту спустя из прихожей донесся голос Кирло, который, как ни странно, на этот раз не только не пошутил над сидевшим против открытых дверей Ожельским, но даже издали весьма учтиво ему поклонился. В гостиную Кирло вошел со шляпой в руках; похожая на щит, туго накрахмаленная грудь его безукоризненно белой рубашки резко выделялась на тонком сукне черного сюртука. При виде Юстыны он не подскочил к ней с насмешливой любезностью, как часто бывало прежде, но приблизился с выражением достоинства и серьезности и сердечно протянул ей костлявую, но белую холеную руку. Она холодно подала свою, и он с глубоким поклоном запечатлел на ней почетительный поцелуй.

— Поздравляю вас, — без всякой тени насмешки проговорил он, — поздравляю от души и прошу вас верить, что никто не может более горячо желать вам счастья и быть более искренним вашим другом, чем я.

В голосе его звучало трогательное волнение, а маленькие юркие глаза блеснули слезой. Юстына не-

брежно пожала плечами. Всю эту серьезность поздравления, все эти уверения она приняла за новую шутку веселого соседа.

— Можно доложить тете о вашем приезде? — равнодушно спросила она.

— Если будете так любезны, если будете так любезны, — робко ответил Кирло.

Вытянувшись неподвижно на кровати и закрыв глаза, пани Эмилия слушала музыку, и порою из-под ее длинных ресниц скатывалась на бледные щеки слеза. Тереса, утомленная бессонной ночью и уходом за больной, сидя в кресле, ежеминутно засыпала и вдруг вскакивала в тревоге, не проспала ли она чего-нибудь? Леоня в уголке, при слабом свете дня, проникавшем сквозь опущенную занавеску, усердно вышивала обещанные Марте туфли. Время от времени она зевала во весь рот или, соскучившись, недовольно кривила свои бледные губки.

Весть о приезде пана Кирло внесла в эту полутемную душную комнату неожиданное оживление. Пани Эмилия довольно бодро приподнялась на постели и с улыбкой, сразу освежившей ее усталое лицо, объявила, что чувствует себя гораздо лучше, сейчас встанет и выйдет в будуар. Тереса бросилась радостно осыпать поцелуями ее руки и заметалась от постели к туалету и обратно, что, впрочем, не мешало ей самой то и дело заглядывать в зеркало.

Кирло около часа просидел в гостиной один, и все это время пани Эмилия, в присутствии Тересы и горничной, провела за туалетом, открывая и закрывая какие-то коробочки и флаконы и время от времени прерывая свое занятие, чтобы отдохнуть.

Когда, наконец, пани Эмилия встала из-за туалета и вышла в будуар навстречу гостю, походка у нее была еще медленная и слегка неуверенная, но в туалете и на лице не было почти никаких следов только что испытанных страданий. Однако ни болезнь, ни выздоровление не было притворством, — эти перемены происходили в ней помимо ее воли и всецело зависели от впечатлений, так или иначе влиявших на ее нервы.

С паном Кирло ее связывали особые отношения: это был ее друг, поклонник, поверенный. Она всегда думала о нем, как о единственном человеке, который понимал ее и делал все возможное, чтобы помочь ей сносить бремя грустной жизни. В глубине души она была даже убеждена, что Кирло давно, постоянно и искренне любит ее... Не удивительно, что теперь его приезд пробудил в пани Эмилии ту же силу, которая помогла ей несколько недель назад принять так много гостей и даже легко сбежать со ступенек лестницы, по которой обычно ее сносили на руках. У нее всегда было чем поделиться с паном Кирло, и она знала, что он всегда утешит ее, успокоит, развеселит, шепнет что-нибудь приятное, растрогает каким-нибудь проявлением теплого чувства.

Вот и сейчас, здороваясь, он просто умилил ее выражением искреннего сочувствия по поводу ее болезни, а потом заставил смеяться, гоняясь за Тересой по комнатам, чтобы непременно поцеловать ее сегодня. Наконец, когда пани Эмилия удобно расположилась на мягкой пунцовой кушетке, Кирло с нарочитой важностью сообщил, что привез интересную, в особенности для панны Тересы, новость.

Обе женщины, сгорая от нетерпения, уставились на него, а он с приличествующей обстоятельствам мимикой рассказывал, что прибыл из Воловщины, владеец которой, пан Теофиль Ружиц, влюблен по уши в панну Тересу; что не дальше как сегодня он, Ружиц, так восхищался прекрасной фигурой, глазами, скромностью и добротой панны Тересы, что, весьма возможно, и не посмотрит на разницу их положения — имущественного и прочего — и всерьез о ней подумает. Он сегодня же намерен приехать в Корчин, о чем Кирло и поспешил предуведомить хозяйку.

Губы пани Эмилии дрожали от сдерживаемой улыбки, а Тереса то краснела, то бледнела; мускулы ее лица нервно вздрагивали, а глаза наполнялись слезами. И смеясь и плача, она бросилась к ногам пани Эмилии и, поцеловав ее колени, убежала из комнаты еще более мелкими, чем всегда, шажками. Как безумная, пронеслась она через гостиную и прихожую, встретясь с ла-

кеем, срывающимся голосом спросила его о панне Марте и, узнав, что та у себя, как ветер взбежала по лестнице и влетела к ней в комнату.

— Пани, милая, золотая, дорогая! Одолжите мне на сегодня ваши лиловые бантики! — простонала она, обнимая Марту.

— Тыфу ты, пропасть, перепугала даже! Разве можно так врывать в комнату? — рассердилась Марта. — А на что тебе бантики? Конечно, я дам, но почему именно сегодня?

— Нужно, нужно. Они, кажется, мне к лицу. Пан Ожельский и пан Кирло говорили, что...

— Не новый ли жених придет? — роясь в комоде, спросила Марта.

— Может быть, и придет! — лукаво подмигивая и вертя головой, ответила Тереса.

Когда, наконец, два шелковых лоскутка очутились у нее в руках, она побежала к висевшему на стене зеркальцу и принялась прикалывать их к волосам и лифу. Затем по-новому уложила косу и отогнула у ворота лиф, стараясь как можно больше открыть свою и в самом деле необыкновенно красивую шею. Ее голова, украшенная безобразной порыжелой косой, и измятое, словно увядшая роза, личико производили особенно жалкое впечатление на этой стройной, свежей и белой шее. Марта, давно знавшая причуды своей приятельницы и к тому же поглощенная подсчитыванием сдаваемого сегодня в стирку столового белья, не обращала внимания на Тересу, которая, жеманясь, прихорашивалась перед зеркалом. Но и сама Тереса вдруг перестала кокетничать и улыбаться и, опустив маленькие, худые руки на стол, задумалась. Выражение тихой радости и бесконечной благодарности озарило ее лицо, и оно как-то похорошело. Теперь это было лицо доброго и кроткого существа, вполне довольного людьми и своей судьбой. Казалось, девушка горячо молилась в душе. Да и как же могло быть иначе? Еще вчера она мечтала об оливковом феллахе, а сегодня узнала, что ее любит (или по крайней мере близок к этому) европеец — молодой, изящный, очаровательный. О том, что он был к тому же богат, Тереса вовсе не думала. Любви ей

нужно было, любви, любви! Она бросилась к сидевшей в углу Марте, схватила ее грубую руку и поднесла к своим губам.

— Дорогая моя, милая! — шептала она. — Если бог смилуется надо мной и пошлет мне счастья, я никогда о вас и о вашем доме не забуду, я сохраню к вам вечную благодарность за то, что вы приютили меня, одинокую, слабую...

— Что с тобой, Тереса, белены, что ли, объелась? — буркнула Марта. Но тут же ласково провела рукой по прильнувшему к ней лицу, по этому счастливому, покрасневшему, но — увы! — такому жалкому-жалкому лицу. — Ну, ну, довольно! — ласково сказала она. — Я знаю, что ты добрая девушка, только голова у тебя дурью набита.

Тридцатипятилетняя девушка вскочила с пола, захихикала, кокетливо кивнула головой и, напевая какой-то веселенький вальс, мелкими шажками выпорхнула из комнаты.

В будуаре пани Эмилии после ухода Тересы раздался громкий веселый смех.

— Поверила! — покатывался со смеху Кирло.

— Поверила! — смеясь, вторила пани Эмилия.

Ее забавляли легкоеверие и наивность Тересы, однако она стала журить пана Кирло за то, что он так подшутил над ее подругой.

— Она очень добра ко мне... так нежно ухаживает за мной... Это — единственное существо, которое любит меня.

— Единственное! — с укоризной повторил Кирло.

Ручка пани Эмилии очутилась в его костлявой руке. На лице женщины выступил бледный румянец. Она опустила глаза и, краснея, прошептала несколько слов о своем бедном сердце и грустной-грустной жизни. Признание, с одной стороны, и выражение горячего сочувствия и преданности — с другой, длились несколько минут, после чего Кирло, как будто пробуждаясь от обаяния своей соседки, со вздохом заявил, что новость он все-таки привез, и очень важную. Для пани Эмилии всякая новость была истинным благодеянием, и она нетерпеливо начала расспрашивать Кирло. Но, видно, эта

новость была так серьезна, что Кирло потерял охоту не только шутить, но и ухаживать. Приняв важный вид, он объявил, что все сказанное им о Тересе относится в действительности к Юстыне, что Ружиц, происходящий из старинного рода, обладатель вовсе еще ие дурного состояния, очень заинтересован панной Ожельской; что сначала он смеялся, когда ему советовали жениться, а теперь начинает призадумываться, и — кто знает? — не выйдет ли из этого чего-нибудь... Кто знает, не устроит ли он действительно престранный сюрприз и не вздумает ли рано или поздно посвататься к ней.

— В глубине души, — продолжал Кирло, — это разочарованный человек, оплакивающий свое расстроенное здоровье, состояние и жизнь. Может быть, он, как утопающий за соломинку, ухватился за мысль соединиться с особой, которая ему очень нравится. Сам он, наверное, никогда бы до этого не додумался, но моя жена — он ее обожает — прилагает все усилия, чтобы склонить его к такому шагу, а вы знаете, что *ске ла фам ве...*

— *Ce que la femme veut...* — поправила пани Эмилия.

— Вот то-то и есть!.. Да еще такая фам, как моя Марыня! Вы и вообразить себе не можете, какая это энергичная баба! Вчера она была в Воловщине, долго разговаривала с Ружицем и возвратилась домой такая счастливая, как будто клад по дороге нашла... Я узнал от нее, что дело со сватовством почти налажено.

По виду, с которым говорил Кирло, и по его тону можно было заключить, что это дело он считал очень важным как для себя, так и для Корчинских, но прежде всего для Юстыны, к которой проникся таким уважением, что, произнося теперь ее имя, невольно склонял голову. Сначала мысль об этом неравном браке не укладывалась в голове пани Эмилии, но потом самая возможность столь необычайного события привела ее в неопикуемый восторг. Для Юстыны это было бы величайшим и совершенно неожиданным счастьем. Но не эта сторона дела занимала пани Эмилию. Главный интерес заключался для нее в величии, силе и пылкости чувства, которое могло склонить Ружица к такому решению.

— О боже! Как счастлива женщина, познавшая подобную любовь, — любовь, которая ломает и толкает все преграды, которой ничто противопоставить не может, которая... для которой... Отчего не каждой дана возможность встретить на своем жизненном пути такое сердце, такую страсть, такое самопожертвование?..

Долго еще фантазируя на эту тему, она забилась о легкой, как мотылек, девочке, которая, услышав все через отворенные двери спальни, нырнула на пол кусок канвы с вышитой розой и побежала на цыпочках в дальний конец дома. Минуту спустя тоненький голосок Леони раздавался уже в комнате Марты и Юстыны, где она, оживленно жестикулируя, с блестящими глазами, рассказывала услышанную новость.

Немного позже в той же комнате на одной из кроватей лежала заплаканная Тереса с помятыми бантами на голове, крепко прижимаясь к подушке, как прижимается больной ребенок к груди матери или няньки. Благодарственные молитвы и веселые вальсы были от нее далеко-далеко. Время от времени она повторяла сквозь слезы:

— Что я ей сделала? За что она позволяет так шутить надо мной?

Потом, жалобно вздохнув, продолжала:

— Я ее так люблю... а она совсем не жалеет меня!.. — И она снова заплакала и, всхлипывая, говорила: — И правы ли они, что смеются надо мной? Неужели же я так стара и страшна?.. Мне всего двадцать девять лет... и неужели я не могу поверить, что кто-то влюбился в меня...

Немного успокоившись, она повторила вздыхая:

— Я ее так люблю, так люблю, а она смеется надо мной! Боже мой, как у меня голова болит.

Она вскочила и села на постели.

— О господи! Да ведь я ей лекарства не дала! Который час, Юстына? Наверное, уже давно пора, а она заболталась и не приняла. Пан Кирло такой милый... Она как заговорится с ним, так и про лекарство забудет... Который час, Юстына? Побегу, дам ей микстуры, а то опять еще спазмы начнутся... Ах, бедняжка! И как это я про нее не вспомнила, боже мой!

Желтая, с заплаканным лицом, она дрожащими руками поправила на голове косу и бант и стала машинально расправлять ворот лифа, чтобы больше открыть свою белую, стройную шею. Потом, хватаясь за больную голову, браня себя и охая над тем, что забыла про свою больную, выбежала из комнаты. Марта поднялась и посмотрела на Юстыну.

— Ну, — сказала она, — поздравляю! Тебе повезло. Этот Ружиц, должно быть, порядочный человек, если и вправду думает жениться на такой бедной девушке. Ну, будь счастлива, поздравляю...

По ее прояснившемуся лицу видно было, что она действительно рада. Впрочем, это не помешало ей насмешливо добавить:

— Только не вешай нос и не кисни, а благодари бога, потому что, если Ружиц возьмет тебя замуж, ты будешь избавлена от удовольствия превратиться в холеру, как я, или тоскующую горлинку, как Тереса.

С этими словами она вышла из комнаты. Юстына, сидя у открытого окна, чинила свое старое платье. Она давно приучила себя делать все самой и избегала посторонних услуг и забот о себе. Но теперь игла выпала у нее из рук. Лучше чем кто-либо знала она, что в новости, привезенной паном Кирло, много правды. В последние приезды Ружица она замечала в нем ту особенную почтительность и пристальное внимание, с какими мужчина подходит к женщине, если его намерения серьезны. Не будет ничего удивительного, если золотой плод сказочного дерева упадет к ее ногам. Но, думая об этом, она вовсе не чувствовала себя счастливой. Она сидела бледная, с неподвижным, сумрачным лицом и казалась гораздо старше своих лет. В ее глазах застыл какой-то мучительный вопрос. Был ли это вопрос к собственному сердцу, относился ли он к прошедшему или будущему? Порою Юстына вспыхивала и опускала глаза, словно в голову ей приходили дурные мысли; может быть, она стыдилась перед самой собой, что еще колеблется и раздумывает. Случайно взгляд ее упал на лежащую на столе небольшую книжку в изящном переплете с инициалами З. К. Вчера эту книгу вместе с письмом привез ей посланный из

Осовец. Юстына придвинула ее к себе и достала оттуда надушенный листок. Это было письмо:

«Ты разлюбила музыку, Юстына, но, может быть, еще верна поэзии? Любишь ты что-нибудь или кого-нибудь? Что случилось с той, которую я называл когда-то своим вдохновением, своим ясным солнышком? Какие прекрасные порывы и мечты волновали тогда тебя, Юстына! Теперь ты холодна и рассудительна, ты примирилась с пошлостью жизни и считаешься с требованиями света, и я спрашиваю себя: что случилось с той, прежней? И вот я хочу увидеть ее такой, какой она сохранилась в моей памяти... Возьми эту книжку, уйди в грабовую аллею, перелистай ее и вспомни прошлое. Быть может, я хоть на миг воскресну в твоей памяти и твое сердце смягчится; может, ты захочешь, чтобы наши глаза снова вместе пробегали эти страницы... Ты помнишь, Юстына, помнишь? Позволь мне когда-нибудь подольше остаться с тобой наедине! Я объясню тебе тайну моей разбитой жизни, и ты поймешь, что никто не может разлучить наши сердца. О, не бойся! Я жажду только твоей души и никогда не перестану и стремиться к ней и верить, что она принадлежит мне. О, если бы ты знала, как глубоко, безнадежно я несчастлив!

Зыгмунт».

Помнила ли она? Сильным, почти одуряющим ароматом воспоминаний пахнуло от этого маленького томика, который они, сидя, бывало, в аллее старых грабов и склонившись друг к другу, держали вместе, как будто тяжесть его требовала напряжения их общих сил. Помнила ли она? Каждая строфа, каждое слово этой книжки звучали для нее, как труба архангела для усопших. Взгляд ее упал на две строчки, подчеркнутые синим карандашом:

*Je viens de m'incliner, madame, devant vous,
Mon orgueil tout entier est encore à genoux¹.*

¹ Сударыня, я склоняюсь перед вами, вся моя гордость еще на коленях (*франц.*).

Глаза Юстыны наполнились слезами, и две теплые капли скатились на открытую книгу. Она мысленно увидела его перед собой на коленях. Сломив гордость, он поведал тайну своей жизни и их разлуки.

Юстына перевернула несколько страниц и прочла:

Aimer, c'est douler d'un autre et de soi-même,
C'est se voir tour à tour dédaigné et trahi...¹

На этот раз в ее сердце зазвучала другая струна, не та, которую заставляли звучать воспоминания. Слезы ее высохли, она подняла голову и задумалась. Нет, нет! Любить — это не значит сомневаться в себе и другом, чувствовать, что тобой пренебрегли и изменили тебе, любить — это не значит бесчестить себя и лгать! Любить — это верить и видеть сердце друга, как в чистом зеркале, вместе идти прямой и светлой дорогой и, окончив свой путь, лечь под одним камнем, на котором будет начертано рядом два имени, которых не разлучили ни искушения жизни, ни предрассудки...

— Ян и Цецилия!

Юстына вслух произнесла эти имена, затем порывисто захлопнула книжку Мюссе² и встала с места. Все на свете умеет говорить, и каждый запах имеет свой голос. Большой букет полевых цветов в простом глиняном кувшине наполнял благоуханием всю комнату. Юстына начала разбирать перепутавшиеся цветы и растения. В это утро Бенедикт Корчинский, испуганный и огорченный болезнью жены, послал Юстыну в поле спросить у старосты, сколько жнецов вышло на работу. Это поручение можно было исполнить в пятнадцать минут, а она вернулась спустя два часа, так как собирала на межах разные растения. Юстына любила полевые цветы и травы, но прежде она не знала их названий. Теперь она могла назвать каждое по имени, знала, в какую пору оно расцветает и когда исчезает с лица земли, которую украшало.

¹ Любить — значит сомневаться в себе самом и другом; видеть, что тебя то презирают, то изменяют тебе (*франц.*).

² Мюссе Альфред (1810—1857) — французский поэт-романтик.

Можно ли было предположить, чтобы этот рослый и складный парень с голубыми, как бирюза, глазами, который в это время вязал пшеницу, мог чему-нибудь научить Юстыну? Однако он научил ее. Идя вдоль межи и набирая букет, похожий на пестрый веник, они все время разговаривали, но говорили не о себе, а о природе, которая казалась в это утро такой доброй к ним — ее свободным и счастливым детям.

Юстына запомнила все, что рассказал ей Ян Богатырович. Этот тонкий стебелек со множеством треугольных, искусно вырезанных висюлек, — трясушка, дотропись до нее рукой — и она сразу сожмется, точно пугливое существо. А это кукушкин лен, жесткий и колючий, с голубыми цветами; милая весенняя птичка устилает им свое гнездышко. Есть здесь и шелестушка с почти золотыми листьями, которые при малейшем прикосновении что-то таинственно шепчут, есть и украшенная роскошным белым цветком ядовитая ветка демьянки. Это — красный лист увядающей душицы, которая так резко выделяется на зеленой траве своим кровавым цветом. А вот эта веточка, осыпанная мелкими розовыми цветочками, — «счастье». Называется она счастьем потому, что девушки по ней гадают. Расцветет она, вплетенная в девичью косу, — значит милый и вправду любит. А разве взаимная любовь — не есть счастье?

Улыбаясь этим мыслям, Юстына вынула из букета веточку счастья и вплела ее в черную косу. Потом взяла лежавший на столе тонкий, пахнущий духами листок бумаги и стала у открытого окна. Он долго шептал ей что-то, словно золотая веточка шелестушки. Наконец Юстына медленно, в раздумье — кто знает, что творилось в эти минуты в ее сердце, — разорвала листок на мелкие кусочки и бросила их за окно. Они рассыпались и исчезли в потоке солнечного света...

Как гибкий стебелек полевого цветка в ее черных косах, трепетала на устах ее тихая песня:

Дерево на землю желтый лист роняет,
На могиле штаника поет-распевает...

Во время жатвы вся приеманская равнина казалась золотистым ковром, по которому сновали тысячи маленьких подвижных существ. Настоящий цвет земли проступал лишь кое-где на дорогах, поросших редкой травой, да на клочках поля, делянках, вспаханных под озимь. Все остальное пространство — от поросших деревьями холмов, до высокого песчаного берега — было залито золотисто-желтой лавой созревшего хлеба и пестрело такими же золотисто-желтыми впадинами жнивья. В этих-то впадинах, которые все росли, ширились и покрывались золотистыми бугорками снопов, и копошились маленькие существа, пригнувшись к самой земле. Такими казались они всякому, стоящему тут же на поле, потому что они были рассеяны на огромном пространстве и ползали у самой земли, но тому, кто смотрел бы на них с горы, с подоблачной выси, они представились бы совсем иначе. Эти маленькие существа показались бы толпой скульпторов, украшающих праздничную площадь золотыми изваяниями. Это им была она обязана своим золотым цветом; это их руки в ненастные дни осени и весны месили чудодейственный воск для того, чтобы он, растаяв под жгучими лучами солнца, разлился золотою волной, которая живоотною влагой перельется в кровь человечества. Голубой свод обдавал горячим ливнем их согнутые спины, знойное дыхание солнца покрывало их лица каплями пота, который орошал землю словно благодатным дождем. Видимые снизу, они казались ползающими по земле ничтожными букашками, но сверху представлялись художниками, великими мастерами, подготовляющими землю к принятию оплодотворяющего лобзания солнца.

Среди просторов полей, отделенных узкой дорогой от поселка Богатыровичей, жнецы казались роем не только без усталости снующих, но и разноцветных существ. Словно некий художник беспорядочно разбросал по золотисто-желтому фону мазки всевозможных

красок. Однако преобладал белый и розовый цвет — это были белоснежные рубашки мужчин и яркорозовые кофточки женщин.

Еще за две недели до жатвы в Богатыровичах только и делали, что стирали и шили. К этим старинным дням готовились как к великому празднику. Все население поселка одновременно выедет в поле, каждый очутится на людях, а потому все были озабочены, чтобы одеться поприличнее и даже с некоторым щегольством. Женщины дольше, чем обычно, проводили время на берегу реки, неспешно колотя вальками, затем доставляли белье дома, пока рубахи отцов и братьев не становились белее снега. Отпирались заветные сундуки, и на свет божий появлялись самые новые и самые красивые юбки из домотканного холста и шерсти. Женщины шили новые кофточки, и совсем бедной считалась та, которая, как жена Владыслава из хатки под дубом, не надевала в это время на палец медного наперстка и не кроила чего-нибудь из лилового, голубого или розового ситца. Был беден и тот, кто, как Владыслав, говоривший по-мужицки, хоть и зачесывал назад белокурую гриву над высоким лбом, но не мог справиться себе высоких сапог с голенищами до колен и черных штанов с помочами, которые, перекрещиваясь на рубахе, подчеркивали ее снежную белизну.

Зато молодой Михал, первый в поселке щеголь, с подстриженной клинышком бородкой и лихо подкрученными усами, разделся в канифас канареечного цвета, и в франтовском картузике и новых блестящих сапогах стоял, подбоченясь, на пустой телеге, которую чуть ли не галопом мчала в поле пара сытых лошадок. На повороте он попридержал их, чтобы разминуться с доверху нагруженной снопами телегой Яна, который, держа в руках вожжи, сидел на самом верху ее и таком же новом картузе и в темных помочах поверх белоснежной рубашки.

— Мать пришла на подмогу? — громко спросил его этот деревенский лев.

— Как же, пришла.

— Счастливому и бог помогает. А бог ко мне никак не пришел. Хоть бы наша Антонина темного подручила.

— Это еще с какой стати? — обиделся Ян.

— Плохо жить холостому! Нет женщины в доме, и человек как без рук. Ну, да я нанял трех поденщиц, жнут — только ветер свистит да душа радуется.

— Эй, с дороги! — раздался за телегой Яна сердитый голос. — Стали на перекрестке языки чесать! Экие графы!

Это кричал сын Фабнана, плотный, рыжеволосый, вечно хмурый Адам. Дальше виднелись еще две телеги: за одной, запряженной жалкой лошадежкой, шел босой, в холщовой одежде Владыслав, в другой — пустой — стояла высокая сильная девушка в розовой кофточке с разгоревшимся лицом и перекинутой на плечо толстой каштановой косой.

— Добрый день, панна Домунтувна! — сняв картузик, любезно раскланялся с ней Михал, объезжая ее телегу.

Девушка сдвинула соболиные брови и громко рассмеялась:

— Боже мой! Да это пан Михал, а я издали подумала, что иволга на телеге сидит!

И, хлестнув крепких лошадей, она с ловкостью, которой позавидовал бы не один мужчина, пустилась обгонять телегу Яна. Но Ян поторопился въехать в ворота своей усадьбы и медленно покатиł по белевшей клевером дороге к домику под грушей-сапежанкой.

В то время как на дороге громыхали колеса и раздавались громкие голоса, а подчас и крики (когда, встречаясь или обгоняя друг друга, телеги не могли разминуться, образуя затор), на поля, где копошились жнецы, вместе с палящими лучами солнца и зноем спустилась глубокая тишина. Кучки жнецов, неравномерно рассеянные по всему пространству, медленно, но неустанно, подвигались вперед в разных направлениях. Одни шли от хутора к холмам, другие от холмов к корчипской усадьбе или к песчаному устью оврага Яна и Цецилии. Лишь изредка раздавался над полями взрыв молодого смеха, громкий оклик по имени, крик вспугнутой стайки воробьев, и не переставая сверкали стальными молниями серпы. Снова возвращались порожные телеги, запряженные одной или парой лошадей, и, свер-

нув с дороги, почти бесшумно катились по жнивью, останавливаясь у высокой стены еще не снятого хлеба; а вокруг жужжали пчелы и шмели, где-то тревожно чирикала испуганная птица, и повсюду, во всю ширь полей, разносился сухой неумолчный шелест: то ложились наземь сжатые колосья.

Часа за два до захода солнца Ян, стоя на пустой телеге, чуть ли не в десятый раз сворачивал с дороги на широкое и длинное жнивье, где работало несколько семейств. Худая, болезненная жена Фабиана, в туго накрахмаленном платке, прикрывавшем голову и часть лица, неумоимо махала серпом рядом с дочкой — толстой приземистой Эльжусей в яркорозовой кофте и в венке из полевых маков, торчавших во все стороны над ее лбом, таким же красным, как и цветы. За ними жали два подростка, а рядом — большой, плечистый рыжеволосый парень, с красным лицом и белоснежными зубами, открытыми в добродушной, простоватой улыбке, вязал снопы и, укладывая их в десятки, помогал своему младшему, тоже плечистому и сильному брату грузить на телегу. Все это он делал медленно, лениво, точно сонный. За ним ходила, как тень, черная лохматая дворняжка. Хозяин и собака часто потягивались и зевали. По временам собака поднимала морду и заглядывала хозяину в глаза, и тот смеялся, сверкая ослепительно белыми зубами.

— Что, Саргас? Не пойти ли нам на Неман? На Немане лучше. Ха-ха-ха!

Собака потягивалась и поворачивала голову в сторону Немана.

— Юлек! — раздавался голос вечно сердитого Адама, — задремал, что ли? Снопы подавай, граф!

— Юлек! — громко кричала Эльжуса, — ты что, спать лег? Отлично, лежи, а хлеб пусть гниет на земле!

Тогда рыжий парень, который и в самом деле растянулся было во всю длину на жнивье и лениво гладил длинную шерсть Саргаса, вставал, потягивался и снова принимался вязать снопы.

Дальше через каждые десять, двадцать полосок розовели и голубели женские кофты, огнем горели цветастые платки или вплетенные в косы желтые и алые

цветы. У одной полосы еще не убранного хлеба проворно управлялись поденщицы Домунтувны, да и у нее самой — жала ли она, или свозила домой горы снопов — работа так и кипела.

На другом краю поля, в глубокой впадине жнивья, вдали ото всех, уныло бродили двое бедных, одиноких людей: мужчина — босой, в грубой серой рубаше, и женщина — в темном старом платье и поношенном платке. Тут же стояла телега, запряженная измученной лошаденкой, а возле телеги лежал завернутый в тряпки двухмесячный ребенок. Никто не помогал им; проходившие мимо со снопом или серпом даже не заговаривали с ними. Это и был самый бедный из всех Богатыровичей, хозяин курной избушки, и его жена — крестьянка.

Все эти люди работали здесь вместе не потому, что засеянное поле представляло общую собственность, — нет, но отдельные владения были перепутаны самым невозможным образом, не понятным ни для кого, кроме самих владельцев. Ни у кого не было твердо отмежеванной цельной делянки, непосредственно примыкавшей к его дому; участки, принадлежавшие множеству лиц, делились случайно и были разбросаны где попало. С течением времени они еще больше дробились, и эти мелкие клочки были раскиданы по всему полю. Конечно, всякий знал, где искать свой клочок, но должен был переходить с одного на другой и с плугом, и с косой, и с серпом.

В этом месте участок Яна и Анзельма находился рядом с тем, на котором жало семейство Фабиана. На поле Анзельма работали только две жницы: молоденькая стройная девушка, нежное лицо которой даже после целого дня тяжелой, изнурительной работы покрылось лишь слабым румянцем и мелкими капельками пота, и крепкая, мускулистая, прямая, как свеча, женщина лет пятидесяти.

Впрочем, то, что ей было пятьдесят лет, доказывали лишь глубокие морщины на лбу и темная кожа лица, потому что энергические и даже немного нервные движения, блеск маленьких карих глаз и белизна зубов, то и дело сверкавших между увядшими губами, прида-

вали ей очень моложавый вид. Жала она быстро и ловко, захватывая колосья полной горстью и ровно срезая их у самого корня. И всякий раз, выпрямляясь и откидываясь назад, чтобы подкинуть охапку к лежащему за ней снопу, она обращалась к кому-нибудь с игривой шуткой, со смехом или лукавым взглядом и взмахивала серпом, бросавшим в воздух веселые и частые молнии. В белой рубашке, поверх которой был завязан крест-накрест пестрый платок, в короткой юбке в красную и синюю полоску и в белом ситцевом чепчике на седеющих волосах, она была самой веселой, самой живой и разговорчивой из всех жниц, хотя и самой старшей. Женщины и девушки огрызались, а иной раз и обижались, когда она одну корила за то, что медленно жнет, и предлагала с ней состязаться, другой колола глаза ухажором, который женился, а третьей намекала насчет свадьбы, что должны были сыграть после уборки хлеба. Парни смеялись над ней, спрашивая о здоровье ее третьего мужа и сколько еще раз она собирается выйти замуж.

Теперь она стояла перед кем-то, сидевшим на снопах, и громко рассуждала:

— Знаете, паненка, как узнают дурака? По его смеху. Надо мной подтрунивают, что у меня третий муж. Вот еще! Чем я виновата, что бог отнимал у меня спутников жизни, а у меня такая природа, что я не могу обойтись без любви. Когда с Ежи, отцом Янка, эта беда стряслась... — она махнула рукой в сторону занеманского леса, — то не прошло и двух лет, как я вышла за Ясмонта. Люди разное болтали: «Пустая, мол, бабенка, так скоро забыла покойника!» Ну, и ладно! Вы свое знаете, а я свое. Какая мертвым корысть, коли живые живут да горюют? Умершим дай бог царствие небесное, а мы еще поживем в свое удовольствие. Одно заходит, другое восходит, а от печали, как от козла, ни шерсти ни молока!

Она громко расхохоталась и продолжала:

— Вот и вы, паненка, смеетесь. Отлично! А я как перед богом говорю. По-моему, на свете только и есть хорошего, что любовь да верный друг. Такая уж я уродилась. Ясмонта, отца Антольки, отнял у меня господь.

Десять лет я с ним прожила. И убивалась я по нем, как по первом муже, но прошел год — и встретился мне Стажинский из Стажин. Опять людям на язык попала. Ладно! Вы свое знаете, а я свое. За днем ночь наступает, а за ночью день. Смех лучше слез. Только с ребенком была беда. Полюбили мы друг друга, да Стажинский, — вдовец он, детей у него в хате целая куча, — не хотел брать меня с дочкой. «Где мне, говорит, к своим семерым еще восьмого ребенка на шею навязывать?» Думаю: боже ты мой милосердый! Неужели мне так и жить без любви и милого дружка? Взяла я Антольку и привела к Яну: «Вот тебе сестра, сынок. Воспитывай ее, а потом она тебе в помощь будет». Ему было двадцать, а ей шесть. Анзельм куда как расходился! «Почему это, говорит, ты не можешь сама своего ребенка воспитывать? Захотелось бабе третий каравай испечь! Малый и так в грязи живет, присмотреть за ним некому». Но Янек пристал к нему: «Возьму да возьму сестренку. Чего ей у отчима обиду терпеть? Пускай лучше у нас живет, а малость подрастет, за нами будет присматривать». Антолька, так, что ли, он говорил или нет?.. Вот он какой! Другой бы оттолкнул, а он принял, на руках ее носил, кормил и мне всегда при случае передавал: «Антолька здорова, растет хорошо». Вот он какой! Антолька, может, я неправду говорю?

Она так расчувствовалась, что в ее веселых темных глазах блеснули слезы. Губы ее дрогнули, и она утерла лицо фартуком.

Антолька, стройная, словно гибкий тростник, поднялась с земли и, не выпуская блестящего серпа, усталым движением сомкнула над головой руки.

— Да лучше его, должно быть, во всем свете нет, — ответила она. — С ним я и горя никакого не видала. Вместе работаем, вместе и гуляем, а по хозяйству — чуть что потяжелее, все больше он делает, а не я!

Она снова склонилась к земле, а болтливая старуха только было собралась приняться за дело, как жена Фабиана, не переставая жать, протянула пискливым голосом:

— А кончилось тем, что у вас, пани Стажинская, двое детей, и ни одного из них вы сами не вырастили...

Стажинская милом выражением, вытерла свое лицо
листой рукой и звонко смеясь крикнула:

— Вырастить — не вырастила, а зато у меня
лучше, чем у других... Вот как!

И она залилась смехом.

— Ку-куш-ка! — насмешливо протянула жена Фаб-
биана.

В это время телега, запряженная Кантаном и Гно-
дой, бесшумно въехала на двор.

— О господи! — вскрикнула Ян, на ходу соскочи-
вая с телеги и направляясь к сидевшей на скамье жено-
шине в платье цвета соловья, которую он вдруг заметил,
когда мать его отошла в сторону.

Юстына весело, с дружеской улыбкой поглядела на
него глаза и со своего низкого сиденья порывисто про-
тянула ему руку. Ян схватил ее в обе ладони и, низко
склонившись, на мгновение прильнул к ней губами.

— Я, правду сказать, надеялся, что вы сегодня по-
жалуете к нам, — выговорил, что хотите посмотреть
на нашу работу, — и все же, как увидал, что вы тут,
так передо мною словно солнце засияло.

— Да сегодня оно не только сияет, а просто сле-
пит, — рассмеялась Юстына, и по лицу ее разлился ру-
мянец.

Казалось, что этот смех огорчил его.

— Вы все шутите, — тихо сказал он, и руки его
опустились.

— Он правду говорит, — вмешалась старуха. Она
поднялась с земли и подошла к сыну. — Вот неделя,
как я пришла к нему, а он все как в воду опущенный
ходит, иногда по целым часам слова не вымолвит. Ра-
боту свою справляет, да как-то нехотя... ни посмеется,
ни пошутит, а спросишь у него: «Что с тобой, Янск?» —
«Что-то на меня, мама, тоска напала!» — скажет,
и только.

— Ну, что толковать об этом, матушка? — нехотя
перебил ее Ян. — Идемте лучше жить.

Но Стажинская оттолкнула его локтем, преступивши
с ноги на ногу и, плутовски подмигивая глазами, тиши-
тельно шепнула:

— Еще бы! Мне ли не знать, отчего на него тоска

напала и отчего у него в глазах темно делается: да оттого, что ему тридцать лет стукнуло, а он без любви живет, — жениться время пришло.

— Брось болтать, мама! — с гневным блеском в глазах повторил Ян.

— А почему бы и не сказать? — пожимая плечами, ответила старуха. — Видите, паненка, они с Ядвигой Домунтувной с детства дружили... дядя его спит и видит, как бы их поженить... и дедушка ее благословение даст...

— Идем жать, мама! — крикнул Ян.

— И отлично, девка как раз ему под пару, работающая, из себя красавица и... богатая... После деда все хозяйство ей достанется, а у них тысяч на пять добра наберется...

Она тщетно отстраняла Яна локтем, его железная рука, словно клещами, сжала ей плечо.

— Видите ли, — добавила она еще, — было время, когда между ними уже начиналась любовь...

Но теперь Ян покраснел до корней волос, а его бирюзовые глаза вспыхнули.

— Лучше жать ступайте, чем зря болтать всякий вздор! — крикнул он и потащил ее к несжатой полосе, а сам отошел к телеге.

Веселая баба разразилась громким смехом.

— Что это ты какой стыдливый стал? О женитьбе и заикнуться тебе не смей. Все равно, придет время — женишься.

— А что как не женюсь?.. Возьму да никогда и не женюсь! — еще больше рассердился Ян, кинув шапку оземь. — Еще не родился тот, кто приневолил бы меня к чему-нибудь!

Он гордо поднял голову, надул губы и стал бросать на телегу снопы. Глядя на него, нетрудно было поверить, что действительно он не позволит никому распоряжаться собой. И так же легко было прочесть на его лице тоску и уныние, о которых рассказывала мать. Загорелые щеки исхудали, ввалились, а когда он, успокоившись, стал мерными движениями бросать на телегу снопы и о чем-то задумался, глубокая поперечная морщина перерезала его бледный лоб.

Вскоре разговоры умолкли и в поле снова воцари-

лась тишина: все усердно работали. Легкий предвечерний ветерок с ласковым шелестом пробежал по еще несжатым хлебам, вторя сухому, однообразному и неустанному шороху ломавшихся под серпами колосьев и поднимаемых с земли снопов. Под этот шелест и шорох жницы, издали казавшиеся разноцветными пятнами, легко или неуклюже склонялись к земле, выпрямлялись, молча поднимали длинные охапки колосьев и, сложив их на соломенный жгут, снова припадали к земле. Время от времени то одна, то другая глубоко вздыхала или, быстро проведя рукавом по лицу, утирала вспотевший лоб. Вместе с колосьями падали к их ногам пунцовые маки розовый куколь и синие васильки; но среди острых колючек жнивья оставались нетронутыми бархатистые цветочки клевера, мелкая ромашка и лиловый горошек; иногда из-под рук жницы взлетал и долго кружился в воздухе белый пух отцветшего одуванчика или, выпорхнув из-под серпа, стремительно взвивалась над ее головой испуганная птица и тут же скрывалась где-то среди несжатой полосы.

Юстына сидела на сложенных снопах в задумчивой позе, подперев ладонью голову, и внимательно присматривалась к движениям работавших рядом людей. С того дня, когда она впервые вошла в усадьбу Анзельма и Яна и, вернувшись вместе с ними вечером из ущелья, провела несколько часов под их кровлей, ей стало казаться, что она путешествует по какому-то неведомому краю. Раньше, живя почти рядом с ними, она знала только, что край этот существует, но была равнодушна к нему и представляла его себе смутно. Теперь же она проникла в самые его глубины. Как недавно она узнала имена и особенности тех диких благоухающих растений, которые всегда манили ее изор, так теперь она узнавала имена и особенности многих своих соседей. Это путешествие по полям, которое ее всегда влекло, эти люди, которых она доселе не знала, пробуждали в ней любознательность и заставляли мыслить. Как пышные цветы, обрызганные жемчугом росы и блистающие бесконечным разнообразием красок, эти картины природы, зрелище человеческого труда и эти близости с людьми мало-помалу заполняли ту огромную мяч-

ную пустоту, которую она давно уже ощущала, когда пыталась заглянуть в себя и в свою жизнь.

Теперь она с жадным любопытством вглядывалась в то, что делалось вокруг. Иногда ее охватывала огромная радость, хотя она сама не знала, откуда она являлась. С золотых ли полей, со жнивья ли, усыпанного цветами, навевали ли его крылья птиц, или ветерок, долетавший с реки? Иногда великая, простая красота окружающего наполняла ее душу восторгом. Тогда Юстына выпрямлялась, как жница, державшая в руках пучок колосьев, хотела встать и — то ли с мольбой, то ли с нетерпением — поднять к небу свои ничем не занятые руки. Бывали минуты, когда непрекращающийся сухой шелест колосьев казался ей шепотом земли. Недаром Зыгмунт напоминал ей о былых ее мечтах и порывах. Юстына и теперь была способна на такие порывы, и сейчас, когда она, с блестящими глазами и восторженной улыбкой на полуоткрытых губах, вслушивалась в этот едва уловимый шорох, она вся подавалась вперед, словно хотела соскользнуть со своего сиденья и припасть к груди матери-земли.

Все громче и громче шуршали колосья под руками усердных жниц, и снопы с глухим ропотом один за другим падали в телегу... Наконец Юстына отвела взор от пестреющего мелкими цветочками, благоухающего свежей соломой жнивья. Лицо ее сразу осунулось и словно окаменело, угасшие глаза застлало слезами; казалось, эти минуты состарили ее на несколько лет. С невыразимой горечью почувствовала она себя здесь непрошеным, навязчивым гостем, чуждым всему и всем, стеблем бурьяна в вязанке пшеницы. Она встала, но тотчас же опять опустилась на сноп и осмотрелась кругом тревожными, растерянными глазами.

Взгляд ее упал на неподвижно стоявшего невдалеке Яна. Уже прошло несколько минут, как он бросил работу и, стоя у телеги, всматривался в Юстыну с таким напряжением, что голова его подалась вперед, а на белом лбу вновь появилась глубокая поперечная складка. Небрежно опустив длинные вилы, он не спускал с нее пытливых, вдруг потемневших бирюзовых глаз. Вилы вывалились у него из рук, а губы дрогнули от внезап-

ного волнения. Он мигом очутился подле девушки, сделал движение, как будто хотел схватить ее руку, но удержался.

— Что с вами, пани? — тихо спросил он. — Отчего вы так сразу огорчились? Даже слезы на глазах... Отчего?

Слова, сначала торопливые и даже резкие, мало-помалу смягчались, замирая на его устах.

— Не считите это за дерзость, — закончил он совсем тихо.

Юстына подняла полные слез глаза:

— Зачем я здесь, среди вас? Ох, стыдно мне, стыдно!.. Я ушла бы, но и дома-то у меня ничего нет... ничего...

Она не договорила. Ян выпрямился и продолжал стоять на том же месте. Глубокая морщина, которая в последние дни появлялась у него на лбу, стала еще резче. Он не казался удивленным, а только задумчиво провел рукой по волосам, потом молча подошел к матери, шепнул ей что-то на ухо и возвратился к Юстыне с серпом в руках.

Она поднялась со своего низкого сиденья и стала перед Яном. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, точно старались понять, что думает другой. Вдруг Ян смело поднял голову и подал Юстыне свернувший на солнце серп.

— Возьмите! — сказал он.

Не глядя на него, она протянула руку и с серьезной улыбкой взяла блестящий серп.

По всему полю, похожему на людской муравейник, по шелестящей падающими колосьями ниве проносился громкий, ликующий голос Яна:

— Мама! Подите сюда, мама!

Живая, веселая женщина в ситцевом чепце на седеющих волосах, размахивая руками, уже бежала к Юстыне с радостным криком:

— Хорошо, паненка! Хорошо, красавица, отлично! Работа нетрудная! Коли я, старуха, справляюсь с ней, как молодой не справится? Не боги горшки обжигают... Отлично!.. Присмотритесь, как другие делают, и потом и сами начинайте...

Антолька, Эльжуса и другие девушки выпрямились и с недоверчивой улыбкой, но не удивляясь, смотрели на склонившуюся над колосьями паненку в платье из такого же ситца, как их кофточки, только сшитом по моде, изящно отделанном и ловко облегающим ее высокую, сильную и статную фигуру.

— Правильно! — немного погодя закричала призмистая Эльжуса. — Почему бы паненке не жать, как и мы... она, пожалуй, еще посильней нас... только корсет нужно снять, в корсете и часа не проработаешь...

— Правильно! — отозвался целый хор женских голосов.

Но, странное дело, нашлось несколько пар глаз, презрительно и злобно смотревших на предательские кости корсета, проступавшие сквозь лиф Юстыны.

Юстына, раскрасневшись, наклонилась к матери Яна.

— Завтра воскресенье, — шепнула она, — но в понедельник я приду пораньше и поудобней оденусь, а сегодня... позвольте мне хоть немного... сколько можно будет...

— Хорошо, милая, отлично! — затрещала старуха. — Не слушайте, что эти сороки стрекочут. К работе вы так же способны, как и они, только в понедельник наденьте на себя платьице посвободней, и мы с вами как возьмемся, так десять копен Яну нажнем...

Ян взобрался на телегу, до половины нагруженную снопами; больше везти было нечего, и он, стоя на подстилке из золотых колосьев, упруго прогибавшейся под его ногами, уже выезжал со жнивья на дорогу, когда с дороги стала сворачивать ему навстречу телега Домунтувны.

Их разделяло пространство в несколько моргов. Они стояли на телегах, стройные и сильные, напоминая атлетов римского цирка. Снежная белизна его рубахи на синем фоне неба гармонировала с горячим цветом ее розовой кофты. Волосы Яна отливали на солнце блеклым золотом созревающей ржи; ее разметавшаяся пышная коса казалась снопом спелой пшеницы. Разговаривать на таком расстоянии было трудно, но девушка, не спуская глаз с телеги Яна, которая еще мед-

ленно катилась по жнивью, начала тот привычный им издавна разговор, что плывет высоко над полями чистыми звуками песни:

Ой, горы, ой, горы,
Мой лес зеленый!
Зеленые клены
Листочки роняют,
Несчастное сердце
По милой страдает.
Ой, горы, ой, горы,
Мой лес зеленый!

Ян Богатырович свернул на дорогу, которая тянулась по краю жнивья, и, не глядя на девушку, подхватил песню. Он ехал медленно, повернув голову в сторону полосы, где рядом с белым чепцом матери наклонялась к земле голова молодой женщины в короне из черных кос, и пел:

Как дуб от мороза
Трешит, засыхает,
Так сердце от горя
Молчит иль вздыхает.
Ой, горы, ой, горы,
Мой лес зеленый!
Как рута на солнце
Растет или вянет,
Так голос твой сердце
Спалит или ранит.
Ой, горы, ой, горы,
Мой лес зеленый!

Ян умолк, а Домунтувна чистым сильным контральто продолжала одна:

Зеленые клены
Листочки роняют,
Несчастное сердце
По милой страдает.
Ой, горы, ой, горы...

Должно быть, и ее сердце пришло в смятение, потому что голос ее замер, она остановила телегу и неотрывно смотрела на ту, с которой не спускал глаз удалявшийся Ян. Издали, уже с дороги, долетели и поле и полились волнами страстные звуки его прекрасного голоса:

Как пташка на ветке
Поет-распевает,
Так вздох мое сердце
Тебе посылает.
Ой, горы, ой, горы,
Мой лес зеленый!
Густая калина,
Лесная малина,
Ты — царство-богатство,
Голубка дивчина.
Ой, горы, ой, горы,
Мой лес зеленый!
С тобой расстаюсь я,
А ты пред глазами,
И в мыслях, и в сердце,
Ночами и днями.
Зеленые клены
Листочки роняют,
Несчастное сердце
По милой страдает.
Ой, горы, ой, горы...

Веселая женщина в белом чепце, склонясь над Юстыной и сверкая глазами, болтала без умолку:

— Видите ли, паненка, он у нас первый певец в Богатыровичах, а она первая певица. Дед и на гитаре ее выучил играть. Зимней порой вся молодежь соберется вечером в какой-нибудь дом, где горница попросторней, и танцует; Ядвига играет на гитаре, мой Янек поет... Прелесть! Пусть любят голубки мои, пусть любят. Скоро, может быть, и поженятся... Сначала солнце должно взойти, а потом уж и греть начнет... Так и любовь начинается помаленьку, то ли есть она, то ли нету, а потом, глядишь, согреет и в церковь приведет! Ха-ха-ха!

Юстына, которая под руководством старухи успела кое-как срезать несколько охапок ржи, в эту минуту полоснула себя серпом по руке. Она сама не могла понять, почему при последних словах матери Яна острое орудие дрогнуло в ее сильной и еще вовсе не утомленной руке. Ранка была невелика, и всего лишь несколько капель крови выступило на загорелой, но нежной коже, однако Юстына почувствовала сильную боль, но не в руке, а в груди. Так как все были заняты работой, она выпрямилась и взяла большую охапку колосьев, чтобы положить ее позади себя на грядку. Но невольно под-

няла ее выше, чем делали это другие, и долго стояла так. В голове ее мелькнула мысль, что действительно этот юноша и девушка, свежие, как майское утро, и нетронутые жизнью, сотворены друг для друга. Настанет полдень — и жгучее чувство приведет их к аналою, перед которым они станут, чистые и светлые духом, для того чтобы долгие годы прожить вместе в домике под грушей-сапежанкой или в том, под липами, который он получит за ней вместе с богатым приданым; и они будут вместе обрабатывать эту землю и вместе собирать ее золотые дары, а в зимние вечера, под вой мстели, при блеске месяца, серебрящего и вековой бор и усыпанные алмазными искрами инея стены оврага, — наполнять звуками песен белую горницу.

— Что это? Никак порезались? — раздался голос болтливой старухи. — Ах ты, господи! Ну, да это пустяки, это только с непривычки! Ха-ха-ха! До свадьбы заживет! Ха-ха-ха! Э, да вы, я вижу, и сами на свой пальчик не дуετε, а снова за работу беретесь! Так и надо! Я такая же. Люди смеются надо мной, что я охоча до мужчин, да мне наплевать. Зато уж в лени меня никто упрекнуть не может. И в своей хате все обделаю и к сынку на помощь прибегу. А уж сколько раз я серпом или ножом, — когда зелень резала, — или еще чем другим, руки себе калечила — того и самому господу богу не счесть. Да при любви все хорошо. Так и у вас ручка заживет, как только милый поцелует! Милый-то есть, что ли?

— Нет, — улыбнулась Юстына.

— О, вот это нехорошо! Нужно, чтоб был! А я слышала, что был... Да только... неверный. Людям рта не заткнешь. Болтали, как же! Я и то дивилась тому пану, что не взял такую красивую паненку... и Яну своему наказывала: «Не будь таким, сынок, не изменяй своей Ядвиге!» А он как вскинется: «Я, говорит, ничего Ядвиге не обещал, а тот пан клялся панне и не сдержал слова. А коли так, значит он негодяй, да к тому же дурак и слепой, — панна такая красавица и так по нем тоскует! У меня и то сердце разрывается, как увижу где ее». Вот он какой! Весь в меня уродился... нежный да чувствительный...

Она провела по глазам темной морщинистой рукой, действительно покрытой множеством шрамов. Когда говорили о любви или о чем-нибудь трогательном, у нее всегда на глаза навertyвались слезы.

В эту минуту на краю жнивья раздалось громкое приветствие:

— Бог в помощь!

— Спасибо! — ответило несколько голосов, а мать Яна выпрямилась и, подбоченясь, засмеялась, открыв ряд белых зубов.

— Видно, пан Фабиан в графы записался, коли в такое время прогуливается. Вот что значит — много помощников. Пусть жена и дети надрываются, а отец будет галок по дорогам считать. Ха-ха-ха!

На меже показалось румяное, словно рыжик, лицо Фабиана; он топорщил усы, поблескивая маленькими прынрливymi глазками.

— Вот и замахала баба языком, что теленок хвостом! — ответил он, медленно пробираясь вперед. — У пани Стажинской в голове всегда ветер свищет. И когда это я от работы отлынивал? А если я сегодня не работаю, то у меня, значит, есть на то причина, которой вы, пани Стажинская, и понять не можете. Теперь вот иду к моим снопикам, что под лесочком меня ожидают, а сюда наведалься узнать, сколько нам останется на будущую неделю.

— Ничего, отец, не останется! Все сожнем сегодня! — крикнула Эльжуса.

— Тем дело и кончилось, что без вашей милости обошлись; ни единого колоска на этой полоске нынче не оставим, — проговорила нараспев мать семейства.

Вся семья Фабиана — из двух женщин и четырех парней, — и раньше работавшая с жаром, теперь, с появлением своего главы, удвоила усердие. Даже высокий плечистый Юлек, который до этого стоял, как столб, тоскливо глядя в сторону Немана, теперь, высоко поднимая плечи и громко сопя, стал быстро подхватывать вилами снопы и подавать их стоящему на телеге брату. Фабиан медленно и важно шествовал дальше по участку, почти совсем убранному, и с видимым удов-

летворением шевелил торчащим над губой клочком рыжих усов. Засунув огромные красные руки в карманы черных брюк, он все больше пыжился и все горделивее расхаживал по своим владениям, где так успешно хозяйничала его семья. Но вдруг он остановился, вынул руку из кармана и, козырьком приставив ее к глазам, начал всматриваться в противоположную сторону поля, где у самой межи одиноко работало двое людей.

— Эй, Владыслав! — на все поле раздался его гневный голос, — а чье это жито твоя жена серпом задевает? Как будто на своем поле жнет, а сама норovit чужое зацепить. Убей меня бог, если это мужичье у меня четверть полосы не прихватило!

Кровь залила его лоб, щеки и даже белки глаз, загоревшиеся неистовой злобой.

Увидев, что его добру нанесен ущерб, Фабиан сразу сбросил с себя важный и спесивый вид и, сжав кулаки, как будто шел на смертельного врага, с легкостью юноши кинулся вдоль поля. Жена его и дочь продолжали жать, но двое взрослых сыновей и двое подростков, прервав работу, смотрели на него с видимым ужасом. Не испугался только Адам, такой же вспыльчивый и горячий, как отец. Убыток, причиненный отцовским хлебам, привел его в ярость. Сдвинув брови и сверкая глазами, он стоял на доверху нагруженной телеге и, подавшись всем телом вперед, готов был в любую минуту прыгнуть вниз и ринуться на помощь отцу.

На половине дороги Фабиан остановился, обернулся к сыновьям и махнул рукой, призывая их бежать за ним.

Перескочив еще через две полосы, он снова обернулся и с криком: «Эй вы, увальни!» — бросился вперед.

Затем, повернув к ним побагровевшее от бешенства лицо, заорал:

— Сюда, олухи царя небесного! Сюда!

Адам соскочил с телеги; подростки — один лет семнадцати, другой — пятнадцати — бросили серпы и побежали вслед за отцом.

Да и пора было, потому что плечистый Владыслав, лет на пятнадцать моложе Фабиана, и жена его, худощавая лицом, но высокая, мускулистая баба с большими руками, уже бежали, громко крича, навстречу неприятелю, грозя кулаками и вилами.

Адам вырвал вилы из рук Юлька. Не прошло и двух минут, как на жнивье, рядом с злополучной полосой Фабиана, которая послужила причиной раздора и по которой действительно прошелся серп жены Владыслава, искромсав ее неровными зубцами, несколько человек сбились в кучу. Оглашая поле неистовыми воплями, они сплелись клубком, размахивая вилами и руками, мелькавшими, словно крылья мельницы, под напором бешеного вихря.

Жницы опустили серпы и с любопытством и тревогой смотрели на поле битвы. Очевидно, подобные зрелища бывали тут не часто, раз производили столь сильное впечатление, однако случались; и сейчас кумушки уже перешептывались о том, что, пожалуй, Фабиан поколотит Владыслава, как два года назад поколотил Клеменса, а может быть, и ему достанется, как уже было однажды, когда он в отместку за какую-то обиду запахал у соседа его поле.

— Он и сам, — прибавила мать Яна, — других обижать умеет. Когда мой Ян был еще маленьким, а Анзельм хворал, Фабиан захватил было у них вот эту самую полосу. Как же! Судились потом!..

— Уж очень вы памятливы, пани Стажинская, — затынула жена Фабиана, дрожа так, что у нее зубы стучали. — А все потому, что Владыслав — вор и на каждый колосок, на каждую былинку зарится, просто умирает от зависти, как увидит чужое.

— Конечно, на мужичке женился и сам мужиком стал... А теперь еще отца искалечит! — добавила Эльжуса. — Юлек! — она оглянулась по сторонам. — Юлек! Ступай отцу на помощь!

Девушка заломила свои красные руки и крикнула с отчаянием в голосе:

— Вот те раз! Убежал!

— Ха-ха-ха! На Неман удрал! — расхохоталась Стажинская.

Действительно, далеко впереди огромный рыжий парень бежал что есть мочи деревенскими задворками к реке. Запрокинув голову и размахивая руками, он перескакивал через низкие плетни и неся стрелою мимо домов, а за ним, проскальзывая под плетнями и прыгая через грядки, с радостным визгом мчался Саргас.

Люди со всех сторон собрались посмотреть на драку. Ян — он только что пешком вернулся из дому, — грозно нахмурившись, бежал по направлению к дерущимся.

— Убьют друг друга! Вот срам какой! Греха вы не боитесь! Дерутся, как разбойники! — раздался его негодующий голос. — Фабиан, опомнитесь! Брось вилы, Владыслав!

Спустя несколько минут враждующие были обезоружены, и Фабиан с сыновьями, отдуваясь, повернул на свой участок. Владыслав, в изорванной рубахе, с синяками на лице, усадив плачущую жену и ребенка в скрипучую телегу, запряженную убогой лошадежкой, осторожно выезжал со жнивья. Разнимавшие их соседи поспешно возвращались к прерванной работе. Ян, бросив Адаму отнятые у него вилы, вытирал лицо. Оно выражало досаду и презрение.

— Э-эх вы, безобразники, насильники! Ни стыда-то у вас нет, ни совести! — громко и сердито упрекал он Фабиана и его сыновей. — Словно разбойники на большой дороге напали! А из-за чего? Из-за горсти жита...

— Не горсть, а половина полосы! — крикнул Фабиан. — А ты свой нос не суй в чужие горшки, а то смотри, как бы их не расколотили о твою башку. Ишь ходатай у господ бога выискался. Подумаешь, какой миротворец!

На лбу у Фабиана красовалась ссадина, около щетинистого уса виднелось синеватое пятно. Он еще не остыл, однако физиономия у него была сконфуженная, и, не поднимая глаз, он что-то налаживал у себя в телеге, бормоча все тише:

— Да он отроду вор! Пропади он пропадом! Мужичье этакое! Собака его заешь!

Адам, весь красный, взобрался на телегу и крикнул:

— Конечно, этакому графу и полполосы нипочем, а бедному человеку всякий грош дорог! Ты ведь, известно, — аристократ, ну, свое и дари, кому хочешь, а мы люди маленькие, и когда нас еще грабят, это берет за живое.

Ян не выдержал и громко, от души расхохотался.

— Эх, Адам, Адам! С ума ты, что ли, спятил, что такие глупости болтаешь? Какой же я аристократ? Я знаю только, что ни один порядочный хозяин не разорится, если бедный человек возьмет у него какой-нибудь сноп или два... или скосит охапку травы для голодной овцы. Из-за этого стыдно заводить такую свару и драку. Твой отец из-за каждого зерна, из-за горсточки земли удавится, а сам ты ходишь темнее тучи, боишься, как бы тебя в солдаты не взяли. В чужую грызню я не ввязываюсь, но сказать правду должен. Драться ни с вами, ни с кем-нибудь другим я не стану, но молчать, глядя, как вы буяните, все-таки не могу.

Он махнул рукой и, вызывающим жестом надев картуз, отправился на свое поле.

Там почти ничего не оставалось, — работы было всего на какие-нибудь четверть часа. Стажинская толковала уже о пшенице: в понедельник нужно и ее жать, как раз пора подошла, а то начнет осыпаться.

— А вы, пожалуй, не придете к нам в понедельник; — обратилась она к Юстыне. — Кому охота на драки глядеть да брань слушать! Вы, паненка, небось так испугались, что уже бежать собрались.

Действительно, шумная ссора, разгоревшаяся в поле, так испугала Юстыню, что у нее даже серп выпал из рук. Но, видимо, испытала она не только испуг, но и еще какое-то весьма неприятное чувство. Она брезгливо поджала губы, сдвинула брови, и, казалось, что глядя на эту орущую и рвущуюся в драку толпу, она презрительно передернет плечами и с отвращением поспешит уйти. Но это длилось лишь одно мгновение; какая-то мысль мелькнула у нее в голове и помогла ей пересилить себя. С жадным любопытством следила она за Яном, который пытался разнять дерущихся, и вслушивалась в его гневные упреки Фабиану и его сыновьям. Оттого, что она все время наклонялась, у нее

горело лицо, но она уже успокоилась и, положив на-земь охапку сжатых колосьев, выпрямилась.

— Да разве только здесь случаются такие печальные и неприятные сцены? — ответила она. — Везде, везде... может быть, даже и еще хуже. Разница только в форме.

Юстына высказала мысль, которая четверть часа назад победила ее отвращение и помешала бежать домой, — высказала просто и даже пожала плечами, как будто это было бесспорно.

— Посмотреть со стороны, — прибавила она и невольно взглянула на Корчин, — подумаешь, что там нет ничего ни дурного, ни безобразного, а вблизи... если не одно, то другое... разница только в форме!

Стажинская всплеснула руками.

— А ведь вы правду говорите, правду! Конечно! Всюду попадаются злые люди, только злобу свою по-разному выказывают. Но бог всемогущий на одном пастбище и овцу и козлище терпит...

— Как я рад, как я рад, что вы так смотрите на это, — раздался около Юстыны голос Яна, — а уж мне в голову приходило, что вы нас бог знает за кого принимаете, за каких-то разбойников...

Молодой человек весь сиял, глаза его улыбались, и, не сознавая, что делает, он нагнулся и сорвал несколько цветов с соседней межи. Цветы ему не нужны были, — ему хотелось скрыть яркий румянец, заливший его лоб, щеки и даже загорелую шею. Еще не совладав с охватившим его чувством, он задумчиво повторил слова Юстыны:

— Разница только в форме... то есть разные характеры разны и проявляются, у одних выходит лучше, у других хуже... но это только форма... поверхностное и скоропреходящее, а настоящее в человеке то, что у него в душе происходит...

Мысль Юстыны хорошо поняли и мать и сын. Ап-толька подняла на Юстыну свои девичьи, чистые, как у голубки, глаза.

— Если б вы пришли в понедельник... без корсета... мы бы с вами целый день вместе жали, — шепнула она.

— Вот тебе и работница, Ян! — засмеялась было

Стажинская, но потом вдруг взмахнула руками, топнула ногой и закричала: — А теперь за работу, ребятки, за работу! Еще немного — и все поле сожнем! Живо, живо! Янек, вон там валяется серп, — Эльжуса бросила, когда за отцом побежала. Ничего, что ты взрослый парень, своим бабам помогать не зазорно! Живо, ребятки!

«Ребятки», конечно, относилось и к новой работнице. Все четверо энергично и молча принялись за работу, только один раз Антолька фыркнула, когда услышала вздох, вырвавшийся из стесненной груди Юстыны. Юстына тоже рассмеялась, и так громко и весело, как не смеялась никогда; она задыхалась, но поспешила уверить, что вовсе не устала. А Ян с огромным снопом колосьев выпрямился во весь рост и, торжественным, задумчивым движением откинув со лба упавшие на него волосы, высоко вверх, к облакам, поднял глаза, светившиеся каким-то серебристым сиянием.

В это время за ними послышались чьи-то голоса, среди которых выделялся звучный веселый юношеский голос Витольда Корчинского:

— Bravo, Юстына, bravo! Бог в помощь! Как поживаешь, Ян? Как ваше здоровье, пани Стажинская? Bravo, Юстына, bravo!

Тонкой и гибкой, но сильной рукой он поднял ее с земли и, заливаясь громким, почти детским смехом, с сияющим радостью лицом закружил ее по жнивью.

— Много нажала? Долго работала? Да ты жать-то умеешь ли? Хорошо, что хоть не бренчишь на фортепиано и не слоняешься по дому, как неприкаянная. Каждый человек на свете должен над чем-нибудь трудиться. Правда, Янек? Янек, помнишь, как ты меня из Немана вытащил, когда я был маленьким и тайком от Юлька убежал купаться? Ведь это Юлек учил меня плавать! А вы, панна Антонина, как будто не узнаете меня? Два года назад мы с вами собирали грибы и землянику. Но ты, Юстына, право молодец: наскучило тебе барабанить по клавишам да изнывать над любовными романами, и пошла жать... Молодец!

Он поочередно пожимал руку Яну, Стажинской, Антольке. Ян тоже дружески и весело улыбался, вспоми-

ная, как ему удалось вытащить из воды тогда еще маленького Витка.

— А отчего ты не заходишь к нам? — с легким упреком спросил он. — У Фабиана бываешь, у Валенты, даже к Владыславу заглянул, а нас совсем забыл.

— Да как к тебе заходить? Твой дядя болен и ни с кем не любит встречаться. Но я зайду, сегодня же зайду. Я сегодня весь день в поле, — вот там был, возле леса, и так наговорился, что у меня даже язык горит.

Словно шаловливый ребенок, он высунул язык и побежал вслед за толпой мужчин, которые, обогнув поле Яна, шли, громко перекликаясь, по узкой дороге, тянувшейся вдоль поселка.

Вечерело. Солнце наполовину скрыло за бором свой огненный диск. Возвращались с полей люди, катились возы, поднимая облака пыли. Пронизанная последними лучами солнца, она окутывала золотой дымкой длинный ряд домиков, сады, купы деревьев, широко раскинувших могучие ветви, путаную сеть плетней и тропинок. Белая лента дороги, все тропинки, дворы, узкие проходы между амбарами и овинами сразу заполнились людьми и пригнанной с пастбищ скотиной. Среди пышно разросшейся зелени, в густых облаках пыли, то кучками, то в одиночку сновали взад и вперед, сходились и расходились, появлялись и снова исчезали пестрые женские платья, головы в чепцах, платках и с косами, лица, то изборожденные морщинами, исхудалые и печальные, то румяные и цветущие, и, несмотря на целый день тяжелой работы, весело улыбающиеся и открывающие ряд жемчужных зубов. Все золотились темным загаром и блестели от пота, который только-только начинал просыхать на белом лбу. В воздухе стоял гул от человеческих голосов, блеяния овец, мычания коров, лая собак и громыхания колес. Глухо покряхтывали старухи, расправляя под мокрыми от пота кофтами наболевшие спины; громко хохотали девушки, умудряясь с серпами в огрубелых, почерневших руках связывать букеты или плести венки из сорванных по дороге цветов; звенели голоса детей, выбегавших навстречу матерям, и озорные выкрики подростков; кудахтали куры, ворковали голуби, пели петухи.

В саду Анзельма багровые лучи солнца длинными полосами ложились на пушистый ковер из белого клевера второго покоса, пронизывая косыми стрелами ветви деревьев и золотя густо осыпавшие их плоды. Пчелы уже спали в своих голубых приземистых ульях, за которыми, в трепетном свете заката, замерли листья ночной красавицы и высокие мальвы. Сад наполнился щебетом птиц и благоуханием цветущей резеды, смешанным с острым запахом мяты и ароматом божьего дерева. Два окошка в голубых рамах горели сквозь густую листву вековой груши-сапежанки, как яркие рубины. В открытые настежь ворота по изборожденной колеями дороге входили коровы и овцы.

Анзельм в грубом сермяжном зипуне и большой бараньей шапке медленно прохаживался по саду с Витольдом Корчинским, показывая своему молодому гостю фруктовые деревья. Вот уже много лет, как Анзельм не выходил на полевые работы, получив за это в Богатыровичах прозвище «граф». Впрочем, все отлично знали, что Анзельм избегал не работы, а шума и сутолоки. Когда он попадал в толпу, лицо его принимало какое-то болезненно тревожное выражение и бледно-голубые глаза растерянно блуждали. Он робко и боязливо кутался в свою сермягу и незаметно исчезал. Зато у себя в усадьбе он был так же невозмутим, как окружавшая его безмятежная тишина, и с восхода до заката солнца делал все, что надо было: косил, ворошил и убирал сено, сажал и поливал огород и сад, чинил плетни, ходил за коровами и овцами, а зимой молотил на гумне хлеб, что-то строгал и пилил или, стуча молотком и топором, чинил забор, подправлял ульи, мастерил что-нибудь в доме. Все это он делал медленно, всегда погруженный в глубокую думу, словно душа его витала где-то далеко, вне жизни.

Сегодня с помощью поденщика он весь день складывал на гумне снопы, которые Ян привозил с поля, затем послал поденщика за водой, а сам пошел задать корма лошадям. В первый раз в жизни Ян оставил Гнедую и Каштана на чужое попечение и с лихорадочным нетерпением вернулся на поле.

Выйдя из конюшни, Анзельм как вкопанный остановился перед воротами и рукой прикрыл от солнца глаза. Желтый Муцник с лисьей мордой и хвостом метался, как угорелый, боязливо отступая перед большой черной собакой, которая сопровождала двоих людей. Одного Анзельм узнал сразу. Это был Михал, в канифасовом костюме канареечного цвета, ветреник и хвастунишка, первый на весь поселок шеголь; он шел сюда, вероятно, в надежде повидать Антольку, по которой явно вздыхал еще с прошлой зимы. Но другой... этого другого Анзельм узнал только за десять шагов. Он даже не узнал, а скорее догадался и, запахивая сермягу, невольно попятился назад. В глазах его блеснуло беспокойство, тонкие бледные губы под седеющими усами сложились в ироническую улыбку.

— Корчинский, — шепнул он, — молодой Корчинский... зачем, что ему нужно?

Но тем не менее, как и в тот вечер, при первой встрече с Юстыной, он медленно пошел навстречу гостю, вежливо приподнимая шапку. Казалось, что, несмотря на страдание, которое доставляло ему всякое общение с людьми, — с теми в особенности, — он считал своей обязанностью быть со всеми как можно вежливее и любезнее. Витольд поспешно протянул ему руку. Анзельм еле прикоснулся к ней пальцами и, глядя куда-то вдаль, проговорил:

— Не ожидал и очень польщен честью, которую вы оказываете мне сво... своим посещением.

— Видишь, Витольд, — покручивая усы, торжествующе воскликнул «красивый и развязный» парень в костюме канареечного цвета, — разве я не говорил тебе, что ты будешь принят, как требует того вежливость? Он вас боится, пан Анзельм. Люди столько наболтали про ваш нелюдимый нрав, что он боялся идти. «Хотелось бы пойти, говорит, да боюсь». А я взял да и привел его, познакомить — и все. А где же это панна Антоиниа?

И он побежал к дому, откуда долетали звуки смеющихся голосов и стук ручной мельницы.

В небольших темных сенях Стажинская быстро вертела жернов и повторяла:

— Вот так, паненка милая, надо вертеть себе и вертеть...

Седеющие волосы выбивались из-под белого чепца и падали на ее разгоревшееся, потное лицо, но и целый день работы, казалось, нисколько не утомил ее, не лишил обычной жизнерадостности.

— Ой, трудно! — невольно вырвалось у Юстыны, когда каменный жернов застучал под ее рукою.

Здесь же, опершись о наличник двери, стоял высокий, плечистый мужчина, лицо которого тонуло в полумраке и только ярко отсвечивала белоснежная рубаха. Он смеялся тихим грудным смехом.

— Да у вас и так ручки утомились... ведь вон какие маленькие да хорошенькие. Отдохнуть им нужно... Непривычны они к такой работе...

В открытую дверь виднелась довольно большая кухня, посреди которой сидела целая семья кроликов — штук восемь, десять, — вовсе не пугаясь близости людей. В этом огромном клубке длинных ушей и белой, черной и серой шерсти блестело пар десять глаз, похожих на черные бусины в коралловой оправе. У плиты с широким колпаком стояла Антолька, вся озаренная розовым светом горящих дров. Яркие блики ложились на ее гибкий стан, на тонкие черты свежего личика и на косу с вплетенными в нее, уже увядшими цветами. Она чуть было не выронила из рук горшок с водой, когда Михал за ее спиной закуковал:

— Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!

— О господи! — испугалась Антолька и сердито надула губы, хотя глаза ее весело смеялись. — Видно, вы вовсе не уморились, коли пришли еще сюда с глупостями?

— Это я да не уморился? Ой-ой-ой, как устал! Если вы не разрешите мне сесть, я, кажется, так вот, хлоп! и упаду к вашим ножкам.

— Я не приглашаю и не гоню... — улыбнулась девушка. — Интересно знать, почему это вы, пан Михал, не идете домой... или вы никогда не ужинаете?

— Да ведь я человек холостой, несчастный сирота... и ужин мне приготовить некому.

— А ваша тетушка?

— Ну, какой вкус в теткинском ужине? А я-то шел сюда в надежде, что вы пригласите меня отведать кушанья, которое состряпали собственными ручками. Неужели мне суждено всегда оставаться в дураках?

— Не приглашаю и не запрещаю, — с лукавой усмешкой ответила Антолька.

Он смело и вместе с тем нежно посмотрел на нее продолговатыми серыми глазами.

— А если б я был котенком, вы бы меня лучше принимали; я знаю, вы любите котят. Ну, нечего делать, обращусь в котенка.

И Михал замаякал по-кошачьи. Антолька, еле удерживаясь от смеха, закусила губы и уставилась глазами в землю.

— Так у вас и для котика ласкового словечка не найдется? Ну что ж, тогда я сяду на дерево и обращусь в ухающего филина!

Он сел на скамью, стоявшую подле печки, низко опустил голову, скрестил на груди руки, вытянул ноги и, смеясь, испустил жалобный вопль, действительно чрезвычайно похожий на уханье филина. Это уже было чересчур; такого испытания серьезность Антольки не выдержала. Девушка расхохоталась так, что даже при села на пол возле печки.

— Ха-ха-ха-ха! — заливалась Антолька звонким, неудержимым смехом шестнадцатилетней девушки.

— Пуха! Пуха! Пуха! — все жалобней и отчаянней вторил ее смеху филин.

В саду, еще залитом лучами заходящего солнца, Анзельм показывал гостю плоды своих трудов. Витольд внимательно рассматривал молодые фруктовые деревца, время от времени вставляя свои замечания. Здесь ветви не обрезаны как следует, а там оставлено чересчур много побегов; вот с этого дерева следовало бы обрывать почки, а то они истощают дерево. Анзельм внимательно слушал, не спуская задумчивых глаз с лица Витольда.

Это оживленное, но бледное и нервное лицо с усталым морщинистым лбом отличалось удивительным свойством: какие бы мысли ни наполняли голову юно-

ши, оно все озарялось ими, словно заревом бушующего внутри пожара.

— Вы ведь учитесь всему этому, — сказал Анзельм, — и, как видно, учитесь хорошо, а я насадил свой садик без всякой науки, да и посоветоваться мне не с кем было. Теперь я сам вижу, что сделал много ошибок, вижу, вижу... Да, наука помогает человеческому труду.

Он говорил рассеянно, занятый, очевидно, какой-то посторонней мыслью, а устремленный на юношу глубокий, пронизательный взгляд становился все пристальней. Вдруг он подпер щеку рукой и прошептал:

— И уж как вы похожи на своего дядю, пана Анджея! Господи, как похожи! И лоб, и глаза, и голос — все, все... словно пан Анджей из мертвых воскрес...

Взгляд его невольно устремился в сторону занеманского бора и затем вновь упал на лицо Витольтда.

— Только не дай вам бог такой су... су... судьбы!

Он запнулся, потому что в глубине души не думал этого, затем вскинул понурюю голову, поправил шапку и медленно выпрямился.

— Нет, — прибавил он с мгновенно вспыхнувшими глазами, — не то я сказал! Дай бог каждому доброму человеку так жить и так умереть, пусть и в молодые годы!

Витольтд сердечно и вместе с тем бережно сжал его руку в своих руках.

— Спасибо вам, в особенности за второе пожелание, — ответил он взволнованно. — Жить без чувств и высших стремлений я не хочу и предпочел бы умереть молодым, сохранив в груди великий огонь, нежели камнем или мутной водицей жить века.

Анзельм сначала было отступил и смущенно запахнулся в сермягу. Он даже не пожал руки Витольтда, но слушал внимательно, стараясь не пропустить ни одного его слова.

— Не думал я... — прошептал он, — не думал уже услышать на своем веку такие речи... Господи, неужели убитые могут воскреснуть?

— Нет, — воскликнул Витольтд, — они уснули на-

веки, но их чувства и мысли не перестанут носиться в воздухе и пламенеть, пока не вселятся снова в людей живых, молодых, сильных, любящих народ и землю!

— Аминь! — взволнованным голосом закончил Анзльм.

— Может быть, — продолжал Витольд, — вернувшись в Корчин по окончании ученья, я буду просить вас помочь мне во многом.

— Меня? — удивился Анзельм и снова отступил назад. — Куда мне? — уже в спокойном раздумье продолжал он. — Какая от меня помощь. Годы унесли мою силу, и прошедшего не вернуть... Но это правда, — когда вы поселитесь в Корчине, вам трудно будет, очень трудно... осуществлять свои добрые намерения. Мне, в моем затишье, по временам сдается, что какие-то огромные льдины загромождали весь мир, и оттого стало в нем так холодно. Все небо заволкло тучами, а мы, подхваченные вихрем, катимся в разные стороны, как горсть рассыпанного гороха, и гнием в одиночку... Когда-то у людей были другие мысли и другие стремления, но всему свое время, все тленно, все преходяще, все, как струя в реке, уносится течением, как лист на дереве, желтеет и гибнет.

— Уж очень вы печально смотрите на жизнь, будто изверились во всем добром, — перебил его Витольд, с горячим интересом глядя своему собеседнику в лицо.

На губах Анзельма мелькнула грустная улыбка.

— И правда, опечалился я однажды, да таким и остался на всю жизнь. Но извериться в добром... нет, я не изверился! Видел я, как валились старые деревья, отжив свой век, но вокруг них поднимались молодые побеги и в свою очередь превращались в полные сил деревья. Вот и вы — такой же молодой побег, и если вам нужна будет помощь, то не от меня ждите ее, а хотя бы от моего Яна. Он тоже отпрыск, выросший на могиле старого дуба. А пока...

Он оживился и начал говорить быстрее.

— А пока я слышал кое-что стороной... Говорят, вы не брезгаете нашими, беседуете с ними, советы им даете. Вон вчера Валенты пришел к нам и сказал, что вы уговаривали наших сложиться и вырыть в поселке

четыре колодца, чтобы нам вода не так тяжело доставалась. А Михал рассказывал, что вы советуете построить общественную мельницу, чтобы не молоть на ручных, и разные другие хорошие советы даете. Что ж?.. Меня только одно удивляло, откуда все это взялось у сына пана Бенедикта Корчинского? Ведь он на нас и смотреть не хочет, будто у него одного только душа есть, а мы просто какие-то камни бездушные, которые можно ногой от себя отшвырнуть.

— Не говорите этого! О, никогда не говорите мне этого! — закричал Витольд, покраснев до корней волос.

— Я только сейчас понял, что слишком дерзко говорил об отце при сыне и прошу прощения, — смутился Анзельм и в волнении запахнул полы сермяги.

— Нет, нет, не то! Это не дерзко, только видите, я моего отца... для меня отец... но не будем говорить о нем, лучше я расскажу вам, какие у меня мысли насчет того, чего бы я желал для вас и что вам необходимо.

Они прохаживались между деревьями, освещенными косыми лучами заходящего солнца. Витольд говорил быстро, горячился, жестикулировал, пускался в подробные объяснения. Анзельм шел сгорбившись с сосредоточенным лицом и внимательно слушал, время от времени вставляя какой-нибудь вопрос или замечание. Раз два пристально взглянув на своего собеседника, он тихо прошептал:

— Как похож на дядю! Господи, как похож!

И по мере того как они говорили, изможденное лицо его, на котором выступил легкий румянец, озарялось радостью, к которой примешивалась тихая грусть. Глаза его все чаще обращались в сторону занеманского бора, а пальцы длинных бледных рук, наполовину засунутых в рукава сермяги, сплетались все крепче и крепче, и трудно было угадать, что взволновало его — неожиданная ли эта радость, или печальные воспоминания.

На длинной скамье, под огромной ветвью груши-сапежанки, за живою изгородью из высоких мальв и ночных красавиц, окруженные благоуханием резеды и пиловей, сидели молодой мужчина и женщина и о чем-то тихо беседовали. Почему тихо — они и сами не

знали, — разговор шел о самых обыкновенных вещах. Мужчина держал в руках букет полевых цветов и трав и поодиночке подавал их женщине.

— Посмотрите-ка, васильки-то совсем поседели, а какие были синие, красивые! И ясное лето стареет вместе с ними... А вот отцветший одуванчик, он похож на пуховый шарик, а на солнце кажется, будто сделан из самого тонкого стекла. Жаль дунуть, — разлетится во все стороны и нет его... Может, и счастье человека — такое же, как этот шарик. Сегодня есть, а завтра подует сердитый ветер и далеко умчит все то, что человеку было милее жизни. Как вы думаете, панна Юстына, всегда ли человеческое счастье так непрочное?

— Не знаю, — ответила Юстына, — мне иногда мечтается о таком счастье, которого бы никакие ветры не развеяли.

— Так вы думаете, что можно работать без отдыха, испытывать всякие лишения и все-таки быть счастливым?

— А Ян и Цецилия? — подусерьезно, полушутливо спросила Юстына.

Наступила минута молчания.

— Вот эта веточка с красивыми султанчиками — тимopheева трава, этот розовый цветок — заячий лен, а эти желтые, как огонь, рюмочки...

Из глубины дома, из кухни, где Антолька готовила ужин, донесся громкий крик индюка, сопровождаемый серебристым смехом девушки.

— Ха-ха-ха-ха-ха! — нескончаемой гаммой заливалась Антолька.

— Болту-болту-болту! — вторил ее смеху Михал, изумительно подражая крику индюка.

— Михал вот уже целый год ухаживает за Антолькой, жениться на ней хочет. Может, и поженятся, только не сейчас: ни я, ни дядя не позволим ей выходить замуж в шестнадцать лет. Коли он вправду любит ее, пусть подождет года два-три, пока девочка сил и ума-разума наберется. Другой бы закручинился от этой отсрочки, а он нет. Всегда весел, всегда в голове разные шутки да дурачества. Совсем не то, что я: хоть от природы и я человек неунывающий, но если мне что-нибудь не удастся, то хоть в могилу ложись...

В кухне весело и звонко засвистела иволга, и, словно в ответ ей, в саду Фабиана раздался свист на мотив песни:

А кто хочет славно жить,
Пусть идет в войсках служить!

— Так вот... эти желтые, как огонь, рюмочки — куриный мор, а эта травка... я приложу ее к вашей руке, и она пристанет так, что и оторвать ее будет трудно. Поэтому ее и называют липучкой.

Он осторожно, с улыбкой положил на руку Юстыне зеленую травку, которая действительно тотчас впилась в тело своими незаметными колючками.

— А вы и вправду поедете с нами завтра на Могилу?

Он нагнулся и робко заглянул ей в лицо.

— Оно, пожалуй, и нехорошо, что вы до сих пор там не побывали.

Смелость этого упрека как-то странно противоречила его робкому взгляду. Она задумчиво смотрела вдаль.

— Сколько таких поступков совершила я в жизни, которых надо стыдиться, — медленно проговорила она, сдвинув брови, — а никогда, никогда еще не чувствовала этого так сильно, как сейчас.

— Так поедете?

— Непременно.

— А если дядя останется дома?

Она спокойно и доверчиво посмотрела на него и ответила:

— Тогда я поеду с вами.

Рядом с зеленой травкой на руке Юстыны виден был порез серпом. Ян, не спуская глаз с красноватой ранки, продолжал:

— Я уже сейчас по лицу старика вижу, что завтра на него найдет хандра. А тогда он никуда не выходит, не ест, не пьет, не говорит ни с кем. Так иногда бывает целый день, а то два и три дня. В такое время мы с Антошкой ходим на цыпочках, говорим тихо, точно в доме покойник... Это у него какая-то душевная болезнь!

В это время Анзельм несвойственным ему быстрым шагом приблизился к одному из открытых окон.

— Я вот сейчас покажу вам эти книжки, — сказал он идущему за ним Витольду, — сейчас покажу...

Узкая скамейка не мешала подойти к окну, и, опершись на нее коленом и заглянув внутрь, Витольд одним взглядом окинул несколько необычную комнату. Это была так называемая боковуша, отделяющаяся сенями от просторной горницы, — маленькая, продолговатая комнатка, с низким бревенчатым потолком и неровными, скупно выбеленными стенами. Стоял там деревянный топчан с тюфяком, набитым сеном, с подушкой и домотканым одеялом, простой некрашенный стол у окна, зеленый сундук, по всей вероятности с одеждой, и один старый стул с деревянной спинкой — вот и все. Над постелью висели три большие картины: вверху, почти под самым потолком, — образ остробрамской божьей матери в раме, покрытой еще довольно блестящей фольгой; ниже, почти над самой постелью, — два серых, в деревянных рамках, рисунка, изображающих всадников в рыцарских доспехах. За образ была заткнута освященная пальмовая ветка; над рисунками висел на гвоздике маленький терновый венец. У окна на столе стоял небольшой кувшин с водой, а подле него опрокинутый вверх дном стакан. Дальше, у самой стены, за лампой с высоким колпаком лежало несколько книжек в истрепанных обложках. За этими-то книжками Анзельм протянул руку и, подавая их Витольду одну за другой, медленно читал их заглавия:

— «Псалмы» Кохановского... Обратите внимание на надпись сбоку.

— Анджей Корчинский, — громко прочитал Витольд.

— «Пан Тадеуш»... Посмотрите, что написано...

— Анджей Корчинский.

— «Северные сады»... Посмотрите...

Он прочитал несколько заглавий, указывая бледным пальцем на надписи. Только одна надпись была длиннее других. Она состояла из четырех слов: «Анджей Корчинский Ежи Богатыровичу».

— Отцу Янка, его отцу, — многозначительно кивнул Анзельм в сторону племянника и положил книжки на стол.

— Все это от него... только у нас и свету, что он оставил. Впрочем, и того уж поубавилось: одни померли, другие поглупели и все позабыли, а есть и такие, что не с уважением и благодарностью, а со смехом да с издевками о нем вспоминают. Из праха земного сотворены мы и только и заботимся, что об этом прахе, о своем теле. Но тот, кто хоть раз испытал духовную радость, тот навеки сохранит благодарность к пану Анджею и будет скорбеть о его кончине. Это он здесь сеял, он просвещал, он поддерживал в сердцах людей тот огонь, о котором вы сейчас говорили, он за него и молодую свою голову сложил... Упокой, господи, душу его! Аминь!

Анзельм склонил голову на руки, и на его раскрасневшиеся щеки скатились две крупные слезы. Витольд, облокотившись на подоконник, погрузился в глубокие печальные размышления. Странно было видеть, как быстро менялось выражение этого молодого лица в зависимости от состояния его духа. Час назад — веселый, шаловливый, как ребенок, потом охваченный энтузиазмом, он казался теперь постаревшим, перенесшим десятки лет страданий, глубоко окунувшимся в море человеческих скорбей и несчастий. Да, они и были его купелью, он вырос среди них, они проникли в его кровь, его душу, и теперь, почти еще мальчик, он стоял с сумрачным лицом и печальным взором зрелого мужа, всматривающегося в темную бездонную пропасть. Но долго это продолжаться не могло, и, еще раз заглянув в комнату Анзельма, он воскликнул:

— У вас тут, как в монашеской келье!

Анзельм тоже преодолел свое волнение и со спокойной улыбкой ответил:

— Да. Я свою комнату иначе и не зову, как кельей. В одной песне есть такие слова... Я певал ее в то время, когда еще на весь мир сияло солнце:

Будешь госпожою,
Будешь госпожою,
В богатстве, в холе.
А я буду ксендзом,
А я буду ксендзом,
В белом костеле.

Ян сильным движением оттолкнул от берега челнок, усталанный ветками серебристого тополя, и прыгнул в него. В руках он держал весло. На нем была короткая сермяжная куртка, обшитая зеленой тесьмой, небольшой картузик он сдвинул на затылок. Ян улыбнулся и спросил у своей спутницы:

— Удобно вам?

— Замечательно, — ответила Юстына.

Она действительно чувствовала себя удобно на зеленой душистой подстилке из листьев, наполовину прикрытой ее белым платьем. Уже несколько лет ей ни разу не приходило в голову надеть это простое и недорогое, но изящное платье, кокетливо открывавшее шею и руки. Давно уж она не укладывала своих черных волос так, чтобы лучше выделялись прекрасные очертания ее низкого лба, давно не закалывала их на затылке тяжелым узлом, живописно падающим на шею, слегка позолоченную загаром. В два часа дня, спустившись с горы к реке, Юстына на минуту остановилась на маленьком выступе, где почти на одной линии с усадьбой Анзельма рос старый развесистый тополь. Встав под деревом, она нагнулась и посмотрела вниз. На узком песчаном берегу возле усталенного листьями челнока стоял Ян. Заметив ее, он высоко поднял шапку над золотистыми волосами и радостно закричал:

— Добрый день!

Раздался плеск воды под ударом весла, челнок качался и с прибрежной мели выплыл на тony.

— А дядя? — спросила Юстына.

— Болен. Вчера, как только проводил вас, ушел к себе в комнату и дверь на крючок запер. Я заглянул в окно, — лежит на топчане, глаза рукой закрыл. Не то спал, не то думал о чем-то, бог его знает.

Они медленно плыли вверх по течению. Над рекой с одной стороны поднималась облаженная желтая стена с неподвижным бором наверху, с другой — высокая изумрудная гора, а на ней, словно четки, один за другим выступали из зелени старых раскидистых деревьев и прозрачной рощицы белые и серые домики с

резными крылечками, со сверкающими окнами, с трубами, из которых вились дымки. От каждого дома к реке сбежали вытопанные тропинки. Они скрещивались между собою и целой сетью белых линий мелькали по зеленому скату горы. Знойное солнце осыпало необозримую водную гладь каскадом искр, а его лучи, преломляясь в ее хрустальных струях, вспыхивали яркими кострами. Время от времени эти костры, взметнув целый сноп лучей, меркли или совсем гасли, а в водной лазури, под тонким рисунком мелкой зыби, мелькали сумрачные тени проносящихся по небу туч. Это были не тучи, грозившие близкой бурей, а плотные серовато-белые облака; они удлинялись и росли, принимая все новые формы и очертания. Медленно и плавно скользя в тихом, насыщенном испарениями воздухе, они то закрывали, то вновь открывали раскаленный солнечный диск, и в этой изменчивой игре света и тени все внезапно темнело и вновь озарялось. Вдалеке, там, где река, убегая, поворачивала за бор, тучи, клубясь, застилали небосклон и сливались в одну темную массу с серебристыми, ослепительно сверкающими краями.

— Будет дождь, а то и гроза, — сказал Ян. Он сидел на узенькой скамейке на самом носу и, наклонив голову, медленно раздвигал веслами ленивые волны.

На зеленой горе исчезли последние домики, и тут же за ними гора расщеплялась, образуя глубокий и длинный овраг, выходящий своим треугольным, расширяющимся кверху устьем к реке.

Ян движением головы указал Юстыне на ущелье Яна и Цецилии, которое заросло непроходимой чащей, отливавшей всевозможными оттенками листьев, яркой окраской цветов и ягод, вкрапленных в густую зелень.

Юстына приподнялась на сиденье. Ей хотелось в этом хаосе красок и линий различить старый памятник.

— Он скрыт от мира, и его ни с какой стороны нельзя увидеть, — сказал Ян, — разве осенью, когда с деревьев и кустов облетит листва, он мелькнет перед глазами плывущих по реке. Вам не наскучило ехать?

Ян рассказал, что из Богатыровичей и Корчина к Могиле ведут две дороги. Можно переправиться через

реку против панского дома или против поселка и потом добрый час идти лесом или плыть дальше с пол часа и выйти на песках, а оттуда до Могилы и версты не будет. Ян повез ее этой другой дорогой, потому что ему хотелось показать ей пески.

— Я потом скажу, почему мне хотелось показать их вам. Для меня это такое место, что... что...

Он не договорил. Невдалеке от него с глухим жужжаньем, низко-низко, почти над самой водой, летела пчела. До сих пор над их головами пролетело немало пчел, но эта спускалась все ниже и ниже, сверкая на солнце каплями покрывавшей ее янтарной клейкой жидкости. Ян, давно уже не спускавший с нее глаз, уловил момент, когда пчела коснулась крылышками воды, ловко подставил ей весло и осторожно перенес обессилевшее насекомое на борт челнока.

— Жаль трудолюбивую зверушку, — заметил он, — зря утонула бы. Может быть, ты моя? — усмехнулся он, глядя на неподвижно сидевшую пчелу.

За большим треугольным устьем, открывавшим вход в ущелье Яна и Цецилии, зеленая гора переходила в гладкую отвесную стену, прорезанную яркокрасными пластами мергеля, с выступающим вперед широким полукруглым карнизом из твердой огненно-желтой глины у самой верхушки. Под этим карнизом чернел длинный ряд совершенно круглых отверстий, расположенных на равном расстоянии друг от друга.

— Что это? — спросила Юстына.

Но прежде чем Ян успел ответить, в одном из отверстий что-то мелькнуло, и красивая птичка с белоснежной грудью и длинными иссиня-черными крыльями, быстро нырнув вниз, пролетела почти над их головами.

— Ласточка! — вскрикнула Юстына.

— Да, это ласточкины гнезда, — глядя на круглые отверстия, подтвердил Ян. — Умная птица выдалбливает себе жилище в этой твердой скале. Когда-то мне очень захотелось узнать, что это за дворцы, и — пове-рите ли? — я убедился, что эти маленькие пташки действительно и комнаты строят себе и коридоры... А вот и еще одна летит, а вот третья, четвертая...

Из коридоров и комнат, выдолбленных в голой

гладкой стене, одна за другой вылетали чернокрылые птички и, сверкая на фоне красновато-желтого берега белоснежными грудками, стремительно проносились над самой водой. Пчела, которая успела уже отдохнуть и набраться сил, вспугнутая шелестом крыльев, взвилась с борта челнока и с громким торжествующим жужжаньем полетела через ущелье к родной деревне.

Ян следил за ней глазами.

— Вот и спаслась маленькая усердная работница! — сказал он, радостно улыбаясь.

— Да, все-таки одной смертью меньше и одной капель сладости больше на свете, — прибавила Юстына, и, казалось, светлое настроение Яна отразилось на ее лице.

— Вы правду сказали, пани, — ответил Ян, погружая весло в воду, — мир полон горя и смерти, и сладость жизни достается в нем дорогой ценой...

— Откуда вы это знаете? — живо спросила Юстына.

Он посмотрел на нее долгим, странным, слегка насмешливым взглядом.

— Вы, господа, думаете, что у простого человека нет ни мыслей своих, ни чувств? Может быть, в этом-то и есть ошибка...

Он хотел было еще сказать что-то, но только поправил шапку на голове и еще сильнее налег на весла.

— А я знаю и верю этому, — серьезно сказала Юстына.

Ян снова усмехнулся и махнул рукой.

— Что вы знаете? — резко спросил он.

— Что это правда... — ответила Юстына, вся вспыхнув. Ян сочувственно взглянул на нее.

— Тут нечего стыдиться или огорчаться, — ласково сказал он, — вы такой уж родились и вас другому учили.

В это время до них донесся сначала жалобный вой собаки, а потом протяжный голос:

— Добрый вечер, господа!

В нескольких десятках шагов от берега, в крохотной лодке, привязанной к столбу, вбитому в речное дно, с удочкой в руках сидел Юлек Богатырович, а на узком зеленом мыске стоял черный Саргас и, глядя на хозяина, жалобно визжал. Этот плечистый парень с широким красным лицом и целым лесом выбившихся

из-под шапки огненно-рыжих волос, неподвижно сидевший в своем игрушечном челноке, казался каким-то фантастическим существом — сказочным обитателем вод, который принял наполовину человеческий образ и на миг выглянул из воды, пряча свою звериную часть тела в родной стихии.

Зато вполне человеческим было радостное удивление, которым он встретил приближающийся челнок Яна. Впрочем, по его продолговатым бирюзовым глазам, которые, как и губы, сияли дружелюбной улыбкой, видно было, что такой же широкой детски-простодушной улыбкой, открывающей белоснежные губы, приветствовал он все, что ни встречалось ему на небе и на земле.

— Куда? — спросил он, глядя на Яна и его спутницу, но, видимо, боясь пошевелиться.

— На Могилу.

— Хе-хе-хе! Только долго там не оставайтесь.

— А что?

— А то, что к вечеру будет ливень, хе-хе-хе!

Челнок Яна проскользнул, слегка задев лодку смеющегося водяного.

— Отчего ты Саргаса не берешь к себе?

— Он мешает.

— Вот глупая собака! Взяла бы да и приплыла к хозяину, коли так соскучилась.

— Я ей не позволил!

Он быстрым движением рванул удочку, и маленькая рыбка, трепеща на крючке, серебряной искрой блеснула в воздухе.

Ян и Юстына плыли дальше.

Ян начал рассказывать о Юльке.

Станный это парень! С детства прослыл дураком, терпел побои за неповоротливость и в семье был на последнем месте. И пристрастился он к Неману, — как будто душу свою оставил в реке, так и тянет его к ней.

— Он тут почти круглые сутки, — и ест и спит в лодке или где-нибудь поблизости, на берегу. К полевым работам охоты у него нет, зато рыбы ловит много и продает в соседнем городке, а деньги аккуратно приносит отцу. Неман и собака Саргас — это все, к чему он привязан. Когда, три года назад, Юльку надо было

идти в солдагы, он целые дни плакался, как это он жить будет без Немана. И вдруг, нате вам, скрючилось у него три пальца на правой руке. Так вот, ни с того ни с сего калекой стал. Но все отлично знают, в чем дело. На это разума у него хватило. Он хоть и глуп, да хитер. Теперь приходится идти другому сыну Фабиана, вот поэтому и пошли в их семье такие раздоры... Ну вот, и пески видны! — прервал Ян свой рассказ.

Берега реки становились все пустынное и беднее. С той стороны, где еще так недавно приветливо улыбались им живописные домики поселка Богатыровичей, а потом раскрывало свою зеленую пасть широкое ущелье, — теперь над голым красноватым обрывом кое-где виднелись лишь клочки полей, поросшие жиденькой рожью и осененные кривой вербой или старой грушей. С другой стороны берег понижался почти до уровня реки, а густой бор уходил вглубь, точно уступая место белому, покрытому небольшими холмами песчаному пространству.

Ян направил челнок к этим пескам, и тот, проскользнув, словно змея, между торчавшими из воды камнями, пристал к берегу.

— Остановитесь и посмотрите вокруг, — тихо сказал Ян.

Юстына огляделась по сторонам.

Они находились посреди широкого песчаного поля, часть которого не без труда уже перешли. Поле это напоминало озеро, охваченное с одной стороны темным полукружием бора, а с другой — цепью песчаных холмов, отделявших его от реки. Словно водную гладь, избородила пески мелкая зыбь, и, хотя воздух казался неподвижным, кое-где над песками поднимались маленькие пыльные облачка; покруглившись над самой землей, они плавно опускались настолько мелкой пылью, что нельзя было различить отдельные песчинки.

Бор, как бы с неохотой отступая от берега вглубь горизонта, оставлял перед собой широкую отмель, поросшую низким колючим кустарником, сквозь который просвечивали белые пески. Только за этой колючей оградой он постепенно вырастал высокой темной стеной.

У подножия зарослей розоватый вереск далеко

раскинул свои сухие печальные гирлянды, а дальше, от края до края этой пустыни, уже не было ничего, кроме покрытых рябью глубоких песков да маленьких песчаных облачков, которые то кружились низко над землей, то легким дымком взвивались кверху и таяли над круглыми макушками голых холмов. Ни деревца, ни цветка, ни даже былинки. Ни одного звука, кроме карканья вороны, которая, тяжело взмахнув крыльями, поднялась с берега и исчезла в бору. Никаких красок — лишь белый песок да серовато-розовый вереск; никакого движения — кроме скользящих по небу тяжелых, продолговатых облаков, набухших серой мутью; никаких ароматов — только сухая, едкая пыль, которой, казалось, был насыщен здесь воздух.

Ноги Юстыны погружались все глубже в сухуюzybкую горячую топь. Взор ее с удивлением блуждал по этой пустыне, о которой она никогда не слыхала и которую очень редко видел человеческий глаз, ибо никакая работа, никакая корысть и никакая дорога не приводили сюда человека. Но удивление ее еще больше возросло, когда она подняла глаза на своего спутника.

Ян снял шапку и не спускал задумчивых глаз с цепи песчаных пригорков. Он напоминал собой человека, который стоит у порога храма, всматриваясь в алтарь. Можно было подумать, что нигде, кроме этого места, он не чувствовал себя до такой степени человеком и нигде его не посещали более человеческие, более высокие, более далекие от повседневной жизни чувства и мысли.

— Давно я здесь не был, — сказал он, и в голосе его звучало благоговение. — Лет пять или шесть не был. Дядя предпочитает ходить на Могилу другой дорогой, а то, очутившись здесь однажды, он упал плашмя и целый час рыдал...

— О чем же он плакал? — спросила Юстына с непонятым для нее самой волнением.

— Он был долго болен, почти не выходил из дому и после выздоровления в первый раз увидел это место, через которое когда-то проезжал со многими другими людьми...

Она поняла и больше уже ни о чем не расспрашивала.

— Мне это место очень памятно... — не сводя глаз с пригорков, продолжал Ян. — Вон с того бугра я в последний раз видел своего отца.

Он показал пальцем на один из холмов.

— Видите?.. Вот он... третий от леса... Днем и ночью, летом и зимой стоит он обнаженный, никакая травка прицепиться к нему не хочет, а когда-то в один вечер весь этот бугор был сверху донизу истоптан человеческими и конскими ногами... Много было слез пролито на него в то время...

— И вы все хорошо помните?

— Как не помнить! Вы и не поверите, до чего ясно помню. Семь лет мне в то время было, восьмой шел... так может и не удивительно, что помню.

Они подвинулись на несколько шагов вперед. Ян снова обернулся к холму и остановился.

— Отсюда Немана не видно, — сказал он, — но мы с того бугра часа два, а то, может, и больше смотрели на реку. А по реке то и дело челноки сновали, людей со всех сторон привозили... небольшой паром ходил... Все уже прошли через пески, проехали и скрылись из виду. Вечер стоял тихий, майский. Как сейчас помню: месяц поднялся уже на середину неба и стоял как раз над песками. Тихо было на реке, только в лесу щелкал, заливался соловей... Отец поцеловал мать, шепнул ей что-то, а потом поднял меня и тоже целовать начал. Раньше никогда он меня так не целовал, — человек он был скорее угрюмый, задумчивый, чем веселый, молчал и, бывало, все в себе таил; не такой, как дядя Анзельм, — тот был живой, душа нараспашку. Должно быть, за эту замкнутость и глубокую задумчивость пан Анджей так и полюбил моего отца. Но в ту минуту отец не выдержал, крепко-крепко прижал меня к груди и стал целовать... уж я и не знаю сколько раз... В то время и пан Анджей простался с женой и сыном. Стояла здесь и панна Марта, тогда еще молодая; прощаясь, она надела на шею дяди образок; стоял и еще разный народ — дворовые и наши, из поселка человек двадцать. Говорили все, но никто не возвышал голоса, — словно пчелиный рой гудел в улье. Под горой стояли две оседланные лошади, они ржали

от нетерпения и рыли копытом песок. Как отец перестал меня целовать и опустил наземь, — я не помню; помню только, что увидел его рядом с паном Анджеем, — они верхом по пескам ехали. Должно быть, я долго плакал, а когда очнулся, они были уже на половине дороги между песками и лесом. Месяц светил им в лицо, а они все ехали вперед, ехали не шибко и не тихо: кони под ними шли, будто под музыку... Ни разу не оглянувшись назад, они наискосок пересекли пески и вон там — видите, пани? — где ели растут вместе с соснами, скрылись из глаз. А в бору пел соловей...

Он протянул руку в направлении бора, к которому они медленно подходили. По мере их приближения к лесу песок становился тверже. Теперь они шли по широко расстилавшимся розовым гирляндам вереска. С минуту оба молчали.

— И вы больше уже никогда не видали отца?

— Раз один только после прощанья услышал о нем. Лето уже было, хлеб созрел, кое-где жать начинали. Стояли мы на нашем дворе, там, где липы растут. Было нас человек пять-шесть, все собрались на своих дворах, смотрели в сторону песков и слушали. А оттуда доносился стук и грохот, то протяжный, то отрывистый, точно со всего неба стянулись тучи и метали в это место молнии. Соловей в то время уже не пел, зато из леса вылетали целые стаи птиц и, как ошалелые, неслись куда-то вслепую... А над песками все грохотало и грохотало, и только к вечеру стало мало-помалу стихать... И когда стихло... в лесу раздались неистовые человеческие крики. Я так испугался, что меня начало трясти, и я прижался к матери. Мать плакала, утираясь фартуком, и на что-то жаловалась соседкам. Потом и крики умолкли, спустилась ночь, набежали тучи, темно стало, хоть глаз выколи. Но, несмотря на ночную пору, народ продолжал стоять кучками на дворах и глаз с песков не сводил, и вместо дневного гомона птиц раздавался в тишине человеческий шепот, похожий на шум осеннего ветра. Вдруг на противоположном берегу что-то упало в воду, и слышим мы — плещет и плещет... Кто-то плывя через реку, переплыл, вышел на берег. Стоя под липами, мы видели, что человек осто-

рожно, словно тень, прокрадывался в гору, то быстрее, то замедляя шаг, и вдруг прыгнул и остановился перед нами. Мать перекрестилась, крикнула: «Анзельм!» — пошатнулась и упала наземь. Старый Якуб — в то время он был еще в своем уме — взял дядю за руку, привел к себе в хату и зажег огонь. И мы все пошли туда же. Меня опять начала трясти лихорадка, когда я взглянул на него. Творец милосердый! На что он тогда похож был! Лицо черное, как у арапа, только глаза, словно волчьи, горят, платье все изодрано, одна рука болтается, как плеть, с волос и одежды льет вода. Задыхался он так, что слова вымолвить не мог, и только стонал, точно у него что-то внутри разрывалось. Люди вокруг шептались, спрашивали его, за руку его дергали, за платье, — он хоть бы что... Раз только взглянул на меня — и слезы ручьем полились по его лицу. Взял он меня за ворот рубашки и так сильно прижал к себе, что я чуть не крикнул от страха, потом заговорил. Сначала он говорил невнятно, но потом я — и сам не знаю как — догадался, что он приказывает мне идти к пану Бенедикту. «Скажи... скажи ему, что пан Анджей сюда...» — и он указал на лоб. — А твой отец — сюда!..» — и он указал на грудь. И потом добавил: «Нет их! — и спросил меня: — Понял?» Ох, понял я! Понял так хорошо, что до сих пор...

До сих пор при этом воспоминании становился глуше его голос, который еще вчера оглашал поле звонкой песней.

Ян и Юстына не заметили, как очутились в лесу, не заметили переливов света и тени, сменивших безотрадное однообразие пустыни, не слышали раздававшегося над ними щебетанья птиц.

Ян шел с низко опущенной головой и, кажется, совсем забыл о своей спутнице, а Юстына не сводила с него серых глаз, лихорадочным блеском горевших из-под черных ресниц.

— Горе на меня нахлынуло такое, что я позабыл о страхе. К панскому двору дорогу я знал хорошо: отец меня туда часто брал и панна Марта за мной присылала. Дорога недлинная. Летел я, как стрела из лука, падал, слезами захлебывался, но добежал. Лакей сна-

чала не хотел меня пускать, но увидел, что ребенок плачет, и пустил. Я пробежал через столовую в кабинет пана Бенедикта, упал к его ногам и зарыдал. Он стоял между камином и письменным столом. В камине горел огонь, и все ящики письменного стола были выдвинуты. Помню, больше чем на него самого я смотрел на его тень на стене, и показалось мне, что на этой тени все волосы встали дыбом, как поставленный стоймя сноп колосьев. Он наклонился ко мне — узнал меня — и на ноги поставил. «Что тебе надо?» — спросил. Я, захлебываясь слезами, только и мог сказать: «Дядя сказал, что пан Анджей — сюда!.. — и показал на лоб. — А мой отец — сюда! — и показал на грудь. И еще сказал: — Нет их!» Только я сказал, как в комнате раздался не то человеческий вопль, не то звериный вой... Только тогда я заметил, что в углу кабинета жена пана Анджея замертво свалилась со стула. Свалилась и лежит на спине, бледная как полотно. Пан Бенедикт обеими руками схватился за голову, дернул звонок так, что шнурок остался у него в руках, и, когда вбежала панна Марта, показал ей на вдову Анджея, а сам выбежал из дому и прямо к нам в поселок. Я побежал за ним, но догнать не мог, — сил не хватило; а когда пришел в нашу хату, вижу — пан Бенедикт расспрашивает дядю. Одно только я услышал: «А Доминик?» Дядя посмотрел на свои руки и ноги и показал, как будто их скручивают веревкой. Он стоял, прислонившись к стене, одна рука его висела, как плеть, а другой он, как будто не сознавая, водил по черному лицу. Ноги его тряслись, а с волос еще стекала мелкими каплями вода. Пан Бенедикт не вскрикнул, не заплакал, лишь подошел к окну и застонал так, как стонет только умирающий.

— Ужасно! — вырвалось у Юстины.

Ян, как будто вспомнив о ее присутствии, вдруг обернулся к ней и увидел, что слезы медленно, одна за другой, сбегали с ее опущенных ресниц. Он прикоснулся к ее плечу.

— Посмотрите-ка!

Юстина остановилась и только сейчас заметила, что они находятся в самой чаще леса. В эту минуту в первый раз до ее слуха донесся птичий гомон, который,

по мере того как они уходили дальше в лес, все нарастал и теперь разразился неистовым хаосом звуков. На нее пахнуло свежим воздухом, пропитанным сильным запахом смолы, можжевельника и чебреца, смешанным с тем сырым, напоминающим кладбище запахом земли, покрытой в тенистых местах белой плесенью.

— Взгляните вперед, — повторил Ян.

То, на что он указывал ей, было широкой поляной, лесным лугом, замкнутым волнообразной цепью небольших холмов, по которым подымались и спускались вниз между густыми перепутанными зарослями молодых деревьев и кустов старые сосны и ели. Местами широкие лапы елей, спускавшиеся до самой земли, и молодой суковатый ельник с гирляндами широких развесистых ветвей стояли темнозеленой, почти черной стеной, словно подпираемой толстыми елями-колоннами. Там и сям стройные, прямые и гладкие сосны с высоко вознесшимися кронами подымались над ковром, затканым чудесными веерами папоротников и изумительным пухом разноцветных мхов. И эти папоротники со слоями резных листьев, покоящимися друг на друге, легкие, хотя и огромные, со множеством оттенков зелени, и выглядывающие из-под них или же целиком их вытесняющие мхи, бледнозеленые, коричневые, седые, с тончайшей резьбой мириадом крохотных веточек, уходили далеко-далеко, как бы в бесконечность, исчезая в лесной чаще и снова выплывая обновленным морем на прозрачные просторы бора. А на этих прозрачных просторах, в царстве полутеней, по гладким стволам сосен, по мхам и папоротникам, вверх и вниз, — всюду бегали, гонялись друг за дружкой, скользили, то разгораясь пожаром, то вспыхивая роем искр, струи солнечного света, его потоки и стрелы. И все это казалось молчаливой и таинственной, блистательной и безумной игрой светлых и темных духов леса.

Но на окруженной лесом поляне этой игры не было. Над нею виднелась лазурь неба, которую беспрестанно закрывали скользящие вверх облака. А внизу ее окутывала пелена солнечного света, смягченного и прерываемого длинными неподвижными столбами теней, падавших от еловой чащи. Поляна была устлана низкой

и неровной травой, лиловым чебрецом и белым тысячелистником да мелкими кустиками клевера и бессмертника. По краю этой лесной лужайки рос, выбегая на ее середину, можжевельник, осыпанный твердыми ягодами, напоминающими то черную блестящую росу, то красноватую ржавчину, которая кровавыми пятнами проступала на темной зелени. Из-за сухих иглистых веток можжевельника выглядывали желтые цветы волчьей пасти и длинные гирлянды всякого рода повилик, плющей и плаунов. То здесь, то там, под кустами низкой травы, краснели и желтели самые разнообразные грибы. В глубине, под темной колоннадой из нескольких тесно стоящих елей, покрытый полосами падавших от них теней, подымался небольшой продолговатый холмик с мягкими склонами, какое-то возвышение или курган, явно насыпанный человеческими руками и поросший, как и вся эта поляна, неровными пучками невысокой травы.

Ян молча указал Юстыне на этот холмик. Она, тоже молча, кивнула головой: она поняла, что это братская могила.

— Сколько? — тихо спросила она.

— Сорок человек, — ответил Ян, сняв шапку, и прибавил шаг.

Сухие черные шишки затрещали под их ногами, зашелестел в елях пушистый хвост убегающей белки, звонко засвистал дрозд; где-то подальше заливались щеглы, ворковали дикие голуби, мерно стучали жолны и дятлы. Откуда-то, шумно хлопая крылышками, с пронзительным чириканьем взлетела целая туча чижей и песчанок; краснокрылая сойка мелькнула лазурью оперения и уселась на сосновой ветке; в воздухе, заглушаемые запахом прели, поднимались, словно из огромной курильницы, ароматы можжевельника, древесной смолы и чебреца.

Ян и Юстына остановились у могилы, кое-где поросшей лиловыми колокольчиками. Казалось, что вот-вот дунет ветерок и цветы зазвенят.

— Как в песне, — сказал Ян:

Разво ворон каркать станет,
Дождь из черной тучи грянет...

Прошло четверть часа, полчаса, час, а Юстына все сидела у подножия могилы, погруженная в неведомые ей до сих пор чувства и мысли.

Дитя печального времени, тянувшегося длинной вереницей серых дней, Юстына не помнила тех ярких и бурных минут, которые охватывают пожаром и наполняют страстью сердца даже самых посредственных людей.

Ее колыбель стояла среди мрака и молчания, прерываемого только робким шепотом повседневных маленьких дел, либо вздохами и жалобами, подобными стону ветра, который бьется в тесном пространстве.

Росла она в атмосфере домашних забот и семейных неурядиц, заслоняемых, отгораживаемых от остального мира стенами родного дома, созревала под влиянием восторгов и горестей, источником которых было ее же собственное сердце. Все, что окружало ее, жило мелочными заботами сегодняшнего дня, редкими радостями и надеждами, жило в постоянных опасениях, горестях и разочарованиях, и всегда только личных, будничных, ничтожных.

Вокруг нее человеческие мысли, как птицы с подбитыми крыльями, еле поднимались над землей и тяжело кружились над одним и тем же местом; человеческие чувства, как мотыльки после ярких мгновений взлета и экстаза, помятые, измученные, падали на землю. Ни разу в жизни не видела она тех молний, которые с подоблачных высот идеалов пронзают души смертных обитателей земли. Ни разу не видала она летящей к небу стрелы героя. Никогда не слыхала она о мужестве, самоотвержении, борьбе, которые не измерялись бы известным количеством моргов земли или счастьем отдельных лиц, а преследовали бы более высокие цели — интересы человечества, народа. Пронзали землю те же молнии, что и в незапамятные времена, летели к небу те же стрелы героев, велась та же борьба, но все это происходило далеко от мест, где родилась и росла Юстына.

Ни музыка, которой с детства обучал ее отец, ни уроки гувернанток, ни правила, внушаемые пани Эмилией, ни совместное чтение с возлюбленным страстной

лирики Мюссе и романов Фейе¹ не приподняли перед ней завесы, скрывавшей все, что было здесь в этот момент важным, великим и возвышенным.

Несчастье редко бывает хорошим наставником, а поражения, точно гигантские тиски, дробят и придавливают к подножью даже вершины. В жизни отдельных людей и целых народов бывают периоды таких невзгод, что чаша горя кажется переполненной до краев. Юстына была детищем такого безвременья, и поэтому из могильного кургана в душу ее ворвался поток чувств и мыслей, если и не совсем новых для нее, то все же мало знакомых и не вполне определенных. И она так погрузилась в них, что совсем забыла о себе.

Быть может, первый раз в жизни она совершенно забыла о себе и чувствовала только, что сердце ее ширилось, пело и наполнялось теплом, точно из травы, к которой она прильнула грудью, вырывалось какое-то невидимое пламя и проникало в нее. Не был ли это огонь, горевший некогда в груди тех, кто спал теперь непробудным сном в одинокой могиле, или то были невидимые искры, что выбрасывало в мир вечное пламя, которым горели под землей их кости, — пламя, полученное ими в дар вместо лавровых венков?

Одиночество и забвение. Сколько весен, сколько зим прошло над этим могильным холмом, возвышающимся за озером бесплодных песков, окруженным старым бором! Сколько за это время пронеслось над миром радостных, громких, ликующих кликов, но никакое эхо не доносило их сюда!

Шли дни за днями, годы за годами; где-то далеко танцоры и влюбленные соединялись в веселые пары; возвращались к очагам хлебопашцы, обремененные плодами своих трудов; воины с гордым челом несли победные знамена; горели на кладбищах факелы погребальных процессий, благоухали розы, взращенные заботливой рукою. Здесь же, над этой могилой, было пустынно и тихо. Мир не знает о ней, и только в погожие ночи небо зажигает над нею звездные свечи и лам-

¹ Фейе (1821—1890) — французский писатель, автор нескольких романов, рассчитанных на вкусы высших слоев общества.

пады луны, а в дождливые и бурные застилает ее мокрым саваном туч и заставляет ветер петь похоронные песни. Весной и летом гремят над нею хоры птиц, а зима, убирая деревья снежным покровом, превращает их в памятники из мрамора и хрусталя. Тогда здесь холодно и пусто, бледное солнце мириадами искр расшивает снежный покров поляны, а в хрустальных кружевах деревьев, возвышающихся как надгробные памятники, засвистит красногрудый снегирь, сорока взмахнет своими траурными крыльями или серые вороны, эти кумушки леса, хриплыми голосами передадут друг другу сплетни земли... Совсем как в песне:

Разве ворон каркать станет,
Дождь из черной тучи грянет...

Разве земля и деревья повеют могильным запахом можжевельника и плесени, а в летние вечера ласковый ветерок встряхнет высокие колокольчики и они зазвонят к панихиде, а низкие травы зашепчут молитву по усопшим...

Юстына подняла голову, — ее слуха коснулся монотонный серебристый звук, точно вода тихо падала с большой высоты. Она подняла глаза — по темной хвое елей вилась широкая серебряная лента, как будто сверху крупными каплями стекала вниз прозрачная струя воды. Что это? Волшебный каскад, взметнувшийся над братскою могилой по мановению руки растроганной богини леса? Нет! То была купа тесно растущих, тонких, покрытых пышною листвой осин, переплетающихся между собою гибкими ветвями. Ветер занес сюда их семена, и, как случается нередко, они здесь выросли среди хвойной чащи. Серебристым потоком врывались они в темную зелень сосен и елей, и их мелкие круглые листья, колеблемые легким ветром, сверкали, словно капли воды, и тихо роптали... роптали...

Невдалеке, прислонясь к гладкому стволу сосны, стоял Ян; скрестив на груди сильные руки, он переводил рассеянный взгляд с одного дерева на другое.

Юстына, остановившись в нескольких шагах от него, отчетливо видела его профиль и всю его залитую солнцем фигуру, резко выделявшуюся на темном фоне

леса. Она долго смотрела на него и, словно удивляясь чему-то, покачивала головой. Быть может, она думала о случайностях жизни, которая так неожиданно столкнула ее с этим еще недавно чужим и далеким человеком и вместе привела их сюда. И вдруг в ее устремленных на Яна глазах блеснули живые огоньки, и улыбка умиления тронула губы. Что-то мелькало у нее в мыслях и говорило в сердце, мелькало все быстрее, говорило громче, так, что бледный румянец проступил на щеках, а черные ресницы опустились, блеснув слезами. Она порывисто поднялась и, осторожно обойдя могилу, почти побежала к Яну.

Сухие бессмертники и прошлогодняя хвоя шуршали под ее легкими и быстрыми шагами. Услышав шорох, он обернулся, вскинул руки и сделал несколько шагов ей навстречу, но Юстына уже остановилась перед ним и с пылающим лицом, потупив влажные от слез глаза, протянула ему руки.

Не порывисто и страстно, а бережно и несмело взял он ее руки в свои и, низко склонившись, прильнул к ним горячими губами. Но вот он выпрямился, Юстына подняла глаза, и взоры их встретились — впервые за время их знакомства. Долго они стояли так, не отрывая друг от друга взгляда, в котором светилось еще робкое чувство. Наконец, с трудом отведя глаза, они одновременно обернулись к могиле.

— Пойдемте, — сказала Юстына и взяла его под руку.

— Пойдемте, — повторил Ян.

Они направились к выходу с поляны и молча пошли рядом спокойным и неторопливым шагом, но на их чуть склоненных лицах отражалось такое волнение, будто именно здесь, в этой обители смерти, в сердцах их забил источник жизни. Сквозь прозрачные ветви пробивались солнечные лучи. Ян и Юстына переходили из света в тень, огибая густые заросли папоротника и молодых сосен и осинки и ступая по мягкому мху, обрызганному алой брусникой или сизыми ягодами черники.

Они все еще молчали. Юстына несколько раз поднимала глаза на своего спутника, точно хотела ему что-то сказать, но снова опускала их. Лицо ее выра-

жало теперь робость, сменившую обычную надменность, или, вернее, гордую непреклонность, которая давно уже появлялась на нем всякий раз в присутствии посторонних. Казалось, она сбросила с себя тяжелый панцырь и, избавясь от вечной необходимости оберегать свое человеческое или женское достоинство, исполнилась спокойствия и доверия и лишь немного смущалась перед этим сильным человеком, который, скрывая в глубине могучей груди волновавшие его чувства, с глубокой почтительностью вел ее по этим безлюдным местам. Юстына видела, что этот удивительный человек, любя природу не меньше, чем она, знал ее лучше и был к ней гораздо ближе; и что ему были ведомы не только тайны природы, но и скрытые в ущельях и лесных чащах древние памятники и забытые могилы, которые он ей теперь показывал. Может быть, в голове ее мелькнула мысль о превосходстве над нею Яна во многих отношениях?

Как ни странно это может показаться, но такая мысль, несомненно, могла возникнуть у этой женщины, потому что правда жизни раскрывалась ей обычно в горьких обидах и страданиях, потому что сама жизнь сорвала перед ней обманчивую завесу, показав Юстыне многие явления во всей их неприкрытой наготы.

Мысль эта, несомненно, появилась у нее, так как она, сначала робко запинаясь, а потом все доверчивее и смелее стала рассказывать Яну о том, что было величайшей мукой ее жизни, что испытывала она всегда при виде всякого, даже повседневного труда и что с особой остротой почувствовала перед лицом того высокого самопожертвования и свято исполненного долга, которые явили ей памятник Цецилии и Яна и эта могила... Мучительное сознание собственной бесполезности привело ее в глубокое отчаяние.

Откуда пришло к ней это сознание? — Она знала откуда, потому что не раз задумывалась над этим. Оно пришло из жизненного опыта, который помог ей избавиться от многих иллюзий и заблуждений, а также из тех веяний времени, к которым она не могла остаться равнодушной, но много значило и то, что она была горда.

Все окружающие упрекали ее в гордости. И справедливо: она действительно была так горда, что ее уни-

жали все милости и услуги, которые ей приходилось принимать, не имея возможности отблагодарить за них, а в особенности сознание, что дни и годы проходят празднично и бесцельно. Иногда она сравнивала себя с камнем, занимающим в поле место, где могла бы вырасти хотя бы горсть зерна. Стыд и тоска! Тяжелым гнетом давила ее каждое утро мысль о наступающем дне, который расстилался перед ней пустынной, бесцельной дорогой; с чувством тяжелой скуки ложилась она каждый вечер в постель. Ею начинал овладевать бунтарский дух, протест молодости, здоровья и сил, который толкал ее навстречу настоящему, живому, трудному делу. Ей хотелось куда-то идти, бежать, помогать кому-то, словом видеть перед собой какую-то цель; иногда она готова была ворочать камни, пилить дрова, только бы стать пригодной к чему-нибудь, согреть косящиеся руки и освежить пылающую голову.

Но в ее положении некуда было приложить силы. Старый отец, правда, нуждался в ее услугах, но услуги эти были совсем ничтожны и главным образом заключались в том, что она аккомпанировала ему на фортепиано. В Корчине все занималось своим делом, не требовало от нее помощи, да и не нуждались в ней, а навязываться было не в ее привычках, — она и так чувствовала себя в этом доме чем-то вроде пятого колеса в телеге. Никто не допускал и мысли, что у нее могут быть какие-то свои жизненные и духовные запросы. Она была просто бедной родственницей хозяев, которая могла рассчитывать только на замужество. Чтобы убить время, она могла читать и играть на фортепиано, гулять по саду, принимать соседей, — чего еще она могла требовать?

А она требовала, и так сильно, что несколько раз ей приходило в голову покинуть Корчин и уехать куда-нибудь подальше, в большой город, где она могла бы найти работу, быть независимой, найти цель жизни. Но, во-первых, там предстояла ей борьба с нуждой, и она не знала, взять ли отца, этого избалованного старца, который чувствовал себя в Корчине, как в раю, с собой, или оставить его на попечение родных, точно у них мало было своих забот и огорчений. А во-вторых, дитя при-

роды, Юстына страшилась разлуки с ней, как чего-то ужасного, что могло разбить ее жизнь. Только один раз была она с пани Эмилией в городе и вынесла оттуда впечатление тесноты, духоты, непонятной сутолоки, показного блеска, который совсем не прельщал ее. Она не знала жизни, ее законов и требований, и броситься в нее очертя голову у нее не хватало мужества. Наконец и в способности свои она не особенно верила. Она не принадлежала ни к числу тех, которые думают, что они все умеют, ни к тем, которым мечты о блестящем будущем придают силы и смелость. Она думала, колебалась, впадала в отчаяние или тупое безразличие, а дни и годы проходили один за другим, как блестящие снаружи, но пустые внутри зерна четок.

Юстына говорила все торопливей, волнуясь, и открывала ему душу так доверчиво, как не открывала никогда и ни перед кем. И чем дальше, тем становилась она все смелее, все откровенней, так как видела, чувствовала, что тот, кому она говорит, слушает ее всем своим существом и все понимает.

Весь превратившись в слух, Ян наклонился к ней и с напряженным вниманием ловил каждое ее слово, время от времени кивая головой в знак согласия.

— Верно, верно, — повторял он. — Конечно! Все это правда!.. Грустно и стыдно пользоваться чужим богатством; стоять высоко, да не на своих ногах, быть молодым, здоровым, а жить стариком в вечной праздности...

Один раз он сказал как будто про себя:

— Ни птица, ни мышь... нетопырь какой-то!

Таким образным выражением он обрисовал ту смесь богатства и нищеты, образования и невежества, довольно высокого общественного положения и полнейшей ничтожности, какую она представляла собой в жизни. Юстына чувствовала, что никто так хорошо, так тонко не понимал ее, как этот человек, который к ее жизни и положению прилагал мерку собственной независимости и труда. Он сказал даже, что не понимает, как она может выносить такую муку... Если бы ему приказали целые дни сидеть сложа руки и ждать от кого-то подачки, он бы утопился или повесился на первом же суку.

— Ребенок или старик — дело другое, но как вы могли жить до сих пор такой жизнью, я и представить не могу... Слава богу, сил и здоровья у вас хватает, хоть воду носить...

Она засмеялась и сказала, что воду носить она, конечно, может. Ведь носит же Антолька? А ведь Антолька еще совсем ребенок и такая худенькая.

Но Ян хотя и не понимал, как она могла вести такую жизнь, но не ставил ее в вину Юстыне. В такой среде она родилась, и эта среда и ее обычаи сделали из нее нетопыря — ни мышь, что бегает по земле, ни птица, что под облаками реет. Он давно догадывался, что Юстына не была счастлива, — люди разное толковали. Что именно толковали люди, Ян не сказал определенно, только сердито махнул рукой.

— Ну, уж нечего сказать, не в отца своего уродился пан Зыгмунт Корчинский! — невольно вырвалось у него.

Он смутился, встревоженный, не оскорбил ли ее, и, не глядя ей в лицо, стал робко объяснять — «...людям рта не заткнешь...» — и сам он удивлялся и из любопытства стал присматриваться к ней при всяком удобном случае. А случаи такие часто выходили. Юстына не замечала его, но он ее видел то в костеле, то на прогулке с панной Мартой или с кем-нибудь из гостей. Сначала его влекло любопытство... Поглядел на нее раз, другой, а потом так и смотрел бы целый век, и каждый раз сердце все сильнее билось в его груди. Как это случилось, — кто знает? Должно быть, и никто еще на свете не знает и объяснить не может, почему у одного человека рождается такая приязнь к другому, что хоть вилами от него отбивайся — не уйдет. Ян, впрочем, предполагал, что он почувствовал такую привязанность к Юстыне, подметив в ее душе горе и смятение. Лицо человека всегда выдает то, что кроется на сердце. Не раз задумывался он над тем, почему господь бог дал ей такую красоту, так высоко поставил, а счастьем обошел. И он как подумает об этом, так словно свинцом расплавленным капнут ему на сердце — и так ему больно, хоть плачь. И жалел он ее так, что если бы можно было, он, кажется, все бросил и на край света побежал бы для нее за живой водою. Но о живой воде

только в сказках сказывают, а нет ее на свете... Как встретит, бывало, Юстыну, так весь день потом либо поет, либо запел бы только одну песню:

Вышла дивчина — вишня-малина,
Как весенний цвет,
Глазки опустила, ручки заломила:
Не мил белый свет...

Однажды — это было после того, как он встретил Юстыну с панной Мартой на дороге из костела, — он с дядей поплыл в лодке на Могилу и, когда он увидел Юстыну в окне корчинского дома, не мог удержаться, чтобы не запеть для нее эту песню. Но она, вероятно, не смотрела на него и ничего не слыхала...

О нет! Она видела его и слышала песню, и именно с этого дня и запомнила голос и лицо Яна, а потом, встретив в поле, сразу узнала его.

— Да не может быть, — с сияющей улыбкой воскликнул Ян, — неужели вы хоть раз взглянули на меня! А я тогда думал, что вовек не дождусь такого счастья!

Он немного наклонился, заглянул ей в лицо и сделал движение, как будто хотел схватить ее руку. Но, едва коснувшись ее рукава, отдернул пальцы, выпрямился и, глубоко вздохнув, поднял глаза вверх, как всегда в минуты растерянности или волнения. Юстина обернулась к нему и несколько секунд не сводила с него пристального взгляда. Она заметила, что, когда он смотрел вверх, голубые глаза его казались налитыми до краев расплавленным серебром.

Вдруг они остановились. У ног их, перерезая бледной желтизной яркую зелень травы, под толстым слоем белых щепок лежало большое, наполовину обтесанное бревно.

— А! — удивился Ян. — Когда мы шли туда, этой колоды не было.

Он посмотрел кругом.

— Что это со мной? Кажется, я хорошо знаю старый бор, а повел вас совсем не по той дороге. Слепота какая-то на меня напала... не дай бог, еще ливень застанет...

Ян взглянул вверх. Тучи почти совсем заволокли

небо. Яркие пятна солнечного света на зеленой мураве померкли; деревья время от времени тревожно вздрагивали верхушками. Птицы щебетали как-то беспокойно и спешили укрыться в густых ветвях. Ян еще раз осмотрелся вокруг.

— Не велика беда! — сказал он. — Мы идем, куда нужно, только не той дорогой. Теперь надо взять правее, и через четверть часа мы выйдем на берег, как раз к нашей лодке, а пески останутся влево.

Он перепрыгнул через колоду и протянул было руку, чтобы помочь Юстыне, но она уже стояла по другую сторону сваленного дерева и только зацепилась оборкой платья за сучок. Ян мгновенно отцепил платье девушки и поднес краешек его к губам. Юстына не могла заметить этого движения, потому что он тотчас же выпрямился и как ни в чем не бывало заметил:

— Хорошие деревья! Пану Корчинскому не дешево бы дали за этот лес, да он не продает... Нам тоже принадлежит порядочный кусочек леса, то есть не мне и дяде, а всему поселку. Все могут рубить в нем дрова, но так как порядка никакого нет, то выходят лишь неприятности и ссоры. Лес уничтожают так, что через несколько лет от него и следа не останется, а наши посельчане готовы за него друг другу все волосы повыдергать. И с паном Корчинским из-за леса война идет. Будь он добрый человек, давно бы договорился с нами как-нибудь — ну, обменялся бы на что или размежевался, чтоб нас по судам не таскать. Другой еще помог бы нам порядок навести. Но пан Бенедикт и говорить не хочет, а если и заговорит по необходимости, то словно с собакой, а иногда при встрече в лицо не взглянет человеку — волк волком.

Он махнул рукой.

— Да что тут толковать! Всякий теперь только о себе думает и себя любит. Пан Корчинский когда-то был совсем другим, а теперь переменялся, а отчего переменялся — неизвестно.

Юстына пробовала защитить своего опекуна, говорила о его непосильных трудах и денежных затруднениях, но чистое, не отравленное злобой сердце ее спутника и не требовало дальнейших оправданий.

— Верю, верю! — утвердительно кивая головой, повторял Ян. —хлопоты и неприятности хоть какой характер испортят. Я сам помню: когда Фабиан обижал нас и все на ссору вызывал, — поле наше запахал, как свое, — я так разозлился, что, придя однажды вечером домой, хватил горшком об стену, а потом ни за что и ни про что сестренку обругал и нагрубил дяде. И все это не по своей охоте, а потому что меня довели до этого. Терпишь, терпишь, да и прорвется...

Он говорил, что, живя в поселке, много горя и неприятностей переносить приходится. В одном гнезде во все не одинаковые птицы живут; щенята от одной матери разными рождаются. То же и среди людей. Есть и здесь и добрые люди, есть и такие, что, словно псы, готовы напасть на соседа. Злых больше, да и немудрено, — кругом недостаток; желая получить больше, люди жадничают и готовы друг у друга последний кусок из рта вырвать.

— У нас нет ни пьянства, ни распутства, ни воровства. Хату хоть на целый день отворенной оставь, — никто щепки не унесет. Но за каждый клочок земли один другому глаза повыцарапает, за малейшую обиду люди или дерутся, или друг друга в суд тянут. А как тут не задеть соседа, когда все делянки, как горох в мешке, смешались, а на хуторе окно в окно глядит.

Дядя и он сам, объяснял Ян, ссор и тяжб избегают, насколько можно, — попросту считают их за стыд, не видят в них ни пользы, ни удовольствия. Худой мир лучше доброй ссоры. Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой. Сахар они горстями не едят, но и недостатка ни в чем не испытывают. Правда, в поселке они слынут за богатых, потому что все хозяйство принадлежит только им двоим — собственно дяде, — но это все равно. Кроме того, и земли у них много — моргов двадцать. Только у троих хозяев столько же, зато у тех семьи большие, — например, у Фабиана семь душ в хате. У других земли значительно меньше — десять, восемь моргов, а у Владыслава и двух нет. Так и удивляться нечего, что за чужим лезут. Голод — не тетка. Было время, они с дядей тоже хлебнули горя, когда дядя лежал больной, а он еще был несмышленищем и мало

на что годился. Зато теперь они не только живут неплохо, но и за Антошкой дадут приданое, когда она будет замуж выходить. Положим, приданое небольшое, пятьсот рублей, но для Михала, который взял бы ее и без этого, и пятьсот рублей деньги, а на Антошку и муж и его семья будут смотреть ласковей, если она принесет что-нибудь в дом. Да и девочка заслужила награду, — она трудолюбива и, несмотря на молодость, от всего умеет пользу получить — и от коров и от домашней птицы, от пряжи и тканья. Коров у них четыре, овец двадцать штук; нужно бы побольше, да сена не хватает, а выгонов почти нет. У них две беды: мало выгонов и лугов и совсем нет колодцев. Но вообще работа по хозяйству не бог весть какая, — на ней человек не надорвется. Бывают времена страдные, но зато и отдых есть — зимой, например. Работа и тогда найдется, но не постоянная; вечером кто столярничает, кто сети плетет, а один сапожным мастерством занимается, а остальные собираются по домам, где горница побольше, играют на гармонике, на скрипке, поют, танцуют, читают. Читали бы и больше, да книжек нет: те, что у дяди, уже давно читаны и перечитаны, а других...

Он внезапно умолк и беспокойно оглянулся назад. Из глубины леса доносился глухой шум, похожий на отдаленные раскаты грома. Верхушки сосен закачались и, словно веерами, замахали ветками; на лес, точно траурный креп, опустился густой серый сумрак, кое-где разрывааемый кровавыми вспышками молний. Птицы притихли и как будто замерли, лишь изредка отзываясь отрывистым щебетом; мерное постукиванье дятлов прекратилось; в кустах и папоротниках торопливо зашуршали насекомые; белка, взбираясь на высокую сосну, остановилась на полпути и, повиснув на суку, повернула голову, уставясь в потемневшую землю черными испуганными глазками. Над сгибающимися макушками деревьев небо заволочла сизая, все разбухавшая пелена; под ней с пронзительным карканьем тучей пролетели вороны и, внезапно смолкнув, скрылись в раскачивающихся ветвях. В глубине бора, гулко перекатываясь, снова загрохотал гром.

Ян с тревогой посмотрел на Юстыну.

— Гроза надвигается. Вы не боитесь?

Она отвечала, что не испытывает ни малейшего страха, и с любопытством смотрела на вдруг потемневший пейзаж. Однако эта мрачная картина природы, как видно, произвела на нее гнетущее впечатление: она слегка побледнела и вздрогнула в своем кисейном платье.

Ян с отчаянием схватился за голову.

— Дурак я или сумасшедший? — закричал он. — Заблудился в лесу! Вы и простудиться можете и напугаетесь...

Но он тотчас же сдержал себя и продолжал спокойно:

— В лесу оставаться нельзя: сейчас ветер начнет срывать ветви с деревьев... не одно, пожалуй, и с корнем выворотит. На реке лучше. Вниз по воде лодка стрелой полетит. Минут десять — и мы будем у самого дома. Ливня, может, и не будет, или он быстро пройдет: вон тучи как летят стаями, да хоть бы и пошел, пусть уж нас лучше водой окатит, чем огреет суком по голове. Пойдемте скорей!

Он говорил повелительным тоном и, взяв Юстыну за руку, побежал к берегу. Через две минуты они стояли на каменистом берегу. Река, такая же темная, как и небо, гонимая ветром, вздымалась и высоко вскидывала свои волны, окаймленные белой бахромой пены. Ян вскочил в лодку, сильным толчком сдвинул ее с отмели и крикнул Юстыне:

— Входите!

Она колебалась. Глядя на взбудораженную реку, на маленькую лодку, беспокойно качавшуюся на волнах, она побледнела еще больше и не знала, на что решиться.

Ян нахмурил брови, в глазах мелькнуло нетерпение.

— Некогда тут думать. Входите в лодку! — прозвучал сквозь шум и вой ветра его решительный и даже повелительный голос.

Сомнения Юстыны исчезли без следа; подбежав к лодке, она вскочила в нее и уселась на дно. Ян быстро поправил ветви, устилавшие лодку, и громко, но уже гораздо мягче сказал:

— Да вы не бойтесь! Я бывал на Немане и не в такую бурю, а плаваю, как рыба...

Видно было, что Юстына перестала бояться. Уверенность Яна сообщилась и ей. Но в эту минуту вихрь с пронзительным свистом налетел на опушку, раздался сухой треск ломающихся ветвей, заскрипели, раскачиваясь, сосны, и на весь небосклон, от края до края, упала сплошная завеса дождя, сгущавшаяся с каждой минутой. Юстына снова вздрогнула всем телом.

— Непривычная, — шепнул Ян, — как дитя...

Он быстро сбросил с себя сермягу, накинул ее на свою спутницу, которая укуталась в нее с головы до ног, а сам, став на носу лодки, ударил веслом по воде. Вихрь бесновался, по небу, застланному белой пеленой, стаями неслись темные тучи, а редкие ивы и груши неистово метались над высоким желтым берегом.

С другой стороны стоял лес. В глубине его бушевала буря, но снаружи он казался неподвижным, точно каменная стена. По темной вздувшейся реке перекатывались белые гребешки, и лодочка Яна летела стрелой наперерез вздымающимся волнам. Она не была одинока: впереди, так же вспарывая носом волны, неслась другая, третья, четвертая — это рыбаки спешили домой, спасаясь от яростной вспышки природы. Навстречу этим стремительным черным птицам, разрезая воду тяжелыми веслами, словно гигантскими плавниками, медленно плыли похожие на водяные чудища неповоротливые плоты, уныло желтевшие на сером фоне реки. Как и предсказывал Ян, не прошло и четверти часа, и из-за высокой горы показались дома и деревья. Рыбачьи челны уже стояли на песчаном берегу; сквозь реддеющую завесу дождя они увидели рыбаков, спокойно поднимающихся в гору. За одним, самым плечистым из них и менее всех обращавшим внимание на бурю, плелся мокрый пес с уныло опущенным хвостом.

Когда Юстына вышла на берег, неистовый вопль природы становился все глуше и слезы ее иссякали. Голосные вихрем тучи проносились мимо и плыли дальше по одной стороне небосклона. Другая сторона вдруг очистилась, и в лучезарной синеве засверкал огромный диск солнца, свисавший над западным краем неба, залитым ослепительным потоком расплавленного золота. Отражение его переливалось в реке золотом и лазурью,

а дальше, над заблеставшими плотами, медленно скользившими по воде, уже снова вились золотые столбы дымков. Зеленая гора, исчерченная густой сетью тропинок, сверкала бриллиантовыми каплями, дрожавшими на каждом стебельке травы, на каждом листе высокого бурьяна, переливаясь всеми цветами радуги. На верхушке горы раздавался веселый щебет, и снизу видно было, как радостно суетились в освещенных солнцем ветвях стайки воробьев, коноплянок, щеглов и трясогузок. Ветер стихал, тучи свивались в полукруглый серебристый вал и катились дальше.

Юстына поднялась вверх по тропинке и остановилась под раскидистым тополем. Ян поспешил вслед за нею. Он был встревожен и озабочен, на лице его не было и тени улыбки. В измокшей рубаше, с перекинутым через плечо мокрым зипуном, он, волнуясь, начал засыпать Юстыну торопливыми вопросами:

— Вы очень испугались? Промокли? Должно быть, озябли? Не захвораете?

Но достаточно было посмотреть на нее, чтобы убедиться, что она переживает одну из самых счастливых минут своей жизни. Когда, войдя в лодку, она увидела, какой смелостью горели глаза Яна и с какой силой и ловкостью работали его руки, страх ее исчез и уступил место радостному чувству доверия и спокойствия. Да, она верила в него. Он казался ей олицетворением смелости и силы. Сдвинув брови, он спокойно стоял на носу своей утлой лодки и, рассекая веслом нападавшие волны, спокойно пролагал себе путь среди разбушевавшейся водной стихии. Глядя на него, Юстына почувствовала в себе то же спокойствие и силу; она гордилась им и тем, что доверилась ему. Но этого мало. Под густой завесой дождя, с трудом поднимая веки, она заметила, с какой заботливой тревогой он смотрит на нее, и вместе с доверием в ее душу проникло чувство бесконечной признательности к этому сердцу, которое так просто, так безыскусственно отдавалось ей.

Счастливая и радостная, стояла она под тополем, уверяя Яна, что вовсе не испугалась, не промокла и жалеет только, что прогулка их так скоро окончилась.

— Ну, и слава богу! — воскликнул Ян.

Видя, что она здорова и несли, он ~~снова~~ ~~ушел~~ конлся. Да, она ничуть не промокла: серая ~~и~~ ~~сидящая~~ из толстого сукна и, хотя была коротка на нем, ее укрыла так хорошо, что платье лишь слегка ~~сидело~~. Зато волосы Юстыны сильно намочили и ~~сидели~~ назад голову, и когда она тряхнула ею — черные ~~волосы~~ рассыпались по плечам. Может быть, она сама не ~~сидела~~ навала, как была красива в эту минуту. Он ~~вспыхнул~~ и отступил назад. Не спуская загоревшихся глаз с ~~этого~~ темного потока, он протянул руки и осторожно ~~исследовал~~ мягких сверкающих волн.

— Создает же господь такую красоту! — ~~прошептал~~ он.

Шепот этот долетел до нее вместе с его ~~горячим~~ дыханием, и она почувствовала, что он дотронулся до ее волос. Запрокинув голову, Юстына ~~неподвижно~~ стояла с порозовевшим лицом, устремив взор на ~~широкую~~ золотую полосу под заходящим солнцем, которая, казалось, разверзла настезь лазурное небо.

Вдруг на этом золотом фоне замелькали белые крылатые пятна: они реяли над рекой, то опускаясь к самой воде, то поднимаясь к зеленой горе. Это были необыкновенно большие, красивые, ширококрылые птицы с яркobelым оперением, с огненно-красными лапами и клювом. Их было не меньше двадцати; они казались воздушными лилиями на огненно-красном стебле и с такими же тычинками. Взвиваясь из-за зеленой горы, они летели в торжественном безмолвии дальше и дальше, вспугивая шумом тяжелых крыльев заматававшихся над водой маленьких речных чаек.

Юстына, охваченная любопытством, рванулась к ним и даже вскрикнула от удивления. Впервые в жизни она видела этих птиц.

— Это морские чайки, — изменившимся голосом объяснил ей Ян, — птица редкая в наших краях. Не каждый год жалует она к нам. Иногда по несколько лет ее не видно. Покажется — и улетит неведомо куда.

Он задумчиво следил глазами за улетавшей стаей.

— Любопытно было бы узнать что-нибудь о тех далеких странах, куда улетают эти птицы... Хоть бы книжку почитать какую.

— Мы будем вместе читать обо всем этом. Хотите? Глаза Яна радостно вспыхнули.

— Не может быть!.. Вы правду говорите?

Подул легкий ветерок; тополь зашумел и оросил их мелким дождем. Они рассмеялись, как дети.

— Пойдемте в хату! — сказал Ян.

— Пойдемте! — согласилась Юстына.

Росшие на дворе липы еще раз обрызгали их холодной росой, прежде чем они остановились у окна комнаты, которую Анзельм называл своею кельей.

V

У открытого окна, на длинном некрашеном столе, на стопке истрепанных книг, стояла лампочка с высоким колпаком в виде трубы, а возле глиняного кувшина и простого зеленого стакана, среди крупных крошек валялся недоеденный ломоть ржаного хлеба.

— Уж коли отворил окно и спросил себе хлеба, значит скоро оживет, — шепнул Ян.

В глубине комнаты, у шероховатой стены, покрытой тонким слоем извести, на кровати, застланной домотканым клетчатым одеялом, в сермяге и сапогах, лежал Анзельм; одна его рука бессильно вытянулась вдоль тела, другая была закинута на голову. Широкий рукав закрывал всю верхнюю часть его лица вплоть до бледных губ, отененных седоватыми усами. Эти губы были так сурово сжаты, как будто готовились раскрыться для строгого порицания, гневного окрика или вопля отчаяния.

На стене, над неподвижным Анзельмом, блестела золоченая рамка иконы и темнели изображения рыцарей, полуприкрытые терновым венцом.

— Если теперь у него над ухом из ружья выстрелить, — он не двинется и ничего не скажет... никакой крик, никакая просьба — ничто не поможет. Сам собою потом поднимется и оживет, — сказал Ян.

Ян и Юстына отошли в сторону. С маленького крылечка, украшенного искусной узорной резьбой, видны были сени и чисто выметенная кухня. За белым сосновым столом сидели две девушки в праздничных платьях

темнокрасного и василькового цвета, в туго обтягивающих корсажах и с нестрыми бантами на шее. Обнявшись на стол, они нагибали друг к другу головы, обернутые гладко заплетенными косами, и о чем-то оживленно шептались. Между ними лежал на столе початый каравай хлеба и стоял черный глиняный горшок, из которого они хлебали деревянными ложками густую ботвинью, приправленную уксусом и сметаной. При виде входящей гостьи обе девушки встали ей навстречу, и, когда Юстына подала им руку, Антолька только робко прикоснулась к ней и присела, зато Эльжуса крепко сжала ее, тряхнув изо всех сил, и сказала:

— Как хорошо, что вы к нам пожаловали! Мы всегда рады вас видеть!

Она говорила с веселою и приветливою улыбкой, но ее узенькие блестящие, как у Фабиана, глаза с слегка злорадным любопытством скользнули по лицу Юстыны и устремились вслед уходящему Яну.

— Прошу садиться, — сказала младшая из девушек. — Вы, Юстынка, не простудились, когда возвращались с Могилы?

— Ого! — удивилась Эльжуса. — Ишь какая смелая, паненку по имени называет.

Антолька смутилась и отвернулась к стене.

— Да она сама меня просила...

Юстына обняла ее тонкий стан и поцеловала в раскрасневшуюся щеку.

— Платье немного промокло. Я бы с удовольствием обсушилась у огня.

— Я сейчас затоплю печку!

Антолька выбежала в сени и принесла несколько поленьев.

— Подожди! — сказала Юстына и, оглянувшись, присела на пол у печки и начала разводить огонь.

— Ой, ой, не сумеете, — на всю хату рассмеялась Эльжуса.

— Сумею, не велика хитрость! — огорчилась Антолька.

— Так-то оно так, только не наше это дело.

— Вот видите, уже горит.

Действительно, кусок березовой коры дотронутой и огненными языками охватывал сухие поленья. На пол

печки выглянул дымчатого цвета кролик; Юстына взяла его на руки, и ручное, ласковое животное тотчас же доверчиво прижалось к ней. За первым кроликом показался другой, третий, четвертый... все сбились в один шелковистый пестрый клубок и смотрели на Юстыну своими черными глазами в красных ободках.

— А мы только что о вас говорили. Про волка речь, а он навстречь. Так оно и есть!

— У нее к вам просьба, — усмехнулась Антолька и поправила кочергою дрова в печке.

Эльжуся толкнула ее локтем и хотела зажать ей рот, но Антолька, смеясь, откинула голову назад.

— Она хочет просить вас к себе на свадьбу. Говорит, что свадьба будет торжественней, если придете вы и молодой пан Корчинский. И в глазах людей это ей важности придаст. Молодого пана Корчинского сам Фабиан пригласит. Фабиан хоть и дерет нос кверху, но ему страсть как хочется видеть в своей хате панов.

Свадьбу решено сыграть через две недели после окончания жатвы, около успения. Фабиан ездил осматривать дом и хозяйство жениха и остался доволен. Положим, в хате куча народу: мать, двое братьев, сестра; зато земли у них моргов пятнадцать, скота штук двадцать и семья хорошая: мать из дома Гецолдов; один брат управляющим у разных панов служил, теперь женится, берет приданого тысячу рублей и хочет взять в аренду какой-нибудь фольварк.

— А жених? — спросила Юстына.

Девушки захихикали.

— Молоденький такой... — шепнула Эльжуся, и маленькие глазки ее взволнованно блеснули.

— Ему не больше двадцати одного года; в солдаты не пойдет, потому что двоих старших взяли, — разболталась Антолька. — Хорошенький такой, только росточком мал.

— А ты бы хотела, чтобы все на свете были такие верзилы, как твой Михал! — обиделась Эльжуся. — Ну и пусть маленький, зато миленький...

Она снова расчувствовалась до слез, но тут же принялась рассказывать, что отец назначает ей в приданое шестьсот рублей, но сразу выдать всего не может: на-

личных вещей. Даже туфельки мажоринки, и на праздник — в село. Так и с совсем новыми сапожками.

— Зато мне на весь мир одежа! — делал он такой тордец! — переодели Анюлька.

Вещи и приданое Эльжбеты дадут хорошие. Вонна, и постельного и хозяйского, мать плашила новым сукном, а отец, когда ездил в последний раз в город, привез ей кашемиру на платье — настоящего кашемиру, черного. — платье выйдет такое, что лучше и сделать нельзя. У нее и другое будет, темнокрасное, но то дешевле...

И так далее, все о нарядах. Юстына расспрашивала, кто им шьет платья, например те, которые надеты на них теперь; надевают ли они эти платья только по праздникам, или носят в будни?

Тут обе девушки разбогатались, как сороки. Платья им шьет еврей портной, что живет в соседнем местечке; таких платьев у них по одному, по два, и надевают они их только в праздник. В будни же носят только домо-тканые, и, кто лучше соткет, тому честь и слава. Ни у кого в поселке нет такого количества платьев, как у Домунтувны. У нее даже браслеты есть (все золотые!), серьги и перстни! Да и немудрено: она богатая невеста, единственная наследница деда, и ей очень хочется понравиться Янку. Но Янек совсем не смотрит на ее платья с длинными хвостами и на золотые браслеты; даже стал меньше обращать на нее внимания с тех пор, как она шеголять начала. Раз на гурбе (так у них называются вечеринки с танцами) Домунтувна начала в танце звенеть своими браслетами, так он ее называл цыганскою лошадыю, потому что цыгане всегда своих лошадей убирают разными побрякушками да бубенчиками.

Они рассказывали, перебивая друг друга, и обе так и покатывались со смеху. Юстына тоже смеялась.

Когда Ян, сняв измокшую одежду, в куртке из домашнего сукна, с выпущенным отложным воротником белой тонкой рубашки, появился на пороге, в кухне было шумно и весело.

Антюлька только что вынесла из боковуши такую огромную охапку тканья, что вся согнулась под ее

тяжестью, и теперь показывала свою работу. Тут были и платья, и коврики, и одеяла всевозможных цветов, полосатые, клетчатые, пестрые — шерстяные или пополам со льном.

Ян спросил о матери. Она ушла в Стажины к мужу, а завтра чем свет вернется назад и пробудет еще несколько дней. Стажины — место низкое, почва там сырая и хлеб поспевает позже, поэтому она может помочь детям и к своим как раз во-время поспеет. Две мили пройдет сегодня, две обратно завтра и утром явится в поле с серпом, как будто ей не пятьдесят лет, а двадцать.

— Бога благодарить нужно за такую старость, — заметил Ян. — А все это оттого, что матушка всегда была веселая и никогда горя близко к сердцу не принимала. Впрочем, не всякий с таким характером родится.

Узенькая, почти незаметная дверь в глубине кухни тихо отворилась, и Анзельм спросил:

— Показалось ли мне так, или вправду я слышал голос панны Юстыны?

Юстына подбежала к двери.

— Через порог нельзя здороваться! Нельзя через порог! Это к ссоре... а я с вами ссориться не желаю, не желаю! — шутливо и с непривычной живостью воскликнул хозяин дома и переступил высокий порог.

Юстына взяла его руку в обе ладони и с минуту молча смотрела на него. Так вот человек, которому на песчаном пригорке повесила когда-то Марта на шею образок и который потом с почерневшим лицом, со сбегающими с волос и одежды потоками воды...

В первый раз она видела его без шапки. Лоб у него был белый, высокий, со множеством морщинок, которые целым снопом лежали между бровями и оттуда расходились тонкими нитями по всему лбу до редких седеющих волос.

Антолька подбежала и поцеловала ему руку.

— Сегодня я еще не видалась с дядей. Он улучил минутку, когда я вышла за водой, пришел в кухню и отрезал себе кусочек хлеба. Прихожу я домой, — хлеб на столе, а дверь опять заперта... и все это, чтобы никого не видеть...

— Такое на меня иногда раздражение находит, что

и милое немилым становится, — ответил Анзельм и, крепче обыкновенного сжимая руку Юстыны, пытливо поглядел в ее глаза.

— Вы, говорят, вчера жали на нашем поле? А сегодня на Могилу с Яном ездили, а? — не спуская с гостыи внимательного взора, продолжал он. — Новости, поистине но-во-сти!.. — Анзельм заикнулся, и приветливая, радостная улыбка появилась на его губах и разлилась по всему лицу. — Покорнейше прошу в горницу, прошу! Где это видано — гостя в кухне принимать? Низка наша хата, но не тесна, нет, не тесна!

Придерживая одной рукой расхोdivшиеся на груди полы сермяги, он указал другою на дверь и еще раз повторил:

— Покорнейше прошу в горницу.

В кухне были три двери: одна обыкновенного размера, которая вела в сени, и две низенькие и очень узкие. Юстына остановилась в нерешительности; старик заметил это, предложил ей руку и повел через сени в горницу.

Когда-то, давно, он наблюдал этот обычай в корчинском доме, и сам, вставая из-за обеденного стола, нередко подавал руку высокой, черноглазой, веселой панне.

Горницей была низкая, но просторная комната (она занимала почти половину дома Анзельма) в три довольно больших окна, из которых два были распахнуты, — чисто выбеленная, со сверкающим белизной полом из простых сосновых досок, ладно пригнанных одна к другой и гладко выстроганных.

У низкого потолка, где толстые, выбеленные известкой бревна скрещивались с тонкими досками, виднелся ряд дыр, одну стену почти целиком занимала белая изразцовая печь с маленькими выемками вверху: в зимние вечера в них, должно быть, трещали сперчки, оглашая всю комнату своим стрекотом. В углу стоял одиноко громадный, должно быть столетний, раскидной диван из ольхового дерева, выкрашенный красной краской и обитый клетчатой тканью домашнего издедия. Напротив дивана помещалась кровать из белых сосновых досок с высоко взбитыми перинами и подушками.

На ольховом, выкрашенном в красный цвет комод

стояла шкатулка из карельской березы с зеркалом, небольшое черное распятие, обвитое гирляндой из желтого молодильника, и маленькая лампа с грибообразным стеклянным колпаком.

Наконец у стен стояли высокие зеленые или раскрашенные цветами сундуки с выпуклыми крышками, обитыми железом, скамейки из белых досок, перед ними красные ольховые столы и несколько самодельных стульев, видно недавно изготовленных и еще не выкрашенных, с деревянными сиденьями и со спинками из гнутого клена или граба.

В открытую дверь рядом с огромной печью видна была боковуша — маленькая продолговатая комнатка с одинокою, но тоже изобилующею перинами кроватью, должно быть спальня Антольки, потому что среди образов, покрывавших стену над кроватью, самыми большими размерами и самыми яркими красками отличалось изображение ее ангела, украшенное венками, которые освещались в день тела Христова, пасхальными пальмовыми ветвями, бессмертниками и гирляндами из только что сорванных ноготков.

В открытые окна врывались из сада волны свежего воздуха, пропитанного ароматом цветов и трав, а заглядывающие в горницу ветви старой груши бросали тень, словно зеленые колышущиеся занавески.

Анзельм подвел Юстыну к столу.

— Садитесь на стул, — вам будет удобнее, чем на лавке. Пожалуйста!..

И с живостью, которой от него трудно было ожидать, он ловко и любезно подставил ей стул. Эльжуса, тяжело перевалившись через высокий порог горницы, глядя на хозяина дома, расхохоталась.

— Уж не светопредставление ли начинается, — сквозь смех проговорила она, — что пан Анзельм так расходился! Будто никогда и не был ворчуном.

— Это ты по глупости говоришь, — шутливо ответил Анзельм. — Будь ты поумнее, так знала бы, что, кто медведя осилит, тот его и за нос водить может. Вот и меня панна Юстына, видно, осилила.

Он сел на скамейку и крикнул Антолке, чтоб она подала гостье ужин.

— Я и сам со вчерашнего вечера только кусочек хлеба съел, да и Ян, я думаю, проголодался после купанья, — прибавил он.

Анзельм еще вчера знал от племянника о предполагавшейся поездке на Могилу и теперь расспрашивал молодых людей, где они укрылись от бури, сильно ли промокли, сколько времени провели в лесу?

Он рассказал, что несколько раз сталкивался на Могиле со вдовой Анджея, которая тоже навещала это место, только очень редко и то как бы украдкой. Как большая пани, она у всех на виду, — и понятно, что ей труднее совершать подобные поездки, чем, например, ему, Анзельму. Никто за ним не следит, и он всегда может пойти помолиться на место, где его брат покоится вечным сном.

Их только и было двое братьев да сестра, которая вышла замуж в Заневицкий поселок, откуда была родом их мать; а вот мать Яна — та из Семашек, и ведь так пришлось, что она уже в четвертом поселке живет: сперва в родных Семашках, потом в Богатыровичах, когда вышла замуж за Ежи; потом за вторым мужем в Ясмонтах, а теперь, за третьим, в Стажинах.

— И кто знает, последний ли это муж и последнее ли это ее пристанище, — шутливо заметил он. — Только кажется мне, что случись ей сегодня овдоветь, и года не пройдет, как она выскочит за четвертого!

Юстына расспрашивала его, как велики эти поселки и много ли там народу. Он отвечал охотно и весьма обстоятельно, но так как сам уже много лет никуда не ездил и не знал некоторых подробностей, то иногда обращался к Яну.

— Вы многих увидите на свадьбе Эльжуси, — сказал Ян. — У Фабиана везде полно родни и знакомых, и он, конечно, захочет, чтоб свадьба его дочери прогремела на весь мир.

Между тем Антолька и Эльжуся вытерли стол чистой тряпкой и в полчаса усталили его всем, что только было в доме Анзельма и Яна. Рядом с большим караваем хлеба появилась миска с вареной и проткнутой, потом другая с медовыми сотами, только что вынутыми из улья; два сорта сыра — молодой и ста-

рый — и желтое масло на блюдечке; наконец Эльжуса, вся раскрасневшаяся, принесла сковороду с дымящейся яичницей.

— Уж коли я сделаю яичницу, — вскричала веселая девушка, — то сам отец ест да похваливает. А уже легче через этот дом перепрыгнуть, чем ему угодить.

— Я думаю, что ты когда-нибудь и через дом перескочить ухитришься; ты ведь у нас молодец, — засмеялся было Ян, но, увидав миску с медом, нахмурился.

— Кто это ходил за медом? — спросил он сердито.

— Кто же как не Антолька? Только она одна и могла осмелиться, — ответила Эльжуса.

— Я ей раз навсегда запретил! — закричал Ян, весь покраснев, и ударил рукой по столу. — Неумелый человек все может испортить, и раз она не училась, как с пчелами обращаться, пусть и не сует в улей своего носа!

Он собрался уже встать и идти побранить сестру, как из боковуши появилась сама Антолька. Она, чуть не плача, прижимала руку к щеке.

— Что, укусила? — спросил Ян.

— Чтоб ей пусто было! — сквозь слезы простонала девушка.

Ян, еще не успокоившийся, ничего не сказал, зато Анзельм поспешил на выручку племянницы.

— Экая важность, пчела укусила! Зато меду достали! Больно? Ничего, до свадьбы заживет!

Он взял хлеб и начал резать. На нижней корке явно отпечатались следы сухих дубовых листьев, которыми устилают печь, чтобы не запачкать хлеб золой.

Придвинув стулья и скамейку, все уселись за длинный стол и положили на глиняные тарелки яичницу и простоквашу. Несколько минут ели молча. И Анзельм с Яном и обе девушки ели особенно тщательно, соблюдая принятые правила приличия, осторожно отламывая от толсто нарезанного хлеба маленькие кусочки, двумя пальцами подносили их ко рту, свои деревянные ложки держали изящно и ловко, ели тихо и не спеша и после каждого глотка клали ложки на стол. В этой особой, очень спокойной и чинной манере держать себя за столом сказывалась привитая с детства или унаследован-

ная сдержанность и боязнь показаться прожорливым или невоспитанным. Первым заговорил Анзельм. Он взглянул на Юстыну и, словно что-то вспомнив, спросил:

— Вам, пани, чаю не угодно ли? Мы его редко пьем, но приготовить хоть сейчас можно.

В боковой комнатке, на красном ольховом шкафу, стоял небольшой самовар, и Антолька, вскочив со скамьи, собралась было идти ставить его, но как раз в эту минуту Ян, положив ложку на стол и сложив руки на коленях, с довольной улыбкой смотрел на Юстыну, которая, держа в руке кусок черного хлеба, намазанного золотистым медом, с наслаждением впиалась в него зубами и тоже смотрела на него. Анзельму пришлось повторить свой вопрос.

— Кажется, после прогулки нам на аппетит жаловаться не приходится, — медленно сказал Ян. — Может, дело и без чаю обойдется?

— Конечно, обойдется! — рассмеялась Юстына.

— Я теперь и на сестру не сержусь, что она сама полезла в улей за медом.

Он засмеялся так, как смеются счастливые люди, — без всякой видимой причины, громко, искренне, и погладил по голове сидевшую с ним рядом Антольку. Потом взял ложку, зачерпнул простокваши и медленно поднес ко рту. Рука у него была большая, загорелая, но очень чистая, с широкой ладонью и длинными тонкими пальцами.

В этот день пан Анзельм был необыкновенно оживлен, разговорчив, и пытливый глаз иадолго бы остановился на этом болезненном, изможденном человеке, который теперь, под влиянием только ему одному известных чувств, любезно и предупредительно занимал свою гостью. Заметив на руке Юстыны еще не заживший красный шрам, он спросил, не поранила ли она руку серпом, и, услышав утвердительный ответ, долго смотрел на нее странно мигающими глазами.

— Тяжелая работа, да? Но все это дело привычки. Я только не знаю и очень сомневаюсь, чтобы женщина, которая так хорошо играет на фортепиано, могла привыкнуть к грубой работе.

Он часто слышал, как она играла с отцом, когда

проходил по берегу реки или переправлялся на другую сторону.

— Сладостная музыка, — усмехнулся он, — и слух ласкает и проникает в сердце — это правда, но по целым дням стучать по клавишам, может быть, не меньшая работа, чем жать и косить.

На дворе слышалось мычанье коров; девушки вскочили и торопливо начали убирать со стола, после чего Эльжуса, видно, ушла домой, а Антолька с подойником в руках выбежала через сени во двор.

Солнце уже закатилось, и в комнате царил сероватый мрак. Ян зажег лампу на комодѣ и заявил дяде, что пойдет посмотреть — задал ли работник корму скотине и лошадям. Анзельм и Юстына остались одни.

Неожиданно для Анзельма, а может быть, и для самой себя, Юстына пересела со своего стула на скамью и, нагнувшись к старику, прильнула губами к его плечу.

Он не очень удивился, только в первую минуту, будто испугавшись, отшатнулся и стал запахивать ворот сермяги.

— Новости, — прошептал он, — но... но... во... сти!

Но Юстына, откинув со лба и плеч еще не просохшие волосы, обратила к нему глаза, в которых светилась нежность, и тихо проговорила:

— Я знаю, дядя, все, все знаю...

— Откуда? Кто говорил? Вероятно, Янек наболтал... Что ж, я ничего здесь дурного не вижу, потому что если вы, по своей доброте, водите с ним компанию, то он не должен от вас скрывать.

Он покачал головой.

— Но чтобы кто-нибудь, хотя бы и Ян, мог об этом догадаться, — я сомневаюсь... Глубоко нужно рыть, чтобы до воды добраться... А с человеком еще трудней: с ним сколько бы лет ни прожил вместе, всех его тайн не узнаешь.

Устремив глаза куда-то далеко, в открытое окно, он продолжал:

— Все бывает на свете. У бога и муха; коли он прикажет, воином станет. Маленький я человек, но в молодости своей много великих дел видел и сам в них

хоть маленькое участие, да принимал, и это определило всю мою дальнейшую жизнь. Корчин!.. Ох! Теперь и вообразить нельзя, что там творилось, какие речи там раздавались... Казалось, все лучшее, что господь бог дал людям, поднялось и заговорило. Брат обнимал брата, будь тот богат или убог, умный неразумному дорогу указывал. И перед всеми сияла одна цель. Нас на это пиршество не только допускали, но даже приглашали. От нас требовали, чтобы мы рисковали жизнью, но тем, кто останется в живых, сулили такое будущее, что каждый готов был положить за него свою голову... Много бы я мог порассказать об этом, да...

Он покачал головой и взглянул на яркие звезды, просвечивавшие сквозь ветви груши-сапежанки.

— Сонные видения... мечты преходящие...

Юстина, близко придвинувшись к Анзельму и ласково опустив руку ему на плечо, молча слушала его медленную, прерываемую частыми остановками, бессвязную речь, полную болезненных воспоминаний и не столько обращенную к ней, сколько похожую на тихую беседу с самим собою.

— В одной книжке написано: «Как мухи, падут в бою сыны человеческие...» и в той же, а может быть, в другой: «Как глина в руке горшечника, так люди в руке создателя». Такова, значит, наша участь, но сердце человека не всегда терпеливо и покорно мирится с этим. Видно, я был малотерпелив и непокорен, потому что, когда дело повернуло в дурную сторону, когда непроницаемая мгла окутала весь мир, меня охватили горе и возмущение, а против кого и против чего — и сам не знаю. Я не мог ни перестать сокрушаться о том, что миновало, ни привыкнуть вновь к старой жизни, от которой меня словно на крыльях куда-то далеко отнесло. Что прежде мне было мило, теперь опостылело, что радовало и веселило, теперь казалось пустым и ничтожным. Пойду, бывало, с плугом в поле, а в голове только то, что в те золотые дни видел и слышал... разные лица, споры, слова вспоминаю и в памяти своей нарочито вызываю их, как скупец, который вынимает из своего сундука червонцы, любитесь ими и радуется на них. Так, бывало, под весенним дождиком и простоншь

полдня за плугом, хотя прежде я был охоч до работы. Или зимнею порой зайдешь, бывало, куда-нибудь в горницу и смотришь, как люди, которые быстро забывают обо всем, — поют, веселятся, танцуют. «Что они, с ума, что ли, спятили?» — думаешь, сидя где-нибудь в уголке, и чем больше они веселятся, тем яснее встает перед глазами лесная поляна со своим страшным холмом, — кажется, видишь, как среди ночной темноты падают на землю крупные белые хлопья снега. Заиграют новый танец, а я шепчу: «Вечный покой даруй им, господи!» Новую песню кто-нибудь затянет, а у меня в голове все одно: «Вечная память!» Захохочет кто-нибудь громко, а у меня в ушах отдается: «Вечная память!» Махнешь, бывало, на всех рукой и побредешь к себе в хату, а в хате... Боже ты мой милосердый!.. Место после покойного брата уже остыть успело: жена его вышла во второй раз замуж, только сиротка малый встречает меня и прижимается к единственному защитнику, что остался у него на белом свете...

В дверях боковуши послышался шорох: то Ян остановился на пороге, оперся спиной о косяк и скрестил руки на груди. Вся горница тонула в полумраке; маленькая лампа на ольховом комодке бросала слабый свет на темную одежду Анзельма и распушенные волосы Юстыны. После долгого молчания Анзельм снова заговорил вполголоса:

— Однако каждому существу дано от природы чувство самосохранения, каждый стремится избежать конечной гибели. И я усмотрел себе средство к спасению и прибег к нему. Мне было не больше тридцати лет; не удивительно, что в то время любовь для меня значила почти то же, что жизнь и счастье. Видно, свыше предназначено было, чтобы Корчин был для меня источником радостей и горестей и чтобы оттуда явились мне сонные видения, после которых я не мог утешиться; в Корчине светилась и звезда моей любви. Может быть, иные скажут, что я обольщал себя несбыточной надеждой, что чересчур высоко метил, но я этого тогда не думал. Вот уже без малого две тысячи лет Иисус Христос провозгласил равенство на земле, и об этом равенстве мне много пришлось слышать в Корчине.

Хотя та панна принадлежала к дворянской фамилии, да ведь и мой род не от рабов происходит, и я, хоть человек бедный, мог предоставить своей жене и детям кусок хлеба, может быть не хуже того, каким в те времена некоторые паны должны были довольствоваться, а может быть, и жизнь поспокойней. Хотя и из панской фамилии она происходила, а не велика она была пани. Платья с чужого плеча носила, во всем от милости родственников зависела. Отчего же ей, казалось бы, не уйти оттуда в собственный, хотя и небогатый дом, к любящему и любимому мужу? Я знал, что она любит меня... знал. Не на слепого же она смотрела своими чудными очами, не глухому иногда такие речи говорила, по которым легко можно было догадаться о взаимности. Сунулся было я тогда... но получил отказ: не захотела. Даже нельзя сказать, чтоб семья сильно препятствовала. Я знаю, что были там со стороны родственников и отговоры и насмешки разные, но от алтаря никто бы ее силой не стал отталкивать. Сама не хотела. И видется со мной не хотела... Раз я подстерег ее в саду, схватил за руку и стал расспрашивать, почему она меня отвергла. Она мне привела такие причины, на которые разве только плюнуть можно. Я хотел было уговорить ее, убедить, но она вырвалась из моих рук и ушла. С плачем ушла от меня... И ведь сама она горевала, а, однакож, не хотела, не хотела...

С той поры началось самое горькое время его жизни. Только что он был свидетелем поразительной обманчивости великих надежд и упований, а теперь пришлось убедиться в изменчивости человеческого сердца. И все ему тогда показалось неверным и призрачным, ничемным.

— Такое сомнение меня охватило, что все, на что только ни взгляну, казалось мне, вот-вот упадет и рассыплется. Сегодня стоит, думаю себе, а завтра исчезнет. Услыхал я, как однажды ксендз в костеле говорил: «Земля ты и в землю отойдешь», — и эти слова уж не выходили у меня из головы. Горше всего угнетало меня это сомнение, и не стало у меня никаких желаний, никаких надежд. Когда я делал что-нибудь, то только и думал, что о бедном сиротке, — как бы он на моих гла-

зах с голоду не умер, а для себя, кажется, и пальцем бы не пошевелил, потому что из моей головы ни на минуту не выходила мысль: «Зачем? Стоит ли заботиться о столь ничтожных и бранных вещах?» Перед богом я преклонялся с мольбой, но просил его только смилостивиться над моею бессмертной душой; о том же, что меня может встретить в этой жизни, не заботился нисколько. Я все утратил навеки и если бы вновь получил что-нибудь, то снова утратил бы...

Он был молод и вел до тех пор чересчур простую и здоровую жизнь, чтобы застыть и окостенеть навеки в сомнениях о ценности и значении земной жизни, но тоска по лучшим дням и воспоминание о любимой женщине вечно терзали его сердце.

— Не телесную боль я чувствовал, а внутреннюю, где-то глубоко в сердце. Если бы можно было горем и тоскою замучить себя до смерти, я давным-давно вогнал бы себя в гроб. Я начал пугаться самого себя; все мне казалось, что я или с ума сойду, или руки на себя наложу, — так мне и мерещились сучья деревьев и неманские омуты. Стыдно мне было, что сладить с собой не могу, — и я призывал бога на помощь, а слезы так, бывало, и катятся из глаз. А когда, бывало, успокоишься, скажешь себе: «Собери силы, закрой глаза на горе, брось его подальше и ищи себе какого-нибудь утешения, чтоб не противиться воле божьей и не сгинуť попусту», — казалось, что и уговоришь себя, и тоску как будто бы отгонишь, и день-другой проживешь, как все добрые люди. Нет, опять не мила жизнь! Я работал до того, что весь обливался потом, а в сердце все та же тоска по разбитым надеждам, то же горе безысходное. Раз даже я присватался к одной панне и сам поехал к ней. Еду и думаю: «Женюсь — и конец, в хате новый человек появится, и я оживу!» А когда приехал и на панну взглянул — нет! Ни безобразна она была, ни глупа, я даже знал, что не противен ей... Нет и нет! Та все стоит перед глазами, а в моей невесте все не так: и речь не та, и обращение не то, и все мне не мило. Боролся я так с самим собой, как пловец с волнами, должно быть, года три, а горе все понемногу подтачивало и уносило здоровье, черные мысли съедали мои

силы... и вот я, бессильный, с какой то странной хворью, которая то проходила, то вновь появлялась, свалился на девять лет и пролежал в постели как пласт. Доктор не мог помочь моей болезни и назвал ее ипохондрией...

Анзельм не понимал, какая это болезнь, но другой доктор растолковал ему, что это — болезнь скорее душевная, чем телесная, и что надо врачевать душу, а не тело. Вот этим-то душевным лекарством и было страстное желание помочь племяннику выбраться из нужды и нищеты, а также и отрадное чувство при виде подрастающего сына любимого брата. Девочка, которую они взяли по настоянию Яна, тоже оказалась очень милой, веселой и к тому времени уже начала наводить в хате порядок, а невестка, хоть и легкомысленная женщина, часто навещала своих детей и развлекала всех всею болтовнею и рассказами.

— Если бог повелит, и убитый воскреснет. И я воскрес, хотя и не совсем... не совсем. Мне кажется, что у людей, сильно чувствующих и много страдавших, не только на теле, но и в душе образуются такие морщины, которые уже никогда не разгладятся. Так и я до сих пор не могу совсем возвратиться к прежней жизни. Всякое движение, шум, разговоры так утомляют меня, что я почти теряю сознание и стараюсь избегать их. Увижу человека постороннего — испугаюсь, и мне нужны большие усилия, чтобы побороть себя и приблизиться к нему. Подчас и болезни старые меня одолевают, и душевная и телесная. От самой легкой простуды появляется страшная ломота и головная боль, а когда припомню старое — прежние горести и испытания, — то дня два-три лежу запертво — видеть никого не могу, самого себя почти не ощущаю. Но это еще не велика беда. Болезнь приходит редко, ее можно легко вынести, когда кругом все спокойно, когда можно с радостью остановиться на чем-нибудь душою.

Теперь его радовало многое: новый домик на месте старого, который почти совсем разваливался; сад, посаженный его собственными руками; пчельник, за которым Ян так умело ухаживает, что ульи все прибавляются; видный из себя и уважающий его племянник и ласковая работающая девушка; хорошо поставленное

ими хозяйство; наконец ясное солнышко, пахучие цветы, гнезда ласточек под соломенной стрехой, тишина и спокойствие, царящие в усадьбе, — в той самой усадьбе, где жили его деды и прадеды, где он сам родился, вырос и состарился, где каждый кустик, каждая травка, каждая песчинка знакомы ему и отвечают приветом на его привет.

— Те страшные вихри, что замели дорогу моей жизни, прошумели, промчались и уже далеко от меня. Я теперь переживаю больше хороших минут, чем дурных, и об одном только молю бога, чтоб он и Яну послал частичку счастья. Я ни за что не пойду против его воли и желания, не стану поперек его дороги; напротив, постараюсь помочь ему всеми моими силами. Не враг я ему, чтоб принуждать его к чему-нибудь; я ему вместо отца и, как отец, не желаю ничего, кроме добра и счастья...

Ян широкими шагами подошел к дяде, наклонился и поцеловал ему руку, потом, тряхнув головой, откинул назад упавшие на глаза пряди светлых волос.

— Полно толковать о таких печальных вещах! Вам это нездорово, и у панны Юстыны даже слезы навернулись на глаза... что там вспоминать старое!..

Не успел Ян закончить, как под окнами послышались чьи-то шаги и громкий дребезжащий голос:

— Я его найду, найду соблазнителя, злодея, непотребника! Найду и убью... как бог свят, убью собаку!

Двери горницы широко распахнулись, и в комнату вошел неверной поступью старик, с палкой в руках. Его кирпичного цвета лицо резко выделялось на фоне седых волос и белоснежного кафтана. Вместе с ним, поддерживая его под руку, вошла высокая, плечистая девушка. С первого взгляда в ней трудно было бы узнать ту Ядвигу Домунтувну, которая несла в огромном фартуке траву для коров, а в рабочую пору почти с мужской силой и ловкостью возила с поля снопы и правила лошадьми. Теперь на ней было шерстяное платье ослепительного яркоголубого цвета, с обтянутым лифом и очень длинным шлейфом, который запачкался, когда она шла сюда по большой дороге, уже смоченной вечерней росой. На голове Ядвиги возвышалась прическа

еще более необыкновенная, чем платье, — высокая, качающаяся из стороны в сторону; волосы были густо напояжены, в них пестрели ленты и поблескивали шпильки.

У шеи красовалась аляповатая брошка, в ушах висели огромные безобразные серьги, на больших красных руках звенело несколько дрянных браслетов.

Могучая фигура Ядвиги тогда в поле, в одежде деревенской труженицы воскрешавшая в памяти целомудренный и поэтический образ Цереры, а во весь рост на высоком возу, запряженном парой резвых коней, похожая на древние скульптуры, в узком и длинном платье казалась смешной и неуклюжей. Ее лицо, на котором под тонкими дугами темных бровей синели прекрасные глаза, на фоне ярких красок наряда поражало грубостью черт и почти свекольным цветом кожи.

— Добрый вечер! — крикнула было она с порога, но запнулась при виде Юстыны, стоявшей рядом с Яном.

Зато старый Якуб, спотыкаясь, приближался к хозяину дома и, видимо, все больше и больше волновался.

— Где Паценко? Извольте сейчас сказать, пан Шимон, куда вы спрятали моего врага и оскорбителя?.. А если не скажете, я сам, бог свидетель, обыщу всю хату и найду... а коли найду, то уж отомщу и за то, что сделал женщину несчастной на всю жизнь и меня опозорил...

— Опять старика Паценкой напугали? — спросил Анзельм, глядя на Ядвигу.

— Опять нашло! — ответила девушка. — Сегодня весь день он был такой спокойный и тихий, разумный — лучше и желать нечего. За ужином съел тарелку простокваши и говорит: «Пойдем, Ядвига, к кому-нибудь из соседей». Я и спрашиваю: «Может, к пану Шимону?» — потому что знаю, если сказать: к пану Анзельму, он рассердится и ответит: «Я к молокососам не хожу». Он все еще думает, что пан Анзельм молодой человек, а хозяин в доме — покойный Шимон. И шел так чинно и даже, видимо, особенной слабости не чувствовал, слегка только на палку опирался. Пошли мы, а тут, как на грех, из-за плетня выскочили мальчишки,

да во весь голос и давай кричать: «Паценко приехал и опять бабушку увезет!» Дедушка весь затрясся и, если б не я, непременно упал бы. Тут уж с ним ничего не поделаешь и в хату ничем не заманишь, — идет куда глаза глядят...

А старик тем временем, размахивая клюкой, с грозными криками шнырял из угла в угол, заглянул даже в темную боковушу, сунул палку под диван и теперь намеревался обыскать печурку, но, нагнувшись, потерял равновесие и упал на пол. Юстына подскочила к старичку и хотела было приподнять его голову, но вдруг почувствовала, что кто-то бесцеремонно оттолкнул ее.

— Извините... прошу не трогать дедушку... я сама с ним управляюсь. Что касается дедушки, то уж его у меня никто не отнимет! — громко, заикаясь от волнения, проговорила Ядвига.

Она без всякого усилия приподняла старика с пола и тут же толкнула и Яна, который поспешил ей на помощь.

— Успокойтесь, пан Якуб, — сказал Анзельм. — Паценки нет ни здесь, ни в другом месте, — он давным-давно умер.

— Нет нигде? — опираясь на клюку, повторил еще не успокоившийся старик. — Правда, нет нигде? Честное слово?

— Честное слово! — торжественно повторил Анзельм. — Присаживайтесь-ка лучше к столу и поговорим о чем-нибудь другом.

В это самое время Ян шепнул Юстыне:

— Очень бы мне хотелось, чтоб он рассказал при вас об одном случае, который произошел с его братом в двенадцатом году, когда здесь французы были... Он помнит много любопытных историй.

В свою очередь Анзельм (он знал, чем лучше всего успокоить старика) придвинул Якубу стул.

— Садитесь, милости просим. Я все думаю, помните ли вы, что приключилось с вашим братом Францишком в двенадцатом году?.. Или, может быть, забыли?

Сморщенное кирпично-красное лицо старика озарилось таким же лучом сознания, как недавно при упо-

минании Анзельма о гробнице Яна и Цецилии. Казалось, к нему вернулись прежние силы, он выпрямился и, не обращая внимания на придвинутый стул, будто ноги его вдруг окрепли, оперся обеими руками на клюку и поднял голову.

— Ну, как же, как же! Помню, будто вчера это было... Он был старший, а всего нас было пятеро... я младший, Франусь старший... Мне десятый пошел, а ему двадцатый, когда пан Доминик Корчинский, теперешнего владельца Корчина, пана Станислава, отец, завербовал его в наполеоновский легион... так вместе и пошли воевать... Пан Доминик был добрый товарищ... добрый... я-то уж это знаю, — лет тридцать спустя и я сам с ним на войну ходил... Все заботился о Франусе, письма нам писал, как брат служит, как у них дела идут... а дела шли хорошо... Но вот и двенадцатый год подошел... Французы идут!.. Отец говорит: «Должно быть, и наш Франусь с ними». Мать кивнула головой: «Должно быть, идет! Может быть, и к нам заглянет! Может быть, мы его еще раз перед смертью увидим!» — «Может, и увидим», — говорит отец. Вот и стали мы его поджидать. Мать нет-нет да и выйдет в поле, а мы, дети, чуть глаза не проглядели: всем нам хотелось увидеть брата-офицера...

Пока старик говорил, Ядвига не спускала с Юстыны глаз, горевших злобой и негодованием. Она не слышала, что Ян шепнул Юстыне, но хорошо заметила, что, когда он наклонился к молодой девушке, на губах его была такая улыбка, какой ей еще никогда у него не доводилось видеть, и что он просто глаз не сводит с ее распущенных волос. А Юстына смотрела на него снизу вверх с тихой и как будто робкой радостью. Дрожащий голос старика становился все спокойнее и громче, но вдруг его прервал грубый шепот его внуки. Казалось, шепотом говорит она потому, что горло ее сдавлено волнением, или потому, что сама ужасается своим словам.

— О-о! — не спуская глаз с Юстыны, удивлялась она, — теперь, знать, пошла мода носить распущенные волосы... Скоро того и гляди станут ходить в одних рубашках, а то и совсем голые!

Юстына или не слышала ядовитых слов Ядвиги, или сделала вид, что не слышит, а Ян бросил на девушку грозный взгляд, но ничего не сказал, только закусил губы и, крепко скрестив руки на груди, повернулся к ней спиной.

Старик продолжал свой рассказ:

— Итак, мы, сидя в нашем затишье, поджидали скитальца по далеким странам и то и дело выходили на дорогу. А тут подошла зима, да такая лютая, какой на людской памяти не бывало. Выйдет человек из хаты — смотришь, то руку отморозил, то ногу; от мороза дух захватывало. Снегу все больше и больше подваливало, все дороги замело, все плетни засыпало, одни колокольни торчали. И вот однажды — было это рано утром — отец приказал нам идти с ним в поле... не помню хорошенько, зачем... Всю ночь была такая метель, что за два шага своей хаты не распознаешь. Снегу насыпало, страсть! Идем мы по огороду, вязнем по шею, глядь — что-то перед нами чернеется... не то пень вырос на том месте, где его прежде не было, не то человек стоит, к плетню спиной прислонился. «Что это такое стоит?» — говорит отец. Почему мы знаем! А мать (она за нами следом шла, неизвестно зачем, — просто ей дома не сиделось, все в поле тянуло, на дорогу) говорит: «Уж не человек ли это замерз, сохрани господи?»

Мы все прибавили шагу, так что мать отстала. Подходим, смотрим — и чуть со страху не попадали. «И то человек!» — крикнул отец. Я, хоть был моложе всех, подскочил к замерзшему и тоже закричал: «Офицер!» Мундир на замерзшем был весь в дырах, а была ли у него какая обувь — неизвестно: по колени был он завален снегом. Лицо желтое, как воск, глаза — как стекляшки, усы длинные, русые, одна рука висит, а другой держит у рта булку. Мы догадались, что он искал, куда бы спрятаться от выюги, блуждал-блуждал по полю, да так смерть его и застала у плетня нашей хаты. Стоим мы, смотрим, отец крестится, а тут и мать подошла... Подошла, посмотрела, всплеснула руками, да как крикнет: «Иисусе, Мария! Никак это Франусь!» — и рухнула на снег... В то время и мы разглядели, кто таков был замерзший офицер...

Раздражение Ядвиги все усиливалось, шепот становился громче.

— Важное дело! Если распустить косу, так всякая из нас может волосами похвастать!.. Да нам, простым девушкам, стыдно было бы так ходить... Ох, и правда! Волос длинен, да ум короток!

Теперь Ян быстро подошел к ней.

— Я покорнейше прошу вас в нашей хате не причинять никому неприятностей, — тихо, но отчетливо прошептал он, хмурия брови.

— Эка важность, что вы покорнейше просите? — тоже шепотом ответила Ядвига. — Может, когда-то ваша просьба имела для меня значение, да теперь я вижу, что лучше мне во-время с дороги убраться. А то, с панами якшаясь, как бы вы меня за свою батрачку не приняли!..

Посеребренные, позолоченные, с поддельными жемчугами браслеты звенели на ее красных руках, которые она то порывисто сжимала, то разжимала; голос ее дрожал от волнения и сдерживаемых рыданий, и на темных ресницах повисли слезы.

— Из-за чего вы так злитесь и волнуетесь? Разве не знаете, что злость портит красоту? — насмешливо заметил Ян.

Старый Якуб, высоко подняв желтый, как воск, палец, оканчивал свой рассказ:

— Вот как добрался Франусь до своего родимого гнезда и, точно часовой, стал у отцовских ворот. Так мы его, закоченелого, и принесли в хату. Мать упала наземь и завывала, словно волчица...

На волчицу была похожа сейчас и Ядвига; обхватив старика руками, она потащила его к двери.

— Пойдем отсюда, дедушка... ну, пойдём! — повторяла она. — Довольно мы нагостились здесь с тобой и добрых слов наслушались. Не нужны мы здесь... Чего нам лезть на глаза гордецам? У них другое на уме. В знакомых у нас, слава богу, недостатка не будет...

Щеки Ядвиги покрылись багровым румянцем, глаза гневно сверкали. Старик, который в минуты сознания был послушен, покорно шел к двери, а она все не унималась:

— Одно подымается, другое падает. Мы здесь не нужны. Были и мы хороши, когда лучшего не было, а теперь плохи стали. Ну, и слава богу! Ну, и пусть! Только как бы в этом деле не ошибиться, — известно: кто за двумя зайцами погонится, ни одного не поймает! Покойной ночи! Всякого благополучия!

В сдавленном голосе Ядвиги слышались и неудержимый гнев, и кровная обида, и слезы. Она вывела деда в сени, зажала в кулак запачкавшийся подол и с громким стуком затворила за собой дверь.

Несколько минут все молчали. Ян опомнился первый и громко рассмеялся.

— Вот так язычок! — вскричал он. — Ну и злючка! Не думал я, что она такая злая! Кому-нибудь, может, и нравятся такие бойкие да разговорчивые, а мне — нет!

Анзельм молчал и не потребовал от племянника никаких разъяснений. Он задумался и, казалось, что-то соображал. Ян тоже был немного смущен и ушел в бовоушу, но вскоре вернулся и громко сказал:

— Может быть, вы, панна Юстына, хотите посмотреть иллюминацию на Немане?

— Яцицу ловят? — спросил Анзельм.

— Да... только что с огнями выплывать начали.

— Мне домой пора, — сказала Юстына и встала с места.

— Я вас провожу, — на дворе совсем стемнело.

— И я пойду с вами, — тихо сказал Анзельм, медленно встал со скамейки и велел Антольке, которая вошла в горницу с полным жбаном молока, принести палку и шапку.

— Вас утомит ночная прогулка, — заметил Ян.

— Не беспокойся. Если захочу, я и ночью скорее тебя пройду куда угодно, — шутливо ответил Анзельм.

За Антолькой в горницу явился и Михал в своем канареечном костюме и, по случаю воскресенья, в огромном галстуке василькового цвета. Он не дурачился, как вчера, а серьезно поклонился всем присутствовавшим, пожелал доброго вечера и стал в угол, не спуская с Юстыны пытливого взгляда.

Антолька налила из подойника стакан парного молока.

— Не хотите ли, Юстына? Пожалуйста! — угощала она гостью.

Анзельм, поправляя на голове огромную баранью шапку, приглушенным голосом говорил в это время племяннику:

— Устану ли я, или нет — это неважно, но как бы о панне, по твоей милости, не стали болтать всякие глупости. И то нехорошо, что мне не пришлось поехать с вами на Могилу. Гулять с девушкой ночью вдвоем и платить ей за добро злом уж никак не годится...

Ян обнял его, повернул вокруг себя и с громким смехом расцеловал в обе щеки.

— Молодо-зелено! — не совсем довольным тоном сказал Анзельм и запахнул сермягу.

Вечер был темный, по небу, заслоняя звезды, неслись похожие на развеваемый ветром дым длинные клочья разорванных облаков.

— Если вы хотите все хорошо видеть, нужно сойти к тополю, — отозвался Ян.

Юстына быстро сбежала вниз; Ян протянул дяде руку, чтоб помочь ему спуститься.

Стоя под тополем, они видели длинную ленту Немана, с одной стороны — против корчинской усадьбы — поворачивающую за высокую стену берега, с другой — исчезающую вдали за песками.

Юстына сегодня уже в четвертый раз видела Неман, и всякий раз иным.

Вначале спокойный, он, казалось, до самого дна отражал тяжелые тучи, и ласточки, реявшие над его вспыхивавшей ослепительными огнями гладью, задевали ее крыльями, потом он мрачно бушевал, и по его покрытым белой пеной, вздувшимся волнам под бурным ливнем медленно ползли желтые плоты и стремительно мчалась стайка черных челнов; а еще позже, когда гроза пронеслась, он изукрасился золотыми дымами, а над его зеркальной гладью, отливавшей золотом и лазурью, кружились в торжественном хороводе белоснежные морские чайки и в испуге метались крычки; а теперь он неподвижно застыл, расстилаясь длинной лентой, разрезанной на две полосы: иссиня-черную в тени бора и цвета темной стали на другой стороне.

Эта полоса расплавленной стали не отражала мерцания звезд, подернутых мутными разорванными облаками; она тускло поблескивала, когда вдали загорались круглые, яркокрасные огоньки. Они выплывали то тут, то там из-за высокой горы и, приближаясь, растянулись в одну линию вдоль реки. Теперь уже можно было разглядеть маленькие лодки и людей, разжигавших в них костры.

Всех лодок было около двадцати. Словно волшебные видения, они плавно скользили по недвижной реке глубоко внизу; и так же плавно колыхались их отражения в темной пучине, а лица и фигуры людей, озаренные красноватым светом, со скульптурной четкостью выделялись на темном фоне неба и воды.

Но еще более странным, чуть не фантастическим явлением казалась густая мгла, окутавшая лодки и сидевших в них людей мириадами мелких, как снежинки, хлопьев и застилавшая белой дымкой ярко горевшие костры. Ни в воздухе, ни в промежутках между лодками хлопьев этих не было, и нельзя было понять, откуда они. Вскоре, однако, все увидели, что это крохотные мотыльки, которые вылетали из воды, трепеща белоснежными крылышками. Их было несметное множество, как песчинок на дне Немана, в глубинах которого они рождались. Покинув родную стихию, они в неудержимом порыве устремлялись к ослепительно пылавшим огням. Коварные рыбаки, проворно действуя руками, сгребали в мешки эту крылатую выюгу, заносившую белоснежными хлопьями их самих и их лодки.

Чтобы не испугнуть боязливую водяную тварь ни малейшим шорохом, рыбацьи лодки скользили медленно и бесшумно, даже не всплескивая веслами. Вдоль всей реки, насколько хватало глаз, мелькали в темноте красные огоньки, а возле них красноватые силуэты сидящих людей.

Тихо было везде — и в небе и в воздухе, на земле и в воде; только где-то вверху над деревьями жужжали, кружась в вышине, рой неманских мотыльков. Казалось, что это монотонное металлическое жужжание издавала дрожащая струна, натянутая между темной лентой реки, усеянной огненными точками, и небом, где висели

облака, подобные развевающемуся дыму или клочьям разорванного крепа.

Стоявшие под тополем, который рос на склоне горы, разглядели в одной из лодок Витольда Корчинского. Первым его заметил Ян.

— А вот и пан Витольд с Казимиром, сыном Валенты, плывет!

Это действительно был Витольд, на этот раз выехавший не с Юльком, а с другим приятелем; весь в снежной мгле мотыльков, он молча и усердно делал то же, что и другие рыбаки. Тонкий его профиль отчетливо вырисовывался на фоне огня против грубоватого, но тоже юного и красивого лица его спутника.

— И сын пана Корчинского здесь, и племянница его с нами, — тихо заметил Ансельм. — Стран...но... Стран...но... Вот уж чего никак не ожидал!

Около полуночи Юстина тихо боковыми дверями, через гардеробную вошла в корчинский дом. Она остановилась на минуту и прислушалась. Сквозь две полуоткрытые двери была видна часть комнаты, уставленной голубой мебелью и освещенной мягким светом лампы. Оттуда слышался жеманный, но приятный женский голос, с увлечением читающий по-французски:

— «Очутившись перед королем, я сделала глубокий реверанс и долго не смела взглянуть в обожаемое лицо великого Людовика. Когда, наконец, я подняла глаза, то увидала перед собой людей, составлявших цвет и славу всей Франции, окружавших короля, подобно тому как звезды окружают солнце. Здесь был великий Конде, принц де Люин, герцог Монморанси, герцог Сен-Симон, герцог де Брольи, граф де Ларошфуко, маркиз де Креки и другие. Все смотрели на меня, и все, видимо, были очарованы моею красотой. Это новое подтверждение тому, что постоянно говорило мое зеркало, придало мне смелость поднять глаза на короля. Каков же был мой восторг, когда по улыбке Короля-солнца¹ я догадалась, что вскоре я засияю на горизонте его двора как новая

¹ «Король-солнце» — лествичное прозвище, данное придворными французскому королю Людовику XIV, в правление которого (1643—1715) французский абсолютизм достиг высшего своего расцвета.

звезда первой величины! Я чувствовала, что вступаю в святилище величия, блеска, изящества и роскоши...»

— Милая Тереня, — перебил чтение другой женский голос, слабый, нежный и томный, — можешь ли ты представить себе прекрасную, полную блеска жизнь этой маркизы?

— Ах! — вздохнула Тереса. — Даже трудно себе вообразить такую роскошь.

— Быть звездой первой величины при дворе великого короля... наслаждаться, сиять!..

— Быть любимой... — добавила Тереса.

— О да! И кем любимой? Маркизом де Креки! И какова должна была быть любовь таких изящных, красивых, поэтических людей!

— Ах! Да разве можно представить себе такое счастье!

— В таком окружении и я была бы здорова, весела, довольна, я могла бы танцевать, дышать полной грудью, — одним словом, жить! Правда, Тереня?

— О!

— Как неравномерно распределено счастье между людьми! — еще раз вздохнула пани Эмилия, и, вероятно, по ее нежной щечке скатилась слезинка, потому что вслед за этим послышался тревожный голос Тересы:

— Только, ради бога, не расстраивайтесь, не плачьте, а то опять начнутся спазмы... Ну, ну, сдержите себя, успокойтесь...

В этот вечер пани Эмилия и ее подруга, отложив свои странствования по всему свету, углубились в прошлое и теперь восхищались мемуарами одной из знаменитых куртизанок XVII столетия.

Юстына вошла в темную столовую, в глубине которой была широко распахнута дверь в кабинет пана Бенедикта. Корчинский сидел за письменным столом и вносил в большую книгу колонны цифр и записей. При сильном свете лампы высокий, плотный, с длинными усами, загорелым лицом и густыми взъерошенными волосами, он казался еще более грузным и угрюмым. Глубокой печалью и суровостью веяло от этого человека, работавшего далеко за полночь в уединенной комнате большого старого дома. Казалось, он был

так погружен в работу, что ни малейшая забота, ни малейшая мысль, не имевшая связи с выходящими из-под его пера цифрами и записями, не могла бы отвлечь его в эту минуту. Но, услышав шаги в соседней комнате, пан Бенедикт поднял голову.

— Витольд! — громко окликнул он.

Юстына остановилась у порога ярко освещенной комнаты.

— Ах, это ты! — воскликнул пан Бенедикт, и в голосе его послышалось чувство обманутого ожидания. Он провел рукой по уставшим глазам.

— Не знаешь, где он теперь... Витольд?

Юстына сказала, что видела, как Витольд с рыбаками ловит на Немане ящицу.

— А! — коротко сказал пан Бенедикт и снова наклонился над счетною книгой.

Юстына приблизилась к нему.

— Покойной ночи, дядя, — тихо сказала она и крепче, сердечней, чем обыкновенно, поцеловала ему руку...

А в ушах ее звучали слова: «Он не вскрикнул, не заплакал, но подошел к окну и застонал так, как стонет только умирающий».

Юстына заглянула дяде в лицо. Господи! Сколько морщин, сколько морщин на этом лице! Они собирались в толстые складки и тонкими лучами разбегались по лбу, по щекам, окаймляли грустные карие глаза. Какую из этих морщин провела смерть его брата? В каких погребены идеалы и светлые порывы его юности? Какие, наконец, проведены теми двадцатью годами, что падали на его голову тяжелыми свинцовыми каплями?

— Покойной ночи, прощай! — рассеянно ответил он и жесткими усами коснулся лба Юстыны.

Он ни о чем не спросил ее. Он никогда не касался личных дел своих домочадцев.

Вечно занятый, озабоченный, углубленный в свои мысли, он ко всему, что не имело непосредственной связи с хозяйством Корчина, казался равнодушным, да, должно быть, и был таким на самом деле. Однако, когда Юстына ушла, он снова поднял голову, бросил

перо и сильно дернул себя за ус. В нем кипели гнев, беспокойство, сожаление.

— С рыбаками по Неману разгуливает... дурак! — гневно, громким шепотом проговорил он. — Никогда его дома нет, все норовит от меня подальше... не так, как прежде... Злой мальчишка... бессердечный... эгоист!

Он закусил конец уса, уставился в пространство бессмысленным стеклянным взором и, точно пораженный изумлением, несколько раз повторил:

— Что это с ним стало?.. Что с ним?.. Что с ним? Невыразимая тоска сдвинула морщины на его лбу, глаза, устремленные в одну точку, заволоклись слезами.

Взойдя по лестнице на верхний этаж, Юстына тихонько приотворила дверь в комнату отца. Пан Ожельский мирно почивал, о чем свидетельствовал его сладкий храп. Юстына отворила противоположную дверь.

— Ага, вот она! Вернулась, наконец!.. Паненка в полночь изволит возвращаться с прогулки. Поздравляю, но не завидую! Я предпочитаю постель. Старость и молодость! Вечная история!

Этими словами приветствовал Юстыну из угла довольно большой комнаты низкий, слегка хриплый голос. Марта лежала в углу на кровати, завернувшись в одеяло, и, вытянувшись во всю длину, глядела в потолок. При слабом свете лампочки ее напряженное тело казалось спеленутой мумией, желтое лицо резко выделялось на белых подушках. Глаза старой девы блестели, как черные бусы.

Юстына не снеша приблизилась к комоду, над которым висело небольшое зеркало, и молча начала снимать платье и расчесывать волосы.

А Марта все не унималась:

— Откуда бог привел? И веника никакого не принесла? Видела я сегодня, видела, как ты наряжалась в кисейное платьице и волосики перед зеркальцем все приглаживала, — думала, ждешь посещения богатого жениха. Вот редкая птица-то отыскалась, честное слово! Девушку бедную, не то чтоб очень хорошо образованную, не то чтоб особенно красивую, хотят взять замуж и сделать большой пани! Ну, ну! — думаю себе. — Нечего удивляться, что она и сама не знает, как ей для

женишка принарядиться да приукраситься! А она ушла и на целые полдня пропала... Да где это ты пропадала? Опять там была?.. Зачем? Вечная глупость! А если б Ружиц приехал, а? Двум богам не служат: или князь, — ну, не князь, положим, но в сравнении с тобой больше чем князь: королевич, — или мужик. За мужскими венками ходить будешь — королевича своего упустишь, а потом и наплачешься! И превратившись в такую же холеру, как я, или горлицу, что вечно свою шею к кусочку сахара вытягивает, как Тереса! Вот смех-то, честное слово! Ха-ха-ха! Ох, не могу...

Марта засмеялась, потом закашлялась и продолжала. Кроме обычной живости и стремительности, в словах ее слышалось явное беспокойство. Она изредка шевелила ногами под одеялом, а глаза ее все ярче блестели в полумраке.

— Ну, и что ты там слышала, а? Что ты там делаешь, о чем разговариваешь? Да умеешь ли ты говорить-то с ними? Они там ничего ни о французских романах, ни о сонатах, ни о ноктюрнах не слыхали... слова все употребляют смешные: «однаке, сродственники, горюшко...» помню, как же, помню! И я когда-то так привыкла к их говору, что порой и сама ошибусь и скажу: сродственники или горюшко, а потом так вся и сгорю от стыда... Вижу, тебя любопытство разбирает, хочется узнать, приезжал ли сегодня королевич, или нет? Будь покойна, — не приезжал. Пани Кирло, точно, была. Эмнлия пристала ко мне, чтобы я приняла ее. Сама она ожидала приступа мигрени и даже позевывать начала... Собственно говоря, не столько мигрень, сколько лень разговаривать... А Тереса говорит, что они сегодня очень интересную книжку читают. Одни глупости! Ну их!.. С пани Кирло я часа два проболтала, как на иголках вертелась: булки в печи у меня были. Прежде всего о тебе спрашивает: где панна Юстына? Что делает? Как теперь выглядит? Повеселела ли? Потом деликатно навела разговор на Зыгмунта и тихонько спросила меня, забыла ли ты его, или еще нет? А потом начала о своем кузене: какие имения еще остались у него, какой он добрый, какой несчастный! Я спрашиваю: «Отчего несчастный?» — «Ах, говорит, жалеет, что растратил здо-

ровые и столько денег, загубил свою молодость и к тому же...» Тут она мне сказала что-то такое, чего я понять не могла... «Наибольшее его несчастье...» — она начала было, но покраснела, как всегда краснеет, и прикусила язык. Меня разбирало любопытство, и я начала допытываться, что такое за несчастье? Пани Кирло опустила глаза и прошептала: «Морфий!» И больше ничего я от нее допытаться не могла. Говорит, что очень желала бы, чтоб кузен женился и поселился навсегда в Воловщине, потому что это могло бы излечить его от всех болезней. Нужно только, чтоб он женился на женщине доброй, умной, рассудительной и, кроме того, такой, которая понравилась бы ему. Эта женщина была бы с ним счастлива, потому что он добр, порядочен и умен, и вся вина его в том, что, обладая большим богатством, он многое себе позволял раньше. Ружиц все это понял и решил жениться... Слышишь, Юстына? Решил жениться, а пани Кирло, кажется, сегодня только для того и приезжала, чтоб выведать, что ты об этом думаешь и как к этому отнесешься... В сваху обратилась, но в этом ничего нет удивительного: она хочет избавить кузена от танцовщиц, разорения и какого-то там морфия... а кузен очень добр к ней и, видимо, даже немного поддерживает их. Видишь, сколько я тебе наговорила? Что, плохой я друг? Теперь можешь спокойно ложиться и мечтать о будущем богатстве. Только я, честное слово, не понимаю, почему ты сегодня дома не сидела и королевича своего не поджидала? Папенька твой целый день играл один, а под вечер ему захотелось поиграть с аккомпанементом... Какой-то новый ноктюрн разучил и тебя хочет научить... По всему дому дочку свою искал, а дочка как в воду канула. Где ты запропастилась? Уж, наверное, одна, как привидение, не бродишь по полям и лесам! Прежде чем королевича окончательно зацапаешь, пастушка какого-нибудь себе отыскала. Да ну, вымолви хоть словечко! Онемела ты, что ли? Я ей говорю, выкладываю все новости, какие ее интересовать могут, охрипла даже, а она мне словечка сказать не хочет... скрытная, гордая, недобрая девушка... честное слово, недобрая! Ох!..

Не трудно было догадаться, что Марте тоже хоте-

лось что-нибудь услышать от Юстыны, которой она так много рассказала, услышать то, что ее так горячо, так страстно занимало. Глаза ее горели в полутьме, сухие руки высвободились из-под одеяла и делали странные движения, в голосе слышалось нескрываемое раздражение и недовольство.

— Скрытная, гордая, недобрая! — повторила Марта.

Она снова закашлялась и, успокоившись, лежала неподвижно, глядя в потолок.

Юстына, с уже заплетенной косой, в белой ночной кофте, подошла босиком к кровати своей старой приятельницы и опустилась рядом на колени.

— Тетя, отчего ты не захотела быть его женой? — тихо спросила она, низко наклонившись над Мартой и взяв в руки ее большую костлявую кисть.

— А? Что? — вздрогнула старая панна и всем своим тяжелым телом повернулась к Юстыне. — Что? Отчего я... его женой? — громким и хриплым шепотом заговорила она. — Его?... Чьей? Ты с ним в самом деле видишься... знаешь? Он сам тебе говорил... обо мне говорил... вспоминал... правда, вспоминал?

— Вспоминал. Сколько ему пришлось выстрадать! Он и теперь не такой, как другие.

— Выстрадал? А я не выстрадала? Не такой, как другие? А я такая, как другие? Вечная тоска... вечная тоска!..

Грудь Марты высоко поднялась от глубокого вдоха.

— Отчего? Да, отчего? Отчего? — сжимая сильнее ее руку, с лихорадочным нетерпением спрашивала Юстына.

Разгоревшиеся глаза Марты пытливо смотрели ей в лицо, точно хотели проникнуть в сердце, узнать самые сокровенные ее мысли.

— Он не говорил почему? Все сказал, а почему не сказал, а?

— Нет.

Марта долго молчала, потом понемногу успокоилась, отвела глаза в сторону и спросила:

— А ты хочешь знать? Любопытно? Положим,

всегда интересно, почему девушка жениху, хотя бы и такому, отказала. Ты, вероятно, думаешь услышать что-нибудь особенное? Какую-нибудь сложную драму... принужденне... преграды... интрига... трагедия? Ошибаешься. Ничего особенного, романического, как бывает на сцене, не разыгралось. Было дело простое, прозаическое, — это зелье повсюду растет, даже там, где его не сеют. Это была извечная глупость... моя собственная глупость... Видишь, как прозаично...

Она засмеялась.

— Почему... почему!.. Во-первых, потому что паненка боялась людских насмешек; во-вторых, испугалась тяжелой работы. Вот и все. Запретить мне никто не запрещал, да и права никто не имел на это. Сирота я была, и было мне двадцать лет с лишком. Положим, надо мной смеялись, дурачились, глупости разные болтали. Пока вокруг все кипело, как в котле, и люди ходили с разгоряченными головами и сильно бьющимися сердцами, до тех пор только и речи было, что о равенстве; все обнимались, целовались, братались; пан в своей коляске возил мужика и нежно упрашивал: «Люби меня хоть немного и называй просто по имени, — слышишь ты, Василек, Юрась там или Анзельмик!» Но когда пожар погас, на пепелище снова показались горы и долины, как и прежде... и прежде... горы и долины... «А ты, Василек или Анзельмик, не смей из долины на гору взбираться! А ты, паненка, если с горы сойдешь в долину, мы тебя ни бить, ни преследовать не будем, — мы чересчур умны и деликатны для этого; мы над тобой посмеемся, посмеемся так, что у нас колики начнутся!» Вот как было! Они не мешали, не преследовали, только высмеивали! «Вот какого чудесного жениха Марта себе отыскала!» Дажецкие смеялись, этот шут, Кирло, кривлялся, даже вдова Анджея улыбалась при одной мысли, что я могу выйти замуж за человека, который пашет собственными руками. А этот олух Кирло так и покатылся со смеху: «Пахать — это еще ничего, тут хоть какая-то поэзия; он сам навоз в поле вывозит!.. Воображаю, как от него пахнет!» И всякий, кто только узнавал о моем женихе, хохотал до слез. А я — ты слышишь? — прямо

сгорала от стыда. Бывало так, что ночью плачу с тоски по нем, воображаю, как была бы с ним счастлива, — плачу, рекой разливаюсь, а днем перед родными и знакомыми, честное слово, отрекаюсь от него, как Петр от Христа, и... знаешь ли? вечная подлость людская! — сама смеюсь над этим женихом даже больше, чем они. По временам слезы ручьем текут по лицу, а они думают, это от смеха... Один Бенедикт не смеялся, ему тогда не до смеху было... Может, он не так скоро, как другие, забыл о том, что брат того, над кем так насмехались, лежит в одной могиле с его братом. Но и он тоже шел против меня, только с другого конца. «Работа тяжелая. Ведь тебе придется самой полоть, жать, доить коров, стряпать, стирать», — одним словом, целый список того, что я должна буду делать. «Не выдержишь, здоровье потеряешь, огрубеешь, омужичишься». Это меня больше оттолкнуло, чем насмешки и издевательства. В самом деле, как это такая паненка, как я, стала бы полоть, жать, доить коров, стирать? Я измучаюсь, наверно, измучаюсь, не выдержу, к тому же и омужичусь! Откуда у меня это барство явилось — черт знает, потому что у самой-то ни кола ни двора, сплошь и рядом в дырявых башмаках ходила; учили меня чему-то, правда, но на медные гроши, и работала я в Корчине с малых лет, да как работала! Я и всем домом заведовала, и фольварком, и огородом, и шила себе и другим (себе из того, что родные подарят). Но ведь я из дворянской фамилии, родные были со средствами. Значит, и я барышня. Вот я и испугалась той работы, какая мне предстояла в будущем. Что делать? Потоскуешь, потоскуешь, да и забудешь, успокоишься... А тут пани Дажецкая все на ухо шепчет: «Найдется кто-нибудь другой... более подходящая партия, я сама тебя сосватаю!» Более подходящей партии так и не представилось, сосватать меня ей не пришлось: своим дочкам надо было женихов искать, а забыла ли я, успокоилась ли — это только мне одной известно. Достаточно, что я за мужика не вышла, не жала, не полола и коров не доила, а что касается стряпни и стирки, то это случалось, случалось. Корчине из большого княжества сделался маленьким имением, и, живя в нем,

мало ли чем заниматься приходилось... Зато я не жала и не полола, а это много значит; ради этого стоит от многого отказаться, уж это одно за все вознаграждает — и за любовь, и за свой угол, и за тех детишек, которые, может быть, скрасили бы мою жизнь, и за то, что я на холеру похожа стала, — за все вознаграждает... За все я нахожу награду в том, что мне не пришлось жать, не пришлось омужичиться... Как не быть довольной? Я всю жизнь прожила с этим сознанием. К тому же, честь и слава мне, что я спаслась от стыда и унижения... честь и слава, вечная слава, вечная слава!

— Тетя, тетя, бедная моя тетя! — шептала Юстына, сжимая в своих руках руку взволнованной Марты.

Но Марта не успокаивалась, она повернула к ней свое желтое лицо с огненным румянцем на впалых щеках и хриплым шепотом спросила:

— А что с ним теперь? Какой у него вид? Совсем выздоровел? С племянником ладно живет?

И долго, прижавшись друг к другу, они вели тихий разговор.

— Дом новый выстроил? Ну, что, как там, внутри? Горница большая, чисто, порядок?

Когда Юстына ответила на все вопросы, Марта прошептала:

— А меня вспоминает, а?

Она задумалась на минуту.

— Так ты говоришь, вспоминает, и часто?

Женщина, в цвете молодости и сил, тихо и ласково отвечала другой, старой, ворчливой, раздраженной: как и когда вспоминал... и что говорил о ней.

На впалых, увядших губах Марты появилась улыбка; взволнованное лицо начинало успокаиваться, и угасшие, затуманенные тихой радостью глаза сомкнулись.

— Вспоминает! — еще раз прошептала она и совсем замолчала.

Она не уснула, но лежала тихо и неподвижно, и только в груди, утомленной волнением и долгим разговором, что-то громко хрипело и изредка вырывалось с глухим стоном.

— Тетя, — шепнула Юстына, — ты больна, ты в

самом деле больна и, должно быть, серьезно. Почему ты не хочешь полечиться?

Марта подняла глаза и, как всегда раздраженно и порывисто, ответила:

— Зачем это и для чего? Не скажешь ли мне; зачем и для чего? Кто это тебе сказал? Сама придумала и дети выдумывают... Здоровее меня никого на свете нет. Оставьте меня в покое с вашими советами и докторами! Ложись спать! Спокойной ночи!

Она снова закрыла глаза и снова по ее лицу медленно разлилось выражение сладостного покоя.

Юстына встала, еще минуту поглядела на неподвижно лежавшую женщину, потом нагнулась и тихо, с чувством поцеловала ее в губы. Отошла, погасила лампу и села у закрытого окна. В голубоватом пред-рассветном сумраке, неподвижно, словно зачарованная стража, стояли деревья, белые облака задернули небо шелковистой фатой, на бледносеребристом Немане кое-где всплескивала воду рыба, разбивая большими кругами зеркальную гладь реки или вдруг взметая мгновенно исчезающие фонтаны.

Вскоре над бором показался розовый краешек зари, по ветвям деревьев с шелестом пронесся легкий трепет, и в тишине раздалось звонкое, протяжное пение петуха — сначала где-то близко, возле дома, потом повторилось дальше и еще дальше, становясь все слабей и слабей. Как бдительные часовые, что, издали перекликаясь, передают друг другу пароль, так эти птицы в сонной тиши одна за другой торжествующим криком возвещали наступление нового дня.

Юстына, устремив взор на разгоравшуюся полосу зари, прислушивалась к пению петухов, которое теперь уже доносилось с хутора — сперва из ближних домов, потом из дальних и, наконец, чуть слышно, откуда-то совсем издалека, может быть из оврага Яна и Цецилии. Она закрыла глаза, облокотилась на подоконник и замечталась или уснула...

Словно наяву, видела она перед собой усадьбу, розовеющую в сиянии утренней зари, обрызганный сверкающей росой сад и молодого красивого парня, идущего по заросшему кудрявой травкой двору. Он

подходит к конюшне, отворяет двустворчатые ворота и выкатывает телегу. Вот молоденькая босоногая девушка, мелькнув под старыми липами, пробегает к реке с коромыслом на плече; старик в грубой сермяге, хмурая высокий лоб, открывает окно и поднимает к небу поблекшие глаза. Но кто это еще вышел на крыльцо и стоит под навесом, украшенным грубой резьбой? Да это она сама.... она... Юстына, в короткой клетчатой юбке, с темной косой, падающей на широкую кофту. Ее лицо дышит счастьем — счастьем того красивого парня, который повернулся к ней, протягивая серп, и смотрит на нее влюбленными глазами. Сон это или греза? Ей кажется, что весь мир погружен в сумрак, прозрачный сумрак, но без солнца, а она парит по небу и обнимает взором широкий горизонт, такой широкий, что видит ясно и корчинский двор, и поселок, и скрытый в глубокой зелени памятник легендарной чете, и унылую песчаную пустыню, а за нею, в замкнутом круге лесистых холмов, одинокую могилу. Все это окутано прозрачным сумраком, а она держит в руках лампу... ту самую лампу, которая горела вчера на ольховом комоде Анзельма. Вероятно, Юстына и взяла ее с комода и теперь поднимает высоко-высоко. Лампа маленькая, горит тускло, но все-таки ее скудный свет падает на крыши домов, бросает золотые нити на сеть дорожек и тропинок, пересекающих поселок, освещает с одной стороны древний памятник, с другой — одинокую могилу и связывает все, точно звенья одной цепи.

Спит или грезит Юстына? Она чувствует на волосах, на лице, на губах долгие теплые поцелуи. Это лучи солнца, которое, разорвав полог розовой дымки зари, брызнуло своими огненными стрелами на деревья, на траву, на воду и на Юстыну. Но во сне или в мечтах, эти поцелуи посылало ей не светило дня, а кто-то другой, другой... потому что лицо Юстыны вспыхивало румянцем и на губах играла улыбка счастья.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Вдова Анджея Корчинского вовсе не была «большой пани», как называл ее Ансельм Богатырович; но когда она, молоденькая, прелестная и богатая девушка, тридцать лет назад обручилась с одним из трех братьев Корчинских, все были того мнения, что только одна любовь могла склонить ее к подобному замужеству. Добивавшихся ее сердца, руки и приданого было много, — она избрала наименее богатого, носившего наиболее скромную фамилию. Она любила, — и этого было достаточно; она разделяла стремления любимого человека, — стремления, которым он отдался со всем пылом молодости и которые так рано пресекли его жизнь. Миллионов она ему не принесла, но стоимости имения, полученного ею в приданое, значительно превышала стоимость его имущества. Осовцы, по тогдашнему подсчету, состояли из сотни крестьянских дворов, значительного количества земли, отличного леса и большого господского дома, построенного несколько десятков лет назад с некоторой претензией на величавость. Сразу было видно, что строил его зажиточный шляхтич, не желавший отстать от магнатов.

Дворец, как называли его в округе, был просто двухэтажный каменный дом под красной железной крышей с большими окнами и широким крытым подъездом, арки которого были обвиты густым плющом. Перед этим домом довольно мрачного вида, возманивающимся на фоне старой аллеи, расстился огромный двор,

украшенный цветочными клумбами и газонами, а позади был разбит так называемый английский сад, сквозь гущу которого просвечивала целая сеть узких дорожек, белели деревянные скамьи и прелестные изогнутые мостики, перекинутые через быструю, вечно шумящую речку. Немана отсюда не было видно, но речка впадала в него, пробежав с версту сперва по саду, а потом по широкому лугу, на котором поднималась цепь невысоких, очевидно искусственных, холмов, известных среди местного населения под названием «шведских» окопов. По преданию, два века назад здесь стояло лагерем большое войско и разыгрывались кровавые битвы. Осенью, когда аллея и парк сбрасывали с себя зеленый убор, луг, окопы и две соединяющиеся под углом реки, маленькая и большая, были отлично видны из окон верхнего этажа осовецкого дома.

В этом доме, или дворце, пани Корчинская родилась, выросла и прожила всю жизнь, за исключением восьми лет, проведенных в доме мужа. Когда-то она уехала отсюда, сияющая счастьем, любящая и любимая, чтобы возвратиться вдовой в траурном платье, с которым ей уже не суждено было расстаться. Она никогда не была ни легкомысленной, ни чересчур веселой; даже в дни юности и в самые счастливые минуты жизни весь ее облик носил отпечаток серьезности и спокойствия, свидетельствовавших о глубине и сдержанности ее чувств. Даже у брачного алтаря, когда она сосредоточенно молилась про себя, ее вдумчивый, лучистый взор говорил о натуре не только суровой к самой себе, но даже, быть может, склонной к мистицизму. Те, кто видел ее в ту пору жизни, помнил, что нежное ее лицо не уступало прелестью цветущей розе, а манеры и речь, хотя и были строже, сдержаннее, чем у большинства женщин в этом возрасте и положении, пленяли радушием и искренностью. Все знали, что она вполне разделяла убеждения своего мужа и была способна к высоким порывам. Жена патриота и демократа, она была его другом, товарищем и если не участвовала в его работе среди народа, то не из гордости, пренебрежения или кастовых предрассудков, а потому, что не могла хотя бы на минуту отказаться от изысканных

форм жизни и сплзйти до ее грубых и тривиальных явлений. Никто лучше и легче Анджея не мог найти ключ к простому сердцу, к непросвещенному уму, тогда как она была вовсе не способна к этому. Он, влюбленный в жену, хорошо понимая ее, легко и весело мирился с этим ее недостатком, а она, с грустью сознавая, что вносит в их жизнь невольный разлад, напрягала все усилия, работала над собой, боролась со своими глубоко укоренившимися привычками и инстинктами, но бесполезно.

Сколько раз стучалась она в дверь бедной хаты с сердцем, полным лучших чувств, и губы ее вздрагивали от невысказанных слов сочувствия, но она останавливалась на пороге с величественной осанкой и высоко поднятой головой, как богиня, осчастливившая своим посещением жилища смертных. Внешне гордая и как будто все презирающая, а внутри до боли, до отчаяния смущенная, она не знала, что сделать, что сказать, беспомощная перед неведомой ей силой. Много понимая, она не могла разгадать этой загадки; исполненная самых добрых чувств, она дрожала от отвращения к той грубой, будничной обстановке и каменистой стезе, на которую вступила. Когда она начинала говорить — ее не понимали; когда заговаривали с ней — она не понимала. Целое привлекало ее к себе, частности поражали и отталкивали. С чувством непреодолимой брезгливости смотрела она на грязные изуродованные тела, огрубевшие лица, некрасивую одежду и закопченные стены. В душу народа, этого великого собирательного явления, она верила и жаждала ее понять, но, чтобы коснуться кончиком пальца внешней его оболочки, должна была долго бороться с собой. Она машинально отшатывалась при виде кучки мусора на полу, а запах конюшни и хлева приводил ее в почти болезненное состояние.

Она была способна к пониманию самых возвышенных отвлеченностей, но, как удивленный, испуганный ребенок, останавливалась перед суровой и упрямой действительностью. Она знала, что из этой действительности — из фактов, цифр, из повседневной мелочной работы — сплетается лестница, ведущая к идеалу; и он

был для нее всего дороже, но ни одной ступени ведущей к нему лестницы не могла она сплести своими руками. В этом ей мешал чрезмерный эстетизм и также гордость — бессознательная, но тем не менее властвующая над всем ее существом. Но гордилась она не столько знатностью своего происхождения и богатством, сколько тем, что сердце, ум и утонченный вкус поднимают ее высоко над серой, пошлой действительностью и дают возможность создать для себя более нравственную и возвышенную жизнь. За эту гордость, которую породило не богатство и не знатное происхождение, а идеалистическое понимание жизни, но к которой, помимо воли пани Корчинской, примешивалось сознание родового и имущественного превосходства над другими, — за эту гордость она не раз горько упрекала и казнила себя. Тем более что чувство это было единственной преградой между нею и любимым ею человеком и противоречило ее глубокой религиозности, повелевавшей относиться ко всем людям с любовью и прощением. Но, несмотря на все усилия, искоренить его она не могла — не по слабости или чрезмерной снисходительности к себе, а потому, что свойство это, передавшееся ей с кровью десятка предыдущих поколений, укреплялось в атмосфере комфорта, поэзии, отрешенных от повседневных дел и забот; это чувство гордости наполняло ее родной дом, окружало ее со всех сторон в годы ранней юности, она росла с ним и развивалась.

Позднее, когда Анджея уже не стало и кругозор ее невольно сузился, а отношения с людьми и цель жизни изменились, пани Корчинская пришла к окончательному соглашению с самою собой. Да! Как огонь с водой, так организмы высшие и низшие — существа летающие и ползающие — не могут примириться друг с другом. Аристократия духа, опирающаяся на любовь ко всему, что чисто и прекрасно, существует и имеет право на существование; и, быть может, именно она является первопричиной существования человечества. К тому, что внизу, что трудится, грешит и, обладая прекрасной душой, заключено в безобразную оболочку и влачит жалкую жизнь, надо иметь снисхождение и оказывать ему посильную помощь, но не жертвовать никогда

своим спокойствием, одиночными порывами духа, благородными привычками и вкусами. Пани Корчинская, придя к этому решению, уже со спокойной совестью, подобно белоснежному лебедю, плыла по течению жизни, высоко-высоко над низинами, где копошились муравьи, квакали лягушки, прыгали воробьи, — одинаково далекая как от трудолюбивых насекомых, так и от легкомысленных пташек и болотных гадюк.

Она не была ни слаба, ни снисходительна к самой себе. Уже самая внешность пани Корчинской говорила о свойственной ей энергии, которая не прорывалась наружу в каких-нибудь действиях и поступках, но вся целиком была направлена в сторону ее внутренней жизни и сдерживала ее порывы. Энергия эта закигала в ней пламя горячих чувств, может быть даже страстей, и вместе с тем облекала непроницаемой броней, — это был огонь в мраморном сосуде. Когда на двадцать шестом году своей жизни пани Корчинская расставалась с любимым мужем, отцом ее единственного ребенка, не зная, придется ли ей когда-нибудь вновь свидеться с ним, злые языки утверждали, что она хочет изобразить из себя спартанку. В действительности пани Корчинская ничего из себя не изображала: она чересчур горячо любила, чтобы в минуту тяжелой разлуки думать о каких-то героинях прошлого. Может быть, те давно прошедшие события и управляли ее нервами и кровью, но она совсем не помнила о них и была только сама собой, когда на том песчаном бугре, на который указал Юстыне Ян Богатырович, стройная, сильная, с горящими воодушевлением глазами, закинула руки на шею мужу, крепко поцеловала его и вдруг, внезапно удившись из его объятий, сказала, улыбаясь: «Поезжай, поезжай!» — и еще что-то добавила шепотом, чего никто не расслышал. А когда Анджей отъехал, она отошла немного в сторону от остальных и, громко прошептывая: «Во имя отца и сына!» — призвала к отцу молитве.

И начала молитву о извращенных и несчастливцах. Голос ее звучал спокойно и ясно. Только когда она останавливалась на мгновение, будто приглушившая к отдаленному театру зрания или в трепетном ожидании,

которые раздавались в бору. Редкие слезы, одна за другой, катились по ее щекам, но в голосе не слышно было рыданий, прямой стан не склонялся ни на мгновение и на лице не дрогнула ни одна черта.

В другой раз, когда прибежавший в Корчин ребенок принес страшную весть, она упала замертво. Но, очнувшись от этого тяжкого состояния, когда ей казалось, что она теряет рассудок, она никогда уже не падала в обморок. Движения ее стали сдержанными, говорила она мало. Такой она и вернулась в родительский дом.

Она никогда не жаловалась на физические страдания, однако прежний здоровый, свежий румянец с той поры исчез навсегда. Никто не видел ни ее отчаяния, ни слез, но зато никто с той поры не слышал и ее веселого смеха. Иногда она улыбалась — холодно мало знакомым людям, приветливо своим родственникам и домашним и со счастливой улыбкой беспредельной любви и преданности смотрела на сына, но никогда не смеялась. Это никому не казалось странным, так как вполне гармонировало с ее серьезной и величественной внешностью. Впрочем, люди, знавшие ее с детства, помнили, что она никогда не была особенно веселой или оживленной. Сдержанность и холодность пани Корчинской многих отталкивали, вызывали в людях робость, но молодая вдова никого и не старалась привлечь к себе. Напротив, уединение, в котором она жила, отсутствие жизни и движения казались ей той вершиной, достигнув которой она парила над всем низменным и обыденным. При таких условиях ей легче было скрывать свои моральные, а возможно и физические страдания, которые согнали с ее лица румянец молодости и здоровья, легче избегать невыносимых для нее столкновений со всякой прозой или грязью, легче безраздельно погрузиться в любимые занятия и отдаться тому образу жизни, который она окончательно избрала.

Каковы же были ее занятия и образ жизни в течение двадцати трех лет почти полного затворничества в огромном осовецком доме? Об этом можно было догадаться по обстановке комнаты пани Корчинской, когда однажды в августовский полдень сидела она в глубоком

кресле и, опустив рукоделие на колени, рассеянно смотрела в окно на расстилавшиеся перед ней парк и сад.

Комната пани Корчинской во втором этаже была угловой и выходила двумя окнами на целое море зелени. Высокий потолок и почти круглая форма придавали этой комнате вид часовни. Сходство это дополняли старые голубые обои, слегка полинялые, но все еще блестящие золотыми звездочками, множество картин, большое черное распятие в углу и перед ним скамеечка из ценного дерева превосходной резьбы. На черном кресте резко выделялась белая фигура Христа, искусно выполненная из слоновой кости. Впрочем, кроме распятия и богато переплетенного молитвенника, других священных предметов в комнате не было. На стенах, за исключением нескольких старых портретов и одного, изображавшего Анджея в самую цветущую пору его жизни, повторялось без конца в фотографиях, акварелях, портретах маслом, в маленьких и больших, золоченых, бархатных и простых деревянных рамках все одно и то же лицо Зыгмунта: ребенка, отрока, мужчины. Портрет мужа был только один, написанный по настоянию пани Корчинской в первые годы супружества каким-то весьма искусным художником, зато портретов сына в разных видах и разной величины было не менее двадцати. Еще больше было здесь его работ — от первых детских рисунков карандашом до набросков, копий, этюдов, сделанных в разное время на бумаге и полотне. Это был музей, собранный с необыкновенной любовью и тщательностью, — музей, который наблюдательному человеку мог бы сразу дать представление о ее сыне и о развитии его таланта. Любовное отношение к прошлому было заметно и в меблировке комнаты, состоявшей из вещей ценных и художественных, но не модных и не новых.

Другие части дома были перед женитьбой Зыгмунта заново отделаны и обставлены, и среди соседей злые языки болтали, что на все эти переделки, отделки и украшения ушла большая часть приданого пани Клотильды. Этому, впрочем, никто особенно и не удивлялся, так как всем было хорошо известно, что молодой Корчинский, как художник, обладал утонченным

вкусом, а его жена получила изысканное воспитание и принадлежала к высшему свету. Но в покоях вдовы Анджея ничего не изменилось. В мужнином доме давно уже поселились чужие люди, но часть мебели ей с большим трудом и по дорогой цене удалось получить обратно и вывезти оттуда в Осовцы. Это были модные лет тридцать назад кресла и диваны, с сильно залоснившейся волосяной тканью или выцветшей камкой, большой письменный стол красного дерева и прекрасный шкаф, наполненный книгами в истрепанных переплетах.

Однако, несмотря на благоговейную память о прошлом, в этой комнате интересовались и текущей жизнью. На столах лежало много газет, новых книг и журналов. Долгие часы, а иногда и целые дни проводила вдова Анджея за чтением, следя за новыми течениями общественной мысли и новыми устремлениями той части общества, в судьбе которой она принимала когда-то вместе с любимым человеком горячее участие. На столах стояли бюсты, а на стенах висели портреты современных общественных деятелей, мыслителей, ученых, писателей, артистов. Видно было, что пани Корчинская знала и почитала всех, приносящих жертвы тому божеству, на алтаре которого Анджей сложил свою жизнь.

Рядом с глубоким креслом у окна стояла большая корзина с кусками холстины и шерстяной материи, и сейчас на коленях у пани Анджейовой лежало какое-то шитье. В минуты, свободные от чтения, пани Корчинская шила что-нибудь для бедных. Она редко видела людей, которым оказывалась помощь, но очень хорошо знала о них из рассказов прислуги. Мелких и бесполезных женских рукоделий пани Корчинская не любила, зато своими руками шила довольно много всякой простой одежды, которая спасала бедняков от холода и гнетущего стыда за свои лохмотья.

Так прошло двадцать три года — томительно-однообразных, если не считать двух-трех моментов, сыгравших до некоторой степени решающую роль в жизни пани Корчинской и ее сына. Лет восемнадцать назад в этой самой комнате между пани Корчинской и братом

ее мужа произошел длинный и бурный разговор, который едва не испортил навсегда их дружеских отношений. Бенедикт Корчинский, законный и естественный опекун малолетнего племянника, в то время часто бывал в Осовцах. Тогда еще молодой и недавно женатый, он уже начинал мучительно чувствовать тяготы жизни, своей личной и окружающего общества. Пан Бенедикт терпел неудачу за неудачей, попадал из одной беды в другую, дичал, становился угрюмым. Однако в управлении имением своей невестки он принимал весьма деятельное участие, тем более что она, убедившись после многих усердных, но безуспешных попыток, что самой ей не справиться, потребовала его помощи ради осиротевшего племянника.

Сначала пани Корчинская принялась сама вести хозяйство, но, как и раньше, когда она, по желанию мужа, пыталась сблизиться с народом, потерпела полнейшую неудачу. Как там, так и тут, столкновения с грубостью и невежеством оказались неизбежными, а это уж было вовсе не по силам молодой вдове. Счета, тяжба в судах, хозяйственные планы и дела словно железными цепями сковывали ее мысли и чувства. Слушая отчет управляющего, она, несмотря на величайшие усилия над собой, начинала бессознательно следить за игрой света и тени в зеленой чаще парка, прислушивалась к веселому журчанию ручейка, обдумывала только что прочитанную книгу, вспоминала какой-нибудь разговор или последнюю шалость, последнее слово маленького Зыгмунта.

Если бы дело касалось только ее — ее одной, — она предпочла бы ограничиться самым малым, лишь бы избавиться от скучных и утомительных материальных забот. До некоторой степени они казались ей даже унижающими человеческое достоинство. Склонная к аскетизму, она не позволяла себе никакой роскоши: ее траурные платья стоили недорого, а старинные вещи вполне удовлетворяли ее вкусу; испытывая самое себя, она убеждалась, что долгое время может довольствоваться скудной и простой пищей. Порою ее охватывало страстное желание обречь себя на суровую нищенскую жизнь. По сравнению с тем, что она потеряла и о чем

не забывала ни на минуту, богатство казалось ей чем-то столь ничтожным, что не стоило даже протягивать за ним руку. По сравнению с высокими порывами и теми подвигами самопожертвования, которые совершались на ее глазах и в которых она сама принимала участие, заботы об удобной жизни были, с ее точки зрения, по меньшей мере безнравственными, пошлыми. По сравнению с народными общественными нуждами и бедствиями, к которым она с горячим сочувствием присматривалась из своего уединения, потворство собственным страстям и накопление средств, необходимых для этого, она считала делом постыдным и греховным... Но она была не одна. Пани Корчинская хорошо понимала, что для пользы сына, для его будущности, о которой она так любила мечтать в вечернюю пору, необходимо сохранить в целости хотя бы это имение, если другое, отцовское, навсегда, безвозвратно для него потеряно. Она начинала работать над собой, боролась, пыталась изменить свои привычки, и опять, как прежде, без всякого успеха.

К счастью, брат Анджея был возле нее, и она пользовалась — пользовалась с благодарностью — его помощью и только не допускала его вмешательства в дело, которое было в ее глазах самым важным. Бенедикт в этом случае действовал как осторожный, несмелый полководец, который, прежде чем начать решительное сражение, несколько раз и с разных сторон подойдет с войском к неприятельскому лагерю. Он искренне уважал невестку, но ее высокомерие и холодность внушали ему, несмотря на их дружеские отношения, какую-то робость. Каждый раз, когда он заводил с ней разговор о маленьком Зыгмунте, пытаясь намекнуть на то или другое или что-либо доказать, она делала вид, будто не слышит его или не понимает. Но вот однажды он вошел в эту самую комнату более угрюмый, чем когда-либо, и, дергая свой ус, — а усы пана Бенедикта в то время уже начали опускаться вниз, что придавало его лицу выражение вечной тревоги и уныния, — заявил, что хочет открыто, без всяких околичностей, поговорить с невесткой о маленьком племяннике.

Она спросила, что ему не нравится в ребенке. Пан Бенедикт ответил, что Зыгмунт воспитывается как французский маркиз, а не как польский гражданин, и скорее как барышня, чем как мужчина.

Как раз на столе перед пани Корчинской стоял в красивой рамке чудесный портрет двенадцатилетнего мальчпика, с длинными, падающими на плечи локонами, по французской моде прошлого столетия, в бархатном костюме с кружевами. Действительно, очень красивый и хрупкий ребенок в этой живописной одежде был похож на принца. Глаза матери и дяди остановились на портрете; пани Корчинская смотрела как любящая и счастливая мать, взгляд Бенедикта выражал презрение и досаду.

С тем же презрением и досадой говорил пан Бенедикт о том, что этого барчонка гувернер водит на прогулку за руку, тщательно скрывая от него все, что могло бы дать ему представление о настоящей жизни, что он плохо развит физически, прихотлив и избалован, нередко обращается с окружающими деспотически и высокомерно и что, наконец, единственное средство дать его развитию надлежащее направление и сделать пригодным для жизни и деятельности — это отдать в школу.

Тогда пани Корчинская поднялась и не только решительно, но с возмущением заявила, что никогда этого не сделает. Как! Ей смешать своего единственного ребенка с толпой, наделенной самыми пошлыми и даже, может быть, грязными и низменными инстинктами, привычками и понятиями, подвергнуть его опасности потерять свою индивидуальность, заразиться царящим повсюду духом карьеризма, наживы и корысти! Она не презирает толпу, напротив, горячо желает ей совершенствоваться и добиваться счастья, но самое заветное желание ее, ее цель — это, чтобы ее сын был выше толпы, чище, нравственнее. В школах растут и воспитываются простые рядовые, тогда как Зыгмунт, по примеру отца, должен быть вождем, в том смысле, чтобы когда-нибудь в будущем стать, подобно ему, вдохновителем высоких чувств, а может быть, и подвигов. Живя подле матери, под ее бдительным надзором,

не забывала ни на минуту, богатство казалось ей чем-то столь ничтожным, что не стоило даже протягивать за ним руку. По сравнению с высокими порывами и теми подвигами самопожертвования, которые совершались на ее глазах и в которых она сама принимала участие, заботы об удобной жизни были, с ее точки зрения, по меньшей мере безнравственными, пошлыми. По сравнению с народными общественными нуждами и бедствиями, к которым она с горячим сочувствием присматривалась из своего уединения, потворство собственным страстям и накопление средств, необходимых для этого, она считала делом постыдным и греховным... Но она была не одна. Пани Корчинская хорошо понимала, что для пользы сына, для его будущности, о которой она так любила мечтать в вечернюю пору, необходимо сохранить в целости хотя бы это имение, если другое, отцовское, навсегда, безвозвратно для него потеряно. Она начинала работать над собой, боролась, пыталась изменить свои привычки, и опять, как прежде, без всякого успеха.

К счастью, брат Анджея был возле нее, и она пользовалась — пользовалась с благодарностью — его помощью и только не допускала его вмешательства в дело, которое было в ее глазах самым важным. Бенедикт в этом случае действовал как осторожный, несмелый полководец, который, прежде чем начать решительное сражение, несколько раз и с разных сторон подойдет с войском к неприятельскому лагерю. Он искренне уважал невестку, но ее высокомерие и холодность внушали ему, несмотря на их дружеские отношения, какую-то робость. Каждый раз, когда он заводил с ней разговор о маленьком Зигмунте, пытаясь намекнуть на то или другое или что-либо доказать, она делала вид, будто не слышит его или не понимает. Но вот однажды он вошел в эту самую комнату более угрюмый, чем когда-либо, и, дергая свой ус, — а усы пана Бенедикта в то время уже начали опускаться вниз, что придавало его лицу выражение вечной тревоги и уныния, — заявил, что хочет открыто, без всяких околичностей, поговорить с невесткой о маленьком племяннике.

Она спросила, что ему не нравится в ребенке. Пан Бенедикт ответил, что Зыгмунт воспитывается как французский маркиз, а не как польский гражданин, и скорее как барышня, чем как мужчина.

Как раз на столе перед пани Корчинской стоял в красивой рамке чудесный портрет двенадцатилетнего мальчика, с длинными, падающими на плечи локонами, по французской моде прошлого столетия, в бархатном костюме с кружевами. Действительно, очень красивый и хрупкий ребенок в этой живописной одежде был похож на принца. Глаза матери и дяди остановились на портрете; пани Корчинская смотрела как любящая и счастливая мать, взгляд Бенедикта выражал презрение и досаду.

С тем же презрением и досадой говорил пан Бенедикт о том, что этого барчонка гувернер водит на прогулку за руку, тщательно скрывая от него все, что могло бы дать ему представление о настоящей жизни, что он плохо развит физически, прихотлив и избалован, нередко обращается с окружающими деспотически и высокомерно и что, наконец, единственное средство дать его развитию надлежащее направление и сделать пригодным для жизни и деятельности — это отдать в школу.

Тогда пани Корчинская поднялась и не только решительно, но с возмущением заявила, что никогда этого не сделает. Как! Ей смешать своего единственного ребенка с толпой, наделенной самыми пошлыми и даже, может быть, грязными и низменными инстинктами, привычками и понятиями, подвергнуть его опасности потерять свою индивидуальность, заразиться царящим повсюду духом карьеризма, наживы и корысти! Она не презирает толпу, напротив, горячо желает ей совершенствоваться и добиваться счастья, но самое заветное желание ее, ее цель — это, чтобы ее сын был выше толпы, чище, нравственнее. В школах растут и воспитываются простые рядовые, тогда как Зыгмунт, по примеру отца, должен быть вождем, в том смысле, чтобы когда-нибудь в будущем стать, подобно ему, вдохновителем высоких чувств, а может быть, и подвигов. Живя подле матери, под ее бдительным надзором,

он должен вырасти чистым и целомудренным, со вкусами настолько разборчивыми, чтобы малейшая грязь или пошлость наполняла его душу отвращением. Она не забывает и об умственном развитии сына: его обучают опытные, дорогостоящие учителя, а со временем он поступит в какое-нибудь высшее учебное заведение. Но сейчас, в детские и юношеские годы, он должен быть окружен атмосферой моральной чистоты и прекрасного. Роскошь в одежде и обстановке, которая возмущает пана Бенедикта, — только средство привить ему известные привычки, которые потом, в течение всей последующей жизни, будут хранить его от малейшего стремления к злу, так как зло есть не что иное, как моральная или физическая нечистоплотность. От этой системы воспитания, от этих решений, касающихся ее сына, она не отступит ни на шаг, что бы ей ни говорили и какие бы возражения ни представляли, и просит никогда не возвращаться к этому вопросу.

Бенедикт понял, что все его попытки в этом направлении останутся бесплодными. То, что он услышал, не было ни капризом ветреницы, ни бреднями взбалмошной дуры, но твердым убеждением мыслящей и сильной женщины. Это была система, обдуманная со всех сторон, вытекавшая из всех особенностей ее воззрений и характера, из всего опыта жизни.

Сколько в этом было гордыни, — той гордыни, что вечно устремляет взоры к вершинам, недоступным зрению толпы, — пани Корчинская сама хорошо не знала, но не только не раскаивалась в ней, а, напротив, ставила ее себе в особую заслугу. Когда Бенедикт привел последний довод — указал на сомнение, которое так рано начало проявляться в поступках Зыгмунта, мать ответила, что и это входит в ее планы, что уверенность в себе будет панцирем, который защитит ее сына от всего дурного и станет источником побуждений к дальнейшему развитию и самоусовершенствованию.

Бенедикт, глядя в пол, дергал свой длинный ус и, наконец, огорченный, недовольный, чувствуя полное бессилие изменить что-либо, покинул комнату, похожую на часовню, в которой скоро должна была разыгаться еще одна из важных сцен в жизни молодой вдовы.

Ведя одинокую и однообразную жизнь, пани Урчинская не могла, однако, сделаться полной эгоисткой. Соседи время от времени навещали ее, и ей приходилось изредка бывать у близких родственников и соседей. Вполне естественно, что однажды она встретила человека, в душе которого вспыхнула любовь, вместе с тем почтительная страсть и желание взять ее руку и сердце. Случилось это только один раз, так как образ жизни пани Корчинской, ее поведение и ее посылки легкомысленного отношения к ней и даже отваги самых отъявленных смельчаков. Но этот человек, недавно прибывший в те места, славившийся с незапятнанной репутацией, занимавший в обществе не менее высокое положение, чем она, стал все чаще и чаще посещать уединенные Осовцы и оказывать хозяйке знаки все более горячей симпатии. Он сообщил свои намерения ее ближайшим родственникам и просил помочь ему. Тогда-то эта всегда тихая женщина стала местом частых семейных собраний, ее вступавшие вдовы давали советы и уговаривали, убеждали ее.

В то время еще никто не хотел верить, что тридцатилетняя женщина, прекрасная, богатая, вдовствующая себя в траурном прахе воспоминаний, отрешается от жизни и ее утех. Даже родственники покойного Анджея не требовали от его вдовы такого самопожертвования, — напротив, всячески отговаривали ее от этого. Живая и во все вмешивавшаяся пани Лажетская была свахой по призванию. Бенедикт надеялся, что добродетельный, гуманный отчим даст правильное направление воспитанию Зыгмунта. Родственники, собираясь в группах, обсуждали достоинства и намерения женщины и говорили о его искренних чувствах к молодой вдове. Но самым красноречивым из всех сватов было ее собственное сердце; оно говорило в защиту влюбленного в нее человека с такой горячностью, какой она не только не ожидала, но даже не предполагала в себе. Разрыв этого человека с ней становился ясно, что она — не привлеченная формула женской добродетели, но, как и все, подвластна силе человеческих влечений и страстей. В ней невольно пробуждалась жажда вернуться к жизни, стряхнуть с себя могильный прах, выйти на

божий свет, на яркое солнце, на пестреющую цветами поляну. Все чаще стала привлекать ее мысль о разумном и любящем спутнике жизни, который разделял бы с ней все радостные и горькие минуты. Тоска по теплomu очагу, как печальная лилия, молящая о капле росы, выросла из гроба, схороненного на дне ее сердца.

Пришла, наконец, минута, когда друзья и советники молодой вдовы, видя ее слабость и нерешительность, вырвали у нее, хотя и условное, согласие. Они уехали, чтобы поскорей обрадовать счастливой вестью того, кто с таким нетерпением ожидал решения своей участи; но тотчас же после их отъезда в душе молодой женщины поднялась страшная буря. Пока дело еще не было решено, пока все ограничивалось лишь отдаленными предположениями, до тех пор она еще могла находить в своих мечтах несказанное наслаждение. Теперь же, когда жизнь ее сразу должна была раздвоиться и надо было отрешиться от прошлого, все пережитое восстало и ударило ее в сердце всей силой дорогих и священных для нее воспоминаний.

Никогда, никогда еще так ясно и отчетливо не развертывались перед ней, день за днем, минута за минутой, годы ее ранней молодости и любви; никогда так живо не вставал в ее воображении образ ее первого и единственного возлюбленного — мужа. «Какие-то скорбные звуки наполнили ее одинокую комнату, как будто кто-то с ней навеки прощался. Быть может, они доносились из далекой могилы, затерянной в чаще дремучего бора... Нет, она не могла ни забыть, ни выкинуть из своего сердца то, что было частью ее самой, что составляло ее единственное содержание. Теперь, когда она подумала, что скоро, вот сейчас, стан ее обнимет рука, а к устам прильнут губы другого мужчины, что новые обязанности, а может быть, и новые прелести жизни навеки порвут ее связь с умершим, а воспоминание о нем станет чуть ли не грехом и изменой, — то почувствовала такую боль, как будто снова навсегда разлучалась с Анджеем. Ей стало стыдно своей слабости и ничтожества. Как! Ради скоропреходящих жизненных наслаждений она собственными руками должна разрушить идеал единственной и вечной любви, порвать нить,

связывающую ее с человеком, который всю свою жизнь посвятил служению добру и истине, отречься от его имени, бояться, как измены, даже вздохнуть о нем! Как! Она, точно самая обыкновенная женщина, бросается из одних объятий в другие, одна станет принадлежать двоим, наслаждаться счастьем в то время, как над его одинокой могилой будет завывать осенний ветер! Так, значит, ему — ранняя смерть и забвение, а ей — все радости, все восторги жизни! Да кто же сохранит память о нем, если даже она его забудет? Кто разделит с ним жертву, если она отречется от него? Кто по крайней мере душой, хотя бы печалью и благоговейной памятью о нем будет сопутствовать ему в мрачной обители смерти, если она умчится в край солнца и жизни?

Одна мысль о том, что так могло бы случиться, эта минутная слабость души и рассудка, повергла ее в ужас, и пани Корчинская почувствовала такие угрызения совести, что в страстном порыве любви к Анджею упала перед распятием, прося прощения не столько у бога, сколько у возлюбленного мужа. Ее прекрасное тело, объятые горечью и раскаянием, судорожно билось у подножия черного креста, а истерзанная душа с такой тоской взывала к памяти любимого человека, что он покинул могилу и явился на зов страдающей женщины.

Это была галлюцинация, но пани Корчинская вполне верила в ее реальность. Она увидела Анджея; он спустился к ней с высоты с кровавой раной на бледном челе и с кроткой улыбкой прощения и любви простер руку над ее головой. Она видела все ясно, до мельчайшей складки его одежды. Анджей молчал; она заговорила первая. Что и как она говорила, она так и не могла вспомнить, знала только, что эта минута была для нее минутой райского блаженства, от которого она очнулась печальной, но более сильной, чем когда-либо, и горя желанием, чтобы эта минута повторилась еще. Но больше она не повторялась, как не повторилось и предшествовавшее ей событие.

Пани Корчинская была достаточно образованна и умна, чтобы понять, что видение было лишь обманом чувств, вызванным ее болезненным состоянием, но впе-

чатление, произведенное им, навеки запечатлелось в ее душе. Мать Зыгмунта была глубоко религиозна, возможно на свой лад. Внешние обряды она исполняла редко; образки, четки и тому подобное казались ей языческими амулетами, неэстетичными и несовместимыми с идеей божества, но самая идея божества была для нее бесконечно свята и дорога. Вера в идеал, совершенный и недостижимый, в силу созидательной и покровительствующей любви, составляла неизбежную потребность ее души. Она не только ни разу не усомнилась в своей вере, но с каждым днем укреплялась в ней все более и более. Она верила в загробную жизнь, потому что ей казалось невозможным, чтобы человеческая душа могла погаснуть, как свеча, сразу и навсегда. Творец недаром одарил свое творение сознанием и стремлением к бесконечному, которые рождают все человеческие порывы и дела. Она твердо верила в загробное существование Анджея и сначала робко, а потом все с большей и большей надеждой начинала думать о том, что, быть может, ее любовь, постоянство и сила духа дадут ей право проникнуть в область неведомого — к тому, к которому она постоянно стремилась своей измученной, страдальческой душой.

Если человек долго смотрит на неподвижный предмет, то ему кажется, что предмет этот начинает двигаться; достаточно собрать все силы духа и устремить к одной цели, чтобы почувствовать, что цель эта скоро может осуществиться. Простаивая долгие часы на коленях перед крестом, символом глубокого страдания за идею, которое в ее жизни сыграло такую решающую роль, женщина, в течение двадцати лет не снимавшая траура, невольно привыкла разговаривать с тем, воспоминание о ком наполняло мукой ее сердце. Она беседовала с ним, исполненная то радостной уверенности, то робкой надежды, что ее речи дойдут до него. Никто не слышал, что она говорила и рассказывала ему, — не только о себе, но и о том, что было ему всего дороже на земле, за что пожертвовал он своей жизнью. Он был единственным свидетелем, единственным поверенным ее горестей и опасений и тех мимолетных на-

дежд на счастье, которые только один раз озарили на мгновение ее уединенную, почти монашескую жизнь.

Вскоре после того как она уверила себя и других, что не может забыть прошлого и отдаться будущему, какими бы радужными красками оно ни сияло, один из учителей маленького Зыгмунта открыл в нем талант художника. О том, сколько в этом открытии, торжественно возведенном матери, было истины и сколько заблуждений, а быть может, и просто желания угодить ей, пани Корчинская вовсе не думала. Она и сама училась в молодости рисовать, но не обладала теми познаниями в этом искусстве, которые помогли бы проверить сообщенное ей известие. Вряд ли, впрочем, возможно было это проверить у двенадцатилетнего ребенка. Но она сразу и твердо уверовала в это открытие, приняла его, не удивляясь и не приходя в восторг, как нечто весьма естественное, чего она всегда ожидала и что рано или поздно непременно должно было обнаружиться.

Она всегда была твердо уверена, что у ее сына, сына Анджея, должен открыться какой-нибудь унаследованный от родителей талант, который вознесет его над толпой и возложит на его голову неувядающий венок славы. Да иначе и быть не могло: сын ее и Анджея не мог быть человеком обыкновенным, одним из серой, безыменной толпы. Итак, не выражая ни удивления, ни восторга, но испытывая большую внутреннюю радость, приняла она весть о зарождающемся таланте Зыгмунта, и с тех пор все окружающее его должно было способствовать скорейшему развитию этого дара.

Прихотливый, избалованный ребенок, выросший в тепличной атмосфере осовецкого дома и так старательно отгораживаемый от окружающего мира, как будто ему суждено было жить на какой-нибудь другой планете, действительно хватался за карандаш, а потом и за кисть с нетерпением и страстью — верными признаками будущего гения. Сведущие и дорогие учителя сулили ему будущность великого художника. Зыгмунт с жадностью слушал эти пророчества, стараясь запечатлеть каждый момент своей жизни в чем-нибудь столь же необыкновенном, как необыкновенна будет

выпавшая на его долю роль избранника судьбы! Как солнечные лучи собираются в фокусе зажигательного стекла, так домашние Зыгмунта только на нем одном сосредоточили все свои надежды и окружали его любовью и заботой. Мало-помалу он и сам привык так думать о себе. Все, что было ниже тех высот, на которые якобы возвела его судьба, казалось ему дурным, недостойным внимания, даже порочным и отталкивающим. Выше Зыгмунта Корчинского мог быть... только тот же Зыгмунт Корчинский — в будущем. Как в глазах близких, так и в своих собственных он был центром мира и надеялся, что станет тем же для всего человечества, то есть для той категории людей, которая печется о белизне своих рук и хорошо сшитом платье и знает толк в искусстве.

О другой категории людей он кое-что слышал, кое-что читал, но не питал к ней никаких чувств — ни дурных, ни хороших. Он просто не думал о ней, не интересовался ею, — она для него не существовала. Мальчик рос и созревал в полнейшей уверенности, что он принадлежит к числу достойнейших членов этого знакомого ему и близкого по духу человеческого общества и в будущем станет одним из его любимцев и кумиров.

Счастье улыбнулось ему не скоро, но однажды все-таки улыбнулось. После многих лет, проведенных вдали от родины, после долгих трудов, неудачных опытов Зыгмунт написал картину, выделявшуюся среди других и привлечшую внимание знатоков. Собственно говоря, это была не картина, а небольшой эскиз, весьма незамысловатого содержания, написанный не без некоторых технических промахов, но довольно талантливо. Знатоки бранили его за будничность сюжета и технические недостатки, но талант признали и поощряли к дальнейшим трудам. Успеху эскиза сильно содействовали разговоры о том, что автор его — человек богатый, независимый, принадлежащий к хорошему обществу. Упоминалась втихомолку история отца Зыгмунта в более или менее правдоподобных версиях. То и другое искусственно раздуло успех первой работы, с которой Зыгмунт выступил на суд общества. Но ни сам Зыгмунт, ни его мать и не подозревали об истинной подо-

плеке этой славы и охотно верили всем похвалам и льстивым отзывам.

Для пани Корчинской эти минуты были минутами почти полного счастья. Ее самые горячие желания осуществились. С восторгом думала она, что на тот самый алтарь, на котором сгорел Анджей, ее сын возложит жертвы своего гения и труда. Вместе с немногими избранниками он будет разлитым во тьме светом, гордостью угнетенных и униженных, отголоском той, для других умершей, жизни. Талант его будет одной из досок спасительного моста, сооружаемого лучшими умами над пропастью падения и гибели. Он будет поддерживать то пламя жизни, которое бессильны погасить все реки человеческого горя и страдания.

Эта мысль поглощала все остальные. Попрежнему сдержанная внешне, она почти обезумела от радости и гордости. Лицо ее стало ясным и спокойным. Она стала чаще показываться на людях, может быть в надежде услышать, что говорят о ее Зыгмунте, а может быть, и потому, что радость делала ее мягче, общительнее. Зато в долгие зимние вечера при свете лампы, освещавшей большую высокую комнату, или в летние звездные ночи, когда в открытые окна врывался тихий шелест и благоухание цветущего сада, она все дольше и дольше простаивала на коленях перед черным распятием. Почти никогда не раскрывала она богато переплетенного молитвенника, но из уст ее лились горячие слова благодарности и мольбы. Пора скорби и жалоб прошла; теперь только о своем счастье и надеждах рассказывала она духу мужа, неразрывную связь с которым с течением времени ощущала все сильнее.

Так было четыре года назад. А сегодня пятидесятилетняя пани Корчинская казалась гораздо моложе своих лет. В последние годы она слегка пополнила и стала еще величавее. В чистоте и строгости почти монашеской жизни ее бледное лицо с едва заметными морщинками, словно омытое в родниковой воде, сохранило удивительную свежесть и нежность. Сейчас она сидела одна в красивой круглой комнате, увешанной картинами и похожей на часовню. На фоне большого окна, за которым разливалось море зелени, в простом

черном платье, падавшем тяжелыми складками, она казалась особенно величественной и живописной. Ее тонкий профиль оттеняли кружева черной накладки, открывавшей две пряди золотистых волос, в которых пробивались чуть заметные серебряные нити. Пани Корчинская сидела, опустив на колени красивые белые руки. Даже оставаясь одна, она не изменяла своей характерной манере — потупив глаза, высоко держать голову.

Однако это немолодое, хотя прекрасное и благородное лицо не выражало сейчас ни счастья, ни спокойствия. То счастье, которое светилось в ее глазах четыре года назад, исчезло бесследно. Задумчивость пани Корчинской не была спокойным созерцанием того, что мило, что радует сердце. Нет, так задумываются люди только над чем-нибудь безотрадным, грозным, над какой-нибудь неразрешимой задачей. Она провела рукой по лбу и тяжело вздохнула. Из груди ее вырвался тихий крик удивления, и она с нервной поспешностью принялась сшивать куски грубой холстины, лежавшие у нее на коленях. Она не была похожа на человека, над которым только что разразился удар, разрушивший все его надежды. Она давно предчувствовала возможность такого удара и сейчас старалась уяснить себе его причину. С тех пор как два года назад Зыгмунт приехал с женой в Осовцы, даже посторонние люди замечали на лице пани Корчинской какое-то беспокойство и грызущую, хотя тщательно скрываемую тоску.

Четверть часа назад она видела из своего окна, как молодая пара извилистыми дорожками парка шла по направлению к лугу, находившемуся между двумя реками и цепью небольших искусственных холмов. В течение нескольких месяцев это место было целью любимых прогулок Зыгмунта; он начал там археологические раскопки и недели две только и бредил ими. И теперь он шел туда же, в изящном костюме, точно с последней модной картинки, с гибкой тросточкой в руках, в широкополой, несколько фантастического фасона шляпе и с папкой для рисунков подмышкой. За правую руку Зыгмунта уцепилась молоденькая, удивительно грациозная женщина в легком светлом платье.

Лиц их пани Корчинская не различала, но видела, что молодая женщина, крепко прижимаясь к руке мужа и закидывая прелестную головку, о чем-то нежно щебетала и старалась заглянуть ему в лицо. Казалось, она всеми силами души и своего женского обаяния пыталась добиться от него хоть одного ласкового слова, одного веселого взгляда, но Зыгмунт шел размеренным шагом светского человека и, то ли скучая, то ли раздраженный, холодно молчал.

Так они прошли часть парка, окруженные пышной растительностью, залитые ласковым блеском летнего солнца. Но увы! Следя за ними печальным взглядом, пани Корчинская заметила, что они не были ни счастливы, ни даже спокойны. Вот, взойдя на один из прелестных мостиков, переброшенных через шумящий ручей, Клотильда стремительно выдернула из-под локтя мужа руку и, закрыв лицо ладонями, пустилась быстро бежать к дому. Зыгмунт, не оглядываясь и не уменьшая шагу, пошел дальше в противоположную сторону, по направлению к калитке, ведущей на лужайку. Он несколько раз ударил тростью по кустам, растущим вдоль дорожки — единственный признак испытываемого им волнения, — и скоро исчез за густыми зарослями акации.

Клотильда бежала по газонам и дорожкам парка, словно светлорозовое облако. Раза два она остановилась и оглянулась в надежде, что тот, с кем она рассталась минуту назад, тоже оглянется или позовет ее к себе. И всякий раз, махнув рукой негодуяще или с досадой, бежала дальше. Наконец молодая женщина остановилась у пышно разросшейся среди газона вековой лиственницы, припала головой к ее толстому стволу и, насколько можно было судить по движениям ее плеч, горько разрыдалась. Потом, похожая на обиженного ребенка, она, стараясь сдержать судорожные гримасы лица, свернула в темную аллею, ведущую к одному из боковых крылец дома. Вскоре пани Корчинская услышала, как ее невестка легкими шагами поднялась по лестнице и быстро пробежала через гостиную. Дверь ее комнаты захлопнулась с громким стуком, и все утихло.

Это было уже не в первый раз! Такие сцены повторялись в течение целого года, почти изо дня в день. Почему? Пани Корчинская без конца задавала себе этот вопрос, но никогда не осмеливалась произнести его вслух. Несколько раз она порывалась пойти к невестке, к сыну, расспросить, вызвать признание, посоветовать что-нибудь, предупредить, но всегда удерживала себя. Она видела, чувствовала рану их жизни, но боялась вторгнуться в тайники души даже родного сына. И сейчас она встала и повернулась уже к двери, ведущей в гостиную, которая отделяла ее комнату от комнаты Клотильды, но вдруг остановилась у большого круглого стола, заваленного книгами и газетами и окруженного старинными креслами. На нем среди книг и газет стоял большой фотографический портрет Зыгмунта, сделанный лет шесть назад, когда он двадцатипятилетним молодым человеком учился живописи в Мюнхене. Фотография эта была заказана в память об одном из эпизодов его жизни. Немало таких сувениров — рисунков, снимков и портретов, написанных красками, — наполняло комнату его матери. На этой фотографии молодой человек был изображен в небрежной, немного искусственной позе, прислонившись к обломку колонны; улыбка не оживляла красивое лицо, взгляд был тусклым, а изящные усики оттеняли капризный изгиб тонких губ. Даже в том, как он скрестил ноги у основания колонны, видно было, что он не ступал, а попирал ими землю с чувством собственного превосходства над всем и всеми.

Пани Корчинская уронила на стол свои крепко стиснутые руки и долго всматривалась в портрет сына, который шесть лет назад радостно взволновал ее душу и пробудил в ней рой светлых надежд. Теперь вдруг от этого красивого лица с капризным выражением рта на нее пахнуло холодом. Она сделала движение рукой, точно хотела отогнать неизвестно откуда появившийся ужасный призрак. Но призрак этот возник не сразу: он был следствием ее долгих наблюдений над Зыгмунтом со дня его приезда в Осовцы, — наблюдений, наполнявших ее душу невыразимой горечью. Долго не спускала она с портрета своих потускневших глаз.

«Не любит он ее! Два года как поженились — и уже не любит... Да и в самом деле, любил ли он когда-нибудь и кого-нибудь?»

Вопрос этот для женщины, которая сама умела любить так глубоко и верно, был очень серьезным вопросом; заключавшееся в нем сомнение было подобно тяжелому сомнению человека у смертного одра любимого существа. Не с большим страданием она спрашивала бы себя, сидя у изголовья сына, сраженного тяжким недугом: выздоровеет или нет? Она видела людей, умиравших во имя великой любви, и чтילה их как святых; человек без любви, даже самой обыкновенной, будничной, казался ей трупом.

Она перевела глаза на одну из стен, до половины увешанной рисунками Зыгмунта. Ей хотелось уверить себя, что в его душе живет и жил тот священный огонь, который отличает избранников от толпы. Как бы то ни было, он художник, любит искусство, поклоняется ему. Но то, на что она смотрела, было детскими рисунками, написанными вот здесь, у этого стола. Кое-где среди этих наивных детских набросков были более поздние работы, присланные или привезенные из далеких краев: женская головка, эскиз каких-то развалин, небольшой пейзаж, срисованный с рабской точностью с красивого уголка чужой земли, — мелочи, свидетельствующие о бедности воображения и большом усердии не слишком вдохновенной кисти. Ничтожность фантазии, кропотливая работа, к тому же не без технических промахов, ни одной смелой мысли, ни одного оригинального мазка — ничего самостоятельного! А ведь тут собрано все, за исключением того эскиза, который четыре года назад внушил Зыгмунту надежду на блестящую будущность. Луч надежды мелькнул и исчез, а будущее... Но почему же, почему? Неужели он не художник?

Всегда спокойное лицо пожилой женщины исказилось страхом и болью, кровь горячим потоком залила бледный лоб, руки судорожно сжали развернутый лист газеты. Было видно, что утвердительный ответ: «да, не художник» — на вопрос, с быстротой молнии промелькнувший в ее голове, страшно поразил бы ее.

Зыгмунт Корчинский медленно шагал по сухому,

недавно скошенному лугу, тонувшему в мягком блеске безоблачного августовского дня. Безбрежная яркозеленая долина, перепоясанная сверкающими лентами двух сливающихся на горизонте рек, с живописно раскинутыми по ней группами деревьев и кустарников, казалась огромным парком, разбитым по чьей-то прихотливой фантазии рукой искусного садовника. Все было полно красок, переливов света и теней, ярких солнечных бликов, мягко скользивших по изумрудной мураве, щебетаньем птиц, металлическим жужжаньем насекомых, волнами аромата, носившимися в воздухе, уже пропитанном кристальной прозрачностью приближающейся осени...

Зыгмунт шел размеренным шагом прекрасно воспитанного человека, который, по привычке, даже в одиночестве воздерживается от резких и неприятных для глаза движений. В дорогом и модном, облегающем фигуру костюме, медленно ступая ногами в блестящих ботинках и телесного цвета гамашах и презрительно шурясь, он производил впечатление туриста, который осматривает кажущийся ему убогим и скучным уголок неизвестного ему края, или на горожанина, случайно заблудившегося в сельской глуши.

Папка подмышкой ясно говорила о его намерении. Действительно, несколько дней назад на этом самом месте он заметил чрезвычайно оригинальную и живописную группу ольх, могущую привести художника в восторг и вдохновить его. Он так долго учился живописи и возлагал на нее столько честолюбивых надежд, что не мог оставаться равнодушным к красотах природы и не заинтересоваться хотя бы на несколько минут красивым пейзажем. Вот и сегодня в его воображении воскрес один из таких пейзажей, и, почувствовав уже давно не посещавшее его вдохновение, он тотчас же отправился на луг. Может быть, после четырехлетнего бездействия наступило, наконец, время начать новое произведение, пусть, правда, мелкое, но которое хоть чем-нибудь наполнит пустоту его жизни и будет ступенью к более крупным.

Проходив с полчаса по лугу, Зыгмунт замедлил шаг; по мере того как он приближался к тому месту, куда

еще недавно так стремился, взгляд его становился все более презрительным и скучающим. Он остановился и стал разглядывать привлечший его пейзаж. Это было именно то, что он видел несколько дней назад; тот же тонкий рисунок листьев, то же чудесное освещение у корней и верхушек деревьев, и та же иволга качалась на тонкой ветке в гуще листвы. Утром он несколько минут думал об этой картинке, а сейчас стоял перед ней холодный, равнодушный, спрашивая себя: что тут особенного? Слабая искорка, вспыхнувшая было в нем, угасла, и Зыгмунт не чувствовал ничего, кроме холода и апатии, которые давно уже угнетали его. Он осмотрелся вокруг и подумал, что все это так незатейливо, так убого, бледно... Световые пятна на этих ольхах действительно красивы и могут послужить материалом для этюда с натуры, но он попробует перенести их на полотно когда-нибудь, потом. А сегодня — нет. Клотильда так наскучила ему своею нежностью и неумолчным щебетаньем, а к тому же, что за вид кругом! — ровно, плоско, ничего, что бы поражало. Кроме того, вечером Зыгмунту предстоит одно из самых невыносимых для него занятий: разговор с управляющим о хозяйстве. Это ожидание просто-напросто портит ему настроение, отбивает охоту не только рисовать, но даже жить на свете.

Он отошел от группы ольх и направился к окопам, которые цепью низких холмов перерезали часть луга. Один из холмов, только что разрытый, издали светился яркой желтизной глины. Зыгмунт остановился у раскопок и подумал о том, какая это скучная и медлительная работа добывать из земли предметы, покоящиеся в ней целые столетия. К этому занятию он почувствовал влечение месяца два назад, но рассчитывал найти совсем не то, что нашел на самом деле. Во время пребывания в художественной школе он от скуки просматривал книги, трактующие об археологии; в книгах были рисунки, и вот они-то и возбудили его любопытство и игру воображения. Правда, он знал, что здесь не Эллада, не Рим, но рассчитывал, что может найти если не кубки, украшения и статуи, то во всяком случае что-нибудь интересное. К продолжению раскопок по-

буждал его также муж его тетки, Дажецкий, который в качестве высоко цивилизованного человека считал себя любителем всяких достопримечательностей и, подерживая честь своей семьи, свято верил в гениальность племянника жены.

Несколько дней они с Зыгмунтом мужественно простояли на пригорке и чуть не изжарились на солнце и не ослепли, впиваясь глазами в каждый кусок глины, выкинутый из ямы лопатой работника, радовались и огорчались, скучали и вiovь загорались надеждами, но в конце концов скука взяла верх и работы приостановились. В результате Зыгмунт присоединил к своей коллекции несколько десятков почернелых монет с полустертым шведским гербом, а Дажецкий увез домой заржавленный палаш.

Подобных вещей в окопах, по всей вероятности, было немало, и для историка они представили бы некоторый интерес, но Зыгмунту они казались лишенными всякого значения и ценности. Если б это были черепа первобытных людей или погребальные урны, слезницы, прекрасной формы ожерелья, может быть они, заговорив с ним таинственным языком древности, разбудили бы его дремлющую душу, вдохновили бы на новое дело. Но он стоял перед желтой пастью широкой ямы и пренебрежительно махнул рукой. Все на этой земле было так бедно, ничтожно, прозаично; мог ли он найти здесь что-нибудь, что удовлетворяло бы его эстетическим требованиям. В этой глуши он мельчал, просто-напросто мельчал.

Единственной пользой, которую принесли ему раскопки, было то, что он немного похудел. Зыгмунт подумал об этом и осмотрел свою особу. Опять растолстел! Странное дело! С чего бы ему толстеть? Скучает, терзается, тоскует и все-таки толстеет! Правда, лицо у него бледное, со страдальческим выражением, но весь он, особенно в талии, округляется и тучнеет. Для тридцатилетнего человека он чересчур грузен; а кто в таком возрасте тяжел, тот лет через десять будет настоящим толстяком. Эта мысль приводила Зыгмунта в отчаяние. Толщина — безобразие, а всякое безобразие пробуждало в нем чувство отвращения. Неужели страдания духа не мешают телу принимать прозаиче-

ские формы? К несчастью, превосходный осовецкий повар мастерски соединяет польскую кухню с французской...

Вдруг Зыгмунт сбежал с раскопанного бугра и гораздо быстрее, чем прежде, пошел по направлению к дому. Причиной поспешного отступления Зыгмунта была кучка крестьян, которая показалась со стороны темневшей в конце луга деревни и направилась по протоптанной между кустарником тропинке, ведущей к окопам. При виде их усталые глаза Зыгмунта — эти прекрасные карие глаза продолговатого разреза — приняли выражение испуга. Может быть, эти люди шли к нему, а может, и не к нему, но он предпочитал скрыться от них в стенах своего дома, куда без его дозволения не мог явиться ни один назойливый посетитель. Они, пожалуй, будут расспрашивать его о чем-нибудь, чего-нибудь просить, как это уже неоднократно случалось, к величайшему его неудовольствию. Такие встречи и разговоры были ему неприятны не потому, что он питал к этому народу ненависть или злобу, — нет, Зыгмунт был к нему так же равнодушен, как, например, вот к этим облакам, что плыли сейчас по синему небу. Пожалуй, даже больше, потому что облака принимают иногда чудесную форму, и Зыгмунт часто любит переливами их красок. Но эти люди с грубыми лицами и ухватками всегда так одинаково безобразны, от их сермяг или полушубков всегда несет чем-то скверным. Разговаривать с тем, к кому равнодушен, утомительно, а Зыгмунт вовсе не хотел утомлять себя, в особенности без всякого повода. Правда, и они — люди, но, вероятно, совсем другой породы, чем он, Зыгмунт Корчинский. А в том, что род людской делился на две совершенно различные породы — на ту, к которой принадлежали вот эти люди, и на ту, к которой принадлежит он и подобные ему, для него не было никакого сомнения. О первой Зыгмунт думал редко, случайно и очень мало интересовался ею.

— Подавай завтрак! — коротко приказал Зыгмунт лакею, которого встретил на лестнице.

Он чувствовал себя очень несчастным и очень голодным.

Мастерской молодого художника была прекрасная комната с окнами, дающими именно столько света, сколько нужно для работы художника. Здесь было множество различных вещей: мольберты с холстами, завешенными белыми покрывалами, груды папок, рисунков, эскизов, мраморные и гипсовые статуэтки, бюсты, группы, куски выцветших ковров, шелковых обоев и старинных материй, несколько оригинальных диванов и кушеток, на которых можно было сидеть и лежать, красивые растения в фарфоровых вазах, — и все это расставленное и разбросанное в строго обдуманном беспорядке. В одном из углов комнаты стоял прекрасный стеклянный шкаф с сотней-двумя книг в разноцветных переплетах. Скорее это были книжки, чем книги: маленькие, легкие и изящные. Среди них преобладали стихи и романы весьма своеобразного содержания: очень немного польских поэтов, остальное — чувственный Мюссе, кое-что Виктора Гюго, многое из творений отчаявшегося Байрона, затем — чувствительный Шелли, раздушенный Фейе, пессимист Леопарди и неожиданно, рядом с этим поэтом-мыслителем, рассказы Дюма-отца, приключения бездумной Брэддон и, наконец, кое-что из современных любимцев французской аристократии: Клареси, Кравен и т. д., и т. д.

Зыгмунт Корчинский прошелся по комнате и остановился перед этим красивым, как игрушка, шкафом с такими же хорошенькими книжками. Он только что позавтракал в обществе заплаканной жены и матери, которая, казалось, совершенно спокойно поддерживала за столом какой-то разговор, но все время пытливо вглядывалась в Зыгмунта. Заплаканные глаза жены и пронизательный взор матери окончательно испортили ему расположение духа. Он чувствовал, что ему необходимо какое-нибудь сильное впечатление, которое развлекло бы его, утешило, встряхнуло его засыпающую душу. Ему хотелось отдаться живописи, — этого ему хотелось всегда, потому что только в искусстве, которому он принес в жертву лучшие мечты своей молодости, видел Зыгмунт единственное свое назначение, тот пьедестал, который мог высоко поднять его над миром.

Но сегодня (и так четыре долгих года!) он ничего не мог найти в себе — ни творческой мысли, ни вдохновения, ни энергии.

Пережив юношескую пору, когда ему казалось, что он творит — и действительно, один раз он создал вещь, положим, небольшую, но все-таки имевшую кое-какое значение, — Зыгмунт вступил в полосу полного бессилия духа. Он знал, что на горизонте искусства часто появляются метеоры слабых бесцветных дарований, — блеснут раз и исчезнут; он знал, что в голове честолюбивого человека возникают иногда миражи вдохновения, и устремленная к одной цели воля его создает какое-нибудь одно произведение, на котором и кончается его творчество. Но Зыгмунт никогда не предполагал, что эти метеоры и миражи, этот самообман мог иметь какое-нибудь отношение к нему. В бесплодии своего гения он обвинял лишь внешний мир. На внешний мир возлагал он все свои надежды и на него же взваливал все вины. На память ему не приходил ни Тассо, слагающий свою великую поэму под кровом темницы, ни Мильтон, воспевающий райский свет во мраке слепоты. Не приходило ему в голову и то, что в каждой волне воздуха, света, благоухания, в каждом придорожном камне и степной былинке, в линиях каждого человеческого лица, в каждом вздохе живет частичка мировой души, которая невидимой нитью связана с душой художника и которая, если только в его душе действительно горит божественное пламя, пробуждает в нем потребность творить. Зыгмунт был глубоко убежден, что, для того чтобы чувствовать, мыслить и творить, ему необходимы горы, скалы, моря, леса, яркая синева неба, голые натурщицы, причудливые драпировки, уличная суতোлка, шум скачки... Если бы внешний мир обдал его золотым ливнем, пронзил его молнией впечатлений... А здесь — увы! — ничто его не поражало. Шагая по мастерской, он хватался за голову. Был ли это жест гнева, или отчаяния, или гнева и отчаяния вместе?

Притом после завтрака он несколько отяжелел. Этот повар, который перед его женитьбой появился в Осовцах, очень хорошо готовил. Пани Корчинская до-

вольствовалась прежними, уже немного состарившимися слугами, но для молодых супругов были взяты новые слуги и заведены новые порядки. От такой кухни, какая была теперь в Осовцах, человек невольно становился сибаритом. После всех этих пряных соусов и сладких блюд так манило поудобнее улечься на упругой кушетке под тень пальм и драцен.

Подходя к книжному шкафу, Зыгмунт еще раз посмотрел на себя. Он толстеет, определенно толстеет! Каждую минуту вспыхивает в нем злоба или отчаяние и тем не менее он толстеет. От недостатка впечатлений. Но во что, как не в разжиревшего вола, может превратиться человек, лишенный всяких впечатлений?

Он прилег на кушетку и начал перелистывать томик Леопарди. Эти стихи, проникнутые какой-то загадочной печалью, так отвечали его теперешнему настроению. Зыгмунт разделял все вздохи, слезы, сомнения великого пессимиста и, читая о тщете и ничтожестве жизни, думал о себе. Он не заметил, что дверь мастерской уже несколько раз приоткрывалась и в нее заглядывала и быстро скрывалась прелестная женская головка с розовыми астрами в золотистых волосах. Но вот дверь открылась снова и в мастерскую тихо вошла Клотильда.

Ее еще заплаканные глаза робко и почти покорно остановились на лице мужа, который, казалось, совсем углубился в маленькую книжку. Юное личико выражало мучительный вопрос: «Подойти или не подходить? Заговорить или нет?» Она колебалась не потому, что все еще сердилась за нанесенную ей обиду... Правда, он не приласкал ее сегодня ни одним словом, не бросил на нее ни одного взгляда и, казалось, даже не слушал ее; правда, равнодушие, с каким он теперь относился к ней, так возмутило ее, что в голове Клотильды начали складываться ребяческие планы один другого страшней: от вечной разлуки с мужем до самоубийства включительно. Но жить с ним в ссоре более двух часов — было выше ее сил.

По природе существо кроткое и всепрощающее, она сейчас больше ничего не желала, как помириться и хоть час побыть с ним наедине. Если б он только взглянул

на нее, она с криком радости бросилась бы к нему на шею. Но он, не замечая или притворяясь, что не замечает ее, не отрывался от книжки. Синие глаза Клотильды, лучистые и глубокие, потемнели и опять наполнились слезами. Бессильно опустив руки, она долго стояла посреди комнаты, растерянная, влюбленная... и вдруг лукаво улыбнулась. Чуть слышно, на цыпочках, подошла она к мольберту, отдернула закрывавшую его занавесь и начала рассматривать свой портрет. Портрет, написанный рукой Зыгмунта, был ее давнишней мечтой. Зыгмунт начал писать его в Осовцах после целого года бездеятельности, но до сих пор не окончил и откладывал работу со дня на день. Перед этим неоконченным, но уже довольно выразительным произведением Клотильда, глубоко присев, начала такой разговор:

— Добрый день, пани! Отчего вы сегодня так печальны? Не оттого ли, что кто-то уже не хочет вас писать? Этот кто-то очень недобрый человек... Он хорошо знает, что вы его любите, любите, любите... но не хочет забыть вашего каприза, дуется и молчит, уткнувшись в книжку, когда вы пришли сюда и жаждете помириться... Бедняжка! Может быть, вас уже больше не любят? О нет! Не думайте об этом, это было бы слишком горько... Кто-то только избалован немножко и немного скучает... но за что же обвинять его в непостоянстве?.. Да и почему перестал бы он любить вас? Ведь вы несколько не изменились к худшему... напротив, даже немного похорошели, и любовь ваша к кому-то осталась все та же, ни капельки... ни капельки не убавилась.

Хотя она говорила шутливым тоном, в глазах ее стояли слезы. В этой детской игривости чувствовалась горечь раздираемого сомнениями женского сердца, но все движения ее, жесты, мимика были полны обаяния. Два года назад ее жизнерадостность восхищала Зыгмунта; очарованный прелестью Клотильды, ее пением и прекрасной игрой на фортепиано, он стал добиваться руки этого изнеженного ребенка, единственной дочери и невесты с большим приданым. Старания его увенчались успехом. Но с тех пор прошло два года. Правда,

он и сейчас улыбнулся ей, но как-то пренебрежительно, скорее от скуки, нежели от удовольствия.

— Ты мешаешь мне, Клотильда, — проговорил он.

При звуке его голоса она подбежала к нему и опустилась на колени.

— Заговорил наконец! Видишь, я первая, я, женщина, пришла, чтобы помириться с тобой. Нужно было бы как раз наоборот, но не в этом дело! Когда человек любит, он не считается с самим собой. Посмотри на меня, долго, хорошо, ласково, как ты теперь уже редко смотришь, и дай мне руку.

Он не только взял ее руку, но даже нежно поцеловал.

— Значит, мы уже не в ссоре? — воскликнула радостно Клотильда.

— Ах, нет! Только... ты мешаешь мне немного.

— Мне показалось, что ты ничего не делаешь, — опять робко заговорила Клотильда. — Ты перелистываешь страницы давно знакомой книги, а это нельзя назвать работой...

— Сколько раз я тебе говорил, что если я не занят каким-нибудь видимым делом, из этого вовсе не следует, что я бездельничаю. Я думаю... мечтаю... а это материал для будущей моей работы...

— Это правда, — согласилась Клотильда, — я знаю... только... мне скучно... Или, может быть, ты хочешь остаться один? В таком случае я уйду...

Быть может, тронутый ее покорностью, Зыгмунт ласково остановил ее:

— Напротив, напротив! Мне всегда приятно, когда ты со мной.

Она осыпала поцелуями его лицо и даже руки, но вдруг вскочила с места.

— Как хорошо! Боже мой, как хорошо! Я возьму книжку и буду тихонько сидеть вон в том углу... Когда у тебя будет время, мы можем почитать вместе, а потом пойдем вместе гулять... ля, ля, ля, ля, ля!

Чудесный голос Клотильды наполнил всю комнату радостной гаммой; она взяла с мозаичной доски стола книжку и пошла к софе в противоположном углу ком-

наты, как вдруг услышала торопливое восклицание Зыгмунта:

— Tiens, tiens! Clotilde! ¹ покажи мне книжку, которую ты взяла... Что это?

— Третий том Мюссе, — немного удивилась Клотильда.

— Откуда же он здесь? — подумал вслух Зыгмунт, беря книжку из рук жены. — Как я мог не заметить его на столе?..

Молодая женщина печально посмотрела на мужа. Его лицо сразу оживилось, полусонные глаза загорелись.

— Эту книжку, — медленно сказала Клотильда, — несколько дней назад привезли из Корчина... Я сама взяла ее от посланного и положила сюда... Ты, вероятно, давал ее тете, панне Тересе или...

— Дай мне ее, а себе возьми что-нибудь другое. Тебе ведь все равно.

— Решительно все равно, — повторила Клотильда и, подняв с полу упавшего Леопарди, уселась в углу комнаты.

Вся ее веселость, счастье, пробужденные одним словом мужа, исчезли без следа. Она догадалась, кому Зыгмунт давал читать Мюссе...

Зыгмунт нетерпеливо, почти лихорадочно перелистывал страницы книги, что-то отыскивая. Та, которой он послал ее, чтобы пробудить в ней воспоминания о прошлом, при первой возможности возвратила ее обратно, но письмо осталось без ответа. Может быть, между листами вложена какая-нибудь записка, может быть, где-нибудь подчеркнута хоть строчка, в которой он найдет ответ. Он искал и не находил ничего, но вдруг Юстына предстала перед ним, как живая, и он вздрогнул.

В эту минуту раздался насмешливый голос Клотильды:

— Ты слышал, что панна Ожельская собирается замуж?

Зыгмунт быстро повернулся к жене.

¹ Погоди, погоди! Клотильда! (франц.)

— За кого? — коротко спросил он.

— За Ружица.

— Quelle idée! ¹ Ружиц никогда не женится на ней.

— Ты думаешь? — сухо и резко спросила Клотильда. — Она ему очень понравилась и нравится все больше. Elle a de la chance, cette... cette... cette... rien du tout! ² Пани Кирло, которая имеет большое влияние на кузена, всеми силами старается устроить эту свадьбу, и пан Кирло говорит, что согласие пана Ружица — только вопрос времени.

Зыгмунт криво улыбнулся.

— Impossible! С нее можно писать Диану ³, а она выйдет замуж за этого молодого старца!..

Пренебрежительно рассмеявшись, он прошелся по комнате, но глаза его гневно смотрели из-под нахмуренных бровей. Клотильда не сводила с него взгляда и тем же сухим, насмешливым голосом продолжала говорить о том огромном, невероятном счастье, каким был бы этот брак для какой-то панны Ожельской... В самом деле, кто она такая? Дочь разжиревшего идиота, живущая у родственников из милости, совсем простая девушка, ни фигуры, ни красоты, ни ума, и совершенно бездарна. Играет недурно, но говорит по-французски так, что ушам больно... Une fille sans naissance et sans distinction... une rien du tout ⁴. Интересно знать, что будет делать Ружиц, когда женится на ней, как он ее покажет в свете?.. Разве что отдаст сначала в какой-нибудь пансион... Модель для Дианы! Конечно, она здорова, сильна, можно подумать — переодетая мужичка, а руки... как будто перчаток никогда и не видели... Или, может быть, художники представляют себе Диану в образе приживалки с загорелыми руками?

Грудь молодой женщины тяжело поднималась и опускалась, когда с язычка сыпались у нее все эти оскорбительные и несправедливые слова. Горящими глазами она не переставала следить за мужем, который ходил

¹ Что за вздор! (франц.)

² Ей везет, этому... этому... этому... ничтожеству! (франц.)

³ Диана — римская богиня охоты.

⁴ Девушка невысокого происхождения и без манер... полное ничтожество (франц.).

из угла в угол и, казалось, не видел ее и не слышал. Вдруг он позвонил и коротко приказал вошедшему лакею:

— Запрягать!

Лакей исчез за дверью. Клотильда вскочила с дивана.

— Ты уезжаешь? — печально воскликнула она.

Негодование и злоба, кипевшие в ней за минуту перед тем, исчезли без следа; она только сознавала, что муж куда-то едет и что планы ее — счастливо провести с ним день — рушатся.

— Надо, — равнодушно ответил Зыгмунт.

— Куда?

Она попробовала обнять его, но он отвернулся и немного погодя ответил:

— В Корчин.

Клотильда побледнела.

— Зыгмунт...

Голос ее звучал сдавленно, чуть слышно.

— *Que veux-tu, chère enfant?*¹

— Ты не поедешь туда, Зыгмунт.

Он быстро повернулся к ней и с удивлением спросил:

— Почему?

— Потому... — начала было Клотильда, — потому... — и не кончила.

Она волновалась или ей было стыдно.

— Я давно не был у дяди, к тому же у меня к нему есть дело. Разве ты хочешь, чтобы я порвал все связи с Корчином?

— О нет, нет! — воскликнула Клотильда. — Сохрани меня бог вносить разлад в твою семью.

— А чего же ты хочешь?

Клотильда то бледнела, то краснела. Она не могла, не хотела говорить откровенно. Женское самолюбие и скромность удерживали ее.

— По крайней мере возьми меня с собой! — чуть не плача, сказала она.

— И это невозможно, — ответил Зыгмунт. — Ты хо-

¹ Что тебе, дорогое дитя? (франц.)

рошо знаешь странности тетушки... наконец, ее слабое здоровье. Часто делать ей визиты не годится.

— Да, конечно, — шепнула Клотильда, теребя кружево тонкого платка.

Всякий заметил бы, что она страдает.

— Какое у тебя дело к дяде, Зыгмунт? — спросила она, и ее встревоженные глаза впились в лицо мужа с таким напряжением, как будто она хотела ценой своей жизни прочесть на нем всю правду.

Зыгмунт усмехнулся.

— Ты заставляешь меня говорить об очень неинтересных вещах... Мне нужно посоветоваться с дядей относительно перемены экстенсивного хозяйства на интенсивное...

Клотильда поняла, что больше ей говорить нечего. После недолгого колебания она обняла мужа, прильнула к нему всем телом и шепнула умоляющим голосом:

— Ну, хоть сегодня не ездь туда... дорогой мой... только сегодня... прошу тебя!

Зыгмунт тихо освободился из ее объятий, поцеловал в лоб, несколько раз провел ладонью по ее волосам и взял со стола шляпу.

— До свидания! *Ne déraisonnez pas, ma mignonne!*¹ Я вернусь через несколько часов!

Он вышел из мастерской. Перед крыльцом загремели колеса экипажа. Клотильда, закусив губы, стояла посреди мастерской; вся кровь до последней капли отхлынула от ее лица, руки ее опустились, и лишь спустя несколько минут она схватилась за голову.

— К ней поехал! — закричала она и, с быстротой птицы пробежав гостиную, бросилась в комнату свекрови и громко зарыдала.

Пани Корчинская сидела в кресле, но уже не занималась шитьем. На коленях у нее лежала развернутая книжка, а у ног, на низенькой скамейке, сидела маленькая девочка в грубой юбке и ситцевом платочке. Вдова Анджея Корчинского за последние двадцать лет занималась еще и тем, что учила грамоте крестьянских детей. В осовецком доме и ближайших деревнях можно

¹ Без глупостей, моя милочка! (франц.)

было насчитать не один десяток уже взрослых людей, которые в детстве входили в эту красивую комнату и по целым часам просиживали у ног ее хозяйки. Снисходить к ним, сливать свою жизнь с их жизнью она не могла и не хотела, — это было выше ее сил и вместе с тем (она давно уже убедила себя в этом) не составляло ее прямой обязанности. Но эти чисто одетые, по крайней мере на время пребывания у нее, дети, иногда красивые и обычно добрые, не оскорбляли ее вкусов и привычек; обучая их грамоте, она верила, что исполняет заповедь о любви к ближним и, самое главное, соединяется с Анджеем, работая над тем, что было его заветной мечтой. Мысль о невидимой связи, которая благодаря этому возникала между ним и ею, доставляла ей волнующее, чуть ли не мистическое наслаждение. Давно и безвозвратно ушедший муж был для нее попрежнему источником вдохновения, а соединение с ним — главной целью, к которой она стремилась.

Когда двери с шумом отворились и прелестная женщина в бледнорозовом платье вбежала в комнату и с громким рыданием припала к пани Корчинской, девочка тихо вышла. В первый раз Клотильда поверяла свекрови свои горести и опасения, просила у нее совета и помощи и отчасти возлагала на нее ответственность за свою судьбу.

Ответственность эту пани Корчинская и сама признавала. Не она ли по первому желанию Зыгмунта поспешила выехать туда, где жили родители Клотильды, и убедила их отдать ее сыну прелестного, талантливому семнадцатилетнего ребенка? Положение, связи, приданое, недюжинный музыкальный талант, который со временем мог развиться еще больше, — все это сулило Клотильде блестящую будущность. Можно ли допустить, чтобы она была несчастлива по вине Зыгмунта? Его вина страшной тяжестью падала на душу и совесть матери. Она знала, что жалобы молодой женщины справедливы, понимала, что ее страдания тяжелы и незаслуженны. Она дрожала при мысли, что будет с этим нежным существом, когда жестокая истина откроет бедняжке глаза и она увидит свою любовь — единственное свое сокровище — осмеянной, попорченной?

Пани Корчинская обвиняла себя, но еще обвиняла она сына, ибо считала, что на его совести лежит ответственность не только за счастье, но и за душу этого невинного любящего существа.

Храня в своем сердце нерушимую верность любимому человеку, пани Корчинская решительно не могла понять сына. Два года назад она видела его влюбленным в Клотильду, а теперь знала, что это чувство почти остыло. Два месяца назад она прогнала одну из своих горничных, которую Зыгмунт называл моделью для Фрины¹ и с которой пани Корчинская встретила его два раза в парке. А теперь эти поездки в Корчин... Может быть, он действительно любил только одну Юстыну, а любовь к Клотильде была ошибкой? Но если бы он любил Юстыну по-настоящему, он женился бы на ней. Пани Корчинская не хотела этого брака, противилась ему — это правда; но скажи он решительно о своем намерении, она не стала бы оказывать на него давления... Он сам колебался, раздумывал, хотел и не хотел; наконец уехал и, казалось, забыл обо всем, что связывало его с этой девушкой. А теперь снова... Что значит все это?

Она нежно, как мать, обняла невестку, прижала ее голову к своей груди и спокойно и ласково начала утешать ее как могла. Она обещала ей серьезно поговорить с сыном о тревоге и страданиях его молодой жены, но в душе ее проснулись опасения.

Когда молодая женщина, бледная и заплаканная, но успокоенная и снова улыбающаяся, вышла в сад к своим любимым цветам, пани Корчинская встала и позвонила в колокольчик. На пороге появился лакей.

— Куда поехал пан Зыгмунт? — спросила вдова.

Она все еще, хотя и слабо, надеялась, что Зыгмунт поехал куда-нибудь к соседям, только не в Корчин. Но нет...

— Когда он возвратится, скажи, что я прошу его сейчас же прийти ко мне.

¹ Фрина — знаменитая своей красотой афинская гетера (IV в. до н. э.), послужившая скульптору Праксителю моделью для статуи Афродиты Книдской.

Оставшись одна, она тяжело оперлась на стол, заваленный книгами и газетами. На ее бледных щеках выступили яркокрасные пятна. Сердце разрывалось от жалости и возмущения. В своем одиночестве она так привыкла все обдумывать и взвешивать, что даже страстная материнская любовь не могла ослепить ее. А то, что она смутно угадывала, было темной тучей, которая заволокла все ее надежды и радости.

II

В один из последних дней июля, когда еще часть хлеба на корчинских полях стояла неубранной, Витольд и Юстына шли по дороге, ведущей из Богатыровичей в Корчин. Шли они быстро и разговаривали так оживленно, с таким интересом, что на щеках молодой девушки выступил горячий румянец, а ее глаза, грустные в обыкновенное время, теперь сияли радостью. Не останавливаясь и даже не убавляя шага, она протянула руку своему спутнику.

— Спасибо, Витек, от всей души спасибо, — сказала она с несвойственной ей горячностью. — Все, о чем ты говорил, страшно тронуло меня. С некоторых пор и мне приходили в голову такие мысли, только я не умела их так ясно выразить. Ты ведь знаешь, что у меня нет ни настоящего образования, ни каких-либо исключительных способностей, но, сама не знаю каким образом, я подметила в жизни и много ничтожного и кое-что очень важное.

Она весело улыбнулась.

— Я страшно скучала и, может быть, от скуки пришла к тому, что ты, конечно, знаешь гораздо лучше меня...

— А теперь не скучаешь?

Витольд искоса и лукаво посмотрел на нее.

Юстына отрицательно покачала головой.

— Нет, с некоторых пор не скучаю! Хотя, признаться, не совсем понимаю...

— Чего не понимаешь?

Юстына с минуту колебалась, потом тихо ответила:

— Того, что чувствую, и того, о чем думаю...

— Ты просто не была к этому подготовлена, — заметил Витольд, но тотчас же весело прибавил: — Все это, наверное, станет для тебя ясным. Да и в самом деле, почему бы тебе не пойти новой дорогой?

Юстына еще больше покраснела и прошептала:

— Не знаю... не знаю... может быть, это самообман... боюсь я...

— Чего? — с любопытством спросил Витольд.

Но она отвернулась в сторону и в смущении крепко сжала в руках пучок только что сорванных флоксов с огромным пунцовым георгином посредине.

— Не особенно изящный букет, — усмехнулся Витольд, глядя на ее цветы. — Во всяком случае то, что эти люди любят цветы, явление весьма интересное! Даже прозаичная Эльжуса, которая за две недели до свадьбы считает, сколько штук скота у жениха, и думает о векселях, которые ей выдаст отец, и та ухаживает за цветами в отцовском огороде...

Повернувшись к спутнице, он вдруг спросил:

— А ты в самом деле будешь на этой свадьбе?

— Непременно!

— Дружкой Эльжуси?

— Конечно.

— А твоим шафером будет пан Казимеж Ясмонт? И тебе придется выйти на тонком платке его инициалы и платок этот подарить ему взамен его миртового букета?.. Да?.. Ты, вероятно, знаешь все это наизусть, как и многое другое, о чем наслушалась в последнее время. Вчера, например, когда панна Тереса стала взволнованно поздравлять тебя со сватовством Ружица, ты расхохоталась и сказала: «Вы свое дело знаете, а я свое!» Если б я не смотрел на тебя в это время, то подумал бы, что это говорит старуха Стажинская! Ты опростилась, Юстына, явно опростилась!

Он смеялся весело и громко и при этом ласково смотрел на Юстыну.

— Правду мне говорила жена Фабиана Богатыровича, пée¹ Гецолд, что ты уже недурно жнешь?

Юстына, улыбаясь, показала ему обе руки с загрубевшими ладонями и следами свежих порезов.

— Всю неделю я жала по несколько часов в день... Тяжелая это работа, но все-таки легче жать, чем...

— Чем что?

— Чем, продолжая вести эту праздную жизнь, ежедневно твердить себе: «Увы, я только прах!» — горячо воскликнула Юстына.

— Bravo! Ты совершенно права. Есть на свете люди, которые от таких мыслей действительно могут прийти в отчаянье и рассыпаться в прах, и ты, как видно, принадлежишь к их числу.

Он остановился на минуту и спросил, но уже совершенно серьезно:

— По силам ли тебе это будет?

Юстына выпрямилась во весь рост.

— А разве я похожа на такое нежное создание, которое того и гляди упорхнет на небо?

Оба они разразились звонким смехом, несколько секунд вторя сверчкам, которые оглушительно трещали в придорожной траве. Они вышли к корчинскому амбару. Он был построен очень давно, но благодаря каменному фундаменту и содержавшейся в исправности крыше казался крепким и прочным.

— Надо отдать отцу справедливость, — начал Витольд, — он держит Корчин в изумительном порядке. Работает, как вол, и день и ночь, только у вола нет таких забот и тревог... Хорошо, что теперь я могу хоть немного помочь ему. Сегодня опять он послал меня в поле к рабочим, и я возвращался домой, когда встретился с тобой в Богатыровичах. Бедный отец!

Он вдруг остановился и точно прирос к земле, бледный, с нахмуренными бровями. Из-за амбара слышался громкий и грубый крик Бенедикта. Слов нельзя было разобрать, но можно было догадаться, что пан Корчинский кого-то разносил. Витольд провел рукою по лбу.

¹ Урожденная (франц.).

— Как это мне больно! Боже мой, как мне это всегда больно!..

Он чуть не бегом пустился вперед, совсем позабыв о своей спутнице.

Солнце уже закатилось, и только над занеманским бором тянулась широкая полоса, которая залила верхушки деревьев и кровли корчинской усадьбы алым светом. На дворе около конюшни, откуда открывался широкий вид на Неман, на багровом фоне заречных облаков вырисовывалась темным силуэтом высокая, грузная фигура пана Корчинского. Издали черты его лица сливались, и видны были только энергичные жесты и длинные, трясущиеся от гнева усы. Против него чернел силуэт человека гораздо ниже ростом, коренастого, с большой всклокоченной головой, которую он испуганно втягивал в плечи. Между ними стояла какая-то земледельческая машина, запряженная парой лошадей, уныло шипавших траву. Кучка людей у конюшни с напряженным вниманием следила за разыгравшейся сценой.

— Что случилось, отец? — спросил Витольд запыхавшись.

Веселое настроение, с каким он только что разговаривал с Юстыной, исчезло бесследно, но пан Бенедикт не обратил внимания на выражение его лица. Отчаянным жестом указывая на стоящего рядом работника, он еще громче, чем прежде, закричал:

— Наказание божеское! Несчастье, да и только! Со всем пропадешь с этими ослиами и лодырями! Жатвенную машину сломал. Недели не поработал, а уж сломал. Да ты сам того не стоишь, сколько я за нее заплатил! А знаешь ли ты, сколько мне пришлось поворочать мозгами, прежде чем я купил ее?.. Впрочем, вам и дела нет, что вы кому-нибудь урон нанесли. Разве у вас есть сердце или совесть, ослы вы такие, негодяи, мошенники?..

— Отец!.. — попробовал было унять его Витольд.

Но Бенедикт, как будто не заметив этой попытки, продолжал кричать еще громче:

— Ты думаешь, это тебе даром пройдет? Машину починят, а что возьмут в городе за починку, я вычту из твоего жалованья...

Приземистый мужик в сермяге поднял лохматую голову и впервые глухо проговорил:

— Не вычитайте, пане... как же я с дстьми жить буду?

— Небось, с голоду не подохнете! — крикнул Бенедикт. — Харчи месячные получаешь... крыша над головой не течет... И даже корову вам держать позволяю... Да хоть бы ты и голодным насиделся, я все-таки вычту, бог свидетель, вычту... чтоб ты, негодяй, научился беречь чужую собственность.

— Папа! — громко окликнул Витольд отца, поднимаясь от машины (он успел уже осмотреть поломку). — Папа, я кое-что смыслю в этом деле... В прошлом году там, где я был летом, жнеи тоже часто портились, и я присмотрелся, как их чинят. Эту можно будет исправить и дома... и займет немного времени... я сам это сделаю. У Максима из жалованья вычитать ничего не нужно: это будет стоить сущие пустяки.

Он обратился к батраку, который мял в руках шапку и, переминаясь с ноги на ногу, вздыхал и бормотал себе под нос что-то невнятное.

— Слушай, Максим, а ты знаешь, как эта жнея устроена и каким образом она жнет? Наверное, не знаешь, вот потому и сломал ее. Поди сюда, посмотри и послушай: я тебе сейчас все объясню и покажу.

Спокойно, не спеша и легко подбирая простые и понятные слова, Витольд добрую четверть часа объяснял батраку значение каждой части машины. Батрак слушал сначала неохотно и вяло, просто по необходимости, но спустя несколько минут сам нагнулся и стал приглядываться к ней со все возрастающим любопытством. Он то качал головой от удивления, то кивал в знак согласия и тихо бормотал что-то, осторожно прилагиваясь грубыми пальцами к той или другой части, стараясь понять их связь между собой.

— Ну, вот, видишь, — Витольд кончил свое объяснение и выпрямился, — ничего здесь мудреного нет, только обходиться с машиной нужно бережно и со вниманием. Завтра мы с тобой встанем на рассвете, сведем ее к кузнецу, а через час-два ты с ней и в поле выведешь. И убытка никакого не будет ни тебе, ни нам...

При последних словах заросшее бородой лицо крестянина прояснилось. Он наклонился, громко чмокнул Витольда в рукав сюртука и с довольной улыбкой сказал:

— Спасибо, панич! Дай вам бог здоровья!

Потом поднял с земли вожжи и, свистнув на лошадей, направил машину к конюшне.

С той минуты, когда его сын вмешался в дело, Бенедикт стоял в стороне и, нахмурясь, молча теревил ус. Когда батрак удалился, пан Корчинский поднял глаза на сына.

— Ты дал мне урок, как надо обращаться с людьми. Верно, наступили времена, когда яйца журицу учат. Меня удивляет только одно: как это ты, сидя за своими книжками, так наловчился разговаривать с мужиками?

— Если тебе это не нравится, — взволнованно ответил Витольд, — то ты в этом сам виноват. Ведь когда я был ребенком и после, когда приезжал на каникулы, ты не запрещал мне общаться с народом...

Бенедикт повернул к дому и сердито пробурчал:

— Я сам для себя палку приготовил. Ты теперь судишь об отце по тому идиллическому образу, какой когда-то сложился в твоей детской голове...

— Идиллическому образу, — запальчиво перебил его Витольд. — Уверяю тебя, что я смотрю на вещи очень трезво и что... пока... самое большое мое желание, чтобы одни люди не обращались с другими, как с бессмысленной скотиной... что я говорю — со скотиной!.. Как с чурбанами... потому что на белом свете есть такие чудачки, что и скотину жалеют.

Бенедикт пренебрежительно засмеялся.

— Вот когда тебе самому придется хорошенько потрудиться над хозяйством да поломать голову над всякими делами, тогда ты узнаешь разницу между теорией и практикой, между действительностью и идиллией...

Витольд перебил его:

— Если я когда-нибудь приду к убеждению, что моя теория никоим образом не может примириться с практикой, я пушу себе пулю в лоб, но от теории ни за что не отступлю.

Бенедикт остановился, пораженный, и посмотрел на

сына так, как будто увидел его на краю пропасти, но немного погодя усмехнулся:

— Ребенок!.. Всякому смолоду кажется, что если он не хватает звезд с неба, то ему, кроме пули, ничего не остается, а там, глядишь, вонючею сальной свечкой довольствуется.

— Или, — возразил Витольд, — гибнет за свою звезду и, чтобы не чувствовать смрада сальных свечек, свой лоб под пулю подставляет... И тебе, отец, хорошо известны такие примеры...

— Не знал, не знаю и знать не хочу! — отрезал Бенедикт.

— Дядя Анджей... — дрожащими губами начал Витольд.

Бенедикт отпрянул в сторону.

— Тише! — сказал он сдавленным шепотом.

Он быстро, с тревогой осмотрелся вокруг, но вблизи никого не было.

На губах Витольда показалась болезненно ироническая улыбка.

— Не бойся, отец, — медленно проговорил он, — никто не слышал, что я с уважением произнес имя твоего брата.

По лицу Бенедикта, от седеющих волос до воротника рубахи, разлился темный румянец. Он смутился еще больше, чем когда сын упрекнул его в том, что он унижается перед паном Дажецким.

Они подходили к воротам, ведущим на панский двор. Бенедикт успокоился и заговорил более мягко:

— У всякого человека в молодости бывают свои мечты и теории, да к жизни-то они не применимы. Лбом стену не прошибешь, и те люди, за которых ты заступаешься, останутся такими же лодырями, нерадивыми и недоброжелательными к нам, хоть ты их одним медом корми.

— А что будет, если мы станем кормить их перцем? — усмехнулся Витольд.

— Да какой черт собирается их кормить перцем? — снова разразился бранью пан Корчинский.

— Прежде всего, — начал Витольд, — и в прошлом достаточно сыпали перцу в их горшки, а потом...

Он остановился, обернулся назад и указал на ряд батрацких хат.

— Ведь ты, отец, конечно, не думаешь, что жизнь в этих закопченных, тесных лачугах может способствовать развитию человеческой энергии и достоинства? Несколько минут назад ты говорил, что у них есть крыша над головой, что они получают готовые харчи... сверх тридцати рублей в год, из которых делаются вычеты при всякой неисправности, происходящей просто от неумения и невежества... Разумеется, такой быт не может содействовать их развитию и усердию, а также дружескому отношению к нам.

Бенедикт вскипел.

— Ну, так найди средства построить для них дворцы и кормить их страсбургскими пирогами, потому что я и сам дворца себе не выстроил и страсбургских пирогов никогда не ем. По одежке протягивай ножки. Когда с мелом в руках ты сам начнешь кроить материю, вымеривать и вытягивать так, чтоб концы с концами сошлись, когда у тебя порой от этого приятного занятия ум за разум зайдет, тогда ты и узнаешь, что значит практика вообще и условия нашей жизни... да, нашей жизни в частности.

Он посмотрел на сына горящими глазами.

— Мне хотелось бы, — тихо добавил он немного погодя, — очень хотелось бы, чтобы, возвратившись домой по окончании курса, ты уже не застал меня здесь... чтоб к тому времени я был уже там... ну, да, именно там, откуда уже не возвращаются... там, где Анджей... И мне было бы лучше и тебе...

— Отец! — испуганным голосом вскрикнул Витольд. Но Корчинский не слушал его:

— Да, да, гораздо лучше!.. Если бы ты был хоть сколько-нибудь привязан ко мне...

— Отец, ты не веришь в мою привязанность!..

— Не верю. Никакой привязанности нет... нет... Ну, так вот, если б я, старый хрыч, убрался восвояси, ты мог бы управлять Корчином самовластно, нарядил бы мужиков пастушками, лег бы с ними у сладко журчащего ручейка и заиграл на свирели...

Он закусил конец уса и, опустив голову, тяжелыми

торопливыми шагами пошел по направлению к дому. Страшно взволнованный, Витольд остановился в воротах. Когда он подносил руку ко лбу, она дрожала.

Прошло несколько минут, прежде чем он успокоился и мог переступить порог дома. Он был бледнее, чем обычно, и лицо его выражало страдание. В столовой, за накрытым к ужину столом, освещенным спускающейся с потолка лампой, уже сидело несколько человек. Тут были все свои, за исключением Кирло, который после ужина собирался уезжать домой. Но что случилось не часто, к столу вышла и пани Эмилия, она была в красивом летнем капоте и, видимо, чувствовала себя хорошо. Рядом с хозяйкой сидела Тереса, с левой рукой на перевязи (она страдала ревматизмом); в конце стола блаженно улыбающийся Ожельский, стараясь получше разглядеть стоящие на столе блюда, вытянул голову вперед, и свет лампы серебрил его седые волосы; рядом с ним очень прямо сидела хорошенькая, но болезненная на вид Леоня. Пан Кирло, сверкая белоснежной, туго накрахмаленной манишкой и слащаво улыбаясь, принял из рук хозяина рюмку водки и с такой поспешностью занял место против Юстыны, как будто боялся, чтобы его кто-нибудь не опередил.

С некоторых пор Кирло относился к Юстыне с почтительностью, граничившей с подобострастием; шутки и пренебрежительное отношение к ней самой и издевательства над паном Ожельским давно прекратились. Сейчас, сидя против нее, он, казалось, ловил не только каждое ее движение, но даже каждый взгляд. Завязав вокруг шеи салфетку, которая закрывала белую грудь сорочки, он, с аппетитом уплетая котлеты, ухитрялся в то же время занимать разговором не особенно оживленное общество. Он говорил о Ружице. Вообще он упоминал об этом родственнике своей жены часто и с особым удовольствием, видимо гордясь таким родством. Впрочем, он и сам не скрывал, что гордится. Теперь же он преследовал и другую цель.

— Уверяю вас, — трещал он, — что если бы перерезать у него какую-нибудь жилу, оттуда потекла бы кровь такая голубая... как, например... как, например, неманская вода в погожий день.

Тереса потихоньку захихикала:

— Вы вечно шутите! Кто же видал когда-нибудь голубую кровь?

— Так, моя милая, говорят о людях хорошего старого рода, — ласково объяснила пани Эмилия.

— Прекрасное сравнение!.. — проворчал Бенедикт. — Голубая ли у него кровь, или не голубая, но что воды в ней много, это верно.

Витольд поднял глаза и долго смотрел на суровое, нахмуренное лицо отца, наклонившегося над тарелкой.

— Но как-никак, уважаемый пан Бенедикт, происходить из такого рода весьма приятно. Правда, титула у него никакого нет, он не князь, не граф... но такая дворянская фамилия, как Ружиц, стоит любой графской и даже княжеской. А какая родня!.. Самые лучшие фамилии... родная тетка за князем...

Он посмотрел своими блестящими глазами на Юстыну и, заметив, что ей нужна соль, поспешно, с любезной улыбкой подвинул солонку. Затем, положив себе омлет с вареньем, продолжал:

— Хороший человек этот Теофилы! Отца потерял на двадцать втором году... мать еще жива, в Риме грехи замаливает... весьма почтенная особа. Ну да, так вот он на двадцать втором году остался сиротой и получил наследство... так, пустяки, вздор... ни больше ни меньше, господа, как миллион рублей, всего-навсего один миллион рублишек...

— О боже! — простонала Тереса.

Ожельский прищелкнул языком.

— Недурное состояние... недурное... Хорошо бы иметь хотя... хотя бы десятую часть этого!

— Еще бы! Конечно! — подхватил Кирло. — Этак десятую часть. Ведь это всего сто тыщенок!.. Что же вы яичницы?.. Позвольте мне передать вам...

И пан Кирло с еле заметным оттенком прежней шутливости подал отцу Юстыны блюдо.

— Теперь, — продолжал он, — на тридцать первом году жизни Теофилы имеет только триста тысяч рублей, потому что Воловщина, на самый худой конец, даже при нынешних низких ценах на землю, стоит никак не меньше трехсот тысяч. Итак, за восемь или девять лет

мальчик ухлопал семьсот тысяч, а? Как это вам понравится? Хорош гусь?

Пан Кирло засмеялся добродушным смехом и обвел всех торжествующим взором. Колоссальность приведенных им цифр приводила в восторг и вызывала гордость владельца крохотной Ольшинки. Он с видом знатока прихлебнул из стакана дешевого французского вина, которое на корчинском столе появлялось только при гостях, и начал распространяться о способах, при помощи которых Теофиль прожил семьсот тысяч. Собственно говоря, это было повторение сплетен о жизни Ружица, ходивших по округе со времени его прибытия сюда, — сплетен, которые приводили в смущение скромных местных жителей, напоминая им Содом, Вавилон и тому подобные нечестивые города. Легче было сосчитать то, чего не говорили о Ружице, чем то, что о нем говорилось и что теперь с таким воодушевлением и видимым любованием повторял Кирло, уснащая свою речь остроумными и нередко двусмысленными замечаниями. Виллы в окрестностях Вены и Флоренции, отели на парижских бульварах, игра в рулетку и штосс, всем известные приключения со знаменитыми представителями полусвета, пари, дуэли, удостоившиеся попасть на столбцы газет... Сколько в этом было правды и сколько преувеличения, трудно было сказать, вероятнее всего, преувеличения было больше, но немало и правды.

Сидевшие за столом большую часть этих историй уже знали, но все выслушивали с различным интересом. За исключением пана Бенедикта, который еще ниже наклонился над своей тарелкой, и грустного, бледного Витольда, все остальные не спускали глаз с Юстыны. Кирло, заметив ее движение, поспешно и с изысканной любезностью налил в ее стакан воды и начал описывать красоты Воловщины.

— Дворец небольшой, но очаровательный. Правда, он теперь запущен, но, если его отремонтировать, отделать, это была бы настоящая барская усадьба, игрушка, а не дворец!..

Кирло поцеловал кончики пальцев, а Ожельский (он когда-то проезжал через Воловщину и видел дворец), набив рот омлетом, причмокнул губами.

— Прелесть дворец... прелесть! — закричал он и очертил пальцем в воздухе какую-то замысловатую фигуру. — Башенки, балконы, лабиринты... но с дороги так и кажется, что вот-вот все это рухнет!

— Нет, не рухнет. Дворец не рухнет, его обновят, отделают, когда это понадобится его владельцу, а понадобится ему тогда, когда он вздумает жениться. Но это не важно, а важно вот что: при Воровщине восемь фольварков, земля превосходнейшая, а в этих фольварках чего-чего только нет: леса, пруды, огороды, мельницы, два водочных завода; когда-то была какая-то фабрика, и хотя она теперь стоит, но может опять пойти в ход и принести большой доход, — одним словом, там все пришло в упадок, заброшено, но может подняться, если только Теофиль захочет, а захочет он, наверное, когда женится; умная и энергичная женушка приохотит его к хозяйству, а ласками и тактом задержит избалованную пташку в гнездышке...

Так говорил Кирло и то полушутливо, то с искренним восхищением поглядывал на Юстину. Его пронзительные сладкие глазки точно говорили: «Ты достойна уважения за одно то, что сумела привлечь к себе его внимание, а когда великое дивное счастье, которое я предсказываю, осенит тебя, не забудь твоего слугу и раба!» Да и все другие, за исключением пана Бенедикта и Витольда, смотрели на Юстину, и во взглядах и улыбках пани Эмилии, Тересы и даже подростка Леони, которая с любопытством и оживлением слушала рассказы Кирло, можно было прочесть: «Вот счастье-то! Просто господь посылает свою милость бедной девушке!» Пани Эмилия даже попыталась выразить эту мысль словами:

— Женщина, которую пан Ружиц захочет взять в жены, должна будет гордиться такой честью... Род прекрасный, состояние...

— Ах, а какое сердце! — воскликнула Тереса.

— А дворец! Ах, мамочка, дворец! Это лучше всего! — затрещала, подскакивая на месте, Леоня, которая несколько дней назад так горячо, но тщетно умоляла отца купить новую мебель для корчинской гостиной.

Юстына весь вечер молчала. Прямо на эту тему с ней никто не заговаривал, и она не могла ни принять, ни отвести обращенных к ней взглядов, намеков и усмешек. Время от времени она поднимала глаза, и всякий раз они вспыхивали обидой. Ее полные, свежие, как вишня, губы складывались в гордую, презрительную улыбку. Странное дело — все то, что другим казалось желанным и лестным, ее раздражало и казалось обидным. Все хорошо знали, что отличительной чертой ее характера была гордость. Но сейчас эта гордая женщина должна быть польщенной своей уже почти свершившейся победой и считать открывающуюся ей блестящую будущность счастьем.

Бенедикт, который, по своему обыкновению, ел много и долго и ограничивался только самыми короткими замечаниями, понимал отлично, что все, о чем говорилось за столом, относится к Юстыне. Когда он в первый раз услышал от обрадованной и восхищенной пани Эмилии о намерениях Ружица, то и сам порадовался.

— Дай бог, — сказал он, — дай бог! Для бедной девушки это великолепная партия. Вот уж правда неожиданно-негаданно!

Больше пан Бенедикт и не думал об этом, искренне желая добра опекаемой им родственнице, но у него не было ни времени, ни охоты помогать ей в осуществлении ее планов. Прежде ему нередко приходило в голову, что, если Юстына выйдет замуж, ему придется выплатить принадлежащие ей пять тысяч, что для пана Бенедикта было бы вовсе не легко, но раз она выйдет за Ружица, то, очевидно, владелец Воловщины не станет требовать немедленной уплаты такой ничтожной суммы. Пан Бенедикт считал это дело решенным, но слова Кирло, в которых слышалось благоговение перед богатством, как-то раздражали его. Впрочем, Кирло всегда его возмущал.

Пан Корчинский поднял голову от тарелки, утер усы салфеткой и, упершись ладонями в стол, как будто собираясь встать, проговорил:

— Все это прекрасно, и я не смею отрицать достоинств пана Ружица. Он еще молод, может и оду-

мается... к тому же говорят, да я и сам заметил это, что он умен и человек не злой. Но его прошлое я отнюдь не могу одобрить. Столько денег выбросить на карты, на любовниц — дело нехорошее. Так только негодяи поступают...

— Бенедикт! — тихо простонала пани Эмилия.

— Да, да, — не обращая внимания на жену, настойчиво подтвердил пан Бенедикт. — Притом во всю свою жизнь палец о палец не ударить, как делают эти господчики, — тоже, надо сказать, свинство. Человек, который ест хлеб и ничего не делает — голубая ли в нем кровь, серая ли, красная, — просто дармоед и ничего больше... И если он при этом изволит кушать марципаны, а для народа, который ему эти марципаны доставляет, ничего не делает, — тогда это какой-то...

Пан Бенедикт спохватился, подумал немного и уже более мягко закончил:

— Все это я говорю, конечно, не о пане Ружице... я никого не хочу обижать... может быть, он и прекраснейший человек... только богатство, которое приносит такие плоды... это... того.

Он хотел удержать слово, которое готово было сорваться с его языка, но тщетно.

— Все эти крупные состояния, чтобы черт их побрал!..

Пан Корчинский отодвинул стул и встал.

— Бенедикт! — тихо простонала пани Эмилия, — я не хочу... о боже мой... я не могу слышать такие выражения... подобное мнение о таком человеке... я не могу... я...

Она хотела было встать со стула, но не могла. Ноги ее подкашивались, горло сдавила спазма.

— Что такое? — с удивлением спросил Бенедикт. — Что случилось?

Но Кирло уже подскочил к хозяйке дома и заботливо и с состраданием взял ее под руку, с другой стороны ее подхватила Тереса. Так они втроем прошли через всю столовую, а Бенедикт стоял как вкопанный, глядя им вслед.

— Во имя отца и сына... чем я ее обидел? Опять, чего доброго, расхворается.

В эту минуту кто-то схватил его руку и прильнул к ней горячими губами.

— Отец, — тихо сказал Витольд, — поцелуй меня... прошу тебя!

Что-то нежное мелькнуло в печальных глазах Бенедикта, хотя он сурово нахмурил брови.

— Уж не за то ли, что я угодил тебе, выбравши этого лежебоку, ты готов простить мне мои грехи?

Витольд, не выпуская из своих рук руку отца, повторил:

— Отец, поцелуй меня!

Пан Бенедикт поцеловал в лоб покорно наклонившегося к нему юношу. На губах его мелькнула улыбка, но безрадостная, почти горькая.

— Горячая у тебя голова, — заметил он.

Но Витольд, кажется, не слышал этого двусмысленного замечания. Слова, которые пан Бенедикт произнес за ужином, и этот отцовский поцелуй вернули ему обычную живость и веселость. Он обнял Марту, которая прятала в буфет компот и недопитые бутылки, закружив ее вокруг себя, потом, под смех, брань и кашель старой девы, подскочил к стоявшей у окна Юстыне.

— Знаешь, Юстынка, — заговорил он быстро, сверкая глазами и стуча кулаком по ладони, — этот Кирло настоящий паразит, лизоблюд, шут, раб золотого тельца, плезиозавр, мастодонт, допотопное животное! Если бы можно было, я брал бы таких людей одной рукой вот так... за волосы, а другой за горло — и крррр... сворачивал бы им головы!

Юстына расхохоталась.

— Сначала попробуй произвести этот опыт над цыпленком, — сказала она, — тогда я поверю, что ты можешь сделать то же и с паном Кирло.

— Даю тебе честное слово! — кипятился студент. — Ведь это, милая моя, позор для всего живущего! Если б не такие, как он, человечество шагнуло бы уже далеко вперед!.. А для нас это и есть самое главное... Ты, может быть, не понимаешь, Юстына, как нам дорога идея... человеческое достоинство, свобода... Я ради этого в огонь бы бросился, от родного отца мог бы от...

Он не договорил, сдержался и пристально посмотрел Юстыне в глаза.

— Послушай, ты в самом деле пойдешь замуж за это дырявое решето?

Юстына снова засмеялась.

— Ты так выражаешься, Витольд...

— Ты отлично знаешь, о ком я говорю... Ну, за этого вылощенного франта. Если он посватается, пойдешь?

Девушка пожала плечами.

— Милый мой, — медленно ответила она, — разве я могу оттолкнуть от себя такое большое неожиданное счастье... благодеение и такую честь? Подумай сам, возможно ли это?

Витольду казалось, что в ее словах слышится насмешка, но лицо Юстыны было серьезно, даже сурово, глаза светились необычным светом.

Он махнул рукой.

— Э! Ну тебя! Что касается женщин, то с ними ни в чем нельзя быть уверенным! Как будто ты девушка рассудительная, но кто знает, что у тебя на уме? Вас воспитывают бушменками, и вы все на свете готовы отдать за красивую татуировку. Но прежде чем ты станешь большой пани, пойдем к Эльжусе на свадьбу, а?.. Марыня тоже там будет. Я думаю, пани Кирло согласится отпустить Марыню под надзором тети Марты, а тетю я уж сам берусь уговорить...

В это время над ухом Витольда раздался тоненький, почти детский голосок:

— Витек, возьмите и меня на свадьбу... Зося столько мне о ней наговорила. Она в родстве с женихом... Говорит, танцевать будут... и я хочу танцевать!

— С величайшим удовольствием! — кричал Витольд. — Хоть раз в Корчине увидишь что-нибудь, кроме дома и сада.

— Не смейся, Витек, — жаловалась девочка, надувая бледные губки, — мне так скучно... так скучно постоянно сидеть у мамы в будуаре или ходить по одним и тем же аллеям...

— Скажите, пожалуйста! — насмешливо улыбнулся Витольд. — От горшка два вершка, и уже скучает! Уж

не начинаешь ли и ты страдать нервами, моя... будущая бушменка?

Девочка не переставала жаловаться:

— Ну, да, да! И голова все время болит! Уж лучше поскорей вернуться в пансион: там хоть какое-то разнообразие... А здесь все мое удовольствие в том, что я тете Марте туфли вышила...

Ее бледное, малокровное личико расцвело улыбкой настоящей детской радости.

— Чудные туфли! — повторила она. — Завтра преподнесу их тете. Вот обрадуется!

Девочка захлопала в ладоши, подпрыгнула, обняла брата и снова начала умолять его жалобным голосом:

— Возьми меня, Витек, на эту свадьбу... мне танцевать хочется... Зося говорит, там будет весело... она себе такое красивое платье готовит!..

Витольд задумался.

— Нужно попросить маму...

— Попроси, милый!

— А отчего ты сама не хочешь?

Девочка испуганно посмотрела на него.

— Я боюсь... мама огорчится и опять расхворается... Она всегда болеет, когда ей что-нибудь не нравится... Тебе скорее удастся, ты умнее меня.

Спустя час Марта с треском отворила дверь своей комнаты и закричала Юстыне с порога:

— Фокусы! Честное слово, арабские фокусы! На свадьбу с ними идти! Ластится, обнимает, целует, просит... «Пойдем, тетя, с нами к Богатыровичам на свадьбу, пойдем!» И смех и грех! Что этому мальчишке в голову взбрело? Буду я старые кости по свадьбам таскать! Смех, да и только! И что я на этой свадьбе делать буду? Кому я там нужна? Тьфу ты, напасть какая! Как пристанет этот Витек, так и не отвяжешься! Ох! не могу!..

Марта, как ураган, носилась от кровати к шкафу и обратно. Трудно было сказать, какое чувство преобладало в ней в настоящую минуту, потому что старая дева то смеялась, то бранилась, то с досадой махала руками...

Юстына перестала шить и ласково посмотрела на Марту.

— Конечно, вы пойдете с нами, — с деланной серьезностью сказала она.

— Смех, да и только! — горячилась Марта. — Зачем я пойду туда? С какой стати? Чего я там не видала?

— Прежде всего с такой, что вы ни в чем не можете отказать Витольду, а кроме того, эти люди — ваши старые знакомые.

Марта вдруг, точно остолбенев, остановилась посреди комнаты. Ее черные глаза сверкнули, но тотчас же погасли. Она опять заворчала, но уже гораздо тише:

— Старые знакомые! Правда... когда-то были хорошие знакомые!.. Да когда это было? Наконец ведь это и продолжалось недолго... А теперь... Зачем? Разве что людей пугать! Явиться, словно с того света? Старые знакомые! Но вот вопрос: узнают ли они меня теперь? Да и я сама... узнаю ли я их?..

Притихшая, грустная, она села против Юстыны, по другую сторону стола, и, не спуская с нее глаз, которые выражали боль и смущение, как-то робко спросила:

— Как же это вышло? Откуда это взялось? Зачем, скажи, прибежала сегодня дочь Фабиана и куда вы вместе помчались, как угорелые? И Витольд с вами был? Ничего не понимаю! Да что вы — в мужиков, что ли, обратиться хотите?

А дело было так: в этот день, еще задолго до заката, когда Юстына, проаккомпанировав отцу два часа, пришла к себе в комнату и, не зная за что взяться, бесцельно глядела в окно, дверь отворилась и на пороге показалась Эльжуса в праздничном платье цвета бордо. Она остановилась, выпрямила свой крепкий стан, еще выше подняла вздернутый нос и заговорила:

— Принимают или не принимают? Если принимают, то добрый вечер, а не принимают — будьте здоровы! Как угодно. А пришла я пригласить вас на свежий мед...

Юстына пододвинула ей стул. Гостья уселась и затрещала:

— Этот олух Юлек спорил со мной, что у меня не хватит смелости явиться на панский двор, и советовал мне пойти мимо флигеля и спросить на кухне, можно ли видеть паненку... Ну, да я не таковская! Что я — дворняжка, что ли, какая, чтобы вокруг кухни ходить. Ну вот, пошла я себе прямой дорогой, через двор в сени, а тут уж и не знаю, куда идти, направо или налево? К счастью, в сени зашла Марта, сердитая-пресердитая, но Эльжуса ничуть ее не испугалась, да и чего было ей пугаться? Ведь она не воровать пришла, и не собачонка она, чтобы ее гнали, верно? Да если б и самого пана Корчинского встретила, и тогда бы не испугалась, хотя он и аристократ. Он сам по себе, а она сама по себе. Живет она у родного отца, чужого хлеба не ест, и никто не имеет права ни кричать на нее, ни насмехаться над ней. Она боится только одного бога и после бога — отца, а больше на всем свете нет ни одного человека, которого бы она боялась.

Эльжуса с любопытством оглянулась вокруг.

— Ничего особенного, — заметила она. — В нашей горнице, пожалуй, даже и лучше. Внизу, правда, покои хорошие, но и то уж не бог весть какие, разве только что полы блестят, как зеркало. Что тут удивительного, что у короля жена красавица! Верно?

Сказать правду, но под большим секретом, отец приказал ей сходить на панский двор и попытаться зазвать панну Юстыну к себе. «Иди и как будто бы на мед пригласи!» Ладно. Кто вместе с нами работал, тот пусть и отдыхает с нами; кто нашего хрена попробовал, тот пусть и нашего меда отведаст. Но она-то знала, что собственно нужно ее отцу. И захихикала.

— Отец такой самолюбивый, что не может перенести, как это вы у соседей бывали, а у него нет. Сказать этого он никому не скажет, но я знаю, что у него кошки на сердце скребут. К тому же и с тяжбой у него разные неприятности. Я слышала, в городе адвокат апелляцию или какую-то там бумагу опоздал подать и теперь все дело пропадает... Может, отец думает, что придется помириться с паном Корчинским, и хочет, чтобы кто-нибудь замолвил за него словечко.

Но и это еще было не все. Эльжуса снова захи-

хикала, покраснела, на минуту опустила глаза и потом сразу выпалила:

— А больше всего отцу хотелось бы, чтоб вы и пан Витольд ошастливили нас, пожаловав ко мне на свадьбу.

На обратном пути в Богатыровичи Эльжуса сообщила Юстыне, что жених вместе со сватом уже приехал. Сват — пан Стажинский, отчим Яна. И жениха Юстына скоро увидит.

— Молоденький такой, миленький, а уж тихий, словно барашек.

По тону Эльжуси было видно, что она в восторге от своего жениха, что, впрочем, не мешало ей интересоваться и практическою стороною замужества. Ей было очень приятно, что у Франуса Ясмонта хорошие лошади, шесть коров и порядочный луг. Если б только отец мог выплатить все приданое наличными! Да где уж там! Половину выплатит, а на другую даст вексель. Деньги, какие были, все ушли на тяжбу с паном Корчинским, а теперь для родного дитяти... Пропади они пропадом, все эти тяжбы!

Когда они входили в усадьбу Фабиана, солнце разостлало по траве золотистый ковер и наполнило сливовую рощу таинственно скользящими бликами; здесь стояло несколько старых ульев, жужжали пчелы и наперебой распевали щеглы. За садом тянулась полоска поспевшего овса и гряды овощей, обсаженные кустиками флоксов и горевших на солище красных георгин. Домик Фабиана с крылечком во двор стоял под серебристыми тополями, и с их гибких ветвей на крышу и одиноко торчавшую трубу, казалось, непрерывно струился дождь серебряных капель. Все тут было почти так же, как у Анзельма и Яна, только гораздо теснее и бедней. Ульи были некрашенные, старинного образца, амбар небольшой, заросший целым лесом бурьяна, стены дома от старости покосились, крыша, кое-где заплатанная желтой соломой, местами замшела. Из фруктовых деревьев, не считая сливовой рощи, осталось лишь несколько груш и яблонь, да и те одичали и захирели.

С лавки, стоявшей под открытыми подслеповатыми

окнами у покосившейся стены дома, осененной серебристыми тополями, встали, увидев приближавшуюся гостью, двое людей и с достоинством, не торопясь сдвинули ей навстречу несколько шагов. Мужчина, рыжий, со щетинистыми усами и пронирыливыми глазками, держал в руке вытертую шапку, женщина, худощавая, болезненная, в короткой юбке и допотопной мантилье с развевающимися концами, в белом напложенном чепце, так жеманно улыбалась и приседала, как будто собиралась танцевать менуэт. На тропинке между овсом и грядами свеклы Фабиан громко поцеловал Юстыню руку.

— Я весьма счастлив и покорнейше благодарю за то, что вы, наконец, удостоили нас чести, которую так часто оказывали нашим соседям. Хотя они и не намного богаче меня, но и я сам себе господин и хоть и не богат, но ни от кого не завишу. Просим пожаловать... милости просим!

Жена Фабиана, сложив губы сердечком, низко присела и сунула свои костлявые пальцы, загрубевшие от полевой работы, в протянутую руку Юстыны. Она была явно смущена и употребляла все усилия, чтобы казаться выше окружающей ее обстановки.

— Просим пожаловать! Милости просим! — вторила она вслед за мужем и ногой, обутой в грубый башмак, отбрасывала ветки с тропинки, по которой шла Юстына. — Насорено у нас, — объясняла она, — как всегда бывает в маленьком хозяйстве... Вы к этому, конечно, не привыкли, да и я когда-то не так жила, не то видала. Папенька мой, пан Гецолд, в таком дворе не жил, а имения арендовал. Но ему не везло: то пожар, то падеж скота... делать было нечего, пошел в экономы.

Она вздохнула.

— Да и теперь мой родной племянник, Юзеф Гецолд, имение в аренде держит — может, вы слышали? — недалеко от Корчина, а другой Гецолд в конторе служит.

— У тебя в голове все только Гецолды да Гецолды! — перебил ее муж. — Пора бы почетной гостье представить нашего будущего зятя. Франусь! Пан Францишек! Прошу пожаловать сюда.

С длинной лавки встали еще двое, из которых один отличался довольно странною наружностью. Высокий, круглый, как столб, в зеленом сюртуке травяного цвета, с красным добродушным, смеющимся лицом, он был похож на ровно стриженный куст пиона с цветком наверху. Другой парень лет двадцати двух — маленького роста, тщедушный, в черном сюртуке, с некрасивым загорелым, на вид глуповатым и очень кротким лицом.

— Пан Стажинский из Стажин, отчим Яна... А это жених Эльжуси, Францишек Ясмонт,— отрекомендовал Фабиан.

Эльжуся, которая все время шла молча, теперь высочила из-за спины отца с громким возгласом:

— Господи! Да это пан Стажинский! Вот кто! А я подумала, какой большой куст пиона под нашим окном расцвел!

Стажинский, окинув взглядом свой сюртук, расхохотался низким басом и так искренне, что его толстые щеки затряслись, а маленькие глазки наполнились слезами.

— А это меня моя хозяйюшка так вырядила, — сказал он, не переставая смеяться. — Соткала сукно и приказала выкрасить в зеленый цвет. Я ей говорю: «Что ты, баба, с ума, что ли, спятила?» — а она на своем уперлась: «После, говорит, сам благодарить меня будешь, потому что зеленый цвет самый лучший, — он надежду означает...» Что тут поделаешь? Старуха, а в голове все еще какие-то глупые фантазии. Впрочем, что человек ни наденет — все равно, был бы сыт да здоров.

Эльжуся наклонилась к уху Юстыны:

— Поглядеть на него, кажется добрый, а на самом деле такой скряга, что боже упаси... куска лишнего не съест, всю семью впроголодь держит, а у самого сундук битком набит кредитками...

Однако толщина Стажинского и его цвет лица свидетельствовали о том, что он съедал не один лишний кусок.

Перед лавкой, на небольшом табурете стояла миска со свежим, прозрачным, как янтарь, медом, лежал каравай ржаного хлеба и широкий нож с костяной ручкой.

Эльжуся немедленно по приходе домой сняла башмаки и теперь босиком бегала по двору, отдавая жёниху различные приказания:

— Пан Францишек! принесите, пожалуйста, стул для панны Юстыны.

Парень со всех ног бросился к хате. Фабиан принялся резать хлеб; на нижней корке каравай так же, как у Анзельма, явственно отпечатались рисунки кленовых или липовых листьев.

Несколько минут царил неловкий молчок, прерываемый только восклицаниями Эльжуси, которая посылала жениха то за блюдом для панны Юстыны, то за ложкой, то приказывала ему прогнать подальше собаку, которая при виде хлеба все лезла к табуретке. Девушка вела себя неприужденно. Она все время поучала парня: то медленно ходит, то не туда ставит принесенные предметы, причем говорила тоном, не допускающим возражений, сверкала белыми зубами и задирала кверху и без того вздернутый нос. Жених, молчаливый, покорный, неловкий от смущения, беспрестанно исполнял все приказания Эльжуси и всякий раз, как взглядывал на нее, то ли от любви, то ли от удивления, с минуту стоял столбом, широко разинув рот. Меду он еще и не пробовал, — так муштровала и гоняла его Эльжуся. Зато все остальные по очереди брали нож с костяным черенком, намазывали им мед на хлеб и, откусив кусок, клали ломоть на стол и, не спеша, скрестив руки на груди или опустив на колени, пережевывали.

Жена Фабиана тягуче рассказывала о пасеке, которая была у ее отца, Гецолда, когда он был арендатором.

— Как день после ночи приходит, а ночь после дня, — причитала она, — так и я... ведь от какого хозяйства на эту бедность пошла; как трудолюбивая пчела, всю жизнь проработала, и вот... чего дождалась!..

— Экая ворчунья, прости господи! — в сердцах перебил ее Фабиан. — Всякий разговор на нытье сведет. Уж известно: кривое колесо всех больше скрипит!

Стажинский снова так расхохотался, что у него слезы на глазах выступили. А Фабиан вдруг устался

на тропинку, ведущую к воротам, поднялся со скамьи и, подбодченясь, выпрямился.

На лице его выразилось чрезвычайное удовольствие, румяные щеки дрогнули и жесткие усы зашевелились.

— Счастливым сегодня выдался нам день, — громко воскликнул он. — Второго почетного гостя бог посылает!

Вторым гостем был Витольд, который, простояв долгое время за низким плетнем никем не замеченный, наблюдал издали за группой людей, сидевших у стены дома, и, охваченный непреодолимым желанием присоединиться к ним, вошел в ворота. За ним бежал черный Марс. Протягивая руку хозяину, молодой Корчинский извинялся, что привел с собой собаку, но Фабиан, отвешивая поклоны и рассыпаясь в самых отборных любезностях, и слушать ничего не хотел.

— Что вы, что вы! Милости просим... милости просим вместе с собакой... Кому она помешает? Кто господина любит, тот и собаку его приласкает. Добрый пес лучше злого человека.

Он принялся гладить по спине ластившуюся собаку, а жена его в развевающейся мантилье поднялась навстречу гостю и жеманно поклонилась ему, пустив в ход все свои самые изящные ужимки. Но ничто ее так не обрадовало, как вопрос о здоровье, с которым обратился к ней Витольд. В нем она прежде всего усмотрела знак особого уважения к себе, а затем — это была вода на ее мельницу.

— Скриплю, скриплю понемножку, — радостно улыбаясь, но жалобным тоном начала она, — да это ничего: скрипучее дерево два века стоит. А с вами, сударь, мы ведь не первый день знакомы... вы еще вот таким маленьким, бывало, бегали к нам, да и потом, когда с ученья приезжали к папаше с мамашей, не забывали нас... Вам-то, сударь, известно, отчего я тут захирела... Как вол, работала, воду на гору таскала... вот эта вода, что кровью нам достается, и загубила мое здоровье... да и не затем я родилась... не к тому была приучена... вы, я думаю, помните, что по отцу-то я Гецолд, того Гецолда дочь, который аренду держал... Сынок

моего брата и сейчас землю арендует, а другой в конторе...

— Ну, завсела! — буркнул Фабиан и, перебив речь жены, принялся расспрашивать гостя о корчинских хлебах.

Стажинский, который тоже знал молодого Корчинского с детства, вмешавшись в разговор, стал странно рассуждать о хозяйстве, урожаях и разных видах почвы в этих краях, то и дело прерывая собеседников гулкими раскатами добродушного хохота.

Между тем Эльжуса, зайдя со своим женихом за угол дома, кормила его с ложечки медом, а он после каждого глотка, громко причмокивая, целовал ее красную руку.

— А вы бы, пан Францишек, чмокать-то перестали, а поговорили бы со мной по-человечески, — скомандовала Эльжуса.

Он покорно, как автомат, тотчас перестал чмокать, и они зашептались, вернее она шептала, а он ей смиренно поддакивал.

В это время у забора, разделявшего усадьбу Фабиана и Анзельма, что-то зашелестело. То Антолька перелезла через забор, явившись тем же путем, каким навещала ее соседка; но тогда как Эльжуса шлепалась, словно пухлая оладья, стройная, легкая Антолька слетала, как перышко. Она была в своем обычном платье, потому что день был будничным, и только в семействе Фабиана, по случаю посещения жениха, все разоделись по-праздничному.

— Ах, боже мой! — закричала она, увидав Юстыну. — Вот Ян будет жалеть, что его дома не было! Он сено убирает и свозит... отсюда две мили...

Наивное восклицание девочки заставило Юстыну вспыхнуть. Между тем хозяйка рассказывала о наилучших способах моченья и сушки льна, за этим интересным разговором совсем позабыв о Гецолдах. Витольд нагнулся к уху кузины.

— Ты почему так покраснела? — лукаво поддразнил он ее.

Антолька, оробев при виде такого множества людей, тихонько подошла к столу. О, эта бы, навернос, не

сумела муштровать жениха, как Эльжуса, и так им командовать! Она была пуглива, нежна и удивительно изычна. Но и молодой человек — его канифасовый сюртук великолепного канареечного цвета мелькнул в эту минуту в воротах усадьбы, — наверное никому бы не позволил распоряжаться собой! Он тоже ездил за две мили отсюда на луг, который арендовал вместе с соседями, но успел уже вернуться с сеном и, надев канареечный сюртук, поспешил туда, куда влекло его сердце. Вероятно, он еще по дороге заметил свою возлюбленную, когда она перепрыгивала через забор к соседям. Он смело шел размашистым шагом, гордясь закрученными кверху усами и подстриженной клинышком бородкой, но, дойдя до фруктового сада, спрятался за дерево, и вдруг на всю усадьбу раздались звонкие трели, паразитально похожие на соловьиные.

— Господи Иисусе! — воскликнула Антолька.

Вероятно, впервые в мире трели соловья так испугали молодую девушку. Она не слыхала, как подошел Михал, и очень встревожилась, как бы не показалось соседям, что они сговорились прийти сюда вместе.

— Тиу, тиу, тиу... тех... тех... тех... сс... ссю... — заливался в сливовом саду соловей.

Стажинский покатывался со смеху, жена Фабиана хихикала, Эльжуса смеялась во все горло, а жених ей усердно вторил. Наконец местный франт вынырнул из сада, и смущенная Антолька, притворяясь сердитой, крикнула:

— Вы бог весть что вытворяете, лучше бы сказали, скоро ли придет Янек?

Михал ответил, что Янек заночует на лугу, потому что еще не все сено убрано.

Витольд, нагнувшись к кухне, снова ее поддразнил:

— Ты что приуныла, Юстынка?

Только что Юстына весело разговаривала с девушками, но, услышав ответ Михала, сразу умолкла. Она снова вспыхнула и, задумавшись, долго смотрела на грушу-сапежанку, широко раскинувшуюся по другую сторону ограды. Фабиан стал расспрашивать соседа о своем Адасе, который тоже убирал сено на дальнем, взятом в аренду лугу и, по сведениям Михала, так же,

как Ян, должен был вернуться только завтра. Он, Михал, раньше всех управился с покосом. Зато уж так намахался, что и сейчас поясницу ломит. Да что поделаешь? Кому не терпится, тот поторопится! При последних словах он взглянул на Антольку и щеголеватым жестом поправил на шее голубой платок, который, несмотря на лому в пояснице, все же не забыл повязать.

Вокруг табурета, на котором стояла чашка, вся облепленная теперь мухами, завязался шумный разговор; громче всего раздавались жалобы на нехватку лугов и пастбищ. Шутка ли сказать: за две мили ездить за сеном, да добро бы еще на свой, а то на арендованный луг! Они уже и клевер стали сеять и в полях сорняки различные выпалывают, а в кормах попрежнему терпят жестокую нужду. Да, впрочем, не одна эта у них беда. Фабиан нахмурился, и лицо его покрылось множеством морщин. Его обычно самоуверенный тон исчез, и он стал горько жаловаться:

— Как будто я и к рюмочке не прикладываюсь и от дела не бегаяю, да что толку? Одно только, что еще душа в теле держится, а вот новую хату и то не на что выстроить...

— Им-то хорошо! — кивнул он на усадьбу Анзельма. — Земли больше двадцати моргов и живут втроем... А у меня и двенадцати нет и пять человек детей. Куда я своих сыновей дену, когда все вырастут да жениться захотят? Прежде ходили на заработки, а сейчас и насчет этого плохо. С арендой, если б у кого и были средства, тоже неважно: на большой луг не хватит, а поменьше нигде вокруг не сыщешь... Одним словом, ни туда, ни сюда... Ни тебе вправо, ни тебе влево... Никакого человеку пути и никакой подмоги нет. Хоть ложись да помирай! Все кишки вымотаешь за работой, а облегченья не жди.

— Также и земли прикупить, — перебил его Стажинский, — если кто и соберется с деньгами и может осилить, так по другой причине нельзя...

— И верно, нельзя, — подтвердил Фабиан, — ни вперед, ни вширь, никуда нам податься нельзя. со всех сторон нас теснит земля богачей, а нам еле-еле по узенькой тропочке пробираться надо.

Он впал в жалобный тон и, по примеру жены, которая давно уже, подперев щеку кулаком, раскачивалась взад и вперед, опустил голову на руку. Горькая усмешка искривила его рот под жесткими усами.

— Об одном сыне мне уже нечего беспокоиться... через три месяца его в солдаты заберут, и хоть через пять лет он и вернется, я к тому времени без него весь потом изойду и в могилу лягу. Старший он у нас, работающий, послушный, хоть и в меня уродился... горяч. Вторым мне господь бог болвана послал, что только по Неману пахать да косить умеет, а те двое еще зелены... только и годятся, что лошадей пасти да бороновать...

Однако он недолго изливался в жалобах, вскоре к нему вернулась его спесивая самоуверенность. Он тряхнул головой, стыдась своего минутного малодушия.

— Эх! — крикнул он, — удачи да успехи — неверные утехи! А может, господь бог для того нас, грешных, испытует и во вражеские руки предаст, чтобы мы не старались упрочить свое счастье на этом свете... а искали бы вечного успокоения...

— Терпение в царствие небесное ведет, — глубоко-мысленно заметил Стажинский.

— Убей меня бог, если я всегда точно так же не думаю! — воскликнул Фабиан. — Только иной раз как невтерпеж станет, тут и наболтаешь с три короба...

— Кого бог сотворил, того не уморил, и все тут! И ладно! — сказал в заключение Михал, который принимал самое горячее участие в разговоре и на людях ни разу не подошел к Антошке, видимо опасаясь, чтобы о девушке не стали зря языки чесать.

Стажинский, зычно рассмеявшись, заметил, что Фабиан должен благодарить бога за старших сыновей. Из младших-то еще неизвестно что выйдет, зато оба старшие — порядочные молодые люди и хорошего поведения. Хотя сам он в этом поселке не живет, но соседи знают, кто как себя ведет. Фабиану было, видимо, приятно, что хвалят его сыновей, но он притворился равнодушным и даже недовольным. Он пренебрежительно покачал головой и махнул рукой.

— Ну, уж велика радость! Один болван, а другой дурак, и оба шуты гороховые!

Вскоре после этого провожая гостей, Фабиан низко кланялся каждому и долго упрашивал, приглашая на свадьбу дочери. В том, как он часто и усердно отнекивался поклоны и, тотчас выпрямившись, подбочивался, как говорил о своей убогой хате и тут же прибавлял, что нимало не стыдится ее убожества, потому что он сам себе господин и, не будучи известным, может быть честным; в том, с каким умилением и почти униженно заглядывал он в лицо молодому Корчинскому и как зашевелил усами и грозно нахмурил лоб, когда Михал неосторожно напомнил о его тяжбе с паном Корчинским, видна была натура, полная самых крайних противоречий. Он соединял в себе почтительное отношение к высокому положению и спесивую гордость независимого человека, запальчивость и лукавую изворотливость, озабоченность трудной, убогой жизнью и жизне-радостность, брызжущую пословицами, присказками и веселыми шутками.

— Нищий Лазарь, — толковал он, — пел о покое богачей: «Столов обилье драгоценных и шелком украшенные стены». У меня столь прекрасных покоев нет, как нет и парчи на стенах, но меня это несколько не беспокоит. Даже и перед такими важными гостями я не устыжусь своего убожества, а ежели в день свадьбы моей дочери они захотят пожелать ей счастья, почту это посещение за особую милость и великую честь для себя, ибо, как говорится, чем богаты, тем и рады, и не красна изба углами, а красна пирогами.

Жена Фабиана, жеманясь и приседая, тут же гадцевала монуэт на траве, причем не забывала и о Гецолдах.

— Женушка Юзика Гецолда будет свахой на Эльжусиной свадьбе, пан Стажинский — сватом, а панна Юстына первой дружкой в паре с паном Казимежем Ясмонтом, которого Франушь пригласил шафером.

Она радостно всплеснула худыми руками и даже сделала какое-то минуэтное антраша.

— Вот ведь какой свадебный поезд будет у моей Эльжуси! Видно, это уж господь бог ей такое счастье послал!..

А Эльжуса, срывая для Юстыны флорен, приказала

жениху принести тем временем самый красивый георгин.

— Не тот! — кричала она. — Вон там, такой большой, красный... Никак вы ослепли, пан Францишек, что уж не видите, куда я пальцем показываю? Ну, видно, вы так цветы рвать годитесь, как вол карету возить!

— Зато он, может, в любви окажется половчей! — раскатисто хохотал Стажинский.

Между тем вечерело. Где-то в поле мелодично свистели перепела, пронзительно кричал коростель и звонко, оглушительно трещали кузнечики.

Когда Юстына и Витольд возвращались под меркнущим небом домой, юноша, со свойственно ему пылкостью заинтересовавшись судьбою, характерами и обычаями людей, с которыми только что расстался, в первый раз стал излагать кузине те цели, которым он собирался посвятить свое будущее...

Несколько месяцев назад Юстына или не поняла бы его, или слушала бы равнодушно, как если бы он говорил о чем-то слишком далеком, недоступном ей, на что она не могла бы откликнуться ни умом, ни сердцем. Теперь же каждый отзвук человеческой мысли, человеческого трудов, человеческой жизни — отзвук большого прекрасного мира — бился в груди ее взволнованной птицей, пронзал разум лучом яркого света. Ей казалось, будто все, что по дороге из усадьбы Фабиана говорил ей Витольд, невидимой нитью связано с тем, что она пережила на Могиле.

Рассказав Марте все, что ту интересовало, она погасила лампу и долго тихо стояла у раскрытого окна. Отрывки мыслей и наблюдений начинали складываться у нее в мозгу в одно стройное целое. В вечернем сумраке из окрестностей Корчина доносились последние звуки замирающей жизни. Глядя на звездное небо, Юстына с жадностью, а может быть, и с тоской внимала им...

На другой день, около полудня, в полуотворенную дверь комнаты Марты и Юстыны просунулась завитая головка Леони.

— Тетя здесь? — раздался ее тоненький ~~свежий~~ голосок.

— Здесь, моя крошка, здесь! — ~~отвяти~~ ей ~~тут~~ ~~тут~~, но ласковый голос. — Чего тебе, милая? ~~Упавши~~ ~~на~~ чешь или пирожков с черникой?.. Пирожки уже ~~на~~ товы... вкусные пирожки!..

Девочка, шумя оборками платья, ~~иногда~~ ~~торопливо~~ ~~и~~ с радостной улыбкой на бледном ~~миленьком~~ личике. В руках у нее были два куска вышитой ~~серу~~ ~~серу~~ сом канвы.

— Дарю вам, милая тетя, туфли ~~обшительной~~ ~~ра~~боты и прошу принять их так... как... как я...

Она приготовила длинную речь, но, ~~видя~~ ~~что~~ ~~дети~~ Марта морщится и подергивается, как будто бы в него впился рой комаров, не докончила, бросилась старой деве на шею и стала осыпать поцелуями ее ~~миленькое~~ ~~темное~~, сморщенное лицо.

Это был пустяк, но Марта смеялась и плакала, ~~от~~ ~~нимала~~ ~~девочку~~, прижимала ее к своей груди, ~~оттуда~~ ~~вырывались~~ отрывистые слова:

— Ах ты, мой котик... букашечка моя ~~милая~~... моя пташка!

Потом она принялась разглядывать туфли, меряла их на свои большие ноги и не могла ими нахвалиться. Радостное возбуждение совершенно преобразило ее: казалось, она сразу помолодела, стала тише и милче. Она снова предложила Леоне пирожки с черникой, но девочка, словно волчок, завертелась на одной ножке и, кружась по всей комнате, хлопала в ладоши и громко щебетала:

— Мама уже встала, пьет какао, и Витек пошел просить ее, чтобы она меня отпустила на свадьбу с нам, с Юстыной и с вами, — пошел просить, пошел просить!

Вдруг дверь с шумом отворилась, показалась молодая разряженная горничная и крикнула с порога:

— Панна Марта, пожалуйста к пани! Она заболела.

Марта стремительно сбежала с лестницы; за ней спускалась испуганная, смущенная Леоня.

— Что случилось? Заболела? Может быть, за доктором послать? — спросил ее в сенях пан Бенедикт.

Из дверей гостиной вышел Витольд.

— Бушменку из тебя сделают, ей-богу, бушменку! — крикнул он Леоне и побежал вглубь дома.

В спальне пани Эмилии происходила страшная сцена; главной, хотя и не единственной причиной ее был сегодняшний разговор матери с сыном.

Уже вчера, после выходки Бенедикта за ужином, пани Эмилия легла в постель с сердцебиением и со спазмами в горле. Ночью начались спазмы желудка. Потребовался усиленный прием лекарства, к тому же Тереса читала ей до утра. Когда в доме все встали и принялись за дела, пани Эмилия уснула. Незадолго до полудня, немного ободрившись, хотя и озабоченная своим состоянием, пани Эмилия укуталась в белоснежный пух пеньюара и перешла на пунцовую кушетку. Тереса поставила рядом чашку подкрепляющего какао и подала книгу и вязанье. Сидя около Эмилии, с рукой на перевязи, Тереса пила кофе (какао ей было вредно) и, предвидя флюс, придумывала себе лекарство. Но вот в полуотворенную дверь заглянул Витольд и попросил позволения войти.

Пани Эмилия не только позволила ему войти, но, когда он поцеловал ей руку, ласково поцеловала его несколько раз в лоб, усадила возле себя и с грустной и кроткой улыбкой начала рассказывать об ужасах прошедшей ночи и расстройстве своих нервов вообще. Жалобы продолжались по крайней мере четверть часа, после чего Витольд нашел удобным изложить свою просьбу. Пани Эмилия не сразу поняла, в чем дело, и сначала подумала, что неверно истолковала слова сына.

— Где, чья свадьба? Куда Леоня должна ехать? — тихо и мягко переспросила она. — Извини, Витольд, но я так утомлена... слабость... шум в ушах...

Когда сын повторил свою просьбу, пани Эмилия сначала остолбенела от изумления, а потом отказала, спокойно и мягко, но наотрез. Требование казалось ей настолько диким, что она даже не сочла нужным чем-нибудь объяснить причину своего отказа.

— Я, — тихо и ласково проговорила она, — не могу допустить эту странную причуду... Мне очень жаль, Витольд, что я принуждена отказать тебе, но я — мать,

и воспитание Леони — моя святая обязанность... Когда вы меня положите в гроб, можете делать что угодно; но пока я жива, моя дочь не должна бывать в неподходящем для нее обществе, портить свои манеры и видеть то, чего ей не следует видеть.

— Напротив, мама, она должна все видеть и слышать, чтобы знать тот мир, ту страну, где ей предстоит жить и трудиться,— нетерпеливо прервал ее Витольд, но сдержался и уже спокойно начал доказывать матери, что человека нельзя держать взаперти, что для физического развития Леони ей необходимо больше двигаться, а для умственного — узнать природу и людей, среди которых будет протекать ее жизнь.

Несмотря на сдержанность Витольда, некоторые его выражения болезненно подействовали на пани Эмилию. В словах сына она почувствовала намек на свою бесполезность и вместо сострадания чуть ли не презрение. А она так любила Витольда! В детстве она баловала его больше, чем дочь, только не позволяла шуметь в своей комнате, а когда он вырос, часто любовалась его стройной фигурой и лицом, напоминавшими ей Бенедикта, каким тот был в молодости и каким — увы! — никогда уже не будет. Недовольство сыном, который не мог ни любить ее, ни понимать, все больше и больше волновало ее; глаза наполнились слезами. Несмотря на это, с уст пани Эмилии не сорвалось ни одного негодующего слова. С терпением мученицы, примирившейся со своею участью, выслушала она Витольда, и когда он, убедившись в непреклонном решении матери, ушел, поцеловав ей руку, у нее сразу, и на этот раз с особенной силой, возобновились спазмы в желудке.

Несколько минут спустя пани Эмилия уже корчилась на кушетке от мучительной боли. Страдания ее были поистине ужасны. Страшная ехидна истерии приняла сегодня именно эту форму, чтобы поразить ее своим жалом; на беду, у Тересы разыгрался ревматизм, а от волнения разболелись зубы, и бедная старая дева ничем не могла ей помочь. Подвязав одним платком щеку, а другим обмотав большую руку, она забилась в угол и горько плакала, видя страдания своего друга и чувствуя собственную немощь. Силясь подавить рыдания, она

глотала то салицилку, то морфий, но — увы! — тщетно. Позвали горничную, затем пришлось обратиться к пани Марте, суежилась около больной и Леоня. Несмотря на все хлопоты, состояние пани Эмилии долго не улучшалось главным образом потому, что ее нестерпимо раздражали хриплое дыхание и грузная походка Марты. Она не выказывала своего раздражения, но, когда, щебеча как птичка, вокруг нее порхала Тереса, боли затихали гораздо быстрее. Напрасно Марта, сясь ходить на цыпочках, раскачивалась взад и вперед своим мощным корпусом, напрасно старалась подавить припадок кашля, — ее хриплое дыхание, даже грубый шепот решительно выводили больную из терпения. Марта заметила это, и лицо ее омрачилось страданием.

— Никогда и никому я не могла принести пользу, — тихо шепнула она Тересе и с грустным оттенком прибавила: — Честное слово, не знаю, зачем я живу на белом свете и чужой хлеб ем! Горе, да и только!

За доктором посылать, однако, не понадобилось. Бенедикт, навестив жену, возвратился в кабинет и взялся было за шапку, когда через открытые двери другой комнаты увидел сына.

— Витольд! — закричал он, — вот как ты прекрасно ведешь себя! Расстроил мать... и по-твоей милости она теперь больна. Уж не ваша ли теория этого требует — ссориться с женщинами и доводить их до истерики?

— Я хлопотал за сестру, — непривычно тихим голосом ответил юноша и положил на стол книжку, которую держал в руках.

Бенедикт переступил через порог.

— Мать была совершенно права, — заговорил он. — Леоню нельзя таскать по каким-то мужицким свадьбам. Я понять не могу, с чего тебе пришло в голову мучить мать своими сентиментальными выдумками!

Витольд молчал, уставясь в пол и крепко сжав зубы.

— Ну, что ты молчишь?

Пана Бенедикта начинало раздражать молчание сына.

Витольд поднял глаза и неохотно ответил:

— Я думал о том, отец, почему ты меня ни в ~~милу~~ моего детства, ни тогда, когда я вырос, не ~~удерживал~~ от этих сентиментов! — а, напротив, даже ~~поощрял~~ меня к этому.

— Анекдот! Ты меня за глупца, что ли, считаешь, чтобы я стал мальчика водить на помочах и держать под стеклянным колпаком? Но Леоня — девочка, а что для мальчика хорошо, то девочке может повредить. С этим ты, вероятно, согласишься, а?

Витольд молчал. На его лице пан Бенедикт впервые заметил выражение упорства; видимо, он твердо решил промолчать.

— Ну, что ж? Или ты считаешь меня недостойным беседовать с тобой?

Не поднимая глаз, Витольд тихо ответил:

— Позволь мне, отец, не отвечать тебе... избежав от неприятности и себя и... меня...

— От неприятности! — повторил Бенедикт. — Ты прав! Но не на новые неприятности я рассчитывал. — Я думал, ты поможешь мне позабыть старые, так что...

Он махнул рукой.

— Ну, должно быть, так всегда на свете! На кого бог, на того и люди! Пусть еще и это...

Он схватил шапку и торопливо вышел из комнаты.

Витольд долго стоял на месте, глядя в землю и почти до крови кусая губы. Но когда у крыльца послышался конский топот, он стремительно бросился к окну и ве отходил от него, пока отец, быстро проскакав по дороге, тянувшейся за домом, не исчез из виду. Охваченный тревогой, он долго ходил по пустой столовой, о чем-то думая и, видимо, борясь с собою. Потом решительно прошел прихожую и гостиную и остановился у двери в будуар пани Эмили. Взявшись за ручку двери, он с минуту стоял, колеблясь и робея. наконец собрался с духом и тихонько приоткрыл дверь. Но едва голова его показалась в полумраке будуара, все, кто в нем находился, замахали на него обеими руками. Как раз перед тем большая несколько успокоилась и как будто задремала. Увидев заглянувшего в комнату Витольда, Марта, Тереса, Леоня и горничная в величайшем ужасе и глубочайшем молчании знаками давали ему

понять, чтобы он поскорее ушел, не нарушая покоя матери.

Он поспешил уйти, свистнул своего черного Марса и несколько минут спустя уже шагал по направлению к Ольшинке с перекинутым через плечо ружьем и книгой, всегда торчавшей из кармана.

Никто еще не видел пана Бенедикта таким угрюмым и расстроенным, как в это лето, когда на него обрушились новые денежные затруднения, а в сердце закралась неожиданная печаль. Печаль эта росла и становилась с каждым днем тяжелее. Отношения между отцом и сыном внешне были добрыми, но только внешне. Они вместе ходили по корчинским полям и даже вели беседы об агрономии, которой пан Бенедикт живо интересовался когда-то, как теперь Витольд, но оба чувствовали, что связь между ними была только видимостью, что внутренне они все более и более отдаляются друг от друга. С того вечера, когда пан Бенедикт бросил сыну несколько горьких упреков и пожелал себе скорой смерти, Витольд замкнулся в себе и упорно молчал обо всем, что могло навести разговор на волнующие темы. Он охотно беседовал с отцом о разных мелочах, охотно исполнял его поручения, старался помочь ему в работе, но о своих убеждениях, о том, что ему нравилось или не нравилось, о своей будущности не говорил ни слова. И как только юноша чувствовал, что разговор может коснуться этой темы, на его лице появлялось то выражение непобедимого упорства, которое так неприятно поразило пана Бенедикта.

Это скрытое упорство все больше и больше раздражало пана Корчинского. Он предпочитал бы явное и даже резкое сопротивление, чем замкнутость. Зная открытый и вспыльчивый нрав сына, он приписывал эту нарочитую сдержанность причинам, которые еще больнее ранили его сердце. Бывали дни, когда оба они старались избегать друг друга, но бывали и такие, когда они без всякого предварительного уговора сталкивались друг с другом почти на каждом шагу, ходили вместе гулять, проводили вместе целые часы, спорили, разгова-

ривали. Но в этих разговорах всякая чистосердечная нота, всякое откровенное слово сразу обрывалось и замирало на губах.

В один из таких дней они долго рассматривали книги Витольтда, из которых молодой человек черпал темы для своих рассказов об успехах агрономии в цивилизованных странах.

— О, черт возьми! — крикнул пан Бенедикт. — Как подумаю, что и я когда-то прочел много этих книжек и мудрости от них набрался немало, так просто сам себе не верю. Теперь я до того отвык от чтения, что стоит мне только взять в руки что-нибудь печатное, как сейчас же засыпаю.

И он посмотрел на небольшую, привезенную сыном библиотечку такими глазами, что Витольтд чуть не расхохотался, но во-время сдержал себя. Ему стало жаль отца, и он прижал его руку к своим губам.

— Витек, — нерешительно начал пан Бенедикт, — у меня к тебе просьба.

— У тебя, отец? Ко мне? Просьба? Прикажи только, я...

Было видно, что в эту минуту он готов был по первому слову отца броситься в огонь.

Дергая свой длинный ус и, видимо, стараясь не смотреть на сына, пан Бенедикт продолжал:

— Еще три недели, и ты уедешь из Корчина... Так надо бы проститься с теткой. Ты хорошо знаешь, как меня тяготит этот долг Дажецким... Если б ты к ним поехал и попросил тетку отсрочить мне платеж или рассрочить его на несколько лет... приласкался бы к ней... объяснил бы... У нее одни дочери, и поэтому она ужасно любит племянников... Зыгмунт, когда был за границей, тянул из нее деньги, как хотел... Может, она и сделала бы что-нибудь ради тебя... Правда, Дажецкий всеми делами занимается сам, но она имеет на него большое влияние... к тому же это пустейший человек, — поклонись ему пониже, поцелуй руку, и он на все готов для тебя... Что же, сделаешь ты для меня это, Витек, а?

Витольтд нахмурился. Он молчал. Пан Бенедикт посмотрел на него смущенно и вместе с тем с подозрением.

— Что же, можешь ты исполнить то, о чем я прошу тебя? — уже почти резко спросил он.

— Нет, отец... Мне очень жаль... но нет... — сдавленным голосом ответил Витольд.

— Почему? Изволь по крайней мере ответить мне.

— Разреши мне промолчать, отец.

— Опять! — крикнул пан Бенедикт и покраснел до корней волос.

Он хотел что-то сказать, но не мог, и с шумом отодвинул стул, на котором сидел.

— Хорошо. Будем оба молчать. Ты чуждаешься меня? Скрываешься от меня, как от врага? Хорошо. Так будь же добр считать меня отныне за своего знакомого, который отличается от всех других только тем, что после него ты получишь наследство!

На этот раз Витольд побледнел и вздрогнул. Он хотел догнать отца и на тяжкую обиду ответить градом горьких упреков. Но нет, что-то внутри повелевало ему воздержаться и лучше перенести все, чем порвать узел, связывающий его с отцом. Юноша упал на стул, сжал руками виски и крикнул:

— Как это ужасно! Не можем понять друг друга! Заколдованный круг какой-то!

Они, наверное, легче поняли бы друг друга, если бы не были так горячи и вспыльчивы. Постоянное напряжение, в котором уже свыше двадцати лет жил пан Бенедикт, привилось и Витольду, как будто кровь и нервы отца передались по наследству сыну. Кровь и нервы их были насыщены жгучей горечью страданий, перенесенных одним и глубоко прочувствованных другим.

Но однажды, вскоре после окончания жатвы, пан Бенедикт вернулся из соседнего города таким веселым и добрым, каким его давно уже не видали. Он не обращал никакого внимания на ворчанье сидевшего на козлах конюха, который исполнял обязанности кучера, лукаво усмехался про себя и — чего давно с ним не бывало — подкручивал свой длинный ус не книзу, а кверху.

Въезжая в ворота Корчина, пан Бенедикт увидел красивую коляску четверней с кучером в ливрее, которая отъезжала от крыльца под тень яворов. На террасе стоял только что вышедший из кареты

Зыгмунт. Соскакивая с сиденья желтой тряской брички, пан Бенедикт радушнее, чем всегда, крикнул племяннику:

— В счастливый день ты приехал ко мне, Зыгмунт! Я так рад, словно у меня крылья выросли.

Зыгмунт молча прошел за дядей в кабинет. Пан Бенедикт снял парусиновый плащ, бросил на диван фуражку и вынул из кармана сюртука какое-то письмо.

Письмо это было от адвоката, которому пан Бенедикт поручил ведение дела с Богатыровичами. Адвокат извещал, что противная сторона пропустила срок подачи апелляции и потому решение первой инстанции, которая стала на сторону пана Корчинского и сверх того присудила ему значительную сумму судебных издержек, вошло в законную силу. Пан Бенедикт ходил взад и вперед по комнате и похлопывал письмом по ладони.

— Да, на своем поставил! Теперь они проиграли и должны будут растрясти свои карманы! Для них это огромная сумма, да и для меня кое-что значит... в особенности сейчас. Вот вой поднимут! Но уж я им не прощу! Ей-богу, ни гроша не подарю! Если добровольно не отдадут, все с молотка пушу... коров, лошадей, перины последние, а свое возьму! И поделом, пусть не лезут! И мне этот процесс влетел в копеечку... конечно, не столько, но чего-нибудь да стоил. А беспокойство, а неприятности! Это тоже не должно пройти даром. Для них это хороший урок... а для меня... тысяча рублей, фью, фью! Такая кругленькая сумма на земле не валяется!

Адвокат спрашивает, взыскивать ли с поселка присужденные издержки. А как же иначе? Конечно. Пан Бенедикт сейчас напишет, чтобы к этому приступили немедленно, сейчас же! Пусть взыщут присужденную сумму, невзирая ни на что. Он не согласится ни на малейшую уступку, будет строго придерживаться буквы закона, а если не отдадут, тогда надо приступить к описи... да, к описи!

— Пошел бы ты, Зыгмунт, на полчаса к бабам, а я пока напишу ответ... Сегодня вечером из местечка уходит почта, я pošлю нарочного, чтоб не терять времени...

Уже добрый десяток лет всякий раз, когда ему

нужно было послать письмо, он долго откладывал и писал с большой неохотой. Однако сегодня он сразу уселся за стол и, потирая руки, достал из ящика бумагу. Очевидно, в таких случаях у него уже не ныло внутри, как бывало прежде.

Зыгмунт, одетый, как всегда, по последней моде, со шляпою в руке, прошел через пустую столовую, остановился на минуту и, вместо того чтобы постучаться в дверь будуара пани Эмилии, начал подниматься вверх по лестнице. Корчинский дом был знаком ему с детства, но он с минуту колебался, вспомнив, что наверху живет не только Юстына, но и Марта. Однако, выглянув в окно, он увидел, что старая дева, гремя ключами, шла в сопровождении дворовой девушки к отдаленному амбару. Дверь пани Эмилии была, как всегда, плотно заперта, в гостиной — ни души, и только сверху доносились звуки скрипки. Он поднялся по лестнице. В узком полутемном коридоре на него нахлынули волны музыки — то упражнялся пан Ожельский. Зыгмунт отворил двери той комнаты, в которой так часто бывал в детстве и юности. Тогда в ней жила Марта; теперь — он знал это — там можно было найти Юстыну.

Действительно, молодая девушка была в комнате одна. Она сидела у раскрытого окошка, но, увидев его, поднялась и уронила на стол рукоделье — какой-то белый платок с одной уже вышитой буквой. Зыгмунт протянул ей руку, к которой она едва прикоснулась кончиками пальцев. Под его пристальным взглядом она слегка побледнела, потом покраснела и, наконец, спросила изменившимся голосом:

— Чем я должна объяснить ваше посещение, кузен?

Вместо ответа Зыгмунт еще внимательнее посмотрел на нее и с дружеским упреком проговорил:

— Какая вы негостеприимная, даже стула не предлагаете!

— О, садитесь, кузен... пожалуйста.

Она подвинула к нему стул и опустилась на свое место, с виду холодная, слегка сдвинув брови над потемневшими от волнения глазами. Зыгмунт сел так, что узкий носок его ботинка касался платья Юстыны, и выглянул в окно.

— Довольно живописный вид... — начал было он.

— Вы его хорошо знаете, — перебила Юстына и опустила глаза на свою работу.

— Из этого я должен заключить, — подхватил Зыгмунт, — что мне не разрешено любоваться им из окна вашей комнаты? Вы очень любезны, кузина. Но вы правы отчасти: я не обладаю искусством любоваться красотами родной природы... может быть, потому, что сильное впечатление может произвести на меня только что-то новое, оригинальное, неожиданное... Как же можно сравнить хотя бы этот миленький пейзаж с теми великолепными видами...

И Зыгмунт начал описывать красоты Рейна, Дуная, Альп, швейцарских озер и Адриатического моря. Говорил он хорошо, образно, придавая своему голосу какое-то особенно мягкое, певучее звучание, как будто старался заморозить ее слух, но чувствовалось, что все, о чем он рассказывал когда-то с искренним восхищением, сейчас будило в нем мучительную тоску. Он не сводил глаз со склоненной головы Юстыны, видимо любясь блестящими, иссиня-черными косами и чистыми линиями смуглого лба. Потом взор его скользнул по ее опущенным векам с густой каймой черных ресниц, на мгновение остановился на ее полных пунцовых губах, уже спокойных в эту минуту, и, наконец, упал на ее статную фигуру. Под темным лифом обрисовывались молодые, сильные плечи и грудь вздымалась медленно и ровно.

Речь его становилась все прерывистее, он несколько раз заикнулся и вдруг прервал свой рассказ; его бледные щеки вспыхнули, и он тихо спросил:

— Я думаю, вы догадались, что я пришел к вам не для того, чтоб описывать красоты природы.

Юстына подняла на него глаза:

— Когда вы входили, я спросила себя: что привело вас сюда?

— Дело вот в чем... я хотел спросить, правда ли, что пан Ружиц добивается вашей руки и не... намереваетесь ли вы случайно выйти за этого во всех отношениях истрепанного миллионера?

Он говорил быстро; в голосе его прорывались резкие

ноты. Юстына опустила на колени работу и подняла голову.

— Если вы мне скажете, по какому праву вы предлагаете мне такие вопросы, я тотчас отвечу вам на них.

— А вы сами не догадываетесь об этом праве... не признаете его? — спросил Зыгмунт, едва сдерживаясь.

— Не догадываюсь, — ответила Юстына.

— Это право — величайшее из всех прав на свете: право любви! — воскликнул он.

Юстына быстро встала со стула и отступила подальше, к открытому окну.

— Прошу вас, уйдите отсюда, — сказала она решительно.

Но он уже стоял перед нею.

— Не бойся, Юстына, ничего не бойся... Та любовь, о которой ты не хочешь слушать, так чиста, возвышенна, так идеальна, что не может оскорбить тебя. Я знаю, ты можешь возразить мне, что я добровольно отказался от того, чего теперь жажду всеми силами души. Но прости мне минутную слабость. Припомни стихи, которые мы с тобой когда-то так любили: *Ils ont péché, mais le ciel est un don; ils ont aimé, c'est le sceau du pardon!*¹ Будь великодушна и возврати мне твое сердце, свое доверие, дружбу... Свою душу! Я больше ничего не хочу, ничего больше от тебя не потребу, кроме твоей души, Юстына!

При последних словах глаза его загорелись, и он схватил ее за руки. По губам Юстыны пробежала насмешливая улыбка.

— Разве это моя душа, Зыгмунт? Это мои руки... оставьте их, пожалуйста!

Она скрестила руки на груди и высоко подняла побледневшее лицо.

— Хорошо, я скажу все, и пусть это кончится раз и навсегда. Я любила тебя так, что даже после долгой разлуки, после того, как ты обвенчался с другою, я не могла равнодушно слышать твой голос, а стоило тебе приблизиться ко мне, как я чувствовала, что все... все

¹ Они грешили, но небо их удел; они любили, но любовь — залог прощения! (франц.)

прошедшее ко мне вернулось! Боже мой, как я страдала! Когда ты приезжал в Корчин, я не хотела тебя видеть... не раз, как безумная, я убегала на берег реки с мыслью, что лучше смерть, чем такая борьба и этот ужас...

— Юстына! Юстына! — с новым порывом бросился к ней Зыгмунт; но она повелительным жестом отстранила его и продолжала:

— Я не столько оплакивала потерю всего, что когда-то было для меня высшим счастьем, сколько опасалась... да, опасалась какой-нибудь злосчастной минуты... страшной минуты... когда я сама... которая толкнула бы меня окончательно в бездну падения. А позорить себя я не хотела. Да, Зыгмунт, хотя я была унижена, хотя и ты и другие люди сделали все, что могли, чтобы дать мне почувствовать мое ничтожество, — я сохранила свою гордость... да, я стала еще более гордой и боялась того, что мне казалось последним, глубочайшим унижением. Моя гордость — гордость женщины или человека, не знаю, — отталкивала меня от тебя, защищала меня, гнала меня из дома, когда ты приезжал... Надолго ли хватило бы ее? О, не знаю! Но я нашла еще более сильную помощь... В тот день, помнишь, когда ты разговаривал со мной... твоя жена — она, должно быть, что-то заметила в тебе — смотрела на меня и на тебя и глаза ее были полны слез. Чем провинилась передо мною эта женщина, чтобы плакать из-за меня? Я не хочу, чтобы кто-нибудь из-за меня страдал! И вот тогда-то я испугалась не только унижения, но и подлости. Нас разделили слезы, которые я увидела в глазах твоей жены. Между мною и тобой стала моя совесть!

Юстына отвернулась от Зыгмунта и, стыдясь этих признаний, стараясь скрыть свое смущение, говорила, глядя в открытое окно.

Ее смущение и то, что она вспомнила о страданиях, которых сама была причиной, придали Зыгмунту смелости. И, наклонясь к ее уху, тихо, нежно он прошептал:

— Можно ли было подумать, что ты, Юстына, моя прежняя, поэтичная Юстына, можешь придавать ка-

кое-нибудь значение мнению толпы или нелепым пред-
рассудкам?.. Слезы Клотильды? Но уверяю тебя, что
она со мной счастлива. А совесть понятие услов-
ное: для натур рабских, униженных — это одно,
для независимых, высоких — другое. Самое священное
право на земле — это право любви, высочайшая добро-
детель — брать и давать счастье...

Юстына хотела прервать его, но Зыгмунт, не теряя
надежды покорить ее, продолжал так же тихо:

— Я очень несчастлив... мне кажется, что во мне все
замерло. Мне не для чего жить. Я не могу работать. Ты
одна можешь возратить меня к жизни, счастьем, искус-
ству... У меня нет стимула к творчеству... Уйди из этого
дома, поселись в Осовцах... я там полновластный госпо-
дин. Моя мать сделает для меня все, а Клотильда — ре-
бенок, которого можно занять игрушками и ослепить
мелкою монетой нежности... Мы будем жить вместе...
Неразлучно... Не бойся, я никогда не оскорблю и не
унижу тебя ничем! Ты будешь только моею музой, моим
вдохновением, другом и сестрой моей одинокой души...
А что скажет грязный и придиричивый свет, — нас не
должно смущать. Живя в сфере идеалов, в сфере духа,
мы будем выше и чище света.

Он задыхался, его глаза горели, лоб был влажен.
Он заглянул в глаза Юстыны и уже протянул руки,
чтобы обнять ее, но она, вне себя от возмущения, бы-
стро отстранилась от него и, бледная как полотно, глухо
проговорила сквозь судорожно стиснутые зубы:

— Он, она и еще одна! Совсем как во французских
романах!

Ее негодование возрастало с каждой минутой.

— За кого ты меня принимаешь? О чем ты гово-
ришь? Или, может быть, ты сам этого не сознаешь? Как!
Оскорбить невинное существо, не причинившее нам ни
малейшего зла, оскорбить в том, что составляет все его
счастье, честь, даже, может быть, жизнь; каждый день,
каждую минуту лгать и обманывать, скрывая свой по-
зор, вечно ходить в маске, словно прокаженная... Боже
мой! И ты смел предложить мне такую жизнь?.. По ка-
кому праву? Что я тебе сделала? О, какое счастье, что
я больше уже не люблю тебя! Да, не люблю! Если б я

даже еще любила тебя, любила, как прежде, то перестала бы любить теперь... от гнева, от обиды и отвращения...

Она дрожала и мяла в руках лежавший на столе платок, грудь ее вздымалась, глаза сверкали, как два черных алмаза, и видно было, что в жилах ее течет не розовая водица, а горячая бурная кровь. Никогда еще она не казалась Зыгмунту такою прекрасной. Он смотрел на нее с восторгом, страстью и гневом.

— Я думал, что любовь все очищает и освящает... — начал он.

Но Юстына прервала его:

— Не произноси слово «любовь»... прошу тебя... это не любовь, это...

Она остановилась на минуту, краска смущения залила ее лицо, но она пересилила себя.

— Это просто пошлый французский роман, который мы так часто наблюдаем в жизни. О таком романе я знаю давно! Он был проклятием моего детства, он свел в могилу мою мать, обесчестил отца... Потом я познакомилась с ним ближе... Обыкновенно он начинается звездами, чтоб окончиться грязью. Музы, родные души, чистые чувства, недостижимые вершины идеалов!.. Боже! Сколько слов, сколько прекрасных, поэтических слов!.. Хотела бы я знать: вы, употребляющие их, лжете или обманываете ими самих себя? Но эта поэзия — только предисловие к величайшей прозе... Ты говорил, что любовь все очищает и освящает! Может быть! Но только не такая, что прячется от всех и стыдится самой себя. Ты сказал, что право любви самое святое из всех прав. О да! Но о какой любви думал ты, человек образованный, художник, говоря так? Не о той, конечно, которая с недавних пор загорелась в моей душе... Пойди на могилу отца, Зыгмунт, пойди на могилу отца... Полюби то, что любил твой отец...

Юстына вдруг остановилась; ей не хотелось быть откровенной до конца. Зыгмунт стоял перед нею, опустив голову и закусив губы.

— Философ, — прошептал он, — рассуждает, взвешивает все, разбирает...

— Нет, — ответила она, — о философии у меня

очень смутное понятие. А способностью рассуждать, взвешивать и разбирать я всецело обязана тебе.

Он с удивлением и недоумевая посмотрел на нее.

— Может ли быть, чтобы ты, Юстына, когда-то такая пылкая, поэтическая, стала вдруг такую холодной, рассудительной, осторожной? Нет, ты силой хочешь подавить свои чувства. Ты горда и хочешь разыграть сама перед собою роль героини.

Она пожала плечами и сухо ответила:

— Ты сказал, что у нас с тобой натуры возвышенные, независимые. Прошу тебя, измени это мнение обо мне. Уверяю тебя, что я самая обыкновенная женщина и подчиняюсь правилам простой нравственности. Вот и все.

— Все! И ты больше мне ничего не скажешь? Ничего? Ничего?

— О нет! — поспешно перебила Юстына. — Мне необходимо тебе сказать решительно и раз навсегда, что из всех чувств, которые я когда-то к тебе питала, во мне не осталось ничего, кроме доброжелательства, как и ко всем другим людям... Теперь все мои чувства заняты чем-то или кем-то... может быть, вместе и кем-то и чем-то, что не имеет к тебе никакого отношения...

— Вероятно, паном Ружицем и *les beaux restes*¹ его миллионов, — зло рассмеялся Зыгмунт.

— Может быть.

Растерянный, оскорбленный, разочарованный, он с минуту еще пристально смотрел на Юстыну, затем церемонно поклонился ей, взял со стула шляпу и вышел из комнаты.

Солнце уже закатилось, когда красивая коляска с грохотом подкатила к крытому подъезду осовецкого дома. Услышав стук колес, пани Корчинская вздрогнула и едва не уронила книгу, которую держала в руках. По своему обыкновению, она сидела в кресле у большого стола, заваленного книгами и журналами. Подняв голову и опустив глаза, она со спокойным выражением лица ожидала сына.

¹ Заманчивыми остатками (франц.).

В гостиной, в нижнем этаже дома, Клотильда играла на фортепиано. Когда коляска загремела у крыльца, музыка смолкла, потом снова послышалась и снова смолкла. Однако немного погодя Клотильда начала какую-то бравурную пьесу, но играла неровно: то вяло, то слишком громко. В ее искусной игре сказывалась талантливая ученица крупнейших музыкантов, но теперь, в ожидании разговора наверху, она дрожала от волнения, и, наконец, когда Зыгмунт входил к матери, она совсем умолкла, уже не владея собой. Чувствовалось, что это дитя, одиноко игравшее в большом пустынном доме, полно нестерпимой муки и тревоги.

Когда Зыгмунт вошел в комнату пани Корчинской, с первого же взгляда можно было догадаться, что всю дорогу от Корчина до Осовец его волновали бурные чувства и что под влиянием их он принял какое-то твердое решение. Зыгмунт поцеловал руку матери и, усевшись напротив нее, произнес:

— Винценты сказал мне, что вы хотели меня видеть, как только я вернусь. И я также, возвращаясь в этот прекрасный вечер из Корчина, решил переговорить с вами о важном, чрезвычайно важном для меня деле...

Она посмотрела на него, и в ее глазах мелькнуло беспокойство.

— Говори, я слушаю тебя. Может быть, мысли наши совпали и мы будем говорить об одном и том же.

— Не думаю. Я даже уверен, что вы никогда не думали о том, что я сейчас предложу вам, вернее — о чем хочу усиленно просить вас.

Он ласково, нежно улыбнулся матери и, наклонившись, снова поцеловал ее красивую белую руку, лежавшую на черном платье.

— *Parions...*¹ — шутливо начал он, — что вы будете очень удивлены моим предложением... испуганы даже... *oh, comme je te connais, ma petite chère maman!*² но, хорошенько обдумав дело, вы, может быть...

— Я слушаю тебя, — повторила она, и ее чудесные глаза, померкшие от слез и горя, с невыразимой лю-

¹ Пари... (франц.).

² О, как я тебя хорошо знаю, моя дорогая мамочка!.. (франц.)

бовью остановились на сыне, склоненном к ее коленям, — на сыне, который был ее надеждой, гордостью, который должен был осуществить все ее мечты.

Зыгмунт поднял голову, но не встал и доверчиво, не выпуская руки матери, с той же ласковой улыбкой начал так:

— Не правда ли, лучшая из матерей, что я провел у твоих ног и сердца детство и юность, подобно *la belle au bois dormant*¹. Она сладко дремала в хрустальном дворце, посреди заколдованного леса. Ее нога никогда не ступала по нему и оттуда долетало до нее только благоухание цветов и трели соловья? Не правда ли, *chère maman*, что вы тщательно оберегали меня от всего будничного и пошлого и развивали во мне тонкие чувства, внушали возвышенное, идеальное? Не правда ли?

— Правда, — ответила пани Корчинская.

— Правда ли и то, что вы предназначали меня для высокого поприща и дали мне такое воспитание, чтобы я никогда не вздумал и не мог смешаться с серою толпой, — ведь да?

— Да, — прошептала она.

С возрастающею нежностью, которую не могли победить глухие подозрения, она вслушивалась в его плавную речь и чувствовала ласковое пожатие его мягкой, холеной руки. Таким, каким он был сейчас, — нежным, трогательным, исполненным поэтических чувств, — Зыгмунт всегда очаровывал ее. Одну ли ее? И та женщина, с которой он только что расстался, что упивалась когда-то звуками его голоса, и другая, почти еще ребенок, отдавшая ему безраздельно всю свою невинную душу и теперь, в этом доме, изнывавшая в слезах и тревоге, и многие, многие другие знали всю силу его обаяния.

— Не правда ли, *mon adorée maman*², что потом вы сами послали меня в широкий мир. Там я провел среди чудес науки и искусства... столько лет, что совершенно отвык от здешней однообразной и бессмыслен-

¹ Спящая красавица (франц.).

² Моя обожаемая мамочка (франц.).

ной жизни. Впрочем, и прежде я не имел с ней ничего общего. Я жил в созданной вами обстановке, как заколдованная принцесса в своем хрустальном дворце. Не правда ли, лучшая и разумнейшая из всех матерей?

— Правда. Но к чему ты говоришь все это?

— Я хочу прежде всего, та сhère татап, сказать, как горячо, бесконечно благодарен вам за все, что вы сделали для меня.

Он коснулся губами ее колен.

— Потом... разве это мыслимо, чтобы после такого прошлого я остался навсегда привязанным к этому клочку земли, к этим конюшням, хлевам, амбарам... *que sais-je?*¹ А этот ужасный Ясмонт, ведь он изводит меня, толкуя каждый вечер о хозяйстве. И эти развязные, измученные жизнью соседи... Разве это возможно? Дорогая мама, неужели тот, кто знает, в каких условиях я вырос и жил раньше, знает мои запросы и мое честолюбие, может требовать этого от меня?

Зыгмунт широко развел руками, на лбу его прорезалась морщина. Он глубоко был убежден, что такое требование было бы абсолютно невозможным и несправедливым. Пани Корчинская молчала. До некоторой степени она оправдывала жалобы сына, так как ей самой многое казалось отвратительным и она не могла совладать с этим чувством.

— Я тебя вполне понимаю, — задумчиво сказала она. — Все, о чем ты говорил, тебе, конечно, труднее перенести, чем кому-либо другому. Но, дитя мое, никто не может прожить жизнь, не испытав горя, борьбы, страданий, трудных...

Зыгмунт быстро вскочил с места.

— Благодарю! Хватит с меня этих усилий, страданий и борьбы. Они унесли два года моей жизни. *J'ep ais assez!*²

— Но ты не исключение... Кто из нас счастлив?

Зыгмунт остановился перед матерью.

— Надеюсь, вы не желаете, чтобы я увеличил число несчастных?

¹ И как их там? (франц.)

² С меня довольно! (франц.)

— Нет на свете матери, которая желала бы несчастья своему ребенку, но если бы надо было выбрать между пошлым счастьем и возвышенным несчастьем, я выбрала бы для тебя последнее.

— Кто же говорит о пошлом счастье? — небрежно бросил Зыгмунт. — Неужели вы считаете общество избранных людей, жизнь среди красот природы, наслаждение искусством пошлым счастьем?

— Конечно, нет. Но раз ты родился здесь, твой долг обязывает тебя жить здесь...

— Почему обязывает? — перебил Зыгмунт. — Почему обязывает? Но мы, милая мама, незаметно пришли к тому, что составляет суть моего предложения... пош!..¹ моей горячей просьбы.

Он слегка замялся, потом снова сел напротив матери, наклонился к ее коленям, взял ее руку и снова стал говорить ласковым, нежным, мечтательным голосом.

Он просил ее продать Осовцы и вместе с ним уехать за границу. Они будут жить в Риме, Флоренции или Мюнхене и каждое лето уезжать в горы или к морю. Если к сумме, вырученной от продажи Осовцев, присоединить приданое Клотильды и то, что впоследствии достанется ей от отца, то они легко проживут на этот капитал, конечно, не роскошно, но вполне прилично. Наконец он не теряет надежды разбогатеть, когда при надлежащей обстановке в нем проснутся творческие силы. Они будут всегда вместе жить и путешествовать, испытывать утонченные наслаждения, исполнять все свои желания, — нужно только выбраться отсюда, из этого болота косности, застоя и тоски, избавиться от зрелища окружающих их кислых лиц.

Зыгмунт пришел в хорошее настроение и шутиливо прибавил:

— Не правда ли, мама, что кислые лица здесь преобладают? Все точно по ком-то или по чем-то плачут, не находят себе места, хлопочут, чего-то боятся... Отсюда и меланхолия, *qui me monte à la gorge*² и душит

¹ Нет (франц.).

² Которая подступает мне к горлу (франц.).

меня, как *globus histericus* бедную тетю Эмилию. Вы только один раз были за границей, да и то давно... еще с покойным отцом. Вы не знаете, что значит перемена обстановки; вы не представляете себе, сколько найдете там прекрасного, любопытного, что будет достойно вашего воспитания, вкуса, ваших возвышенных чувств.

Пани Корчинская молчала. С высоко поднятою головой и опущенными ресницами она сидела неподвижно, не вынимая из рук сына своей холодеющей руки.

— Я никогда не сделаю этого, — сказала она, наконец, тихо, но решительно.

Он вскочил на ноги.

— Почему? Почему?

Пани Корчинская подняла на него глубокие суровые глаза.

— Именно потому, о чем ты сейчас говорил... Чтобы твоя, как ты называешь, меланхолия осталась при тебе.

— Но ведь это глу... *ragdon*... крайний идеализм! Положительно, мама, вы ужасная идеалистка. Вы обрекаете себя на вечную тоску, хотя нет ничего легче, как избежать ее; вы прирастаете к одному месту, как гриб, только потому, что другие грибы должны расти на нем, — это беспощадный, крайний идеализм!

Она прямо взглянула ему в глаза и спросила:

— А ты, Зыгмунт... ты не идеалист?

Он — конечно! Он считает себя идеалистом и не допускает, чтобы кто-нибудь мог заподозрить его в материализме, в стремлениях к каким-либо материальным благам. Но это-то и делает для него невозможной здешнюю жизнь. Он жаждет идеального, высших впечатлений, а его окружает будничность и однообразие. Он идеалист, но не чувствует ни малейшей склонности к аскетизму и не может быть ни отшельником, ни дервишем. Человек цивилизованный, он должен жить в условиях, привитых ему цивилизацией, ему необходимы определенные развлечения и общество. Недостаток впечатлений мешает ему работать, его дни проходят бесцельно, бездеятельно, и от этой адской жизни можно с ума сойти, ошалеть.

Зыгмунт горячился. Давно накопившееся в нем недовольство и нетерпение, а сейчас решительный отпор со стороны матери, угрожающий провалом его спасительному плану, сильно подействовали не только на его способ изъясняться, но даже и на самую внешность. Теперь он уже не напоминал последнюю модную картинку.

— Тут всякий, будь то величайший идеалист или гениальнейший художник, обратится в разжиревшего вола!.. — выкрикивал он, бегая по комнате, засунув руки в карманы сюртука и сердито и с беспокойством оглядывая себя. — Тело мое тучнеет, а дух угасает. Я чувствую, как во мне постепенно умирают все мои душевные силы... Я глубоко несчастлив, я размениваюсь на мелочи, пошлею, и все, что есть во мне высокого, идеального, превращается в желчь и жир!

При последних лучах заходящего солнца пани Корчинская следила за взволнованно шагавшим сыном и, когда он прервал на минуту свои упреки и жалобы, произнесла каким-то странным голосом, который, казалось, с трудом вырывался из ее груди:

— Ты говоришь, что у тебя недостаточно впечатлений, что ты не можешь работать, терпишь лишения... Отчего ты не ищешь утешения в своей любви? Я испытала любовь и знаю ее силу. Ты должен быть хотя бы с этой стороны очень счастлив...

— Ну... не совсем, — буркнул Зыгмунт.

— Ты не любишь Клотильду? — спросила едва слышно пани Корчинская.

Зыгмунт немного смутился.

— О нет, нет... я очень привязан к ней, очень привязан... но этого мне мало... Она не доросла до моих духовных запросов. Ее вечные нежности и бессодержательная болтовня...

Пани Корчинская с живостью перебила его:

— Она — дитя, прелестное, одаренное и страстно любящее тебя дитя. Под лучами твоей любви и ума она может созреть, развиваться... Ты отвечаешь не только за ее счастье, но и за все ее будущее...

— Pardon! — воскликнул Зыгмунт. — К педагогике у меня нет склонности, и я никому не обещал учить

свою жену. *Ce n'est pas mon fait*¹. Или она подходит мне, или нет. *Voilà!*² А если в нашем союзе есть какие-нибудь недостатки, то жертвою их, конечно, являюсь я, а уж ни в коем случае не она.

Повернувшись к матери спиной, он встал у окна. Солнце уже скрылось, и только широкая розовая полоса еще горела между деревьями парка. Несколько минут царило молчание. Наконец пани Корчинская решилась его нарушить. В ее сдавленном голосе чувствовалась невыразимая тревога.

— Зыгмунт, поди ко мне... сюда... ближе...

Он подошел к ней.

— Во имя всего, что когда-то соединяло нас, во имя того, что ты любил когда-то, умоляю тебя, скажи мне правду, одну правду... Видишь ли, мне пришла в голову одна мысль; она повергла меня в страшную тревогу... Меня мучает совесть... Но все равно, я хочу знать правду, чтобы уяснить себе положение, исправить, что возможно, а чего нужно избежать — так избежать... Скажи, ты любишь еще Юстыну? И не это ли чувство заставило тебя так скоро охладеть к Клотильде? Если бы... тогда... вместо того чтобы отговаривать, я согласилась бы на твой брак с Юстиной, если бы она была твоею женой, чувствовал бы ты себя более счастливым, более мужественным, более способным к жизненной борьбе и исполнению своего долга?

Зыгмунт выслушал мать с немного горькою, немного презрительной улыбкой, пожал плечами и опять начал ходить по комнате.

— Весьма сомневаюсь. Вы знаете, я совершенно в ней разочаровался. Она — существо холодное, ограниченное, со всякими предрассудками, да еще притязающее на роль героини или философа... Притом только сегодня я заметил, какие у нее грубые руки... вообще она скорее похожа на красивую и здоровую деревенскую девушку, чем на женщину из общества... Даже Клотильда гораздо больше подходит мне... она изящней, прилично

¹ Это не мое призвание (*франц.*).

² Вот и все! (*франц.*)

воспитана, у нее есть музыкальные способности... даже весьма порядочные... Вся беда в том, что я удивительно быстро привыкаю ко всему, а привыкнув начинаю скучать... *Ça dépasse toute idée*¹, какая у меня жажда впечатлений... В этом смысле я совершенно ненасытен, поэтому меня так и угнетает здешнее однообразие жизни. Я гибну тут.

Он говорил еще что-то, но трудно было сказать, слушала ли его пани Корчинская, или нет. Из ответа сына она поняла, во-первых, что Юстына недавно его отвергла и, во-вторых, что он никогда искренне не любил ни одну из этих двух женщин. Да и мог ли он любить кого-нибудь или что-нибудь? Пани Корчинская уронила свою гордую голову на грудь, в которой крепла едва сдерживаемая буря, и подняла только тогда, когда Зыгмунт остановился перед ней и не то с мольбой, не то с упреком и ласковой настойчивостью спросил: неужели ее не тронут его страдания и он должен навеки отказаться от своего заветного желания? Неужели, подумав и обсудив все хладнокровно, она не согласится на то, чего он жаждет и что необходимо для поддержания его творческих сил? Для него оставаться здесь дольше — значит погибнуть навеки?

Тогда пани Корчинская опять подняла голову и с обычным высокомерием ответила:

— Никогда! Я никогда не отнесусь к этому хладнокровно. Пока я жива, никогда на этом клочке родной земли, в этих стенах... чужие... чужие боги...

Дольше она не могла сдерживаться.

— Великий боже! Но после моей смерти ты способен сделать это... да, ты сделаешь это, как только я закрою глаза... Как трус, ты убежишь из рядов побежденных, как эгоист, не захочешь разделить с ними горький хлеб страдания. Кусок ризы Христовой бросишь за сребренник, чтобы купить себе беспечальную жизнь. Боже мой! Быть может, я больна и вижу тебя таким в страшном, кошмарном сне... Зыгмунт! О, Зыгмунт! Скажи, что это неправда, что ты вовсе не думаешь так и не чувствуешь...

¹ Невозможно себе представить (франц.).

Спокойный и холодный, Зигмунт как будто не понимал волнения матери.

— Мама, успокойтесь, пожалуйста! Кто вам, дорогая моя, говорит только о беспечальной жизни? Речь идет о более важном, о моем таланте... вдохновении.

— Разве душа художника — бабочка, что порхает на своих слабых крылышках с цветка на цветок? — почти закричала пани Корчинская. — Разве здесь земля ничего не родит, разве здесь солнце не светит? Разве здесь царство смерти, что ты не можешь найти вокруг ни малейшего проблеска жизни и красоты... что ничто не может встряхнуть твою душу, вдохновить ее любовью или страданием, восторгом или гневом? А я мечтала... а я мечтала...

В ее голосе зазвучали с трудом сдерживаемые слезы.

— А я мечтала, что именно здесь, на лоне родной природы, среди людей, родных тебе по крови и духу, ты еще более разовьешь свой дар и твоё вдохновение заговорит еще громче. Я мечтала, что именно здесь тебе станет понятен язык малейшей былинки, будет дорого каждое человеческое лицо, каждый луч родного солнца, все переливы света и тени. Я мечтала, что соки вскормившей тебя земли, ее сладость и отравы легче проникнут в твою душу и одухотворят ее могучей силой.

Зигмунт стоял перед матерью точно пришибленный. В недоумении он разводил руками:

— Но ведь все это чуждо мне... Я, та chère maman, с этим светом, тенями, сладостями, отравками etc., etc., никогда не соприкасался, не сжился с ними, не привык... я привык к другому. Ведь невозможно цивилизованного человека обратить в дикаря ради... каких-то соков земли... с которыми он не имел ничего общего!

Медленно, обеими руками опираясь на стол (ноги откалывались служить ей), пани Корчинская встала и заплакала так, как плакала всегда, без всхлипываний, без судорожного подергивания лица. Крупные слезы катились из ее глаз и медленно текли по щекам.

— Моя вина, моя вина, тяжкая вина моя! Я совершила ошибку. Я недостаточно крепко связала тебя с

тем, что должно было быть предметом твоей самоотверженной любви. Правда, я всегда твердила тебе об этой любви, однако слова — это худые семена. Я ошиблась... Но, дитя мое...

Она молитвенно сложила руки на груди.

— Не карай меня за мой невольный грех!.. О да, невольный! Я думала, что поступаю разумно... Я держала тебя в хрустальном дворце, потом послала в чужие края, потому что, казалось мне, ты будешь звездой первой величины, а не тусклою свечкой, — вождем, а не рядовым. Да, я вижу, что ошиблась, но ты должен исправить мой грех. Вспомни историю жизни твоего отца; ты хорошо ее знаешь. Разве ты не можешь почерпнуть силу, мужество, величие духа из того же источника, из которого черпал он? Твой отец, Зыгмунт, кроме всего другого, любил народ, тот самый народ, среди которого живешь и ты, он умел жить с ним, понимать его, утешать, просвещать...

Вдруг она умолкла. В сумраке, который уже начал наполнять комнату, она услышала насмешливый и презрительный голос, который произнес только одно слово:

— Скот!

О, бог ей свидетель, что, несмотря на свой характер и воспитание, она никогда не думала так, никогда, даже в тайниках своей души, не осмеливалась оскорблять таким именем этих тружеников земли. Не умея сблизиться, слиться с ними, нести к ним свет, пани Корчинская искренне желала добра этим людям, сочувствовала их страданиям. О, только бог видел бурю, поднявшуюся в ее душе от одного этого короткого, но ужасного слова. Зыгмунт не заметил ни этой бури, ни страшной бледности, которою покрылось лицо матери, и, воспользовавшись тем, что она замолчала, продолжал:

— Я очень хорошо понимаю, что вас больше всего интересует. Да и как не понять? Соки земли, хлеб, страдания, народ... ризы Христовы... и то... того... как говорит дядя Бенедикт! Я никогда не хотел говорить об этом, чтобы не огорчать и не раздражать вас. Я вообще уважаю чужие чувства и убеждения, в особенности

бескорыстные, совершенно бескорыстные, как, например, ваши. Но теперь я вижу, что этот предмет требует подробного разъяснения. Мне очень грустно, *J'en suis désolé*¹, но я этих чувств и убеждений не разделяю. Только сумасшедшие и узколобые идеалисты из последних сил защищают абсолютно проигрышное дело. Я тоже идеалист, но умею трезво смотреть на вещи и с этой точки зрения никаких иллюзий не допускаю. А так как у меня нет никаких иллюзий, то я вовсе не хочу приносить себя в жертву на алтарь несуществующего божества. Простите, если я чем-нибудь оскорбил ваши чувства или представления; я понимаю, прекрасно понимаю, что люди старого поколения не всегда могут освободиться от традиций, личных воспоминаний, etc. Мы же, расплачивающиеся за чужие иллюзии, своих уже не имеем. Когда банк сорван, я иду играть к другому столу, и этим другим столом служит для нас общечеловеческая, европейская цивилизация. Сам я по крайней мере считаю себя сыном этой цивилизации, вскормленным ее соками; за долгие годы своего пребывания за границей я сроднился с ней... и нет ничего удивительного, что я не могу жить вне ее. Здешние соки только питают мое брэнное тело (так питают, что это приводит меня в ужас), но духовные потребности удовлетворить они не в состоянии.

Пани Корчинская слушала... слушала и, казалось, чувствовала, будто земля уходит из-под ее ног, потому что крепко ухватила обеими руками за край стола.

— Боже, боже! — Она отняла одну руку от стола, протянула ее к окну и сдавленным голосом прошептала: — Пойди на могилу отца, Зыгмунт, пойди на могилу отца. Может быть, там... может быть...

— Могила! — саркастически перебил Зыгмунт. — Опять могила! Сегодня это уже второй совет отправиться на могилу. Очень благодарен за эти могилы... передо мною жизнь, слава!..

— Без славы, без надгробного памятника, забытый всеми, там твой отец... погибший в расцвете жизни и счастья...

¹ Я в отчаянии (франц.).

— Мой отец! — вспыхнул Зыгмунт. — Простите меня, мама... но мой отец был безумцем...

— Зыгмунт! — крикнула пани Корчинская, и голос ее зазвучал как-то пронзительно и грозно. Но и в жилах Зыгмунта текла горячая кровь Корчинских. Непреклонность матери вывела его из себя.

— Да, безумцем! — повторил он. — Правда, весьма благородным, но в высшей степени вредным...

— Боже, боже!

— Да, мама. Простите меня, но я имею право сказать это. Я лишен возможности занять место, принадлежащее мне по праву, я ношу на себе, даже в более счастливых странах, клеймо позора, я потерял половину состояния только из-за того, что мой отец и подобные ему...

— Уйди, уйди отсюда! — собрав последние силы, крикнула пани Корчинская. — Уйди как можно скорей, — я боюсь, как бы не сказать... о!..

Она не договорила и с высоко поднятой головой, с бледным как полотно лицом, которое казалось еще бледнее в обрамлении траурного чепца, повелительным жестом указала ему на дверь.

— Уйду, уйду! Я вижу, что с вами о таких вещах разговаривать невозможно. Могила, проклятия, трагедии! Что тут только творится, что творится! И для чего? Зачем? Почему? Если рассказать об этом где-нибудь в другом месте, никто не поймет и не поверит!

Он вышел и тихо затворил за собой дверь.

Есть люди, которые умеют плакать только над могилами дорогих им людей, а что такое отчаяние, когда разбиты и попорчены все идеалы, не понимают. Но эта величественная женщина с бледным лицом, неподвижно стоявшая сейчас посреди темной комнаты, чувствовала, что на ее жизненном пути, в глубине ее души разверзлась новая могила, еще более страшная, чем та — другая. После той остались хотя бы воспоминания, а после этой — ничего. В ней она хоронила все свои чувства и надежды. Как в химической реторте испаряются вещества, так в ее душе исчезала вера в гений и благородство Зыгмунта. Пани Корчинской казалось, что она слышит запах разложения, что труп находится

в ней самой, что он тяжёлым ивановым давлением давил на неё и мораживает ее. Что это? Англия? Нет, нет, нет! Неужели она перестала любить, что?

Грудь стыла, как будто в ней угасал последний огонь, который поддерживал ее жизнь. Она чувствовала, что гаснет там, и обеими руками сжимала грудь, словно хотела удержать угасающий пламя. Она чувствовала, что с утратой веры и любви перед ней раскрывается бездна, рушатся все опоры ее существования, что острый, беспощадный нож подрезает самые корни ее жизни. Она чувствовала такую муку, как еще не испытывала еще никогда.

Вдруг в глаза ей ударил ослепительно яркая свет. Широкая розовая полоса между деревьями парка, оставленная на небе заходящим солнцем, стала теперь кроваво-красной. Подернутая фиолетовой дымкой, она местами клубилась, словно кровавая река, а над ней, подобно золотому ореолу, поднимался лучезарный туман. В этом явлении природы смотревшей на него женщине почудился некий символ, и какое-то смутное воспоминание поразило ее. С того места, где она стояла, был виден узкий краешек далекой лазури, точно проблеск вечной, но далекой надежды, — и больше ничего... ничего... только река крови, окутанная золотым туманом и сочащаяся, будто слезами, багряными каплями. Она смотрела долго-долго, потом закрыла лицо руками и, зашатавшись, словно под напором вихря, со стоном упала наземь. Руки и колени с глухим стуком ударились об пол. В комнате раздался прерывистый шепот — сначала явственный, потом все тише, точно он вырывался из груди умирающего:

— Ты видел? Он тебя оскорбил? Память твою, твою могилу... все, во что мы верили, к чему стремились, — все растоптал! Анджей! Слышишь ли ты? Простишь ли ты? Это моя вина, невольная моя вина!.. Смерти! О, смерти!

Но смерть не была бы жестокой, если бы являлась к тем, кто не хочет жить. Сильное тело пани Корчинской энергично сопротивлялось порывам бури, терзавшим ее душу.

Припав лицом к полу, она долго лежала перед ок-

ном, за которым пылало красное зарево, а когда, наконец, решилась приподнять голову, в глазах ее блеснуло выражение робкого восторга, точно она не доверяла самой себе. Ей снова привиделось то, чего она так ждала.

Она увидела Анджея. Она едва могла различить очертания его фигуры сквозь окутывавшую ее золотистую дымку, но черты лица, темные густые волосы и бледный лоб с кровавой раной резко выделялись на фоне кровавого облака. Она вглядывалась в это лицо с любовью, во сто крат большей, чем в тот далекий день, когда возлюбленный снял с ее чела фату невесты. Вокруг царила глубокая тишина, какая бывает только перед рассветом. Ни малейший шум не долетал до нее; она не чувствовала ни холодного пола, на котором лежала, ни расстояния, отделяющего ее от дорожного видения.

— Прощаешь ли ты мне? — шептали ее дрожащие губы.

А он, окруженный золотистым ореолом, покоился на багряном облаке, неподвижный, печальный, и смотрел вдаль на голубой краешек неба. Ей показалось только, что его прозрачная рука на минуту освободилась из-под аглистого покрыва и простерлась над ее головой.

— Без отца вырос, — шептала она, — без отца... без тебя!

Но фиолетовый туман поднимался выше и выше и все больше заслонял от нее бледное лицо, печальные глаза, устремленные на далекую ленту лазури, точно на свет идеала или непоколебимой, хоть и далекой надежды на будущее.

III

Был снова погожий праздничный день, но широко раскинувшаяся равнина, окруженная с одной стороны лесистыми холмами, а с другой — излучиной Немана, имела теперь совсем иной вид, нежели в знойные страдные дни уже минувшего лета. Время было еще радостное, бодрое, богатое плодами, но чувствовалось, что осень уже на пороге.

Блеск и шум бурно обновляющейся жизни сменились чарующей печалью медленно умирающей природы. На обглоданных скотиной межах лишь кое-где торчали сухие стебли цикория, искрились темным багрянием пышные султаны конского щавеля да в испуге припадали к затвердевшим краям борозд пушистые комочки каких-то сережек и побуревшая повиллика. Куда ни кинешь взгляд — мертвенная желтизна истоптанного жнивья смешивалась с темными полосами вспаханной земли и увядшей зеленью картофельных полей. На этом унылом, словно выцветшем пространстве кое-где розовели ржавые пятна спелой гречихи да в корчинских полях, зеленая как в мае, колыхалась целая роша конского укропа. Белые тропинки, прежде таинственно утопавшие в гуще хлебов, теперь, прихотливо извиваясь, пересекали темные пашни. Стаи ворон бродили по рыхлой земле, задумчиво опуская клювы в поисках корма. По краю жнивья, у лесных опушек, низко стлались сырые дымки: то пастухи жгли костры. Ивы, тополи и полевые груши были еще одеты густой листвой, но она уже побурела и съежилась. Время от времени, неизвестно откуда, срывался желтый лист и одиноко кружился в воздухе, а на кустах уже белели хлопья паутины. Вместо опьяняющего благоухания цветов, скошенной травы, свежего аромата соломы и древесной смолы теперь всюду стоял сильный, отдающий ржаным хлебом запах влажной земли, глубоко изрытой плугом. Вместо оглушительного щебета птиц и бесконечно разнообразного стрекотанья насекомых повсюду царил тишина, но не та тишина, которую несет с собой смерть, а великое безмолвие покоя. Только вверх еще раздавались пронзительные крики журавлей и курлыканье аистов, а внизу, чуть слышный, трепет замирающих крылышек запоздалых мотыльков, жужжанье пчел над полосами гречихи да неумолчный звон невидимой струны речной мошкеры над деревьями.

В будние дни здесь еще раздавалось то протяжное и унылое, то короткое и бодрое покрякивание пахарей. На одном краю поля быстро передвигались плуги, а на другом, тихо постукивая по вспаханной земле, уже волочились бороны и медленно и ровно шагали не сги-

Баясь сеятели, мерным взмахом руки обрызгивая свои полосы обильной росой семян. На поблекший ковер осенних полей, лишь кое-где расцвеченный розовой ржавчиной или майской зеленью, на потемневшие деревья, окутанные дымом пастушьих костров, на неутомимых сеятелей и пахарей, среди чистой, но уже побледневшей лазури бросало свои лучи бледнозолотое солнце. Казалось, оно так долго лило на поля и леса эти животворные лучи, что, обесцветив их пышный убор, само поблекло и теперь смотрело на еще прекрасную, но печально угасающую землю печальным, угасающим оком. Как и земля, которая еще улыбалась, но уже не вспыхивала радостью, оно еще грело, но уже не жгло и не раздувало на ней ярко пылающих костров, а ласково окутывало своим бледножелтым плащом. Между потухшей лазурью неба и выцветшим ковром земли уже веяло свежей прохладой, напоминавшей о близости бабьего лета. Неподвижный воздух был прозрачен и чист.

Изменился облик природы, изменился и вид поселка Богатыровичей. То не была уже, как раньше, сплошная, почти непроницаемая завеса растительности, сквозь которую границы усадеб и их постройки можно было разглядеть только вблизи, да и то отдельные их части. Теперь плетни целиком, а дома до половины, словно в ольноводной реке, утопали в диких чащах разросшегося вширь и ввысь бурьяна.

То была как бы книга природы со множеством плотно сшитых и непохожих одна на другую страниц. Рядом с огромными широколистыми, покрытыми нежным пухом, но жесткими на ощупь лопухами, с колосеницей и хреном покачивались красные и лиловые цветы колючего репейника; белоснежные короны тысячелистника смешивались с темным багрянцем конского шавеля, а продолговатые листья собачьих язычков высывались отовсюду, словно для того, чтобы острыми кончиками лизнуть одежду прохожих. Немного поодаль наглая живокость, усыпанная белыми шишечками, так раздалась вширь, что возле нее уже ничто не могло расти, и только полынь да мята упрямо разрослись во круг, распространяя сильный горький запах. Еще дальше, увенчанный ядовитыми макошками отцветший

паслен и дикая спирея обвилились вокруг голых ~~стволов~~ мальвы, образуя сплошную стену, у ~~подножия~~ ~~у~~ краснели кровавые листья увядшей лебеды, ~~желтые шелестухи~~ и стоял непроходимый ~~лес~~ ~~из~~ руты и крапивы. Но эти заросли ~~теперь~~ ~~уже~~ возле плетней, амбаров и конюшен, тогда как ~~на~~ ~~улице~~ уже поредело, стало светлее и просторнее.

Недавно прошедшие дожди ~~прибили~~ ~~на~~ прозрачном воздухе, за огородами, где ~~уже~~ ~~были~~ коноплю и фасоль, четко вырисовывались ~~стены~~ ~~дома~~ ~~и~~ ~~деревья~~. Оставшиеся на грядках ~~ниже~~ ~~овощи~~ ~~уже~~ ~~ничего~~ ~~собой~~ ~~не~~ ~~заслоняли~~, а на ~~дворах~~ ~~и~~ ~~улицах~~, от плетня до плетня и от дома до дома, ~~стала~~ ~~у~~ ~~самой~~ ~~земли~~ ~~истоптанная~~ ~~трава~~.

Вишневые и сливовые сады внизу уже ~~просвечивали~~ ~~насквозь~~, на липах, грушах, яворах и тополях ~~пожелтели~~ ~~или~~ ~~порозовели~~ ~~листья~~, а верхушки их стояли прозрачные, словно кружева. ~~Везде~~ ~~и~~ ~~цветы~~ ~~под~~ ~~окнами~~ ~~и~~ ~~у~~ ~~крылечек~~, и только ~~везде~~ ~~можно~~ ~~было~~ ~~еще~~ ~~встретить~~ ~~чахлые~~ ~~флоксы~~ ~~или~~ ~~маленькие~~ ~~астры~~. Сквозь кружевные ветви деревьев и ~~листья~~ ~~в~~ садах пустоты виден был, разложенный на траве, бурый лен, белели на солнце холсты, а местами ~~пожелтели~~ ~~словно~~ ~~лоскутки~~ ~~дорогой~~ ~~парчи~~, прежде ~~незримые~~ ~~голубые~~ ~~воды~~ ~~Немана~~.

С самого утра, часа за три до полудня, поселок ~~наполнился~~ ~~необычным~~ ~~шумом~~. Долго тарахтели, не переставая, колеса, фыркали лошади, раздавались приветственные возгласы. Со всех дорог, пересекающих равнину, к усадьбе Фабриана съезжались брички, верхом и пешком прибывали обитатели поселка Богатыровичей. Наконец бричек двадцать — желтых и зеленых, запряженных в одну или парой лошадей. — запрудили двор Фабриана и дворы его ближайших соседей: не менее пятнадцати оседланных лошадей стояли привязанными у плетней; человек сто разного возраста и пола пестрой колышущейся волной залило сад и зеленую уличку, отделявшую огород от сливовой рощи, и даже хлынуло на дорогу, тянувшуюся белой лентой вдоль сжатого поля.

На несколько миль вокруг все знали, что это были

гости, созданные Фабианом на свадьбу дочери. Нрав у отца Эльжуси был горячий и заносчивый, но вместе с тем Фабиан славился на весь уезд своим честолюбием и красноречием, а также хлебосольством и умением повеселить гостей. Поэтому все шли к нему охотно — одни из уважения, другие из любопытства, а больше всего — в надежде поплясать и поухаживать. Правда, жил Фабиан убого, но при всей своей бедности поддерживал добрые отношения со знакомыми и бесчисленной родней и, хоть бы завтра ему пришлось умереть с голоду, не ударил бы в грязь лицом и по такому случаю не преминул бы показать, что он сам себе господин. Как и следовало ожидать, на свадьбу дочери Богатыровича и сына Ясмонта собралось больше всего Богатыровичей и Ясмонтов. Однако, когда знакомые, встречаясь, приветствовали друг друга, раздавалось немало и других фамилий. Людские голоса, прошумев над травами, уносились к спокойным, прозрачным водам Немана и отдавались эхом на другом берегу, где-то в чаще дремучего бора.

Целой гурьбой — и старики и молодые — нагрянули сюда Заневские из своих тихих хлебородных Заневичей. Вслед за ними из занеманских Обуховцев прикатили Обуховичи, люди зажиточные и трудолюбивые, но пользовавшиеся дурной славой как охотники до выпивки, забияки и буяны. Приехали из-за Немана из поселка Толлочки Осиповичи, выделявшиеся благообразными, точно высеченными из камня лицами и волосами, черными, как вороново крыло. Из-за Немана же явились маленькие, проворные Лозовицкие из Сорочиц, с горделиво закрученными кверху усами; эти славились семейным согласием, и действительно, живя по четыре, а то и по пяти семей в хате, никакими сварами и бога не гневили и людей не смущали. Белели в толпе высокие лбы Станевских из Станевичей, напоминая преждевременной лысиной бритые головы своих предков. Были тут и обедневшие Мацеевские из песчаных Глиндичей и степенные Стжалковские из ближних Самостжельников. Сват Стажинский привез из Стажин всех троих сыновей и только двух дочек, но эти две ростом и ярким румянцем стоили четырех. Словно три льва, явились

Домунтичи из Семаншек, двоюродные братья Янны. Могучими плечами и пышными гривами жемчужно-голубыми, как столько же превосходили всех присутствующих мужчин, насколько среди женщин выделялись тусклыми, как маленьким ростом приехавшие в свадебный поезд из ев две панны Семаншко. Бледные и робкие девушки растерянно цеплялись друг за друга, выходя из сада по прозрачному саду, мелькая ослепительными белыми платьицами в голубую и белую полоску. Была там и мать со взрослыми своими детьми и старый Угроз, сын владельца приобретения собственного фольварка вышедший из шляхетского поселка. Пожаловал на свадьбу и старецкий управляющий с изысканным именем Адам Ясмонт; рассказывая всякие чудеса про своего жемчужного пана, он хохотал, как целая рота солдат. Был здесь и тщедушный, седой как лунь фельдшер с тонким профилем и лукавой улыбкой, который носил в своей шапке почетное звание доктора. Прибыл сюда и малый арендатор Юзеф Гецолд, худой, со впалыми щеками и запыленным видом; он сопровождал свою разряженную в шестистяное платье с длинным шлейфом и шляпу с торчащими во все стороны цветами супругу, которая, выскочившая из брички, показала чуть не до колена толстые нитяной чулок. Она сразу закурила папиросу, не вынимая ее из рта, прищурила глаза и, в сознании своего превосходства и никого не удостоив взглядом, проследовала из сада в дом.

Впрочем, не только она, но и все собравшиеся на свадьбу, видимо, тщательно позаботились о том, чтобы одежда их приличествовала случаю, однако никакие требования моды или деспотические обычаи не стесняли их. Кое у кого из девушек были на платьях оборки — несомненная претензия на шик, но у большинства весь наряд состоял из скромной юбочки и лифа, украшенного цветным пояском, осеннего цветка в гладко убранных волосах да колечка из поддельного золота или брошки с блестящим стеклышком, купленных у случайно зашедшего корбейника.

Мужчины, пожалуй, представляли более яркое зрелище, нежели женщины. Черные тужурки сменялись с белыми полотняными сюртуками; рядом с серыми де-

мотканными куртками виднелись ослепляющие взор канифасовые костюмы канареечного цвета; среди темных длинных кафтанов, которые носили старики, зеленел, будто ровно подстриженный куст, травянистый сюртук Стажинского. Всеми цветами радуги переливали причудливо повязанные шейные платки и галстуки. Только перед белоснежной рубашки и высокие, по колено, сапоги с заправленными внутрь брюками вносили некоторое однообразие в пеструю толпу этих рослых загорелых людей, которые одинаково смело и гордо держали голову.

Это был простой деревенский народ, но народ, никогда не испытывавший страшного гнета подневольного труда и никогда не падавший ниц, чтобы подвергнуться смертельно оскорбительному наказанию кнутом. Это был народ, для которого в далеком прошлом сияло солнце человеческих прав и человеческого достоинства; оно и поныне еще бросало на их души и жизненный путь бледные, не совсем еще угасшие лучи. Это был народ, который безудержно, страстно, не останавливаясь перед жестокими раздорами, а порой и перед преступлением, рвался к земле. Он рылся в ней подобно кроту, тихо и незаметно, но был связан с ней кровными узами, и каждое биение ее жизни, все ее судьбы ощущал в собственных жилах и в собственной судьбе. Это был народ, покрытый загаром, омытый обильным потом, с огрубевшей кожей лица и рук, но зато были у этих людей прямая, ни перед кем не гнушаяся спина, сильные руки и, несмотря на узкий кругозор, проницательный и смелый взгляд.

Соберутся они вместе — и кажется, что поднялась из земли дубовая роща. Заговорят более страстно и с большим пылом — и кажется, что вы слышите эхо речей, что звучали в ту пору, когда Рей¹ из Нагловиц за кружкой пива и бараньим жарким вел беседы в Чернолесье². Засмеются они — и из-за румяных губ

¹ Рей Миколай (ок. 1507—1569) — выдающийся польский писатель, один из зачинателей польской литературы.

² В Чернолесье жил знаменитый польский поэт Ян Кохановский (1530—1584).

засверкают белые как снег зубы. Снимет кто из них шапку — и откроется взору чистый лоб, белая кожа, и грива рыжих, золотистых, черных или рыжих волос, всегда густых, как лес, и причудливо, но гордо стелющихся назад. Однако так выглядели только молодые, у тех же, кто постарше, даже еще и не совсем старых, поступь была медлительная, речь спокойная, пусть зачастую и многословная, лица, изборожденные морщинами и редко озаряющиеся улыбкой. Видно было, что жизнь, которую они вели, очень скоро их усмирала, делала равнодушными, сгоняла с лица румянец и вытесняла на плечи невидимое бремя. Толстое брюхо владельца фольварка Корозы и багровая физиономия Стажизского были здесь исключением. Зато поражал худобой долговязый Валенты Богатырович — отец семерых детей и владелец десяти моргов земли, на лице которого с уныло повисшими черными усами застыло выражение терпения и усталости; другой Богатырович, издавна прозванный за усердие в молитвах Апостолом, закрывал большими темными очками воспаленные, полустарческие глаза.

Пожилые женщины и старухи, так же как и их ровесники-мужчины, большей частью были худощавы, а многие — малорослы и очень тщедушного сложения: такие же изможденные были у них лица и такая же медлительная, хотя порой и запальчивая, речь. Только одна черта отличала их от мужчин: церемонность в обращении с людьми и жеманство. Придерживая юбки огрубелыми руками, казавшимися под белоснежной оторочкой рукавов чуть ли не оранжевыми, они учтиво приседали перед знакомыми при встрече на тропинках или в дверях, уступали друг другу дорогу и вели глубокомысленные или скромные разговоры. Одеты они были в просторные кофты и старомодные мантильи с широкими воротниками, а волосы прятали под пышными плетеными чепцами, либо косынками и простыми платками.

Среди этого собрания уже задолго до полудня стало чувствоваться нетерпеливое и даже несколько беспокойное ожидание. Жених с невестой и поезжане, то есть два свата, две сватья и шесть пар друзей, совсем

не показывались гостям. В дом входили только очень немногие, и почти все прогуливались по саду и по дороге или сидели на заботливо расставленных хозяевами длинных скамьях, либо на груде досок, сваленных у амбара, на камнях и на низких плетнях. Все знали, что невеста уже одета к венцу и что давно пора отправляться в костел, но не хватало одного из главных поезжан, а именно первого дружки. Во всех уголках — среди сидевших, стоявших и прогуливавшихся по саду — только и было разговоров, что об опоздании столь важного гостя.

И немудрено, что он опаздывал!.. Шутка ли, такой человек! Богат, хорош собой и к тому же голова! Надо же ему было себя показать и не позволить, чтоб его за первого встречного считали. Мужчины толковали о том, что Казимеж Ясмонт при самом худом урожае коп¹ сто ржи и не менее тридцати пшеницы собирает со своих полей, что крупного рогатого скота у него, пожалуй, голов двадцать будет и что он разводит отличных лошадей, а затем продает их с барышом. Вот он и дом себе недавно выстроил и всем заявляет вслух, что задумал жениться, потому что ему наскучила холостая жизнь. Лет ему не много и не мало: тридцать два, он и высматривает себе невесту с приданым. А как же! Да он, быть может, и на свадьбу-то эту вовсе не поехал бы, кабы не захотелось ему поглядеть в глаза Домунтувне. «Наследница!» Деньги к деньгам! Только, видно, бабушка еще надвое сказала. Говорят, будто Домунтувна уже с кем-то обручилась. Слух такой ходит, да, может, и враки.

Между тем старухи рассказывали друг другу, какой страшный богач этот Казимеж Ясмонт. Работать-то он работает, потому что, как говорится, покуда цеп в руках, до тех пор и хлеб в зубах; сам и за плугом и с косой ходит, но двоих батраков держит и золотые часы купил. А наемдни Михал Заневский пришел к нему в воскресенье по делу, так он в халате сидит. Так и сидит в халате, трубочку покуривает да чаек попивает, пан паном. Вот как! И отчего это другим такое счастье не

¹ *Коп*а — шестьдесят штук (здесь — снопов).

выпадает на долю? Видно, так уж господу было угодно, чтоб у одних было густо, и у других пусто, чтоб одни в будни пировали, а другие в праздники голодали.

Девушки, сбившись тесной кучкой, их также рассматривали в ожидании интересного кавалера. Одна утверждала, что Ядвига, наверное, оставит паня Ясмонга с носом, потому что давно себе выбрала Яна Богатыровича и, хоть убей, выйдет за него замуж. Другая, напротив, была уверена, что пан Ясмонт отбросит Ядвигу у Яна, потому что он куда — раза в четыре — богаче. Однако все рассыпались в похвалах дожидаемому кавалеру, восхищаясь тем, как он отлично танцует и умеет говорить стихами. Бледненькие, хрупкие панны Семашко, попрежнему держась за руки, проскользнули в кружок рослых, широкоплечих паненов Богатырович, Ясмонт, Заневских и Стажневских. Они здесь были чужими, почти никого не знали и с любопытством, но робко и чуть слышно принялись расспрашивать, будет ли первый дружка говорить приветствие. Ведь такой богач, как он, наверное, и гордец и, пожалуй, не захочет сказать речь. Одна из Стажневских и обе Заневские в один голос отвечали, что это будет зависеть от того, понравится ли ему первая дружка. Конечно, если не понравится, может заупрямиться и тогда ничего не скажет. Но уж если согласится — заслушаешься: говорит плавно, будто ручеек журчит, да к тому же может и стишок ввернуть. Стройной, как тополя, черноволосой Осиповичевне не известно было, кто первая дружка Эльжуси. Зато все панны Богатырович отлично знали, что это Юстына Ожельская из Корвина, родня пану Корчинскому, и, говоря об этом, перешептавались с многозначительной улыбкой, которую все замечали.

Вдруг по зеленой улочке, ведущей от ворот к дому, громыхая и фыркающая, стремительно проносится и останавливается у крыльца что-то ослепительно великолепное. Прибыл первый дружка. Он приехал в бричке, в одну упряжку, но какая бричка и какой конек! Гости сразу зашептались, что конь доморощенный и что кожа его добрых триста рублей. Бричка сверкала новенькими шинами и самой яркой майской зеленью, а конь, кор-

ной жеребец, выгибал лебединую шею и лоснился, как атлас. Чувствуя, что запаздывает, Казимеж Ясмонт мчался чуть не галопом. Одной рукой, на которой была белая перчатка, он сжимал ременные вожжи, а другой, здороваясь со знакомыми, поминутно снимал синий картузик; тогда, кроме шин и атласистой шерсти коня, на солнце золотились кудрявые волосы, откинутые назад с широкого лба. Он отдал поводья одному из сыновей Фабиана, а сам бросился в дом, но, пробыв там лишь несколько минут, снова выбежал на крыльцо и громко крикнул:

— Музыка!

По этой команде из толпы вынырнули три брата Заневские, известные по всей округе своим рвением к музыкальному искусству. Они играли на свадьбах у соседей только ради собственного удовольствия и совершенно бескорыстного желания оказать друзьям эту приятную услугу. У стены уже часа два стояли две скрипки и виолончель. Любители-музыканты схватили их и побежали в дом. Вслед за ними потянулись и остальные, но одни вошли внутрь, а другие толпой обступили открытые двери и окна.

Горница Фабиана была так же просторна, как и у Анзельма, только пол давно не перестилался и не так гладко были оштукатурены стены. Обычной мебели сегодня не было и следа; но всякий мог догадаться, что кровати с пышно взбитыми постелями, комоды и сундуки куда-то вынесли, чтобы устроить столовую. Теперь вдоль стен выстроились три длинных стола, наскоро сколоченных из досок и накрытых белым полотном. Уставленные на них жаркое, сыры и пироги были основательно початы, а скамьи и табуреты в беспорядке сдвинуты. Между столами, в тесном уголке, стояли родители невесты и жениха, две сватьи и два свата. Эльжуса в белом кисейном платье и в спадавшей до пола тюлевой фате стояла рядом с женихом, которому повязали шею белым галстуком, до того высоким и жестким, что повернуть в нем голову не было никакой возможности. Дальше, спиной к дверям, стояло шесть пар друзей: Казимеж Ясмонт с Юстыной, Витольд Корчинский с Антолькой Ясмонт, Ян Богатырович с Марылькой За-

невской, Адам Заневский со Стефкой Обухович, Владыслав Осипович с Цецилкой Станевской и Михал Богатырович с Альбертой Стажинской. У стены возле дверей пристроились музыканты. В открытые окна лилось осеннее солнце, бросая бледные лучи на расставленные на столах блюда, на рыжеватую сияющую торжеством физиономию Фабиана и белоснежный, туго накрахмаленный чепец его жены. Солнечные зайчики играли на желтом лице и завитых волосах супруги арендатора Гецолда и, скользнув по вздернутому, покрасневшему от слез носику невесты, упали на черные и белые сюртуки дружек и на белые, розовые и голубые платья подруг невесты. В сенях за открытыми дверями выросла стена таких же сюртуков и платьев. Все замерли. В наступившей тишине слышно было только слившееся в единый звук тяжелое от жары дыхание присутствующих, словно шум гигантских мехов.

Вдруг пани Гецолд, которая была сватьей у Эльжуси и с гордостью арендаторши смотрела на всех с высоты своей длинной, тощей фигуры, бросила наземь недокуренную папиросу и затоптала ее огромной ногой, обутой в прионелевый ботинок. Этот внезапный жест, прервавший занятие, столь же излюбленное ею, сколь неподобающее в эту торжественную минуту, был вызван движением, сделанным первым дружкой. Никто из присутствующих не признался бы в этом вслух, но все с тревогой ожидали, будет или не будет он говорить приветствие. Уже не раз случалось, что когда первая дружка ему не нравилась, он капризничал и отказывался произносить речь. Несколько минут назад Фабиан кивком головы представил его Юстыне, с которой Ясмонт раньше не был знаком. Многие заметили, что Казимеж пристально взглянул на нее, с низким поклоном взял ее протянутую руку и поцеловал самые кончики пальцев. Никто никогда не видывал, чтобы Ясмонт кому-нибудь кланялся так низко. Затем, обернувшись к стоявшим рядом, он щелкнул пальцами и очень тихо прошептал:

— Шикарная панна! Посмотришь на нее, будто меду лизнешь!

Ян так и вспыхнул и, как всегда в минуты волнения,

поднял глаза вверх, а другие гости в знак согласия тихонько прищмыкнули и одобрительно закивали головами. Только Владыслав Осипович, тряхнув разлетающимися, черными, как вороново крыло, волосами, шепнул синеокой Цецилке, по которой давно уже вздыхал:

— Ничего особенного я в этой панне не замечаю!

Значит, дружка понравилась! Казимеж Ясмонт сделал движение, заставившее расступиться сдавивших его дружек, и встал против жениха с невестой. Он взглянул на поднос, заваленный ветками мирта, провел рукой, затянутой в белую перчатку, по золотистым волосам и заговорил звучным голосом, так что было слышно далеко в саду:

— Этот венок не из жемчугов или алмазов, а из зеленого мирта, — символ девической чистоты, люб всякому, кто смотрит на него, а тебе, невеста, в этот торжественный день должен служить славным украшением...

Говоря это, он указал на поднос с миртовыми ветками. Затем взял с него венчик и, осторожно держа его в протянутой к молодым руке, продолжал все громче:

— А теперь, достойная чета, послушай же несколько слов, в которые я заключил свои мысли. Ты знаешь, невеста, что уже настал последний час, когда ты можешь надеть этот венец, радующий сейчас твой взор, ибо с нынешнего дня он исчезнет и никогда уже больше не украсит твое чело.

Тут Эльжуса всхлипнула и стала с трудом вытаскивать из кармана подвенечного платья носовой платок. Но дружка, уставясь на нее, невозмутимо продолжал:

— О, сколь прекрасен твой лавровый венок — девичество! Как о нем не пожалеть? Как не лить о нем горьких слез? И каково должно быть сердце девы, которая не плакала бы в столь торжественный час? Но, говорю вам, нет ничего на свете, что было бы более естественно для человека, чем брак, который господь, сотворивший небо, землю и золотые звезды, установил для счастья людей. И нет потому причины плакать и печалиться. Пусть больше не будут лелеять тебя, невеста, ни мать, ни отец, зато приобретаешь ты друга, верного до гробовой доски и на веки веков. А ты, же-

них, да помнишь: как веселит бога яркое солнце, так веселит мужа добрая жена. И потому в этот радостный день вашего бракосочетания, глубокоуважаемые молодые, я, как ваш первый и старший дружка, приношу вам от всех собравшихся здесь родных, друзей и знакомых самые лучшие пожелания...

Тут он слегка понизил голос, но, несмотря на давку и жару, не слышно было даже громкого дыхания, с таким напряжением все ожидали дальнейших слов дружки, которые прозвучали теперь еще явственнее и торжественнее:

— Так пусть же сплетаются дни вашей жизни, как в этом венке светлые цветы переплелись с темными; все они испытывают одинаковое наслаждение, ибо все обнимают друг друга. И тревоги, сменяющиеся радостями, и радости, сменяющиеся тревогами, вы будете переносить в спокойствии душевном, черпая утешение во взаимной любви. Так возрадуемся же тому, что нынче эта пара, сочетаясь браком, принесет друг другу обет верности до гроба. Но вот уже гремит музыка!..

Действительно, в эту минуту две скрипки и виолончель грянули нечто, напоминающее не то бурный марш, не то огневую мазурку. Заглушая громкую музыку, первый дружка поднял обеими руками поднос с миртовыми ветками и сказал в заключение:

— Пора ехать в костел, но прежде чем принять святое таинство, падите к ногам ваших родителей, чтобы получить от них благословение. Прошу вас, панна дружка, с ясным челом и веселым взглядом возьмите эти мирты и раздайте их ласковой рукой всем дружкам на память о дне этой свадьбы!..

Он низко поклонился и подал Юстине поднос с миртовыми ветками, она же, по обычаю, положила на него тонкий белый платок с его вензелем, который собственноручно вышила ради этого случая. Его толстая, розовая, веснушчатая физиономия с широким лбом и пышными усами так и вспыхнула от удовольствия и гордости.

— Получи я золотой или бриллиантовый подарок, не радовался бы я ему так, как этой памятке, вышитой вашими ручками, — сказал он с низким поклоном.

Но в эту минуту кто-то схватил его в объятия. То был Битольд, второй дружка, который вдруг горячо расцеловал его в обе щеки.

— Простите, — говорил он, — вы, может, будете сердиться, что при таком недавнем знакомстве и так смело... но вы произнесли прекрасную речь... Вы сами ее сочинили, или?..

— Частично, частично!.. — отвечал Ясмонт, пожимая руку своему новому другу с такой силой, что белая перчатка сразу лопнула.

Вдруг музыка смолкла, и в горнице раздался изменившийся до неузнаваемости голос Фабиана. Эльжуса с плачем повалилась ему в ноги, а жених со стуком упал на колени. Однако из-за широкого и жесткого галстука он не мог нагнуть голову, и это придавало ему вид коленопреклоненной палки. А Фабиан, хотя обычай отнюдь не обязывал его произносить речи, заговорил сдавленным от волнения или нарочито измененным, неожиданно тонким голосом:

— Деда и прадеда наши справляли свои свадьбы на том же самом месте, где ныне, дочь моя, и я справляю твою. Памятуя о них, не будь и ты сварлива, суесловна и расточительна, а также упаси тебя бог сидеть сложа руки, предаваясь праздности и всяческой скверне. Избрав себе друга до гроба, будь согласной и покорной ему помощницей во всех делах его.

В этом месте его речи Эльжуса, утиравшая слезы, дернула жениха за полу сюртука и гневно шепнула:

— Да нагнитесь же! Видано ли это, чтобы при отцовском благословении торчать, задрав нос кверху?

Словно по команде, Франусь вдруг энергично смял подбородком сжимавший его обруч и смиренно опустил голову. В эту минуту Фабиан обратил речь к нему:

— А тебя, зять мой, я своим отцовским словом и сердцем предостерегаю, дабы супругу, которую я тебе вручаю, ты почитал и во всем ей был помощником и заступником, согласным, не дерзким и не брюзгливым, но...

Тут, несмотря на заплаканные глаза, жесткие усы его зашевелились, словно в улыбке:

— Но вместе с тем чересчур жене своей поводишь не отпускаяй. И помни, что дурной хозяин, не доглядев,

расточит попусту и самое богатое наследие, а зоркий и рачительный — ничтожный гвоздик употребит на благо и приумножит свое богатство. Теперь, дети мои, произнеся свое последнее отцовское слово, идущее из глубины моего сердца, молю всемогущего бога, да ниспошлет он вам свое благословение и да не оставит вас ми... ми... милостями своими.

И он так разрыдался, что последних его слов никто уже не мог разобрать, и тогда, в свою очередь благословляя молодых, стали плакать и родители жениха; расплакалась и сватья Стажинская, а сватья Гецолд, презиравшая чувствительность простонародья, чтобы не пролились слезы, часто заморгала глазами. Невеста, а за ней и жених уже не всхлипывали, а прямо голосили. Вдруг за окном, в мозаике множества заглядывавших снаружи лиц, показалось желтое худое лицо в огромных темных очках, и Апостол Богатырович, протирая руки, воскликнул:

— Обетовано царствие небесное человеку, который сына своего или дочь свою сочетает браком!

Слова эти были каплей, переполнившей чашу умиления. Теперь уже почти все заплакали, а затем начали целоваться. Плача, обнимали и целовали друг друга родители жениха и родители невесты, сваты и сватьи, дружки и подруги невесты. В течение нескольких минут в горнице, за окнами и за дверями только и слышны были рыдания и звуки поцелуев. Они перемежались бессвязными обрывками поздравлений, благодарностей, благословений и пожеланий. Дружки, одновременно плача и смеясь, целуясь и поздравляя друг друга, вертелись среди гостей, прикалывая к платьям девушек веточки мирта.

Первым в этом всеобщем замешательстве опомнился Казимеж Ясмонт и принялся наводить порядок. Окинув взглядом взволнованный от переполнивших его чувств людской муравейник, он передернул широкими плечами, шелкнул пальцами, открыл и снова закрыл рот. Наконец, потеряв терпение, он тряхнул густыми волосами и, выпрямившись, как натянутая струна, крикнул зычным голосом:

— Поехали!

Потом, словно кит воду, разрезая грудью и боками толпу, он выбрался из сеней и, перекрикивая своим громким голосом ее пчелиное жужжание, продолжал призывать:

— Едем, господа! Едем! Едем!

Больше половины гостей бросилось к запряженным бричкам и оседланным лошадям, но дружка, раскинув руки, встал перед хлынувшей волной и, сдерживая собственным телом ее стремительный напор, оглушительно заорал:

— Тише, господа! Ти-ше! По очереди! По очереди!

Долго еще в этом скопище голов, лиц, сюртуков и платьев, вокруг бричек и лошадей, мелькал то тут, то там синий картузик, прикрывавший только макушку его кудрявой головы, и слышно было, как он распоряжался и командовал повелительным голосом:

— Прошу садиться! Да садитесь же, господа! Невеста со своей сватьей! Жених со своим сватом! Вторая сватья со своим сватом! Первая панна дружка! Где первая панна дружка? Прошу за мной! Покорнейше прошу! Вторая панна дружка со вторым паном дружкой!.. Музыка! Эй! Слышите вы там, музыканты! Заневские, эй! Садитесь в эту бричку... в ту, за дружками!..

И так далее, и так далее — добрую четверть часа. Но вот, наконец, все сразу ринулось вперед, загремело, загрохотало, грянула музыка, раздались крики, смех, фыркание лошадей, и из густой тучи пыли, взвившейся над усадьбой Фабиана, вынырнул свадебный поезд. Бесконечная вереница покатила по гладкому выцветшему ковру, устилавшему широкое поле, всколыхнув прозрачный, как хрусталь, воздух, пронизанный лучами бледнозолотого солнца.

Однако в усадьбе Фабиана и после этого не наступила тишина. Немалая часть гостей осталась здесь и отдавала должное яствам, расставленным на столах, за которыми до поздней ночи пирующие то и дело сменялись. Из-за тесноты, к бульонам, к жаркому, колбасам, блинчикам и макаронам, сдобренным в меру выпитым медом и пивом, приступали партиями по несколько десятков человек. В то время как одни закусывали в горнице, другие, успевшие уже подкрепиться или ожи-

давшие своей очереди, прогуливались по саду и по дороге, развлекаясь разговорами и ухаживая за приглянувшимися девушками.

Фабиан неотлучно находился в горнице, потчует и забавляя гостей с таким усердием, что весь обливался потом и поминутно утирал платком лысину, лоб и затылок. Однако, несмотря на радушие и обычную его говорливость, всякий мог догадаться, что втайне его удручает какая-то неотступная мучительная забота. Реже, чем обычно, он сыпал шуточками и поговорками, не раз обрывал свою цветистую речь на полуслове и, задумавшись, хмурил лоб и топорщил жесткие усы.

Такая же забота, несмотря на искреннее удовольствие, с которым они предавались отдыху и веселью, видна была и на лицах других Богатыровичей, особенно стариков и отцов семейств. Не могли разогнать ее и прилежно осушаемые чарки меда и пива. То те, то другие — кто потихоньку, кто громко и с надрывом — рассказывали знакомым, приехавшим из других поселков, о тяжбе, проигранной Корчинскому, и о терзавшей их из-за этого тревоге. Иные угрюмо ворчали, что после сегодняшнего веселья не миновать им горькой кручины или что скоро суровый и надменный сосед нагрянет со взысканием, и веселье сменится слезами. А когда какие-то весельчаки стали поздравлять Фабиана, восхваляя пышную свадьбу его дочери, он махнул рукой и с внезапно вспыхнувшим отчаянием стал изливать свои тревоги.

— Господи Иисусе! — вопил он, вскидывая руки. — Да лучше бы мне на этом месте помереть, чем такого разорения и сраму дожидаться! Свадьба, свадьба! Как же не свадьба? Дочь-то у меня одна, как одна голова на плечах! Да что с того? На свадьбе три дня пировать, а потом до смерти горевать! Дал бы мне бог сквозь землю провалиться еще до конца этой свадьбы!

Многие старались утешать удрученных соседей.

— Ничего! Бог не без милости! — успокаивал кто-то в толпе.

Апостол Богатырович, возводя глаза, прикрытые темными очками, к потолку, твердил сокрушенным голосом:

— Преходящи суть горести, суета мирская... тщета и тлен...

А пожилой степенный Стжалковский, в долгополом сюртуке из домотканного сукна, больше похожем на сермягу, с мудрыми глазами на изможденном лице, убеждал:

— Что делать? Слезами горю не поможешь, чего же проливать их? Корчинский — человек суровый и к бедным людям непреклонен, что и говорить... Мы-то его знаем... еще бы! На собственной шкуре испытали... Но, слышал я, сын у него человеческий, на людей волком не смотрит, не станет ли он посредником между отцом и соседями...

— Пожалуй, верно. Я и то уже про него подумывал, — подтвердил и Валенты Богатырович.

— Видно, придется нам его просить, — заговорили и другие. — Только и надежды, что он вступится за нас перед паном Корчинским.

Однако Фабиан в негодовании восстал против этого предложения. Он ни о чем никого просить не станет, последнюю корову продаст, а не ляжет, подобно Лазарю, у порога богача. Но другие его перекричали.

— Ты нос не дери, коли силенки нет. Теперь-то тебе хорохориться ничего не стоит, а лучше бы ты соседей на тяжбу не подбивал или подыскал стряпчего почестнее. Сам всех подвел под этукую беду, а нашлось одно-единственное спасение, так ты от него отказываешься?..

Фабиану эти попреки были горше всего.

— Говорю вам, нет тут моей вины! — кричал он в сердцах, чуть не плача. — Худого никому не хочется. Ведь задумал я тяжбу, чтоб и сельчанам нашим пособить и Корчинскому за все отплатить. А если злой человек меня обманул, так меня растерзать за это надо, что ли?

— Так что же, молодой пан Корчинский ножом тебя, что ли, пырнет? — зашумели соседи. — Перед ним и смириться не стыдно; он хоть и пан, а нужде не плюет в глаза, людям добра желает и со всеми хочет в дружбе жить.

— Убей меня бог, — хватаясь за голову, причитал Фабиан, — если я думал, что такая моя участь постигнет и что я на старости лет обращусь в Иова, молящего о милосердии.

А Апостол, воздевая к потолку иссохшие руки, скорбно изрекал:

— Не будут сыновья искупать грехи отцов и за них умирать, а каждый умрет в собственных грехах и в собственном покаянии.

Так, совсем не по-свадебному, беседовали в горнице старики, тогда как молодежи, гулявшей в саду и по дороге, сегодня было не до тревог и грустных размышлений. Приближался вечер, и пора было начинать танцы. Свежий вечерний ветерок уже обвевал лица, разгоряченные едой, разговорами и смехом. Однако танцы опять и опять откладывались по разным причинам. Прежде всего молодые вместе с сопровождавшими их лицами слишком долго просидели за столом. В начале обеда сват Стажинский произнес весьма пространную речь, поминутно прерываемую громовыми раскатами смеха. А в конце его Апостол вздумал читать поучительные наставления и благочестивые молитвы. Когда все встали, наконец, из-за стола, позвали обедать музыкантов, а теперь, когда уже и музыканты закусили, что-то стряслось с первым дружкой. Недовольный, с кислой физиономией, он прохаживался взад и вперед, внезапно останавливаясь посреди дороги, словно высматривая или ожидая кого-то, и ни с кем, кроме Домунтов, даже говорить не желал.

С Домунтами он и раньше был знаком, а теперь и совсем подружился. Видимо, хвастаясь перед новыми приятелями, он стал им показывать своего вороного жеребца, выводя его нарочно из конюшни, поминутно доставал из кармашка золотые часы, якобы проверяя время, и, наконец, выставив далеко вперед ногу в ярко начищенном сапоге, стал ковырять в зубах поднятой с земли щепкой, как это делают после еды самые знатные господа. Ростом его господь не обидел, да и в плечах он был изрядно широк, но рядом с огромными Домунтами казался мелковат, что не мешало ему, однако, намного превосходить их смелостью и щегольским видом.

Вскоре к ним присоединились и отчаянные, не знающие страха Обуховичи; подбоченясь, заблистал своим канареечным костюмом Михал Богатырович; подкручивая кверху усы, подошли братья Лозовицкие, вместе с ними встал большелобый Станевский — всего человек двенадцать, так сказать, избранных гостей. Стоя посреди дороги, они оживленно перекликались и оглашали зычными голосами тихий вечерний воздух.

За ними у самой дороги сыновья Фабиана — рыжеватый, угрюмый Адам и рыжий, широкоплечий, вечно смеющийся Юлек, — окруженные толпой молодежи, открывали танцевальный зал. Этим залом служило гумно, стоявшее в конце сада у самой дороги. Ворота гумна заскрипели и с треском распахнулись настежь, из темной глубины закровов ударил сильный запах зерна и разлился по саду. Младшие сыновья Фабиана, как белки, вскарабкались на гладкие столбы, отделявшие закрома от тока, и повесили на них застекленные, плотно закрывающиеся фонари. На току, в самой глубине, расположились музыканты и уже настраивали инструменты, издававшие пронзительный визг и гудение. В сторонке, между столбами, на узких длинных скамейках, уселись старухи. Посередине, робко держась под руки, расхаживали еще ни с кем не знакомые панны Семашко, на тонких личиках и изящных, но тщедушных фигурках которых сказывалась бедность и тяжелая работа. Остальные гости еще не входили, когда с поля свернули на дорогу, ведущую к усадьбе Фабиана, два темных силуэта: женщины и лошади. Лошадь была рослая, сытая и гладкая, но сильно хромала на одну ногу, и женщина подгоняла ее длинной хворостиной.

— Господи Иисусе! — раздались голоса в кучке толпившихся у ворот женщин. — Да это Ядвига! С ума она, что ли, спятила: в свадебный день этакой растрепой на людях показываться?

Высокая, широкоплечая Домунтувна медленно приближалась к гумну. Она была босиком, в короткой домотканной юбке и розовой кофте, сшитой еще к жатве. Коса у нее растрепалась и упала на спину, но Ядвига словно не замечала этого и, не обращая внимания на празднично разряженную толпу, подхлестывала

лошадь. В ответ на приветствия и вопросы, посыпавшиеся из-за плетня и из ворот гумна, она, не останавливаясь, отвечала, что вчера батрак искалечил их лучшего коня и сейчас она возвращается от коновала, куда сама водила его. Батраку она боялась доверить лошадь, чтобы он ее хуже не испортил.

— Ну, ну! — крикнула она басом, легонько стегнув лошадь по бокам, и спросила кого-то из соседей, приехали ли ее братья из Семашек.

У первого дружки глаза чуть не вылезли на лоб, так он их пялил на девушку. Ясмонт однажды уже видел Ядвигу, но сегодня она ему еще больше понравилась. Он хлопнул себя по бокам и шелкнул пальцами.

— Вот так панна! Сразу видно, что хозяйкой родилась и знает цену доброй лошади! Эх, кабы я мог осмотреть ее коня поближе, сейчас вылечил бы его лучше любого коновала.

Он так и рвался к этой панне и ее лошади, а босые ноги, растрепанная коса и домотканная юбка не только не повредили ей в его глазах, но даже возбудили в нем уважение и неожиданное доверие к ее достоинствам. Однако поближе ни к ней, ни к ее лошади посмотреть ему не удалось: Ядвига уже свернула на тропинку, ведущую к усадьбе. Кто-то издали окликнул ее и спросил, придет ли она на танцы. Но она крикнула в ответ, что, может, у кого только и заботы, что танцевать, а ей надо за лошадью приглядеть да посидеть с дедушкой. Подняв голову и насторожив уши, Ясмонт выслушал ее ответ, потом положил одну руку на плечо одному Домунту, другую — другому и что-то им зашептал. Они тотчас пустились догонять сестрицу, и издали было видно, как они дружески пожимали ей руку, что-то ей толковали, о чем-то просили, а она упиралась, мотала головой и, наконец, пожав обоим руки, погнала дальше хромого коня. А Домунты уже бежали назад с развевающимися гривами и, махая шапками, издали кричали Ясмонту:

— Придет! Как же, непременно придет! Никак не хотела, все отговаривалась, что надо за дедом посмотреть, да нельзя ей братьев не уважить, ну, и обещала прийти!

Услышав это, Казимеж Ясмонт весь просиял от удовольствия, и его веснушчатая физиономия расплылась в широкой улыбке. Он снова взглянул на свои золотые часы и, достав из кармана кожаный портсигар, стал угощать братьев Ядвиги папиросами.

Почти в ту же минуту со стороны корчинской усадьбы показались две женщины: одна очень высокая, в черной мантилье и с высоким гребнем в волосах, другая значительно ниже, в белом платье с розовым кушаком.

Витольд, окруженный жадно слушавшей его молодежью, с оживлением рассказывал об удобрении земель, лишенных пастбищ, путем разведения на них люпина. Увидев приближающихся женщин, он оборвал на полуслове, бросился к ним и поцеловал у обеих руки. Подошла к ним и Юстына, а жена Фабиана, которую девушки громкими криками вызвали с гумна, приседая, словно в менуэте, и упомянув о Гецолдах, уже рассыпалась в любезностях перед панной Мартой Корчинской.

Все это происходило у стены гумна, вдоль которой рос густой бурьян и куда с другой стороны, от усадьбы Анзельма, приближалась шумная, громко смеющаяся толпа. Посредине, блистая подвенечным нарядом, шла новобрачная. С помощью мужа и целой кучи девушек и парней она силком тащила на свадебный пир своего соседа Анзельма. Сначала он упирался, отказывался идти и добровольно ни за что не вмешался бы в эту шумную, неистово горланившую толпу. Заслышав крики, Анзельм заперся у себя в боковушке, но его и там не оставили в покое. Под предводительством новобрачной, которая первой ворвалась к нему в открытое окно, свадебная саранча набросилась на него со всех сторон. Его до тех пор обзывали графом, брюзгой, нелюдимым и гордецом, до тех пор упрашивали и галдели над самым его ухом, пока он не согласился пойти на часок, но всего на часок только, чтобы не обидеть новобрачных, которые могли бы подумать, что ближайший их родственник и сосед погнушался прийти к ним на свадьбу. Он едва-едва выпросил позволения надеть новые сапоги и повязать на рубашку

черный галстук. Теперь он уж не сопротивлялся и, снимая поминутно большую баранью шапку, раскланивался со знакомыми и покорно, с погасшим взором и страдальческой улыбкой, шел, куда вели его под руки Франусь и Эльжуса.

Вдруг он резким, порывистым движением высвободил руки и, устремив глаза в одну точку, начал пятиться к стене гумна, пока не прислонился к ней спиной, оказавшись чуть не по колено в бурьяне. Он увидел Марту, и она тоже увидела его. Размашисто пройдя несколько шагов ему навстречу, Марта остановилась. В черной юбке и мантилье, с лиловым бантом на шее, она встала перед ним неподвижно, как столб, чуть сторбившись и протянув вперед маленькое, желтое, сморщенное лицо.

Расшалившаяся молодежь во главе с новобрачной метнулась в стороны, и они долго молча смотрели друг на друга. Наконец Анзельм медленно снял шапку и сдавленным голосом, сильно заикаясь, проговорил:

— Много... много лет... мы...

— Гора с горой... гора с горой... — ответила Марта и протянула ему свою большую темную руку.

Анзельм медленно взял ее и задержал в своих руках. Они снова молча посмотрели друг на друга. Марта чувствовала, что ее губы дрожат.

— Двадцать три года... двадцать три года... — сказала она.

— Да-а... — протянул Анзельм, — утро встречало ее румяной, цветущей, а вечер...

Он замолчал, кивнул головой и посмотрел куда-то в сторону.

Марта вспыхнула так же, как, быть может, «на утренней», но вдруг словно отрезвела и засмеялась:

— А вы думаете, что сами не постарели? Ой, ой! Смех, да и только... Не одни мы, женщины, стареем... Он, погруженный в молчаливое созерцание, не спускал с нее глаз.

— Правда! Да как и быть иначе? Старость — не радость и никого не красит.

Он не заметил, что вокруг них стояло несколько старых обитателей поселка, которые когда-то знали Марту

и подошли теперь поздороваться с нею. Один вспомнил, что часто видел ее в Корчине и удивлялся, как быстро промчались годы; другой хотел узнать, помнит ли она его брата, который тогда ушел куда-то далеко и безвозвратно; третий, самый старший, тихо рассказывал что-то о своем сыне и о пане Анджее Корчинском, кивая в сторону занеманского бора. Марта помнила всех, пожимала им руки, вместе со всеми покачивала головой и вздыхала:

— Да, старые времена! Старые времена!

Хозяйка пригласила панну Марту пожаловать на гумно. Старая дева и здесь увидела немало знакомых. Бросилась к ней навстречу принарядившаяся в яркое платье Стажинская и, смеясь и плача, начала говорить о своем первом муже. Подошла жена Валенты: она до сих пор с благодарностью вспоминает, как панна Марта когда-то учила грамоте ее детей... Даже супруга Гецолда поспешила познакомиться с ней и, отрекомендовавшись арендаторшей соседнего фольварка, стала угощать ее папиросами. Многие дивились, что видят ее здесь. А панна Марта, успевшая уже со всеми поздороваться, присела к женщинам на скамью и, улыбаясь, заговорила:

— Что делать? Пришлось старые кости побеспокоить! Не хотелось старой наседке идти на свадьбу, да вот пришлось...

Женщины дружелюбно расхохотались. Марта знала, как обращаться с этими людьми, и любила поболтать с ними. Она завела разговор о свадьбе, о хозяйстве, веселая, оживленная, словно помолодевшая на несколько лет. Однако взор ее порою увлажнялся и растерянно блуждал по окружавшим ее фигурам и лицам...

Сидевший против нее Витольд, который знал здесь очень многих, сразу же познакомил Марыню Кирло с паннами Семашко. Сестры попрежнему ходили лишь вдвоем и, видимо, были рады новому знакомству. Марыня все в том же платьице, в котором была на званом обеде в Корчине, казалась только что распутившимся цветком шиповника. Она радовалась, чувствуя на себе дружеский взгляд Витольда, и, осмелев, радушно протянула руки своим новым приятельницам.

Между тем Юлек, по очереди карабкаясь на столбы, стоявшие на току, зажег свечи в фонарях. Мерцающий свет озарил закрома, полные зерна, и узкие проходы между ними, а вокруг гумна все сразу забурило. Солнце уже закатилось, смеркалось. За поредевшими садами серебрился Неман. В саду и на дороге далеко разносились мужские и женские голоса, кричавшие то в одиночку, то хором, одни робко, другие с раздражением:

— Пан Ясмонт! Ясмонт! Пан Казимеж! Казик! Пан Ясмонт! Яс-монт! Яс-монт!

Кроме того имени уже несколько минут ничего не было слышно. Сватья Стажинская не утерпела и в отчаянии выбежала на дорогу.

— Да что ж это такое? — кричала она. — На похороны или на свадьбу народ съехался? Уж если ему так понадобилась Ядвига, и шел бы к ней, только надо вперед, как подобает дружке, начать танцы... Пан Ясмонт! Куда он провалился? Пан Яс-монт! Ясмонт! Ясмонт!

Он никуда не проваливался, но до сих пор, гуляя по дороге, разговаривал с братьями Ядвиги и, видимо, этим разговором остался очень доволен. Услышав раздававшуюся со всех сторон свою фамилию, он бросил наземь папиросу, затоптал ее сапогом и вместе со сватьей, вцепившейся в его рукав, весело пританцовывая, влетел на гумно. Мигом оглядев гостей, он — как и подобало — подошел к первой дружке и пригласил ее, а когда Юстына в знак согласия поклонилась ему, махнул рукой Заневским и гаркнул:

— Эй, музыка! Валяй!

Музыканты заиграли веселую польку, и долгожданные танцы начались. На току кружилось пар двадцать, а когда становилось уж чересчур тесно, — пар по десять, пятнадцать. Витольд в качестве второго дружки прежде всего подошел к новобрачной. Эльжуса поднялась с довольным видом и, положив ему руку на плечо, громко проговорила:

— Чудно! Только уж вы, пожалуйста, подольше танцуйте и хорошенько кружите, а то полегоньку я не люблю.

Марыня Кирло досталась одному из молодых Сема-

шко, а маленьких сестер Семашко подхватили богатыри Домунты. Разумеется, сидевшие на лавках старухи тотчас заметили это и, хихикая, зашептались, что Домунты пошли по воду с кувшинами. Вообще же пары то и дело сменялись и всякий раз подбирались поининому. Кое-кто из кавалеров запасся лайковыми или нитяными перчатками, но у большинства их не было, и перед началом танца руку, в которой должна была покониться рука дамы, они обматывали носовыми платками. По окончании танца все кавалеры отводили своих дам к лавкам, табуретам или хотя бы к стене, благодарили за удовольствие и учтиво кланялись.

Девушки не преувеличивали, говоря, что Казимеж Ясмонт отлично танцует. Поистине танцор он был ловкий и рьяный и с дамами чрезвычайно любезный. Но и все тут неплохо танцевали и, ускользая от локтей и боков других кавалеров, вертели своих дам, будто перышки, и притопывали так часто и с такой силой, что ток гремел и грохотал. И уж, конечно, болтовни, смеха и шуток на лавках и в толпе, обступившей открытые настежь ворота, тоже было немало. Адам не танцевал; он стоял у самых дверей и, мрачно насупясь, по своему обыкновению, исподлобья поглядывал на фонари, зорко следя за всем, что происходило на гумне. Вдруг он выпрямился и, покраснев от гнева, громко крикнул:

— Прошу извинения, но какой это дурак вздумал на гумне курить?

Среди старух слова его вызвали суматоху, смутив их и насмешив. Желтая искра, блеснувшая перед Адамом среди развевающихся платьев, сразу погасла, а с противоположной стороны, хихикнув, отозвался голос Стажинской:

— Правильно! Это пани Гецолд закурила папиросу.

Со всех сторон загремел мужской и женский смех, между тем как Адам, нимало не смутясь, довольно-таки громко высказал свое мнение по поводу происшедшего события:

— Ну, и нечего бабе дым пускать на гумне! Подумаешь, графиня!

Но вот польку сменила кадрили, которую здесь танцевали в чрезвычайно быстром темпе и подпрыгивая.

Одни мужчины, балансируя, широко расставляли руки и, выбегая на середину тока, зорко посматривали на собственные ноги, а другие, к числу которых принадлежал и первый дружка, сохраняли всю важность и грацию, свойственные этому танцу. Однако не успели они кончить последнюю фигуру, как вдруг пустились в такой отчаянный галоп, будто кандалы с ног сбросили.

Этот галоп был не прерван, а только слегка расстроен пронзительным визгом: кто-то крепко наступил на лапу собаке, и она, громко скуля, удирала из толпы, а навстречу ей, расталкивая танцоров, уже бежал обычно медлительный Юлек.

В танцах Юлек не принимал участия. Да и куда было ленивому увальню пускаться в прыжки в этой давке! Он стоял у дверей и, поглядывая то на фонари, то на танцоров, непрестанно улыбался, скаля белоснежные зубы. К ногам его жался Саргас, которому время от времени Юлек подмигивал, словно утешая и заверяя его, что все это скоро кончится и они снова пойдут вдвоем на Неман. Но сейчас его добродушная, обросшая рыжей щетиной физиономия уже не улыбалась. Выхватив из-под ног танцоров огромную дворнягу, он, чуть не плача от жалости, прильнув щекой к ее черной шерсти, тут же ушел с гумна и больше не показывался.

Между тем Владыслав Осипович, или, как все его называли, Ладысь, тот, у которого откинутые назад волосы были черны, как вороново крыло, уже протянул руку, чтобы обхватить синеокую Цецильку Станевскую, и нетерпеливо крикнул:

— Заневские! За работу! Играйте польку!

Этой польки Юстына уже не танцевала. Пробравшись сквозь толчею и миновав лавку, на которой устроились пожилые женщины, она забралась в темный проход между закромами. Мягкий свет от фонарей сюда почти не доходил, от скирдов несясь запах вянувшей травы и колосьев. Юстына прислонила голову, убрannую веткой рябины, к благоухающему и мягкому скирду и задумчиво глядела вдаль. Отдавала ли она себе отчет, почему толпящийся здесь народ производит на нее такое сильное впечатление? Конечно, если бы она очутилась здесь несколько месяцев назад, она почувство-

вала бы себя одинокой, несчастной и затерянной среди этих совершенно ей чуждых, незнакомых людей. Почему же теперь сердце ее бьется так сильно, так радостно? Почему?

Боже! Ведь наступает же минута в жизни человека, когда из глубины его души поднимается то, что заронила в нем природа, что ждало только солнечного света, теплого ветерка, чтобы пустить росток и зацвести пышным цветом. Бывает и так, что солнечный луч не проглянет, теплый ветерок не подует, и тогда человек сходит в могилу, ни на минуту не почувствовав себя самым собою. Но для Юстыны эта минута настала. Из горькой пучины страданий она выплыла тогда, когда среди золотистых колосьев и синих васильков в первый раз увидела статного пахаря и его голубые глаза, обращенные на нее с затаенной, робкой нежностью. Припомнилась ей теперь минута, когда она взяла серп из его рук, и это воспоминание в один миг перенесло ее из шумной толпы вглубь занеманского леса, на Могилу, окутанную ночной мглой. Ей казалось, будто то, что она чувствовала теперь, впервые зародилось в ней там, на Могиле. И те пламенные речи, которые она слышала в последние дни от Витольда, и все, что она передумала сама в минуты размышлений, — как будто дополняло одно другое и сливалось вместе. Юстына ясно, до мельчайших подробностей, припомнила свой сон, когда свет лампы скользил по тропинкам поселка, по кровлям его домов, по заборам и, падая на древнюю гробницу, на корчинский двор, на одинокую могилу, связывал все это в одное целое. Точно электрическая искра обожгла ее сердце, лицо залилось густым румянцем, к глазам подступили слезы...

— Десять лет жизни отдал бы я, чтобы узнать, о чем вы так задумались? — слышался позади нее робкий, приглушенный голос.

Ян Богатырович до сих пор совсем не танцевал. Хотя он принадлежал к числу дружек, однако одет был не по-свадебному и не выказывал ни тени веселья. Он надел свой короткий сермяжный кафтан, отороченный зеленой тесьмой, повязал ворот тонкой рубахи белым кисейным галстуком и, видимо, вовсе не заботился

о том, что скажут или подумают люди о его костюме и мрачном виде. Казалось, его терзала какая-то тайная печаль. Он еле поздоровался с некоторыми из присутствующих и с начала танцев простоял в углу около музыкантов, скрестив на груди руки и нахмутив лоб. Он лишь время от времени поглядывал на танцующих, как будто искал кого-то, и глаза его вдруг вспыхивали. На шутки девушек он отвечал сухо, даже небрежно, от товарищей бежал, как от огня; когда мать насильно хотела заставить его танцевать, он сначала просил оставить его в покое, а потом резко оборвал ее. Но так как народу было много и дело могло обойтись и без Яна, парня больше не трогали.

Но говорить о нем все-таки не переставали. Старухи по лицу Яна заметили что-то неладное. Ядвиги Домунтувны на свадьбе нет, Янек смотрит так, как будто бы вчера отца с матерью похоронил... Видно, они поссорились и, возможно, поссорились навсегда. С другой стороны, зачем им ссориться? Кажется, между ними и так ничего не было. О сватовстве никто ничего не слышал, — говорили, что давно заходил как-то разговор между его дядей и дедом Ядвиги, когда тот был еще в своем уме. Может, Ян потому и ходит такой хмурый, а может, меланхолия у них в роду? Покойный его отец был человек неразговорчивый, замкнутый; дядя впал в хандру еще с молодых лет; оба они всегда витали в небесах — из-за этого и Ежи пропал зря, да и Анзельм прожил жизнь не по-людски. Может, и Ян таким же уродился?

Прежде, бывало, то и дело смеялся, и весел был, и работа у него спорилась, а уж как зальется соловьем, лучше его в поселке никто и не пел. Да, верно говорят: до времени кувшин по воду ходит. У всякого такая минута наступает, когда нрав его сказывается. А уж это известно: яблоко от яблони недалеко падает. Видно, и он будет такой же задумчивый да угрюмый, как его дядя и отец.

Однако случилось так, что Ян, заглянув ненароком в проход между закромами, вдруг просиял. Глаза у него блеснули, и, с трудом пробравшись между лавкой и стеной, он очутился подле Юстыны.

— Вы спрашиваете, отчего я такой хмурый и не танцую? — шепнул он Юстыне. — Вам, только одной вам я признаюсь: на меня порой находят такие сомнения, что хожу ни жив ни мертв и предпочел бы лежать на дне Немана, чем жить с этими сомнениями.

Юстына слушала его, низко опустив голову. Она чувствовала на себе его горячий страстный взгляд и, словно простая деревенская девушка, в смущении выдергивала из стога длинные соломинки и сухие былинки и мяла их в руках.

— Какая чудесная ветка рябины у вас в волосах... и то же платье, в каком вы со мной на Могилу сздили... — еще тише прошептал Ян. — Если б вы дали мне хотя бы эту веточку... и то, мне кажется, я был бы совершенно счастлив!

Юстына быстрым движением отколола от белого корсажа пунцовую гроздь и, протягивая ее Яну, подняла глаза. Оба вспыхнули и чуть не задрожали от волнения. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Наконец, весело потрянув волосами, он воткнул ветку рябины в петлицу кафтана.

Вдруг у входа поднялась какая-то суматоха: все расступились, кого-то оживленно приветствуя. Музыка смолкла. Казимеж Ясмонт скользящими шагами бросился к воротам, за ним поспешили Домунты и несколько девушек. В танцевальную залу вошла Домунтувна. Это, несомненно, была она, но совершенно преобразенная. Все, кто видел, как она, растрепанная, босиком, гнала хромую лошадь, теперь с трудом ее узнавали. На ней было яркочерное платье с огромным турнюром, сплошь покрытое пышными оборками, — создание рук портного из ближайшего местечка. Там же, по всей вероятности, приобрела она и гирлянду листьев, вырезанных из золоченой бумаги, которыми были убраны ее высоко взбитые волосы, блестящие от помады. Белые перчатки обтягивали большие руки, в которых она держала пестрый бумажный веер, и вся ее рослая, осанистая фигура сверкала поддельным золотом и серебром, множеством колец, серег, заколок и браслетов. Она шла смело, но ее раскрасневшееся лицо

было мрачно. Дедушку, одетого в белоснежный кафтан, остановили у входа Витольд и другие знакомые и, окружив, стали с ним разговаривать, а Ядвига, едва пройдя несколько шагов, заметила пару: девушку и мужчину. Выйдя из полутемного прохода между закромами, они стали близко друг к другу. На голове панны и в петлице кафтана у мужчины красовались ветки рябины. Ядвигу словно кулаком в грудь ударили. Она сжала губы, а ее синие глаза под соболиными бровями заметали молнии гнева.

У входа раздался веселый смех. Дедушка упорно принимал Витольда Корчинского за отца его Бенедикта, а о деде его Станиславе говорил, как о здравствующем владельце Корчина. О том, что его прадеда, Доминика Корчинского, уже нет в живых, он помнил и, сияя радостью, разгладившей его лысый лоб, рассказывал, поднимая вверх высохший палец:

— Хороший был пан Доминик... о! Я помню... когда мы вместе в тридцать первом году...

Витольд усадил его у стены на табурет, сам уселся тут же и с жадностью стал расспрашивать старика. С другой стороны, Марыня Кирло, стоя на коленях в траве, обхватила руками сухонькую фигуру старичка. Но молодые люди, стоявшие рядом, никак не могли понять, что может быть интересного в болтовне человека, который если и не совсем потерял рассудок, то по меньшей мере добрую половину его.

— Только бы никто про Паценко не напомнил, а то сейчас зачудит, — тихонько говорили они.

Появление Ядвиги вызвало самые различные толки. Многие женщины рты разинули, дивясь ее наряду. Даже в глазах рябит, вот до чего богато разоделась. Известно — наследница! Среди мужской молодежи слышались смешки:

— А, пожалуй, Саргас поместился бы у нее сзади, на этой подушке!

— Понатыкала золотых листьев в волосы и думает — очень хорошо. А посмотришь — будто гроб с золотым галуном!

Но девушки думали совсем другое об ее наряде. Особенно их поражал и восхищал все. Маленькие

сестры Семашко, попрежнему держась за руки, ходили вокруг великолепной панны и ахали:

— Господи Иисусе! До чего же хороши у нее розы на веере! А золотые листочки — точь-в-точь как на алтаре у Луннской божьей матери...

Ядвигу это разглядывание и любование выводило из себя. Совсем не для этих сорок она мучилась два часа над своим нарядом. А тот, ради которого она наряжалась, не отходил ни на шаг от этой... с рябиной... Она бросила гневный взгляд на платья в голубую и белую полоску.

— Ишь, глаза вылупили; дурак красному рад! — вспыхнула она. — Позвольте пройти, мне надо с братьями поздороваться.

Вместе с ее братьями, которые сразу окружили Ядвигу, подошел и Казимеж Ясмонт. Он уже встречал ее прежде у каких-то знакомых и потому теперь смело заговорил с ней.

Ядвига уже кое-что слыхала о нем от братьев и по нежным взглядам, которые он бросал на нее, скоро сообразила, что он задумал. Посмотрев еще раз на Яна, она вдруг повеселела и стала любезничать с Казимежем. Вот тебе, коли так! Пусть видит, что и ее еще не оставили бог и люди! Весьма учтиво, тщательно подбирая слова, она заговорила о том, как печально, что кончается лето и начинается зима. Правда, в летнее время много работы, но зато и удовольствий больше, а зимой ее совсем тоска съедает. На это Ясмонт поучительно заметил, что всякому времени своя пора и что так уж определено господом богом, чтобы была пора рождения и пора смерти, пора радости и пора печалей. Потом неожиданно спросил, поверит ли она, что уже три раза на этой неделе он видел ее во сне? Ядвига усомнилась в этом. Другое дело, если бы она давно была знакома с паном Ясмонтом, но мудрено увидеть во сне того, кого так мало знаешь. Тогда Ясмонт тихонько шепнул:

— Что держишь в уме, то и видишь во сне... А насчет того, будто мало знакомы, — прошу извинения! Я все ваши тайны знаю и в сердечке вашем, словно в открытой книге, читаю...

И он снова принялся ей что-то нашептывать, поглядывая в сторону Яна; Ядвига густо покраснела, громко засмеялась и еще громче ответила:

— Напрасно беспокоитесь: он мне так нужен, как собаке пятая нога!

После этого она стала громко разговаривать с братьями и окружившими их девушками. Только очень зоркий глаз мог заметить, что внутри у нее все бушевало. Заливаясь смехом, она прижимала кончиком веера то одно, то другое веко, и глаза у нее блестели так ярко, что Ясмонт сравнивал их с бриллиантами и смотрел в них с великим и искренним восхищением. Танцевать она не хотела и долго не поддавалась уговорам братьев и вздыхателя. Однако, поразмыслив, обещала разок протанцевать, но только разок и непременно краковяк. Только раньше она хотела посмотреть, что делает дедушка и не нужно ли ему чего. Она пошла к выходу, а Ясмонт, схватив Витольда за руку, зашептал ему на ухо:

— Сделайте милость, пригласите панну Ядвигу на краковяк и танцуйте с ней во второй паре. Я бы сам хотел, да мне нужно быть в первой паре с первой панной дружкой.

Потом бросился на гумно и закружился на току, крича:

— Эй, музыка, играй, а то ноги свело! Заневские, краковяк!

Музыканты, успевшие отдохнуть, грянули на все гумно веселый краковяк. Но танец не скоро начался: многие не умели его танцевать и не могли найти себе пары. Наконец набралось пар двенадцать во главе с первым дружкой. Он, правда, предпочел бы танцевать с Домунтувной, но, из уважения к обычаям, вылетел вперед с первой дружкой, а вслед за ними понеслись и другие, громко стуча каблуками и ловко изгибаясь в обе стороны.

Юстына ничем особенным не выделялась среди девушек. Она была не так хороша, как черноволосая Осиповичувна, и не так изящна, как Антолька или сестры Семашко, зато танцевала она более грациозно и плавно, чем они. Легко опираясь на руку своего кав-

лера, она, словно лебедь, плыла впереди, сияя улыбкой, не сходявшей с ее румяных губ. Зрители, сидевшие и стоявшие вокруг, глядя на нее, качали головами и шептали, что с такой прекрасной панной, пожалуй, не натанцуешься до скончания века. Ян, следивший за Юстыной из-за стены высоких чепцов, не сводил с нее восхищенного взгляда. На лице его появилась блаженная улыбка. В нетерпении он несколько раз топнул ногой, наконец сунул руку в карман, достал нитяные перчатки и, поспешно натянув их, перескочил через лавку, на которой сидели старухи. На лавке поднялся отчаянный крик и визг: чепец пани Гецолд, задетый его локтем — или чего хуже! — сапогом, сдвинулся ей на ухо, что страшно разгневало арендаторшу и насмешило ее соседок, поспешивших, однако, выразить ей свое горячее сочувствие. Но Ян даже не обернулся и, не замечая вспыхнувшего позади возмущения, пересек первой паре дорогу, громко хлопнул в ладоши и крикнул на все гумно:

— А ну, с прихлопываньем!

Все знали, что это означает, и танцоры тотчас стали пятиться назад, беря за талию девушек, а танцорка из первой пары, вскинув на Яна сияющие радостью глаза, легко, словно птица, порхнула к нему в объятья. Он, впервые обхватив ее стан, залился горячим румянцем и поднял вверх глаза. Потом, словно обезумев от гордости и счастья, взлетел над землей и, подняв руку вверх и склонившись к лицу Юстыны, весело и шумно повел танцующих вокруг всего тока.

— Ну, наконец-то пятки зачесались, что в пляс пустился! — крикнула из толпы Стажинская.

А Ян, дойдя до музыкантов, задержал другие пары и прекрасным, чистым голосом запел во всю ширь полей:

Светит месяц ясный
Среди темной ночи,
Мне с тобой расстаться
Не хватает мочи.

Частушка эта восхитила всех, особенно женщин. Раздался смех, от восторга все захлопали в ладоши. Уж Ян дулся, дулся, а как перестал, так его сам пан Ясмонт

перешеголять не смог. Пан Ясмонт хоть и отлично танцевал, а говорил еще лучше, но петь совсем не умел. Однако то ли из самолюбия, то ли, чтоб развеселить Ядвигу, которая надулась и шла рядом с ним, как неживая, он захотел отличиться и здесь. Протанцевав несколько кругов, он встал как вкопанный и тоненьким дискантом, совсем не в лад с музыкантами, игравшими краковяк, затянул:

По наружности судить
Девушку опасно —
Взгляд ее слезой блещит,
Сердце безучастно...

Только зря он вздумал состязаться с Яном. Оказалось, что хвалиться ему решительно нечем: и частушку он выбрал некстати и в слушателях вызвал удивление: как это такой крупный мужчина и вдруг запел таким тонким голоском? Зато черноволосый Осипович, подхватив синескую Цецильку Станевскую, словно нарочно остановился перед ее матерью и запел немногим хуже Яна:

Возле дома кочка,
У мамашин дочка.
Что ж ее не прячешь?
Украдут — заплачешь.

Тут и огромный Домунт, не отходивший от маленькой Семашко, грянул:

Кукушка кукует
В лесу над курганом,
Тот глупец, кто ищет
Девушку с приданым.

Но краковяк уже кончался, и другим, если б они и хотели, уже петь было некогда. Только Ян, первым затянувший песню, хоть и не во-время — к самому концу, еще раз запел коротко, но звонко:

Кто первой любви
Сердце открывает,
Радость и кручину
До конца узнает.

Потом закружил, как перышко, свою даму и, упав перед ней на колено, прижал ее руку к губам.

Собрался было первый дружка и в этом не уступить Яну, но Ядвига вырвала у него руки и, не дожидаясь, чтобы он проводил ее к табурету или лавке, повернулась к нему спиной и с высоко вздымающейся грудью и горящими гневом глазами, словно ураган, растолкала людей и, проводив взглядом счастливую пару, выходящую в сад, кинулась к двери. Ее грозный и мрачный взор неотступно следовал за ними, и Ядвига отчетливо видела, как убранная рябиной головка панны, словно в забытьи, склонилась на плечо мужчины и как он с такой же веткой рябины в петлице серого кафтана с жаром говорил ей что-то...

Музыка перестала играть; молодежь, утомленная и возбужденная танцами, высыпала наружу. В чистом небе одна за другой угасали звезды; за крутым поворотом реки, словно поднимаясь из нее, всходила большая яркая луна. Закурив папиросы, многие пошли прогуляться по полю, но больше было таких, которые, отказавшись от удовольствия покурить, рассеялись парочками по саду и зеленой улочке.

Гомон умолк, разговоры стали тише, а кое-где и совсем затихли. Под меркнувшими звездами напоенное благоуханием мирта крыло Эроса легонько касалось склоненных голов, разгоряченных танцами и пением.

У стены гумна, на сваленных бревнах, по колени в бурьяне, сидела парочка и тихо шепталась.

— Ей-богу, — шептал мужчина, — напрасно твой дядя и брат, отговариваясь тем, что ты очень молодая, закрывают мне путь к счастью. Да что я, зверь какой или дикарь, что не пожалел бы любимой и заставил бы жену работать сверх сил. Ты и у брата не сидишь сложа руки, и в мужнином доме тяжелее тебе не придется работать — вот клянусь тебе! Я поденщицу найму, сам до кровавых мозолей буду трудиться, только бы моей Антолке при мне не мучиться... Да ты-то веришь ли мне, вступишься ли за меня? Или долго еще мне, сироте несчастному, одинокому жить на свете?

— Вы, пан Михал, и сами знаете, что я от дядюшки и брата завишу и из воли их не выйду. Они меня вырастили, и никогда я обиды от них никакой не видала,

а только заботу да ласку... Как они захотят, так и я захочу, и как велят они мне, так и сделаю...

— Ну, ладно! Больше я тебя уговаривать не буду против брата и дяди идти... Но одно мне надо твердо знать, что ты-то сама за меня...

И еще тише спросил:

— А ты чувствуешь ли, как любовь в твоём сердечке трепещет и спать по ночам не даёт, чудится ли тебе, будто ты видишь меня?

Каков был её ответ — неизвестно, но можно полагать, что благоприятный, потому что мужской шепот стал смелее и настойчивее:

— Голубок и тот голубку в клювочек целует, желая ей свою любовь показать! Так неужели мне и того нельзя, что голубю? Все сидеть при тебе, как чужому, мне хоть и отрадно, да все-таки обидно.

У амбара белело чье-то платье, и стройный юноша, стоявший подле, тихо говорил:

— Да, дорогая моя Марыня, я уеду отсюда счастливый, что нашел тебя такой, какой видел в мечтах: простой, скромной, трудолюбивой, способной понять меня и стремящейся к той цели, которой просвещенная и благородная женщина должна в наше время посвятить свою жизнь...

— Но, Витек милый, я так мало образована, так мало еще знаю и умею...

— Это верно, тебе еще многому придется учиться, и не только по книгам... но и у жизни, а больше всего — у людей... Люби людей, изучай людей, живи с людьми...

— А когда ты уедешь, будешь мне писать? Пришлешь мне какую-нибудь книжку?

— Непременно! И писать буду, и книги присылать, и ни на один день не забуду о тебе, милая ты моя, хорошая моя. А когда я окончательно возвращусь и стану жить в Корчине, мы уже никогда не расстанемся и всегда, всегда будем вместе работать и бороться за дорогие нам идеи. Хорошо, Марыня? Ты хочешь этого? Да?

— О Витек, Витек! Ты открыл мне рай на земле, но я чувствую сама и вижу, что я обязана его заслужить.

На краю сливовой роши стояла Ядвига Домунтувна, окруженная толпой девушек и парней, которые весело болтали. Первый дружка, не обращая ни малейшего внимания на капризы и надутый вид своей возлюбленной, не отставал от нее ни на шаг. Его упрекали в непостоянстве и легкомыслии, выражали сомнение в том, что он когда-нибудь женится, раз до сих пор ему по вкусу холостяцкое житье. А он, не спуская глаз с Ядвиги, очень серьезно отвечал, что и мотылек летает с грядки на грядку, пока себе не выберет цветок, и даже нищему легче жить не одному, а человеку, у которого есть чем поделиться с милым его сердцу другом, — и подавно! Потом, раскачиваясь из стороны в сторону, он, словно невзначай, запел тонким дискантом:

Целый мир за люблю
Дам, не пожалею,
Я готов в пустыню
Следовать за нею.

Но ни намеки, ни попреки — увы! — не помогли. Ядвига, молчаливая и мрачная, казалась олицетворением грозовой тучи, готовой вот-вот разразиться молнией и громом. Она, как замороженная, смотрела в одну сторону, где поодаль, повернувшись к ней спиной, сидела на низком плетне какая-то пара. О чем они говорили, она не могла слышать, но в полумраке разглядела алую рябину, украшавшую голову панны. Эта голова с короной из черных кос и красной рябиной преследовала ее сегодня, как призрак, как жгучий огонь, как страшный сон!

Между тем Ян, сидевший на низеньком плетне подле Юстыны, тихо, но горячо шептал своей соседке:

— Вы спрашиваете меня: в первый ли раз? Умереть мне на месте, если до сих пор любовь хоть раз заглянула в мое сердце. Да разве иначе и могло быть? Что я — пан какой, чтобы перелетать с цветка на цветок и все новые забавы себе придумывать? Для этого у меня ни охоты нет, ни времени. Как не приходила любовь, так и не приходила, а как пришла, так уж и не пройдет.

— Проходит иногда, — задумчиво сказала Юстына.

— У господ это чаще бывает... ну, и к тому же многое от характера зависит. Вот посмотрите, как Казимеж Ясмонт смотрит на Ядвигу. Он давно уже на нее зарится, но если ему и откажут, — горевать особенно не станет: из-за приданого больше хлопочет. А вот дядя Анзельм, не получив той, которую любил, всю жизнь свою загубил, старик Якуб умом помешался от измены...

— А панна Ядвига легко перенесет измену?

Ян, точно ошпаренный этим вопросом, чуть не соскочил с плетня.

— Я понимаю, почему вы спрашиваете меня про Ядвигу, — сказал он, поднял голову и смело посмотрел в лицо соседке. — Божиться и клясться я не буду, — где нет доверия, там и приязни настоящей быть не может. Только из глубины сердца моего, никаким тяжким грехом не запятнанного, я скажу, что между мной и Ядвигой никогда ничего не было, ничего я ей не обещал и только по настоянию дяди, может быть, и женился бы на ней, если б на моем небе не засияло другое солнце. А что она пристаёт ко мне, повсюду преследует своею любовью, — это ей в вину нельзя ставить: она меня с детства знает, привыкла ко мне... ну, и отстать трудно... Думаю, что когда-нибудь она опомнится, а я себя виновным перед ней не считаю. Вы верите мне? Как осужденный на казнь, жду вашего слова: верите ли вы мне, или нет?

Юстына почувствовала, что к ее руке, опирающейся на плетень, прикоснулась горячая рука Яна, жесткая и вместе с тем удивительно нежная, трепещущая... Гумно, амбар, хата с освещенными окнами — все закружилось перед ее глазами; она сразу увидела все звезды, усыпавшие высокое небо, и почувствовала, как вся кровь прихлынула к ее сердцу.

— Верю! — тихо сказала она и вдруг в испуге вскочила на ноги.

Между их головами пролетел большой камень, брошенный, очевидно, сильной и ловкой рукой; он слегка задел шею Яна и упал на свекольную грядку в нескольких шагах за ними.

— Что это? Кто? В кого? За что? — с разных сторон посыпались вопросы.

Многие видели, как Ядвига наклонилась, подняла камень и замахнулась в сидящую вдалеке пару. Она тряслась как в лихорадке. Кого хотела она ударить камнем — Яна или его собеседницу, — неизвестно, но в одно мгновение о ее поступке узнали все, и на зеленой улочке между садом и рошей поднялась суматоха.

Тем временем вернулись и те, что уходили покурить в поле, и мнения о происшедшем событии разделились. Однако почти все сурово осуждали Ядвигу и, не стесняясь, выражали вслух свое негодование. Уже и раньше ее чересчур богатый наряд и надутый, угрюмый вид оттолкнули от нее многих; нашлись, разумеется, и такие, что по природе своей склонны были к злобным шуткам и колкостям. Как бы то ни было, но со всех сторон раздавались возмущенные или насмешливые голоса:

— Только себя таким поступком осрамила!

— Хороша! Где ж это видано, чтобы панна со своей любовью, как нищий с сумой, насильно на глаза лезла!

— Зарядилась, точно пушка, и стреляет камнями!

— Ну и ангелочек! Теперь разве только олух какой ее к венцу поведет!

— Спасибо и за наследство, если от собственной жены придется не своей смертью помирать!

— Нацепила на себя бляхи, как цыганская лошадь, и думает, что ей уж можно и людей убивать!

Нашлись, однако, и такие, что вступились за Ядвигу. Прежде всего Казимеж Ясмонт, который сначала было остоленел от изумления, но скоро пришел в себя и, шелкнув пальцами, крикнул:

— Шикарная панна! Эта без ружья и без злого пса уберется от воров!

Так уж, видно, ему хотелось все толковать с хорошей стороны.

А Домунты, на стороне которых были два брата Семашко, громко и грозно крикнули:

— Кто о нашей сестре еще хоть одно худое слово скажет, мигом узнает, как у нас за вихры дерут!

Воинственным Обуховичам только того и надо было! Хотя за минуту до того они сами насмехались над Ядвигой, но теперь так и насторожились, выжидая, к кому бы первому придраться. А несколько человек Богатыровичей и Ясмонтов в компании с Заневскими и Станевскими уперлись, как бараны, на своем и продолжали насмеяться над Ядвигой, громко заявляя, что ничьих угроз они не боятся и не нуждаются ни в каких увещеваниях.

Битва готова была уже разразиться. Обуховичи уже похаживали возле плетней, высматривая в сумраке, где бы выдернуть кол покрепче. В противоположном лагере все громче поговаривали о переломанных костях и расквашенных физиономиях, как вдруг раздался чей-то громкий звучный голос:

— Позвольте и мне, господа, сказать слово, потому что все это вышло из-за меня. Я не знаю, кто выдумал, что панна Домунтувна кинула в меня камнем со злобы, — это неправда. Что она бросила — никто не отрицает, но бросила только шутки ради, чтобы испугать меня, а потом посмеяться над моим испугом. Мне кажется, такой шутки, хотя и грубой, считать за большой грех нельзя. А так как я на панну Домунтувну несколько не обижаюсь, то и никто ее укорять не смеет, а тем более смеяться над ней, и если это придет кому-нибудь в голову, то я — вместе с Домунтами.

Яна, стоявшего под грушей, почти не было видно, но в его голосе все уловили явную решимость и смелость. Многие пожали плечами и поверили или сделали вид, будто верят, что поступок Домунтувны был только грубой шуткой невоспитанной панны. «Коли так, пусть так! Уж если тот, кого обидели, готов обиду за шутку считать, так чего же ради другим за него вступаться? С другой стороны, и Домунты со своими приятелями тоже мало-помалу успокоились: поступок Яна понравился им и расположил их к нему. Они успокоились и вместе с первым дружкой пошли к усадьбе Ядвиги вслед за белевшим в отдалении долгополым кафтаном ее деда.

Ядвига, дрожа словно в лихорадке, сразу пошла разыскивать своего дедушку и нашла его по другую

сторону гумна в кругу самых старых и почетных гостей. Он только было начал рассказывать этим почетным гостям, в числе которых находились осовецкий управляющий Ясмонт и арендатор Гецолд, историю о двенадцатом годе и об офицере Франусе, замерзшем у порога родного дома, как вдруг внучка бросилась к нему и чуть не на руках подняла его с табурета.

— Пойдем домой, дедушка, пойдем домой! Хватит нам тут гостить да пировать... пора нам под собственную кровлю убираться...

Прильнув лицом к его высохшей руке, она нежно ее поцеловала, а потом, крепко обняв старика, прижала к себе и повела в усадьбу.

— Пойдем, дедушка, пойдем в свою хату! Я тебя раздену, в постельку уложу... песенкой тебя убаюкаю... миленький ты мой, единственный, дедушка мой старенький...

Чем дальше уходила она от усадьбы Фабиана, тем жалостней причитала над своим старичком, и слезы, как четки, падали на его кафтан и седую голову.

А на зеленой улочке одни только Обуховичи еще недовольно ворчали, сожалея о столь прекрасной, но — увы! — упущенной возможности повоевать. Младший Обухович даже признался младшему из братьев Семашко, что прошлой ночью ему снилось, будто он рвет с дерева груши, и он был уверен, что на этой свадьбе будет драка. Между тем по всему видно, что все сойдет мирно. Зато Лозовицкие, всегда отличающиеся, несмотря на кичливо подкрученные усы, миролюбием, а также Стжалковские, люди положительные, поздравляли себя и других с благополучным окончанием дела. Только хамы, говорили они, ни с того ни с сего лезут в драку, а в хорошей компании такие перебранки да еще, боже упаси, побоища совсем неприличны.

Между тем новое обстоятельство отвлекло всеобщее внимание от недавнего происшествия. Со двора опрометью прибежал Юлек, вокруг которого с радостным визгом прыгал Саргас, и заорал во все горло:

— На Неман! На Неман! Все на Неман пожалуйста, лодки готовы, стоят у берега, со всего поселка собраны! На Неман!

Никогда еще Юлек не был так возбужден и так стремителен в своих движениях. Копна его рыжих волос развевалась, глаза светились каким-то кошачьим блеском. Он просил всех к себе, в свою стихию, где мог играть такую же важную роль, какую играли на вечеринке распорядители танцев. Вместе с ним просил гостей на Неман и Саргас, который, как шальной, бросался из стороны в сторону, визжал и отчаянно махал хвостом.

Девушки первыми сочувственно откликнулись на предложение Юлька.

— Поедем! Поедем! С пением! Пан Михал! Пан Владыслав! Пан Заневский! Пан Ясмонт! Пан Богатырович! Поедем кататься! С пением поедem! На Неман! На Неман!

Женским голосам отвечали мужские:

— Я здесь! Иду! бегу! К вашим услугам! А кто с кем? Панна Казимира! Панна Цецилия! Панна Антонина! Панна Мария!

И множество других имен и фамилий звенело в воздухе над росистой травой, над оголенным, поредевшим садом и рощами, но, заглушая все оклики и ответы, со всех сторон несясь возглас:

— На Неман! На Неман!

В этой сумятице голосов кто-то могучим басом затянул:

За Неман уйду...
Зачем же за Неман?
Иль луг там богаче?

С высокой горы, чуть озаренные робким светом восходящей луны, спускались парочками бесчисленные гости. Сбегая к реке, они громко повторяли: «Неман! Неман!», а многоголосое эхо подхватывало этот возглас и далеко разносило его по темному бору и широким полям.

Ян размашисто шагал по саду, оглядывался по сторонам и, видимо, кого-то разыскивал, как вдруг почувствовал чье-то прикосновение к рукаву своего кафтана, и тотчас перед глазами его мелькнула красная ветка рябины, которая была воткнута в черную косу.

— Поедем, пани!

— Поедем.

— Только одни... вдвоем... моя дорогая пани, золото мое! В моем челноке, в котором мы ездили на Могилу.

— Да, да!

Челнок стоял у берега, около усадьбы Анзельма, скрытый в густой осоке, и только один Ян мог отыскать его. Они побежали к усадьбе, для скорости перескочив через плетень почти в том же месте, где так часто через него перепрыгивали Эльжуса и Антолька, и вскоре очутились под липами.

В одном месте ветви лип наклонялись так низко, что Юстыне пришлось нагнуться. Ян тоже нагнулся, схватил руку Юстыны, которой она из-за росы подобрала свое белое платье, и прижал к своим губам. Молодая пара побежала к берегу. А наверху, под липами, сидела другая пара и вела тихую задушевную беседу. То были Анзельм и Марта.

Каким образом и где среди шумной толпы встретились они еще раз? Старые воспоминания невольно толкнули их друг к другу. Они давно уже оставили толпу и очутились здесь, в усадьбе Анзельма. Марта долго и с любопытством осматривала дом, пчельник, сад, одно хвалила, другое не одобряла и делилась со старым другом своим опытом. Когда стемнело, они уселись под липами на траве вместе с желтым Муциком, и им казалось, что они уже все порассказали друг другу, что можно было рассказать. Но вот на бледных губах Анзельма появилась улыбка, и старик медленно спросил:

— Помните, панна Марта, как я в первый раз увидел вас в Корчине, — разинул рот, да и стою, так что все рассмеялись.

Она тихо засмеялась.

— Как мне не помнить! А отчего вы так опешили?

— Прекрасной фигурой и огненным взором вашим был поражен и ослеплен...

— Да, да, когда-то было это! — кивая головой, на которой торчал высокий гребень, прошептала старая панна.

— Да, да, было! — подтвердил Анзельм.

Потом заговорила Марта:

— А помните, пан Анзельм, сколько гостей тогда съезжалось в Корчин, какие они планы строили, какие споры вели, какие надежды были у них?

— Как покойный пан Анджей всем верховодил, а наш Ежи с опасностью для жизни помогал ему. Вечный покой даруй им... господи!.. — прошептал Анзельм и приподнял баранью шапку.

Прошло несколько минут.

— А помните, пан Анзельм, как я вам сделала кармазиновую шапочку и обшила ее серым барашком?

— А вы помните, чьи ручки на том песчаном холме надели мне на шею святой образок?

— Да, да, было и это когда-то... — повторила она.

— Да, да... и все это далеко от нас отнесли буйные ветры.

Вдруг они оба умолкли и, встрепенувшись, стали смотреть и слушать. Перед взором этих измученных людей, которые чуть не на краю могилы вспоминали единственный счастливый миг своего прошлого, открывалось зрелище потонувшей в поэзии красок и звуков природы. Луна уже высоко поднялась на небе и казалась теперь меньше и бледнее. Мягкий свет ее заливал высокую гору, бор на противоположном берегу и зеркальную поверхность реки, по которой пробегала мелкая рябь. Под воздушным бледнозолотым фонарем луны стояла как бы погруженная в воду колонна света, обращенная основанием к поверхности реки и упирающаяся в дно золотым шаром. Она беспрерывно колебалась, словно охваченная внутренним трепетом. В неверных, дрожащих пятнах света вниз по реке тихо скользя вереница лодок и челнов; разбивая зеркальную гладь, весла высекали в ней золотые, мгновенно гаснущие искры. А из челнов и лодок взлетал хор молодых голосов, то протяжно печальных, то веселых, бросая в небо, в глушь леса, на дно реки звуки старинных, давно забытых песен, дремавших в далеком прошлом и вновь воскресших. словно где-то раскрылась сокровищница песен, и из нее в эту тихую долину, отгороженную от мира высокой стеной, и на широкую, медлительную реку хлынули все вздохи, вся печаль и горечь минувших лет

и поколений. Сначала затагнули унылую песенку о бедном солдате, что шел лесом, скрываясь и частенько голодая. Потом сюда слетел дух Шопена. Откуда, какими путями, на крыльях какой любви и каких воспоминаний? Загадка! Только вдруг, облеченные в прекрасную его мелодию, поплыли слова:

Дерево на землю желтый лист роняет,
На могиле пташка поет-распевает.
Мать не знала счастья, годы проходили,
Все переменялось, а дети в могиле.

И девушка, заливаясь слезами, жаловалась на кургане, возле родника:

Как мне петь, когда родник мой
Ветры замутили?
Как мне голову не вешать,
Если мать в могиле?

А после плачущей девушки запел тоскующий изгнанник:

Ты, мотылек мой, лети далеко,
Лети далеко, в мой край родимый,
Неси ты вздох мой моей любимой,
Мою улыбку неси любимой...

Стройная, как тополь, красавица Осиповичувна, тоя посреди лодки, вся залитая лунным светом, заела:

Шумела дубрава, воины скакали,
На войну далеко с собой Яся звали:
«Садись, садись Ясек, конь готов буланый,
На кого бросаешь меня, мой желанный?»

А когда она кончила, грянул хор мужчин, и в грозной суровой мелодии прозвучала другая жалоба:

Как приятно, как красиво,
Коли сбросит конь ретивый,
Не поплачут над тобою,
Подтолкнут еще ногою.
Тут кричат: «Спасайте, братцы!»
Там: «Топчи, чтоб не подняться!»
Свишут пули, свишут пули,
Видно, смерть в бою найду я,
Буйну голову сложу я...

И еще долго, как ружейная пальба, гремела эта песня о невзгодах и утехах войны, пока не закончилась строфой беспредельной печали:

Трубят трубы: «Тра-та! Тра-та!»
Ни отца тебе, ни брата,
Ни приятеля до гроба —
Никого нет, кроме бога.

Ни на небе, ни на земле ничто не мешало широкому раздолью песен, несшихся из лодок и челнов. Они звенели серебром над зеркальной гладью реки и, подхваченные эхом, летели дальше и дальше... Легкий ночной ветерок пробежал по верхушкам сосен, и глухо шумел лес, словно духи, спавшие в его глубине, просыпались и протяжными вздохами или веселым смехом вторили когда-то знакомым и любимым напевам.

На высокой горе, под старыми липами, сидели двое, смотрели и слушали. Овеянные воспоминаниями далекого прошлого, своего и чужого, замороженные мелодией света и звуков, они сидели, словно два изваяния. Что это не статуи, а живые люди, видно было лишь по их глазам, следившим за сверкающими дорожками, которые появлялись и мгновенно исчезали, по руке Анзельма, которая машинально гладила пса, лежавшего у его ног, да еще по шумному и все более прерывистому дыханию Марты. Но вот лодки достигли сверкающей на воде колонны лунного света и безмолвно, одна за другой проплывали над отраженным в воде шаром луны, темные и тихие, легкие, точно призраки.

За колонной света, там, где река круто поворачивала за стену леса, запел чей-то звучный мужской голос:

Вышла дивчина, вишня-малина,
Как весенний цвет...

— Это Янек поет... — сказал Анзельм.

— Помните, как эту песню мы с вами вдвоем пели? — спросила женщина.

— Я потом никогда уже не слыхал такого голоса, какой был тогда у вас.

— Да, да, было когда-то! — закивала она.

А со стороны излучины реки снова неслись слова песни:

Ты пойдешь горою,
Ты пойдешь горою,
А я — долиной.

Анзельм с бледной улыбкой на губах тихо запел:

Расцветешь ты розой,
Расцветешь ты розой,
А я — калиной.

Темные губы Марты почти невольно раскрылись, и она продолжала:

Ты пойдешь тропюю,
Ты пойдешь тропюю,
А я — лесами.
Смоешь пыль водою,
Смоешь пыль водою,
А я — слезами.

Настала очередь Анзельма:

Будешь госпожою,
Будешь госпожою,
В богатстве, в холе.

Но сидящая около него женщина закашлялась и уронила голову на колени. Анзельм прервал свою песню и стал прислушиваться. Ему показалось, что в груди его соседки клокотал не только кашель... Он взял ее за руку.

— Не надо плакать! — серьезно сказал он. — Слезами радость не вернешь... не подберешь пролитой воды... Расстались мы во цвете лет, а вновь свиделись стариками, нечего удивляться, что вспомнили о прошлом, о любви нашей. Но нам все это не к лицу... Нужно подумать о тех, что моложе, что, как молодые побеги, поднялись вокруг нас, засохших деревьев. Одно заходит, другое всходит. Может, то солнце, которое нам светило так печально, для них будет сиять радостно... Скажите мне: в самом деле панна Юстына такая хорошая девушка, какой она мне кажется? Можно ли надеяться, что она привыкнет к нашему мужицкому житию и к нашей работе? И, сохрани господь, не

сделает ли она моего Янка несчастным? Может быть, ее пан Корчинский не отдаст? Может, она и сама в последнюю минуту убежит от такой судьбы? Не попросить ли мне ее — обижать я ее не стану, зачем? — чтобы она оставила моего парня во-время, чтобы он мог еще оправиться и излечиться от своей любви?

Когда Анзельм заговорил, Марта подняла голову и, слушая его, кивала. Она кашлянула еще раз и ответила:

— Правда! Честное слово, правда! Вспомнила бабка девичник... Глупость, да и только. Мужчины всегда разумнее бабы. Правда! Что нам за польза плакать и тосковать? Лучше поговорим о молодых...

В это время в хате Фабиана, окна которой просвечивали сквозь ветви тополей, царила страшнейшая кутерма. Час назад Фабиан отыскал в саду Витольда, с низким поклоном взял его под руку и повел в дом.

— Важное дело, важное дело, — твердил он, — поэтому я и осмеливаюсь помешать вашему веселью... Мы, старики, хотим просить вас... очень важное дело!

Когда он, низко кланяясь, смиренно приглашал Витольда, в голосе его слышалось волнение, однако усы его попрежнему топорщились под носом. Витольд поручил Марыню заботам сестер Семашко, которые, держась за руки, ходили в сопровождении Домунта, и, с любопытством взглянув на хозяина, с готовностью последовал за ним.

В горнице, несмотря на открытые окна, было жарко, как в бане. На трех столах, еще заставленных всякой снедью, горели маленькие лампочки, и в скупом их свете смутно мелькала мозаика множества лиц и рук. Сразу можно было разглядеть только фигуры людей, которые стояли, прислонясь к стене, или сидели за столами, широко расставив локти и шевеля пальцами и усами. И только спустя немного из этой сплошной мозаики начинали выделяться лысые, седые и седеющие головы, покрасневшиеся потные лбы и землистые или желтые, точно рыжики, лица. Как и среди молодежи, веселящейся на гумне и на Немане, пьян здесь никто не был, но от нестерпимой жары в горнице и от чарок меда

А со стороны излучины реки снова неслись слова песни:

Ты пойдешь горою,
Ты пойдешь горою,
А я — долиной.

Анзельм с бледной улыбкой на губах тихо запел:

Расцветешь ты розой,
Расцветешь ты розой,
А я — калиной.

Темные губы Марты почти невольно раскрылись, и она продолжала:

Ты пойдешь тропюю,
Ты пойдешь тропюю,
А я — лесами.
Смоешь пыль водою,
Смоешь пыль водою,
А я — слезами.

Настала очередь Анзельма:

Будешь госпожою,
Будешь госпожою,
В богатстве, в холе.

Но сидящая около него женщина закашлялась и уронила голову на колени. Анзельм прервал свою песню и стал прислушиваться. Ему показалось, что в груди его соседки kloкотал не только кашель... Он взял ее за руку.

— Не надо плакать! — серьезно сказал он. — Слезами радость не вернешь... не подберешь пролитой воды... Расстались мы во цвете лет, а вновь свиделись стариками, нечего удивляться, что вспомнили о прошлом, о любви нашей. Но нам все это не к лицу... Нужно подумать о тех, что моложе, что, как молодые побеги, поднялись вокруг нас, засохших деревьев. Одно заходит, другое всходит. Может, то солнце, которое нам светило так печально, для них будет сиять радостно... Скажите мне: в самом деле панна Юстына такая хорошая девушка, какой она мне кажется? Можно ли надеяться, что она привыкнет к нашему мужицкому житью и к нашей работе? И, сохрани господь, не

сделает ли она моего Янка несчастным? Может быть, ее пан Корчинский не отдаст? Может, она и сама в последнюю минуту убежит от такой судьбы? Не попросить ли мне ее — обижать я ее не стану, зачем? — чтоб она оставила моего парня во-время, чтобы он мог еще оправиться и излечиться от своей любви?

Когда Анзельм заговорил, Марта подняла голову и, слушая его, кивала. Она кашлянула еще раз и ответила:

— Правда! Честное слово, правда! Вспомнила бабка девичник... Глупость, да и только. Мужчина всегда разумнее бабы. Правда! Что нам за польза плакать и тосковать? Лучше поговорим о молодых...

В это время в хате Фабиана, окна которой просвечивали сквозь ветви тополей, царил страшнейшая кутерьма. Час назад Фабиан отыскал в саду Витольда, с низким поклоном взял его под руку и повел в дом.

— Важное дело, важное дело, — твердил он, — поэтому я и осмеливаюсь помешать вашему веселью... Мы, старики, хотим просить вас... очень важное дело!

Когда он, низко кланяясь, смиренно приглашал Витольда, в голосе его слышалось волнение, однако усы его попрежнему топорщились под носом. Витольд поручил Марыню заботам сестер Семашко, которые, держась за руки, ходили в сопровождении Домунта, и, с любопытством взглянув на хозяина, с готовностью последовал за ним.

В горнице, несмотря на открытые окна, было жарко, как в бане. На трех столах, еще заставленных всякой снедью, горели маленькие лампочки, и в скупом их свете смутно мелькала мозаика множества лиц и рук. Сразу можно было разглядеть только фигуры людей, которые стояли, прислонясь к стене, или сидели за столами, широко расставив локти и шевеля пальцами и усами. И только спустя немного из этой сплошной мозаики начинали выделяться лысые, седые и седеющие головы, раскрасневшиеся потные лбы и землистые или желтые, точно рыжики, лица. Как и среди молодежи, веселящейся на гумне и на Немане, пьян здесь никто не был, но от нестерпимой жары в горнице и от чарок меда

или пива, умеренно попиваемого в течение целого дня, лица у всех горели огнем. На грубой, шероховатой коже, лоснившейся от пота, со скульптурной отчетливостью выступали все бугорки, все морщинки, борозды и складки, перекрещивающиеся в любых направлениях, тонкие, как волосок, или толстые, как палец.

Жизнь давно уже избородила этих людей своим плугом, охладила потоками холодной воды, и они сильно поостыли и отяжелели, но в минуты волнения еще могли вспыхнуть и загореться. Так они вспыхнули и загорелись, когда в горницу вошел Витольд. Множество рук протянулось к нему, чтобы пожать ему руку, и множество голосов одновременно заговорило:

— Мы тут выбрали вас своим посредником и ходатаем!

— Судьей!

— Заступником!

— Через вельмож к королю, через святых к господу богу, а через сына к отцу... — начал Фабиан.

— Вы нас рассудите и решайте — жить нам или помирать, — перебил кто-то другой.

— Бывает, в одном гнезде разные птицы выводятся, и, хоть отец ваш выказал себя гордецом и обидчиком нашим, вы показали себя нашим другом и братом...

— С добрым человеком и уговор добрый, — буркнул кто-то из угла.

— Правильно, а как же! Перед добрым человеком и смириться не стыдно! — поддакнул Валенты Богатырович.

А Апостол, заглушая своим заунывным голосом все другие, благочестиво воскликнул:

— Иисуса перед господом богом, а вас перед суровым соседом почитаем молельщиком нашим!

Витольд, не понимавший сначала, зачем его пригласили, нахмурился. Порывисто выступив из толпы, он уселся на стол и, окинув с высоты обращенные к нему лица, громко сказал:

— Я с вами и слушаю вас! Благодарю, что позвали меня... — Лицо его вспыхнуло. Он невольно вскинул вверх руку: — И да буду я таким же сильным в дости-

жении своей заветной цели, как сильна моя любовь к вам!

Перебивая друг друга, одновременно заговорило человек пятнадцать, но изложить дело взялся Фабиан, и шум затих.

Дело это было старое, начавшееся еще со времен юношеских увлечений Бенедикта Корчинского, и скопилось из множества мелких обид и столкновений, как из мельчайших атомов скапливается грозовая туча. Надо сказать по справедливости — и Фабиан не отрицал этого, — что не один раз правда была на стороне пана Корчинского и не один раз терпел он от своих соседей, может быть и вынуждаемых горькою судьбою, всякие убытки и неприятности. Но против всякой болезни бывают свои лекарства, а лекарства пана Корчинского ой-ой как дорого стоили его соседям. Из-за всякой мелочи, из-за всякого пустяка — иди в суд; за колосок снопом, а за сноп скирдом расплачиваемся. Пробовали соседи поговорить с ним по душам, окончить дело миром, — не помогло. И не потому не хотел мириться пан Корчинский, что любил сутяжничать, — все видели, как это ему неприятно, — а потому что жадность его обуяла, потому что он презирал бедных, за людей считать их перестал.

Фабиан подбоченился и начал крутить свои щетинистые усы.

— Прошу прощенья, что я перед сыном так говорю об отце!.. — воскликнул он. — Но, видя в вас единственную нашу надежду, открою вам всю душу. Суров лицом пан Корчинский и на язык дерзок...

— Всегда волком на нас смотрит, — перебил кто-то другой. Голоса снова смешались, поднялся шум и крик.

— Злобными словами душу сечет — хуже, чем розгами!

— Будто язык у него заболит от доброго слова...

— А как знать? Лаской-то он, может быть, скорей бы нас заставил добро его беречь, нежели битьем!

Апостол, поблескивая темными очками из-за леса рук и голов, воскликнул:

— Ибо из праха земного господь сотворил род человеческий!

Фабиан, снова повысив голос, заглушил остальных.

— Но всякому терпению приходит конец! — кричал он, утирая пот со лба и щек. — И мы стали на пана Корчинского посматривать искоса. Недаром говорят: «Как аукнется, так и откликнется!» Повели мы войну против пана Корчинского и, видит бог, верили в свою правоту...

Витольд, непринужденно сидевший на столе, возвышаясь над окружающей его толпой, вдруг беспокойно заерзал, видимо потеряв терпение.

— Дорогие мои, — закричал он, — чего же вы от меня хотите? Чем я могу вам помочь? Отпустите меня!..

Он нахмурился и хотел было соскочить со своего высокого сиденья, но его обступили еще тесней, а Фабиан схватил его за руку.

— Убей меня бог, если я хотел вас обидеть хоть одним словечком! — закричал он в испуге.

Другие тоже стали его просить, чтобы он выслушал их и постарался спасти.

Витольд остался, но лицо его сразу изменилось, утратило свое беззаботное выражение, точно он постарел на несколько лет. Он слушал или, вернее сказать, вслушивался в то, что ему старались объяснить. Ему показывали какой-то старый, пожелтевший, почти истлевший план, который Фабиан нашел на чем-то чердаке, в каком-то заброшенном ящике. На этом плане ясно, как божий день, было видно, что большой выгон между такими-то и такими-то границами должен принадлежать не пану Корчинскому, а Богатыровичам. Ого! Если б им присудили этот выгон — вот тогда они зажили бы как следует и показали бы соседу, что иногда и слабый овод может до крови закусать сильного коня!

Фабиана последнее, кажется, больше заинтересовало, чем первое. Он подбивал начать процесс, но подбивал не более восьми-деяти человек. Эти за всех подставляли голову и развязывали мошну; остальные от страха попрятались в свои норы. Самые смелые были бедняками. На тяжбу нужны деньги, а денег нет, — пришлось залезать в долги. Адвокат (кто бы мог поду-

мать, что обманет?) клялся и божился, что выдержит дело, два года долл их, как корову, потом через три срока, во-время аннексации не поддал, и все продержал, но и это еще не все: нужно отплатить вдове Кортеза ~~хорошо~~ мало денег за судебные издержки, он ~~как-нибудь~~ ~~собрал~~, что ждать не будет ни одной минуты: не ~~собрал~~, ~~шля~~, денег честию — попадут под опись. А срок не за ~~много~~ рами — через две недели. Как они ни ~~бизис~~, ~~так~~ ~~ни~~ старались — денег не собрали; теперь ~~хоть~~ ~~своей~~ ~~на~~ шею накидывай. Вот они и перепугались, ~~собрались~~, что попали в непролазную трясину и что ~~для~~ ~~них~~ ~~те~~ перь нет другого спасения, кроме надежды на ~~милость~~ сердце.

В толпе послышалось сдержанное ржание. Сам Фабиан как-то подозрительно отер глаза и продолжал несвойственным ему тонким голосом:

— Господом богом клянусь, горько мне под старость канючить у богатого порога! Сам-то я уж куда ни шло, а вот других жалко, сил нет слезы выжидать! Что они, бедняги, станут делать? Хоть головой об стену бейся, проку не будет! Нужда заставляет поворотиться и просить сына, чтоб он замолвил словечко перед отцом.

Тут он горько расплакался, но, устыдясь своего милoduшия, поспешно достал платок и, размазывая по лицу слезы и пот, стал оправдываться прерывающимся голосом:

— Слезы в горе не грех... Собака, и та с тобой
воет...

А Апостол воскликнул:

— И придет Христос судить бедных и богатых, живых и мертвых!..

Из толпы выступил высокий худой Баленты. На его бледном лице была печать молчаливого, покорного страдания. Тихо, спокойно рассказал он о том, как вырастил семерых детей, выдал дочерей замуж, двоим сыновьям в складчину с соседями нанял учителя, чтобы обучить хотя бы грамоте. Не легко ему же это досталось, — с десяти моргов много не соберешь! Работал он так, что совсем надорвался, — грудь болит, одышка, за плугом ходить не может. И все он еще кичится. Все

не оставлял его, и люди о нем почти ничего не слышали, — так тихо сидел он в своем углу. И хоть от пана Корчинского и ему не раз приходилось слышать обидное слово, он терпел и молчал, как полагается убогому человеку перед вельможным паном. А вот теперь под старость и поглупел, — послушался добрых людей и ввязался в процесс. Что теперь будет — одному богу известно. Придется, должно быть, продать землю, денежки отдать, да и идти с сумой на паперть, коли бог так судил. А если бы пан Корчинский согласился подождать да рассрочил долг, он с помощью зятя, довольно зажиточного человека, пожалуй, и выкарабкался бы как-нибудь. А хорошо бы это было! Ведь каждому отраднее думать, что он сомкнет навеки глаза там, где в первый раз увидел свет божий, где жили его деды и прадеды...

Он не кончил. Слезы текли по его невозмутимо спокойному, терпеливому лицу, и он с такой силой тер и ломал свои черные, как земля, корявые руки, что все суставы трещали.

Витольд быстро наклонился и крепко сжал его руку, эту бедную натруженную, покрытую шишками и мозолями руку. Но тут все опять закричали. Пусть бы пан Корчинский удовлетворился тем, что выиграл дело, и не взыскивал судебных издержек, не губил бы вконец бедных людей. А уж если он не может отказаться от своих денег, пусть даст какую-нибудь рассрочку, чтобы и свои деньги получить и их не мучить, — все равно ни одна копейка его не пропадет. Кто-то отчаянно махнул рукой.

— Что зря толковать! Пан Корчинский не сделает этого! Какое ему дело — разоримся мы или уцелеем?

— Конечно. Своя рубаха ближе к телу! — горько засмеялся один.

— Три вещи на свете хуже всего, — весело сказал Стажинский, — блоха за воротом, волк в овчарне да жадный сосед за межей!

— Еще царица Савская, перед Соломоном проричавшая, возвестила, что сатана, совратитель душ человеческих, воздвигнет в сем мире царство любостыжания! — жалобным голосом воскликнул Апостол.

Но вот к присутствующим обратился сидевший за столом Стжалковский, почтенный старик из соседней деревни со строгим лицом и умными глазами, одетый в сермяжный кафтан. Он спокойно начал:

— Ни меня, ни моих односельчан это дело вовсе не касается, но я сам, как близкий сосед пана Корчинского, не раз обжигался об этот огонь. И вот что я скажу: если бы пан Корчинский относился к нам, как к людям, по-братски, то едва ли ошибся бы в расчете, — и ему лучше было бы и нам. Дело в том, что у пана Корчинского много земли, а у нас много рук; у пана Корчинского разума больше, а у нас больше силы. И он и мы — люди одного ремесла, только у него дело идет в большом размере, а у нас в малом. Вот я и говорю: никак не может быть, чтобы руки не нужны были земле, а земля рукам, сила разуму или разум силе. Не может быть, чтоб людям одного ремесла не нужно было иногда собираться вместе, потолковать о деле, обсудить, что нужно, помочь друг другу в случае нужды. Вот оно что...

Но ему не дали кончить. Слова почтенного соседа, хотя и принадлежавшего к числу наименее зажиточных, что видно было и по его одежде, пришлось собравшимся по вкусу. А главное — в минуту малодушия, когда они могли уже только плакать, слова эти вновь пробудили в них гордость и веру в себя.

— Разумеется! Верно! Правильно! — слышалось со всех сторон. — Не ложиться же в гроб из-за каждой беды. И, несмотря на наше убожество, мы, слава богу, еще кое-как живем. Только от мертвого никакой пользы не добьешься, а живой должен помогать живому. Однажды пан Корчинский перед всеми своими работниками ругал нас на чем свет стоит: и негодьями, и лежебоками обзывал, потому что ему в страдное время нужны были люди, а мы не шли к нему наниматься. Понятное дело! К чужому человеку, к этакому пану, обидчику и притеснителю нашему, а тем более к его экономам, которые будут нами командовать, мы в услужение не пойдём. Сохрани бог! Лучше терпеть голод и жить в гнилых хатах, чем идти за деньгами в египетскую неволю. А если бы мы видели в пане Кор-

чинском не чужого нам человека, не притеснителя, а друга и покровителя своего, если бы каждый мог рассчитывать, что с ним будут обращаться по-человечески... ого-го!...

Тут несколько человек засмеялись густым, раскатистым смехом.

— Тогда увидел бы пан Корчинский, какие мы лежебоки! Словно по маслу пошло бы его хозяйство, легче, чем вода в Немане течет. Те самые парни и девушки, что теперь на гумне пляшут да на Немане песни распевают, не поленились бы ходить за его добром; а если бы за это от него перепал в наши карманы грош-другой, то и ему было бы хорошо и нам не худо. Взять хотя бы те клочки земли, что у него пустуют, потому что он не может их ни удобрить как следует, ни засеять, — мы бы охотно их брали в долгосрочную аренду. Поселили бы на этих клочках своих сыновей, а уж насчет арендной платы, то об этом и беспокоиться нечего, все было бы в исправности. Ему нужны деньги на уплату долгов и разные издержки, а у нас нехватка земли, потому что делянки малые, а детей много. Такие уступки пошли бы и нам и ему на пользу. Ведь и пан Корчинский не по золоту ходит, и в Корчине не бог весть какие достатки. Людям рта не заткнешь, мало ли что толкуют!

И много еще они сделали замечаний и всякого рода предложений, обращаясь к молодому своему соседу, или судье, как они его называли. Но о чем бы они ни говорили, все под конец выражали сомнение в том, что владелец Корчина склонится к их просьбам и притязаниям и что не будет на них смотреть, как волк на баранов или как господин на своего раба.

— А я так скажу, — помолчав, снова заговорил почтенный старик Стжалковский, — зря говорит голова, что ей ноги не нужны. Что бедному, что богатому — в одиночку жить тяжело.

А Апостол проповедовал:

— Ангелы, что хотели над другими возвыситься, посрамленными пали!

Теперь, когда первое волнение улеглось, мало-помалу ко всем вернулась обычная медлительность в дви-

жениях и речах. Тише стали говорить, меньше размахивать руками. Взмолвленные люди, сбившиеся на середину горницы, понемногу разошлись и расселись по лавкам и табуретам. Подперев щеку кулаком и встряхивая головой, они продолжали толковать о трудностях их общего положения, но уже не столь бурно. Один только Фабиан не мог обрести душевного равновесия и заставить свой язык успокоиться. К тому же был он остер умом и понимал многое, что упустили или позабыли другие. Присев на краю стола, он понурил голову, скрестил руки на груди и, оставаясь в этой грустной позе, говорил еще долго, но не так горячо, как раньше.

— Будь мы еще люди пришлые, что сошлись сюда со всего света, или того, кто так враждует с нами, сюда каким-нибудь ветром занесло, — все не так горько было бы. Чужие — и чужие! А то ведь мы на этой земле триста лет сидим, а паны Корчинские владеют своим Корчином без малого полтора ста. Один у нас отец — бог, одна мать — земля-кормилица. Неужели мы хуже зверей; ведь и между зверями свой своего знает. Волк волка не загрызет, ворон ворону глаз не выклюет...

— Да кто кому теперь свой? — перебил чей-то голос.

— Оно конечно! — подтвердил Валенты Богатырович. — Вот покойник пан Анджей — тот был свой.

— Еще бы! — слышались вздохи в толпе. — Как его не стало — как будто отца родного и защитника лишились. Недолго он жил на свете, а добра сделал уйму, и без него остались мы, как бараны на убой. Ни защиты найти, ни разумного совета попросить не у кого. Отовсюду окружили нас такие рогатки, через которые шагу переступить не смей; не знаешь, как быть, куда податься. Подчас в голову приходит, что внуки наши, а то, может, и дети, когда еще народу прибавится, бросят все и пойдут на край света искать хлеба, потому что здешнего для них не хватит. Да что там! Хоть бы самим господь привел дожить жизнь по-человечески и умереть по-христиански. Пан Корчинский при всяком удобном случае то нас дураками обзывает, то говорит, что наш род идет от разбойников. Может

быть, это и не так, а может быть, здесь есть частица правды. Сами же себя винить за это не можем: и умный дураком сделается, когда его горе одурочит, и грязь скорее пристаёт к пешему, чем к конному.

Как раньше шум и крики сменились однообразным шепотом медлительно журчавших голосов, так и сейчас этот ропот растворился в молчании. Волна чувств, которую всколыхнуло порывом негодования и страха, понемногу спадала, изливаясь все более робкими жалобами, пока не улеглась в их терпеливых сердцах и не утихла совсем. Разгоряченные лица остыли и уже не лоснились от пота, но попрежнему бороздили их несметные морщины. Руки упали на колени или лежали на скатерти стола, как ломти ржаного хлеба или комья земли. Даже Фабиан притих и только время от времени еще бормотал что-то сквозь зубы, тяжело дыша и топорща усы:

— Не чужаки мы здесь... не с конца света забрели, не сорока нас сюда на хвосте принесла... Больше чем триста лет памятник наших праотцев стоит на этой земле... больше чем триста лет мы эту землю вскапываем своими руками и поливаем своим потом!.. Больших владений мы никогда не имели, никого никогда не притесняли, крови ни из кого не высасывали. Чего же ради гибнуть нам теперь ни за медный грош? Дети наши на тех клочках земли, что и нас-то с горем пополам кормят, наверно раньше времени передохнут с голоду; наши внуки, с божьего попущенья, пойдут по миру... род наш, как вода с горы, схлынет с этого места, и даже память о том, что мы когда-то жили, быльем порастет...

Через открытое окно в комнату врвался шелест тополей, а издали, с реки, посеребренной блеском луны, доносились хватающие за сердце слова песни:

А когда умрем мы,
А когда умрем мы,
Пускай родные
Вырежут на камне,
Вырежут на камне
Буквы златые.

В окнах большого корчинского дома светились только два огонька: в будуаре пани Эмилии и в кабинете Бенедикта. Просторная гостиная и еще бо́льшая столовая тонули во мраке, сквозь который начинал уже пробиваться бледный свет луны, бросая свои косые лучи кое-где на окна и на паркет.

В этом полумраке раздавались тяжелые мерные шаги, казалось — кто-то ходил в глубокой задумчивости по гостиной из одного угла в другой. Когда шагавший по комнате человек проходил мимо окна и попадал в полосу лунного света, его высокая тяжелая фигура с низко опущенной головой и уныло свисающими усами казалась такой одинокой, как будто эта комната была пустыней, а он — ее единственным обитателем.

За притворенной дверью гостиной все время слышался чей-то слабый нежный голос. Там, в будуаре, оклеенном обоями в полевые цветочки, бледная, кроткая, болезненная женщина в белом пеньюаре, полулежа на пунцовой кушетке, при свете лампы вязала что-то очень замысловатое из гаруса и шелка. Другая женщина, тоже худощавая, но более увядшая и не такая красивая и нарядная, с пластырем на щеке, читала по-французски о путешествии в страну эскимосов. Одна читала, а другая слушала описание вечных льдов, моржей, снеговых хижин, северных сияний, бесконечных полярных ночей. Время от времени обе женщины обменивались мыслями. Опустив на колени руки с вязаньем, одна из них спросила:

— Как ты думаешь, Тереня, существует ли среди эскимосов настоящая, пылкая, поэтическая любовь?

Тереса не отвечала. Она о чем-то задумалась и, вытянув свою лебединую шею, машинально щупала кончиками пальцев ноющую щеку. Тоскливые любовные мечты охватили обеих женщин; по их хрупким телам пробежала дрожь, на лицах появилось страдальческое выражение.

— Читай дальше, Тереня! — сказала пани Эмилия и глубоко вздохнула.

Тереса продолжала прерванное чтение, но спустя некоторое время снова остановилась. За окном откуда-то снизу послышались суровые, протяжные звуки хоровой песни. Пани Эмилия вздрогнула и испуганно спросила:

— Где это? Что это значит?

Тереса тоже вздрогнула, но тут же догадалась, в чем дело:

— Это, вероятно, те, что собрались на свадьбу, куда пошла и наша горничная Зося.

— Но это невыносимо, они мешают нам читать! О, что за шум! Милая Тереня, прикажи закрыть окна и опустить штору.

Окно было немедленно закрыто и завешено толстой шторой. В закупоренном будуаре, пропахшем духами и лекарствами, опять замелькали ледники, моржи, северные олени и хижины из снега.

Но человек, шагавший по пустой гостиной, при первых звуках песни остановился как вкопанный. Он остановился в самом темном углу, где его совсем не было видно, и долго стоял, должно быть, слушая, и, быть может, даже напрягая слух, ловил слова:

Шумела дубрава, вонны скакали...

Он снова заходил по комнате. О, как далеко-далеко то время, когда эти звуки и эти слова заставляли биться его молодое, горячее сердце!..

Он опять прислушался.

Мать не знала счастья, годы проходили...

Из темного угла вырвался глубокий, тяжелый вздох...

— Не было счастья... да, не было счастья...

Все переменилось, а дети в могиле...

Он вышел из темноты и вполголоса проговорил:

— В могиле! Если бы всё... в могиле!

Он не мог дольше слышать эти слова, эти звуки, которые, поднимаясь от подножья высокой горы, казалось, падали вниз с лучистой вершины, давно покинутой вершины его чистой, возвышенной, горячей юности...

Тяжелым, таким же мерным, хотя и несколько торопливым шагом он прошел через столовую и кабинет, освещенный лампой, стоявшей на письменном столе.

Эта комната была не только кабинетом, но и спальней и — странное дело — так же, как башкирия Анзельма, напоминала монастырскую келью. Как там, так и здесь вся обстановка говорила о суровой жизни, жизни, лишенной всяких наслаждений и суетных утех. Кроме железной кровати с толстым тюфяком, когда-то красивого, а сейчас совершенно вытертого ковра, большого письменного стола, нескольких стульев и старого шкафа со счетными кипгами, здесь ничего не было. На стенах висело несколько фотографических портретов да два ружья, скрещенных на медвежьей шкуре.

В открытое окно налетело множество белых надсманских мотыльков. Они летали по комнате, кружились над лампой и с распростертыми крылышками падали на бумагу и книги, разложенные на письменном столе. Бенедикт сел и начал присматриваться к этим белоснежным крылатым созданиям. Они напомнили ему о чем-то отдаленном, но необычайно важном, напомнили какой-то знаменательный момент его жизни...

Когда-то давно... очень давно... был вечер, очень похожий на этот, такой же тяжелый и мрачный. Такие же мотыльки, как сейчас, кружились около лампы и падали на счетные книги...

Он тогда что-то решил — и не выполнил своего решения, что-то должен был сделать — и не сделал... Что это такое было? Брат... сын... А! Брат... Бенедикт протянул руку и взял из-под пресс-папье письмо. Он уже читал его, но хотел прочесть еще раз. И тогда было то же самое... Письмо заключало различные советы и предложения. За долгие годы они обменялись едва ли десятком писем, и то первым писал всегда Доминик, а Бенедикт только отвечал, коротко, сухо... Да и что было ему писать?

Теперь Бенедикт опять получил письмо от брата и читал его с таким чувством, как будто каждое его слово падало на сердце расплавленным свинцом. Уже не раз приходило ему на ум, что он вспоминает о брате, просто как о знакомом, которого видел очень давно, и часто

почти забывает о его существованиях. Но постепенно он убеждался, что на самом деле это вовсе не так. Своя кровь, свое горе, свой позор! Ничего не поделаешь... Он целый час ходил по гостиной, боролся со своими мыслями, кусал губы, бесился, а теперь снова достал и начал читать это проклятое письмо, как будто хотел насладиться своими муками.

«Любезный брат!

Кажется, ты не писал мне целых три года; последнее мое *письмо* ты не удостоил ответа. Но я все-таки пишу тебе, чтобы *поделиться* моими радостями. Во-первых, я, благодарение богу, вот уже более года произведен в тайные советники, и если господь продлит мне дни, ты, может быть, когда-нибудь *поздравить меня с креслом в сенате*. *Каковы бы ни были твои* предрассудки, все-таки приятно видеть брата сенатором, а пока, мне кажется, тебе нечего стыдиться и тайного советника. Притом, в случае какой-нибудь надобности, ты всегда можешь рассчитывать на меня. Как видишь, мне повезло на службе, чем я, несомненно, обязан покойному отцу: не пройди я университетского курса, мне никогда бы не добиться такого места, какое я теперь занимаю...»

Бенедикт опустил руки с письмом на колени; губы его под длинными усами сложились в горькую усмешку, глаза уставились без мысли в пространство. Может быть, он задавал вопрос своему покойному отцу: «Правда ли это, для такой ли цели ты воспитывал его? На это ли ты рассчитывал?.. И если ты смотришь с того света, то благодаришь ли ты творца за бессмертие?»

Вторым поводом радости Доминика, которой он спешил поделиться с братом, сожалея, что так давно его не видел, было блестящее замужество его старшей дочери. Жених — полковник, для бесприданницы это блестящая партия. Сам он, счастливо продвигаясь по службе, состояния, однако, не нажил и никакого приданого за дочерью не дал. Только устроил ей великолепную свадьбу, описание которой занимало целую страницу письма. Один князь, два барона и четыре

генерала оказали ему честь своим присутствием на этом торжестве. Впрочем, еще несомненно жет, и еще один раз выйдет, наверное, и генерал на

Что же касается его сыновей, то они еще были в другой, постарше, учился в кадетском корпусе, проявлял большую склонность к военной карьере.

Затем строк двадцать занимало описание различных чечений и удовольствий, которыми была полна жизнь прошедшей зимой. Итальянская опера — вершина совершенства, а последние балы превосходили все, что было до того им виденное...

Бенедикт перестал читать и положил книгу на стол. А мотыльки мелькают и мелькают вокруг лампы и падают на счетные книги! Свежий ветерок приоткрыл открытое окно. В доме и в сердце тихо, темно, умирно. Когда это был такой же точно вечер? А! После того разговора с женой в беседке. Да, вспомнил, вспомнил! Тогда он в первый раз ясно почувствовал этот мягкий эгоизм и эту полную прелесть немощности тела и духа. И он сказал себе, что у него уже нет брата, он остался один из троих! Ну, что ж? Везде одно и то же... из троих, а пожалуй, и десяти, не обязательно братьев, а сверстников и друзей, он остался один, и было такое чувство, точно из кого-то вытекла вся кровь и лишь где-то в жилах блуждали отдельные съжившиеся и запекшиеся комочки.

Но что же именно случилось в тот вечер, который так похож на сегодняшний? Что тогда утешило его, подкрепило, приковало к этому месту? Сын! И, точно картина, выставленная из мрака на яркий солнечный свет, перед ним с изумительной ясностью предстала эта минута отдаленного прошлого... Отворятся дверь, вбегает маленькое, веселое существо и с ласковым лепетом прыгает к нему на колени. Маленькие ручки обнимают его шею, невинные, ясные глаза заглядывают в его печальные глаза, свежие детские губки разглаживают на его лице следы горя и забот.

«Витек! Ты любишь Немаи? Любишь этих маленьких мотыльков? Любишь бор за Немаиом, где в глуши, под тенью елей, не оплаканный никем, всеми забытый, покоится вечным сном твой дядя?»

Ребенок и тогда уже любил все это, и Бенедикт, отвернувшись от соблазнительных предложений брата, снова понес свой крест и — один из троих — остался здесь, на месте...

Что это? В соседней комнате слышатся поспешные шаги, дверь открывается, — та самая дверь, — и в кабинет вбегает стройный юноша. Опять он! Только теперь он вырос и созрел, — знать, впрок пошли ему соки родной земли. Он торопливо прошел через соседнюю комнату, но у двери кабинета остановился, достал платок и отер пылающее лицо. В глазах его было страдание, а морщины на лбу казались глубже. Бенедикт повернулся в кресле ему навстречу.

— Витольд!

Приход сына был для него неожиданностью.

— Ну, что? Откуда ты? Почему ты так раскраснелся и устал?

Витольд молча сделал несколько шагов и остановился перед отцовским столом.

— Отец!..

Он замолчал, опустив глаза, но потом решительно, хотя и тихо, добавил:

— Я пришел к тебе, отец, потому что мои уста и сердце переполнены жалобами!

— Жалобами? Чьими и на кого?

— На тебя, отец!

Глаза Бенедикта сверкнули.

— На меня? Что ж, я ограбил кого-нибудь или зарезал?

— Ради всего, что свято для тебя, отец, — вскричал Витольд, — оставь этот холодный, язвительный тон. Дело, о котором идет речь, так важно для меня... Я молод, это правда... но виноват ли я, что бог не вложил мне в грудь вместо сердца компаса со стальной стрелкой, указывающей путь к выгодам и блестящей карьере?

Взгляд Бенедикта невольно скользнул по письму Доминика.

— Ну, хорошо, — сказал он, — разве я когда-нибудь выражал желание или требовал, чтобы ты поклонялся золотому тельцу? Чего ты хочешь?

— Для себя, отец, ничего, для народа... много!

— Все это вздор! — крикнул Бенедикт, нахмутив брови и приподнимаясь в кресле. — Знаю я, где ты был, чего они тебе наговорили там! Жалуются, что я их добро захватил, шкуру с них деру, — ведь так?

— Да, отец!

— Так вот!..

Он подошел к шкафу, вынул оттуда связку бумаг и разложил их на столе.

— Смотри сюда и читай! Когда ты увидишь и прочтешь, ты убедишься, что участок земли, который они хотели оттягать у меня, всегда принадлежал Корчину... Ты должен был краснеть при одной мысли, что твой отец мог когда-нибудь и кого-нибудь ограбить... До этого я еще не дошел... Нет! Каким бы я ни был, до этого я еще не дошел. Стыдись...

Руки и голос пана Бенедикта дрожали, когда он развертывал на столе план Корчина и читал выписки из старинных актов.

— Ну, что, не стыдно тебе? — спросил он, окончив свое объяснение.

— Нет, отец! — ответил Витольд.

— Как? Ты еще не убедился?

— Я и прежде был уверен, что тебе никогда не могло прийти в голову присвоить чужую собственность.

— Ну, так в чем же дело? Кто же виноват в таком случае?

Витольд заложил руки назад и, смело глядя отцу в глаза, ответил:

— Ты, отец!

— Глупая шутка! — вспыхнул пан Бенедикт. — Этот темный, ничего не смыслящий народ верит всякому пройдохе, которому вздумается сделать из них дойных коров... Сколько они уже вреда мне причинили...

— Прости, отец, — перебил Витольд, — почему же этот народ глуп и темен? Откуда явилась у него такая жадность, такая вражда?.. Разве во всем этом нет ничьей вины, кроме его собственной?

Самая ли суть этого вопроса или звенящий голос, которым он был произнесен, поразили пана Бенедикта, но он опустил в кресло и проговорил неуверенным тоном:

— Почему? Отчего? Эх, если бы у всякой свалившейся на нас напасти можно было спросить: откуда? почему? за что?

— Вот мы ее и спрашиваем, — подхватил Витольд. — Да, отец, спрашиваем, напрягая все силы нашего ума и сердца, и она иногда отвечает нам. Та напасть, о которой мы сейчас говорим, дала нам такой ответ: «Породили меня вековые заблуждения и ненависть: искоренить могут свет разума и любовь...»

Сейчас все, что он почерпнул из книг и от людей, все, что вложила в него природа и, разъяснив, подтвердила наука, полилось из его красноречивых, дрожащих от волнения уст. Он обрисовал в общих чертах те демократические идеи и теории, осуществление которых могло, как казалось ему, возродить мощь народов и прежде всего его родины. Опору для самых возвышенных мыслей и стремлений, которых достигло человечество за долгие века упорного труда, он видел в равенстве и братстве людей, в необходимости соединить в одну цепь отдельные звенья усилий, доселе разделенных жадностью, завистью, невежеством. Это и только это могло спасти человечество от кровавых страданий, которые родились на почве, вспаханной злобой и насилием, и лесом протянутых к небу рук взывали о мщении.

Эти теории имели для него столь неотразимое очарование, что, говоря о них, он казался вдохновленным свыше. Однако лицо его омрачилось тревогой, когда от отвлеченных теорий он перешел к повседневной, жгучей действительности. Он рассказывал обо всем, что видел и слышал там, откуда теперь явился; повторил все просьбы, с которыми его сюда прислали, все обвинения и жалобы, которые звучали в его ушах и жгли ему сердце.

Бенедикт слушал, не прерывая, и никто не мог бы отгадать, какие чувства пробуждала в его преждевременно измученной, отравленной жизнью душе горячая речь юноши. Он молчал, как могила, и, как в могиле, в нем совершались какие-то таинственные и мрачные процессы. Все то, что он испытывал, слушая сына — был ли это стыд, злоба и гнев, — все равно причиняло

ему страдания, и, страдая, он чувствовал, что от этих пылких слов в груди его поднималась какая-то сладостная, певучая волна, когда-то хорошо знакомая ему, но давно затерявшаяся в жизненной пустыне и как будто теперь вновь возвращающаяся к нему.

В мрачную комнату долетали отдаленные, очень слабые отголоски песен, звеневших над серебристой гладью Немана; белые мотыльки с едва заметным трепетанием крылышек падали на счетные книги и развернутый план Корчина. Время от времени пан Бенедикт поглядывал на план и тогда замечал распечатанное письмо Доминика, отброшенное на край стола. И всякий раз, когда взгляд его останавливался на этом письме, губы, с которых уже готово было сорваться гневное слово, плотно сжимались, и он молчал; с омраченным взором, низко опустив голову, со все возрастающим, почти болезненным напряжением он вслушивался в речь своего сына.

А Витольд, лицо которого выражало глубокое страдание, продолжал:

— Ты ни о чем этом не знал, отец? Ведь правда, не знал? Об их невзгодах, нищете, заброшенности... о том, как они осуждают тебя... о тех добрых чувствах, которыми они готовы отблагодарить тебя за малейшее твое доброе дело, за ласку, за луч света, — ведь ты не знал обо всем этом? Скажи, умоляю тебя, скажи, что это только неведение... Как они вспоминают дядю Анджея... за любовь, с которой он относился к ним, за то, что он будил в них душу человеческую... Как они его вспоминают! Но ты не знал об этом, не думал... и только потому...

Витольд вдруг замолчал. Он провел рукой по бледному лбу и прислонился к стене, где на медвежьей шкуре тусклым блеском отсвечивали стволы двух скрещенных ружей.

Бенедикт, не поднимая глаз, казалось все еще слушал и ждал.

— Ну, что же? — глухо отозвался он. — Что дальше? Говори... судья мой. Я слушаю. Я готов выслушать твой приговор. К смертной казни ты приговоришь меня или только к каторге?

В этих словах звучала бесконечная горечь, но Витольд ее не почувствовал и только уловил иронию. Глаза его вспыхнули. Он задрожал и опять выпрямился.

— Ты не имеешь права так шутить над моими лучшими чувствами! Пусть я молод, что из этого? Нам, детям черной ночи, как солдатам во время войны, каждый прожитый год должен засчитываться по крайней мере за два! Под зноем страданий мы быстро созреваем!..

Не то с удивлением, не то с иронией пан Бенедикт переспросил:

— Страданий? И ты, ты тоже страдал?

— А ты думаешь, отец, те, в ком бурлит молодость, готовая каждую светлую минуту брызнуть весельем и смехом, ничего не понимают, не видят, что творится вокруг, не чувствуют содроганий поруганной гордости, не знают сострадания, которое терзает их души, не испытывают тревоги за самое дорогое, что громко вызывает о спасении, заставляя искать пути к нему в самых глубинах мысли и у самых вершин подвига! Если ты так думаешь, взгляни на наши лица, увядающие на заре жизни, в преждевременно угасшие глаза, утомленные лицезнением истины, постарайся увидеть то, чего никто не видит, — все скорби и обиды, все тщетные порывы и проклятия, которые бушуют у нас в груди! Да, я молод, но я уже настолько созрел, чтобы задуматься над вопросами: отчего? зачем? для чего? А от таких вопросов юные души рано мужают...

Теперь в глазах Бенедикта появилось выражение полнейшего недоумения. Неужели этот мальчик, этот ребенок уже прикоснулся к источнику страданий, из которого так давно уже пьет он. Пан Бенедикт припомнил, что его не раз поражали какие-то тени, мелькавшие на лице Витольда и омрачавшие веселый блеск его глаз, и первые следы морщин на лбу, который должен был бы сиять блеском веселого утра и юности.

Он поднял голову и начал всматриваться в лицо сына. Да, это действительно было дитя бурного дня и темной ночи. Никогда в ясную погоду цветок не раскрывает с такой мучительной поспешностью своих пурпуровых чашечек. Видно было, что этот разговор с отцом

причинял юноше невыразимую боль, но на это страдание толкала его сила убеждения и чувства. Он поднял руку с тонкой и хрупкой кистью, какая бывает только у людей, предающихся возвышенным мечтам, но кисть, рая в порыве страсти сжимается с неменьшей силой и упорством, и провел ею по бледному, омраченному страданиями лбу, прикрывая горящие веки.

— Тяжело... страшно... страшно мне говорить с тобой так, отец. С одной стороны — ты, с другой — то, что для меня дороже тебя, дороже себя, дороже всего на свете. Да и не я один нахожусь в таком положении. Что заронило нам в сердце бесконечную любовь ко всему малому и беззащитному, к кротам, роющим в земле, — такую любовь, что мы готовы идти и идем в их тесные, темные норы, хотя бы это грозило нам неминуемой гибелью? Что не дает нам возможности вести спокойную жизнь среди роскоши и удовольствий, что заставляет нас бежать, спасать, утешать, учить, будить и воскрешать? Что породило все это? Движение века? Взволнованное море человеческой мысли, по которому мы блуждаем в утлой ладье? Или другое море — море человеческих страданий, которое заливают нам сердце, рано открывает глаза на все живущее и пробуждает в нас бесконечное сочувствие ко всем страждущим? Но это сочувствие, эти святы для нас идеи вместе с кровью кипят в наших жилах, управляют нашим мозгом, бьются в такт с нашим сердцем. В них наше страдание и наша надежда. Какая надежда? Но ты, отец, запрещаешь называть ее... Здесь нельзя упомянуть ни одного священного имени, чтобы оно не привело за собой бледного призрака позорного страха. Этот вечный страх, эта осторожность рабов, которых пугает даже звон их цепей, это равнодушие ко всему, что не сулит материальных выгод, это отсутствие любви к земле и людям...

— Витольд!

Этот крик пана Бенедикта вырвался с такой болью и гневом, что юноша сразу умолк и опустил голову.

— Я знаю, отец, что я был чересчур самонадеян и дерзок, — заговорил он немного погодя странно изменившимся голосом, — я воздвиг, должно быть, между нами крепкую стену, которая будет разделять нас, пока

я жив. Но если я умру у твоих ног, ты ведь простишь меня... простишь, да? И опять будешь любить, как любил когда-то? Только умершему сыну можно простить такую самоуверенность и такие оскорбления. Что-то против моей воли толкает меня туда, в могилу...

Он говорил тихо, но решительно; потом так же тихо и решительно снял со стены одно из ружей.

Бенедикт вскочил, бледный как полотно, и в мгновение ока схватил его за руки.

— Сумасшедший мальчишка, что ты делаешь? Да почему бы и не так? Ты и на это способен! Это стало среди вас какой-то заразой. Десятки юношей пускают себе пулю в лоб! Ах, ты! Такая умница, а в голове ветер!.. Ох, уж эти идеи... да идеалы... они даже дураков на такие дела толкают... Боже милосердый!..

Он вырвал у него из рук ружье, которое сам зарядил сегодня в его присутствии, и повесил на стену. Потом схватил обе руки сына и крепко, изо всей силы сжал их в своих сильных руках. Внезапно его охватили дурные предчувствия; глаза его расширились, а побледневший лоб, над которым волосы поднялись дыбом, покрылся крупными каплями пота. В эту минуту его темное, усатое, изборожденное морщинами лицо было почти страшно. Вытянув шею, он, не отрываясь, смотрел на сына широко раскрытыми, помутившимися от ужаса глазами.

— Да знаешь ли ты? — шептал он. — Знаешь ли? Или, может быть, не знаешь? Ну, так я знаю... видел... Погибнешь ты... слышишь?.. С запальчивостью своей, со своей горячностью... погибнешь!..

Еще крепче сжимая руки сына, он повторил несколько раз:

— Погибнешь! Погибнешь! Неминуемо погибнешь!

И с глубоким вздохом пан Бенедикт закончил:

— Боже! Боже!

Много лет назад, в хате Анзельма, с таким же вздохом и отчаянием он призывал имя божие. Но теперь из мрака, который застилал его глаза, послышался тихий, мягкий, нежный голос:

— Отец, не бойся и не жалея, если твой сын погибнет в жертвенном огне, при блеске утренней зари, на

светлой дороге к будущему. А те, что погрязли в глубинах эгоизма и тупости, в наслаждениях тела и нищете духа... разве они не погибли?..

Бенедикт о чем-то думал, вспоминал. Вдруг мысли его как-то сразу перенеслись от брата, который добился чинов, обеспеченной жизни и был доволен и горд этим, к тому, кто с кровавой раной на молодом челе давным-давно уже спал в сырой земле старого бора. Бенедикт долго смотрел на сына, потом выпустил его руки и прикрыл глаза ладонями.

— Моя кровь! Моя молодость! Волна, которая несла нас... возвратная волна...

Опустив голову и закрыв лицо руками, он, шатаясь, подошел к столу.

— Возвратная волна! Возвратная волна!

В голосе его звучал гнев и... восторг.

Он оперся рукой на стол и гордо вскинул голову. Лицо его странно изменилось, влажные от слез глаза глядели мечтательно.

— Слушай, — тихо сказал он, — если вы думаете, что вам первым пришли в голову эти возвышенные идеи, что вы первые начали любить и землю, и народ, и справедливость, то вы жестоко заблуждаетесь...

Он остановился на минуту; так давно не говорил он таким языком, что вынужден был подыскивать соответствующие выражения. Но возвратная волна приносила к нему вновь то, что было отнято жизнью, и будила в нем старые чувства.

— И наши уста когда-то повторяли призыв поэта: «О, дай мне, молодость, крылья!»¹, и мы когда-то стремились душой и к светлым зорям, и к новым путям, и к пламенным подвигам. Народ!.. Для вас ли одних он был кумиром? И нас тянуло к нему, и мы возлагали на него все надежды, на руках своих старались поднять его и все, что было у нас, и самих себя повергали к его ногам... Мы готовы были собственной кровью смыть следы несправедливости и обид, причиненных нашими отцами... А земля! Боже милосердый! Ребенком, маль-

¹ Строчка из известного стихотворения Адама Мицкевича «Ода к молодости».

чиком, юношей я до безумия любил на ней каждую былинку, каждую каплю росы, каждый камушек... Так мог ли я быть врагом тех, что родились на ней? Да разве я один!.. Таких немало было! Даже вспомнить смешно! Молодые мудрецы, поэты... рыцари, апостолы... животворные возвышенные мечты... великие надежды... энтузиазм — все как в воду кануло! И вспомнить смешно!

Пан Бенедикт засмеялся, но глаза его были полны слез.

— Слушай! — продолжал он дрожащим голосом, но попрежнему с высоко поднятой головой. — Упрекать Корчинских в презрении к идеалам, в недостатке любви к... к... ним никто не имеет права. Один из них заплатил жизнью... другого они завели туда, где он потерял честь и человеческую совесть, третий... третий прожил жизнь, завидуя тому, кто лежит в могиле.

Только теперь слезы, давно подступавшие к горлу, хлынули у него из глаз и потекли по морщинистым щекам. Он махнул рукой, упал в кресло и широкой ладонью закрыл лицо.

Витольд жадно всматривался в отца, стараясь понять, что заставило его во время их разговора так сразу переродиться. Однако ему не пришлось долго ломать себе голову. Как струя кипящей влаги вдруг с шумом вырывается из плотно закрытого сосуда, так неудержимым потоком полились жалобы, гнев и горечь, наполнявшие старое измученное сердце.

По природе пан Бенедикт не был ни скрытен, ни молчалив. Было время, когда по всему старому корчинскому дому гремел жизнерадостный голос юноши, который то бросал в собиравшиеся сюда толпы людей горячие призывы, то давал распоряжения, то спорил, убеждал. Но потом... потом время совсем уредило его. Тысячи причин замкнули на тысячи замков его уста. Шли дни за днями, годы за годами, — он молчал и, наконец, и с самим собой перестал делиться тем, о чем прежде говорил со всеми. Он привык к своему молчанию. Только сегодня после разговора с сыном у него свалился с сердца камень и открылись уста. Он заговорил... Был ли это рассказ, исповедь, оправдание перед

горячо любимым ребенком, перед тем, кто только что осыпал его градом упреков, почти оскорблений?

Совість шептала, что ему необходимо оправдаться: «Объясни, объясни, почему ты стал таким, почему ты утратил то, что теперь наполняет его и что когда-то составляло и твою сущность!» А сердце твердило: «Говори! Иначе никогда не рухнет и не исчезнет стена, которая выросла между тобой и сыном, — плоть от плоти твоей, костью от кости твоей, — этим отражением твоей юности, этой возвратной волной веры, надежды, радостных и светлых снов и сладких упований!»

Бенедикт говорил и рассказывал, что творилось в нем после того, как все погубило. Старая это история. Ему кажется, что не два десятка, а две сотни лет прошло с тех пор, — так страшно все изменилось вокруг него и в нем самом. Он изменился не сразу, не вдруг, а постепенно, — как ржа разъедает лезвие зарытого в землю меча; как худеют, слабеют и отмирают лишённые движения части тела; как вечерний сумрак поглощает дневной свет; как под бременем тоски и невзгод человек впадает в уныние, слабеет и угасает...

Он мог бы найти на земле место повеселее, но не сделал этого; мог бы в грязных источниках наслаждений искать крупинки счастья, но не стал. От его чистой, светлой молодости осталось только то, что он не пошел на подлость, не стал отступником, а погрузился в труд, пусть прозаический и простой, погрузился с самоотречением монаха, ухватился за него, как утопающий хватается за обломок разбитого корабля. Но и на этот труд по временам падал с высоты какой-то светлый луч. Пан Бенедикт развел руками:

— Что же было делать? Что было делать? Со всех сторон кричали, убеждали, настаивали: «Земля! Земля!» Я и держался за землю.

Он держался за нее потому, что вырос здесь, потому, что ему хотелось поставить на своем, и потому, что он помнил о сыне.

Но, устремившись к единственной цели, он упустил из виду все остальное, как вол, который, склонив голову под ярмом, топчет одну борозду и не замечает соседних. В страстном напряжении он сосредоточил все свои

силы на этой одной цели, и ни на что другое его уже не хватало. Железо не ощущает оседающей на нем ржавчины, но человек сразу обливает слезами каждое пятно, замеченное на своей совести. Оттого, что он не мог жить так, как хотел; оттого, что в нем угасло и это желание жить по-иному; оттого, что потом над раскрытой книгой его начинало клонить ко сну; оттого, что постоянные столкновения и ссоры с людьми заставили его сторониться их, оттого, что сначала он перестал замечать, а потом и понимать отдаленные пути и стремления, волнующие мир, — в нем что-то долго рыдало. Как долго? Он не помнил, не знал, но со временем привык ко всему, и только эти незримые слезы, которых он уже не ощущал в себе, превратились в глухую и жгучую боль, поминутно вскипавшую в нем гневным раздражением и горькой обидой на людей и жизнь. И только иногда какая-то смутная, далекая надежда еще загоралась у него в сердце.

«Может быть, он? Может быть, для него... в нем... и с ним?..» — думал он о сыне.

Это была теперь его единственная надежда . . .

.

В тихом доме круглые стенные часы протяжно пробили два раза, а пан Бенедикт все еще беседовал с сыном, только уже не так, как прежде. Как в былые годы, Витольд обвил руками шею отца и горячими поцелуями стирал следы слез, которые тихо катились по морщинам загорелого, потемневшего лица пана Бенедикта. Витольд чувствовал, что теперь уже ничто не мешает ему прижаться к этой широкой груди, которая приняла на себя столько тяжких ударов и защищала — или так только казалось Бенедикту — от них нечто более важное, чем собственные интересы; юноша чувствовал, что теперь совесть не может запретить ему с любовью и глубоким уважением целовать эти грубые, заскорузлые от работы руки. Витольд понимал, что всем, что есть в нем доброго и что он ценит в себе дороже жизни, он обязан этому человеку.

— Отец! До гробовой доски, до последнего вздоха буду я благодарить тебя за то, что ты не ставил пре-

грады между мной и трудовым народом, не сою-
ждал мне пьедесталов, не воспитывал меня наслед-
ным принцем и эгоистом. Если бы не ты, меня с са-
мой колыбели избаловали бы и напичкали всякими
предрассудками. Может быть, теперь я был бы таким
же неудачным художником, как Зигмунт, или та-
ким листком пергамента, пропитанным морфием, как
Ружиц!

Бенедикт невольно улыбнулся, но прикрыл рукою
рот и проворчал:

— Ну, довольно, довольно, мальчик! Я ведь еще не
настолько поглупел, чтобы думать, будто мой сын сде-
лен совсем из другой глины, чем все люди, или чтобы
предоставить его в полное распоряжение баб, которые
сделали бы из моего дитяти красиво выкрашенную тря-
почку!

Они переглянулись с еле сдерживаемой улыбкой.
Теперь они чувствовали сильнее, чем когда-либо, как
много между ними общего и как они любят друг друга.
Достаточно было этого мгновеньяго полета и тремелькнувшего молнией воспоминания, чтобы один из
беседующих избавился от той ржавчины, которая так
долго разъедала его душу, и чтобы это освобождение стало
совершенно очевидным.

Резким движением откидывая назад голову и оти-
рая пальцем еще влажные глаза, Бенедикт воскликнул:

— Словно стопудовая тяжесть свалилась с моего
сердца, когда я все выложил перед тобой. Ты не знаешь
еще, и дай тебе бог никогда не узнать, что значит дол-
гие годы страдать молча, не видеть ни одного человека,
которому можно было бы смело открыть свою душу.
у которого можно попросить совета, утешения, помощи.
Наверно, поэтому я так и опустел и одичал. Я мечтал
не раз, что в будущем ты будешь для меня всем,
а когда нынешним летом увидел, что эти мечты, как и
все другие, рассыпаются в прах, меня охватило такое
отчаяние, что я завидовал не только Адриану, но и моему
другим, лежащим в могиле.

— Но теперь ты знаешь, что именно послужило
нас, — перебил Витольд, — и вернишь ли мне любовь и
преданность.

Он вдруг смущенно остановился и снова опечалился.

— Но только скажи мне, что ты думаешь и как намерен поступить с теми людьми?

Этот вопрос более, чем что-либо, убеждал в том, что некоторые мысли и чувства действительно никогда не покидали его, пульсируя, как кровь в жилах, и составляли, несомненно, какую-то часть, а может быть, и основу всей его жизни. Ведь даже в минуту такого глубокого душевного волнения они продолжали владеть им, и он не мог от них отвлечься. Бенедикт долго смотрел на него. Довольная улыбка блуждала под его длинными усами.

— Ну, и упрям же ты! — сказал он. — Смеешься или плачешь, спишь или бодрствуешь — все об одном думаешь, на своем стоишь! Весь в меня! Видит бог, что мне стоит держаться на своем, а поди-ка сбей меня чем-нибудь с позиции! Корчинская порода...

Он задумался, и мысли его невольно витали в прошлом.

— Когда-то мы все решили закрыть наши корчмы, чтоб отучить мужиков от пьянства. И многие закрыли. Не закрыл только Дажецкий. Анджей долго спорил с ним, но потом утихомирился, и мы думали, что он счел себя побежденным и забыл обо всем... Забыл! Но вот раз снова зашел спор о корчмах, и Анджей в этой самой столовой разгорячился до того, что запустил в Дажецкого ножом. К счастью, нож пролетел мимо. Вот какой упрямый был! Бывало, молчит о чем-нибудь целый год — кажется, успокоился, а глядишь — он опять за свое... И ты такой же.

Пан Бенедикт с минуту помолчал.

— Корчинская кровь! Дед наш, легионер, в шестьдесят с лишним лет на войну ходил... Да, вот еще, вспомнил! С ним вместе ходил на войну Якуб Богатырович, — я его уже стариком увидел, двадцать лет спустя. Он был немного помешан и все какого-то Паченку искал, который у него жену увез... и разные предания и старые истории рассказывал. Мы с Анджеем очень его любили, только Доминику надоедала его болтовня. Он равнодушнее нас относился к таким вещам,—

чересчур уж долго жил и веселился в столице. А что, жив еще старик Якуб?

Была поздняя ночь, в столовой снова пробили стенные часы, а Витольд все еще рассказывал, отвечая на бесчисленные вопросы отца. Тот спрашивал коротко, в двух-трех словах, а потом, подперев голову рукой, молча слушал сына, устремив взор в далекое прошлое. Изливаясь из сердца его сына, это прошлое нахлынуло на него, увлекло, почти опьянило. Когда, наконец, он поднялся с кресла и, привернув догоревшую лампу, подошел к окну, — уже рассветало, но пан Бенедикт чувствовал себя таким крепким и бодрым, каким, пожалуй, не был ни разу с тех пор, как миновали те далекие счастливые дни его жизни.

— Ну, ну, — сказал он, — настоящие чудеса! Точно какая-то волна со дна черного и холодного источника выбросила меня на яркую теплую мураву!.. А теперь, мальчик, спать!.. на два часа только, на два часа только, для того чтоб отдохнуть немного. Потом ты пойдешь к ним и скажешь, что я не стану взыскивать с них судебных издержек... не хочу. И сумма-то — что греха таить! — чересчур велика, и в том, что их злые люди обманывают и в грех вводят, — моя вина. Живу с ними бок о бок, а хоть бы пальцем пошевелил, чтоб помочь в чем-нибудь...

Он грустно улыбнулся.

— Анджей за это бросил бы в меня нож!.. Но ты не сиди там долго, нам нужно составить план на будущее, а потом вечером, может быть, вместе поплывем... туда...

Он запнулся.

—...ну... на Могилу!

Солнце еще только взошло, когда Витольд влетел в горницу Фабиана, где за завтраком собралось довольно много гостей, еще не успевших разъехаться по домам. Тошная и длинная арендаторша с папироской во рту и проворная Стажинская в чепце с развевающимися лентами ходили вокруг столов, потчуют гостей кушаньями,

которые по обычаю были приготовлены за их счет и их руками.

Фабиан, избавленный на это время от обязанностей хозяина, сидел среди стариков, уныло повеся нос. При виде вошедшего Витольда он вскочил и с плохо скрываемой тревогой бросился к нему. Не успели они обменяться несколькими словами, как лицо хозяина вспыхнуло радостью.

— Виват! — во всю мочь крикнул он и замахал на соседей обеими руками, словно мельничными крыльями. — Плюньте на все свои горести! Нам уж нечего бояться неминуемой гибели. Смягчилось сердце Давидово, когда узнал он, что Ионафан облекся в траурные одежды. Ангел небесный отвалил камень от нашего гроба.

При слове «ангел» он указал на Витольда.

Долго на молодого Корчинского сыпался град вопросов, ответов, смеха, благодарностей и благословений.

— Виват, пан Корчинский! Виват, посредник наш и защитник! — не переставая, кричал Фабиан. — Слава в вышних богу и на земле мир и в человеках благоволение! — молился Апостол.

— А я говорю вам: из этого посева взойдет прекрасная жатва... — послышался степенный голос Стжалковского.

Как там еще благодарили Витольда — неизвестно: может быть, обнимали его и целовали, может, предлагали ему всякие планы и давали советы на будущее, может быть, даже качали, но только выскочил он из хаты Фабиана, запыхавшийся от усталости и с огненным румянцем на щеках. Наскоро поздоровавшись с молодежью, прохаживавшейся по зеленой улице и вокруг гумна, он кратчайшим путем побегал домой и больше уже в этот день в поселке не появлялся.

Видели его только издали, как он вместе с отцом прогуливался по полям. Целый день отец и сын не расставались друг с другом. Долго сидели они в кабинете пана Бенедикта над разложенными планами Корчина, измеряли что-то циркулем, считали, а под вечер кое-кто из свадебных гостей, стоя на гребне зеленой горы,

увидел на Немане лодку; в ней сидело двое мужчин, и младший из них греб.

Причалив, оба поднялись на желтый отвесный берег и исчезли в лесу.

Свадьба Эльжуси подходила к концу. Более чем наполовину уменьшившаяся компания прогуливалась по саду и по дороге. Ворота гумна, как и вчера, были открыты настежь, и Заневские время от времени принимались пикировать на скрипке, вторя гудению виолончели, и под эту прерывистую небрежную музыку две или три пары нехотя кружились на току.

У стены, заросшей бурьяном, у плетней, во фруктовом саду и на ступеньках амбара еще велись оживленные разговоры, в волосах у девушек еще красовались яркие цветы, но кавалеры уже сняли свои белые перчатки и утратили ту бодрость и молодцеватость, с которой появились в начале свадьбы.

Приближаясь к концу, свадебное веселье угасало, становилось ленивее, громкие крики и смех сменялись постепенно затихающим гулом, в него еще врывались веселые возгласы, но чувствовалось, что вот-вот и он утонет в серой, однообразной трясине повседневных забот и труда.

Оживленнее всего было во дворе. Запрягали брички и повозки, и делали это сами их владельцы, за исключением Гецолда и Ясмонта; зато, отдавая приказания батракам, которые на это время стали кучерами, они шумели больше всех.

Первый дружка распоряжался, устанавливая порядок свадебного поезда, который должен был сопровождать молодых в ясмонтовский поселок, где находился дом новобрачных. Прежде всего Казимеж выслал на примыкавшую к полю дорогу повозку для музыкантов. За ней должна была следовать бричка для новобрачных, запряженная парой лошадей. Затем шли повозки, в которых, по обычаю, ехали родители новобрачного, две сватьи и два свата и за ними сам первый дружка. Он самолично провёл, держа под уздцы, своего прекрасного вороного коня в великолепной сбруе,

впряженного в яркозеленую бричку, не заботясь уже относительно дальнейшего расположения свадебного поезда, потому что на этот счет не существовало никаких правил. Кто пожелает или кто приглашен, поедет, как ему вздумается — впереди или позади, особняком или гуртом, — все равно. Кто не пожелает или не приглашен, останется здесь или отправится в другую сторону, не нарушая этим ни правил приличия, ни обычаев.

В самом конце поезда непременно должен ехать брат новобрачной с ее сундуками и ящиками. Если же брата нет, эту обязанность берет на себя ближайший родственник. Но у Эльжуси было несколько братьев, и везти за свадебным поездом приданое сестры должен был старший. На телегу, стоявшую посреди зеленой улички, Юлек уже поставил два пузатых зеленых сундука и, зевая по сторонам, дожидался третьего, который ему долго не давали. Новобрачная с помощью матери и обеих сватей кончала укладывать в него добро, которое везла с собой: полосатые и клетчатые юбки, фартуки, коврики собственной работы, мотки бумаги и шерсти, которую она сама напярала, и, наконец, несколько кусков тонкого и толстого домотканного полотна.

Казимеж Ясмонт, покончив с бричками, еще повертелся по усадьбе и, наконец, встал у запертых дверей дома и крикнул что есть мочи:

— А теперь, панны и паны дружки, споем новобрачной прощальную!

В одно мгновение по обе стороны двери образовалось два хора — отдельно из парней и девушек. Это были не только дружки, но и все, кто знал прощальную и хотел петь. Мужской хор, в котором отчетливо выделялись тонкий дискант первого дружки, прекрасный голос Яна и басовитое, почти замогильное гудение Домунтов, начал, скандируя, почти повелительно:

Сядь поскорее, младая!
Что же стоишь ты,
Плача-рыдая?
Плакать не гоже,
Плач не поможет:
Кони лихие,
Кони гневные
Ждут у порога...

Мужчины умолкли, будто отрубili. И в ответ хор девушек, в котором запевал звонкий серебристый голос красавицы Осиповичувы и явственно слышались слабые, но чистые голоса маленьких сестер Семашко, затянул заунывно и протяжно:

Нет, не могу я садиться:
С батюшкой милым
Дайте проститься.
Спасибо,
Батюшка милый,
Здесь в золоте
Я ходила,
Теперь не буду!

Снова грянули мужчины ту же повелительную строфу, а невеста отвечала:

Нет, не могу я садиться:
С матушкой милой
Дайте проститься.
Спасибо,
Родная matka,
С тобою
Жилось мне сладко,
Теперь не будем!

После третьего приказа садиться снова прозвучал жалобный ответ:

Нет, не могу я садиться:
С братьями милыми
Дайте проститься.
Спасибо,
Милые братья,
Что жили
В одной мы хате,
Теперь не будем!

В эту минуту дверь из сеней с треском распахнулась, и молодая, показав белый чулочек, мелькнувший из-под черного шерстяного платья, перескочила через высокий порог. Не поднимая заплаканных глаз и не взглянув на певцов, она с озабоченным видом пробежала мимо них во фруктовый сад и принялась торопливо стаскивать с травы узкие полосы разостланного по краю лужайки холста. Наскоро собрав и свернув весь холст, так и не успевший побелеть, она бегом бросилась обратно с од-

ним свертком подмышкой и двумя в руках. Все с удивлением поглядели на нее, и только Казимеж Ясмонт щелкнул пальцами:

— Шикарная хозяйка! Даже на свадьбе не забыла про холст!

Стоявший позади него Михал Богатырович усмехнулся, подкручивая кверху усы.

— А как же! Да если бы ее ангелы на небо возносили, она бы и тут посмотрела, нельзя ли еще что-нибудь подцепить на земле.

— Это не то, что панна Цецилия, которая вчера сняла у себя с шеи прекрасную ленту и подарила своей подруге, потому что на той не было ничего нарядного, — возбужденно рассказывал черноволосый Ладысь Осипович, глядя влюбленными глазами на синеоку Цецильку.

Мужчины неожиданно снова грянули:

Сядь поскорее, младая!
Что же стоишь ты,
Плача-рыдая?
Плакать не гоже,
Плач не поможет:
Кони лихие,
Кони гневные
Ждут у порога...

А девушки ответили:

Нет, не могу я садиться:
С лавками, стенами
Дайте проститься.
Спасибо,
Лавки и стены,
Что были
Белее пены,
Теперь не будут!

Спасибо,
Родные пороги,
Ступали
На вас мои ноги,
Теперь не будут!

Юлек вместе с братьями вынес из дому третий сундук, расписанный крупными цветами, и взвалил его на телегу.

На дороге, вокруг бричек и повозок, тянувшихся длинной вереницей, поднялась прощальная суматоха: послышались приглашения, поцелуи, пожелания и даже перебранка. Не так-то легко было во-время и в должном порядке всех усадить. Музыканты, никому не причиняя хлопот, первыми уселись в переднюю телегу и высоко подняли смычки, чтобы сразу и в лад ударить по струнам. Но новобрачный в последнюю минуту куда-то запропастился, и Эльжуса, успевшая уже сесть в бричку, закричала что есть силы: «Франусь, Франусь!», а когда он примчался, сурово его отчитала.

После этого арендаторша, кислая и надутая, потому что у нее не хватило папирос, отказалась садиться в бричку Стажинской, как это полагалось, и во что бы то ни стало пожелала ехать в собственной бричке вместе с мужем. С унылым и постным видом она громко доказывала, что все эти порядки и правила — пустые предрассудки и, кроме самых простых и темных людей, их уже давно никто не соблюдает. А когда, наконец, первый дружка, наговорив ей кучу любезностей и открыв полный портсигар, смягчил гордую сватью и склонил ее занять подобающее место, начались споры среди дружек, сопровождавших новобрачных: эта хотела ехать с тем, а тот с этой; тут было тесно, а там неудобно...

В конце концов Қазимеж Ясмонт вышел из себя и, когда, махнув рукой, бросил безнадежный взгляд на дорогу, лицо его вдруг просияло неопишмым счастьем.

Из глубины поселка на выходящей между плетней тропинке показалась, а затем повернула на дорогу прямо к толпе, стоявшей возле бричек, Домунтувна.

Кроме Ясмонта, никто ее не заметил, а он, позабыв о свадебном поезде, о распорядке его и вообще обо всем на свете, бросился ей навстречу. Она быстро шла, и встретились они как раз в том месте, где стояла его яркозеленая бричка с прекрасной вороной лошадкой, нетерпеливо быющей оземь изящной ногой.

Богатая «наследница» снова преобразилась. Теперь на ней было черное простое платье с гладкой юбкой и туго обтянутым лифом. В этом наряде ее пышный, могучий стан казался стройнее. Загорелую шею, видимо в знак печали, обвивала, падая на грудь, траурная

ленточка. Туго заплетенная коса, обрамляя лицо, менее румяное, чем обычно, сияла, словно венок из спелой пшеницы, а синие глаза смотрели из-под соболиных бровей и покрасневших век рассеяннo и печально. Подойдя к ней, Ясмонт сорвал с кудрявой головы синюю шапочку и приветствовал девушку поклоном и ласковым взглядом.

— Обманывает ли меня тщетная надежда, — начал он, — или вы вправду задумали пуститься с нами в путь?

Опустив на черное платье красные руки, она вежливо присела перед ним.

— Благодарю за приглашение, — ответила она, — да мне сейчас не до веселья. Рожь еще не обмолочена на семена, и за дедушкой надо присмотреть. Что-то он прихворнул.

И она снова окинула рассеянным взглядом толпу, как будто кого-то разыскивая. Она была вежлива, тиха и мягка и даже говорила вполголоса. Ясмонт указал на свою бричку.

— Если бы вы удостоили мою колымагу такой чести и поехали в ней вместе со мной, это, полагаю, послужило бы на пользу вашему здоровью. Не тряская... как на рессорах.

— Спасибо. Дедушку-то мне нельзя оставить...

Он огорчился и с минуту раздумывал.

— А если бы я когда-нибудь осмелился приехать туда, где с этой минуты все мои мысли обитают, могу ли я надеяться, что примут меня не слишком сурово?

Она снова присела.

— Отчего же? Дедушка всегда рад гостям.

— Но не причиню ли я вам беспокойства?

— Нисколько! Отчего же? Я никогда не против личной компании.

Только он начал рассыпаться в признательности за позволение бывать у нее, как из бричек, телег и повозок донеслось множество зовущих его голосов. Все, наконец, расселись по своим местам, но не могли ехать без первого дружки. Он успел лишь поцеловать Ядвиге руку и, пробегая мимо ее братьев, шепнуть:

— Шикарная панна! Ей-богу, такой ~~ведикольный~~ талии и таких дивных глаз сроду не видала.

Он вскочил в свою майскую бричку и крикнул:

— Вот так так! Никто со мной не захотел поехать, остался я сиротой одиноким! Ладно же! Буду сам себе господин.

Усевшись, он надел набскрень свою синюю шапочку, прикрепил к козлам совершенно ненужный кнут, ~~наткнул~~ рменные вожжи и во все горло ~~скомандовал~~:

— Музыка, валяй! Поехали, господа!

Впереди поезда застывшие в воздухе смычки упали на струны, и звуки марша, который грянули скрипки и виолончели, смешались с топотом копыт и стуком колес. Брички одна за другой сворачивали на дорогу, пересекавшую поле, а из-под каждой, словно распростертое крыло, летело в одну сторону золотистое облачко пыли. Обгоняя их, по краю жнивья гарцевало двое или трое всадников. Последней ташилась телега, нагруженная пузатыми сундуками, а на них, словно на башне, сидел Юлек и, как всегда, широко ухмылялся, открывая зубы, сверкавшие из-под густой рыжей щетины. Рядом с телегой, поминутно поднимая морду, бежал черный мохнатый Саргас и, поглядывая на хозяина, радостно лаял. Заходящее солнце золотило бледным сиянием поблекший ковер земли, вернув на мгновение былую свежесть деревьям; лазурное небо покрылось белыми полосами и разноцветными пятнами облаков.

Прошло лишь несколько минут, и на дороге, по которой только что с шумом пронесся свадебный поезд, снова воцарилась глубокая тишина. Одни разъехались, другие, не спеша, расходились по своим усадьбам. Ян, проводив взглядом поезжан, обернулся и лицом к лицу встретился с Домунтувной.

Она стояла посреди густой заросли репейника, доходящего ей почти до плеч. На лице Яна промелькнуло недовольство. Она заметила это.

— Не пугайтесь, пан Ян. Я пришла сюда не за тем, чтоб делать вам какие-нибудь неприятности, а совсем за другим делом...

Она опустила глаза, руки ее невольно искали перед-

ник, но на праздничном платье его не было, и она стала машинально обрывать пушистый хохол репейника.

— Я за тем пришла, чтобы повидать вас и сказать, что до гробовой доски останусь вам благодарна.

— За что? — удивился Ян.

— А за то, что когда вчера все стали высмеивать меня и чернить, вы первый вступились, хотя, по совести говоря, должны были разгневаться и обидеться на меня.

— Никакой я похвалы не заслужил и никакого права гневаться на вас не имею. Я уверен, что вы просто хотели подшутить надо мной.

Ядвига залилась горячим румянцем; целый рой сверкающих пушинок выпорхнул из ее пальцев и разлетелся в воздухе. Ее смущенный, недоверчивый взгляд скользнул по лицу Яна.

— Зачем вы притворяетесь и заставляете меня лгать? Что случилось, того не воротишь, а ложью всякое дело можно еще больше испортить. Не за тем я пришла сюда, чтобы лгать и отпираться, а за тем, чтобы сказать, что у меня нет уже на вас никакого зла и что я ни на что не рассчитываю. Сердце — не слуга, ему не прикажешь. Чем вы виноваты, что для вас солнце взошло не с той, а с этой стороны? Конечно, ничем. Дай бог вам счастья, здоровья и удачи...

Снова из-под ее пальцев полетели блестящие пушинки и рассеялись по воздуху. Она подняла на своего друга детства полные слез глаза.

— От всего сердца желаю вам всякого благополучия! — прошептала она.

Ян, расстроганный и взволнованный, с жаром ответил:

— Я навсегда, если позволите, останусь искренним вашим другом и надеюсь, что и вам еще улыбнется счастье...

— Надеюсь, — тихо проговорила она, — надеюсь, что и меня господь бог не оставит...

— И, может быть, скоро пошлет вам достойного и верного друга...

Крупная слеза скатилась по ее пылающей щеке и упала на развевающиеся концы траурной ленточки, по-

вязанной на шее, но она спокойно и гордо подняла голову и еще раз повторила:

— Надеюсь, надеюсь этого дожидаться. Раз уж так определено женщине, чтобы она не оставалась на свете одна как перст, так и мне того не миновать...

— Я тоже от всего сердца желаю вам всяких благ и прошу не гневаться на меня.

— И я прошу вас не поминать меня лихом...

— Что вы! На всю жизнь останусь вашим другом...

Ядвига протянула ему руку, и он почтительно ее поцеловал.

— Ну, мне пора домой, — сказала она, — батрак молотит рожь на семена, так боюсь, как бы он без меня не поленился, да и дедушка что-то хворает!

Она медленно повернулась и пошла по тропинке вглубь поселка, а Ян долго еще провожал взглядом ее медленно удаляющуюся статную фигуру в черном платье и с толстой косой вокруг головы, как венок из спелой пшеницы.

Вдруг что-то больно кольнуло его в сердце. Он постоял с минуту и тоже пошел, или, вернее, побежал, по направлению к дому. Слушая Ядвигу, он заметил, что Юстына вошла в ворота их усадьбы и заговорила с Анзельмом. Где она сейчас? Может, уже ушла? Увидела, что он разговаривает с Домунтувной, и еще бог знает что подумала? Он в волнении остановился посреди двора. Анзельм, сгорбившись, сидел один на ступеньке маленького крылечка.

— А где панна Юстына, дядя? Она была здесь, а теперь не видно. Куда она пошла? Домой, что ли?

Старик махнул рукой в сторону реки:

— Должно быть, к Неману...

Ян пустился было бежать к реке, но голос дяди удержал его.

— Погоди-ка, Янек, послушай! Чего это ты все летаешь сломя голову, как безумный. Что из того выйдет? Что для тебя-то, я спрашиваю, выйдет из того?

Анзельм старался казаться суровым, но в словах его слышалась плохо скрытая тревога. Ян остановился, видимо пытаясь вникнуть в слова дяди, но не мог, — так ему не терпелось бежать.

— Некогда, дядюшка, после когда-нибудь, а теперь, ей-богу, некогда! — закончил он и пустился бегом.

Он остановился только на середине зеленой горы, завидев под развесистым серебристым тополем белое платье. В мгновение ока он очутился рядом с Юстыной.

— Вот испугался-то я! — сказал он. — Думал, вы домой ушли... не попрощавшись!

Юстына движением руки указала на расстилающийся перед ними вид. Бледное осеннее солнце, склоняясь к закату, расцветило скопившиеся на небе облака такими красками, каких не было даже, когда оно стояло в зените. Самый диск был задернут золотой пеленой с пурпурно-фиолетовыми краями; а выше по всему небосклону расползлись легкие, как пух, серебристые, лиловые и красные клочки облачков. И все это двигалось, словно живое, плыло, переливалось, меняло форму и окраску и, как в зеркале, отражалось в широких, прозрачных, почти неподвижных водах реки. А сама река казалась потоком расплавленного золота с грудой рубинов, опалов и аметистов, лежащих на дне, словно прикрытые стеклом драгоценные копи. В заречном бору, облитом золотистым светом, бурые стволы сосен резко отделялись друг от друга, и между ними, на серебристом фоне серого мха, даже издали можно было различить красноватые пятна увядающих папоротников. В вышине, на кронах сосен, казавшихся почти черными, скользили золотые и бледнозеленые пятна. Все замсрло, словно замороженное, в глубокой, ничем не нарушаемой тишине. Чайки, вороны и ласточки уже улетели в далекие края, другие птицы засыпали в своих гнездах, и только в широко раскинувшемся серебристом тополе время от времени что-то еще шелестело, чирикало и снова умолкало.

Ян поглядел на воду, на бор, на небо.

— Как хорошо! — сказал он.

— Как хорошо! — повторила за ним Юстына.

Взоры их встретились и снова утонули в драгоценных копиях, сверкающих у их ног. С неба и от воды лился ослепительный свет. Они стояли безмолвные, охваченные тем внутренним трепетом, который всегда знаме-

пует приближение великой минуты в человеческой жизни. Так вихрь, налетая издали, сотрясает глубь леса, и так перед восходом солнца пробегает по разбуженной земле дрожь наслаждения и страха.

То Ян, то Юстына начинали что-то говорить, но разговор не вязался: голоса замирали, слова обрывались вдруг на половине. Казалось, они хотели начать какой-то разговор, но говорили совсем не то, о чем они так жаждали сказать друг другу и не могли. Еще не могли.

На загорелых щеках Юстыны то и дело вспыхивал румянец стыда. Ян, поднимая на нее глаза, каждый раз робко или с тревогой отворачивался в сторону. Они как будто ждали, чтобы поскорее угас этот лучезарный свет, который так ясно выдавал все чувства, отражавшиеся на их лицах.

Как бы послушный их воле, свет на небе начал меркнуть, а вместе с ним и воды реки подернулись сероватой мглой, по которой только кое-где скользили фиолетовые или красноватые отблески. Деревья бора слились в одну черную, непроницаемую для глаз завесу. Прозрачный сумрак, спускаясь с далекой вышины, нежно окутывал землю; в небе одна за другою загорались звезды. Вокруг царил глубокий покой.

Вдруг среди тишины откуда-то издалека донесся протяжный крик — еще и еще раз. Кого-то звали. И как будто притаившийся в лесу шаловливый дух, соскучившись, подхватил этот крик и унес его вдаль, повторяя долго, протяжно, с серебристыми переливами.

— Эхо! — шепнула Юстына.

— Отсюда оно лучше всего слышно, — ответил Ян и, чтобы позабавить свою спутницу, громко крикнул: — Го, го, го!..

За рекой в глубине леса отдалось громко и весело:

— Го-о-го-о-о-о!

Последний звук долетел уже только протяжным прерывистым вздохом.

— А теперь и вы поговорите немножко с эхом! — попросил Ян.

Он подошел к ней так близко, что рукав его коснулся ее платья. Голос его слегка дрожал.

— Ля-ля-ля-ля! — пропела Юстына.

Игриво и певуче разнесло эхо до самого небосвода эту мелодию:

— Ля-ля-ля-ля!

И снова это было не то, что им хотелось сказать.

— Панна Юстына, — начал Ян, стараясь подавить охватившую его дрожь. — Скажите имя, которое вам дороже всего на свете! Прошу вас, умоляю, назовите того, кто вам мил!

Она стояла под тополем, замирая от волнения, серебристые листья касались ее пылающего лица. И в сгущающемся сумраке над потемневшей рекой прозвучало:

— Янек!

Бор протяжно, громко, певуче ответил трижды:

— Я-нек, Я-нек, Я-нек!

Юстына смотрела на поющий бор и чувствовала, что ее стан обвивает горячая, нетерпеливая, но еще несмелая рука. Испуганная, пылая стыдливым румянцем и растерянно улыбаясь, она повторила чуть слышно:

— Я-нек!

Но эхо не ответило на этот тихий зов, так быстро замер он на губах под горячим поцелуем. Медленно освободившись из объятий Яна, она повернулась к нему лицом, положила руки ему на плечи и с дрожью счастья, с безграничным доверием склонилась головой на его грудь.

— Моя королева, дорогая, единственная! Моя, да? Моя?

— Навеки! — ответила она.

Вдалеке, над излучиной Немана, словно выплывая из воды, поднялся огненный серп восходящего месяца; он быстро увеличивался, округлялся и, наконец, повис над рекой огромным пламенеющим диском. Звезды гасли, глубокая тишина окутала мир, озаренный мягким мечтательным светом. Под серебристым тополем шелестел тихий шепот, такой тихий, что не слышал его даже человек в сермяге и косматой бараньей шапке, сидевший на горе, под группой неподвижных лип, обратив к месяцу печальное лицо.

На другой день в Корчин наехало немало гостей. Прежде всего в довольно ранний час перед крыльцом остановилась красивая коляска, из которой выскочил Зыгмунт Корчинский и нетерпеливо спросил у встретившего его буфетного мальчика, где он может найти дядю. Пан Бенедикт был дома. Он попросил племянника в кабинет, и там тотчас же раздался громкий разговор трех лиц. Из открытого окна слышен был раздраженный голос Зыгмунта, который просил о чем-то и что-то горячо доказывал. Он пытался склонить пана Бенедикта к тому, чтобы тот уговорил пани Корчинскую если не продать Осовцы, то по крайней мере сдать их в аренду и уехать за границу. Он, Зыгмунт, решил ехать с женой месяца через два, но ему жаль оставить мать в таком нервном состоянии.

Бенедикт наотрез отказался дать невестке подобный совет и не только слышать об этом не хотел, но даже принялся строго увещевать племянника. Витольд горячился и что-то быстро и возбужденно говорил, видимо стараясь переубедить или умолить двоюродного брата.

Почти вслед за Зыгмунтом явился Кирло. Он, очевидно, гостил в Воловщине у своего богатого кузена и приехал в его изящном экипаже, запряженном прекрасными лошадьми. Почему-то, желая, должно быть, посмешить стоявшую на крыльце Леоню, он вошел на цыпочках, пробрался крадучись в прихожую и повесил на вешалку пальто, такого же фасона, какие носили Дажецкий и Зыгмунт. Потом, повернувшись к Леоне, тихо спросил, торжественно подняв палец:

— Панна Юстына спит?

Девочка отвечала, что Юстыну еще сегодня не видала. Вероятно, она давно уже встала и шьет или одевается, чтобы сойти вниз.

— Так пусть оденется полегче, — шепнул гость, — как бы ей не пришлось прыгать под потолок.

Леоня широко раскрыла глаза.

— Зачем Юстыне прыгать сегодня под потолок?

— От радости, панна Леоня, от радости! — усмехнулся Кирло. — Вот вы увидите, какая радость будет

здесь сегодня... а там, бог даст, и за свадьбу... да, за свадьбу!

Он потер руки и попросил донельзя заинтересованную девочку доложить матери о его приезде. Пани Эмилия только что проснулась и пила в постели какао, но, узнав о прибытии милого соседа, приказала просить его в будуар и торопливо накинула на себя нарядный, весь в оборках и кружевах, утренний капот.

Пан Кирло, со шляпой в руках, с туго накрахмаленной грудью белоснежной рубашки, торжественным шагом прошел через гостиную.

Вслед за тем к крыльцу подъехала бричка, простая, тряская бричка, запряженная парой шершавых лошадей, с молодым кучером в сермяге и кучей пассажиров различного пола и возраста. Тут были: женщина, у которой голова была повязана вокруг вуалю, девочка-подросток в соломенной шляпке, два мальчика в гимназических блузах и смуглый черноволосый четырехлетний ребенок. Пан Бенедикт и Витольд выбежали навстречу им. Раздеваясь в прихожей, она робким движением руки указала на окружающих ее детей.

— Простите, пожалуйста, что я явилась всем своим семейством. Мы два дня гостили у Теофиля и теперь возвращаемся от него. Я только на полчаса; нужно взять у вас Марыню и потолковать о важном деле.

Несмотря на смущение, она была, видимо, чем-то очень довольна. Наклонившись к маленькой Броне, которая, как только они вышли из брички, уцепилась за подол ее старого шелкового платья, пани Кирло вытерла ей личико платком, пригладила растрепанные волосы и, присев на пол, принялась завязывать шнурки на ее, видимо, новых башмачках.

Когда она поднялась, Бенедикт любезно пригласил ее в гостиную. Эта женщина внушала ему, должно быть, глубокое уважение, а возможно, и сочувствие.

Но пани Кирло отказалась. Она знает, что пани Эмилию утомляют всякие визиты и посещения, — она только на полчаса, ей нужно взять дочь и переговорить с паном Бенедиктом и Юстыной. Именно только с ними... Нельзя ли где-нибудь в стороне, в какой-нибудь укромной комнате?

Бенедикт предложил ей свой кабинет, но в эту минуту с лестницы уже сбегала старшая дочь пани Кирло. Она несколько дней гостила в Корчине и жила вместе с Мартой и Юстиной наверху. Веселая, свежая, как майское утро, Марыня бросилась на шею матери и защебетала о том, как она веселилась на свадьбе, танцевала, каталась по Неману и т. д.

Пани Кирло, любуясь дочерью, ласково гладила ее светлые волосы.

— Первый раз в жизни мы расстались так надолго, — обратилась она в сторону пана Бенедикта. — Ну, что ж! Это хорошо, что девочка немного повеселилась. У нас в Ольшинке жизнь однообразная, трудовая, а молодежи нужны развлечения...

Она не окончила. С лестницы спустилась Юстина, быстро подошла к пани Кирло и поцеловала у нее руку. Молодая девушка всегда относилась к ней с большим уважением и любовью, говоря, что она очень похожа на ее покойную мать, так рано скончавшуюся, но теперь поцелуй ее был особенно нежен, а в глазах светилось столько счастья и радости, что пани Кирло внимательно посмотрела на нее и, обняв ее за шею, шепнула ей на ухо:

— Ты понимаешь, зачем я сюда приехала... Теперь прочь все горести и печали! Ах, как я рада... как рада! Я так горячо желаю счастья тебе и еще кому-то... ты знаешь...

Юстина не ответила, но на ее губах мелькнула лукавая улыбка.

— Ну, а вы, дети, марш в сад! — скомандовала пани Кирло. — Пока мы будем разговаривать с паном Бенедиктом и Юстиной, посмотрите прекрасный корчинский сад. Только ведите себя тихо и прилично, чтобы не обеспокоить пани Эмилию.

Мальчики сразу же убежали, а Рузя взяла за руку маленькую Броню, чтоб увести и ее. Но девочка, подняв на сестру испуганные глаза, ухватилась обеими ручонками за материнскую юбку.

— Я тут буду... я с мамой! — сорвалась с ее коралловых губок жалобная мольба.

Пани Кирло пожала плечами.

— Ну, пусть уж остается... Что тут будешь делать с этой черномазой растрепкой? Впрочем, она так еще мала и глупа, что при ней обо всем можно говорить. Ничего не поймет и, главное, никому не расскажет!

Команда, предводительствуемая Марынсей Кирло, на цыпочках пробиралась в сад через гостиную, мимо затворенных дверей будуара пани Эмилии, который представлялся им каким-то страшным и священным местом. Витольд сегодня в первый раз увидел свою молодую подругу и побежал за ней, а Зыгмунт, небрежно заложив руки назад, начал ходить взад и вперед по пустой комнате.

В кабинете пана Бенедикта пани Кирло села у письменного стола с разбросанными на нем планами и счетными книгами. Маленькая Броня, сидя на корточках, прижалась к ее коленям; в розовом платьице, с голыми загорелыми ручками, она ярко выделялась на фоне черного платья матери. Юстына и хозяин дома заняли места напротив.

Прежде чем пани Кирло, страшно сконфуженная, раскрасневшаяся, успела пробормотать несколько слов, в дверях кабинета показалась пани Эмилия, необычайно оживленная, в длинном белом пеньюаре, отделанном кружевами. За ней, улыбающийся, торжествующий, со шляпой в руке шел Кирло, а за ним следовала панна Тереса с полевыми цветочками в порыжевшей косе и, как всегда, с пластырем на щеке. В углу, никем не замеченная, притаилась нарядная, в локонах, Леоня. Замирая от любопытства, она сидела, широко раскрыв глаза.

Пани Эмилия, как всегда любезная, с мягкой улыбкой поклонилась гостям и села в широкое кресло мужа.

— Я надеюсь, — тихо, с оттенком просьбы сказала она, — что вы позволите мне присутствовать при вашей беседе. Я догадываюсь, что дело идет о судьбе Юстыны, а это очень интересует меня...

Тереса молча стала за спиной своей подруги. Ведь будет разговор, несомненно, о любви! Она знала об этом и, казалось, умоляла, чтобы ее не выгоняли отсюда. Пан Кирло чуть не вдвое согнулся перед Юстыной и крепко поцеловал у нее руку.

Видя, что общество все увеличивается, пани Кирло смутилась еще больше и беспокойно завертелась на стуле. Но делать было нечего, и, собравшись с духом, она начала:

— Господа, я скажу прямо, нечего тут канитель разводиться. Я приехала сюда свахой. Кузен мой, Теофиль Ружиц, просит руки Юстыны. Он не явился лично потому, что это расстроило бы его нервы, да, кроме того, он не уверен, какой получит ответ. Если же ответ будет благоприятный, он приедет сам и немедленно.

Ее слова никого не удивили, все давно этого ожидали. Только пани Эмилия сплела свои прелестные пальцы и слабым голосом воскликнула:

— Какое счастье для Юстыны! Какой великодушный и благородный поступок со стороны пана Ружица!

Тереса была на седьмом небе, пан Кирло, сидя в кресле, весь подался вперед и всем своим видом изображал радость и победу. Только одна Юстына упорно смотрела вниз с задумчивой улыбкой на губах.

— Теофиль очень полюбил Юстыну и, как мне кажется, ясно доказывает это своим предложением. Я вполне уверена, что Юстына будет с ним счастлива... Это — золотое сердце и не пустая голова. Однако, прежде чем явиться сюда ходатаем за него, я сказала, что расскажу о нем Юстыне всю правду... Если, узнав все, она решится на этот брак, чтобы спасти и осчастливить беднягу, то хорошо, если же нет, то делать нечего! Обманывать кого-нибудь я не намерена ни за что на свете. Теофиль не только дал свое согласие на это, но даже сам просил, чтобы я Юстыну обо всем предупредила...

— Но в чем же дело? Бурное прошлое? Расстроенное состояние? — спросил пан Бенедикт.

Пан Кирло скорчил гримасу и проворчал под нос:

— Вздор! Вздор! Глупая щепетильность!

Пани Кирло обвела присутствующих растерянным взглядом. Было видно, что она предпочитала бы говорить не при таком большом обществе, но выхода не было.

— Нет, — ответила она на вопрос Бенедикта, — не совсем так. Состояние у него и теперь хорошее, а прошлое... Ну, что было, то прошло, быть молодцу не укор.

ИМ более что он жалеет о своем прошлом и, главное, вынес из него целым свое золотое сердце. Дело не в этом. Теофиль...

Она запнулась, еще больше покраснела и почти шепотом договорила:

— Теофиль мор... морфи... Ах, боже мой, как это называется? Всегда забываю!.. Мор... морфинист!

Бенедикт посмотрел на нее широко раскрытыми глазами.

— Это что еще за чертовщина? — спросил он. — Никогда не слыхал.

Тихо, останавливаясь на каждом слове, пани Кирло рассказала все, стараясь, насколько возможно, оправдать своего кузена. Несколько лет назад он очень заболел и заграничные врачи посоветовали ему это проклятое средство.

Бенедикт потянул книзу свой длинный ус.

— Попросту говоря, пьяница, — заметил он.

Пани Кирло даже вздрогнула — так ее удивило это выражение. Говоря по правде, он не виноват, что большой свет не только почти разорил его, но и толкнул на такую гибельную дорогу. Он жаждет исцеления, пробовал лечиться не раз, ему стыдно перед собою, жаль своей молодой жизни, но... до сих пор ему ничего не помогало. Его может вылечить только любимая женщина... Надо клин клином вышибать. Когда он будет счастлив, то перестанет скучать, спокойная семейная жизнь возвратит ему здоровье и вновь заставит заниматься своими делами. Юстыне в сущности предстоит подвиг сестры милосердия, если только она захочет, если то, о чем она слышала, не пугает ее...

Тут пани Эмилия подняла кверху руки.

— Пугает! О боже! — воскликнула она. — То, о чем вы говорите, делает пана Ружица еще более интересным, возбуждает еще большую симпатию к нему... Это признак натуры, жаждущей вырваться из серой действительности и хоть бы во сне насладиться тем, что прекрасно, поэтично, возвышенно. Делить с таким человеком счастье, вместе с ним любить, мечтать...

— Может быть, и напиваться? — пробормотал пан Бенедикт, который не проявлял ни малейшего восторга.

— Вот истинное счастье! — закончила пани Эмилия.

— Правда!.. От такого счастья умереть можно! — послышался тонкий голос Тересы.

— Хорошее состояние... имя... связи... о чем тут еще толковать! — с блаженной улыбкой шептал Кирло.

Но пани Кирло со слезами на глазах обратилась к Юстыне:

— Сердце у него золотое, и он сумеет оценить и осчастливить порядочную и любящую женщину. Если бы ты знала, Юстына, как он добр к нам! Другой на его месте и зная бы не захотел с бедными родственниками, а он относится к нам как друг, как брат, как... благодетель. Я не стану скрывать! Ведь бедность — не порок... Он решил взять наших мальчиков под свое покровительство, обещал платить за них в школу и уже внес деньги за одно полугодие... но это все ничего в сравнении с его добротой. Броню нашу очень любит и даже берет ее на руки. Приехал намеренно в Ольшинку и проит: «Приезжайте да приезжайте в Воловщину, хотя бы дня на два». Вот мы и прогостили у него двое суток, если бы ты видела, как он нас принимал! Я уже не говорю об угощении, он сам услуживал нам, и с детьми играл, и только по временам впадал в свою печальную эпатию... Золотое сердце и очень несчастный, хоть и бо-
льшой человек...

— Ну, как же, Юстына?

Даже пани Эмилия, несмотря на свою обычную жадность, взволновалась:

— Конечно, Юстына принимает предложение... Это такое неожиданное счастье... настоящее чудо...

— Чудо святого Антония, — взвизгнула Тереса.

Я заранее кланяюсь в ножки пани Ружиц, —

тем поклоном проговорил пан Кирло.

и Бенедикт закрутил ус на палец и тоже спросил:

— Ну, что ж, Юстынка, говори!

Юстына подняла глаза. Она была совершенно спокойна, приветливо взглянув на пани Кирло, ответила

тем поклоном:

— очень благодарна пану Ружицу за честь, ко-

торая мне оказывает. Я знаю, что было приложено

немало усилий, чтобы склонить его на этот шаг, и легко представляю, как он боролся с самим собой, прежде чем принять такое решение. Все это я очень хорошо понимаю. Ни по своему положению, ни по привычкам и вкусам я не гожусь ему в подруги жизни. Быть светской женщиной я не смогу, да и не стремлюсь к этому...

— Тем более, тем более должна ты оценить всю силу его любви, — вставила пани Эмилия.

— Тем виднее здесь промысел божий, — прибавила Тереса.

— Все это, — продолжала Юстына, обращаясь к пани Кирло, — лишало бы меня возможности принять такую большую жертву. Но есть еще более важное обстоятельство, которое заставляет меня отказаться от предложения пана Ружица, — это то, что я только вчера дала слово другому.

На минуту все присутствующие онемели от изумления. Затем посыпались вопросы:

— Что? Как? Кому?

Юстына поднялась с кресла. Что-то заставило ее встать, и она вся вспыхнула.

— Владельцу небольшого участка земли в соседнем поселке, пану Яну Богатыровичу! — медленно ответила она дрогнувшим от волнения голосом.

Теперь только поднялась буря вопросов. Со всех сторон слышались изумленные возгласы:

— Да что это? Как это? Кто это? Ты шутишь? Нет, она шутит! Вы шутите!

Но по лицу Юстыны было видно, что она вовсе не шутила. С гордо поднятой головой и сурово сдвинутыми бровями она обвела взором всех присутствующих. Наконец Бенедикт махнул рукой.

— Но погодите, господа! Пойдите! — закричал он. — Дайте мне расспросить ее обо всем!

Он обратился к племяннице:

— Ты не шутишь, Юстына? Это серьезно? В самом деле ты дала слово какому-то Богатыровичу?

Юстына показала ему свою руку.

— Видите, дядя, у меня нет кольца покойной матери. Вчера я отдала его. Мое сердце, рука и будущее... принадлежат ему...

Бенедикт как-то странно крикнул, что-то проворчал себе под нос, внимательно посмотрел на Юстыну и опять спросил:

— Каким образом ты могла сблизиться с ним?

По губам Юстыны промелькнула грустная улыбка. Она взглянула пану Бенедикту прямо в лицо.

— Правда, дядя! Ведь только случайность и может нас сблизить с ними!

— Ну, ну! — заворчал пан Бенедикт. — Философия — одно, а твоя судьба — другое. Полюбила ты, что ли, этого человека, а? Полюбила, да?

Снова точно электрическая искра пробежала по телу Юстыны и ярким румянцем залила ее щеки.

— Да, я люблю его всем сердцем и верю, что и он любит меня! — ответила она.

Пани Эмилии сделалось дурно. Чувствуя приближение истерики, с полными слез глазами, она воскликнула прерывающимся голосом:

— Юстынка! Как же это? Ты такая гордая, что не допускала с собой самых невинных шуток и никогда не хотела принять от меня никакого подарка, тогда как мне так приятно было бы видеть тебя хорошо одетой, ты отвергаешь такую блестящую партию, отказываешься от высокого положения в свете и собираешься выйти за мужика... да, за мужика!.. О боже! Что это за тайна! Что за загадка — сердце человеческое!

Юстына улыбнулась.

— Загадки здесь нет никакой, — ответила она. — Я горда и потому не хочу, чтобы меня брали в жены после долгих уговоров, из милости, из великодушия или из каких-то рыцарских чувств. Я не желаю, чтобы это объясняли чудом святого Антония или промыслом божьим... Я предпочитаю быть обязанной своим благополучием и счастьем человеку, которого люблю, и труду, который буду делить с ним.

— Вздор! — закричал пан Бенедикт. — Все эти тайны, чудеса и загадки глупость и бессмыслица! Понравилась баричу умная красивая девушка — это чудо какое-то! Понравился девушке складный хороший парень — тоже тайна и загадка! Все это вздор! Вот что

важно, дитя мое, — и он обратился к Юстыне, — знаешь ли ты, какая жизнь ожидает тебя?

— Я хорошо и близко узнала ее, дядя.

— Подожди. А работа крестьянки? Знаешь ли ты, какой это труд?

Но Юстына и слушать не хотела.

— Дядя! Да ведь то, что я ничего не делала, и отравляло всю мою жизнь! О, как я благодарна тому, кто введет меня в свой бедный, но родной дом, наполнит мою жизнь не только радостью, но даст работу моим рукам и уму, даст возможность помогать кому-нибудь, трудиться и для себя и для других!

Какое-то теплое, согревающее чувство охватило Бенедикта, и взгляд его смягчился.

— Ну, а разница в умственном развитии? С нею как быть? — спросил он нерешительным голосом.

— Такой разницы нет, дядя; это только кажется. Я не ученая, не артистка, никаких талантов у меня нет, но ума достаточно, чтобы чувствовать и понимать это. Из того, что дало мне воспитание, я без колебания и жалости отброшу все мелочи, все то, что ни мне, да, надеюсь, и никому не принесло бы пользы. А если окажется, что света и знания, которым я обязана вам, у меня больше... больше, чем у него... у них...

Волнение прервало речь Юстыны, но она тотчас же взяла себя в руки и с горящим лицом продолжала:

— Как я буду счастлива поделиться с ними!.. Как я буду горда, если внесу к ним немного света, чтобы им было виднее, яснее, радостнее!..

Бенедикт встал и закрутил усы кверху.

— Вы, молодежь, все теперь на одной дудке играете! Но, — прибавил он после короткого молчания, — вы правы... нечего говорить, вы правы!

Пани Эмилия почувствовала колотье под лопатками, в боку, в груди и с величайшим усилием произнесла:

— Тереня... помоги мне подняться, Тереня!

Тереса поспешно встала и повела ее к двери. Кирло — чего раньше никогда не бывало — не сделал ни малейшего движения, чтобы помочь больной хозяйке дома. Он сидел в кресле с раскрытым ртом и бессмысленным взглядом. Он не понимал, что произошло

и что говорилось в этой комнате, решительно ничего не понимал. Он не мог ни удивляться, ни сердиться, — все мысли вылетели из его головы, кроме одной, упорной, настойчивой, тяжелой: «Теофиль Ружиц получил отказ... Он, Ружиц, владелец Воловщины, получил отказ...»

Как автомат, он встал с кресла и со шляпой в руке машинально вышел в гостиную. Отворяя дверь в бу-
дуар пани Эмилии, он еще раз повторил:

— Теофиль получил отказ.

Леоня, никем не замеченная, выбежала из отцовского кабинета, мимоходом шепнула несколько слов Зыгмунту, который, сидя за круглым столом, рассеянно перелистывал иллюстрации, и, сбежав с террасы в сад, громко позвала:

— Витек! Витек!

Рассказав брату все, что она узнала, Леоня полетела наверх к Марте.

Витольд, выслушав сестру, как буря ворвался в кабинет отца и схватил Юстыну за руку.

— Юстынка! Милая! Дорогая моя сестренка! Я давно догадывался об этом, но думал, что бушменка возьмет в тебе верх и ты в конце концов пожалеешь о красивой татуировке. А ты, оказывается, решилась осчастливить этого хорошего парня, посвятить себя нашей кормилице-земле и внести свет в жизнь своих бедных братьев! Bravo! Поздравляю тебя... Как я рад, как рад!..

И, схватив ее за талию, смеясь и целуя ей руки, он два раза покружил ее по комнате, но вдруг остановился, крепко пожал ей руку и посмотрел на нее задумчивым и ободряющим взглядом.

— Помни, что я тебе брат не только по крови, но и по духу. Мы будем союзниками, будем помогать друг другу. Смотри на меня, как на друга и брата... оба так смотрите!

Бенедикт глядел на сына с той счастливой улыбкой, которая вот уже два дня почти не сходила с его лица.

— Беда, беда с этой молодежью! — бормотал он про себя. — Думают, что весь свет перевернут вверх дном, чудес натворят!..

Он махнул рукой и громко спросил:

— Юстынка, это твое окончательное решение?

— Да, окончательное, — ответила девушка, — и ничто, даже ваша воля, дорогой дядюшка, не заставит меня переменить его.

Она наклонилась и поцеловала ему руку. Пан Бенедикт прижал ее голову к своей груди.

Тогда поднялась и пани Кирло; она хотела что-то сказать, но, вставая, разбудила маленькую Броньку, которая тут же наступила на развязавшийся шнурок и упала под ноги матери. Однако это случилось с ней так часто, что она, не пикнув, поднялась сначала на четвереньки, потом во весь рост и, широко раскинув свои голые смуглые ручонки, настойчиво заявила:

— Мама, домой!

Но пани Кирло, словно не замечая ни ее падения, ни просьбы, стремительно подошла к Юстине и взяла ее за руки. Лицо у нее пылало и было мокро от слез.

— Жаль мне, страшно жаль бедного Теофиля! — сказала она. — Но все равно я лгать не умею, и, может быть, ты хорошо делаешь и будешь счастлива...

И она горячо поцеловала девушку.

— Когда ты устроишься в своей хате, я отдам тебе Рузю... отдам, чтоб она была твоей помощницей и ученицей, чтобы приучалась работать собственными руками.

И пани Кирло улыбнулась сквозь слезы.

— А может быть, со временем ты найдешь там и для нее такого же доброго и хорошего человека, какого нашла для себя. И знаешь, для бедных девушек, которые не могут стать ни графинями, ни врачами, это хороший жребий... Да, быть может, и единственный...

Она хотела еще что-то шепнуть Юстине, но почувствовала, как кто-то сзади дергает ее за юбку. Обняв ее ноги смуглыми ручками, Броня подняла на мать черные, как уголь, глаза и настойчиво повторила:

— Но, мама, я же хочу домой!

Пани Кирло действительно пора было возвращаться домой, где ее ожидало столько дел и забот; к тому же она хотела хотя бы на минуту заехать в Воловщину. Вздохнув, она пошла с Витольдом в сад разыскивать свою команду.

— Прикажи кому-нибудь послать ко мне Марту! — крикнул пан Бенедикт вслед уходящему сыну и обратился к Юстыне: — Ты с отцом говорила?

Юстына не успела это сделать. Пан Ожельский вставал поздно, потом завтракал у себя в комнате, а когда он был занят едой, то решительно ни на что не обращал внимания.

— Так ступай к нему сейчас же и скажи, — все-таки, он отец, — а мне с Мартой потолковать нужно... порасспросить кой о чем...

Юстына прошла пустую столовую и хотела было подняться на лестницу, как ее кто-то окликнул по имени. Она обернулась назад и увидела бледное, страдальческое лицо Зыгмунта.

— Что вам нужно, кузен? — спросила она.

— Переговорить с вами... умоляю вас всеми святыми, одну только минуту!

— О, с удовольствием, — с равнодушной любезностью ответила Юстына и подошла к нему.

— Кузина! Правда ли... правда ли, что вы отказали Ружицу и выходите за какого-то... захудалого шляхтича... мужика?

— Правда, — спокойно ответила Юстына.

— Боже, такой неравный брак! Ведь это значит обречь себя на вечное несогласие мыслей и чувств! Да это просто безнравственно!

Юстына с нескрываемой насмешкой посмотрела ему в глаза.

— Я, кажется, ослышалась... или вы в самом деле становитесь на защиту нравственности и равенства в браке?

Он немного смутился, но его лицо и жесты выражали такое же возмущение и ужас.

Юстына хотела уйти, но он схватил ее за руку.

— Что еще? — холодно спросила она.

— А то, — горячо заговорил Зыгмунт, — что я догадываюсь, почему ты решилась на этот безумный шаг. Понимаю... ты хочешь оградить себя непроницаемой стеной от воспоминаний прошлого... от старого чувства... от меня! Если бы ты вышла за Ружица, мы принадлежали бы к одному кругу и должны были бы продол-

жать знакомство... встречаться... И ты бежишь от этого... ты хочешь смешаться с этим сбродом для того, чтоб исчезнуть для меня и чтобы я для тебя исчез!

Юстына смотрела на него широко раскрытыми глазами, сначала не понимая значения его слов, а потом не веря своим ушам.

Зыгмунт метался и, совершенно искренне приходя в отчаяние, казалось, изменил своей манере обращения и темпераменту. Он схватился руками за голову.

— Не делай этого, заклинаю тебя! Не губи себя и не отягчай так страшно мою совесть!.. Ты будешь вечно представляться мне как жертва моего преступления. Сжался надо мной и над самой собою! Клянусь, я удалюсь отсюда, я буду избегать тебя... я помогу тебе справиться с бурей, kloкочущей в твоей груди, — с той страшной бурей, которая и привела тебя к такому отчаянному решению!

Только теперь поверила она своим ушам и, наконец, поняла его. Она тщательно силилась подавить улыбку, но не выдержала и залилась громким, неудержимым смехом, звонким, как серебро. То был смех юной, счастливой души, счастливой настолько, что любой пустяк вызывал в ней почти детское веселье. Звеня переливами этого счастливого смеха, она отвернулась от Зыгмунта, пробежала через сени и быстро поднялась вверх. Она уже исчезла за поворотом лестницы, а смех ее все еще звенел в сенях, сливаясь с брызжащими радостью звуками скрипки, игравшей то *staccato*, то *allegro*.

Зыгмунт выпрямился, раскрыл рот, окинул себя взглядом и процедил сквозь зубы:

— Мужичка!..

В небольшой комнатке, между неубранной постелью и столом с бритвенным прибором, пан Ожельский, набросив на себя измятый пестрый халат, играл на скрипке. Взгляд его голубых глаз был устремлен куда-то вдаль, он, улыбаясь, приподнимался на цыпочках, словно хотел улететь вместе со звуками скрипки; тихий ветерок, врывающийся в открытое окно, развеивал его седые волосы.

Юстына, вся покрасневшая, подошла к отцу.

— Отец, — сказала она, — мне нужно поговорить с вами об одном очень важном деле.

Старик перестал играть и рассеянно посмотрел на дочь.

— Что там такое? А! Знаю!.. Пан Ружиц... Подожди немного, дай мне кончить серенаду!..

Юстына села у окна в терпеливом ожидании, а звуки серенады — то *staccato*, то *allegro*, то *andantissimo* — долго еще раздавались в комнате. Наконец они смолкли. Громко чмокнув губами, старик поцеловал кончик смычка и блаженно улыбнулся.

— Что? Какова серенадка-то? Прелесть!

Немного спустя в кабинет пана Бенедикта вошла Марта, не с разбега, с шумом и грохотом, а, против своего обыкновения, тихо и робко, закутанная в черный платок.

— Ты прислал за мной, — начала она, — но я сама бы пришла, потому что у меня к тебе большая просьба... только я уж не знаю... честное слово... как и сказать...

— Что? Уж не обручилась ли и ты с каким-нибудь красивым парнем? — подшутил Бенедикт.

Марта махнула рукой и села на краешек стула.

— Не такая я дура, чтоб о подобных вещах думать, — со странной кротостью и мягкостью ответила она, — но видишь ли... Юстына выходит замуж, и если ты согласишься... если позволишь, я хочу поселиться у ней в хате...

— Что? Что? — воскликнул Бенедикт.

— Честное слово, мне очень хочется поселиться у них, — потупя глаза и опустив руки на колени, продолжала Марта. — Я не даром буду есть их хлеб, хозяйство я знаю, да и силы еще кое-какие остались. Им и руки мои пригодятся, и подчас посоветоваться будет с кем. А здесь я не нужна... одна тоска!.. Никому не нужна! Никому не нужна! Никому, никому!

— Как не нужна? Что ты болтаешь? — вскипел Бенедикт.

Марта покачала головой, украшенной высоким гребнем, и повторила:

— Не нужна. Что ж? Дети выросли, твоей жене я никогда и ни в чем не могла угодить, а что касается хо-

зайства... подумаешь какое дело! Экономку на мое место возьмешь. А Юстына уважает меня, любит... она всегда меня больше всех любила. Притом и тех людей, к которым она идет...

Она заикнулась и провела рукой по влажным глазам.

— И тех людей я когда-то знала... любила... сама судьба свела меня с ними... Не пошла я к ним тогда, зато теперь пойду, поработаю немного, а потом — этого ждать недолго — они оденут меня в шесть досок и сами отнесут на кладбище. Вот чего мне хочется. Юстына и Янек через два месяца хотят венчаться... за это время ты найдешь себе экономку. Ох, не могу!

Она поперхнулась и закашлялась.

Бенедикт молча слушал и, наконец, не выдержал:

— Вздор! Скоро весь Корчин в Богатыровичи переберется... разве только, — прибавил он с улыбкой, — моя жена и панна Тереса останутся.

Он встал и подошел к Марте.

— Что ты городишь? Что за глупость в голову тебе пришла? Ты тут не нужна! Боже милосердый! Мы тут с тобой двадцать лет трудимся! И только и было двое работников! Не нужна! А что бы я стал делать, если бы тебя при мне не было? Не будь тебя, — кто еще знает, удержался ли бы я в Корчине! Шутка ли — женщина почтенная, работающая, опытная в доме и в хозяйстве — и не нужна! Да ведь ты и детей моих сама вынянчила, ты им как мать... и за мать... любила и ласкала, и не по-глупому! Один Витольд скольким тебе обязан, — это ты ему добрые человеческие понятия внушила... И я всегда считал тебя другом, искренне любил тебя, да только, видишь ли, все эти хлопоты и невзгоды сделали меня таким хмурым, что мне и говорить не хотелось о том, что лежало на сердце. Но я признателен тебе до гробовой доски и не пушу тебя... как хочешь, не пушу... Вздор! Она не нужна! Целый век, как вол, трудилась — и вдруг не нужна! Не любит ее никто! А я? Выросли вместе, работали вместе...

Пан Бенедикт широкими шагами ходил по комнате, дергая усы и размахивая руками. Марта подняла на

него свои блестящие черные глаза, и взгляд их постепенно смягчился.

— Золото ты мое, — воскликнула она наконец, — ты и вправду так думаешь, как говоришь? Ты не из сострадания к старой родственнице, не из вежливости говоришь так?

— Да ей-богу же правда! — крикнул Бенедикт. — Опомнись! Сама подумай!

— Боже мой, боже! — Марта обычным порывистым движением вскочила со стула и схватила руку пана Бенедикта. — Милый ты мой! Братец ты мой родной! Вот осчастливил ты меня! А я все думала: и кому тут нужна этакая старая рухлядь? Ведь ты не знаешь, что значит прожить всю жизнь без родного и любящего сердца, без доброго слова человеческого! Такое горе меня грызло, такая тоска и уныние нападало, что подчас готова была в могилу лечь. Как я ни убеждала себя, а внутри что-то все требовало, чтобы какая-нибудь душа приласкала меня, чтобы прилипнуть к кому-нибудь, быть кому-нибудь полезной. Вот я и захотела попробовать там... но теперь уже не хочу... честное слово, не хочу, не пойду... Зачем мне туда идти, если я тебе нужна и если ты любишь меня, как брат сестру? Ах милый мой, уж как ты меня утешил, как обрадовал! Радость-то какая!

Она целовала его плечи, смеялась, плакала и в конце концов раскашлялась так, что минуты две не могла выговорить ни слова.

— А теперь, — начала она, немного успокоившись, — а теперь разреши мне взять на несколько дней пару лошадей. В город хочу поехать, к доктору... Нужно полечиться, чтобы служить как следует. Три года назад я простудилась, когда в погреб овощи на зиму убирала, но не обращала на это внимания. «Зачем лечиться? На что? Одно горе!» — думала я. Кроме того, и хлопот не хотелось никому доставлять. По временам мне плохо приходилось, но я все скрывала, словно какое-нибудь преступление. Думала, чем скорей, тем лучше. А теперь дело совсем другого рода. Если я тебе нужна, если ты меня любишь и уважаешь, то мне

нужно полечиться, чтоб служить получше, а может быть... Ох, не могу!

Она смеялась и кашляла.

— Может, и на свадьбе у твоих детей потанцевать придется!.. Смех, да и только! Смех, да и только!

Бенедикт крепко поцеловал ее в лоб.

— Ну, успокойся, — сказал он, — сядь и расскажи мне все, что знаешь о Богатыровичах вообще и о женихе Юстыны в особенности. Я ее опекун, и хотя она девушка совершеннолетняя, с характером и неглупая, мне своего согласия на ветер бросать не годится. Витольду я не очень доверяю, он на все сквозь розовые очки смотрит. Ты же, я знаю, интересуешься этими людьми, недавно у них на свадьбе была, все видела, слышала, так рассказывай мне теперь все.

Эта просьба еще больше обрадовала Марту и окончательно убедила ее, что она нужна, что Бенедикт уважает ее и доверяет ей. Марта села и начала рассказывать. Она говорила долго, обстоятельно и еще не кончила, как в столовой послышались торопливые шаги и в дверях кабинета появился пан Ожельский. Старичок предстал в халате, подпоясанном шнурком, со смычком в руках. Его обыкновенно румяное, добродушное лицо выражало теперь гнев и волнение.

— Пан Бенедикт! — закричал он с порога, — надеюсь, вы не дадите согласия на эту... глупость! Вы опекун Юстыны, и я не мог предполагать, чтоб она в вашем доме могла так себя... скомпрометировать.

Он засопел и, гордо выпрямившись, поднял смычок.

— Юстына ничем себя не скомпрометировала, — ответил пан Бенедикт. — Девушка она совершеннолетняя, вольна над собой и может выйти замуж за кого хочет.

— Выйдет! А такому пану, как Ружиц, отказала! Но я-то что буду делать? Или и мне... за ней... э... э... идти в мужичью хату? Я, пан Бенедикт, к э... э... этому не привык, там, я думаю, и фортепиано негде поставить, там меня... э... э... с голода уморят!..

Глаза пана Ожельского наполнились слезами, раздраженный тон переходил мало-помалу в жалобный.

Он почти всхлипывал. Пан Бенедикт положил ему руку на плечо и с полупрезрительной улыбкой проговорил:

— Будьте спокойны; вы как жили в Корчине, так и останетесь. Конечно, там вы бы не ужились. Я с величайшим удовольствием предлагаю свой дом в ваше распоряжение. Наконец у меня остаются ваши деньги, которые я смогу выплачивать Юстыне только по частям.

Ожельский, жадно выслушав эти слова, начал приходить в себя.

— Но ведь все-таки, согласитесь, что это не совсем... того... когда девица вступает в такой неравный брак.

— Любезный пан Ожельский, — ответил Бенедикт, — припомните свою молодость. Может быть, Юстина будет счастливее в этом неравном браке, чем была моя двоюродная сестра в союзе с человеком, как будто бы вполне приличным.

Ожельский смутился. Какое-то воспоминание заставило его неприятно вздрогнуть.

— Сердцу, пан Бенедикт, — начал он, — сердцу не... того... не прикажешь... Если с моей стороны и было что... так того... всему виной... того...

— Ну, — перебил пан Бенедикт, — оставим прошлое в покое, а за будущее вы не беспокойтесь. Ступайте наверх, играйте свои сонаты и серенады, а Марта вам сейчас пришлет завтрак.

Ожельский подумал с минуту и посмотрел на смычок.

— Когда так, пусть Юстина... хотя... э... э... все-таки не годится благородной девушке... э... э... выходить замуж за какого-то... э... э... не годится!

Он покачал головой и вышел из комнаты.

Бенедикт долго еще беседовал с Мартой и Витольдом, который, усадив пани Кирло и ее команду в бричку и быстро простившись, поторопился к отцу.

— Ну, довольно, — сказал, наконец, пан Корчинский. — Панна Марта, мы сегодня будем обедать позже. Витольд, позови сюда Юстину.

Юстина пришла встревоженная, с ярким румянцем на щеках. Она очень боялась ссоры с дядей.

— Пойдем, — сказал ей пан Бенедикт и, надев соломенную шляпу, предложил ей руку.

Юстына поняла, куда он хочет идти с ней, и с радостным криком бросилась к нему на шею.

Они пошли по тропинке, выющейся белой лентой по выцветшему полю. Небо было покрыто облаками; под ними летели стаи ласточек и кое-где реяли ястребы. В воздухе чувствовалась холодная, грустная тишь наступившей осени.

Когда Бенедикт и Юстына, быстро пройдя пересекавшую сад дорогу, покрытую увядшей травой и пожелтевшими цветами белого клевера, вошли во двор Анзельма и Яна, сидевшая на груше ворона громко закаркала, где-то за плетнем запел петух и желтый Муцик выбежал из-за угла с неистовым лаем. Но, когда Юстына погладила его, он стал тыкаться желтой лисьей мордочкой в подол ее платья и, виляя пушистым хвостом, заглядывать ей в глаза.

Наконец заметил их высокий золотоволосый парень, который косил траву в глубине сада, у дворовой калитки. Увидев их, он помертвел, в глазах его вспыхнула страшная тревога, вся кровь отхлынула от загорелого лица. Но это продолжалось недолго. Ян понял, что значит появление Юстыны вместе с дядей, и неистовая радость брызнула у него из глаз, коса, блеснув, со звоном упала на траву. Он в несколько прыжков очутился подле пана Бенедикта, упал перед ним на колени и прижался горячими губами к его руке.

Пан Бенедикт, однако, смотрел не на него, а на Анзельма, который, стоя под навесом резного крылечка, медленно снимал с головы высокую баранью шапку.

Глаза этих людей, наконец, встретились. Они долго молчали. Тогда пан Корчинский, положив руку на голову Яна, спросил:

— Сын Ежи Богатыровича?

Анзельм выпрямился и обнажил голову. Все его лицо с сетью мелких морщин словно сразу озарилось каким-то ярким светом. Он указал рукой на занеманский бор и, слегка заикаясь, ответил:

— Того са... самого, который покойся в одной могиле с вашим братом!

СОДЕРЖАНИЕ

НАД НЕМАНОМ. *Перевод В. Лаврова под редакцией А. Рудковской*

Часть первая	7
Часть вторая	161
Часть третья	327

Редактор
И. Матецкая

Переплет и титул
художника А. Щербакова

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Ж. Примак

Корректор
В. Туманская

Сдано в набор 19/XI 1953 г. Подпи-
сано к печати 22/I 1954 г. А 00910.
Бумага 84 X 108¹/₃₂. 33¹/₂ печ. л.
27,47 условн. печ. л. 26,75 уч.-изд. л.
Тираж 90 000 экз. Заказ № 2594.
Цена 10 р.

Гослитиздат.
Москва, Ново-Басманная, 19.

3-я типография «Красный пролета-
рий» Главполиграфпрома Министе-
рства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.

